

ІМАНТ ЗМЕДОНІС
ЯНКА СИПАКОВ
БРОНІСЛАВ ХОЛОПОВ
ГЕВОРГ ЗМІН



НЕ СЧИТАЙ ШАГІ,
ПУТНИКІ!



Scan Kreyder - 10.06.2016
STERLITAMAK

БИБЛИОТЕКА
ДН
«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

**РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»**

**Сурен Агабабян
Ануар Алимжанов
Лев Аннинский
Сергей Баруздин
Альгимантас Бучис
Константин Воронков
Валерий Гейдеко
Леонид Грачев
Игорь Захорошко
Имант Зиедонис
Мирза Ибрагимов
Алим Кешоков
Григорий Корабельников
Георгий Ломидзе
Андрей Лупан
Юстинас Марцинкявичюс
Рафаэль Мустафин
Леонид Новиченко
Александр Овчаренко
Александр Руденко-Десняк
Инна Сергеева
Леонид Теракопян
Бронислав Холопов
Иван Шамякин
Людмила Шиловцева
Камиль Яшен**

Б И Б Л И О Т Е К А « Д Р У Ж Б Ы Н А Р О Д О В »

НЕ СЧИТАЙ ШАГИ, ПУТНИК!

ВЫПУСК ВТОРОЙ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» ● МОСКВА ● 1977

Первый выпуск сборника *«Не считай шаги, путник!»* вышел в издательстве «Известия» в 1974 году. Его название заимствовано у латышского писателя И. Зиедониса (так был озаглавлен один из его очерков). Оно объединяет произведения, написанные в жанре путевых очерков. Цель сборников — дать возможность читателю больше узнать о жизни наших республик и в то же время показать, что «деяния и размышления одного народа не так далеки от проблем и деяний других народов».

Так получилось, что первый выпуск объединил очерки писателей, рассказывающих о жизни других республик: русский писатель Андрей Битов в *«Трех путешествиях»* пишет об Армении, Грузии, латыш И. Зиедонис и украинец В. Коротич в *«Перпендикулярной ложке»* — о Таджикистане. Только 1-я книга *«Курземите»* написана автором о родном крае. Второй выпуск сборника составлен из произведений писателей о своей земле. Имант Зиедонис выступает со 2-й книгой *«Курземите»*. Янка Сипаков пишет о белорусской деревне. Бронислав Холопов — о ярославском селе. Армянский поэт Геворг Эмин — об Армении.

Публикуемые в этой книге очерки, как правило, выходят за рамки жанра. И это не удивительно, ибо три автора из четырех — прежде всего поэты. Содержание всей книги отвечает задаче, сформулированной И. Зиедонисом: «...фиксировать нашу среду правдиво, быть правдивым ради будущих поколений! Ибо у них-то не будет этой возможности — прожить время, в котором живем мы».

ИМАНТ ЗИЕДОНИС



курземите

КНИГА ВТОРАЯ

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРИННОЙ
ПЕСНИ О ТОМ, КАК ВЗЫВАЮТ
К СВЕТУ, КАК ВОЗГОРАЕТСЯ ОН
ИЛИ НЕ ВОЗГОРАЕТСЯ.
ИЛИ: О НЕКОЕЙ, ВСЕ ЕЩЕ НЕ
ОТКРЫТОЙ ЗЕМЛЕ



**Перевод с латышского
В. АНДРЕЕВА**



Известный латышский поэт, эссеист, филолог Имант ЗИЕДОНИС родился 3 мая 1933 года в семье рыбака. В 1959 году окончил филологический факультет Латвийского государственного университета. В юности ему довелось заниматься крестьянским трудом, работать учителем, библиотекарем. После окончания университета был редактором в книжном издательстве. Позднее закончил Высшие литературные курсы в Москве.

В 1961 году вышла первая книга его стихов «Земля и мечта». За ней последовали: «Динамит сердца» (1963 г.), «Смола и янтарь» (1964 г.), «Мотоцикл» (1965 г.), «Вхожу в себя» и «Лабиринты» (1968 г.), «Как свеча горит» (1971 г.), «Сквозняк» (1975 г.). Стихи Зиедониса сразу обратили на себя внимание, и очень скоро он становится признанным поэтом. Он ищет новые пути раскрытия духовного мира человека наших

дней, верит в его возможности. Поэтическая манера Иманта Зиедониса своеобразна, индивидуальна. Его стихам свойственны философская глубина, неожиданность и сложность ракурсов, но за этим всегда четкая ясная цель и всегда — движение.

Имант Зиедонис много путешествует, наблюдает, видит. Из впечатлений от поездки по Алтаю рождается сборник очерков «Дневник поэта» (1965 г.) — его первая прозаическая книга. Очерки о Карелии составили сборник «Пенной дорогой» (1967 г.). «Очерк начинается у меня с отдыха, экскурсии, прогулки, а кончается тяжелой ношей», — пишет Зиедонис. От лирических спокойных страниц неизбежно нарастает переход к активному анализу окружающего. «Есть такое место в мире, которое мы должны узнать и постичь лучше всего», — говорит поэт. Это, конечно, родина. Латвии посвящает Зиедонис свою книгу «Курземите». Курземе — одна из четырех исторических областей Латвии. Курземите — уменьшительное, ласкательное. «Это книга о моем родном крае», — пишет ее автор. — Мои наблюдения о взаимопроникновении среды и души, производства и творчества. Книга является как бы хроникой-репортажем начала 70-х годов в Латвии, порою субъективной (как, пожалуй, все хроники) и не претендует ни на жанр эссеистики, ни на жанр социального исследования. Это просто мое свидетельство о данном отрезке времени на данной земле одного края. Это — и мое доброе желание».

Первая книга «Курземите» вышла в 1970 году. Вторая — спустя четыре года. И в ней, пожалуй, вопреки утверждению автора, «ноша» ощущается от самого начала. Это уже не про-

сто шаги путника, а шаги исследователя. Широка, серьезна и конкретна круг проблем. Культура и экономика; человек и мера его потребностей; природа, ее место в духовной жизни людей... И недаром «Курземи-те» стала объектом специального обсуждения в сельскохозяйственной академии Латвии. Это не просто талантливая книга, это книга действенная. Она способствовала тому, что многие руководители изменили свое отношение к проблемам мелиорации, охраны природы, архитектурного оформления поселков. В какой-то мере она способствовала и возникновению идеи создания национального парка «Гауя», где охранялись бы природа, история, этнографические зоны старого. Предполагаемая площадь парка — 80 тысяч гектаров.

Имант Зиедонис не случайно цитирует в своей книге Горького: «...любопытство зрителя должно превратиться в серьезный интерес деятеля». В одной из глав второй книги «Курземи-те» читатель прочтет: «Чем займутся школьники? Организуют «Общество освобождения дубов». Осенью 1975 года Зиедонис создает из числа учащихся спортивного интерната «Группу освобождения благородных деревьев», сокращенно по-латышски ДАГ. И дагеры развертывают большую работу по спасению ценных деревьев. Помимо решения главной задачи — охраны природы — это послужит достижению не менее важной цели — воспитанию подлинной культуры у подрастающего поколения.

В 1973 году из попытки поэтов двух народов «заглянуть в жизнь третьего народа» родилась «Перпендикулярная ложка» — очерки о Таджикистане,

написанные И. Зиедонисом и В. Коротичем. Книга, в которой увидено и поставлено много актуальных проблем, и в частности — как сохранить национальное своеобразие, народную культуру, которую нивелирует развитие промышленности.

В этом году вышла на русском языке самая своеобразная и необычная из прозаических книг Зиедониса «Эпифании» (отблески, открытия. — Г р е ч.). В Латвии она публиковалась в 1973 году. «В истории литературы эпифании — малоизвестный литературный жанр, это небольшие импульсы, крохотные вспышки, чей свет с необычайной яркостью выхватывает из темноты отдельные моменты жизни... Написать эту книгу меня побудили светлая и оптимистическая ритмика латышских народных песен и сложные, даже кибернетические поиски синхронизации и гармонии нашего времени...» — говорит сам автор. Это книга о необходимости духовного совершенствования «от рождения до нового рождения».

Имант Зиедонис известен и как переводчик Пушкина, Светлова, Багрицкого, Севака, Виеру и других поэтов, и как сценарист: в 1967 году он был удостоен Государственной премии Латвийской ССР за сценарий документального фильма «Репортаж года». За публицистические книги ему была присуждена в 1972 году премия Ленинского комсомола Латвии. Он — лауреат литературной премии Эдуарда Вейденбаума (1974 г.), которую присуждает колхоз имени этого выдающегося латышского поэта-революционера. И обладатель международного диплома Андерсена — за книгу «Цветные сказки».

● 1. ГЛАВА, ГДЕ ВОЗНИКАЕТ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО
СУЩЕСТВУЕТ НЕКАЯ КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ
ЭНЕРГИЯ, КОТОРОЙ СЛЕДОВАЛО БЫ
ОВЛАДЕТЬ

Прислушиваюсь. Речь идет о работе. Говорят крестьяне. Говорят о себе, о своих соседях. Пререкаются, балагурят, зубоскалят. Говорят так: это настоящий труд, настоящие труженики — знают, как зарабатывать деньги, как их тратить.

Говорят: все сходятся на том, что детям нужны машины, а на пользу это или во вред, никто не знает.

Говорят: она может три борозды за день прогнать, до кровоизлияния в мозг доработаться, она себя в гроб загоняет потому только, что она на виду, потому что она в почете.

Говорят: нет, она хочет всех переплюнуть. Я, мол, могу, а другие не могут.

Я спрашиваю: разве это плохо, если человек работает с азартом, на пределе?

Говорят: теперь жалею, что так работал, на старости лет все это сказывается. В жизни вечно бес погоняет.

Он: дед говорил: «Э черт, до чего сено сухое! Совсем пересохло!» — И давай лить воду в стог.

Другой: брось трепаться, кто это сено водой поливает!

Он: дождь? Да какой дождь за рубль, вот за три рубля настоящий дождь.

По-всякому говорят, прислушайся только! Говорят: он вырастет настоящим человеком. Как же, жди, вырас-

тет он! А все в один голос: Нет, он вырастет! Только надо его направлять.

Что же там, в деревне, делается сегодня? Путешествуя с Унигундой по Курземе, мы обычно обходили колхозы стороной, сами измотались, хотелось отдохнуть, надышаться ароматом цветов и рощ, заснять на пленку старые крестьянские дворы, потолковать с людьми о чем-то не будничном, о чем-то приятном. И нам это удалось. Мы вернулись осенью бодрыми и поздоровевшими, с еще большим уважением к этому краю. Нам посчастливилось встретить людей с выдающимися способностями, настолько одаренных, что окружающие уже принимают это за чудачество. Видели мы и как трудятся ради хлеба насущного, это был не творческий, а самый обычный труд. Иными словами, мы познакомились с двумя крайностями. А что между ними? Это не давало мне покоя. Ведь что-то должно быть между ними. Некий бродильный чан, где что-то плавает поверху, а что-то тонет. Однажды я говорил со своим другом поэтом и он сказал: люди уважают иерархию, спросите человека, кто он такой, и вам ответят: врач, бригадир и т. д. Я сказал: не верно. Это уважение к главному, к труду. Неосознанное уважение. Я слышу в автобусе и в магазине, на автобусной остановке и на семейном обеде:

— Молодые пьянствуют... А что им делать? Что им делать в свободное время?

— Молодым на все наплевать. Старые люди чувствуют ответственность не только перед коллективом, планом, заданием, но и непосредственно перед самим трудом. Этим все объясняется.

А ребята толкуют о концерте литовской эстрады: — Дамы таакие — прямо как на пружинах! Какая-то птица, от горшка два вершка, но голос! Зал битком набит! На гитарах, понимаешь, как рванут — потрясно! Уж эти литовцы — что за песенки! А музыка! — У-ля-ля! Потрясно! Неповторимо! Дают! Ух, дают!

Ну что ж, пусть дают. Я молчу. Слушаю.

— Да, нет у них внутреннего стержня.

— Ну, если во всяких тонкостях копать...

— Где только зарплата идет, а результат работы проверить нельзя, там всегда полно навозных мух.

— Так ведь нельзя его уволить, замены нет,

— Штатная единица это еще не человек.

— Есть у вас культорг?

Дочь: Есть.

Мама: Кто у нас все-таки?

Дочь: Кто у нас? Ирена. Впрочем, она ушла. Я и не знаю, кто у нас теперь.

И мне вдруг становится не по себе. Если бы в каком-то колхозе не оказалось агронома — могло бы так случиться, что никто не знал — есть он или нет? Не видно председателя, и никто не знает — есть он или нет? Может такое быть, чтобы в часах не хватало колесика, а они все-таки шли правильно? Как может село существовать без культорга?

ЧТО ЖЕ ТАМ, СОБСТВЕННО ГОВОРЯ, ПРОИСХОДИТ?

И вот — осень. Но составленная мною программа не обещает ничего приятного: крутиться вместе с председателями между двух огней: производственные задания — культурно-массовая работа. Но все это надо увидеть, иначе беспокойно на душе, похоже, что первая часть «Курземите» получилась несколько экскурсионно облегченной.

Надо бы начать с Салдуса. Когда я проезжал по шоссе, этот район показался мне самым неприглядным — кусты, равнины, глинозем. А этой осенью к тому же льют дожди, непрерывно. Как это люди живут среди такой грязи? Существует ли еще понятие — деревенская скука? Не знаю почему, мне казалось, что именно в Салдусском районе жить скучнее всего, может быть, оттого, что и в газетах мало писали о культурной жизни Салдуса. Газеты сообщали о Цесисском театре и хоре, о Вентспилсском музее, об архитектурной реставрации города Талсы, о художественных выставках в Кулдиге. Что до Лиепай, так она — большой культурный центр. Салдус в этих статьях не упоминался. Но снова и снова о нем говорилось, когда речь шла о производстве, строительстве. Не было ли в этом какого-то противоречия?

Прекрасен Кулдигский район. С его рекой Вентой. Эдолскими холмами и песнями Алсунги. А Ница, а Руцава, а Барта? Они вообще казались окутанными какой-то романтической дымкой. Впечатления от Алсунги, Салдуса, Руцавы и Ницы описаны в дневниках композитора Эмиля Мелнгайлиса.

— В Руцавской округе грандиозные величальные, романтика старинных напевов, но умолк уже звон струн...

...В Ашванге веселая песня-лаула, красочность музыкальных инструментов...

...В Ужаве могучие моряцкие песни...

А в Вайнёдской богадельне Майя Баркене поет Мелнгайлису стариннейшую погребальную, почти непонятную сегодня, дохристианскую песню.

И тогда уже некоторые старухи говорили — чушь это какая-то, а не песня. Но Майя спорила с ними: нет, не чушь!

Да, да —

Коробочек старых жалоб
Только духам вскрыть под силу.

Не пристало сегодняшнему латышу приглашать духов своих предков на производственное совещание или к избирательным урнам, но и не помешало бы председателю колхоза и секретарю комсомола посидеть как-нибудь ночью в старой риге и прислушаться к голосам давнего-давнего прошлого, где...

— *немецкий пастор в Эдоле Бюттнер 100 лет назад начал собирать тексты. Это самые лучшие, потому что записаны раньше других.*

Мелнгайлис идет пешочком.

— *Очень зла Ужавская Корса. Наверное, там был самый центр морских разбойников-корсаров. Песенный строй — латышский, но как он осмыслен!*

...В одной халупе я оставил тетрадку, чтобы мальчишка-школьник записал мне как можно больше бабушкиных песен. Но что бы вы думали — бабушка диктовала мальчишке только те фривольные куплеты, которые раньше обычно распевались на свадьбах. Трудно установить — на свадьбах или на оргиях морских разбойников.

Мелнгайлис вдоль и поперек исходил Курземе. И прекрасен его язык. Иногда он идет и ничего не находит. Например, на маршруте Сабиле—Гайки—Салдус.

— *За долгую эту дорогу разыскал очень мало: около полусотни дайн, не положенных на голоса. Вся округа во время войны разбежалась. Исчезли старинные вещи, сказительницы дайн умерли, разбросанные по всей России.*

Он идет, ничего не находя и злясь.

— *На гребнях крыш еще сохранились коньки и навесы над соломенными скатами, как в Нице, как в Руцаве.*

...Есть такие места, где так называемая цивилизация

уже набросила свое плотное покрывало однообразия на ослепительную старину.

Я вижу, как футурологи всего мира снисходительно качают головой — ведь ВРЕМЯ целенаправленно, и чего этот старик ворчит?

— *Мне думается, что привести наш край к благосостоянию может только развитие кустарной промышленности на основе сохранения старины.*

И я слышу, как футурологи смеются.

С тех пор прошло верных полсотни лет. Значат ли они что-нибудь в жизни одного округа? Чего недостает людям — желания или денег, или доброго совета воскресным утром, праздничным вечером в свободный час, когда хочется чего-то необычного? Осмеливаются ли они приколоть цветок к груди? А этим летом обращали они внимание на радугу? И умеют ли они выбирать игрушку для своего ребенка? Или они только покупают игрушки для детей? Может быть, они учат их придумывать собственную игру?

Я мог бы, как старьевщик, бродить по свету и подбирать разбитые горшки, осколки и изношенные надежды.

Я мог бы выходить, как агент по снабжению, и приобретать для государства потенциальную человеческую энергию. Сборщиков кинетической энергии предостаточно, у меня же тонкий нюх — я чувствую потенции. За рощами и парками я угадываю пруды и чувствую, каков напор воды на запруду. Там, где люди ссорятся и бранятся, там запруду прорвала потенциальная энергия, только — не в том месте, где надо бы. Человеческие потенции не нашли своего русла.

Я мог бы ходить с прутиком, как человек ищущий воду, и рыть колодцы.

Газета спрашивает:

— *Много ли наберется людей, знавших, что и в Латвии, конкретно в Курземе, есть теплые и горячие подпочвенные воды — точно так же, как на Камчатке, в Грузии и в других местах нашей страны?*

Я знал. Там, под нами что-то есть. Я знал.

...Использование горячих подпочвенных вод для отопления зданий начнется в западных и юго-западных районах Прибалтики. На территории Латвии в этом отношении перспективны Лиепайский, Приекульский, Ауцеский районы, где можно отапливать не только города, но и

колхозы с их многочисленными фермами и обширным тепличным хозяйством.

У меня не раз спрашивали, почему для своих путешествий я выбрал именно Курземе. Вот он, ответ. Вышеприведенный. И нижеследующий.

— Здесь еще таится такой запас скопленной за долгие века энергии, что ее хватит надолго даже тогда, когда жизненные удобства будут манить человека к безволию и бессилию.

Так писал Мелнгайлис в 1923 году.

Видите ли, эти воды доисторических эпох, прежде чем они начнут обогревать розы Руцавского совхоза, должны будут пройти через культурные слои истории, что-то там растворить, чем-то обогатиться и напитать этим розы и львиный зев.

Накапливается богатство нашей страны, накапливается наша потенциальная энергия. Как мы распорядимся ими?

В уругвайских газетах появилось незаметное сообщение: «В Исле-Патруйе найдено месторождение золота». Прошло несколько недель, и весть о золотых россыпях стала сенсацией. Информация об Исле-Патруйе публиковалась под кричащими заголовками: «Клондайк в центре Уругвая!» «Остров сокровищ» (исла — по-испански — остров).

Все это началось в конце октября, когда сельская учительница Мария Гонсалес (теперь ее имя знает весь Уругвай) нашла на школьном дворе кусок кварца с вкраплениями золота. Вес последнего равнялся 250 граммам. Вокруг этого места были расставлены солдаты, чтобы доморощенные «геологи» не могли разграбить месторождение.

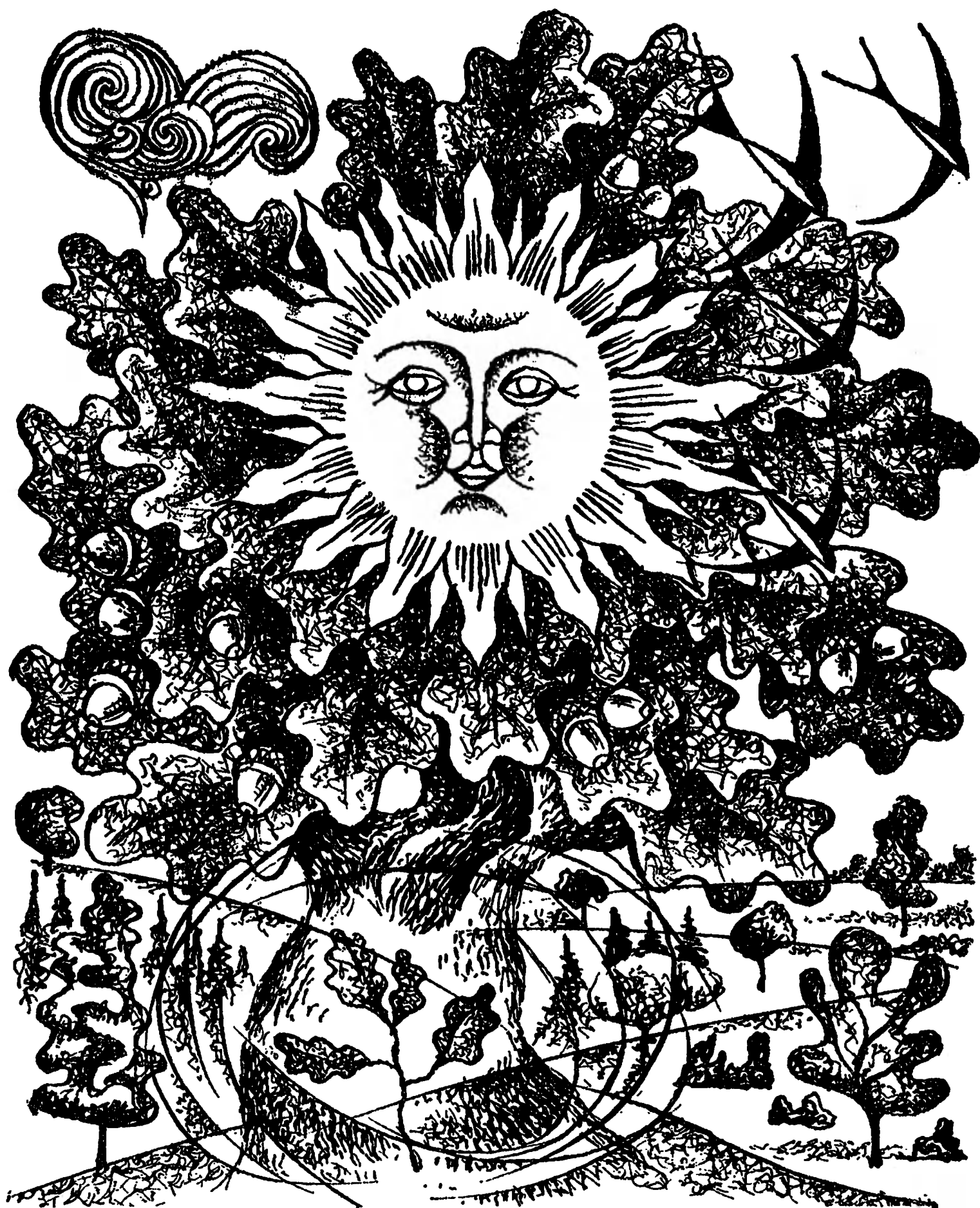
Страсти, разгоревшиеся вокруг Ислы, привели к еще одной сенсации, поразившей уругвайцев не меньше, чем первая. Оказалось, что в стране нет геологов. «Институт геологии без геологов!» — иронизировали газеты и сообщали, что в государственном бюджете не предусмотрены средства на геологические изыскания.

А мы готовы к открытию своих месторождений?

Я могу ходить и бесцеремонно допрашивать и пытывать, если это нужно.

— Чего вам очень хотелось в своей жизни?

— Добились вы этого?



- Все ли вы сделали, чтобы этого добиться?
- Почему не сделали?
- Вам помешали?

Надо записать язык вещей, пока эти вещи еще существуют. Пока они еще не заменены иными. В вещах живут человеческий труд, мысли, знания, оставленные нам другими людьми.

Я хожу с индикатором, определяющим эмоциональ-

ную ценность вещей. Производители обычно воспринимают только потребительскую ценность, но не видят общей ценности вещи. Эмоциональная ценность — часть, самая невидимая, общей ценности каждой вещи. Ее можно было бы приравнять к невидимым инфракрасным или ультрафиолетовым лучам спектра. Ведь вы же загораете от ультрафиолетовых лучей? Какой у вас чудесный загар! Ведь вы же загораетесь от положительных эмоций. Какими прекрасными вы тогда становитесь!

Надо было браться за дело, писать!

Но у каждой вещи есть своя пассивная инерция. У каждого повествования тоже.

Шли Дни поэзии. Мой друг Ливиу Дамиан, настоящий молдаванин, присутствуя на этих Днях, высказал такой глубокий интерес к нашей республике, к нашим песням и вообще ко всему увиденному, что публика после захватывающих выступлений Ливиу не хотела отпускать его со сцены. Я тоже не хотел отпускать Ливиу. Уговаривал отправиться вместе со мной. Провожая его, рассказывал, как пойду по стерне, сквозь осенние туманы. Как буду беседовать с духами предков и пить молоко на фермах.

О Латвии хотел писать Виталий Коротич, украинец, поэт, путешественник, мы уже сработались с ним во время поисков «перпендикулярной ложки», но он еще жил в Дубултском Доме творчества и никак не мог собраться с духом.

Проводив гостей, мы с драматургом Элмаром Ансоном вырвались как-то после обеда на Гаю, пособирать грибы. Присели на старом мостике через Браслу, и вдруг нахлынуло такое желание двинуться в путь, увидеть, как блестит солома на стерне, как светится паутина под осенним солнцем, — что я уже не мог выдержать. Элмар сказал: тебе надо ехать на машине. В первый раз ты смотрел на все с точки зрения пешего путника, в этот раз будешь смотреть через автомобильное стекло. Разве Сент-Экзюпери увидел столько всего не через окно самолета?

Вечером мне домой позвонил Айвар Фрейманис, застенчивый и упрямый художник, который в латышском киноискусстве буквально «болеет жизнью». Он сказал — в Кошраге боровики можно собирать сотнями.

Обленился старик, подумал я. Боровики!..

Уж лучше бы на киностудии дрался и спорил до инфаркта. Хотя, кто его знает, может, действительно, лучшее лекарство от бюрократии — ходить по грибы.

Я выехал, когда картофель был уже почти убран. Думалось — наступит как раз та пора, когда у людей есть время на разговоры. Куда там! Как бы не так! Но об этом позже.

Лил дождь, потом перестал, и Тукум плавал в тумане, как в озере, — только шпили торчали. Тучи в тот вечер были синими, черными и роковыми. Круглая, как на картинке, выплыла луна. Таким я Тукум никогда не видел — словно озеро, лежал туман.

Люди справляли свадьбы. В домах, украшенных зелеными гирляндами, молодых ждали родные. Вдалеке опять лил дождь.

Солнце было красиво замаскировано тучами, но все равно можно было определить, куда оно забралось. (И луна была.) Маленькие болотные озерки дымились, как котлы в преисподней. Природа начинала ржаветь.

● 2. ГЛАВА, ГДЕ НЕ СХОДЯТСЯ КОНЦЫ МЕЖДУ ДДПП И НОТ

Эта осень очень беспокойная. Так мог бы я назвать одну из глав своей книги. Так можно было бы назвать один день, проведенный в колхозе. Так можно назвать всю жизнь, прожитую председателем. Всегда чувствовать себя сжатой пружиной, всегда быть готовым к прыжку. Сделай вот это дело — и отдыхай смело, сделай еще это дело — и отдыхай смело. Сто двадцать дел в день, а с отдыхом все как-то не получается. О Блуме в районе сказали так: взрывчатая энергия, способен создавать нечто из ничего. Но вот Блум в постели — лежи, старина, хочешь не хочешь. Хотя районные врачи и делают все, что в их силах, а все равно в голос кричишь. Ногу поднимаешь обеими руками, чтобы улечься в постель, — до того она стала чужой какой-то и болезненной. Словно сам дьявол ее оторвать пытается. Боль утихает только тогда, когда вспомнишь о том, что так и осталось на полдороге, незаконченным. Ну да ладно, люди-то ведь работают. Блум своих агрономов и других специалистов всегда учил так: бросит как ребенка в воду, пусть сам выплывает! Попросту говоря,

оставит человека одного — распоряжайся, командуй, председателя нет, уехал в Ригу, в Москву, вернется не скоро. Действуй!

Эгил, к примеру, только что начал работать агрономом, когда у председателя случились неприятности (о них так просто не расскажешь, да и все теперь уже знают, что не было за ним никакой вины). Эгил остался один посреди поля, попав сюда прямо из техникума. Пришлось руководить, И он с честью справился с этим.

Вильгельму было восемнадцать лет от роду, когда Блум сказал ему: вот тебе печать!

А сам уехал в отпуск. Взвалит на тебя ответственность, и волей-неволей приходится тянуть воз. Он приезжает из отпуска, а у меня еще нет семенного клевера. Рычит. Как же я метался! Всю душу в это вложил.

И все равно на душе беспокойно. Одно дело — оставить их одних с педагогической, так сказать, целью, для тренировки, понаблюдать за ними, и совсем другое — свалиться в постель, с которой, поди знай, когда встанешь. Что ни ночь — снится, будто тебе надо связать две веревки, два конца, а они короткие, и каждый тянет в свою сторону. Слишком короткие! Будь у меня три руки! Ведь нужно сразу и тянуть, и связывать. Просыпаешься весь в поту. А потом опять чудится, будто какой-то пароход уплывает и ты пытаешься удержать его, привязать к причалу, или вагон отцепился и одной рукой ты держишь его, другой — стараешься прицепить к составу. Фермы надо сцепить с поселком, а поселок — с лимитом, лимит — с бюджетом, а бюджет — с производственными мощностями, мощности — с кадрами, а кадры... Иногда один конец у тебя в руках, а второй не знаешь, где искать. Шаришь рукой в темноте — к чему бы привязать, чтобы он снова не ускользнул. И вечно эти концы приходится соединять за счет собственной воли и энергии. Любой вопрос надо самому держать под уздцы, как лошадь. А вопросам этим конца нет. Мечешься, словно среди табуна коней, все время сдерживаешь их, собираешь вместе, и только за счет своих собственных сил. Человек, видно, быстро от этого изнашивается. Сам не знаешь, когда ты успел столько недугов нажить.

А все еще только на полдороге. Валяться не время. На полдороге крестьянин — от хутора к поселку. И даже тот, кто уже перебрался в поселок, даже он еще на полдороге — молодая пара спешит к маме на хутор за моло-

ком. Это выгодно. Пока у 70 процентов колхозников есть свой скот, семья живет раздельно: старики — на хуторе, молодые — в поселке. Колхоз должен был бы продавать своим молоко, да не может пока, не получается.

Парень, вернувшийся из армии, тоже на полдороге. Вроде зайца. И туда глазами косит, и сюда. Старый человек свое дело сделает в любом случае, вечером он, может, ползком домой добирался, но с утра — на месте и что поручено — выполнит. Молодой считает, что ему в таких случаях чуть ли не бюллетень полагается.

Проектные институты тоже на полдороге. Они-то, впрочем, все время на полдороге торчат. Все они успевают сделать только наполовину. Даже над типовыми проектами работают годами. А колхоз за это время ушел вперед — и, глядишь, они снова на полдороге. И вечно они пытаются реализовать уже существующие проекты, то есть тот товар, который следовало бы уценить, но который никак не уценят. Чем более устарелый проект они сбывают с рук, тем больше радуются — отделались от залежавшегося товара.

На полдороге? Это — на тарахтелке по лужам. На мопедке. Это штуковина повышенной проходимости. Потому что и сами дороги — на полдороге. Старые большаки мы распахиваем тракторами и пускаем под посевы, а новые еще не годятся для тяжелой техники. Потому-то столько дорог и расползлось, как блины на сковородке, этой необычно дождливой осенью повсюду, где проходили через них трелевочные тракторы украинских лесорубов. Дороги раскисли и оползли в придорожные канавы. Их надо прокладывать заново.

Бродя по Курземе, я обратил внимание, что нет бань. Не говорит ли это о том, что и человек находится на полдороге? От бани к ванной. Маленькие баньки исчезли. А новых домов с ваннами еще мало. Новых механических мастерских, оборудованных душами, тоже пока мало. Где люди моются? Или ходят немытыми? Или латгальцы чище плотнее курземцев? Поневоле станешь так думать, в Латгалии банек еще много.

Не стоило начинать разговор об этом. Блума и так перемалывали между двумя жерновами. С одной стороны, на правлении негодуют: «Что мы, не заслужили, чтоб у нас сауна была?» С другой стороны, Госстрой требует отдать виновных под суд. И Блума в том числе. За какие грехи? В чем он виноват? Правление решило, колхозни-

ки этого хотят, и это им необходимо. Колхозники имеют юридическое право, и моральное тоже. Ведь производственные постройки возведены. Нужна сауна. Ну, а что теперь с этой сауной будут делать? Она не достроена. Не разрешат достроить? Снесут ее?

Что ж, пусть сажают меня в тюрьму! Будет еще одна возможность отдохнуть. Сделай дело — отдыхай смело. И еще дело — потом уж отдыхай смело...

Да только ни черта не отдохнешь. Время беспокойное, да-да. За что ни возьмешься, повсюду ДДПП. Это принцип такой: давай, давай, потом посмотрим. В «Яунайс комунарс» ничего страшного не случится, но везде есть у ДДПП свои враги и свои защитники. Если подошло время какой-то кампании — стало быть, давай; что потом — за это кто ответит? За это отвечу я.

Оттого-то мне и надо выбраться. Выбраться из больницы, и как можно скорей.

Думаешь, не ждут? И как еще ждут!..

Осенние вечера. Промозглые, темные, под ногами чавкает грязь. Сторожиha обходит мастерские, обходит гаражи, а потом греется в котельной. Здесь можно потолковать.

Председателя? Думаете, не ждут?

Бывает, расстроишься, дальше некуда, — услышишь, как он говорит, — все вроде на свое место становится.

Хотели однажды взять его от нас. Мы — ни в какую. Тут же все из зала вышли.

И всегда он так устроит, что это не обернется плохим и человек внакладе не останется. (Если, конечно, это действительно человек.) И все дела идут, как положено, насколько это от него зависит.

Сама жизнь показывает. Я-то помню, когда в четвертый класс ходила, — один кустарник вокруг. Вроде полигона — кусты да кусты. А теперь посмотришь... Тогда они начинали с тридцати двух баллов, некоторые поля оценивались в пятнадцать баллов. А теперь земля обработана до сорока баллов. Это уже хорошая земля. И все потому, что он сил не жалеет. Ничего у нас сначала не получалось. Многие здесь перебывали. А потом этот появился.

Привезли его из партийного комитета, кадров тогда было мало, образованных людей не хватало, молодой парень из Каздангского техникума, неженатый. Товарища из района тоже звали Блумом. Собрание гудело: род-

ственников подобрал, привозят тут всяких! Он хотел сразу же уехать...

Второй Блум как сейчас помнит те неприятные минуты.

Нет, сказал, поживи денька три, а тогда уж, если не выдержишь, уезжай. Пальтецо ему свое отдал. Знаете этих парнишек из техникума: молодые, горячие, шапку не наденут, без пальто бегают. А пальто у него вроде и вовсе не было.

Он остался. Руководил колхозом, отстранил бригадира и взял на себя бригаду, сам ходил за сеялкой. И так вот шесть лет подряд. Потом приехали из Риги: надо бы 400 центнеров молока в расчете на гектар угодий. Блум добился этого. Теперь таков показатель по всему району.

Жалели мы его тогда, говорит сторожика Лиза. А недавно я на двадцатилетие председательства преподнесла ему двадцать роз. И все меня ругали за то, что их двадцать было, четное число. Как на похоронах. У него слезы на глаза навернулись.

Слезы... Никогда эти люди не плакали из-за своей беспомощности. От гнева, от отчаяния и бессилия... Хотя и такое бывает. Слезы — эта водичка, которой ты так стыдился, — вдруг затуманивают тебе глаза впервые в жизни, и ничего уж тут не поделаешь. У всех на виду скатится одна по щеке и упадет в букет из двадцати роз, и мужчины в зале тоже как-то странно заерзают. Редко такое находит на людей.

Я поговорил с Кенынь, она уже пенсионерка, одно время руководила Домом культуры. Ей и сейчас еще пороку не занимать. Кенынь и впрямь человек огневой, жилистая такая, бодрая... Небось в детстве все деревья с мальчишками облазила, приходит мне в голову.

Мы устраиваем карнавалы, создаем новые традиции, но подчас бьемся, как рыба об лед. Спорт у нас хромал все время. И вот мне, старухе, пришлось организовывать спортивные соревнования. А я только в новус играю. Только в болельщики и гожусь. Молодежь все какая-то рассеянная, поверхностная. Если чем-то и увлечется, так ненадолго, глядишь, опять все рассыпалось и развалилось, опять ничегошеньки нет! И ни за что не берутся всерьез. Не знаю. Тут мы ничем похвалиться не можем! Мы слишком богаты, все у нас есть, вот и потеряли бы-

лой пыл. Захотелось на коньках кататься? Пожалуйста, вот вам ботинки с коньками! Лыжи понадобились? Пожалуйста, вот вам и лыжи! Музыкальные инструменты? Купили. Блум как штык был на каждой генеральной репетиции. А сейчас самодеятельность снова развалилась...

Почти повсюду с этого начинается и этим кончается разговор — «сейчас опять развалилось». Как же долго будет продолжаться это «сейчас»? И все отвечают: не знаю. Кенынь тоже сказала: не знаю. Мы слишком богаты, сказала она. Но ведь к богатству-то мы и стремимся! Вот как оно получается. Вот в чем дело. Все это верно, да. И никто не знает, что делать. И тут уже не ДДПП, а НННН — ничего не делай, ничего не получится.

Если бы так рассуждал Блум, весь колхоз его давно зарос бы чертополохом. Потому что кто-то должен вытягивать. Кто-то должен быть паровичком на узкоколейке.

Да нет, какой там паровичок! Скорей уж конь скаковой, холерик, считает Кенынь. Всегда у него есть новые замыслы, одно дело подгоняет другое. Да, нервный. Станешь нервным.

В школе о нем твердили: целеустремленность. Блум всегда работает целеустремленно. Быстро разбирается в ситуации — что стоит делать, чего не стоит. Сидит, разговаривает, вдруг схватит карандаш и начнет что-то подсчитывать, какое-то время спустя все заново пересчитывает.

Клява из «Комунара» сказала о нем: дальновидный.

Соседский председатель Буртниец говорит: рисковый. Умеет рисковать по-крупному. Мы еще только нащупываем что-то, собираемся попробовать, а он уже запустил на всю катушку. Ну, а поднялся над средним уровнем, так тут уже все как-то само собой идет. Тогда и с тобой начинают считаться, и с твоими начинаниями. И к людям умеет он найти настоящий подход: ни один человек от него не ушел.

И Шмит говорит: рискует. Когда-нибудь это может кончиться плохо, но таков его стиль. А победителей, как известно, не судят.

Председатели говорят: риск. Ученые говорят: спонтанная эластичность. Спросите: что такое кирпич? Один скажет: строительный материал. Другой скажет: строительный материал или подставка, чтобы колоть орехи, игрушка в детском саду, гиря в старых часах. Такие люди легко и быстро переходят от одного класса явлений к дру-

тому, тогда как остальные стараются сначала исчерпать все возможности использования данного объекта в одной определенной области и лишь потом переходят к другой. Скажем, сапог. Охотничий сапог, непромокаемый сапог, кирзовый сапог, резиновый, сапог из юфти. И не приходит в голову, что сапогом может быть и твой начальник или шагающий в одном строю с тобой современник.

Считают, что чем больше развита в человеке спонтанная эластичность, тем легче он находит правильное решение любой практической задачи.

Блум и сосед неплохой, говорит Буртниец. Каждый день они разыгрывают партии в шахматы. В вильнюсском поезде один литовский кибернетик мне рассказывал, что начальник их лаборатории ввел такой стиль работы: с утра минут пятнадцать все обсуждают последние новости, упражняются в остроумии, комментируют, каламбурят и, только «разогревшись» таким образом, приступают к работе. А председатель «Драудзибы» Дамшкалис сказал: нигде он так обостренно не мыслит и нигде у него не появляется такое тактическое чутье, как во время охоты на кабанов — это самые умные животные, особенно старые лесные хряки.

Я расспрашиваю Шмита. Шмит работал у Блума несколько лет, он говорит: огромная энергия. Удивительная.

Но энергия рождается, когда ее «выбьет» какой-нибудь нейтрон, когда ее высвободят. Что «выбивает» ее у Блума? Честолюбие? Да нет же! Ему нравится работать. Работая, он входит в азарт, работа его захватывает. Таков Блум.

Ну хорошо, почему бы и не похвалить председателя за его огромную энергию? Ну хорошо, у председателя огромная отдача, у него поразительная трудоспособность. Это основа его успехов. Он может работать двенадцать, шестнадцать часов в день и вообще — сколько понадобится. Но при такой работе у него не остается времени на отдых. И если сейчас, говорит агроном, у Блума ноют кости и он болен, то все это от чрезмерной перегрузки. Он сам себя доводит до больницы и выходит из строя. Вот и Шмит сказал: если Блум свалится с ног, в колхозе это сразу почувствуют.

Молодой специалист, зоотехник соседнего колхоза Сипениек тоже принципиально отвергает такой стиль работы. Стиль, который держится только на самоотдаче и

на самопожертвовании человека, не обеспечивая регенерации его энергии, не соответствует современным принципам научной организации труда. Это недопустимо, чтобы один-единственный человек благодаря своей энергии сводил воедино все концы. Необходима НОТ. Мы хотим получать надои, используя любых кочующих доярок. Им больше двадцати коров поручить нельзя. А в Вильянди, в Эстонии, одна доярка уже теперь ухаживает за 120 коровами. В нашей республике такую цель поставили себе животноводы Вилценского хозяйства. В тульских колхозах на одну доярку приходится 100 коров. Мы тоже будем строить ферму на 400—500 голов. Работать на ней будут четыре — пять доярок.

Сипениек — человек разумный. В районе хотят, чтобы он стал председателем колхоза, а Сипениек не хочет. Может быть, потому и не хочет, что от председателя постоянно требуется отдача, отдача, отдача. И вот, до тех пор пока не будет обеспечена «регенерация энергии», председателями смогут быть те, у кого душа сама рвется к делу, кто не заботится об отдыхе. А кое-где еще попадают и такие перекасти-поле. Но летуны, понимаешь ли, долго не могут удержаться — тут не «выплывешь», рассуждает Сипениек, это тебе не отдел культуры, здесь нужно давать продукцию. Нет продукции — значит, ступай, голубчик, поищи-ка счастья в другом месте. Есть еще такие. Но приходят молодые специалисты, а вот эти, все выдавшие, везде выплывающие, облегченно вздохнут, уйдут на пенсию.

На повестке дня — председатель нового типа, который не станет разрываться на части, а овладеет НОТ, будет кнопки нажимать, рычаги поворачивать и работать уравновешенно.

И все-таки в эпоху компьютеров и диспетчерских систем будут вспоминать о старом председателе, как стоял он с букетом в руках, как не удержался — и мужская слеза стыдливо скатилась на розы. Эх, да чего уж там!

Шмит, Клява, Элтерманис — ученики Блума. Теперь у них колхозы вдвое больше блумовского. Может быть, это просто легенда, что у Блума есть целая школа? Бывает ведь, что районным руководителям хочется поговорить о своих достижениях, а если для этого есть основания — почему бы и не приукрасить немного, ну хотя бы насчет школы Блума?

Небольшая доля скептицизма все-таки помогает чело-

веку в его наблюдениях. Но скептицизм рассеялся, как только я обнаружил у всех учеников Блума одну общую черту: они загораются. Так загораются, что им наплевать, если потом их окатят холодной водой.

В «Комунаре» Юрис Клява с необыкновенным пылом (Блумовская школа!) взялся за строительство и построил самый красивый поселок в районе. С ним получается так же, как и с самим Блумом: хвалят и хулят, хулят и хвалят. Недавно наградили орденом Трудового Красного Знамени, а спустя какое-то время вклеили выговор.

Элтерманис был еще совсем молодым пареньком, когда его выбрали председателем. Весной в районе устраивают смотр посевов. Потом один из председателей организует у себя заключительный вечер. В ту весну эта честь выпала известному своими чудачествами Чакану. На столах было только пиво и пороссячьи ножки в качестве закуски. Позже Чакан повез гостей на лодках по озеру, доплыли до шеста, торчавшего из воды: здесь запрятана бутылка! Но кто ее достанет со дна для всей компании? Пока другие раздумывали, Элтерманис — прыг! Только круги по воде пошли. А когда везли его на берег, из карманов вода текла, и мужчины первый стаканчик налили ему: да, такой может быть председателем!

● 3. ГЛАВА О РОДОСЛОВНОМ ДРЕВЕ

И РОДОСЛОВНОЙ ПОРОСЛИ, А ТАКЖЕ О ТОМ,
ЧТО ДЕЛАЮТ ДЕНЬГИ

И для Шмита эти годы проходят в чередовании похвал и выговоров. С первого взгляда Шмит кажется чуть ли не флегматиком, но потом начинаешь понимать, какие перепады эмоций обрушиваются на председателя во всей этой жизни, складывающейся из «могу», «хочу» и «смею», «не могу», «не хочу», «не смею». В районе сказали: у Шмита очень развито чувство долга, а по характеру это человек застенчивый... Он приезжает и говорит: я не могу работать председателем. Почему это ты не можешь? Я непринципиален. Почему непринципиален? Я вижу, как кто-то прихватил к своему участку часть колхозного сада, а сказать ему об этом не могу. Да и дома Пчелка твердит одно и то же: ты размазня. Люди

еще не доросли до такого отношения. Они злоупотребляют твоим добродушием.

Пчелка — это жена его. Пчелкой ее прозвали потому, что она изучала пчеловодство. Пчелка считает, что Блум в своей требовательности к людям слишком крут, а Вилис — излишне уступчив. Я тут же вспомнил свой ночной разговор со сторожихой, и никак такое не укладывалось у меня в голове: крутой нрав председателя — и людская признательность. Это казалось мне несовместимым. Скорее всего Пчелка ошибается.

Ну, стало быть, лучше всего Блума знает сам Блум. Его кредо, которое никогда не подводило в работе: нужно быть строгим, но нельзя быть злопамятным. Есть тут у нас один руководящий: если он на кого-то взъестся, так чуть ли не надсмотр за ним устанавливает. Это не может быть стилем работы и стилем человеческого поведения, говорит Блум.

Пчелка категорична в своих требованиях. Она мыслит с размахом, а это не так уж часто встретишь на селе. В колхозе нет ни одного человека, который фиксировал бы и изучал резервы свободного времени у колхозников. Нет никого, кто находил бы эти резервы и использовал их. От кого прежде всего ждут нового стиля работы и нового стиля жизни? От молодых сельских специалистов. Это неправильно, что им выделяют приусадебный участок, они на нем «окрестьяниваются», новейшую литературу по специальности не читают, о новых достижениях не знают. Если лет десять назад и прочли какой-нибудь специальный труд, так теперь уж начисто его забыли.

Пчелка уверена, что в колхозе есть резерв свободного времени для культурно-массовой работы, но никто не старается выявить и использовать его. И тут начинается весьма опасный обратный процесс: колхозник снова превращается в некоего новохозяина. Беда не в том, что он имеет в личном пользовании полгектара пахотной земли и 1,3 гектара пастбищ, а в том, что опять он становится рабом этой земли, попадает в зависимость к ней, что она его вынашивает и изнашивает, поглощает все его время. И нет никого, кто указал бы на другие возможности использования своего времени.

Скоро вернется Вилис. Но говорить он будет мало. Пчелка уже предупредила: он неразговорчив. Он, когда журналисты пускаются в расспросы, начинает болтать

глупости и выводит их из себя. Неизвестно, нарочно или нет.

Шмит приехал из района мрачный, и весь вечер его словно червь какой-то точил. Позвонил Кляве — Клява в Узбекистане. За три года впервые отпуск взял. Позвонил Элтерманису — Эгил всегда говорит: приезжай! Так вот, втроем они все и одолевают. Иногда настолько все опротивеет, так тяжело на душе станет, что дальше некуда. Вот как сейчас. Тогда остается только позвонить: ребята, на границу! Границы их колхозов сходятся. И если услышишь такое: «Ребята, на границу!», — то ты обязан туда примчаться, пусть даже ночью...

Сегодня 5 октября. Да, вчера лил дождь. И не выдержали нервы. Но колесо уже заменили, и день будет солнечным. Комбайны буксуют, надо подождать до полудня, пока подсохнет. А может, сегодня вообще еще не подсохнет? Главное — спокойно! Теперь уже немного осталось — сахарная свекла займет не больше пяти дней.

Ну, ладно, поищем ДРЕВО! Пока подсыхает земля и стоят комбайны. В другое время председателю некогда искать древо. На Празднике урожая или в День крестьянина мы могли бы конкурс устроить: у кого самое могучее родословное древо. Вдоль стен — изображения родословных древ всех старейших родов. И с особым почетом выделены те ветви, которые расцвели и дали свои плоды на селе. Это генеалогический парад села. И пусть люди удивляются самим себе; ну и ну, неужто у Яниса столько родни?

Так в колхозе «Яунайс комунарс» удивлялся один парень, услышав, как во дворе дома «Яунземь» председатель сельсовета Барон рассуждает с нами о своей родословной. Мы толковали о том, что колхоз сам увековечит тут память ее близкого родственника, собирателя народных песен, отца латышских дайн, Кришьяниса Барона. Здесь, у родственников, он работал в чердачной комнатке. Здесь растут его любимые старые дубы, отсюда виден берег Венты, старые крестьянские хозяйства «Элки», «Либьи», еще уцелевшие, и старинные шведские укрепления тоже. Это места, которые должны быть сохранены. А молодые не знают, они этого не проходили. Знаешь ли ты, как раньше назывались «Лаучи», тот самый дом, там, за пашней, который теперь зарос кустар-

ником? Он назывался «Кирмграужи». Старый дом давно уже снесли, но клеть еще стоит.

Хозяйка «Кирмграужей», молодая и красивая, влюбилась в батрака. Хозяин был уже немолод, и жена его тайком нагая любовалась собой в зеркале. Как скучно поздними вечерами, когда вся работа уже переделана! И тоже не было ни культорга, ни карнавала, ни курсов современных танцев. И росла у хозяйки «Кирмграужей» красивая дочь, литвины приезжали свататься. Отдавать? Не отдавать?..

Так было в романе писателя Яншевского. Неподалеку отсюда находится его отцовский дом.

Есть его книга «Родина». С эпиграфом самого автора.

Мне нравятся народной жизни странности,
 Многообразие ее и крайности,
 И наша родина, ее природа,
 Столь юная, прекрасная и добрая:
 Вот поле ржи под ветром легковейным,
 Что обещает вдоволь хлеба на столе
 семейном...

Но среди забот о «хлебе на столе семейном» не следовало бы перепахивать и тропку в «Кирмграужи», хотя самому Яншевскому нравились и «лес мечтательный с угрюмым взглядом», и (так же как сегодняшним молодым сельским специалистам) «равнина с необъятным горизонтом». Между нами не пролегли столетия. Красота цветущих хлебов всегда волновала человека. Но — кроме этой красоты есть еще ПАМЯТЬ О ДРЕВЕ.

Меня по перепаханной дороге ведет в «Кирмграужи» пионерка Ивета из отряда имени Яншевского.

Ты его книги читала?

Не-ет. Учительница рассказывала. Они старым, готическим шрифтом напечатаны, не понимаю.

Вот тебе и на. Из отряда имени Яншевского и не читала! А что тебе нравится?

Лошади.

Ивета будет наездницей.

Как странно, что есть еще дети, которые любят лошадей. И никак им не вдолбишь, что лошадей надо пускать на корм для песцов на зверофермах.

Но вернемся в «Яунземь».

Будут здесь что-нибудь делать? Да, будут. И ты еще

в Нигранде родился! Неужто не слышал, как Янис Барон хвастается своими родичами?

Слышал. Кажется, я начинаю верить.

Так пусть не удивляются и другим семьям. И помнят —

Там, где зелен дуб,
Дуб раскидистый...

Все эти «дубы раскидистые» хорошо согласуются с чувством передовиков и специалистов. Тут уместны венки из дубовых листьев, награды и почетные грамоты. Но главе рода не надо дарить какую-нибудь дощечку с инкрустацией, эту «деревянную картину», или сувенирный пустячок, ему надо подарить основательный дубовый стол, за которым могли бы собраться все дети и внуки. А матери — сервиз. Самый большой из всех, какие можно достать. Нельзя достать? Ваш колхоз сможет — ведь над вами шефствует фарфоровый завод. Я видел рижские сервизы на столе узбекской семьи.

Будь я директором — приложил бы еще запасной комплект чашек — ведь на каждом семейном торжестве внуки обязательно что-нибудь разобьют.

Подарите деду и бабуленьке за то, что они хранят профессиональную честь землероба, — киноаппарат, чтобы кто-нибудь из внуков заснял свой род и оставил дубликат этого фильма в колхозном архиве — для хроники, для истории, для непреходящего. Ведь придет же время, когда у людей появится мудрое желание посмотреть хроникальные фильмы своего края.

Подарите деду магнитофон, самый дорогой, такой, который не портится. Пусть запишет он свой голос и голоса своих сыновей! И если кто-то уйдет на другой кошт: на кошт ученого, или инженера, или художника, пусть он оставит свой голос и расскажет, почему он так поступил, — он, мол, не может иначе, у него есть свое призвание и долг по отношению к своему таланту, к умелости рук своих, способных делать какое-то дело лучше, чем прежде. Потому что только во имя чего-то серьезного и доброго человек имеет право отказываться от серьезного и доброго.

Пусть эти голоса останутся в колхозе.

И все это возможно.

И все это возможно.

Тут же, на месте.

Уже сегодня.

Но есть ли сегодня в колхозе такие старинные роды? Мы едем к Старому Пилениеку, к тому самому Пилениеку, чей сын работает председателем в Варме. Но по дороге заезжаем поглядеть на новый свиной хлев. Это запатентованный колхозом «Друва» хлев на целую тысячу свиней, где работает всего один тракторист. Я не стану здесь объяснять, что значит — тракторист в хлеву, пусть каждый догадается сам. Но я с удовольствием вспоминаю свиноматок и поросят. Одному не досталось соска, он карабкался через других, искал, толкался и повизгивал. Мне пришли на ум все эти разговоры о молодых, какие они «не такие» и несерьезные, и еще бог знает какие, и мне подумалось — для того, чтобы человек рос здоровым, чтобы он не был заморышем, чтобы у него был свой прирост «живого веса», да и вообще свой вес и устойчивость, должно быть у человека ЧУВСТВО МАТЕРИ. Это не то же самое, что «мать», мать есть у каждого, нет, всю долгую жизнь должно сопровождать человеку чувство матери. Ее зовут мамочкой в детстве, мамулькой или мамахен — в юности. Моей матерью — в зрелом возрасте. А когда матери уже нет, это чувство не должно исчезать, оно должно быть вокруг нас — в других матерях, в собственной жене, во всем том материнском, что мы зовем родиной.

«Ни такой, ни сякой» — это как поросенок, потерявший сосок.

У Пилениека есть родословное дерево. Пять сыновей и одна дочь. Один в Варме председателем. Все ли сыновья такие расторопные? Ну, люди они энергичные. Этот поумнее, образования у него побольше, у других такого нет. Ну да, один в Варме, другой тоже в колхозе, сварщик, теперь в нашем колхозе целых четыре Пилениека: я сам, сын, внук, он на пилораме работает, и племянник еще. Один в Салдусе, шофер, один в Броцени, дегтярник, и один в Риге, на вагоностроительном. Один внук уже поступил в академию, будет механиком. Есть родословное дерево — чего уж там! Я дам тебе свои папиросы, у тебя-то, наверное, нет ничего.

Собираются не часто. Но когда соберутся, приходится большой стол расставлять, говорит мать. Девять внуков.

Не накормишь. Пилениек не то улыбается, не то хмурится. Ну что это такое — у шестерых девять? Это же ерунда. О чем они думают, в конце концов?

Ну, вот когда нарисуешь, сразу видно: две ветви чисто крестьянские. Не много, могло быть больше. Разве не остались бы все в колхозе? Да вот жены не согласны.

Какие еще тут старинные фамилии есть? Пецис, Плаудис, Лауциниекс Жанис... Перминдерис Пелите...

Мы едим колбасу, и запиваем ее пивом (или, если хотите, в обратном порядке), и рассуждаем. В конце концов, никакого парада родословных деревьев в колхозе не получится. Нечего показывать. Но ведь рождается НАЧАЛО. И не следует ли окружить его почетом?

Договорились чер-те до чего, председатель сидит на чурбаке у плиты, ест колбасу и смеется: картофель-то не растет в красной глине!

Как это не растет, чего ты смеешься! Пилениек сердится. А как же они тогда разбогатели?

Я опять задумываюсь — над этим «разбогатели». Дьявольская власть вещей — это не ново. Пилениек не был богат, сохранил среди мировых бурь себя и детей. Богачи, видишь ли, в трубу вылетели, не осталось ни обычного дерева, ни родословного. Сегодня мы опять богатеем. Только это уже другое богатство, другие цели и замыслы, но, видишь ли, те времена, когда на вещи молились, не так уж от нас далеки.

Детский сад ничего не дает?

Как это ничего не дает?

Детский сад дает прямые убытки — тридцать пять тысяч в год. Дешевле выходит, если матери воспитывают своих детей дома. Главный агроном «Друвы» говорит от всей души. Мы стоим в уютной комнате для игр колхозного детсада. Председатель райисполкома, колхозный агроном, заведующая детским садом. Вы посчитайте сами: в садике шестьдесят пять детей из сорока семей, стало быть — сорок матерей, из них двадцать — половина! — работает в детсаде.

Ну и что же? Это ведь вполне нормально и естественно. Должны же матери воспитывать детей. Уж, скорее, не нормально то, что даже в колхозе, где есть свой детский сад, сорок семей имеют только шестьдесят пять детей.

Было другое соотношение, говорит заведующая, но

вот опять количество детей уменьшается. В связи с выпуском «Фиата».

Агроном Енде считает, что штаты здесь ненормальные. Из-за двадцати женщин содержать детский сад! А какой прок от остальных? Только зарплату получают!

По тону чувствуется, что колхоз хоть сейчас готов отдать детский сад кому угодно, лишь бы облегчить свой бюджет, лишь бы повысить свое **ИМУЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ**.

Можно понять колхозы, в которых поселки еще недостроены. Если колхозный центр невелик, то и людей в нем мало. И если в радиусе одного километра живет пятьдесят, а то и меньше семей, детский сад не откроешь. Никто дальше чем за километр своих детей водить не будет. Но ведь «Друва» гордится своим колхозным центром, интенсивностью своей жизни!

Ход рассуждения таков, мы уже слышали его: детский сад построен не для будущего поколения, а ради 2×20 рабочих рук! И какой прок от этих матерей-воспитательниц? Только зарплату им плати! И все это говорится в присутствии руководительницы детсада, безо всякого чувства неловкости...

А здесь, в детском садике, подрастают ваши будущие — может быть, даже нового типа — специалисты! Ученые, художники. Художники? Художники уйдут в город. Нам они не нужны. Как не нужны? Даже те, которые приносят колхозу доход? Ведь вы же в своем колхозном магазине продаете, кроме прочего, разные деревянные изделия, туески и ковшики. Значит, у вас уже работает какой-то художник?

Нам не нужны художники для заработка. Мы все зарабатываем собственным трудом.

А художники вообще?

Пусть они сами зарабатывают на хлеб и сами растят новых художников.

Я уже говорил. **ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПСИХОЛОГИЯ** обладает своей инерцией.

Несомого река несла,
Пес лаял на облаянных,
И люди говорили
Говоренные речи.

Все люди, может, и не говорили бы, но раз уж так говорит главный агроном, раз так говорит председатель, кто же станет возражать?

Какая разница между тем, что говорят разные председатели! В «Драудзибе» Дамшкалн говорил так: воспроизводство человека — дело общественное, но сегодня оно еще фактически взвалено на плечи отдельных людей. Для женщин в колхозе надо было бы сократить рабочее время, и рано или поздно мы к этому придем. В Нице, в «Зелта Звайгзне», председатель Шалм сказал: «Я думаю, что каждая женщина на селе заслуживает награды. До пяти, до половины шестого — в колхозе, потом — домашнее хозяйство и дети...»

Заведующая детским садом Бригита Степена проглотила обидные слова: насчет зарплаты, которую она получает неизвестно за что. И многие проглотили. Не пойдешь же ссориться, работа хорошая, как сказал сам агроном Енде: чего им еще надо? Работают меньше, чем горожане, а денег больше, чем у горожан.

Деньги...

О деньгах нечего говорить. Деньги есть. Есть даже тринадцатая зарплата. Когда в «Друве» распределяют премии, то ветераны колхоза получают львиную долю. Если человек проработал более десяти лет и в среднем получает 150 рублей в месяц, то премия составляет 20 рублей в месяц, то есть 200—250 рублей в год. В «Коммунаре» колхозники имеют в сберкассе, в среднем, 1000 рублей на семью. У некоторых семей скоплено десять, пятнадцать, двадцать тысяч. Есть здесь весьма денежные девушки-животноводы, зарабатывают много — тут тебе и приданое и золотые руки в придачу.

ЧТО ДЕЛАЮТ ДЕНЬГИ, пока человек работает? И что делают деньги, когда человек отдыхает? Мы уже выяснили: личные дома колхозники строят неохотно. (Во-первых, ждут, когда колхоз построит из общественных фондов. Во-вторых, нет еще достаточных строительных мощностей.) Продукты колхозник может купить по себестоимости. Есть приусадебный участок. Детский сад дешев. Радио, телевизор, велосипед — и за имущество-то не считаются. Мебель тоже. Что делают деньги?

Деньги лежат в сберкассе или в чулке и ждут.

Чего?

«Жигулей».

А разве это плохо?

Отнюдь.

Люди хотят повидать мир. Я считаю неполноценным того человека, который никуда не хочет поехать и ни-

чего не хочет повидать, сказала заведующая детским садом Бригита. Людям нужны автомашины. Поэтому и малышей рождается меньше. Деньги есть у тех, у кого нет детей, сказали мне в «Коммунаре».

Машины нужнее? Да, теперь все так рассуждают. Бригита за эмансипацию женщин.

Но действительно ли автомашин ждут с нетерпением для того, чтобы повидать мир? Почему же в таком случае школы отказываются от путевок в Артек? Потому лишь, что не нашлось родителей, которые согласились бы заплатить 100 рублей за путевку для своего ребенка. Копили на машину? За чей счет? За счет развития своего ребенка? Деньги есть у того, кто живет вне общества. Кто живет интересами общества и трудится, у того денег нет, опять приходит мне на ум то, что я услышал в «Коммунаре». Колхоз «Лутрини» получил три путевки в Болгарию. Третью их стоимости обещал оплатить колхоз. Все равно никто не поехал. Путевки пропали. Шоферы, например, в талсинском колхозе «Друва» охотно отказываются от отпуска ради денежной компенсации. Это же ужас, ездить с женой в экскурсию, говорят они. С мужиками едешь — одна забота — у пивных ларьков останавливаться, а с женой попробуй, остановись.

И куда же ездят те, кто уже получил долгожданную машину? К свояку Элмару, к брату на день рождения, да так, что на обратном пути за руль приходится садиться жене. Надо же добираться домой. Так говорили Бригита, Мелита и Алма. Дзидра и Велта своих уломали, ездят теперь в экскурсии всей семьей. Но обычно этой машиной только бахвалятся. ВЕЩЬ!

Вообще этим шоферам нужны умные жены, говорил Вилис, когда мы уже уезжали от Пилениека. Возьму я один хороший выпуск средней школы, всех девушек, построю для них общежитие и теплицы — выращивайте розы! Они такие образованные, утонченные, красоту любят — пусть ухаживают за цветами. И пусть выходят замуж за наших механиков! Тогда эти здоровенные парни знали бы, куда девать свое время и энергию! И деньги тоже. Частная инициатива развивалась раньше по хозяйственной линии — купить дом, скот, машины и расширить производство. Теперь в хозяйстве господствует общественная инициатива.

Мы разговариваем с секретарем райкома Дзирнисом.

...Частная инициатива сохраняется в семейной жизни. Человек покупает мебель, машину... а дальше? Деньги есть. Колхоз для бала закупает буфет вместе с буфетчицей. На колхозном балу весь буфет раскупают за два часа. И точно так же его раскупают на балу строителей, на балу связистов, на балу торговых работников, на балу лесоводов, на всех балах. В том, что говорил председатель «Лутрини» об образованных женах для механизаторов, есть глубокий смысл: нам нужно иметь в колхозах больше людей с культурными запросами. Кто знает, как использовать время и на что тратить деньги. Женщины всегда оказывались в быту более способными на выдумку...

Куда и как катятся рубли? Побывайте на ЯРМАРКАХ и вы увидите.

7 октября. День выдался сносный, не льет. И в низине Салдусского парка ветер не пробирает до костей. Ведра, подойники, кастрюли и рукомойники... Бруски точильные и вещи носильные... Что может быть лучше... Собирайся, народ! Собирайся, народ!.. Сильнее всего шумят возле «корчмы».

Рожь, ячмень — всего в избытке,
Накормлю тебя я вдосталь!

И действительно кормят, и играет старая, добрая музыка. Людей — не протолкнешься, скрипки поют, пуговицы летят, павильон шатается. С вывески на ларьке счастливо улыбается свинья харя.

Собирайся, народ,
Отведать пивка!
Отведав пивка,
Закуси колбасой!

Кипит и клокочет. Вертись, поворачивайся! Вертись, поворачивайся!

Нету тут ни черта!

Ну выдумки-то им не занимать-стать!

Если большая очередь будет, я уйду.

Говорят, латыши не умеют веселиться. И вовсе это не так!

Уж это-то ясно — буфет раскупят. А еще что?

Что еще? Глянь-ка, что за очередь!

1) За пряничными сердцами, самая длинная.

2) За стиральным порошком.

3) За пластинкой Раймонда Паула «Скажи, где этот край».

Люди истосковались по красоте, но хотят купить подешевле. Не верите? Пройдемся. В сувенирных киосках, на стендах прикладного искусства раскупают прежде всего мелкие безделушки. Тканые настенные ковры висят до самого закрытия ярмарки.

Раскупают лакированные деревянные брошки кустарной работы. Тетка, торгующая ими, говорит: нет, это вовсе не чудовищная цена. И сделаны они на совесть. Одна выстирала платье в стиральной машине вместе с брошкой — хоть бы что.

А комбинат «Максла» привез из Риги яркие глазурированные медальоны — не покупают. ЧУЖЕРОДНЫЕ.

Искусство на этой ярмарке еще не обрело своей стоимости, цена искусства для большинства еще чужда и необъяснимо высока. ЭТО НЕ ИМУЩЕСТВО.

Село еще обходится заменителями искусства. Возвращаются домой с ярмарки — кошелек пуст, а сумка полна всяких безделушек. Их можно расставить на книжных полках, на подзеркальниках. Их можно дарить друзьям. Надо же что-то дарить — на именины, на день рождения, на новоселье. И так вот весь дом оказывается набит этими заменителями искусства, которые не выбросишь, даже если бы и захотел — они ведь дареные! Я знаю ученых, медиков, людей хорошего вкуса, которые стесняются этой галереи подарков, но и выбросить их не решаются, переправляют все из квартиры на дачу.

Между ничтожеством этих безделушек и ничтожеством мышления существует весьма непосредственная и тесная связь. У бездарного и желания бездарны. Он и другому дарит всякую бездарь. Но если б это одаривание производилось только в личном порядке! Поглядите, что дарят на общественных чествованиях победителям соревнования, скажем, или уходящим на пенсию. Уж конечно не купленное в комбинате «Максла» или заранее приготовленное, а какой-нибудь сувенир из неходовых, в последнюю минуту купленный в универмаге. Ну хорошо, вот Сатикский колхоз подарил уходящим на пенсию одеяла из верблюжьей шерсти, а передовикам — путевки в Крым. Потому что от этих сувениров никакого толку нет,

сказал председатель. Ну конечно же нет! Но ведь дарят.

Обычно это так называемые «настенные картины» — дощечка с интарсией из фанеры или какая-нибудь другая безделушка, которую бездарный организатор заметил на ближайшем сувенирном стенде, тут же, возле райкома комсомола, тут же, рядом с сельхозотделом или Домом культуры. Послушайте, бездарнейший на выдумку человек награждает, к примеру, того, кто на весь район знаменит своими способностями и инициативой. Парадокс. Оскорбительный парадокс.

В 1973 году на республиканских соревнованиях доярок в Сигулде одну девушку наградили за сшитый ею с большим вкусом рабочий костюм доярки. Наградили безвкусной инкрустированной дощечкой. Другую дощечку она получила за трудовые достижения. Человек работал на редкость самоотверженно, на редкость успешно. Так разве не заслужил он какую-нибудь вещь редкой красоты, нечто такое, чего он не видит в будничной жизни? А этот «сувенир» он видит в каждой лавчонке культтоваров, и никогда ему не приходило в голову тратиться на него. Дарят то, что в магазинах не раскупается, сказала Райта Цируле, одна из победительниц республиканских соревнований. Смех да и только. У многократной чемпионки Айны Линаберг уже три телевизора стоят. Один свой и два подаренных. А ведь телевизор каждая из нас может сама купить. Нам не ВЕЩЬ нужна, ее мы и сами доставим. Нам нужно ОДОБРЕНИЕ. Нечто красивое.

Одобрение... Это признание, симпатия, уважение, даже удивление и еще многое другое, что воодушевляет человека. Это отнюдь не вещь, которую он сам может купить. Он работал не будничными темпами, и награда ему причитается не будничная. Это уж никак не телевизор. Может быть, это годовой абонемент в театр (в один? или во все?), может быть, это акварель, ткань редкой художественной выделки, чеканка, скульптура. Может быть, путевка.

Если учреждение, готовящее подарок, мыслит не бездарно, то следует знать, что сегодня на селе складывается новая социальная структура.

Чем люди украшают свою квартиру? Я зашел в новый дом. Я обошел все квартиры, мне это позволили, и теперь мне стыдно говорить об этом, но ничего красивого я там не увидел. Полки, как мухами, засижены маленькими сувенирчиками. На стенах все те же маленькие де-

шевые фанерные картинки, иногда на них наклеен еще и янтарь. Кое-где висят плетеные циновки.

Итак — деньги на предметы искусства сельский житель не тратит.

И сам тоже не создает уже художественные ценности, которые удовлетворяли бы его эстетические запросы. Не ткёт одеял, не ткёт настенных ковров, не делает плетеных кресел. Только в Руцаве, Нице, Барте кровати еще застелены бабушкиными одеялами. Но в редкой семье увидишь новую культуру стенного декора и лишь в тех случаях, когда кто-нибудь из членов этого семейства учится в городе на курсах художественного ткачества. Итак — центры народного искусства переместились в город, так же, как и центры всех других искусств. Почему? И закономерно ли это, неизбежно, правильно, естественно ли?

Думаю, что нет. Думаю, что нарушено соотношение между духовным и физическим трудом на селе. Как я уже говорил, создается новая социальная структура, в которой слишком мало места уделено стремлению человека к художественному творчеству. Если натуральное хозяйство давало производителю возможность удовлетворить и свою тягу к созданию произведений искусства (в ткачестве, в резьбе по дереву, в чеканке), то интенсифицированное производство сегодняшнего села, чья продукция является чисто промышленной, заставляет искать и создавать прекрасное лишь в свободное время. А организаторы современной сельской жизни считают, что они являются чистыми производственниками. Помните, что сказал агроном? Пусть художники сами воспроизводят художников. Мы должны производить только продукцию.

И пока на селе, сегодняшнем, занятом крупным производством селе, не будет людей, способных посоветовать и указать возможности творческого использования свободного времени, до тех пор центры народного искусства будут искать прибежища в городе. Так, например, ткацкое искусство будет до тех пор соседствовать с техникой современного гобелена, пока целенаправленное руководство не вернет его обратно на село. Потому что в городе оно из книг черпает свой этнографический орнамент, а на селе могло бы черпать свои краски там же, где черпало их издревле: серое небо, зеленые всходы ржи, черно-зеленые ели, желтые березы, осенне-бурая

пахота. Так, словно пронизанные внутренним светом, светились пейзажи Снепеле этой осенью, этой серой осенью. Возле Либаги красно-коричнево полыхала пахота под закатным солнцем. Может быть, еще зорче, с прирожденным издревле и процеженным сквозь современный вкус видением придет ткачиха в сельский Дом культуры и в ритмах полей, и тумана, и звезд увидит более изысканные краски, чем видели наши матери и чем видят их сегодня выпускники храмов искусства. Вернется в деревню ткацкое искусство бабушек и прихватит с собой новый, еще не понятый селом, гобелен. Но вернется не раньше, чем ему освободят место в сельской культурной жизни. Потому что вернется оно уже не как хозяйственная, а как культурная необходимость.

Кое-где это уже произошло. В Никрацкой школе выставлены дипломные работы выпускников Академии художеств. После выставки один гобелен остался здесь «в бесплатном пользовании», чтобы смотрели на него, радовались, а главное — привыкали.

Как город проникает на село? Чем он обогащает вкус, понимание искусства? Например, мода, сказала в Никраце матушка Кейзар. Мода не только остается в памяти, она оставляет после себя и нечто материальное. Всегда на демонстрацию мод в Никраце что-то привозят и продают.

Клубок разматывается все больше и больше. Я уже устал от этого. Завтра надо заглянуть дальше: что имеют люди от своего свободного времени. Не что они делают, а что имеют.

Но сегодня еще гудит ярмарка, сегодня еще день веселья и суматохи, речей и зазывных выкриков, день поющих в корчме скрипок. 15 тысяч человек. Никогда я ничего подобного в Салдусе не видел, говорит какой-то дядя сопровождающей его тетушке. Ни на Празднике песни, ни на Празднике труда. Сердечко купила?

На большой эстраде демонстрирует моды Рижский Дом моделей. Амфитеатр заполнен зрителями. Мужчина с саженцем яблоньки, женщина с авоськой, салдусские «стиляжки» и шоферы в кепках.

Уф! Ну и галстук!

Теперь широкие в моде. Как слоновые уши.

Чистая мартышка!

Дикторша обращается к тысячам людей: Молодые девушки, удобно чувствующие себя в брюках...

Меня восхищают!

Меня мороз по коже подирает!

Дикторша не отстает: Мужчины хотят приобрести для своих пальто воротники из натурального или искусственного меха...

Давай их сюда!

Скажи, где можно купить!

Начинается поднятие тяжестей. Кое в ком играет такая сила, что они не могут удержаться, идут на сцену и — поднимают эту гиррю! Двадцать семь! Видите, все более серьезные мужчины поднимаются на сцену!

Выступает Вишкер! Насколько известно, с мясокомбината. Выпустил гирию, из соревнований выбывает. Не повезло!

Тридцать пять раз! Рекорд. Теперь вы видите, что значит систематическая тренировка. Ну, есть еще силачи? Нет? Есть! И поднимает тридцать шесть раз.

Люди добрые, учитель! С галстуком! Ха!

Но учитель Аpsитис, с галстуком, выжимает сорок один.

Все? Нет, еще один отыскался. Хочет переплюнуть.

Руку ему натирает? Рука мягковата. Тальком хочет присыпать. Нет, браток, это народный спорт, здесь настоящая рука нужна!

Не потянет!

Записывайтесь, кто может выжать больше сорока одного? Нет?

Аpsитис — 41 раз — золотая медаль и торт.

Андерсон — 36. Андерсон! Вызывается Андерсон! Но Андерсона нет. Андерсон уже отправился в корчму.

И вот наступает великое мгновение. На двадцать тысяч билетов — сто выигрышей. Один из них — «Жигули».

Крутится колесо счастья. Называют номера. Амфитеатр затаил дыхание. Стонет, смеется, гудит, снова стонет. Нееету! неееету!

Радостный возглас в толпе: есть!

Разыграны уже: электрическая взбивалка, аппарат для сушки волос, скороварка (о, это вещь!), игрушечный тигр (ахахаха!), деревянная картина за двадцать один рубль. Произведений искусства не было и в лотерее, до этого не додумались. Я понимаю, что трудно, конечно, додуматься до того, чтобы включить в число выигрышей комплект париков, спаниеля или фокстерьера, рысака и расписные сани, но произведения искусства: ковры, че-

канка, картины, есс, что украшает дом, ведь могло бы быть!

Я ухожу в гостиницу, так и не увидев того, кому достался главный выигрыш. Потом оказалось, что все десять тысяч ждавших этого ждали напрасно. Выиграла девушка, спокойно сидевшая дома. Так ей и надо!

Этот день был таким перегруженным, что весь следующий я лежу в гостинице и размышляю. Наше прикладное народное искусство стремится не к монументальности, а разменивается на мелочи.

Мне они подарены, мне, следовательно, предназначались и назначались. Все эти маленькие цыплятки, погремушки, туесочки, птички из сосновых шишек с перышком вместо хвоста, бочонок величиной с наперсток, маленький потрепанный Лачплесис, крохотная Спидолия, куколочки, деревянные брошечки и пластмассовые кошечки — они заполонили весь дом. Маленький трубочист требует маленьких труб, котеночек — маленьких мышек, маленькие бутылочки требуют маленьких пьяниц. Книжная полка для них велика, телевизор и столик — велики. Я начал делать маленькие полочки. Но чтобы выпилить маленькие полочки, нужны маленькие пилочки. Для маленьких гвоздиков нужны маленькие молоточки. Вскоре я заметил, что по сравнению с маленькими полочками стена несоразмерно велика, и пришлось уменьшить ее, я ниже опустил потолок. Потом оказалось, что маленький Лачплесис хочет размахивать маленьким мечом, а Спидола — играть в маленьком театрике, и мне пришлось открыть маленький театрик. Я открыл его и назвал Художественным театриком. С таким же успехом его можно было назвать Драматическим театриком.

Постепенно эти миниатюрные безделушки стали владеть в моем доме и требовать, чтобы я соблюдал их масштабы. Им не нравились мои песни, состоящие из слов, и я, подобно им, стал петь песни, состоящие из букв:

Абебе, абебе, абе,
Абебе, абебе, ве...

Понемногу я привык. Оказалось, что можно прекрасно обойтись абсолютно азбучными песнями.

Когда жена однажды выбросила на помойку целую охапку подаренных нам безделушек, не опасаясь того, что скажут друзья и знакомые по поводу такого отноше-

ния к их подаркам,— все эти помоечные обезьянки, гнилушковые туески, тухлые свинки, шишечные воробушки, тряпичные лачплесисы, нитяные девушки — все эти навозные жучки артельной работы потребовали, чтобы я развелся с женой.

Я растерялся. А они все время пищали мне в уши, что она большая, что она больше всех, что она всех переросла. И что мы такие ничтожненькие, все мы, и я в том числе, и что она смеется над нами, что она ухмыляется, что она презирает нас.

Не знаю, как это случилось, но я стал чувствовать себя ничтожным, маленьким, стал недоверчиво и обиженно следить за поступками своей жены. И я — развелся.

Они женили меня на тряпичной девушке, и у нас родились отбросовые детишки — бумазейнообрезковый Миервалдис, юфтевокусочковый Юритис, потом Ситцевокарлитис, эрзацевый Имантиныш и соломенная Саулцерите. Их у нас много рождается. Так много, что мы не знаем, как с ними быть. Мы дарим их своим друзьям и знакомым — пусть они тоже будут несчастливы. Почему я один должен мучиться!

А моя жена вышла за другого. На свадьбе дарили только большие вещи: мельничные жернова, деревянные статуи и медные ковши. Ее муж носит грубые куртки и обтесывает гранитные глыбы.

И они смеются надо мной.

● 4. ГЛАВА О МАШИНАХ И ЗВЕЗДНОЙ НОЧИ

Председатель Юрис Клява. Сельскохозяйственная артель «Коммунар».

Шмит добился того, что его специалисты самостоятельно работают и сами за все отвечают. Клява полная противоположность. Он все делает сам, всех увлекает своей энергией. А если ты не можешь увлечься, значит, пиши пропало. Клява берет нахрапом, энтузиазмом, скакали в районе.

Председатель выходит с собрания, лоб в капельках пота, неприятный разговор, просто отвратительный разговор, но, ничего не поделаешь, не признает своих ошибок заведующая фермой, редко такое бывает, противное ощущение. Да и лихорадка, уже третий день, но пришлось встать с постели — утром комиссия принимала но-

ные дома в поселке, вечером собрание, нет времени болеть. Наконец-то можно поехать домой, завалиться в постель.

Не только по тому, как человек относится к своему гриппу, понимаешь — Клява человек волевой. Хорошая выправка, энергичный подбородок и, как запятые, волевые складки в обоих уголках рта.

Мои проблемы? Механизаторы. Сельскохозяйственные работы держатся сейчас на поколении сорока- и пятидесятилетних. Я знаю, что на них могу положиться. Но на селе еще мало настоящих механизаторов. Мы на полпути. У нас есть выпускники средних школ и молодежь, вернувшаяся из армии, но у них нет пока настоящей деревенской закалки, это шоферы и только. Шофер еще не механизатор, он еще не подготовлен — ни профессионально, ни морально не подготовлен к тому, чтобы принять на себя весь объем и тяжесть механизированных работ. В шоферы ребята идут, в трактористы — нет! Шофер мобильнее, работа почище, — то он тут, то он там. Тракторист во время сезона не может урвать свободной минуты даже, чтобы постричься.

Но есть у нас двое в общем-то настоящих — Осовский и еще один, которого мы сами посылали в Кандаву учиться. Если бы все у нас были такими! Осовского этой осенью расхваливают во всех газетах и журналах: уже три года подряд он числится одним из лучших молодых механизаторов.

Ну конечно, к Осовскому можно съездить, но ему это все надоело. Да нет, разговаривает. И говорит то, что от него хотят услышать, но скажет пару слов и точка.

Ему сейчас двадцать шесть лет. А было всего годов шестнадцать, когда он еще до военной службы работал у знаменитого Валдиса Баландина, комбайнера, у него он многому научился. Теперь, если ему дают для вспашки ДТ, так в поле настоящий ураган начинается.

Был такой случай. Вечером он разобрал все нутро у своего комбайна. Ну, думаю — дня два-три будет копать. Как бы не так, к утру все было готово, ночью при свете лампочки все исправил.

Воскресное утро, иней и солнышко, глубокую грязь прихватило морозом. Осовский во дворе моет «газик».

Молодой, спокойный парень. Спокойный, как хлеб.

Машине нужен спокойный человек, нервный человек не может на машине работать, говорит Осовский.

И это главное?

Нет, это не все. Нужно уважать технику. Ну как бы это сказать... машину надо слышать.

Ну и что вы слышите, когда сидите в комбайне?

Я его всего слышу, все главные шумы. Во-первых, мотор, во-вторых, шум молотильного барабана, кос, режущего аппарата, иногда можно услышать и косо́й транспортер.

Неужто все эти звуки, действительно, можно различить? Люди, любящие машину, всегда казались мне чудом нашего века.

Надо слышать, понимать. И любить? Сидя за рулем автомашины, я тоже в общем рокоте слышу разные постукивания, поскрипывания, подрагивания. Но я их не понимаю. Я не могу определить, что означает какое-то урчание,— то ли мотор недоволен чем-то, то ли просто ворчит от скуки. Поэтому необычные шумы в моторе всегда казались мне угрожающими. В нем всегда есть какой-то коэффициент таинственности. Какая же тут может быть любовь! Я слышу все его шумы, но он чуждое для меня существо.

На весеннем техосмотре моя машина показалась майору автоинспекции подозрительной. Пройдя весь ряд, он, вместе с фотокорреспондентом милицейской газеты, остановился именно у моей автомашины. Вы не любите свою машину! Это значит, что меня сфотографируют возле этой нелюбимой машины и поместят снимок в милицейской газете и, может быть, под заголовком «Он не любит свою машину». Но почему я должен любить это неживое скопище металла? Я защищался, как умел. Я люблю свою жену, своих детей, своих родичей, но почему я должен любить машину? Наверное, я убедил майора, он отстал от меня, и моя фотография в газете не появилась.

Осовский тоже говорил: технику надо уважать. Ученые утверждают: машина вносит в жизнь многообразие. Эх, если бы кто-то мог написать его — этот диалог между машиной и человеком. Он наверняка происходит сегодня в каждом доме, машина входит в наши будни, изменяет не только хозяйственную жизнь, но образ мышления, индивидуальную и семейную психологию. Но пусть его напишет кто-нибудь другой. Мне машины не нравятся.

Кем сегодня является сельский механизатор? По своему общественному весу он должен быть приравнен, ну, скажем, к первым латышским капитанам дальнего плавания. Теперь в газетах и в последних известиях по радио принято называть комбайны «кораблями полей», а комбайнеров их капитанами (так же, как рыбаков называют «пахарями моря»), но эти красивые метафоры теряют всякий смысл, если у человека нет капитанской твердости и профессиональной гордости. Так когда-то человек с фамилией Свикис во что бы то ни стало хотел быть немецким Свикке. Знакомясь, он представлялся: «Свикке с двумя к». Порядочные люди только посмеивались: «Можно и ж... писать с двумя п». Подобно выпускникам мореходных училищ конца прошлого столетия, сельские механизаторы являются сегодня зачинателями нового общественного движения. Они не только производственники, они застрельщики, пионеры. Они в конце концов окажутся теми, кто станет главной силой сельского хозяйства. Это чувство «главности» должно быть правильно понято: они обязаны производить не только сельскохозяйственную продукцию. Они должны воспроизводить — так как они единственная и главная сила, которая определит завтрашний день села, — воспроизводить самих себя. К тому же — на несколько более высоком уровне. Они должны воспроизводить все богатство той среды, из которой может вырасти не только новый механизатор, но и новый, по-новому мыслящий учитель, художник, ученый, дипломат. Они должны воспроизводить всю ту народную мудрость, все те жизненные принципы, которые издрезле сложились и имеют непреходящую ценность.

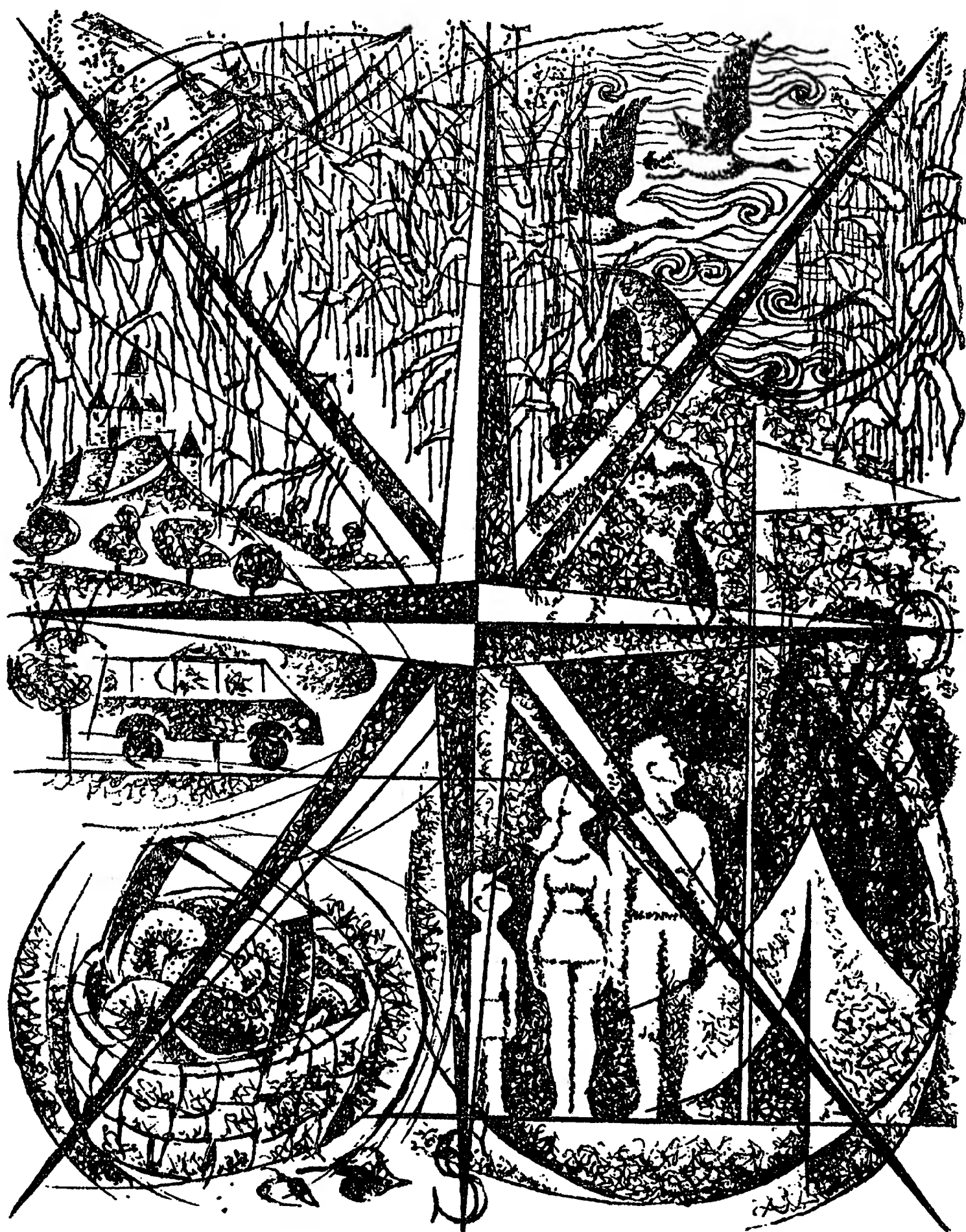
Именно они.

Им нужно осознать свою роль на селе. Не только технически, но и философски. И это вовсе не так трудно, как может показаться, когда упоминают, кажущееся таким премудрым, слово «философия». Просто нужно осознать свое место в той цепочке, которая тянется в будущее. Сегодня мы стремимся к интенсификации и стандартизации хозяйства, чтобы подготовить следующий шаг — к многообразию. Это значит, что сельский механизатор должен думать не только о производстве, но и о будущих возможностях. Производить, но и не забывать о том, что ему нужно сохранять психические силы — не подчинять психическую структуру хозяйственному стандарту. Он дол-

жен сохранить ее для будущих возможностей. Он должен отвечать не только за машину, но и за себя: кто над кем будет властвовать. Он должен отвечать не только за колхоз, но и за все, что будет связано с колхозом. В первую очередь, за образ мышления своих сыновей. Станут ли они всего лишь узкими специалистами, знающими только и только свои машины, или людьми с широким кругом интересов. В этой поездке приходилось видеть, как парень копается в своем тракторе свободным воскресным утром. Почему? А все равно ему нечего делать. От скуки опять занялся трактором. Любовь к труду — да, да, несомненно. Но не замечаете ли вы в этом факторе и бациллу профессиональной ограниченности? Молодые механизаторы должны будут внимательно следить за всеми дальнейшими путями этой бациллы. Именно сельские механизаторы. Потому что они будут одновременно и рабочими и интеллигенцией — новой технической интеллигенцией.

Мы на полпути. Старый крестьянский двор уходит, уходит со своей частной хозяйственной инициативой, со своими добродетелями и пороками. Вместе с ним уходит и целый комплекс микроценностей — исчезает микропейзаж, сокращается число вариаций в природе, уходят старые орудия труда и изделия человеческих рук (а то, что нестандартно создано человеческими руками, — прекрасно), уходит старая трудовая этика со своей гордостью за то, что человек работал с восхода и до заката (вспомним, что в Нигранде говорил Сипениек о стиле работы председателя — работать «от солнышка до солнышка» не современно и не свидетельствует о НОТ).

Приходит новое поколение сельских специалистов, которое должно будет взять у старого поколения и сохранить все, что заслуживает сохранения, чтобы потом после приятного либо неприятного (но все же рационального и дешевого) распространения стандартизации снова все разнообразить, варьировать, нюансировать, утончать, обрастить миллионами тех тонкостей и мелочей, которые мы называем жизнью. Потому что футурологи отнюдь не считают стандартизацию концом света. Но — они не видят в ней и необходимости уничтожения всего, без исключения, старого. Они говорят, что колхоз должен починить крышу в старом заброшенном замке, чтобы тот не развалился, так как у людей появится эстетический интерес к нему и желание когда-нибудь вер-



нуться туда. Они говорят, что так же надо в каждом колхозе поступать и со старыми крестьянскими дворами, которые не мешают производству и не находятся в пределах обрабатываемых угодий, и даже в том случае, если находятся, но имеют ярко выраженную этнографическую, эстетическую или историческую ценность. Райисполкомы имеют право законсервировать такие строения для будущего (может, еще когда-нибудь появятся колхозные музеи). Если руководители колхозов и мест-

ные власти еще не делают этого, значит, стандартизация коснулась и человеческих мозгов и те уже не способны реагировать на что-то, находящееся вне правил, распоряжений, указаний, вернее — они не понимают исключения из правил. Такой руководитель напоминает мне агронома, могущего определить сорт яблони, но не способного узнать сорт привитой к ней ветки. Он знает понятие «собака», но не понимает менее обобщающего понятия «фокстерьер». А у фокстерьеров красивые уши. Или, может быть, они не нужны? Унификация неизбежна, но меня беспокоит не унификация вещей, а унификация умов, сказал академик Конрад.

Механизатор превратится в главную фигуру села, образ его мышления станет определять, как будет выглядеть колхоз издали и как — вблизи.

Переймет ли он всю городскую благоустроенность, а свою собственную снесет бульдозером, или же мудро учтет свои, природой данные, преимущества и мудро использует их? Но мудро использовать может только мудрый. Об этом и речь.

Вспоминается слышанная где-то фраза, что снесенные жаворонком яички всегда будут дороже для детей, чем искусственные брильянты.

Осовский — один из таких вот, лучших механизаторов республики. Труженик или, как говорят латыши, трудолюбивый гном? Гном, сколько я понимаю из сказок, все время трудился, ковырялся, копался. А веселятся гномы? Да, они любят веселье, любят приятно проводить время. Нашелся бы в колхозе кто-нибудь, кто организовал оркестр. И туристский клуб. Туристский клуб? Потом я слышал, что говорили об этом председатели двух колхозов. Во-первых, говорили они, эту идею губит отсутствие времени. Ну куда ты съездишь за субботу и воскресенье? А лето — для колхозников не время отпусков.

Так когда же? Когда?

Разве что — между зерновыми и сенокосом.

У меня между ними нет окон. У тебя, может, и есть, ты сено быстро убираешь.

У меня есть. Иногда окно в две недели.

(Видишь как! Иногда. И чем быстрее уберешь сено, тем больше возможностей выкроить время.)

У меня остается окно только между севом и сенокосом.

сом. В тех случаях, когда задерживается сев кормовых и не начинается раньше времени сенокос.

Значит, иногда есть! Был бы кто-то умеющий собирать воедино все эти «иногда», и получился бы довольно емкий туристский график. Пока что туристские путевки используют только конторские служащие и специалисты. Потому что никто не ломает голову над тем, как выкроить свободное время для механиков и доярок. К тому же, это не только поездка по путевке. В Бауском районе, например, гордятся своим туристским клубом, его секции настолько сильны, что могут собственными силами организовать весьма солидные мероприятия: соревнования районных мототуристов, водных туристов, соревнования по ориентированию, туристские слеты. Но они готовят своих инструкторов по туризму: в районном университете действует факультет туризма.

Это в районе. А в колхозе?

В колхозе может работать туристская секция. Разве то, что осуществимо в Бауском районе, не осуществимо в Салдусском? И разве не нашелся бы человек, способный руководить секцией?

Зимой больше свободного времени. Но разве хоть один колхоз сделал заявку на автобус для своих лыжников, пусть бы всего на два дня — субботу и воскресенье — в Сигулду, в Сабиле, в Саулескалнс?

В Бауском районе спортивный клуб совхоза «Дартия» осенью организует поездки за грибами, а раз в году проводит соревнования грибников и ягодников. Место для соревнований выбирают старые люди, хорошо знающие окрестности. В лесу проходит парад участников, поднимают флаг соревнований, а потом три часа подряд идут состязания. По грибам обычно побеждают мужчины, по ягодам — женщины.

В этом же хозяйстве перед началом жатвы (следовательно, между сенокосом и зерновыми) проводится большая туристская поездка. Выезжают в пятницу около полудня и возвращаются домой в воскресенье вечером. Если желающих оказывается слишком много (едут с женами и детьми), то местком решает, кого следует взять. На грузовиках везут палатки, моторные лодки, спальные мешки. От Бауски до озера Буртниеку — отличная экскурсия, что и говорить! А вечером возле палаток стоят восемьдесят глав семейств со своими домочадцами.

А могло быть все по-старому: едет экскурсия, останавливается возле пивного ларька, мужчины дуют пиво, женщины топчутся в универмаге.

У председателя вспотел лоб, он, видимо, только из вежливости сидит и разговаривает со мной, мне становится неловко — ну чего ради я пристаю к людям?

Я вышел во двор. Мерцали звезды. В эту осень — столь необычную, что вспоминались звездные ночи моего детства. Нет, наверное, ничего красивее осенних звезд, когда вспаханные поля подмерзли и деревья сбросили листву. Ощупью, через поле, я шел на огоньки фермы. Пашня кончилась. Стала похрустывать мерзлая трава, высокая, низкая, значит, я вышел на пастбище. Нащупал колючую проволоку, перелез через нее. Мне нравится ходить в темноте, когда ноги сами должны искать дорогу. У председателя лоб в испарине, наверное грипп. Не хотел, чтобы мы присутствовали на собрании. Надо было сменить заведующую фермой. Ни за что не признает свои ошибки. И надо было еще в тот же день принять пять новых домов... Я шел в темноте и чувствовал, какая она бурая, эта пашня, какая это подмерзшая, но теплая масса, как честно и с какой отдачей работают эти люди! И меня охватило чувство великого покоя — может быть, от шелеста дубов где-то здесь в темноте, от пашни, от ощущения, что мы можем быть вместе и чувствовать, как пульсирует земля. Огни фермы слепят глаза, хорошо, что вся грязьца вокруг нее подмерзла и не надо прокладывать мостки.

Рычит собака, ночной сторож шурует торф. Из хлева доносятся те особенные звуки, от которых становится спокойно на душе — хрустит сено, позвякивают цепи, коровы сопят, вздыхают, чавкают.

Телятам каждый год дают имена, начинающиеся с одной из букв алфавита. Следовательно, Тубене, Тауре и Тайзеле — одногодки, а Марупе, Мурмеле, Мармеладе — другого отела. Мила, Марионете, Мелоне и Молдава — того же года. Спидола и Сиднея — снова другой отел, другой приплод, а по-латышски «принос». Какое доброе и мудрое слово — «принос»... Понесла, носила, принесла...

Была эта ночь бела, как береста,
А тишина все росла.

Понесла Маруле, Лукне носит,
 Гудре уже принесла.
 Басовой трубою вздыхала Тауре,
 Бродила Тутене тут и там,
 Зажмурив глаза, я слушал,
 Как телята бегут по холмам.
 Носятся, ищут своих маток,
 А их здесь столько! Ну как угадать?
 Тяжела Тайзеле, наверное, Тайзеле
 Не станет рассвета ждать.
 Цветок заморский, вздыхает Аралия
 Под непривычным, чужим дождем.
 Наверное, скоро будет Аралией
 Новый заморский цветок рожден.

Мелоните тяжело дышит, она первотелка, за ней надо
 присматривать больше, чем за другими. Какая милая
 курчавая головка, каракулевая головка, не бойся!

И вот ложится Мурмеле,
 И вот ложится Валода,
 Стоять уже невмочь.
 И над моею Курземе
 Плывет святая ночь.
 Прозрачная и тихая
 Святая ночь телят.
 Все спит, и лишь Марня
 С Иосифом не спят.
 Слышат они, как телята бегут,
 Как по люцерне телята бредут.
 Как они в клевере остановились,
 Как по свекле вдруг вскачь пустились,
 Как, повстречавшись во ржи, смеялись
 И, может быть, оттого задержались.
 Еще заблудятся, того и гляди...
 Мария дверь приоткрыла:
 Входи!
 Идет теленок на слабых ножках.
 Перед ним посыпанная опилками
 бетонная дорожка.
 Идет он, ищет: откуда ему знать,
 Что именно Тутене его мать?
 Но вот же, остановился. Глядит на вымя,
 А Тутене — на него, глазами родными.
 Я отворачиваюсь, это так интимно,
 Что не надо подсматривать,
 Как два последних шага
 Теленок сделает к матери.

Вдали светятся окна председательского дома. Под
 ногами мерзлая пахота. В темноте шелестит дуб. А звезды
 такие мальчишеские — как в детстве.

● 5. ГЛАВА О РЕНТАБЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ О ЛИЧНОМ ПЛАНЕ, КОТОРЫЙ ПЛАЧЕТ НЕ НАПЛАЧЕТСЯ

Эгил Элтерманис. Председатель колхоза «Сатики». У него есть характерное выражение: ну, чтобы совсем так, я не думаю. Из одной только вежливости он соглашаться с тобой не станет. И если кто-то «совсем так не думает», то он за словом в карман не полезет.

Эгил настолько спокоен и сдержан, насколько это возможно на руководящей работе. Может быть, именно поэтому его, такого молодого, выглядящего еще совсем мальчишкой, — люди уважают. Этаким загадочный и необъяснимо спокойный. И так же спокойно и уверенно колхоз набирает силу.

Ожидаемая в этом году рентабельность — 60 процентов. Это не мало. Да и в банке деньги лежат. Такое не во всех колхозах бывает. Молока чуток больше, мяса тоже больше, производственные помещения построены, план выполнен. В общем, все стало лучше по сравнению с любым из прошедших лет.

Какая проблема вас беспокоит?

Недостатки в разделении труда. От нас требуют интенсификации производства, а мы вынуждены заниматься экспериментированием. К тому же это не научное, а стихийное, кустарное экспериментирование. Разве это дело колхоза? Им должны заняться институты, а потом дать наиболее пригодную для наших условий, наиболее рациональную производственную формулу, проект, оборудование, методику. Хотя бы в животноводстве: какие фермы в каких местах и на какой срок наиболее рациональны. А сейчас мы сами тычемся на ощупь и занимаемся внедрением и проверкой различных форм и оборудования — каждый колхоз это делает в меру своего разума.

После того, что я слышал в Кулдигском производственном управлении, все это представлялось не таким уж безнадежным. По их словам получалось так: Ветеринарный институт организовал группу, изучающую организацию труда в животноводстве. До сих пор из года в год во всех докладах можно было услышать: «Мы все сообща должны подумать, как облегчить труд доярок». Теперь над этим вопросом работают, готовят рациональ-

ные предложения. Руководит группой Леиньш. Молодой еще. Из практиков. Практик в нем еще не атрофировался, говорили кулдигцы. Есть разные предложения. Кулдигские специалисты считают, что комплексные молочные фермы большой мощности будут построены не скоро. Что же является самым срочным? Немедленно механизировать существующие фермы: доставку кормов, подстилок, подачу силоса. И значит, организовать в «Сельхозтехнике» производство соответствующего оборудования... Во-вторых, разработать две-три рекомендации по оптимальной организации труда, пусть колхозы выбирают.

Но ведь можно сделать и так — колхозные специалисты сами разрабатывают научно обоснованные предложения и защищают их в институте?

Скайдрите вздыхает. Скайдрите Элтермане не специалист по животноводству, она колхозный агроном. Да, она несколько приуныла — может быть, за этим еще что-то кроется, но и вечная нехватка времени тоже часто тяготит. Ведь агроном так загружен, что только поздними вечерами да ночью всплывают не такие уж давние мечты о научной работе.

После семи лет практики хотелось бы написать научную работу как раз об организации труда в полеводстве. Во время сева окажешься в поле на один-два дня раньше или позже — и это решает судьбу всего урожая. Когда надо отправляться в поле и почему? Скайдрите это знает. Но нет времени написать. И вот, временами, чувствуешь себя старой девой, на которой никто уже не женится. И снова будешь только сеять и жать, сеять и жать, выполнять план, а твой личный план плачет в тебе и не выполняется. Скайдрите немного приуныла, а иногда уныние накатывает на них обоих.

Чудесное утро, все слегка заиндевело, все тихо зеленое, тихо синее, тихо серое. Бывают в Латвии такие прекрасные бессолнечные утра, южанам никогда не понять их прелести. Надо быть сыном туманов, сыном расплывчатой дымки, чтобы считать эту пастель прекрасной. И своей.

Мы разыскиваем директора Ремтского совхоза Чакана. У него, говорят, есть стиль. Стиль — это как раз то, что я искал всю осень. И здесь же работает Райта Цируле, одна из лучших, а когда-то самая лучшая доярка республики. Но Чакан уехал на похороны. Главный

зоотехник говорит: черт побери, я, право, не знаю, вернется ли он сегодня вечером. Цируле? Уж не хотите ли вы ее переманить? И поглядывает на нас подозрительно.

Нет?

Действительно, к Цируле подбираются со всей Латвии, хотят умыкнуть. Черт побери, вы в самый раз прибыли, уже второй день торфоразработчики не привозят нам подстилок для скота. Как вы туда доберетесь?

Теленок сосет ухо своего братца. Молочка не хватило. Хочется еще! Теперь надо бы дать воды. Большенький облизал и обслюнявил меньшенького, все ухо во рту — так они и живут, по двое в одном ящике. Пока один теленок сосет ухо другого и пока Райта доит коров, надо ждать. Тем временем я позанимаюсь политэкономией. Вот она, здесь на стене, в виде графиков и показателей, наглядных и поддающихся расшифровке. Райта Цируле доит 55 коров и до первого декабря надоила 107 614 брутто-килограммов. В «Сатики» у доярки 30 коров и она надаивает те же сто брутто-тонн. Цируле говорит: число коров на одну доярку надо было бы снизить еще больше, от меньшего числа коров получить можно больше.

Интенсивность могут обеспечить хорошие, умелые доярки, потому что надои зависят от многого такого, что мы в искусстве называем нюансами, в школе — индивидуальным подходом.

Почему по пальцам можно сосчитать молодых доярок? Потому что на этой работе все время нужна точность — в доении, в уходе, в кормлении. Точно должен приезжать молоковоз. Поэтому трактористам и подвозчикам кормов надо было бы платить так же, как и дояркам, в зависимости от надоя. Теперь же чем халатнее они работают, тем больше нам надо выжимать из коровы. Доярка должна брать лаской: нельзя животное пинать, нельзя кричать, нельзя бить. Атмосфера в хлеву должна быть мирной, пищеварительной. Так же, как гладишь кошку, погладь вымя, помассируй его, мирно говори с коровами. У них свое царство, своя сила, своя честь и жизнь вечная.

А в этом хлеву работают хорошие доярки. Соседка Райты — Миллере по надоям иногда опережает Райту. Такие доярки могут обеспечить интенсивность производства. Значит, не они виноваты. Видимо, коровкам не дают всего того, чего хочет эта жующая скотинка. Она

хочет клевера, травы, овощей. Давай ей по пятнадцать килограммов овощей в день, и ты сможешь доить и доить ее даже после десяти лактаций. Правда, нынче год уж больно скупой, но давать концентрированные корма — по три килограмма в день — это значит насильно выжимать молоко. Так же, как поэт выжимает из себя стихи черным кофе. Но корова не создана для такого выжимания. Уже после пятого теленка корова считается старой. Корова уходит на пенсию в самом расцвете своих сил. Я вспоминаю то, что слышал в талсинской «Драудзибе»: все еще тяжело с молоком в тех хозяйствах, где в засушливом 1969 году, чтобы не снизить надои, коровам давали только концентрированные корма. Корова, видишь ли, не та скотинка, которую можно одними концентратами кормить. И вот результат, коровок выкачали.

Все это, если внимательно приглядеться, можно узнать из белых листков, приколотых к доске здесь, в коридоре.

Конечно, так «стимулировать» коров концентратами могут только богатые хозяйства. И вот я стою и думаю, что не всегда хорошие показатели так гармоничны, как этого требует экономическая логика. Может быть, и «Ремте» не такое уж отличное хозяйство и отличную доярку Райту Цируле вполне мог бы переманить к себе хороший хозяин.

Еще немножко экономии. Труд доярок почти не приносит прибыли колхозу. Государство могло бы платить за молоко не 19 копеек, а 24, тогда бы его производство оплачивалось, говорят председатели. Теперь же все хозяйство работает только на то, чтобы содержать фермы. Колхоз, сумевший организовать промышленное производство, получает прибыль. Один штамповщик каких-нибудь значков, перерассчитывая всю массу прибыли на одного человека, дает хозяйству такой же доход, что и все доярки фермы (7 человек). Разделите прибыль на количество людей, работающих в цеху, и на количество работающих на ферме, и вам все станет ясно! Птицеводство оплачивается, дает стопроцентную рентабельность, свиноводство тоже. Молочное хозяйство прибыли не дает.

Когда я в магазине покупал молоко, мне и в голову не приходило, что крестьянин, в полном смысле этого слова, угощает нас, врачует, поит молоком. Он наш кор-

милец, потому что продает свою продукцию почти по себестоимости. Оттого-то многие колхозы ищут возможность подзаработать в других отраслях. Но в этом случае колхозный труд вступает в противоречие с доминантой государственной экономики, колхозу деньги идут, а в магазинах такого необходимого продукта, как молоко, становится меньше. В таких случаях газеты пишут: «Иногда прибыль увеличивают не за счет лучшего хозяйствования, а за счет необоснованного повышения цен и отказа от «невыгодной» для предприятия, но необходимой для государства продукции».

А люди все равно ворчат и жалуются — почему молочное хозяйство дает всего 11 процентов рентабельности, а леденцовые петушки — 300 процентов. Почему литр молока стоит дешевле, чем пол-литра лимонада.

● 6. ГЛАВА О БОГАТОМ КОЛХОЗЕ И БЕДНОМ ХУДОЖНИКЕ

Колхоз «Друва». Председатель — Рубулис. Колхоз широко известен — о нем писали во всех газетах. За пять лет хозяйство сделало огромный скачок. Колхозный поселок — возле самого Салдуса — стремительно растет. Как сказали в районе — в «Друве» нормальный естественный и большой механический прирост жителей.

Председатель в долгие разговоры не пускается.

Пойду съем свои бутерброды, термос у меня в кабинете, я никуда не пойду, прежде чем не поем, и пока не поем, ни на каких заседаниях заседать не буду. Только что вернулся из Риги, был на медицинской консультации. Врач говорит: если эти умники часами не могут кончить своих речей, если они и другим хотят испортить желудок, то вы без стеснения вытаскивайте свою фляжку и бутерброды и ешьте там же, за столом президиума. Вы уже не больной. Вы инвалид кишечника. И теперь надо соблюдать то, то и то. Если вы этого не можете, то откажитесь от всего!..

«Друва» действительно работает на полную мощность. О председателе говорят: толковый экономист. Так как «Друва» образцовый колхоз, то статистическое среднее никакого представления не дает. В других колхозах говорили: годовой доход «Друвы» — 900 000 рублей. В четыре раза больше, чем в среднем колхозе.

Но меня заинтересовал один «факт культуры». На территории колхоза находится родовая усадьба Яниса Розентала «Бебри». Вокруг этого дома разгорелись страсти (нездоровые страсти). Как только мелиорация приняла широкий размах, исполком запросил у районного музея документацию, подтверждающую, что Розентал родился именно в «Бебри», добавив, что в противном случае эта территория будет включена в мелиорационные планы и дом снесут. Станным и непонятным кажется уже сам этот запрос — словно кто-то не знает ни Розентала, ни истории этой усадьбы. «Друва» стоит на своем: к нам едут люди из всех краев и республик. Прежде всего просят показать им свинарник. О Розентале никто не спрашивает.

Директор музея едет в Ригу, в Союз журналистов, в Академию художеств — спасите, снесут усадьбу! Там удостоверяют: да, был такой Янис Розентал, родился в «Бебри», его бюст установлен возле Художественного музея, и можно только подивиться тому, как духовно вырос народ — по широченной лестнице целыми толпами валит в музей. А там, в колхозе, не знают, кто такой Розентал, твердят, что он, мол, одних графинь писал.

В Салдусском краеведческом музее одна графиня, действительно, выставлена. Это портрет владелицы Блиденского поместья княгини Ливен. Написано просто Ливен, без всяких «фон». Вот она-то и является главной виновницей всего. Она, используя председателя, охаивает Розентала. Или наоборот — председатель, используя Ливен, охаивает Розентала.

А там же, на противоположной стене, висит портрет Отца, портрет Матери, портрет Женщины, портрет лесничего Берзиня. У всех сурово опущенные уголки губ. Даже на портрете красивой молодой Упениеце-Ролманс в уголке губ маленькая, загнутая книзу запятая. Это реальная действительность того времени — у каждого времени есть своя действительность.

И это бесстыдство — так говорить о художнике, которым район может гордиться. Если уж нельзя сохранить его дом, то надо сказать об этом по-деловому, а не издеваться над художником.

Удивительно, насколько у некоторых председателей отсутствует чувство перспективы, когда речь идет о культурной жизни. Неужели такой человек не задумывается над тем, что этот вот самый, прочный кирпичный дом,

где когда-то родился и жил художник Розентал, это здание возле белой березовой рощицы могло бы стать колхозным музеем?

Может быть, и так, говорит председатель. Но уклончиво, уклончиво. Для горожанина, конечно, этот речной затон важен. Для нас, сельских жителей,— он так себе.

И снова чувствуешь — у человека путаница в голове. Мы ориентируемся на городской стиль жизни, деревня сближается с городом, с тем самым городом, для которого «этот речной затон важен», стало быть, и для сельского жителя, будущего горожанина, он тоже скоро будет важен. Но затона тогда уже не будет. Абсурдный образ мышления! Может быть, в «Бебри» крышу и отремонтируют. А может быть, и нет, и дом сгниет. Я не первый и не последний среди тех, кто ходит вокруг этого дома, почесывая затылок. Колхоз можно просить, но нельзя упросить. Был бы в колхозе волевой, самостоятельно мыслящий секретарь парторганизации, он заставил бы председателя считаться с общественным мнением, он сказал бы на заседании правления то, что говорили в другом колхозе, когда я упомянул о музее Розентала и вообще об отношении к памятникам людям труда. Это наш долг перед народом, сказали там.

В странной изоляции оказывается тот хозяин, который обособляет себя от всего комплекса культуры и в нынешней культурной ситуации хочет выработать свой и только свой, колхозный художественный вкус и свои принципы прекрасного. Где-то на земном шаре среди примитивных племен еще существует изолированная племенная культура, которая ни практически, ни теоретически другими культурами не интересуется. Но в сегодняшней культурной ситуации выдвигать наряду с общественными принципами искусства свое узкоколхозное понимание прекрасного и даже противопоставлять его этим принципам — означает просто отсутствие культуры. И что тут еще добавишь? Разве то, что республика ждет от «Друвы» и других богатых колхозов мудрых патристических и партийных решений.

В народной песне давно уже высказана одна неоспоримая истина:

Не пришлось отца мне видеть,
Только деда видел я;
Деньги я хотел посеять,
Он сказал мне — не растут.

И еще немного о народной песне, Розентале и взаимоуважении между народами. Здесь Розентал, вглядываясь в горизонт, процитировал одной финской гостье народную песню:

Сквозь лепестки алых маков
Девы солнца глядели...

И гостья сказала: «Как прекрасна душа вашего народа».

● 7. ГЛАВА ОБ АРОМАТЕ ЦВЕТОВ И ЕГО ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗНАЧЕНИИ

Таливалдис Калниньш. Председатель колхоза «Драудзиба» Салдусского района. Первый председатель, которого я встретил читающим книгу. «История государства и права». Остается у председателя время на чтение книг? Не на все, но государство и право — это ведь те институты, при которых мы живем, в рамках которых мы даем и требуем. В отношении литературных и художественных ценностей тоже надо быть в курсе. Надо, по крайней мере, быть в курсе. По меньшей мере, надо знать, какое место искусство и литература занимают на шкале ценностей. Экономист ведь все пересчитывает на деньги. Во сколько государству обходится книга? Как долго она пишется? Сколько за это время заработает тракторист? Окупается ли писать книгу с точки зрения тракториста? Обычно тут-то интерес и пропадает. Не окупается, и стало быть — детей надо ориентировать на другое. Изучай осязаемые вещи, занимайся весомым делом. Видишь, что пишет в газете учительница после беседы с учениками восьмого класса:

— Значит, вы не верите, что существуют ценности более важные, чем деньги и все им подобное?

Учащиеся молчали. Потом чей-то голос отозвался:

— Какие ценности вы можете противопоставить, например, машине, квартире, даче?

Спрашивал именно тот паренек, который и должен был спросить (*подчеркнуто мною. И. З.*). Маленький, хрупкий, слабенький, в очках — один из тех, кому не удастся выделиться ни в спорте, ни в глазах девочек, кому остается только размышлять (*И. З.*).

Учительница иронизирует не над интеллигентным мальчиком и его внешностью, а над той средой, которая сохраняет и консервирует одно-единственное представление об интеллигенте — маленький, хрупкий, слабенький. Такой, который не способен ни на что другое, как только размышлять.

Стало быть, такой паренек никогда бы не смог руководить колхозом? Председатель должен быть грубоватым, узко специализированным, соответствующим производству? И говорить он должен только об урожае, о земле, о снабжении, о машинах?

Калниньш об экономике вообще не хочет говорить, ему хочется потолковать о чем-нибудь таком, что освежает мозги. Неделями напролет он считал, калькулировал, хозяйствовал — поговорим о чем-нибудь другом! А вот я-то как раз вбил себе в голову, что этой осенью надо как-то разобраться во всем мышлении хозяйственников.

В таком случае вы должны знать одну экономическую истину, говорит Калниньш: нужды крестьянства правильнее всего можно понять в среднем колхозе. А средний доход колхоза-середнячка колеблется в пределах 150—200 тысяч рублей. Значит: явившись в колхоз, спроси о его доходах и только потом уже пытайся рассуждать и оценивать. Доход «Драудзибы» в этом году — 500 тысяч, через пять лет планируется миллион. Значит — колхоз с размахом. Что приносит денежки? Выдумка, толковая калькуляция. Привезли из Смилтене сорок тонн рельсов от узкоколейки. Для чего? Вот для чего — пароходные котлы, уже не дающие судну полной мощности, будут теперь обогревать теплицы площадью в сорок гектаров. Строится плотина для водоема — озерко возле Циецере будет использоваться для орошения и для летнего отдыха. Кто сказал, что двух зайцев одним выстрелом не убьешь? Работа идет быстро, с размахом и результативно. Консервный цех начали строить в июне, никто не верил председателю, что в августе там начнут консервировать огурцы. А сейчас банки уже набиты огурцами. Колхоз откроет свои цветочные магазины в Салдусе, Елгаве, Вентспилсе, Лиепае.

В Литве, в Мяжейкяй, тоже!

Приехали литовцы, юбилей Палецкиса, готовят цветочную корзинку. Прекрасная цветочница, уже позабывшая то, чему она училась в Булдурском техникуме, волнуется.

Да, вы богатый колхоз, ваши денежные доходы примерно вдвое больше, чем у среднего колхоза, размах вашего строительства нагледен, растет авторемонтный цех, его построят за пять месяцев, и он будет одним из современнейших, в нем смогут поместиться даже огромные рефрижераторы «Колхида», здесь на одной площадке сконцентрированы все производственные строения, у вас есть скоростная сушильная камера для древесины. У вас есть умение, и вы применяете современные методы. Вы даже снимаете плодородный слой почвы с производственной площадки, его увезут и используют в другом месте, это превосходно! А на место этого слоя вы сыпете гравий и доломит, их точно так же, как бетон, можно заливать асфальтом, можно, это уже проверено. У вас есть своя бригада мелиораторов, которая совместно с государственными мелиораторами проведет мелиорацию земли за 5—6 лет. Обычно эта работа продолжается десять лет. У вас есть размах, умение, деньги, вы по меньшей мере вдвое богаче других колхозов. Скажите, а ваши люди тоже вдвое счастливее? Вы вдвое богаче, вы работаете с двойной отдачей, живете ли вы тоже с двойной отдачей?

Я живу, используя лишь четвертую часть той дозы кислорода, которая полагается нормальному человеку. Если бы я получал все четыре четверти этой дозы, как вы полагаете — работал бы я в четыре раза больше? Нет, я работал бы вдвое больше и вдвое больше радовался. Итак — радуетесь ли вы и наслаждаетесь соответственно больше, чем в других колхозах? У вас есть садоводы, которые выращивают прекрасное и продают его, зарабатывают деньги. Когда-то рыбаки жили так — ловили угрей, но весь улов продавали, сами ели салаку, ловили лососей, а сами ели треску. Теперь они научились получать удовольствие от своего труда, пробовать это на вкус. Рыбаки набрались смелости есть лососину, угрей, миног! Они могут это себе позволить. А что вы себе позволяете? У вас есть специалист по декоративному садоводству. Он помогает вам наслаждаться зеленью садов, прелестью цветов в квартире?

Трудно сказать. Вообще, в колхозах цветоводы пока еще чувствуют себя, как портной среди полуголого племени в джунглях. Их необходимость по-настоящему еще не осознана. Пока очень мало цветоводов идет работать на село. В мое время, то есть несколько лет назад, гово-

рит Виестур, из выпуска в 18—20 человек на село отправлялись работать человек шесть — восемь. Да и те, как правило, работают в колхозных садоводствах обычными садоводами-производственниками, добывающими колхозу деньги.

Правда, в «Драудзибе» на цветовода не смотрят, как на пасынка, он работает там уже второй год, вот только не может найти среди этой бурлящей строительной индустрии местечка, с которого можно было бы начать. Вокруг мастерских все клокочет, движется, строится, выгружается, загружается, тут ни к чему не подступишься. Возле ферм можно было бы высадить что-то, но председатель говорит: прежде, чем высаживать, надо замостить внутренний двор, чтобы он не был разъезжен вдоль и поперек. А сейчас ведь где посуше, там и ездят. И деревцо на обочине выглядит как издевательство.

Мы хотим разжиться самосвалами, механизмами, строить дороги, которые не будут расползаться и по обочинам которых можно было бы сажать цветы. Из-за отсутствия техники мы не можем загрузить работой цветоводов. Их работа отнюдь не сезонная, она не в том, чтобы посадить какой-нибудь кустик, как думают многие. Тут нужны такой же постоянный уход и забота, как и в отношении любой сельскохозяйственной культуры. А весенние посадки совпадают по времени с посевной, и нет свободных рук, нет свободных машин, тут тачка не вывезет.

Правда, в Сатики говорили: можно справиться. Можно призвать на помощь пожилых людей и школьников. Да и толоку можно устроить. Можно, можно. Пусть не болтают, что нельзя.

Нечего делать в производственном центре? Ну, а в других местах? Разве возле таких оголенных на вид домов нового поселка тоже нечего делать? А березовые рощицы, перекрестки дорог, подъезды к колхозу? Разве все эти места нельзя сделать такими, чтобы они радовали глаз, чтобы ими можно было гордиться, чтобы они приносили радость прохожим?

Пока что Виестур планирует, придумывает, копит семена, собирает саженцы. Готовится к индустриальному скачку в области прекрасного. Все словно помешались на скачках, решающих шагах и решающих кампаниях. Наверно, забыли, что красота — это и нечто чуть-чуть интимное, нечто такое, что можно создавать немедленно и ежеминутно. Создавать интимность быта, крохотный мик-

ромир в индустриальной среде — это важнейшая задача вообще и важнейшая задача художника (и цветовода в том числе). Должны быть такие места, где бы я мог потолковать с лягушкой, погонять среди очитков пчел и подивиться георгину. Собиратель кактусов — это уже художник, а растущие во дворе подснежники свидетельствуют, что в этом доме живет некто, размышляющий иногда в тишине. О чем он размышляет? Это его личное дело. Рядом с цветком зреет человек. Не мешайте ему!

Поэтому помогать надо сейчас. Создавать сейчас. Невозможно такое: сейчас я буду работать, потом дышать. Прекрасное — это дыхание. Нельзя работать, задержав дыхание.

Здесь есть свой цветовод. Но таких колхозов мало. И вся республика взывает к дыханию цветов, уж таковы латыши. Они срослись с ними. Поэтому они так встревожены: если разделить все количество цветов, выращенных в 1970 году, на число горожан, то на одного человека с трудом наберется двенадцать цветков. По одному цветку в месяц!

Государственному комитету по профессионально-техническому образованию надо немедленно изыскать реальные возможности для подготовки цветоводов (пожалуйста, не путайте с садоводами!) по меньшей мере в некоторых сельских профессионально-технических училищах! Такой призыв прозвучал в газетах в 1971 году. Существенных перемен пока не видно.

Потому что и в вузах республики нет отделений декоративного садоводства и неизвестно, когда они будут. В учебных курсах Сельскохозяйственной академии только вскользь касаются дендрологии, цветоводства и декоративной планировки. Такое же положение существует и в Политехническом институте, хотя бесконечно много говорилось о том, что архитектор не имеет права планировать что-то в отрыве от пейзажа и что по крайней мере главный архитектор города должен быть одновременно и архитектором пейзажа.

Итак: в колхозе «Драудзиба» цветы уже производят. Производят, но сами пока от них никакой радости не получают. Может быть, я приехал на год раньше, чем следовало. От этого колхоза можно ждать многого, председатель здесь человек мыслящий и многое понимает. Может быть, в будущем году уже зазеленеют те огромные деревья, которые со всеми корнями будут пересажены

в новый поселок. Может быть, к тому времени сквозь поселок будут уже протянуты зеленые нити и вплетены в обочины и околицы, в подъезды, въезды, в окраины и закраины, в тропы, тропки, тропинки те самые нити, увидев которые на мгновение, целый день как-то человечнее дышать. И, в конце концов, дыхание цветов — это дыхание всего государства. Разве об этом ничего не написано в «Истории государства и права»? Разве там ничего не говорится о праве наслаждаться плодами своего труда? Цветами своего труда?

У меня есть право на тюльпаны, у тебя есть право на астры. У нас есть право на ароматы. Потому что я «сажаю розы, чтоб себя украсить ими». Ты «сажал черемуку, сажал ее в горнице». Он «прошел сквозь рощу, рощу серебристую»¹.

● 8. ГЛАВА О ЧУВСТВЕ ПРОСВЕТЛЕННОСТИ СРЕДИ 900 СВИНЕЙ

Илмар Пилениек. Председатель колхоза «Варме» Кулдигского района. Молодой, компанейский и представительный. Многие добавляют: веселый. Сам Илмар признается: в мальчишеские годы был озорником. Разговорчив, если можно не стесняться, но никогда не забывает о работе и своих обязанностях. Это прекрасное качество, предохраняющее от стресса — словно бы шутя, говорить о серьезных вещах. Половину дела я делаю, поглядывая в окно. У меня луженая глотка, я никогда не охрипну.

Единственная колхозная магистраль — заасфальтирована, она проходит мимо конторы, председатель все видит и слышит — куда уезжают, когда уезжают, кто уезжает и когда возвращаются. А рука — на телефонной трубке.

Деньги текут! Умей только взять их. «Варпа»² обещает плавательный бассейн. Но с условием, что рабочая сила — наша. Брать? Не знаю. Нет у нас лишней рабочей силы. Но и плавать тоже негде, ни одной речонки.

Ловкий, проворный. Веселый и чуток насмешливый. Вы не курите? И не пьете? Чем же мы займемся? Надо

¹ Слова из народных песен.

² Спортивное общество.

будет ребятам протопить завтра финскую баню. И этого не надо? Этак у нас никакого разговора не получится. На охоту не пойдем, в финской бане не помоемся...

Председатель растерян, он не знает, чего я хочу, а я уже готов отфутболить ему его собственные слова — «чем же мы займемся». Отфутболить их можно так: чем же нам заняться в колхозе, если не этим, другого-то занятия нет. Но я не говорю ничего, не надо спешить, этот человек умен, мне надо выудить из него нечто настоящее, а не эту банальщину. Хочу я, следовательно, многого, но сразу, конкретно не могу сказать — чего именно. В таких случаях он предпочитает говорить уклончиво, о колхозе — не распространяться. Лучше уж — о жизни вообще. Когда ты молод, то хочется после работы поболтать, потрепаться. А вот у главного зоотехника, к примеру, все иначе: это женщина боевая, ее ничто в жизни не интересует, кроме собственной специальности, она может говорить о животных четыре часа кряду.

Председатель часами может говорить об охоте.

Надо мальчишке дать имя. Я говорю — только Алнис¹. Жена рвет и мечет. Для нее охотник — это пьяница. Но ведь это же не так, женщины ничего не понимают. Я заболел гриппом, воспалением легких и ангиной. Единственное спасение — кислород. А в больнице нет кислорода уже два дня. Пришел я в сознание, говорю: Янис, мне надо выбраться отсюда. Мне надо в лес, тогда я спасен. Сбил уколами — сам себя колол — температуру и домой. Только явился, парни тут как тут. У нас шесть кабанов обложено, надо отстрелять. Ну, вы-то не пойдете.

Как это не пойду! Пришли в лес — голова кружится. Утром опять являются, говорят: кабан кровавый след оставляет. Вскочил я. Мороз — двадцать пять градусов, загнуться я мог из-за этого кабана. Потом, правда, целый месяц еле на ногах держался. Вот это страсть!

Или еще случай. С утра чувствую: самец ревет. Трава под ногами хрустит, я сбросил башмаки и в одних чулках гонял за ним два часа. И добыл-таки. И весь тот день ходил и улыбался...

Надо признаться, мне эта страсть несколько чужда, но я всегда, как на чудо, смотрел на тех людей, которые делают что-то с полной отдачей. Страсть к балам — такая же, как и поэтическая страсть Пушкина: единственная

¹ Алнис — букв.: лось.

полная возможность самовыражения, говорила Цветаева о Наталье Гончаровой.

В Пилениеке пульсирует сама жизнь. И если даже культурные начинания и не будут исходить от председателя, то он все-таки достаточно отзывчив, чтобы поддержать каждого, кто проявит какую-то инициативу. Итак — дело за инициаторами!

А пока что — работа в поле.

Только оптимист здесь может работать. Я всегда говорю: дождя не будет! Лучше сто раз ошибиться, чем говорить: ну все, будет дождь! Так ведь ничего не сделаешь.

А нынешней осенью сущий ад. Я уж выворачиваюсь по-всякому, братаюсь со всеми, только бы урожай не остался в поле...

Звонит телефон. Послушай-ка, асфальт этой осенью отпадает. Конкурс? У меня он уже был. На этот раз и деньги будут давать. Сказали, что их и в конверт не засунешь. А то ведь все за красивые глаза...

Председатель говорит о премии, которую получит за благоустройство поселка.

И вот, после всей той энергичности, которая здесь бросилась в глаза, одна фраза (я мог и не обратить внимания на нее), одна, между прочим сказанная фраза, маленький нюанс и опять во мне поднимается подозрение — привнесение в жизнь прекрасного — задача пока еще неосознанная. А то ведь все за красивые глаза... Как это понять? Означает ли это: ради себя мы не очень-то старались бы, но, если вам надо, можем сделать?.. Что-то меня в этом нюансе насторожило...

Утро. Промозглое, неприветливое и долгое утро, в которое рождается женская песня: «Мне вставать с петухами первыми, мне огонь разводить на рассвете». В такое утро машина, стоящая у крыльца и пышущая теплом, кажется очень уютной.

У Лудиса есть старый «Москвич». Я еще никогда не видел, чтобы «Москвич» проходил по таким местам, где ездят только машины повышенной проходимости.

Дорога превратилась в реку, ехать надо рядом с нею. По клеверу, по канаве, по краю болота. Удерживать машину в месиве, в глине, удерживать, когда ее заносит, гнать только туда, куда ты хочешь, и добиться, чтобы она шла только туда, куда ты хочешь — это то же самое, что

писать стихи, когда мысль у тебя все скользит и скользит в сторону, кренится, буксует. А ты должен двигаться в единственно нужном направлении. Шутки ради Лудис сделал несколько кругов по залитому полю погибшего клевера, где еще были видны следы тонувших тут комбайнов. И мы благополучно вновь выбрались к дороге. Как это получается, что у одного буксует, а у другого не буксует?

Элза Гулбе — стаж двадцать лет. Фрицис Гулбис — стаж десять лет. Свиноводы на ферме Дубьи. Их здесь всего двое. Каждый месяц сдают государству двести свинок, в год — 2400 голов. (А остальные — по району — и до тысячи не дотягивают.) Так в чем же тут дело, хотел бы я знать? Гулбис сейчас на ферме один.

Ну, таким вот образом, говорит он. Надо использовать все до последней возможности. Первое — корм. Считают, ну что там такого — свинья. А они утонченные, как баронессы. Если воду не подогреешь, замешиваешь на холодной, и так несколько дней подряд, то на четвертый-пятый день видишь — что-то не то. Если дашь хороший, размельченный корм, свинья прямо на глазах расцветает. А времени мы не жалеем, только бы все точно было. Не вычистишь хлев или забудешь вентилятор включить, им жарко, они спят в навозе. Неухоженные. И так вот все время надо следить. Годами. Элза уже двадцать лет так. И по воскресеньям, и на именины, и в дни рождения, и в праздники. Даже если у тебя температура, все равно надо в хлев идти, нас ведь двое только. В пять утра растапливаешь, и пока котел нагревается, можно вымыть один хлев (у нас два корпуса). Жена в это время готовит сыну завтрак, отправляет его на работу, коровой занимается, потом — сюда. Вдвоем мы рубим свекольную ботву. Вода за это время нагрелась, пускаешь ее в смеситель, завариваешь муку. Около семи начинаем кормить. Когда один хлев накормлен, надо готовить и кормить второй. А потом надо чистить первый хлев, мыть, откачивать навоз. К десяти все это сделано, и надо греть воду для второй кормежки. Потом идешь домой поесть, часок отдохнешь и опять идешь кормить. Часов около семи-восьми кончаешь. Ну там еще в промежутках каким-нибудь мелким ремонтом займешься, прокладкуставишь. Иногда ты и за электрика сам. Если электричество погаснет. Вручную ведь их не накормишь.



Они когда-нибудь смеются или всегда такие серьезные?

Когда есть даешь, смеются. Тут во время кормежки такой шум стоит, что жестами надо объясняться. Сейчас спокойно лежат, наелись.

Мы подсчитываем: 900 свиней. Каждая в день дает прирост в 650 граммов живого веса, вся ферма — 405 килограммов в день. По три копейки за килограмм, двенадцать рублей в день, по шесть рублей на каждого.



А поросятки славные. Одному не достался сосок, он карабкается через счастливцев, дорвавшись до своего, и не сдается. Карабкается по лежащим, как по клавишам, а те и голоса не подают, боятся сосок упустить.

В другом конце фермы в своей загородке с царственным величием позевывает хряк. В нем триста пятьдесят килограммов весу. А сколько весят тяжелоатлеты? — спрашивает Фрицис.

Как поступают с хряком, когда он больше не нужен ферме? Почему его нельзя выпустить в лес к кабанам? Разве он в свои пенсионные годы не заслужил свободу?

Так незаметно летит время, что и оглянуться не успеваешь. Ведь не одной только фермой занимаешься. Надо посеять, прополоть, потом сенокос, а там, глядишь, ягоды надо собирать, вишню, малину. Работать — это прекрасно, человек ведь любит трудиться, говорит Гулбе. Но вы и представить себе не можете, как трудно ухаживать за животными, когда они голодны. Они ведь не просто требуют, а кричат, уши затыкать приходится. Буря повалила электрические столбы, иду домой; ни у кого сердце не болит, у меня болит. Скотина стоит не кормленная. Каждый в своем доме за скотинкой ухаживает, а моя стоит не кормленная. Сердце болит, слезы каплют. Двадцать лет всего проработала, а нервы испорчены, после каждого такого случая слезы текут. Если никогда не можешь развлечься, то и думать ни о чем не хочется. Да и старик мой: тоже хнычет. И никогда ведь так не бывает, чтобы ничего не случилось.

Да и надоедает, говорит Фрицис. Вечно ты чем-то измазан и должен в старье каком-нибудь ходить. И вонь к тому же.

Иногда я прислонюсь к загородке, закрою глаза и не могу больше! — говорит Гулбе. Сделают мне эти витаминные уколы — никакого толку. Горло сжимает от боли. Местные фельдшеры ничего не могут найти. В районе сказали: деформация тазобедренных суставов. Здоровой я уже никогда не буду. Ну, да остался всего один год. А председатель говорит: кто тебя, Элза, отпустит на пенсию...

Гулбе одна из лучших свинок республики. Она хозяйка, она умеет работать, она все успевает и дело делать, и сыновей воспитывать. Есть в ней материнская бережность и заботливость. Это чувствуется в голосе, это чувствуется в движении рук, — как они расстилают скатерть и разглаживают складки, как наливают они домашнее вино. Она человек, на которого можно положиться. Потому-то и председатель говорит: кто тебя, Элза, отпустит на пенсию... В маленьком ящичке лежат ордена и медали. Так когда-то хранили семейные драгоценности, так будут хранить и впредь. Орден Красного Знамени. Медаль «За доблестный труд». Медаль «За успехи в народном хозяйстве».

Когда вы их носите?

Когда в районе бываю.

На балу?

Слишком неподходящее место бал, чтобы их там носить. Слишком тяжело они достались. Надо проработать годы.

Не только проработать, но добиться чего-то, говорит Фрицис.

Что бы я купила? Мне уже дали то, чего все так жаждут — «Фиат». Хочется съездить куда-нибудь, хотя бы после обеда. В Кулдиге были конные состязания с препятствиями. Муж это очень любит, еще со времен военной службы.

Сыну дали путевку в Финляндию, за хорошую работу. Как отличному комбайнеру. Занял третье место в республике. Парень как начал 14 июля убирать, так без суббот и воскресений по сей день.

Об успехах больше рассказывает Гулбис, она — о работе.

Было бы только времени побольше. Не хватало времени даже, чтобы быть депутатом. Депутат должен ходить, присутствовать на собраниях. У меня нет времени. Хотела в Москву на съезд колхозников поехать, да не смогла, не знаю русского языка. Председатель спрашивает у сына: неужели мама действительно не знает русского языка? Ну, не знаю я его! Поехали вместо меня другие — из Снепеле.

Чего бы вам очень хотелось, будь у вас свободное время?

Хотелось бы посмотреть свою страну, самые красивые места. Сигулду... Какое-нибудь красивое озеро.

Из всего разговора меня больше всего поразила последняя фраза. Если ты проработал двадцать лет на этой сырой и вообще мрачной работе, возясь с варевом, бурдой и прочим свиным кормом, то тебя тянет к чистому озеру, к душистым просторам со стрекозами и цветущими кувшинками.

Должна быть у человека тяга к какому-нибудь озеру. И если он сохранил ее в течение двадцати лет, то сохранит и на всю жизнь. И, наверное, она перейдет к сыновьям.

Кола. Известная доярка республики. Обслуживает пятнадцать коров. Доит вручную. 5016 литров от каждой коровы. Работает в «Варме» уже двенадцать лет. Орден Красного Знамени и медали «За доблестный труд» и «За успехи в народном хозяйстве».

Все благодаря моему крепкому здоровью и предприимчивости. Другой бы уже давно ушел. Четыре доярки, одна за другой, работали здесь при мне. Разные они были, приходили и уходили, говорили, что слишком трудно. На равнодушии далеко не уедешь. И на слезах далеко не уедешь. Я иногда плачу, это никуда не годится.

Если бы вам предложили дать свободное время — вы бы долго им пользовались?

Мне и во сне такое не снится, свободное время. Пришлось бы просить все свои отпуска, я их никогда не брала, десять лет. Да и лучше, когда его нет, этого отпуска — работаешь равномерно, и все хорошо. А то — вернешься из отпуска, а надой снизились. Разве они следят как полагается. Еду в экскурсию и знаю — что-нибудь да не так будет. Хотелось бы мне побывать на соревнованиях доярок, в качестве простой зрительницы, там ведь все механизировано. Да времени нет. На выставки и соревнования попадают те, кому это вовсе и ни к чему...

Белозубая, розовощекая, темные выющиеся волосы. О таких женщинах говорят: кровь с молоком. А в глазах слезы. Хочется сбежать отсюда? Да нет же! Разве что когда начальство обижает. Председатель? Нет, председатель хороший.

Что это значит — хороший?

Если он добро делает, как он может быть плохим! И опять слезы в глазах.

Ну с чего это вы?

Если сцепится зоотехник с дояркой, тогда узнаешь, кто из них больше прав имеет.

Так я и не узнал, чем Кола обижена, но зато мне вспомнился тост дагестанской поэтессы Фазу Алиевой в одном словацком колхозе, где мы гостили: пусть звучит в ваших домах женская песня, потому что женщина поет там, где все хорошо, и тогда, когда все хорошо!

Прощаясь, Кола говорит: какая мягкая, господская ладонь...

Нарочно она так сказала? Или по простоте душевной?

Никогда я не стыдился своих рук, а в тот раз покраснел и сейчас, вспоминая об этом, краснею. Не оттого, что

руки у меня не загрубели от работы, а оттого, что у нас на селе такая тяжелая работа все еще взвалена на женщину.

В Латвии, по сравнению с другими республиками, очень высокая женская занятость — 52 процента женщин работают (в среднем по Союзу — 51 процент).

Это свидетельствует о тенденции к материальной и общественной самостоятельности женщин, но, к сожалению, рядом с этой приятной цифрой мы видим и две неприятные — низкий процент прироста народонаселения — 3,3 процента на тысячу жителей (по Союзу — 8,9 процента) и высокий процент расторжения браков — 4,6 (по Союзу — 2,6 процента).

Таковы статистические данные 1971 года.

Видимо, молодая семья отдает предпочтение работе и свободному времени. Но разве это не социальный эгоизм?

58 процентов квалифицированных сельскохозяйственных специалистов — женщины. Но ведь почти у каждой из них есть еще и свое «малое хозяйство» — семья.

Спортивное общество «Варпа» провело в нескольких сельских районах социологические исследования. В Екабпилсском районе в период анкетирования ни одна из опрошенных женщин не участвовала в регулярных спортивных занятиях. В Валмиерском районе — 74, а в Екабпилсском — 68 процентов женщин никогда не выполняли нормативов какого-нибудь спортивного разряда, в том числе и выпускницы средних школ. Зимой на непосредственной работе в колхозах и совхозах женщина, оказывается, занята на 40 минут больше, чем мужчина. В 1972 году в республиканских соревнованиях по доярству участвовал только один мужчина.

А тем временем в сельсовете обсуждали вопрос о культурно-массовой работе. Председатель и словечком не обмолвился об этом. А ведь знал, что именно этим я интересуюсь. Опять я убеждаюсь в здравом уме руководителя: показывать то, чем богаты, проблематичное — не показывать. Так и не получилось по-настоящему откровенного разговора с председателем. Немного досадно, но, если рассудить здраво, — почему он так сразу и должен был получиться? Почему это он должен так сразу мне все показывать и рассказывать? Главное — я встретил

человека со своим индивидуальным стилем. Председатель сам говорил: в студенческие годы он занимался со своими однокурсниками психологическими головоломками, и казалось, что когда я уезжал, меня провожает смеющийся и немного озорной взгляд Пилениека: так-то вот, старина, не на таковского напал.

● 9. ГЛАВА О СЛОВЕ «НАДО» И НЕТОРОПЛИВЫХ РАССУЖДЕНИЯХ В СОСЛАГАТЕЛЬНОМ НАКЛОНЕНИИ

Нак тут напишешь кратко, если ты проехал сотни километров и часами разговаривал с людьми?

Чем вы гордитесь? — И председатели, все как один, ведут показывать свои новостройки.

Почему?

Где нет строительства, нет роста. Железный закон. И чтобы мне было ясно (и чтобы вам тоже было ясно): строительство новых поселков может вестись разными путями.

Первый — строить в колхозном центре большие дома. Двухэтажные, трехэтажные, четырехэтажные. В них живут молодые специалисты, агрономы, механики, все новоприбывшие. Продавщицы, конторщицы, учителя, парикмахерши. Одним словом — «люди центра».

Другой путь — строительный кооператив. Тогда мне 30 процентов надо внести в банк, и всем остальным, которые и строиться-то хотят лишь через 3—4 года, — платить надо сейчас. Но крестьянин, упрямая голова, так далеко побаивается заглядывать. Почему я должен сейчас платить? Я буду строить позже. Таким образом, это начинание лишается финансовой основы и не может рассчитывать на государственный кредит. Там, где правление «отрегулировало» образ мышления колхозников, там строительство процветает. А в других местах говорят — «непонятый кооператив».

Третий путь — индивидуальное строительство. Построить себе дом может только тот, у кого деньги водятся и у кого есть время и силы для строительства. Это, обычно, большие семьи, где отец или сыновья сами мастера-вые и по субботам и воскресеньям могут работать сообща и двигать дело вперед. Одинокая доярка дома не постро-

ит. Молодая пара тоже. А на селе больших семей мало, свободного времени на постройку дома еще меньше. Ты мне, начальник, сам построй! Так теперь говорят. А нет, так в другое место подамся! Зачем мне самому строить, если казенный получим? Не получим? Ну, так я могу туда уйти, где финская баня есть.

И колхоз строит. В меру своих сил и способностей. И те, у кого нет стремления к чему-то основательному и долговечному, идут в любой дом. А те, у кого есть вкус,— не идут.

Год назад мы, наконец, плюнули на стандартные домишки. Поехали в Эстонию, скопировали новый сборный дом типа коттеджа (своего проекта не было?). Надо бы дать МРС или какому-нибудь заводу строительных материалов задание — выпускать для села эти современные сборные дома по приемлемым ценам. Внизу 3 комнаты, кухня, гараж, ванная комната. Стоит такой дом 2,5 тысячи, сборка и возведение — 9 тысяч. Всего — 11,5 тысячи. Но мы не добились того, чтобы это было включено в официальный план МРС. (А как в других республиках добиваются?) Это может сделать только Совет Министров. У литовцев теперь будет специальный завод, производящий для колхозников дома из готовых конструкций по новому современному патенту. Со временем и у нас будет.

Видите, у всех кирпичей отбиты углы. Как легко было бы строить из блоков! И поэтому Кулдигский район ищет свой путь. В Кулдиге есть высококачественный песок (об этом знал уже меркантильный курляндский герцог Яков). Можно производить строительные материалы нового типа — силикальцитные блоки.

У межколхозной строительной организации есть свой завод. Представьте себе, как через несколько лет может развернуться строительство, если эксперимент себя оправдает! Цемент не нужен, силикальцитные блоки можно выпускать различной величины и различной окраски! Они дешевы и настолько прочны, что из них можно возводить десяти- и двенадцатиэтажные здания. Оттого-то в Кулдигском районе отношение к строительству поселков несколько выжидательное — ждут новых материалов, новых проектов, нового скачка.

В «Коммунаре» Салдусского района поселок растет на глазах.

Дома типовые: красивы и дороги. Пять уже сдано, каждый стоит 23,4 тысячи, колхозникам их будут прода-

вать дешевле — за десять тысяч. После Нового года сдадут еще пять, потом еще десять, потом еще сколько-то.

Люди приходят, приходят сюда даже из других мест. Женщина, хороший культорг, пришла к нам из Лиепай только потому, что дали дом. А муж ее шофер, это нам выгодно.

«Драудзиба» Талсинского района планирует построить в будущем году 13 домов для отдельных семей, в каждой из которых представлены три поколения. Это красивые, со вкусом спроектированные дома, но они вдвое дороже обычных. Председатель не строит иллюзий, будто их кто-то купит. Но мы их своим лучшим колхозникам отдадим! На индивидуальные коттеджи выделяется 15 процентов из фондов капитального строительства. Почему все не могут селиться в зданиях коммунального типа? Потому что существует безусловная тяга к собственному, индивидуальному месту проживания, к его совершенствованию и благоустройству.

В образцовом поселке литовского колхоза «Пергале», например, все жилые дома построены по индивидуальным проектам. Председатель Иозас Вилюс считает, что создает для людей наибольший комфорт и возможность пользоваться всем тем новым, что входит в жизнь села. Хотя капиталовложения в уличную сеть и в строительство коммуникаций увеличиваются, это удорожание оправдывает себя — чем лучше условия, в которых живет человек, тем с большей радостью он отдает свои силы работе.

Новобрачных будут селить в домах городского типа, потому что совершеннолетним отдельные квартиры надо давать по возможности скорее, чтобы развивать в них самостоятельность, говорит Дамшкалн.

Следует подумать и над тем, что можно было бы назвать проблемой свекрови или тещи. Стремительный ход времени предъявляет человеку максимальные требования. Молодая жена отрывает сына от матери, не сказав даже доброго слова. Работа тоже. В Канаде родители после женитьбы детей строят себе отдельный дом. В Германии тоже. «Предкам» надо бы находиться на расстоянии ружейного выстрела от детей — этак метрах в тридцати пяти, чтобы и новая и старая семья чувствовали свою неприкосновенность. Мне думается, что так мы и сделаем, построим для стариков ряд домишек, каждой семье — свой. Помещать престарелых в пансионат — это

значит отправлять их в ссылку. Мы своим ветеранам хотим обеспечить на старости больше удобств и уюта. Это же бессердечно — старого Екабсона, всю жизнь отдавшего колхозу, отправлять в Лиепаяу, в пансионат! В крайнем случае, пансионат должен находиться здесь, в колхозе.

Председатель отстаивает свою идею пока чисто теоретически, но, зная возможности и темпы развития этого хозяйства, можно поверить, что домики для пенсионеров колхоз построит.

Это мудрое формирование своей среды. А вот в колхозе «Яунайс комунарс» строят только сборные финские «убогие домишки», обложенные серым «убогим кирпичом», и большие белокирпичные дома городского типа. Почему? Блум вам скажет, если вы не знаете: думаете, это по глупости делается? За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Если хочешь закончить строительство производственного сектора, то жилищное строительство отстает. У Клявы в «Коммунаре» есть жилые дома, но нет ни современных хлевов, ни механических мастерских.

Кто прав? Поди разберись. Наверное, это просто вопрос тактики. Клява укрепит в людях чувство собственного дома (и, следовательно, укрепит кадры) и потом из всех сил возьмется за производство. Блум — сначала развернет производство и увеличит доход, а затем с большим размахом сможет объявить конкурс на проект поселка, потому что нынешняя планировка колхозникам не нравится. Поселок можно было бы расположить по обоим берегам речки Апсе. Каждый дом мог бы стоять на береговой круче, конечно, тут же в центре.

Человек вдохновленный думает о будущем, о своих людях, о новых семьях и детях: где они будут жить, будут они нам благодарны или будут ругать нас.

А спущенный Латгипроземом генеральный план разрешает застраивать только по квадратам.

ЛАТГИПРОЗЕМ...

С чем его едят? С квадратной колбасой? Или он сам ест? А жена его ходит на квадратных ногах? Это не живое существо, а институт? Значит, в нем есть работники. И что же, они высидели себе квадратные седалища?

Не зря Пятый Всесоюзный съезд архитекторов констатировал, что одной из сложнейших проблем в сельском строительстве является недостаток кадров, проектирую-

щих это строительство и руководящих им. Многие делегаты предлагали создать творческие архитектурные мастерские, которые, при посредничестве Союза архитекторов, могли бы реализовывать проекты, в том числе и для нужд сельского строительства, помимо проектных институтов.

Вот Шмит из Лутрини. Ни голова, ни зад у него не квадратные. Он умный человек, у него умная жена, и пусть демографический взрыв даст им умных детей! Шмит никогда не согласится, что квадратный поселок красивее, чем не квадратный. Да он и не дешевле! Водопровод можно провести по прямой и в том случае, если дома не вытянулись по линейке. Можно было бы построить и какой-нибудь деревянный дом, но нет мастеров. Можно бы строить и из красного кирпича, но пока и красного кирпича нет. А в зоне нового поселка находится парк, а в парке есть свои укромные местечки, свои холмики и низинки. Все это можно и должно использовать.

Мы сами отказываемся от того, что предлагает нам природа, и удивляемся, что из-за однообразия домов — и как только это случилось? — становимся однообразно серыми. В поселок мы идем единообразно, на работу — единообразно. Ведь мой мотоцикл не отличается от твоего? И дом тоже. Нам понравилась соседская калитка, и мы сделали у себя такую же. Надо, чтобы все было как у других! У меня такое же, у меня такое же! Этот процесс своей шаблонностью напоминает моду на лекарства. В городе уже все почти испробовали на себе элениум, мепробомат, седуксен. И стоит появиться каким-нибудь новым таблеткам, как люди с вялой и неухоженной нервной системой набрасываются на них — ах, радедорм! Это неверие в свои собственные жизненные силы. Вот так же и шаблонное расположение сельских домов и композиция дворов говорит, по-моему, о том, что люди сами не верят, насколько они всеильны, богаты на выдумку, если только не забывают ПРИНЦИП ОСОБЕННОСТИ. Значит — надо напоминать. О том, что этот принцип особенности находится в загоне, забвении, что он захудал — свидетельствуют старые названия крестьянских дворов на одинаково шаблонных домах. Люди пришли из рощ, их старый дом называется «Рощи», на новом доме тоже написано «Рощи». Написано на новых домах «Черемушные горы», «Затоны». Вам ничего не напоминают эти названия? Они напоминают о принципе ОСОБНО-

СТИ. В названиях домов отражаются природа и личность. И если нет уже этой близости к природе, то пусть вдвое сильнее чувствуется человеческая личность! Пусть дома будут: Зеленоштакетником, Синештакетником, Дубовокалиточкой. Пусть они отличаются друг от друга! А в Силаяни Прейльского района названия домов исчезли совсем. Кому они помешали? Чему способствует эта нарочитая ненужная шаблонизация?

Шмит не позволил даже в центре проектируемого поселка разобрать черепичную крышу старой клетки. А в другом месте остались, сложенные из валунов, стены старой помещичьей клетки, тут он оборудует спортивный зал. Это будет дешево и сердито. Стены немного потрескались, но их стянут железными обручами. Когда он встречается с Клявой из «Коммунара», то разговор только и вертится вокруг того, как бы использовать какую-нибудь старинную кладку.

При обсуждении планировки нового поселка колхоза «Узвара» Бауского района архитекторы говорили: komponуя объемы существующих и строящихся зданий, решающее значение следует придавать возможности разнообразно и взаимно комбинировать их, что позволяет постепенно осуществлять любой вариант в смысле последовательности застройки. Такой способ проектирования несомненно более труден, чем тот, при котором сразу создается статичная и законченная композиция, но зато в процессе осуществления он позволяет добиваться относительной композиционной завершенности, добавляя к существующему ансамблю любой новый элемент.

Во время обсуждения семнадцати первоначальных эскизов поселка «Драудзиба» Талсинского района говорилось о том же: однообразная, не подчиненная географическим особенностям застройка уменьшает пейзажное своеобразие сельских населенных мест. Чтобы это своеобразие сохранить, надо разнообразить методы застройки и силуэты будущих поселков. А председатель Шмит сказал: выговор я за это, конечно, схлопочу, но зато у меня будет красивый поселок.

Пройдут годы, и люди будут удивляться, зачем это были снесены цветные, сложенные из валунов стены. Или вы думаете, что валуны бывают только серыми? Значит, у вас не просто цветовая слепота, а социальная цветовая слепота. Серость — это социальная беда. О, эти любители янтарных безделушек, уверенные, что янтарь на дешевой

витой проволочке прекраснее,— постояли бы они возле каменной кладки да потренировали свое зрение! В камне, браток, есть все краски земли. Когда-нибудь, дорогуша, став богаче, мы будем опять и еще красивее строить из камня, но пока у нас времени нет.

Председатель талсинской «Драудзибы» Дамшкали оставит в центре своего агрогородка каменную стену старинного поместья, укрепит ее, посадит виноградные лозы, построит беседку — каменные руины оживут. Люди зачастую привыкли мыслить очень примитивно: все старое некрасиво. Бабушкой сотканное одеяло — некрасиво, сама бабушка тоже некрасива, старое дерево, старый камень — некрасивы. Как дети!

Чтобы попасть в поселок колхоза «Яунайс комунарс», надо сначала проехать прямо-таки через какую-то фабрику, по обеим сторонам дороги — мастерские, фермы, зерносушилки, склады. Красивого в этом мало.

Агроном считает, что это и красиво, и удобно, и рационально. Это только горожанину кажется, будто от фермы вонь идет. Я не вступаю в спор, хотя мне и кажется, что эти строения могли бы находиться вдвое дальше от дороги, чтобы деревья и зелень укрывали их, и вообще все эти необходимые, в конечном счете, здания, которые никак не назовешь красивыми, можно было бы построить на каком-нибудь ответвлении дороги, чтобы не грохотали машины прямо под окнами.

Но я не вступаю в спор. Пусть говорят сами председатели. Пусть говорит Пилениек из «Варме». У Пилениека тоже от шоссе к поселку ведет новая асфальтированная дорога. Но она не обросла сараями и мастерскими. (Еще не обросла. Может быть, обрастет?)

Меня ругали. Я — ни в какую. У въезда в поселок хотели построить зерносушилку. План давно подписан, отступать от него нельзя, изменять тоже, и они стоят на своем. Каждый хочет свою власть показать. Но и я не уступил.

Госстрой предусматривает в проекте, что 2000 голов скота будут находиться меньше чем в километре от центра. Свиньи будут здорово пахнуть. Почему наши люди не могут потратить пятнадцать минут, чтобы доехать до фермы? Почему они и дома должны дышать той же вонью? — так говорит Пилениек.

Самое поразительное то, что кампания за поселки началась со строительства уродливейших (может быть, по-

тому, что они дешевле) типовых особнячков. Это маленькие домики финского типа, обложенные по стенам белым кирпичом, с серой шиферной крышей. Они первыми появились в центре поселка. А ведь в современном градостроении центр оставляют не застроенным для зданий будущего, а необходимыми, но архитектурно несовершенными зданиями застраивают окраины. Так можно было бы строить и на селе: застроить дешевыми финскими домишками одну улицу, подальше от центра, оставив место для более красивых и роскошных домов, которые будут строиться позже. Как бы не так! Удобнее начинать строительство тут же, у дороги, не надо прокладывать параллельную улицу, это требует денег, усилий. Хороша та работа, которую можно сбыть с рук! Но каким же примером могут служить эти домишки или целая их цепочка возле дороги? Никаким. Другое дело, если бы председатель построил в центре хотя бы один образцовый дом по индивидуальному проекту и тем самым показал будущее этого поселка — на что надо равняться. Да, там, на окраине, мы еще строим эти убогие домишки, но через несколько лет будем строить вот такие — в центре.

Надо заложить основы красивого центра, а если это еще не под силу, то застраивать пока периферию поселка, сохранив центр для близкого или даже не очень близкого будущего.

Это почти общая наша ошибка на селе. Поэтому меня и заинтересовало строительство поселка в «Коммунаре». Оно началось не с дешевых домиков, а с привлекательных современных домов, достаточно удобных для крестьянской семьи. Столь же удобны и хозяйственные постройки возле этих домов. А рядом с маленьким сборным финским домиком большую хозяйственную постройку не возведешь.

Все это сложное хозяйство из сарайчиков, пунек, поленниц, собачьих будок и тачек, которое так легко размещалось в больших крестьянских дворах, теперь пытается найти себе место в дворике финского домика — не может оно уместиться под крышей маленькой хозяйственной постройки. Места не хватает. Начинают появляться всякие будки. Вроде тех, которыми обрастали послевоенные пригородные дома — дровяные сараи, сарайчики для сена, сарайчики для кур, будки для кроликов... И тут же горы — гора дров, гора досок, гора навоза, гора кирпичей. И еще — куча соломы, куча торфа, куча компоста, куча

хворосту. Все это можно наблюдать в предместьях — из окна вагона. Теперь подобную же картину можно увидеть и на селе: уже долгие годы приезжающему в Броцены, словно отвратительную визитную карточку, прежде всего показывают какой-то «шанхай» царского времени: будки, лачуги, помойки, свалки и старые жестяные заборчики, окружающие огородик размером три на три метра. И это возле самого шоссе. Неподалеку от Скрунды какой-то СМЦП соорудил такие же запутанные лабиринты из всяких куч и будок. Ни салдусские, ни кулдигские архитекторы, наверное, не замечают этого, привыкли.

Но самое непростительное — что всеми этими временками обрастают как раз новые сельские поселки, самое, так сказать, начало новых поселков!

Сносят старые развалюхи и обрастают новыми развалюхами, сказал председатель одного колхоза. (Старые развалюхи — это старые хутора.) Кто же заставляет обрастать? — спросил я. Да тот же самый председатель, который не строит основательные крестьянские дома с вместительными и современными подсобными строениями, а обходится этими маленькими дешевыми домишками с их маленькими хлевиками!

В колхозах с ярко выраженным интенсивным производством и заботятся интенсивно о новом порядке на дворах колхозников. Председатель колхоза «Тервете» ясно и понятно сказал на общем собрании: мы никого не погоним на работу, если человеку надо сначала привести в порядок свой двор. Надо снести ненужные сараи, нужные — отремонтировать, солому увезти и сжечь в поле. Как здесь сказал товарищ из военкомата — война невозможна и ее не будет, поэтому запасайтесь дровами только на один год. А то мы сносим старые сараи и тут же заваливаем двор горами дров. Для всех трудоемких работ используйте бульдозер — он взят напрокат для этой цели у «Сельхозтехники» на два месяца. Кому надо, просите гравий для дорожек. Сейчас у нас работают две бригады асфальтировщиков, бригада электриков. У нас есть специалистка по декоративному садоводству, она хоть и работает меньше месяца, но может помочь советом.

Я не могу утверждать, что для колхоза «Тервете» этот новый ритм уже стал органичным. Может быть, прихвастнули немного по случаю собственных достижений? На общем собрании колхозу вручали Всесоюзное пере-

ходящее знамя за высокую производственную культуру.

Темпы роста надоев за год были здесь самыми высокими в республике.

Денежные доходы, по сравнению с прошлым годом, увеличились более чем вдвое.

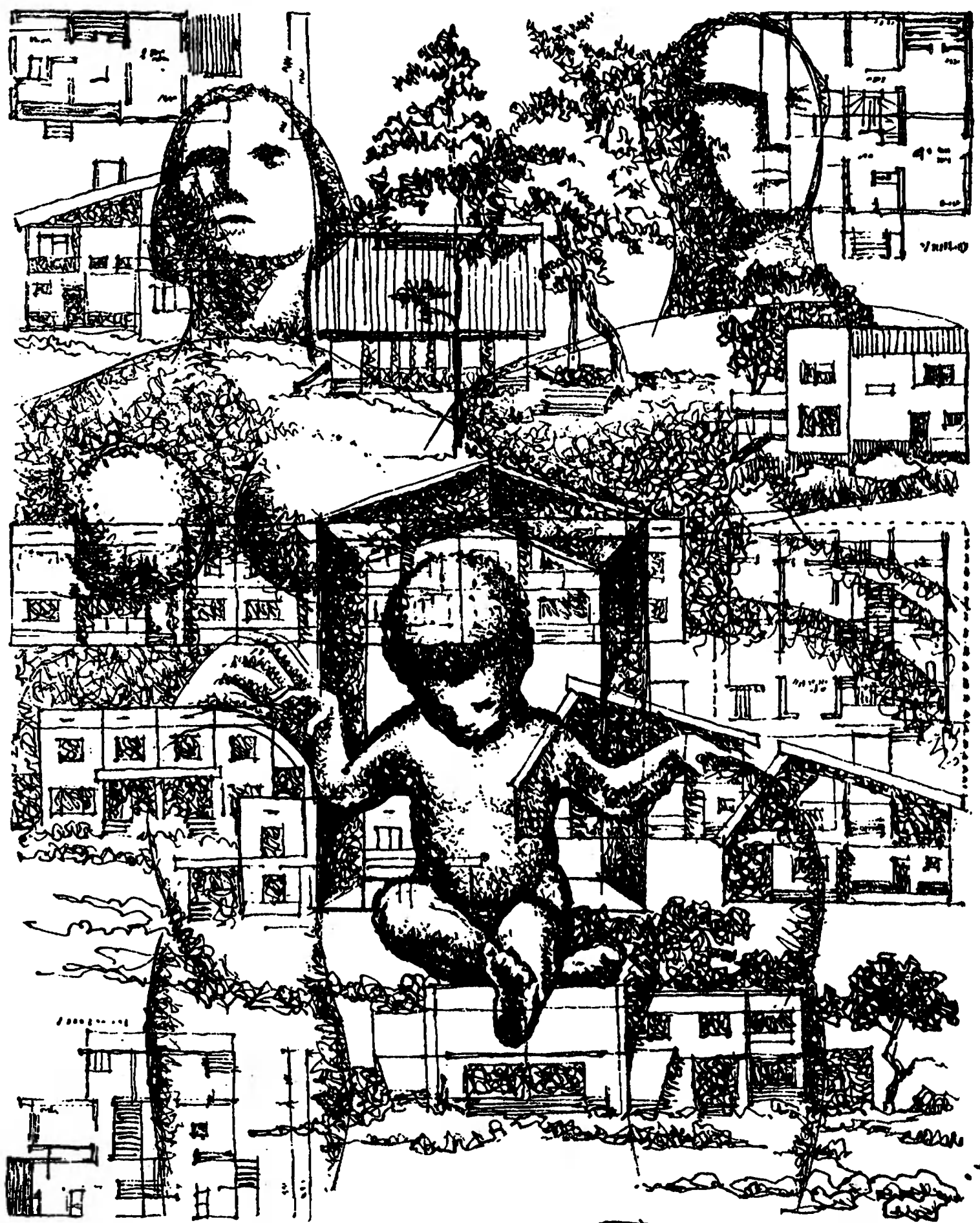
План государственных заготовок выполнен на 186 процентов.

Гремели трубы колхозного оркестра, и заместитель министра говорил слова, в которых чувствовались и крестьянская простота и запутанные языковые стереотипы делового человека. Скажем, дождик это и дождик, который моросит сегодня, и он же дождик, вносящий известный вклад в повышение плодородия нашей земли.

Я вышел на улицу. Это происходило не нынешней осенью. Была весна. Из земли пробивался шпорник. Зазеленели возле лесной опушки проросшие на пашне всходы. Впервые куковала кукушка. Утром запел соловей. В ту весну я часто гулял по полям этого колхоза и думал, что надо бы осенью еще раз взглянуть на Курземе — чем наши колхозы богаты, чем бедны. Здесь был расположен один из самых интенсифицированных колхозов Латвии. Дул апрельский ветер. Надувались простыни и вертелись флюгера. Да, а почему так мало флюгеров? Когда-то они были на каждом доме. Разве теперь направление ветра уже не имеет такого значения?

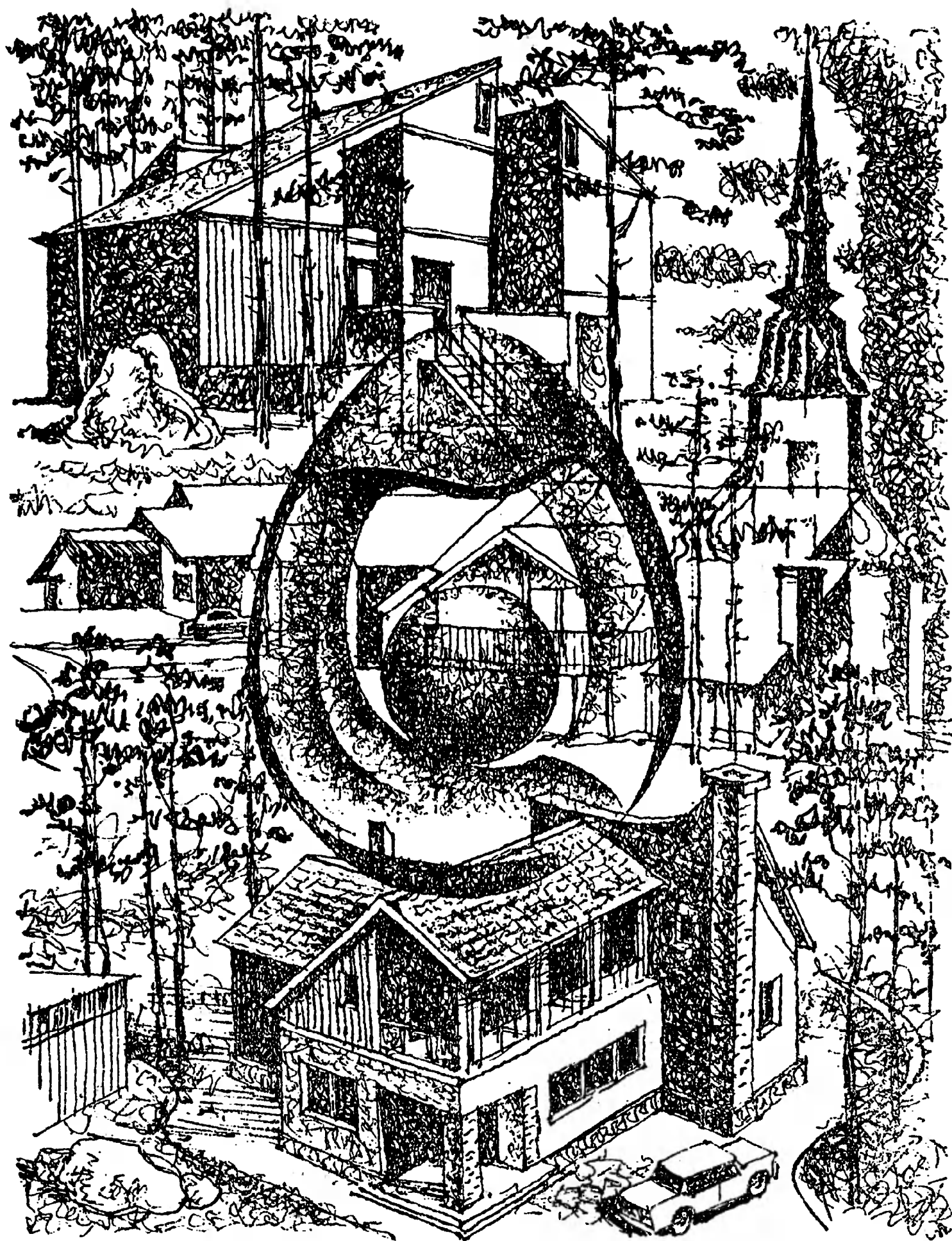
Из-под слоя земгальской глины добывают торф — всюду чувствуется воля хозяина. Воля — это проявление некой динамической, внутренне напряженной системы. Здесь это видишь повсюду — но снова и снова замечаешь, что этой динамично напряженной хозяйственной системе не хватает эстетического момента, вернее, совета в этой области. А именно, возле конторы, у здания из красного кирпича, могла быть купа вишен (сейчас бы они цвели белым цветом!), но там высажены немецкие елочки, по банальному примеру городских сквериков. Город, позаимствовав сельскую природу, изуродовал ее в своем ограниченном скверике и теперь возвращает селу как бог знает какую ценность. И село ее принимает, и верит, что это красиво.

О красоте и ее понимании в новом поселке можно было бы написать целую книгу. Красоту требуют, ее не-



правильно понимают, ее стыдятся, над нею посмеиваются. Прямо-таки драматургия!

На окне машинно-ремонтного пункта — цветочные горшки, кактусы. Зачем? Кто их сюда поставил? Женсовет? Что это — требование администрации или кто-то из механиков «осмелился», не боясь, что сначала над ним будут зубоскалить? Если спросить у ребят, что бы они сказали? Что это за цветы? Ерунда, сказали бы они. При-



ташили, надо, мол. Другие ответили бы уклончивей и ироничней. Не станешь ведь свой колхоз высмеивать, но и восхищаться ведь тоже не станешь. Для красоты, для красоты — и ухмыльнутся с чувством собственного превосходства. Может быть, ответ будет совсем иной, какого ты и не ждал никогда.

В центре поселка вчера посадили елку, позаботились уже о том, где Новый год праздновать. И это сейчас? Во

время посевной? Ну и предусмотрительный этот председатель! И кому, черт побери, эта елка бы на ум пришла! А через несколько дней приволокут сюда с мелиоративных полей огромный валун. Да, но кому этот камень нужен? Птичкам, чтобы какать на него. Голубям, чтоб загадить его, говорят старики. Пусть себе говорят, старость не всегда равнозначна мудрости.

Обочины дорог тоже распаханы до самой кромки. Цветы высадят! Потеха! В дождь машинам будет куда грязь расплескивать.

Вот цементный бассейн с крутящимся фонтаном, это вещь! Как в городе!

Так рассуждают здесь, и никто не определит, что идет от житейской мудрости, что — от дешевых, где-то услышанных рассуждений.

Вдоль главной дороги будут располагаться все производственные узлы. Машинный узел, зерносушилка, заправочная станция, гаражи. И весь этот лязг металла будет врываться в окна новых домов. Пока это крестьянина не волнует, пока он еще над этим смеется. Когда же он превратится в горожанина, тогда ему захочется снова — стать крестьянином.

Когда-нибудь ты опять приедешь сюда и оглянешься вокруг: растет ли елка, привезен ли валун, прижились ли кактусы в механической мастерской, отдыхает ли кто-нибудь в березовой роще, не превратилась ли она в жалкую истоптанную поросль. Может быть, переходящее знамя будет уже у других и юбилей тоже будет позади... Будет ли курс на прекрасное продолжаться столь же интенсивно, как о нем говорилось на этом общем собрании?

Да, знамя у нас! Заслужили мы его уплотненным, организованным производственным трудом. Но деятели латышской культуры и науки будут вспоминать председателя Гредзена и еще по одной причине.

В те дни, когда экскаваторы рыли могилы для хуторов, а бульдозеры сталкивали туда дома и заваливали их землей, в те дни был зарыт и засыпан и дом всемирно известного ученого Хелманиса, находившийся на территории «Тервете». В борьбе за культуру производства и за первое место председатель забыл об общей культуре. В созидательном социалистическом труде председатель использовал старые волюнтаристские методы. Или, может быть, признаемся, что это отнюдь не устарелый прин-

цип «цель оправдывает средства» и мы пользуемся им в нашей сегодняшней деятельности?

Я могу заключить этот печальный рассказ выводом: таков сегодняшний, полный противоречий день нашего села, и все облегченно вздохнут, даже порадуются этому «диалектически бесспорному» выводу — да, видите, какой могучей, противоречивой жизнью мы живем, противоречия нескончаемы, такова динамика развития... диалектика... и т. д. Эта всепрощающая, неаналитическая отговорка отмахивается от конкретной оценки ситуации и похлопывает председателя по плечу: молодчина!

А знамя колхозу давать за культуру вряд ли следовало! Можно было дать все другие знамена: за темпы производства, за показатели, интенсификацию, но только не за производственную культуру. Потому что нельзя говорить о культуре там, где производитель не понимает преимущественности производственной культуры и не понимает производителя, жившего здесь до него и, возможно, в одиночку давшего миру больше, чем может дать целый такой колхоз.

Но предоставим слово истории!

Хелманис открыл малеин и тем самым занял видное место в мировой науке. В то время начиналась эра бактериологии. Во Франции к вершинам славы поднимался Луи Пастер, в Германии — Роберт Кох, а в России экспериментировал Илья Мечников. Хелманис самостоятельно поставил ряд опытов, существенно дополнивших теорию о лечении бешенства. Его исследования публиковались в русских и французских научных изданиях. Хелманис провел предварительную работу, давшую возможность открыть отделение пастеровской станции в Петербурге. Это была вторая в мире пастеровская станция. Когда в Петербурге открылось первое русское научно-исследовательское медицинское учреждение — Институт экспериментальной медицины, то в этом была большая заслуга Хелманиса. Он получил туберкулин примерно за год до Коха, но, будучи человеком скромным и очень требовательным во всем, что касалось его работы, не опубликовал своего открытия. Об этом стало известно только после его смерти. При выходе в отставку с военной службы (он служил в ветеринарной лейб-гвардейской клинике) Хелманис получил благодарность не за свои научные заслуги, а за хорошо подкованных лошадей — он изо-

брел особый тип подковы, широко применявшийся в русской армии.

А мелиораторы сожгли дом Хелманиса с молчаливого согласия председателя.

Я стою в центре будущего поселка «Сатики». Это один из окраинных колхозов — на берегах Имулы между Кабиле и Салдусом. Редкому поселку так везет в смысле месторасположения: красивейшая Имула, старинный парк, аллея могучих деревьев, водяная мельница. Пока что построено три-четыре домика, общий вид поселка еще не испорчен. Сборные финские домики — на другом берегу, в отдалении от центра. Еще есть все возможности построить сказочный поселок. Председатель — не из тех, кто любит пороть горячку, не обжигается молоком и не дует на воду. «Если, причесывая голову, уронишь расческу, стало быть, ветры пустишь», говорит народная поговорка. Так что с этой головой надо поосторожнее! Если колхозники поймут прелесть индивидуальных проектов, а правление разрешит строить в центре только оригинально спроектированные дома, то этот поселок станет одним из красивейших в республике.

Ферм понастроили, можно давать продукции вдвое больше. Теперь есть время подумать о благоустройстве, о поселке, о Доме культуры. Блум тоже начал с курятников — это позволило выбраться из финансовых затруднений. Потом построили удобные и отапливаемые механические мастерские. Потом — коровник и помещения для откорма. Элтерманис поступал так же. И вот пришла очередь Дома культуры. Хотелось бы, чтобы он сохранил внешний вид старого замка, со стенами из тесаных валунов и чугунной чеканкой на окнах. Архитектор запроектировал восстановить черепичную крышу. Я смотрю на председателя и агронома, они оба молоды, оба руководят этим колхозом, оба хотят, чтобы в этом старинном парке осталось нечто от их замыслов, нечто своеобразное и более интересное, чем в других местах. Восстановят они черепичную крышу или не восстановят? Скорее всего, не восстановят... Есть такая старая отговорка: это не так просто...

Да и надо уметь. У нас в колхозе есть два старика, которые умеют, но на крышу они больше не лазают... И работа эта трудоемкая...

Скорее всего, не восстановят. Хотя в «Коммунаре», во дворе известного комбайнера Осовского, мы видели целые горы черепицы. Никому так и не пришло в голову использовать ее для домов в новом поселке. Людям нужен пример, образец, инициатива.

Работников Стендесской селекционной станции нельзя назвать невеждами, это интеллигенты, ученые, но шаблон, легкость шаблонных решений проникают всюду — неповторимые старинные здания уже покрыты шифером.

Красной черепицы не достанешь, серым шифером крыть не разрешали, мы разозлились и все-таки покрыли, говорят они.

А вы искали черепицу?

В Алсунге говорили: глянь-ка, черепица старого Бауского замка в траве валяется. Значит, есть черепица. Там же рядом, в «Коммунаре», разваливается старая заброшенная школа с черепичной крышей. А сколько их, таких зданий!

Рута, комсомольский секретарь колхоза «Варме», показывала мне личные планы работы своих комсомольцев. Повсюду значилось «принять участие», «помочь». «Чтобы колхозный центр становился все красивее, обязуюсь отработать двадцать часов». Стало быть, «участие» выражается в часах. И лишь один человек написал человеческим языком: «обязуюсь сделать». В колхозе «Яунайс комунарс» комсомольцы совершенно не представляют себе, что им писать в индивидуальных планах, они просто списывают друг у друга: сэкономить горючее, окончить среднюю школу. И так из года в год, кончают и кончают среднюю школу уже семь или десять лет и все не могут окончить, экономят и экономят горючее, а сколько сэкономили — никто не знает.

Ну, а помочь председателю найти цветной шифер («чтобы колхозный центр становился все красивее»), это дело политическое или нет?

Руте такой вопрос показался каким-то чудачеством.

Можно было бы и в Сатики спросить у комсомольцев: добиться, чтобы ваш новый поселок был неповторимо красив, чтобы новый Дом культуры сохранил свою своеобразную архитектуру, это политическая задача или нет? Точнее: раздобыть черепицу и покрыть ею крышу нового Дома культуры — это важное политическое дело или нет?

Да. Равно как и все, что способствует осуществлению замыслов советской власти на селе.

Придут ли комсомольцы к колхозному председателю и скажут ли ему — если он в централизованном порядке достать черепицу не может, они бережно снимут ее со старых домов, принесут на руках и сами покроют крышу нового здания, раз старикам уже не под силу забираться туда? Научатся этому делу, сделают его за те двадцать часов, которые они обязались отработать в общественном порядке?

Сделают они это?

Есть еще одно место, которое председатель хотел бы сохранить таким, каково оно сейчас. Это мельничная запруда с ее крутыми берегами, темным отражением елей на водной глади, а ночью — луна и звезды, с соловьиными трелями. Должно быть такое место, куда ты приходишь подавленный заботами и вдруг — сердце заносит от красоты. Иначе — оно ноет только по поводу цемента, денег и поголовья поросят. А вот среди подснежников оно ноет по-особому. Да и любовь возле такого озера, при луне, под сенью темных елей, это нечто иное, чем на голлом асфальте, под рев транзисторов. Есть в этом озере что-то.

Но плотина уже грозит развалиться. Председатель время от времени приходит сюда, глубоко вдыхает запаха озера — и не успеет еще сладко занять сердце от соловьиных трелей, как оно уже снова болит из-за цемента. Состояние плотины с каждым днем становится все более угрожающим. В районе одну такую мельничную плотину уже прорвала речушка Зане. И запруда похожа теперь на черный лунный кратер. И в колодцах иссякает вода, меняется микроклимат. Реконструкция теперь обойдется в семьдесят тысяч рублей. Если бы вовремя спохватились... Экономически не оправдывается восстанавливать? Но это такое место, которое влечет к себе всех! Средства надо найти, цемент раздобыть.

Как только подумаешь о цементе, соловьиные трели превращаются в простое чириканье. Уши, что ли, глухнут? Ноздри, что ли, становятся нечувствительными?

Здесь, в окрестностях мельницы, можно было бы построить для своих прекрасные бани-срубы.

Разве всем надо обязательно строить финские бани? Можно было бы построить четыре-пять красивых и не таких дорогих обычных банек прямо на берегу озера. Каздангский колхоз «Ленина цельш» построил возле парка конкурирующую с финской баней местного техникума



обыкновенную дешевую латышскую баню-сруб, и с каждым годом, по мере того, как растет поселок, она становится все нужней, романтичней и популярней.

Есть у нас в замке камин. Как с ним быть?

Хозяева еще не умеют сегодня распоряжаться художественными ценностями, это чувствуется повсюду. Камин можно разобрать, законсервировать, отправить на склад до той поры, когда время и вкус вновь сочтут его необходимым. Может быть, архитектор потребует его завтра же. Важно не потерять.

Сказочно разнообразны пейзажи речушек Имулини и Амулини. Они поразительны, миниатюрны и бесподобны. И далеко от больших дорог. Если в республике есть какой-нибудь архитектор-пейзажист и у него есть право отнести их к зоне охраняемых ландшафтов, то пусть он съездит на Имулу и Амулу весной, когда начинают зеленеть листья, или осенью, когда там диво дивное.

По разнообразию своих миниатюрных пейзажей одним из красивейших районов Латвии можно считать и Кулдигский район. Когда новые поселки ищут для себя место, где им строиться, понимают ли они, в какой мере природа идет им навстречу?

Может быть, нам можно помочь, сказал в сельскохозяйственном управлении его начальник товарищ Менгис. Я уже слышал о нем, как об умелом хозяине, и ждал, что он скажет: может быть, мы можем чем-то помочь друг другу. Потому что фактически я сам пришел за помощью. Я ждал, что мне скажут: чем я могу вам помочь? Тогда бы я рассказал ему о своих горестях. О том, что я прошу запретить строительство маленьких финских домиков, ну, по крайней мере, в центре поселка. При виде их, обложенных кирпичом, мне плакать хочется... Мне чудится, что совсем-совсем недавно снова была война и снова люди понастроили каких-то времянок.

Я попросил бы постоять пять минут в кленовой аллее, в тишине парка, на речном берегу, постоять и подумать — пускать ли туда застройщика, слепого в отношении форм и красок.

Природа уже не может воссоздать то количество вариаций, которое воссоздавала раньше. Человек с его механизацией сильнее ее. Когда-то человек боролся с природой, оборонялся от ее наступления. Теперь природа борется с наступлением человека, защищая свои микровариации. В словаре иностранных слов можно прочесть, что «мелиорация» — это более мудрая деятельность, чем та, с которой мы сталкиваемся сегодня. Мелиорация — это «радикальное улучшение земель для сельскохозяйственных нужд — осушение болот, закрепление песков-плавучих, искусственное орошение, лесопосадки, устройство прудов и водоемов».

Я попросил бы отодвинуть все фермы от магистралей. Я просил бы пока от имени горожан, потому что сельский житель еще не изголодался по формам и краскам, но он придет к этому, если нынешние непродуманные формы и

цвет станут бесспорными и не подлежащими обсуждению. Тогда тот, у дверей которого будут грохотать тракторы и комбайны, начнет искать тишину и покой, но не найдет их в своем дворе, и наденет обувь свою, и отправится искать их на речном берегу. Пока еще количество транспортных средств невелико, транспорт и люди еще уживаются в одной населенной зоне. Но очень скоро возникнет проблема шума. И разве тогда поселки можно будет перестроить?

Ну, так как же?

За круглым столом архитекторы рассуждают правильно: тишина, характерная для сельской местности, является неотъемлемой составной частью пейзажа. Следовало бы найти такие возможности и методы застройки сельских поселков, при которых условия жизни в них радикально отличались бы от условий жизни в поселках городского типа и им подобных. Для движения транспорта и расположения транспортных средств следует предусмотреть отдельную зону, которая соприкасалась бы с жилой зоной лишь в нескольких точках.

В колхозе «Драудзиба» я заглянул в опросный лист социологических исследований.

Если вам нравится жить на селе, то почему именно?

Лучшие природные условия. Меньше шума, нет толчеи.

Почти все отвечают так.

Так почему же возникает такое противоречие между тем, чего хотят и что делают?

Читаю опубликованную в газете «Литература ун Максла»¹ беседу о сельском строительстве «Для настоящего и будущего», и — что меня больше всего поражает? — обо всем говорится в форме пожелания. Ответственные люди говорят о важнейших проблемах — в форме пожелания.

Говорит главный архитектор Республиканского проектного института землеустройства:

— Строительство следовало бы начинать с общественного центра. Неотложной задачей в условиях нашей республики следовало бы считать — разработку типовых проектов для сравнительно небольших поселков.

А колхозы уже строят. И начинают с неприглядных дешевых домишек.

¹ «Литература и Искусство», орган творческих союзов Латвии.

Говорит руководитель группы Строительного научно-исследовательского института:

— Следовало бы точно знать, например, действительный экономический эффект концентрированной и разбросанной застройки в небольшом поселке.

А люди уже строят! Они не имеют права сказать — следовало бы строить. Они должны строить.

Мы строим так: 1—3—5 — через участок. Каждый второй дом пропускаем. Потому что нельзя строить на селе «каменные клетки», говорят председатели. Проектные организации работают так: от подготовки до реализации проходит четыре-пять лет. Еще до начала строительства на одну лишь подготовку документации уходит три года, говорят в «Зелта Звайгзне». В «Накотне» Добельского района есть своя группа архитекторов, это сокращает сроки строительства по меньшей мере на два года. Зимой проектируют, летом начинают строить. Теперь Совет Министров обещает дать экономически мощным хозяйствам группу архитекторов из трех-четырех человек. Тогда дело начнет двигаться вперед.

Говорит главный архитектор проекта Государственного проектного института сельского строительства:

— Мы добровольно перешли к значительно более благоустроенному быту, но хотелось бы, чтобы кто-то сохранил для нас яблоню, баньку, солнечные дни для наших отпусков.

За «круглым столом» говорят одно, а в жизни получается другое.

Я спрашиваю председателя: могу я перевезти на свой двор в новом поселке чудесную этнографическую клеть? Нет, говорит он. Районная проектная группа не допустит, чтобы во дворе была клеть. Я спрашиваю инженера из Сельскохозяйственного управления: можете вы предложить, чтобы в каком-нибудь колхозе строящийся дом имел крышу из красной черепицы? Нет, не могу, говорит он. Инженер по строительству при Госбанке следит, чтобы государственные средства расходовались экономно, чтобы не было отступления от эталона. Черепица? Но без нее было бы дешевле? И лишает кредитов.

Вот так-то, пока крупные проектные и исследовательские институты высказываются в сослагательном наклонении — СЛЕДОВАЛО БЫ и НУЖНО БЫ, — село строит. Потому что селу НУЖНО. Поэтому ближе всего к истине секция сельского строительства Союза архитек-

торов, где говорят: нельзя ждать обобщения результатов проводимых исследований, надо больше доверять руководителям колхозов; дотошно выбирать совместно с ними место для будущего поселка, разрабатывать варианты расположения центра, проверять на макете, проектировать и приступать к строительству. Этим могли бы заняться творческие группы Союза архитекторов. А на деле — пока все рассуждают, село строится стихийно.

Проектный институт перед нами в долгу, сказали в Кулдигском районном сельхозуправлении. Почему именно он должен все делать? Чтобы оправдать собственное существование? Например, в «Друве» у Рубулиса есть свой экономичнейший и рациональнейший проект. Надо бы его просто утвердить, так нет же! Почему колхоз ничего не может сделать сам? Ведь это же значит тормозить производственные силы! К примеру, в колхозе улучшат проект хлева, а из института приходят опять те же старые проекты. Если к автомашинам есть претензии, завод принимает их во внимание. А проектные организации к сельским жителям не прислушиваются вовсе.

В Салдусском районе колхозные председатели говорят то же самое. Строительный проектный институт считает, что раз мы какие-то там крестьяне, то и доверить нам ничего нельзя. Как будто инженеры и архитекторы есть только в Риге! Карты для удобрения полей тоже когда-то составлял один-единственный агроном для всего района, теперь, когда агрономы есть в каждом колхозе, такое и в голову никому не придет. Ведь никто же не повезет сеялку в Ригу, чтобы ее там отрегулировали! А вот проектный институт все еще определяет, какой глубины у нас должны быть колодцы, куда нам следует вбить гвоздь! У нас у самих есть в колхозах инженеры-строители, пусть институт дает нам фасад и разрез, остальное наши сделают сами. А теперь каждая дырка для гвоздя проектируется. Потому-то они и не успевают.

В другом колхозе, в Сатики:

Пройдет от пяти до семи лет, прежде чем у нас будут новые хлевы (они только в плане 1975 года). А мне надо сейчас! Я бы построил из местных материалов облегченные — на пятнадцать-двадцать лет, а параллельно строил бы и настоящие, фундаментальные. К тому времени, как они будут построены, первые морально устареют и останутся только новые капитальные.

В райисполкоме другого района: в течение года свои-

ми силами они могут обслужить только три-четыре района. У них очень много времени уходит на контролирование. Когда же им проектировать и работать?

Люди раздражены. Это значит, что где-то что-то скрипит, буксует, тормозит. Не разбираюсь я в этом и ничем не могу помочь. Я иду дальше.

Но вот, снова проблема. Было бы идеально, если бы в каждом поселке была своя школа. Но маленькие школы ликвидируются, присоединяются к большим, лишая строящиеся поселки той притягательной силы, которая заставляла родителей перебираться сюда с хуторов. Председатели говорят: эта школьная политика разорит колхозы. В том же «Виестурсе» — некому работать, все переходят в другие хозяйства. Председатель «Коммуна-ра» Клява мог бы теперь переманить из Ошениекского колхоза всех лучших специалистов, хорошо, что он человек понимающий и коллегиальный: мой сосед в «Ошенисках» строит новые дома, но люди в них не пойдут. Первый вопрос: как далеко до школы?

Калниньш из «Драудзибы» рассказывает: прежде всего спрашивают, как далеко до школы. Не спрашивают даже, хороша ли квартира. Правление колхоза «Узвара», например, приостановило ликвидацию Стрикской школы. У нас есть Сатиньская школа, а у соседей из «Дарбацеля» нет ни одной. Они возле фермы новые дома построили, но никто в них не идет.

Приезжаем в Лайде, возле парка начинает вырисовываться новый поселок, но с будущего года Лайдеской восьмилетней школы уже не будет, а это значит, что создающаяся микроструктура разрушена уже в стадии своего возникновения. Видимо, не согласованы два общественных процесса, не продумана их последовательность: одновременно они происходить не должны были. Перестарались с концентрацией школ, ведь поселки еще не стали центрами, говорит председатель.

Иду дальше.

Почему не строят детских садов? Экономически не окупается. Один только обслуживающий персонал забирает всех колхозниц. На каждых двух ребятишек — в среднем одна работница. Колхозы еще не могут позволить себе этого. Да и чтобы построить, надо не меньше тридцати тысяч. И поэтому в первую очередь обеспечиваются совхозы, у проектных организаций пока нет лимитов на детские сады для колхозов.

Опять та же проблема теляток, цыпляток и детишек. О межколхозных цыплятах мы договорились, есть у нас межколхозные птицефабрики, о межколхозных детишках договориться не можем.

К 1975 году детские сады начнут строиться и в колхозах. К тому времени, надо надеяться, и «Жигули» во всех новых семьях будут уже приобретены.

Но идем дальше.

В 1971 году во время Дней художника была высказана такая мысль:

Если общественные хозяйства нашли возможность построить рестораны и финские бани, то пришло время подумать и о создании небольших колхозных музеев, где могли бы экспонироваться и портреты ветеранов хозяйства и другие работы. Важно, чтобы искусство не было привилегией одних только рижан. За это выступал художник Улдис Земзарис. Общественное мнение его поддержало.

Это вовсе не потребует больших расходов. Хозяйства могли бы, при содействии художников и архитекторов, использовать для этой цели старые крестьянские дома. В связи со строительством поселков эти дома все чаще сносят или же они разваливаются сами. Среди них есть весьма оригинальные образцы сельской архитектуры, которые, став музеями, сохранились бы там же, на территории хозяйства, для будущих поколений. Вместе с тем была бы сохранена и характерная часть сельского пейзажа. В более развернутом виде Земзарис развил свою мысль в 1972 году на съезде художников: деревня сближается с городом, почему бы городу не сближаться с деревней?

Здания, которые не находятся на обрабатываемых угодьях, и особенно, если они расположены в красивых местах и вблизи водоемов, следует продавать или просто, решением правления, передавать художникам, лекторам, ученым, всем тем, кто своим присутствием в колхозе (пусть даже только летом, в отпускное время) мог бы обогатить культурную среду села. Это было бы взаимосодействием. Я говорю председателю в «Варме», могли бы вы подарить какой-нибудь красивый деревянный дом Рижскому эстраднему оркестру? Он бы вам, может быть, прогудел и пропел целое лето, и потом вся «Варме» и ее окрестности пели бы на Иванов день уже не только «лиго», но и «рэо! рэо!»

Нет, в Варме нет ни красивых мест, ни водоемов. Но есть, есть колхозы на всем протяжении Венты — какие там чудесные места! Вот, скажем, «Яунайс комунарс» в доме «Яунземи» на берегу Венты создаст свой музей. Никрацкий совхоз давно уже дружит с Лиепайским художественным училищем. А почему бы и нет, раз они подбирают цветовую гамму для нашего клуба, читают лекции по искусству, помогают нам организовать выставки народного творчества? В Вормсатском замке у нас жили раньше 17 семей, теперь осталось шесть, все перебираются в новые дома, освободившиеся помещения мы летом отдадим художникам. Тут для них рай, речные долины Дзалды и Никраце, древнее русло Штервеле. А еще дальше замок Леню на самом берегу Венты неподалеку от Гобземских скал — там тоже есть свободные комнаты.

Директор Рейхманис человек дальновидный. У нас с художниками нечто вроде договора о взаимной помощи, говорит он. Эти замки и сносить-то некому. Они либо развалятся, либо будут еще стоять. Почему же не разрешить художникам жить в них? Каждый человек, которого мы вовлекаем в свою среду, это уже плюс.

В Талсинском районе целая колония художников обосновалась около Мазирбе, в Эргльском совхозе началось восстановление «Меньгели», где родились и жили братья Юрьяни, в Талсинской «Драудзибе» будущей осенью во время Дней поэзии тоже, кажется, откроют для обозрения клеть, принадлежавшую Лерху-Пушкайтису. Шмит в «Лутрини» сказал: речка Гаршупе — сущий рай. Весной мы там все оборудуем. Друзей у нас много — в шефских организациях. Пусть поживут, рыбу половят. Да и нам помогут.

Берега Венты удивительно красивы, поражают воображение, это такой «капитал», который местные хозяева еще не могут оценить. Правый берег от Кулдигского шоссе до впадения в Венту Абавы колхоз теперь передал лесничеству. Сколько приходится ездить в глухой угол, чтобы убрать какое-то одинокое поле свеклы, рассуждают хозяева, и это их дело. Тракторы перепахивают заброшенные дороги, в этих местах будет посажен лес. Строить здесь для туристов? Никогда! Ни за что! Ингрида — профорг лесничества. И я с нею соглашаюсь: в самых красивых местах нельзя строить базы для массового туризма. Но истинные любители красоты уже открыли этот глухой уголок, там, за теми дубами, летом живет Хейм-

рат, наш Хеймрат — гобеленщик (когда-то был Мадерниек — ковровщик). Он здесь аккумулирует в себе краски, композиции, структуры, фактуры и бог знает что еще. Здесь изгиб реки Иевиены с глубочайшим лососевым омутом, дальше — Долгий брод, по которому можно перейти Венту, а затем — Лошадиный омут. В «Упатас» растет гигантский дуб, в «Дапатас» буря повалила шестнадцать яблонь и вяз с аистятами. Дом «Дапатас» уже списан, а в «Балляс» еще цветут мелкоцветные астры. В Кулдиге когда-то гостила несколько месяцев, да и летом тут где-то жила дочь сестры жены какого-то доктора — Жаклин Кеннеди (ах! ах! ах!). Это меня не интересует. Меня интересует, можете ли вы этот большой дом лесника, который чернеет там среди дубов и в окнах которого пылает зарево заката (он так и называется — «Блазмас» — «Зарево»), — может ли лесничество подарить этот дом какому-нибудь знаменитому в республике хору? Ведь дом же пустует? Да, из него только что выехали. И он пригоден для жилья. В Кулдиге ведь столько бравых певцов, к ним из самой Риги приезжают дирижеры. Дирижер тоже человек, ему хочется под дубами пожить. Я всегда читаю в газете «Падомью яунатне» рубрику «Мой человек». Пишет агроном о Густаве Эрнесаксе:

Я слышал по радио: его спрашивали, чего бы ему еще хотелось. Ответ был таков: когда-нибудь налюбоваться белой ночью возле какого-нибудь озера или моря, где на горе стоял бы старый крестьянский дом, а в нем — старый рояль. Мне хочется пофантазировать дальше: представить его вместе со всеми ста его хористами в таком старом крестьянском доме — композитор берет несколько аккордов на старом, сверкающем лаком рояле, дает тон. А мы — благодаря телевидению и радио — могли бы увидеть и услышать Г. Эрнесакса в этом старом крестьянском доме, вдали от городского шума, спешки и суеты.

Я снова слышу голос своего критика — сожаления по поводу исчезновения патриархальных обычаев, воспевание отдельных архитектурных элементов пейзажа — возникновение поселков ломает старые бытовые традиции и создает новые. — Ну а я-то что говорю? Я ведь то же самое говорю. Только добавляю еще: надо уметь отличать туманный, пассивно-мечтательный миф о прелестях старого крестьянского двора от сегодняшней (хотя и не везде еще осознанной) необходимости в культурной, богатой в стилевом отношении, сельской среде. Так, ска-

жем, генеральный тезис нашего строительства о том, что не следует поощрять ремонт домов, расположенных вне центра поселка, не следует понимать столь буквально, как это делают руководители хозяйств. Райисполкомы имеют право решать, какие и сколько старых зданий оставить в качестве памятных ансамблей, превратить в музеи, передать людям, способным помочь созданию сельского микроклимата. И это вовсе не мелкобуржуазный и не метафизический подход, это требование партии: сломать инертность мышления, создать новую среду, достойную нового человека.

Примерно в десяти километрах от Кабиле и километрах в пяти от Виестури находится Зутенский замок. Школу, находившуюся здесь, перевели в другое место. Пруд, парк, резная деревянная лестница. На стенах печатными буквами уже расписались Рута Червона и Люба. ЗИЛ-130, 1972. Оборудовать квартиры? Никто не пойдет, никто не поселится. Уходит прежнее величие. Так и уйдет, наверное, в небытие.

Совершенно недопустимо, что не находит своего настоящего хозяина Эдолский замок, архитектурный памятник всесоюзного значения. Управление по делам туризма хочет построить свою туристскую гостиницу в Кулдиге, но это нарушило бы архитектурно-структурную и оптимальные транзитные возможности этого городка.

А Эдолский замок под Кулдигой как будто специально создан для того, чтобы оборудовать там всесоюзную туристскую маршрутную базу— благодаря своему романтическому стилю, близости к Кулдиге, живописным окрестностям, где зимой был бы простор для лыжников. К тому же ремонт замка обошелся бы вдвое дешевле, чем строительство высотного здания в Кулдиге, это уже подсчитано. Поймет ли Туристское управление рентабельность и эстетический эффект этого проекта или же поступит так же, как в деле с Орлиным утесом?

Нынче беда у меня приключилась, околела славная козочка. Вечером все дергалась, дала я ей соды, а она и кончилась. Такая хорошая была козочка. Получить бы какую-нибудь страховку... хоть бы малость. Попрошу у председателя сельсовета. Никак не могла разродиться, теперь ее в землю зарыть придется...



Катя Озолиня живет в доме «Чуйли», «Чуйли» — в Балинциемсе, а Балинциемс — в ольшаниковых джунглях, между Кабиле и Шкеде. Земля такая жесткая, глинистая, еще не видевшая мелиорации, что этой осенью здесь бы и трактор не прошел. Комбайны увязали по самые оси, узкие полосы овса остались несжатыми, и теперь тут пасутся отъевшиеся косули. Охотники нынешней осенью рады-радешеньки. Я специально разыскал этот уголок запустения. Кто тут еще живет?

Хорек явился, и откуда этот дьявол взялся, вошел, сатана черная, и одним заходом — все яйца, всех шестерых кур.

Дом погибает, окончательно погибает, чудо, что он еще вообще держится. Почему вы не уходите из него?

Здесь ты поселился, здесь ты жил, здесь ласточки под стрехой птенцов выводят, другие места им не милы, сюда возвращаются. Муж и доченька от лихорадки померли, перетрудились и померли. У нас хозяйство старое, у Ансиса, отца моего, шестьдесят гектаров было.

Я говорю: матушка, так это не удивительно, что муж перетрудился. Земля его съела, не так ли?

Да, не знала я, куда мне идти. Некуда было. Ни в город, ни еще куда. Куда б я одна-то пошла? А потом времена переменились, и стали меня звать кулачкой и еще по-всякому. За неуплату налогов в тюрьму посадили. Описали имущество, я думала, что оно покроет долги-то...

Вы пошли бы в пансионат?

Ой, не нравится мне в этом сборище. Получить бы комнатку где-нибудь. Я ничего другого и не желала бы, никаких удобств. Хотелось бы только, чтоб радио было да электричество.

А что вам здесь жаль оставить?

Только воспоминания. Ничего мне здесь больше не жаль.

Пол замызган, окна замызганы, а на старом покосившемся комоде в коробочке для трав — один-единственный крохотный цветок крапивы. Так поздно осенью?

А что бы вам обязательно хотелось забрать отсюда? И я оглядываюсь вокруг — нет здесь ничего. Кровать только, несколько ведер и огонь в кирпичной плите. Что бы вы взяли с собой?

Альбом. Да украли его. У меня этот альбом, завернутый в бумагу, в комоде лежал. Чужие, наверное, думали — что-то ценное, а мне так жаль, так жаль этого альбома! Горох и бобы и лук оставила я на семена, все взяли. А уж так я альбом хранила. Когда я еще молодой была... Пусть бы что угодно забрали!

А дрова-то у вас сухие!

Жалеют меня. Трактор притащил ко мне сушину, есть у них пилы такие, денег не взяли, очень хорошие люди, сказали мне: нет, нет, нет!

Сколько вам лет?

Да теперь уже семьдесят. Ноги больные. Хожу как

на колодах. Я бы эту перину в пансионат с собой взять хотела, да не разрешают. Только подушку можно.

«Аболини». Развалившийся дом. В чашобе розовых кустов и старых слив. Я вздрагиваю, когда куница с подоконника прыгает в кучу хвороста. Подоконник исцарапан, значит, она здесь живет. Осторожно вхожу в комнату. На железной кровати — набитый соломой тюфяк, логово куницы, окно забито крышкой старинного сундука, еще виден орнамент. Ржавый бидончик закапан стеарином. Летом здесь кто-то жил.

Иду по заброшенной земле. Все канавы, заросшие ольшаником, одинаковы, ничего не разглядишь вокруг, где-то здесь, скрытые кустарником, стоят дома, но я не нахожу их. А когда наткнешься на такой, где кто-то еще живет, то уж тогда можно вволю наговориться.

Есть здесь еще какие-нибудь старинные семьи?

А чего это вам надо от старинных семей?

Она: «Буртниеки»? Когда-то они назывались «Похотливцы». Фамилия, наверное, такая была. А как же! На кладбищенском памятнике написано.

Он: Это не важно.

Она: Да?

Он: Да! Это не важно.

Она: Ну и ладно.

И замолкает.

В «Ласточках» на внутренней стороне подоконника лежал мертвый пчелиный рой, непонятно, как залетел он в запертый дом, а наружу не выбрался. Бился в окно, обессилел и погиб.

«Иволги». Здесь жили еще до революции старый хозяин Жагата с тремя дочерьми. Одну дочь выдали за Чуйлиса в «Аболини». Сослали их. Очень уж много добра у них было. А еще там жила богачка Катыня.

Богачка Катыня... Я ухожу, продираясь сквозь ольшаник. Здесь ничто больше не имеет своего стержня, здесь нет точки опоры. Нет статуса. Право наследования потеряло свою роль. И потеряло свою роль имущественное положение. Нет детей. Нет ничего. Скоро начнутся мелиоративные работы. А пока в овсах пасутся косули со своими детенышами и в когда-то прорытых канавах разросся ольшаник. Все канавы одинаковы и одинаков ольшаник. Я теряю направление. Когда наконец выбираюсь на шоссе, уже опускаются сумерки. Стынут промокшие ноги. Черное небо. Красный горизонт. Ветер.

Полтора часа надо ждать автобуса. И не хочется заходить в ближайший дом, чтобы дали согреться,— я сегодня устал от людей.

Жду. В темном небе шуршат крылья. Что-то заставляет поднять голову и взглядеться. Улетают журавли.

Ждешь автобуса?

Светится огонек папиросы. Когда человек затягивается, в свете разгорающегося огонька появляется молодое лицо, совсем молодое.

Да, жду. А ты? Живешь здесь?

Теперь живу. Раньше у чувихи ютился.

У которой?

У той, из пасторского дома. Я ей задал перцу. Теперь она смылась, работает в Талсы. На автовокзале.

И что, солидная из себя?

Какая уж там солидная! Так, кнопка какая-то.

Улетают журавли. Облака словно подвешены к небу. И за облаками — свет.

А внутри у меня от этой старой жизни и от разговоров все как-то сникло. Может быть, потому что ноги стынут.

Автобус в тот вечер опоздал. Попав в тепло, я наслаждался тьмой. Огнями за окном и пыхтением сидевшего рядом человека. Но шофер включил радио.— Сердечное тепло — отдать. Как хорошо, что сердце не остыло.— От имени учительского коллектива — и еще хочется тепло поздравить — после рабочего дня.— Что сердца заставляет пылать у других —

Был День учителя.

— Эти самоотверженные сердца и заботливые руки готовят нас к счастливому.— Учителю все доставляет радость, и может ли быть большая радость —

И я заснул.

Проснулся только в Кулдиге.

● 10. ГЛАВА, ГДЕ ФИГУРИРУЮТ ПАНИ БАРБАРА КОНАРСКА, ЧЕРНАЯ БАБА И ДРУГИЕ СУЙТСКИЕ БАБЫ

Умерла Баба на рыночной площади, купила яблок, стала кошелек вытаскивать и... так это, опустилась на землю... Мне тогда было двадцать четыре. Мне перенять эстафету? Разве песню выучивают?

Куда ни поверни голову, говорила Черная Бабиня,— всюду ее найдешь. У меня три тетрадки были исписаны ее песнями, и так это, между прочим, на посиделках. Мелнгайлис приехал и всю ночь записывал песни нашей Бабы.

Ну вот и сам Пупол идет. Маленькая труба дымит над новым дощатым сараем, оттуда приятно пахнет хмелем. Ну вот и сам Пупол идет, в руках стопка, но уже пустая:

Вы все пишете! Это моя жена! На каком основании?!

Пуполиха красива, несмотря на все свои семьдесят три года. Только что солнышко проглянуло, и она собирает яблоки в саду.

Ну, так ее звали — Черный Бабел. Черный Бабел такова был — она умел пить и в черное одевался. Убогий или такой-сякой, я не знаю, как сказать. Тетрадки тоже у меня пропали, я не знаю где. У Анцеланихи должны быть песни Черной Бабел. Ее сестра работает в Неретской школе.

Пуполиха говорит на местном диалекте, употребляя иногда вместо женского рода мужской.

Ну сейчас сам Пупол скажет. Но обращается он не ко мне, а к моему спутнику (мы пришли вдвоем, я и учитель Антонович): ты темный, да? Иди с ним! Он светлый.

Видимо, под этим что-то имеется в виду, может, тут свои счета какие-то, но к пению и к Бабе Грунтман это все не относится. Анна как-то вечером решила вдруг — пойдет петь! Пойдет в Дом культуры. Да куда там. Восемьдесят два. Да куда уж там.

Анна старше. И она уходит со всеми своими песнями. От магнитофонных трелей вздрагивают тротуары и радиоустановки, а вот Анна уходит со всеми своими песнями, уходит в небытие. У нее рак. Пожелтела, истаяла как свечка. Мы могли бы сходить к ней, но ей очень плохо, она не хочет, чтобы ее такую видели. Разве что Гриета Пупол могла бы чего-нибудь записать.

Пуполу все-таки что-то не нравится. Омска мы не видели, говорит он, мы все время в Алсунге жили. Пишите, чего хотите, но в Кулдиге — крыши черепицы старой и там добрый люд. А это же новый дом! Он стопкой показывает на свой старый, правда, обложенный кирпичом дом. Техникум!

Что мне сказать? Что верно, то верно, говорю я. Из сарая течет запах хмеля, над поленницей звенят две мошки и двое мужчин пьют пиво.

Хочешь?

Хочу, конечно, говорю я, но подожди, мне еще надо поговорить.

Дядя, говорит он мне, она скотину накормит, если еще может сегодня ходить,— пусть идет!

А если она вспоминает... В тот раз, когда в Москву готовились ехать, он ни в какую. Гриета хочет в клеть пойти, какого-нибудь бархату взять, Пупол говорит: никуда ты не пойдешь! Иди сюда! Но все-равно не Пупол победил. Все равно Гриета говорит:

Я могу весь мир насквозь проехать! В тот раз, когда в Москву ехали, в автобусе от Алсунги до Риги всю дорогу пели. Народные песни, старинные и все, что полагается!

А Пупол? Что Пупол сказал? Пупол мужу Баренихи сказал, еще тогда, когда все в Москве были: если Гриета приедет больная, то — не дальше реки пущу. В реку — вниз головой, и конец!

И что же было, когда она вернулась? Все было как обычно. Я говорила: это лежание — по боку. Выходила Анна, мы все поем, женщины вокруг. Пошли сахарную свеклу копать. Только за угол — петь начали. И Зилава...

Она теперь в Америке.

А-га! Откуда знаешь? Ты «Голос Америки» слушал!

Пупол насеждает на меня, как нечистый, как сатир козлоногий.

Ну, «поймал» он нас, ну, теперь поглядим кто кого!

К счастью «пиво, друг мой старый»¹ не может пройти по одной половице. Разговор тоже переходит на другое. Алсунгцы охотно вспоминают тот год, когда здесь снимали для кино алсунгскую свадьбу. Пабрик² тогда снимался, прошлым летом опять приезжал, осматривал холм, на котором все это происходило,— о, господи, как время летит! Там уже лесом заросло.

Это тот самый Пабрик, что был на той свадьбе? В таком случае, Пупол хочет знать, кто там был пивоваром.

Он дал дуба.

Ну тогда нам и разговаривать не о чем!

Мы и не разговариваем, хватит. Усаживаемся возле дров на свежие чурки, пиво еще теплое, не то пиво, не то сусло, зеленые листочки хмеля плавают в кружке. При-

¹ Слова из народной песни.

² Известный латышский актер.

гревает предполуденное солнышко, просто чудо для этой дождливой осени.

Будь Пупол чуть потрезвее, можно было бы поговорить. Теперь уже не получится — будет слишком сюрреалистично. Дьявольски сложный старик. Ничего не предугадаешь заранее. Смотрю на левую ногу: сапог как сапог, никаких признаков раздвоенного копыта.

О, поездку в Москву, все ее помнят, так же, как съемки свадьбы, было это, наверное, в тысяча девятьсот тридцать... нет, все-таки не вспомним, в котором.

Пупол тогда не давал покоя Гриете, теперь утихнул. Они ведь недолго там были — четыре-пять дней. А я бы жила, пока не прогнали... Пока бы ноги носили — нравится мне там, сказала Барене.

Барене — далеко еще не старуха, Барене в расцвете сил, и всех женщин спланивает, когда те в разные стороны тянут. Барене печет блины и угощает клубничным вареньем. Мужчине надо и чего-нибудь покрепче, говорит Барене и удивляется, что я не пью.

Гриета? Гриета, когда разойдется, ее не остановишь. Но выкричится, и все тут. Я смотрю, надо бы продолжать, а она...

Блины вкусные, съешьте еще! Конечно же, я съедаю еще.

Вот я и сказала тогда: тебя, Гриета, нельзя к кормилу пускать.

Очень на Порзингу надеются. Вероника Порзинга — самая молодая и не срыгается. А в Дом культуры приехал Андрей. Андрей Мигла — режиссер. Из Лиепай. Все знают, что он задумал, не знают только, получится ли. Андрей заодно приехал и за дровами. Заезжаем мы с целой машиной дров к Порзингам. У Порзинги Матильда Буча сидит. Ну, остается только за Гриетой съездить, и весь хор будет в сборе. А пока можно поболтать.

Вы думаете, легко в этих юбках? Тяжело, непривычно. Старые женщины, так те только смеются: что это за овца, если ей шерсть не под силу. Послушай, выключи его, ну что он тараторит! (...от зла и от коварства ты позволь мне в твоей любви...) Ну вот! А теперь эти старые суйтки говорят нам: осанка у вас не та.

Гриеты все еще нет, можно еще почесать языки об этом самом Петере Пуполе.

Петер, Петер, ты и не догадываешься, что Гриета в Москве делает. Если бы знал!

Петера только дома прорвало: где ты, моя Гриета? Боялся, в Москве останется.

Он даже мне наказал. Ты мою Гриету придерживай, говорит. Если пойдет куда-нибудь, ты присматривай!

О, цветок любви, как цветешь в октябре ты!

Сам я подружку
Вел танцевать,
Не дал я другим
Ее ручку жать!

В окна вонзается свет фар, ну вот и они.

Не может запевалой быть только один человек: иногда вдруг она на мгновение что-то упустит, а другая, глядишь, тут как тут, сразу подхватит. Ну, пора начинать свадебные песни, режиссер ради этой суйтской свадьбы и приехал, она-то у него и на уме, и надо бы приступить к спевке, но Гриета неизвестно почему разволновалась и выглядит совсем несчастной: ничего вспомнить не могу. Что ж это со мной делается!

Ну, а если только так, не всерьез? Порзинга начнет. Порзинга будет ведущей.

Люди вы добрые,
Да и мы такие же.
Мы теперь друг друга
Будем охаивать.

Гриета Пупола перехватывает.

Сгиньте, воры,
Ножик укравшие,
Идите в канаву
Резать лягушек.

Еще ведь только начало свадьбы. Еще я здесь пока, в сегодняшнем доме. Еще в столовых крадут ножи, поэтому зарубку вытачивают на спинке лезвия. Еще я здесь пока, еще суйтки меня не околдовали, но песня ширится. Начинает силу свою проявлять.

Нельзя тебе, Чукстене,
Пробовать хмельного:
Выпьешь хмельного,
Станешь поглядывать,
Станешь поглядывать
На молодого.

Держись, Петер! Суйтки хотят верховодить!

Кулаками я стучала,
Пока стол не развалился,
Парня, парня я ругала,
Пока тот не покорился.
— Э — ээээээээ!

Ээ — характерный только для алсунгских женщин долгий распев. Только ли для них? Мелнгайлис слышал его и в Салдусской стороне и удивился, что «щедрую старину» можно найти и там.

Утром снег меня засыпал,
Утром люди оболгали.
Смело я брела по снегу,
Были босы ноженьки.

Остальные подхватывают, как отзвук: Были босы ноженьки. Ээээ! Были босы ноженьки... были босы ноженьки... были босы... Отзвук все отдаляется и отдаляется... Алшвангская ленная вотчина принадлежала советнику Курляндского герцога Кетлера и его послу на Люблинском сейме Карницу. Тот ее продал в 1573 году курляндскому маршалу Шверину. (Э-эээ!) Сын Шверина Ульрих служил польскому королю. В Вильне на придворном балу познакомился Ульрих с польской помещицей Барбарой Канорской (...ноженьки, ээ!), происходившей из королевского рода. Он женится на ней, живет в Польше в поместьях жены, принимает католичество. После смерти отца в 1632 году переезжает в Алсунгу и начинает фанатично обращать в католичество своих крестьян.

Так вот откуда это странное смешение расцветок в одежде: «сумасшедшая ткань» в ярко-желтую, красную и черную клетку! И черные платки с огромными цветами.

С ним понаехали иезуиты, церковь отдали католикам. Собственная его, единоутробная сестра, понуждаемая переменить веру, выбросилась из окна и разбилась насмерть. (Были босы ноженьки — э-эээ!) Последний лютеранский пастор на Троицу собирал свою паству под липой. Где-то в году 1904-м католический священник в Иванову ночь подпоил молодых парней, чтобы липу срубили. И срубили. (Были босы ноженьки, были босы ноженькии...)

А Трина тогда еще, во время войны сказала: доченька, похоронят меня со всеми этими песнями, запиши их, доченька! Говорят — мне все равно помирать.



Она сидела в кровати больная и пела. Она говорила: я буду петь, сестричка, пока не умру. Такая маленькая-маленькая женщина.

Что ни говори, а песенный этот дух у каждого по-своему проявляется. Трина и умирая пела. Анна, а ей за восемьдесят было, вздумала в Дом культуры ходить.

Мозиениха говорит: мне в августе стукнуло шестьдесят пять. Мне и свиней покормить надо, и то и се сделать. Это верно, Мозиениха не может в машине ездить, но что

за песни поет! Никто столько песен не знает. Если бы Мо-
зиениху уговорить, вот тогда бы...

Чем была свадьба? Свадьба была огромным представ-
лением, массовым спектаклем, величайшим событием.
Всем за столом места не хватало. У каждого свой ножи-
чек с собой. За подвязку засовывали. Назывался он ту-
чиком. Мать говорит: возьми тучик с собой, а то голодной
останешься.

Свадьба была полем словесной битвы. Песенной вой-
ной. Пиротехникой остроумия. Вот и приведи сестричку
свою в такое сборище, брось сестричку в вихрь метафор!
Тут же какая-нибудь старушенция опять отбросит ее в
сторонку:

Этакую карлицу
И возить на конях?
Да ее в кулечке
Принести бы надо.

А если сестричка уже не первой свежести?

Братцу привезти хотела
Я невесту молодую.
Привезли буфет трухлявый,
Стекла все повысыпались.

А если сестричке срочно замуж выйти пришлось? Ой,
женские глаза все видят!

У ворот стояла я,
А в руках — подойники,
Привезти должны девицу,
Как коровка, тучную.

А там, глядишь, подвенечные песни и первые пля-
совые!

Лицизе хваткая,
Петерис увалень.
Лицизе лисою
Ловко петляла,
Петерис медведем
Лез напролом.

Мелнгайлис вслушивался в звуки и не уходил, все пи-
сал и писал:

*...В комнате дули в дудки, свирели, свистки, брен-
чали на кокле. На открытом воздухе использовали дру-
гие инструменты: охотничий рог и трубу. Когда в даине*

поется: «Тяжело дудится парню, если он невесту выбрал», то это не означает тяжелых воздыханий, просто ежевечерне ему приходилось дудеть в стянутый дужками ясневый рожок. Делал он это с дурашливой жалостливой выразительностью, оттого и «тяжело».

Нас четверо девушек здесь на Блинтениекском лугу скот пасло. Когда мужчины мимо нас домой возвращались, уж мы-то старались про них пропеть.

Раньше мы по домам петь ходили либо тут на пригорке собирались. Соседок вместе с мужьями из дому выманивали.

Из Академии наук приезжали, мы в вечер Лиго пели. Потом была в Айзпите этнографическая сессия: они нас и в Айзпите пригласили приехать.

Сколько нас было в то время? Надо на фотографии взглянуть. Семь, восемь? Мало теперь осталось в нашей компании.

Ах теперь опять собирать начнут? Стало быть, надо кисти подновлять. Мошь побила. Да уж мы-то сделаем, хватило бы песен.

Ну их-то хватит, и Матильда знает, что говорит, хватило бы гостей на свадьбе!

Дом культуры. Вечер. Тьма. Октябрь. Дождит. Опустевший городок. Церковь и городище в опавших листьях. Только ночная стража вышагивает.

Мама звонит! Ищет свою Даце.

Ладно. Ладно, ладно! Нет времени, мамочка, мы же танцуем!

По случаю приезда режиссера в Доме культуры собираются люди. Старый и новый танцевальные ансамбли, певческий ансамбль — всего должно собратся человек шестьдесят, иначе свадьба не получится. Неверие налипло, как грязь на ноги. Грязь у дверей очищают, неверие остается.

Кто же придет? Петерсон придет? Придет?! А Кенкисы? Кенкисов и в прошлый год не было. Путисы? Не верится. Сомневаюсь я в этом деле.

Ну, а Руч будет? Он, негодник, свою коляску мотоциклетную не исправил.

Входит Янис Яунзем. Добрый вечер! — говорит Янис Яунзем. — Что у вас тут, посиделки, а?

Сегодня уж, наверное, больше никто не придет. Так.

что надо бы наметить жениха. Юрис? Старые суйты по четыре пурь гороха носят, а он хоть одну поднимет? Старики говорят: вконец никудышный. Надо бы кого повнушительней. Парней, что ли, в колхозе мало.

Да, да, да, ну где это видано! Женщины только посмеиваются. На свадьбе должен быть настоящий суйт. Если уж показывать, так должен быть настоящий, не то подумают, что у нас все такие. И вообще, он уходит собирается.

А вот невеста-красавица! Да, но не латышка. Ну уж это сказки! Как это не латышка, когда отец, мать — суйты отсюда же, из Басы. О Мирдзе говорить нечего! Мирдза настоящая.

Но кто же все-таки суйты? В антропологическом отношении суйты чисто латышский тип. Суйты живут в окрестностях Алсунги, Юркалне, Гудениеков и Басов. Существует мнение, что суйтами их называли ливы, на языке которых это слово означает «болотный житель». Другие считают, что «суйт» это сокращенное от «иезуит». Действительно, граф Шверин насаждал здесь католичество, и иезуиты в Алсунге жили. Согласно еще одному объяснению, «суйт» это искаженное «свита». Барбара Канорска, жена владельца Алсунги, происходила из королевского рода и, приехав в Алсунгу, организовала из местных жителей нечто вроде гвардии, называя ее своей свитой.

Этническую чистоту суйтов объясняют тем, что ленные владения Алсунгского округа подпали под польское влияние, здесь не было власти немецких баронов, а следовательно, права первой ночи и ее последствий. Говорят, что кроме того в суйтских округах не было онемечивания. Суйты не позаимствовали ничего, идущего от немцев: ни внешней обходительности, ни одежды. Ведь еще совсем недавно (в 30-х годах) они даже в будни носили национальный костюм. Правда, мужчины отказались от него еще на рубеже веков. А то, что суйтам присуща чисто человеческая, нелакированная грубоватость безо всякой псевдообходительности, об этом можно судить по их народным песням.

Пишут, что характер у суйтов решительный, даже упрямый. Суйт редко говорит «да», но если уж скажет, то на его слово можно положиться. Будучи по природе весьма миролюбивыми, они никогда не позволяют обидеть себя. Добиться от них чего-нибудь можно только

добром. Уверяют, что суйты всегда последовательны в своем поведении. Индифферентность, легкомыслие и межеумочность им не присущи. Да будет так! Познакомиться поближе с характером этих людей мне не довелось — много ли увидишь со стороны? Остается поверить на слово.

А там за Гудениекскими и Басскими лесами и пригорками начинаются древние земли кеныней. Завтра я возьму себе выходной и поеду куда-нибудь, чтобы побродить по осеннему листопаду. У Антоновичей завтра никаких суйтских спевов не будет, Антоновичи вдвоем поедут к родственникам свинью резать. Я смогу переночевать в их квартире.

Утро неприглядно как трактор. Ранний автобус отправляется в Айзпите. Дождь, правда, не льет, но наверно, он поджидает где-то здесь же, за Маргавой, и скоро хлынет. Маргава? Маргава — это приток Ужавы, и кафе того же названия, очень уютное кафе, — оттого что пустое и никто не заглядывает тебе через плечо в надежде занять твое место, как это бывает в Риге. Но время не терпит. Цыгане с базарными авоськами и с детишками уже гомонят в автобусе. Потом входят женщины в воскресных платочках и девушки с воскресными сумочками. И какая-то девушка в белой шапочке. 14 октября. Воскресенье. Матово и хмуро за окном автобуса встает рассвет.

Дорога Алсунга — Гудениеки пока еще извилиста и красива. Небольшие пригорки, крестьянские дворы, в сером рассвете осень пылает как уголь — еще не догоревший. Сегодня я выехал ради последнего листопада. Вишни, ясени и рябины уже оголены, только красные рябиновые ягоды еще не объедены — для скворцов много зерна в этом году осталось на полях. На пашнях тоже еще не видно зеленей — все из-за дождей задержалось.

Белая Шапочка тоже сходит у поворота. Село Плику? Вы же заблудитесь! Да, возле «Румниеки» есть тропка, Шапочка тоже идет в «Румниеки», но все равно я не найду.

Возле колхозных бензоцистern дежурит старик: село Плику? Да вы же заблудитесь. Нет, это не далеко, но дороги уже заросли, а местами замелиорированы. Да и не осталось там ничего, говорит старик.

Раз ничего не осталось, то я должен туда попасть. Всегда меня влекло в те места, где ничего не осталось. Там можно найти чудеса! Уж отец Мирдзы дорогу-то знает наверняка, он мне покажет.

Мирдза — это суйтская невеста? Да, это она.

Значит, настоящая суйтка?

Значит, настоящая суйтка.

И все родственники суйты?

И все родственники... нет, теперь уже не все...

Мелнгайлис считает, что в Курземе наблюдается величайшее этническое многообразие. Здесь, пока школы и церкви и газеты не причесали под одну гребенку речевую пестроту, каждая волость имела свой говор. Это свидетельствует о том, как в результате военных набегов перемешался тот финский мир, который здесь стал латышским. У Мелнгайлиса есть своя теория, согласно которой финны (или саами) во время своих набегов проникли далеко в Европу. Восточная Пруссия на старинных немецких картах называется Самланд, а западная часть Литвы — Самогития. Саами в большинстве были темноволосыми, кареглазыми, поэтому и курши часто темноволосы, хотя глаза у них могут быть не только карими, но и голубыми. Не следует путать с ливами — у ливов глаза серые, а волосы намного светлее, от цвета болотистой земли и разных оттенков глины до огненно-рыжего.

Мирдза после окончания партшколы была направлена на работу в Алсунгский исполком.

А теперь скажите мне, что бы вы делали, будь у вас такая же власть, как у графини Канорской?

Я бы создала Советы.

Советы бы уже существовали. Что бы вы делали, будь у вас широчайшие права и полномочия для строительства образцового коммунистического городка, ну, скажем, той же Алсунги?

Прежде всего я бы восстановила узкоколейку. Ведь мне бы уже не пришлось оглядываться на экономическую необходимость, не так ли?

Не пришлось бы.

Не пришлось бы! И как бы еще пришлось. Еще не выполнен план семьдесят первого — семьдесят пятого. И вряд ли будет выполнен. В семьдесят третьем году надо начать и кончить благоустройство улиц: их расширение, тротуары, лампы дневного света, канализация...

Об этом не будем говорить.

Как это, не будем?..

Поговорим о том, что есть в Алсунге такого, чего больше нигде не найдешь. Привлекает ведь только своеобразие. Ведь движение транспорта в таком маленьком поселке сельского типа еще не требует расширения улиц, лампы дневного света еще отнюдь не первая необходимость.

Когда я приехала сюда, председатель сказал: я здесь работаю уже давно. Я просто не замечаю, что здесь хорошо, что плохо. Ты человек новый, скажи мне!.. Ладно, поговорим об этом. Здесь чудесные места. Специалисты считают, что нигде нет такой прекрасной черной ольхи, как в нашей Зиедулее, в нашей Цветочной долине. Но с каждым годом Зиедулея все больше заболачивается и зарастает. Будем просить МРС корчевать кустарник. Позовем на помощь тех, кто в районе занимается озеленением. Надо бы колхозу послать своего человека в садоводческий техникум, чтобы тот, вернувшись, мог заняться общим озеленением города. Но колхоз отвечает: зачем это мы будем человека держать ради кого-то?

Значит, надо колхозу дать что-то взамен.

Нам нечего дать. Мы можем только апеллировать к здравому хозяйскому уму.

Своеобразен был старый дом на перекрестке дорог, напротив Дома культуры. Есть же смета на его восстановление. Потребобщество реставрирует его в прежнем виде, с черепичной крышей.

А замковая башня? Крыша протекает, скоро начнет обваливаться. А внизу расположен школьный музей с интереснейшими материалами.

Теоретически-то в бюджете предусмотрены статьи на сохранение архитектурных памятников, а практически — нет денег.

А еще?

Еще озерко в центре. Надо добиться, чтобы потребобщество убрало свои бензоцистерны. Никак не добьемся.

Стало быть, «хозяева» обходят советскую власть?

А теперь повернем направо!

Дорожка к «Леяс» заросла березняком. Как вы теперь подъедете туда на «Жигулях»?

Дочери уходят, продадим мы этот дом, говорит мама.

А для чего продадите? Чтобы дочке купить «Фиат» и она в отпуск или по выходным дням моталась туда, где толкнутся дачники? А потом ей опротивеют эти банальные дачные места и она начнет искать, где бы ей купить до-

мик подальше от людей. И будет она жалобно смотреть на тех счастливых чужих людей, чьи детишки носятся в «Леяс» между березками и собирают грибы и цветы.

И что же будут делать детишки, которые в Алсунгском доме культуры пели:

Брюква выросла с горшок,
Выбросила листья.

Что же, они будут знать о брюкве только по картинкам? Разве их надо лишать удовольствия забрести в борозду, вытащить брюкву, чикнуть ее ножичком и с хрустом разгрызть? Неужто вы действительно продадите этот дом? Разве внуков у вас нет и не будет?

Вон как они в Доме культуры рядком уселись. И все от нетерпения ногами болтают, до земли-то не достают.

Дети, нравится вам танцевать? — Да, дааа!

Потанцуем еще? — Да, дааа!

Ножки не устали? — Нет, неееет!

Хорошо, теперь вы будете детьми из Дома культуры. Мальчики, станьте с внутренней стороны и все время смотрите на свою партне... на свою девочку!

Выходят, выстраиваются, шесть мальчишек продолжают сидеть. Именно мальчишки не двигаются и все тут.

И, поглядите, как шагает эта девчушка, она не хочет махать руками, она просто не умеет этого. Вон как она идет, ручки прижаты к телу, ладошки грациозно отставлены. Красавица.

Что вам, дети, больше всего нравится?

Пееееть!

Танцеваать!

А гимнастика?

Гимнастика тооооже...

И когда же исчезает это желание? В какой час и миг? Откуда подкрадывается неудовольствие?

Они приходят сюда каждый день в 15.30. Зачем приходят? Учиться культуре поведения.

Хорошо! Договорились. Все будут читать стишки.

Ну, а что произошло в тот раз с мальчишкой на сцене? Мальчишка не шаркнул ножкой, прочитав стишок, а кубарем скатился со сцены. Во время выступлений. Мама и воспитатели от ужаса остолбенели. Что с ним случилось?

Что с ним случилось? Вы это выяснили? Может, не надо заставлять детей читать стишки у елки, перед гостями, всюду, где вам вздумается? Может, этому маль-

чишке хотелось солнечных зайчиков пускать? Почему вы его заставляли стихи читать?

Когда подкралось недовольство?

В Алсунгской школе отмечали праздник урожая. Классы соревновались. Десятый «а» снова оказался впереди. Как обычно. Со вкусом расставили цветы в вазах, приготовили самый вкусный салат, знали кому и в каких случаях преподнести тот или иной букет. Знали теорию, проявляли находчивость, быстро чистили картофель. Восьмой класс вышел на бой под собственным лозунгом:

Нет равных тут
Команде «Спруут».

Я спросил у учительницы, что это за штука такая «спрууты». Учительница тоже не знала — может быть, название какой-то местности. Теперь я знаю — это брюква.

А 11 «а» класс вместо того, чтобы почистить картофель... нарезал его неочищенными кубиками... Новейшая технология? Глупая шутка? Бессовестная проделка? У всех такое чувство, словно кто-то хлеб бросил на землю. Надо было бы класс дисквалифицировать, начислить хотя бы штрафные очки. Не начислили.

Что их заставило искромсать картофель? Это ведь может быть и каким-то проявлением недовольства. Недовольства чем?

Не тем ли, что в празднике НЕ БЫЛО ПРАВДИВОСТИ?

Раньше этот праздник был подлинным отчетом. Ребята сами отчитывались в том, что ими сделано в колхозе, что дома, что на толоках, а что индивидуально. Теперь этого не было. На выставку урожая каждый класс понатащил из дому чего душа желает. Но это не был ими самими выращенный урожай. Ни об одной горбинке на тыкве, ни об одной загогулинке на картофелине, ни об одном турецком бобе нельзя было сказать, что их действительно вырастил кто-то из ребят. Здесь можно было победить за чужой счет, за счет мамы, скажем.

Сами ребята не выступали. Ни те, у кого в руках дело спорилось, ни такие, как Матевич, который во время работы в колхозе кричал: почему я должен тут спину гнуть! Говорила только учительница. Она благодарила и от имени колхоза: картофель уже убран, скоро будет убрана

и свекла. А картофель не был убран. Когда мы проходили вокруг Алсунги, все «убранные» поля белели картофелем.

Потом на эти поля посылали еще раз. Так было не только в Алсунге, так было по всей республике. А ребята ведь каждый день, возвращаясь из школы, видели это. Зачем же учительнице понадобилось говорить такое? Во имя чего? Праздник урожая — это не представление. Праздник урожая — это итог. Если итог не верен, надо пересчитать еще раз. И учительнице, сказавшей, что картофель убран, этот итог придется пересчитывать заново. Он всплывет в детском сознании и проявится в какой-нибудь необъяснимой форме протеста.

Почему же в конце концов, 11 «а» искромсал картофель?

Почему, в конце концов, маленький мальчуган, прочитав стишок, не шаркнул ножкой, а кубарем скатился со сцены?

В осиннике медленно опадают листья. Лесная дорога украшена прекрасным, совершенно нетронутым листовым узором, здесь не ходят, здесь некому ходить, здесь все бесцельно. Заброшенность яблони. И березы как органы среди елей. Из такой тишины приходят дети, в такую тишину уходят умершие. Это время Духов.

Надо всем этим слабый ветерок гонит легкий туман, но здесь в лесу ветра нет и туман оседает мелкими капельками.

След одинокого мотоцикла. Кто-то здесь проезжал. Не позже чем вчера или позавчера.

Я выхожу на лесную опушку. Далеко тянется нескошенное поле, и дороги расходятся в разные стороны. Низко стелются тучи. По-осеннему неприветливые, по-осеннему еще непролившиеся. Всю осень лили, так и не излились, капает с них, как с мокрой трески, как с мокрых уток, как с посудных тряпок. Я медленно иду в гору через луг нескошенной тимофеевки, и ботинки намокают. Мне кажется, что там, на берегу озера, среди купы деревьев, должен быть дом. Я научился записывать на ходу. Я могу писать на ходу, сидя на заборе, в темноте кинотеатра, в автобусе, верхом на лошади. Фиксировать его, этот край, таким, каков он сейчас. Старые дома и развалины, заросшие дороги, чьи рытвины никто больше не разравнивает. Легче проехать по канаве либо просто по

полю. Это то время, когда старых дорог уже не существует, а новые еще не проложены. Старые дороги в таком захолустье, заросшие и размытые, напоминают канавы, и никто по ним не ездит. Склонилась к дороге горбунья-черемуха, выросла на болоте береза-болотница, а на пригорке береза-вольготница, и чуть подальше — роща разрослась.

Развалины больших домов вросли в купы краснолистных деревьев, а те вроде вишен или слив.

Тетушка копает картофель и сама с собой громко разговаривает. Я прислушиваюсь, но ветер относит слова. Я говорю — здравствуйте, она пугается и долго не может обрести дар речи. Я спрашиваю: что это за красные деревья там растут? Наконец она отвечает, что это буцини. Сладкая вишня? Не-ет, не-ет, ну, как вам сказать, маленькие такие буцини.

А дом тот? Тот дом это Тонтегодас. А сами Тонтегодас? Они все вымерли. Когда мы приехали, то кто-то уже там все разрушил. Она показывает на горку возле озера, которая одиноко высится словно круглая крона огромного дуба, порыжевшая под серыми небесами.

Чтобы добраться до кладбища, мне надо пройти через то, что когда-то было двором хутора «Видсетас». Дом развалился, зеленая крыша рухнула, припав к подножию печной трубы, и только труба еще стоит среди кленов, которые когда-то возвышались над домом, тычась ветками в окна и трубы. Несомненно — это было красиво. Когда они цвели по весне светло-зелеными кистями. Или осенью, когда пылали своим кленовым багрянцем на фоне зеленой мшистой крыши. Сказка!

Трудно представить, что среди такой красоты могла обитать и бессмысленная, безжалостная корысть и скупость. Я разламываю плитку шоколада и нерешительно мнусь, не зная, куда бросить блестящую шоколадную обертку, — на дереве сидит ворон и смотрит. Мне нравятся вороны, мне всегда они нравились, но тут он какой-то недобрый. И суеверным я никогда не был, но этот, как наваждение, каркнув, пикирует вниз и проносится на волосок от моей головы — хотите верьте, хотите нет! — быть может, потому, что в руке у меня что-то блестящее? Вот дьявол! Я даже отскочил на несколько шагов назад, а он полетел дальше — туда, в сторону кладбищенских дубов. Блестящая станиолевая бумажонка все еще у меня в руке, я комкаю ее и не знаю, куда выбросить. В эти раз-

вашины я не брошу ее, не знаю, почему, но туда я ее не брошу и здесь, во дворе, тоже не брошу. И в этот сундук с сорванной крышкой, что стоит возле хлева, набитый старыми корытами, тоже нет. Я здесь чувствую себя неуютно. Где же гнездо этого ворона? Где-нибудь тут, под рухнувшей крышей, а может быть, в трубе? Я сую бумажный шарик в карман и чуть ли не пяясь ухожу со двора.

До кладбища недалеко. Правда, дороги нет уже, она заросла, я иду через поле. Коричнево-желтая купа кладбищенских дубов — словно гигантская бессмертница. И как бессмертница шуршит под ветром — на дубах долго держатся листья.

Уверяю вас, на кладбище это входить неприятно, ворота почти развалились, шумят дубы, а под дубами сумеречно шелестят листья.

Здесь покоится с миром Юрис Тонтегоде...

Здесь покоится с миром Лизе. Видин, урожд. Тонтегоде,

И Кристап Тонтегоде.

И пять маленьких могилок под одним крестом.

И на этом кресте написано:

Хозяин Андула И. Тонтегоде.

Памятник лунных детей.

Лунные дети?.. Явились они, что ли, в лунную ночь, пройдя полем клевера, с подолами рубашонок, мокрыми от росы, и ножками, холодными, как роса, и стучали в окно старому Тонтегоде и говорили: «Впусти нас!» Или они, быть может, были зачаты в ночь полнолуния, когда застрекочат впервые кузнечики и стрекочат за полночь, и близко блестит луна, и хочется снова пройти по лету, обратно к Иванову дню, и снова брести обратно, сюда и опять обратно, обратно и снова сюда, обратно, сюда и обратно, пока проникает пыльца в рыльце цветочного пестика и там, изменяясь, растет, и яблоки падают тяжко, и наливаются тыквы, и соком исходят сливы, и вот рождается пятеро, пятеро лунных детей, а груди у матери две... Потом они в люльке лежат, кричат на пять голосов, и все голоса одинаковы, не знаешь, кому дать первому, кому второму и третьему — соску в округлый ротик, соску из хлебных корок, господи, что за мука, двоих мне, троих хватило бы, господи, что я болтаю — так ведь и смерть накликаешь. Криш, сыночек, глупышка, ну не выплевывай соску, отец мешком тяжеленным швырнул, чуть не высадив двери, решив, что с соседским Юрисом

я на толоке болтала. Криш должен вырасти сильным, и ты, мой сыночек, Микус, ножки твои, словно колышки, крепкие, крепкие ножки, ну не выплевывай соску! Все соки мои высосут эти лунные дети, Лиене, кувшинка полночная, розочка белолицая, соси, моя белогрудочка, глаза загноились у Юргиса, протрем молоком материнским, самое лучшее средство, ну не кричи, дурашка, тсс! — говорю вам — тихо! Петер, сил моих нету, орут, как в хлеву поросята, господи боже, нет, не могу я больше...

И чего я тут стою? Скоро начнет смеркаться.

В деревянной колоколенке на озере Липайку сипит колокол. Шуршит? Или гудит? Похоже, что он и раскачивается слегка.

Когда поднимешься по лесенке на полусгнившую колоколенку, можно прочесть — да вот опять страшновато, а если она рухнет и погребет меня под собой? Тогда конец, сюда уже никто никогда не придет, разве что мелиораторы явятся, или из музея, или какой-нибудь сноб захочет утащить этот колокол, — так вот, там написано «В 1900 году подарен слободскому Пликенскому кладбищу супружеской парой — Кристапом и Лизой Видин, урожд. Тонтегоде».

Небо темное, в тучах. Мне действительно надо как-то выбраться на дорогу. Да вот женщина на огороженном лугу пасет большое стадо овец, это сестра той, первой. Я спрашиваю ее, в какой стороне Басы, она говорит: я не знаю. Сколько ни спрашивай ее, она все равно не знает ни о чем, что лежит за этим холмом. Со всех овечьих загонов, с развалин и кладбища, с заросших ольхой дорог начинают струиться сумерки, заливают старый деревенский дом, и охватывает осенняя тоска — меня, старушку и ее пса. Мы стоим и не разговариваем, бесконечно далекие друг от друга, ни ей мне, ни мне ей сказать нечего, а пес стар, как тот ярославский колокол с колоколенки, да и вряд ли он о чем-нибудь думает.

Здесь все потеряло смысл своего существования. А если и осталось, так разве что старушка вот такая, но и та живет воспоминаниями.

Я иду обратно прямо по мелиорированным полям, большим и прекрасным. Я останавливаюсь у каштана, растущего посреди поля, красные кирпичи виднеются среди пахоты. Хоть бы что-нибудь люди забрали с собой отсюда!

Я нахожу дорогу, по которой шел, но, решив перемудрить самого себя, сворачиваю на другую и начинаю блуждать. Дорога уходит все глубже в ельник, в низину, развороченная тракторами, она становится все более топкой и мшистой, и в темноте только вода поблескивает среди еловых корней. Здесь, в лесу, царит темный и удивительный покой. Где-то в верхушках елей — ветер, но ведьмы нет ни одной, хотя здесь могли бы и быть. Ну уж, если здесь их нет, то тогда я и не знаю, право! — ни дракона, ни ведьм, даже черта ни одного.

Выхожу на верную дорогу. По обеим сторонам кусты с шипами. Если вы хотите, чтобы вдоль всей дороги шиповник цвел, то знайте, это в Курземе единственная дорога такая — дорога до Басы к Биржинской школе. Поезжайте летом. И пройдите по ней в мглистой дымке, в сумерках, когда небо будет в темных тучах.

Вечер разговаривает вполголоса. В полусвете вечера среди темного сада засветится окно, дохнет на вас чем-то домашним. Идет какой-то автобус и останавливается.

Вот и прошел денек.

● 11. ГЛАВА О НЕВЕРНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЯХ,
БУДТО СПЕШКА ЕСТЬ УПЛОТНЕНИЕ ВРЕМЕНИ,
И ВЕРНЫХ МЫСЛЯХ ПО ПОВОДУ
СОВМЕЩЕННОСТИ ТРУДА И ОТДЫХА

Диван. Книжная полка. Шкаф. Торшер. Удобные кресла. И вообще хорошая светлая полированная мебель. На столе ВЭФ-201. Стол без скатерти. Пепельница, в ней конфетные бумажки. Будильник. «Рассказы 1972». Баночка с засохшим вереском и рогозом. Три ячменных колоса. Все говорит о том, что какое-то время здесь было хорошо, но это хорошее ушло, оставив свои следы. На шкафу сувенирный бочонок, на трубе отопления повешен засохший дубовый венок. На полу прислонены к стене счеты. На книжной полке Жорж Сименон, Алан Силитоу, Селинджер, Герман Кант, «Зарубежные киноактеры», «Дипломатические курьеры» с наганом на обложке. На дверях (с внешней стороны) вырезка из газеты: «Алкоголь по своим химическим свойствам сильнодействующий яд. Однако яд этот весьма необычный: как источник энергии он полезен мозгу,

занимая в этом отношении второе место (*подчеркнуто не мною. — И. З.*) после глюкозы, но, как и всякое наркотическое вещество, он коварен: увеличение дозы алкоголя не увеличивает, а, напротив, резко снижает активность деятельности мозга и всего организма». Дверь в черных отпечатках пальцев. Стало быть — комната механика? В маленькой кухоньке недопитый стакан чая, начатая буханка хлеба, недоеденный кусок колбасы. Стало быть — всегда в спешке?

Типичная холостяцкая комната со всей своей торопливостью и небрежностью. Но удобная, если вспомнить, что здесь общежитие, да к тому же колхозное.

День был хаотичным, ночь обещает быть еще хаотичнее. Субботний вечер, все куда-то идут, на бал, в гости, либо будут веселиться здесь же, я буду читать перспективный план колхоза, будет слышно все, что делается за стеной, в коридоре, все, что будет происходить всю ночь. Мне всегда нравилось заезжать в колхоз «Драудзиба» Талсинского района. Обязательно увидишь там что-нибудь новое. Что-то там наверняка удивит тебя.

И действительно удивляет.

Этот длинный сквознячный сарай называется сеносушильной линией. Замысел колхозный, схема профессора Аболиня, выполнение колхозное. Исходившая от колхоза идея возвращается в колхозное производство. Я вспоминаю свой разговор с агрономом в Сатики. Почему же другие колхозы не могут этого сделать? (Днем не спросил у Дамшкална, теперь не у кого спросить.) 24 термогенератора с общей мощностью в 10 тонн высушенного (уже высушенного) сена в час. Вот так-то, один такой агрегат делает возможным существование туристского клуба и перечеркивает весь наш разговор в Лутринях и в Сатики о невозможности выкроить время в период сенокоса. Уборка сена уже не зависит ни от дождя, ни от чего-либо другого. И колхоз получает всегда и везде теряемый драгоценный каротин — тот самый каротин, о котором твердят и твердят матерям: давайте детям морковь грызть! Получается на 6,4 копейки каротина на одну кормовую единицу. Председатель рассказывает и объясняет, но я все равно не могу охватить всего сразу. Эталон одной кормовой единицы — один килограмм овса. У меня тут же вырывается вопрос: а что служило эталоном в те времена, когда об овсе и слышать не хотели? Ну ладно, итак, корова с каждой кормовой единицей съедает каро-

тина на 6,4 копейки больше, чем съедала раньше. Вопрос стоит так: на сколько копеек теперь каротина в коровьем желудке и на сколько копеек возрастет ценность молока? Но потом на молочном заводе его все равно смешивают с молоком из других колхозов и... Это не важно, сказал в Таджикистане директор совхоза. Латвийская бурая потеряет породистость среди наших горных коров? Есть ли смысл «разбавлять» чистую породу? Есть смысл. Все равно в наших стадах будет понемногу увеличиваться удоимость. В течение десятилетий это станет ощутимым.

Председатель показывает новые производственные стройки, блокирует меня цифрами. В зерносушилке живое зерно дает 100 процентов (что дает?), убитое — 80 процентов. Поэтому имеет смысл сушить медленно. Опять они в «Драудзибе» придумали что-то рациональное. Я вспоминаю — когда я здесь был впервые, то планировалось какое-то огромное современное картофелехранилище. Получилось? Не получилось, говорит председатель, не получилось. А теперь он поведет показывать молочную ферму, где работницы могут расхаживать в тапочках. Это еще старая ферма — на 220 коров. Но здесь каждая доярка может себя показать. Потому что каждая ухаживает за своими 50 коровами и у каждой группы есть своя автономная кормушка. Эта кормушка выезжает из хлева в сарай, где работница «накрывает на стол», а затем автоматически подъезжает прямо к коровам. В хлеву чисто, корм не надо таскать вручную. Такой же хлев будет построен на 560 коров. Но главный козырь — экспериментальный хлев на 200 коров. Он уже строится. Двухэтажное здание, первый этаж зарылся в землю, как погреб. Как гараж. Это навозный резервуар. Туда может въехать трактор, привезти торф, вывезти готовое удобрение. Наверху «салон» с решетчатым полом, максимально чистый хлев. Риск? Так говорят многие. Но если эксперимент оправдается, село переориентируется — председатель в этом убежден — на строительство именно таких ферм. Потому что в смысле культуры труда это оптимальный вариант: никакой грязи вокруг, занимаемая площадь очень мала, условия труда самые гигиеничные. Когда о ныне существующих хлевах говорят: «мобильный способ уборки навоза», то это и впрямь звучит прекрасно и прогрессивно, трактор один-два раза в день выгребают все во двор, расчищает пол, ну а утром? Утром все равно дояркам приходится ходить по колено в навозе. Поэтому

экономии следует рассчитывать не только математически, но и психологически.

Хватит о навозе, поговорим о цветах.

Тот, кто видел в Голландии поля тюльпанов и гиацинтов, тот будет удивлен, увидев весной на теплой лесной прогалине 40 гектаров тюльпанов и гиацинтов здесь же, в Латвии. Это интродукционно-карантинное садоводство. Здесь проверяются и рассылаются во все сады Советского Союза импортированные из Голландии луковицы тюльпанов, нарциссов и гиацинтов. Когда-то все это богатство стоимостью в 120 000 долларов было акклиматизировано на Кавказе, на побережье Черного моря. Но северные луковицы требуют и северного климата, хорошо, что вовремя спохватились. И тогда за это дело взялась «Драудзиба». Решительно, с размахом строились здания, ограждения (чтобы не вздумал какой-нибудь коллекционер вместе с желанной луковицей разносить и болезни цветов), и теперь колхоз масштабно работает и хорошо зарабатывает. Каждый год из Голландии получают полтора миллиона луковиц тюльпанов, нарциссов и гиацинтов. Считайте сами, продажная цена одной луковицы в республике — 60 копеек, на всесоюзном рынке — 85 копеек, себестоимость — 10 копеек, рентабельность — 350 процентов. Вот так мы опять забрались в проценты, а не в цветочное поле, и ничего тут не поделаешь — это разговор хозяйский. Для хозяина красота этой жизни видится во взлетах и падениях стоимости. Где-то говорится, что жизнь это смена потенциалов. Один чувствует взлеты и падения потенциалов цвета, звука и слова, другой — коллизии цен, стоимостей и чисел.

Итак, одна только эта крохотная комнатуха, где в ящиках то ли зреют, то ли просто лежат — поди разбери, что они делают эти луковички, — и одна только эта комнатуха в течение года производит для колхоза «Волгу». Вы думаете, это так просто — посадил луковицу и все тут? А если заболит? Как ее изолировать? Что делать? Могут погибнуть ценности. А за них заплачено валютой. И какие нормы удобрений нужны в нашей почве, в наших условиях? На такие вопросы может ответить только специалист. Милда Вилмане — самая знаменитая наша кудесница и пророчица по тюльпанам. И она пророчит: пройдет совсем немного времени, и хозяйства республики будут обеспечены ценнейшими сортами луковиц, а магазины — тюльпанами, и в таком количестве, что «цветоч-

ным рвачам» уже невыгодно будет продавать цветы на улицах.

Колхоз работает уверенно, но с риском. Вернее — с риском, но уверенно. Потому что — с научно обоснованным риском. Важно, кто рискует — тот ли, кто осознает степень риска, возможные его последствия и средства корректирования, или тот, кто не осознает этого. Есть риск человека умного и риск глупца.

Оттого-то колхоз в первую очередь и заботился об умных, самостоятельно мыслящих и способных принимать решения специалистах. Про Дамшкална говорят, что в своем колхозе он вроде министра иностранных дел, живет только в Риге и Москве, все время на сессиях, пленумах и симпозиумах. Сидит он на сессии, его спрашивают: что делают твои колхозники? Он поглядит в потолок: надо бы, пожалуй, сено убирать.

И он может себе это позволить. Потому что в колхозе есть все необходимые специалисты. Каждый из них только в своей области руководит такими производственными мощностями, которые равны общей производственной мощности некоторых колхозов. Например, инженер-строитель. Не в каждом колхозе есть такой специалист. А размах колхозного строительства требует все большего числа знающих людей еще в целом ряде специальностей. Теперь председатель думает, что колхозу нужен был бы и свой архитектор. Есть свой специалист по мелиорации, с целой бригадой. Есть дорожный мастер. Пять торговых работников. Есть лесничий с пятью лесниками. Ежегодно проводятся лесопосадки на десяти-двенадцати гектарах. Деревья сажают на полянках, пригорках, песчаных буграх, которые ничего не могут дать сельскому хозяйству. Есть специалист по декоративному садоводству, с бригадой в пять-шесть человек, есть ученые цветоводы, есть ихтиолог, потому, что скоро начнут осваивать водоемы.

Главные и старшие специалисты колхоза «Драудзиба» в основном освобождены от забот по элементарной ежедневной организации труда, это дело диспетчерской службы. Председатель правления и его заместители прежде всего занимаются главными производственными вопросами, перспективными вопросами воспитания и хозяйственного развития.

В оперативном диспетчерском центре его начальник и два оператора работают уже с семи часов утра. Сюда в

первую очередь поступают заявки от производственных групп — по телефону или по рации. Они тут же регистрируются с указанием времени их поступления, незаполненной остается графа для подписи исполнителя и отметки о времени исполнения. На столе тетради: Электрики, Газовая служба, Искусственные осеменители, Механики. Открываю последнюю. Водяные насосы не работают... Кормовой котел протекает... У одной группы протекают поилки... Навозный транспортер не работает... Это не значит, что доярки придут завтра в контору и начнут жаловаться, что так больше жить нельзя, что сколько раз уже говорили, что не только не исправляют, но и в глаза их никто не видел. Нет, оперативная группа механиков весь день на колесах. Точно так же на звонок с диспетчерского пункта моментально реагируют и другие оперативные группы. В «Драудзибе», сказал диспетчер, ни машины, ни люди не знают простоев.

К вечеру на диспетчерский пункт поступают обзорные сводки. Самая потрепанная и захватанная тетрадь — «Надое молока». Из нее можно узнать о надое за день, сравнить достижения ферм и отдельных доярок.

Работа идет безостановочно, председателю не надо ставить печати на путевые листы шоферов и одновременно ругаться с нервным просителем, звонить по телефону и принимать гостей. Я вспоминаю о колхозах, где председателя еще «рвут на части» и он гордится, что его так «рвут на части», будто он всевидящее око и глас божий. И сразу становится ясно, что рост производительности труда на селе тормозится и этим психологическим камнем преткновения: самолюбием личности. Я. Без меня у них ничего не получится. И самому почти приятно, что без него у них не получается (только признаваться не хочется). Посмотрим, посмотрим, что они будут делать, когда меня не будет... Крупные селекционеры не хотят передавать другим свои знания. Известные режиссеры не оставляют продолжателей своей школы. Почему? Умер мастер Аллажской винокурни, не оставив формулы «Аллажской тминной».

Сейчас в хозяйстве работают двадцать специалистов с высшим образованием, перспективный план предусматривает, что их число возрастет до пятидесяти. В свою очередь, демографическая структура показывает, что ближайший резерв рабочей силы насчитывает 219 человек

в возрасте от 11 до 15 лет, стало быть, часть их тоже станет специалистами своего колхоза. В настоящее время из ста десяти руководителей и организаторов производства семьдесят три — специалисты с образованием. План предусматривает, что их число удвоится, так как увеличится в колхозе и количество самих специальностей; появятся, например, работники детского сада, все начальники участков должны будут иметь специальное образование. Когда построят пчеловодческий центр, а число пчелиных роев увеличится с трехсот пятидесяти до тысячи, дополнительно понадобятся и специалисты по пчеловодству. Постройка цеха по производству паркета и гипсопильных блоков, кирпичного и керамического цеха, трикотажного цеха, где будет обрабатываться и шерсть собственного производства, создание прудового хозяйства на 200 гектарах, расширение — в перспективе — плантаций луковичных цветов — все это потребует новых специалистов по новым профессиям.

«План социально-экономического развития колхоза «Драудзиба» Талсинского района на период до 1980 года разработан по годам, он реален и выполним, но его превращение в жизнь потребует большой, упорной, систематической работы колхозной партийной организации, управления, каждого руководящего работника и специалиста, каждого механизатора, животновода и работника любой другой отрасли».

Так записано в самом плане. Значит — специалисты! Но Друвис сказал (Друвис работает шофером): вот что меня беспокоит — решат, а до конца не доведут. Похоже, не хватает какого-то контроля за людьми. Обидно, что люди даже на работу не выходят, если они подальше от начальственного глаза. Особенно это относится к среднему техническому персоналу. Как же они наострились лодырничать!

Я лежу в комнатке общежития и читаю план — сколько в нем проблем! Он заполнен проблемами так же, как эта комнатка, как та, что рядом — за стеной. Общежитие — это постоянный двор идущих и проходящих. Здесь находят приют искатели счастья, неудачники, подростки, не унаследовавшие от родителей жизненной устойчивости, и жизнью раздрызганные бродяги. Есть среди них и люди, ждущие квартиру в строящемся доме, чтобы обосноваться здесь и работать. Оттого-то в плане и записано: надбавки за непрерывный рабочий стаж. Доказано,

что труд человека с десятилетним стажем производительнее на двадцать процентов.

А человек, который живет здесь и в чью комнату меня пустили переночевать, кто он — пришедший, уходящий или остающийся? Скорее всего, он где-то на полпути. На полпути к семейному уюту, на полпути к квартире, быть может, и на полпути к специальности.

Школы коммунистического труда... А ребята, уезжая на бал, чуть не выламывают машинами дверь общежития, возле старых стен валяются старые ведра — тут же, у самых дверей, чуть подалее садоводы квадратами высадили тюльпаны. Широкий размах уживается с бытом архаровцев.

Народный университет... В плане понятия этого типа не расшифровываются. Экономические перспективы проанализированы, а культурная программа дана в многозначительных с виду, но практически ничего не выражающих стереотипных формулировках...

Сегодня вечером в Народном доме Майя должна была рассказать о поездке в Среднюю Азию. Майя постаралась, написала настоящий доклад, а пришло человек двадцать молодежи, из них — пять музыкантов оркестра, остальные — те, кто просто пораньше явился на бал. Я пришел в клуб точно в указанный час, дверь была заперта. Ждал полчаса, и меня там как громом поразило несоответствие между только что увиденным размахом производственного труда и толчением воды в ступе, когда это касалось культурной работы. Культурная работа на селе барахтается, как слепой щенок.

Майино выступление было неинтересным, показанные ею документальные фильмы тоже, и вообще вечер вызывал чувство неловкости. Один из оркестрантов попытался спасти положение и начал стыдить неявившихся. Вечер закончился призывом: пусть каждый из присутствующих молодых людей расскажет десяти человекам, что было очень интересно, и, быть может, в следующий раз зал будет полон. Но вечер не был интересным. На организованную библиотекарей выставку книг, посвященную дружбе народов, никто и не взглянул. А фойе было битком набито — все ждали начала танцев. Правда, большей частью это были «надцатилетние» из близлежащего городка Талсы. Что делать?

НЕТ КУЛЬТОРГА! А если он и есть, то его работа на селе почти не чувствуется. ПОЧЕМУ?

В перспективном плане один пункт вызвал у меня глубокое недоумение — всюду предусматривалась стопроцентная механизация, для молодняка — нет. Почему нет? Потому, объяснили мне, что его будут держать в старых хлевах, которые уже морально устарели, но еще не подлежат сносу. Какая явная аналогия! И в культурной работе и при выращивании молодняка применяются старые стереотипные методы, в то время как производство переходит к новой организации труда. И еще одна аналогия. О животных заботятся специалисты, чьи задачи точно определены. В генеральном плане для руководства животноводством предусмотрено примерно двенадцать штатных единиц: главный зоотехник, старший зоотехник, два зоотехника по племенному животноводству, главный врач, ветврач и до шести ветфельдшеров. Все это руководители работ. На каждой ферме за животными ухаживают и обхаживают их еще примерно семь человек. Для культурной работы в этом колхозе тоже предусматривается двенадцать человек, но пока что ясны задачи только двоих из них — библиотекаря и заведующего клубом. Восемь единиц остаются неотшифрованными. Кем же они будут? Фактически это те, кто уже работает: три или четыре платных музыканта из эстрадного оркестра, некий рисовальщик плакатов... и еще кто-то... Одним словом, те, к кому председатели не благоволят. Как сказал Клява из «Коммунара»: культорг сегодня — это либо энтузиаст, либо дурак. А все мы знаем — энтузиастов в мире не так уж много. И к тому же энтузиазм явление преходящее. Следовательно?

Дураки? Действительно дураки?

Бал кончился. В коридоре шум, гам, подъезжают машины, смех. Кто-то ругается. Кто-то дьявольски крепко ругает в соседней комнате какого-то человека. Б... и б... Хлопает дверь, ревет мотор, уезжают. В моих руках основательно продуманный план, а общежитие пульсирует в собственном ритме — поверхностном, сбивчивом, мебель новая, а жизнь неустроенная, хозяйство прогнозируется с размахом, а культура — застревает на танцульке и дальше не двигается.

НУ ТАК КАК ЖЕ, А?

Ночь прошла, заполненная хлопаньем дверей, скрипом кроватей, шепотом, сонными вздохами и стонами. С утра я звоню Мекшу, он парторг колхоза.

Если справа от председателя сидит диспетчер по про-

изводственной работе, то, быть может, слева от него надо было бы сидеть диспетчеру по работе культурной?

На его стол ложилась бы информация о возможностях культурно-массовой работы в колхозе. Прежде всего, демографические данные, связанные с культурной работой и видимыми и, еще чаще, невидимыми нитями.

Нужен просто культурный человек, который бы организовывал, сказал Шмит в «Лутрини». И не так уж важно, чтобы у него самого были какие-нибудь художественные таланты, руководителей кружков можно пригласить из района, деньги у нас есть. Но у нас нет талантливых организаторов. Селекционер Петерис Упитис говорит так: я не выращиваю растения, я выращиваю идеи. И затем эти идеи я знакомлю с дружественными мне растениями. Такой вот и нужен руководитель культурной работы (и затем эти идеи я знакомлю с дружественными мне людьми!).

Такой культорг мог бы всем показать динамику культурной работы так же, как агроном из года в год показывает рост урожая в гектарах. Ведь не удивляются же больше 40 центнерам с гектара!

Такой культорг нужен.

Такой, который бы учил людей дыханию — дыханию фантазии и выдумки. Хотя бы одна маленькая задумка! Но довести ее до результатов. План сева довести до результатов легче, чем довести до результатов маленькую задумку. Вот тогда бы люди верили культоргу.

Культорг целый год может ничего не делать, только ходить по домам. **МЫ СТРОИМ ПЛАНЫ.** Все, все! Доверьтесь мне, и я ручаюсь, что-нибудь у нас да получится. Ведь у каждого наверняка есть какие-то соображения насчет культурного быта в своем колхозе. Чем займутся пенсионеры? Организуют Мартынов день? Блестяще. Организованный в прошлом году в «Варме» Мартынов день был самым интересным начинанием в культурной жизни колхоза.

Чем займутся школьники? Организуют «Общество освобождения дубов». Что это значит? Это значит, что они на берегах Абавы освободят дубы от кустов, ольшаника и других малоценных деревьев, которыми те зарастают. Да, за несколько лет постепенной, но упорной работы все колхозные дубы и другие благородные великаны обретут свое бывшее величие.

Чем займется агроном? Поедет вместе с молодежью на выпускной вечер Яниса. Да, мы послали его учиться, значит он наш. Все, все, обязательно! Автобус уже заказан. Корзина цветов тоже — как министру на юбилей. И прямо в Сельхозакадемию, то-то он удивится! Ведь нигде о таком и слыхом не слыхивали.

Чем займутся учителя? Я вовсе не думаю, что сегодня в общественной жизни села все должно делаться учителями. Прошли те времена, когда на селе учитель был единственным культурным деятелем. Экономическая революция свершилась, учитель перестал быть единственным интеллигентом деревни. Значит, дальше: что могут дать культуре и быту молодые специалисты сельского хозяйства?

И тут же все закричали: нет времени! нет времени! У учителя нет времени, у медицинского работника нет времени, у работника сельского хозяйства нет времени! Но ты не волнуйся, они сами не знают, что у них есть время. Ты походи и понаблюдай и через месяц выложи им — ваше свободное время там-то и там-то, тогда-то и тогда-то, не замечали?

Потому что у человека нет времени подумать, есть у него время или нет. А когда у человека нет времени осознать свое я, продумать свое место в этой жизни, свою роль в этой системе, в этом механизме, то через какое-то время это начинает сказываться и на экономических показателях.

Нет времени выработать у себя вкус — и это тотчас же отражается не только на стенном декоре, одежде и цвете губной помады, но и на производственной культуре.

Людей не научили осознавать понятие времени. Они думают, что рабочая спешка это наиболее уплотненное время. Но уплотненное время — это уплотненность труда и отдыха. **ВСЕУПЛОТНЯЕМОСТЬ**. Уплотненным временем дышишь, как щедро озонированным воздухом. А обычная спешка — это весьма разреженный воздух.

Например, от Салдуса до Риги езды час двадцать, час тридцать минут для тех, у кого есть машина. Можно съездить в театр и — будут ли впечатления обсуждаться дома или в машине — это одно и то же.

А кто-то не знает, куда ему на этой машине поехать. И вот, едут в гости к тем, которые тоже не знают, куда поехать, едят торт, пьют вино и скучают. О чем говорят?

Об автомобильных авариях и тому подобном. Телевизор тоже не «уплотняет». Недавно поэт Харий Хейслер рассказывал о своем досуге. «С белыми червями теперь трудновато... Лето прошло... Мух тоже не поймашь...» И чего ради они популяризуют и без того самый популярный вид досуга? Каждый мальчишка все это знает. Ничего другого не могут предложить? А вот, скажем, «семейный музей», семейная хроника, «отчеты» членов семьи о поездках, учебе, командировках в кругу семьи или в гостях у родственников — это тоже уплотнение времени.

Так рассуждали мы у секретаря Салдусского райкома. А в комитете комсомола пытались еще более уплотнить неуплотненное время. Девиз: даешь к белым медведям! Надо бы пожить в других республиках. У нас живут многие, а сами мы никуда не ездим. Можно было бы обменяться комсомольскими работниками, говорит Гайсма. Я бы поменялась с каким-нибудь заведующим школьным отделом и одну осень проработала в Армении или Молдавии. А я бы хотела на месяц поменяться рабочими местами и поработать продавщицей где-нибудь в горах Киргизии. Неужели профсоюз работников торговли или комитет комсомола не могут это организовать?

Диспетчер по культуре должен знать резервы свободного времени у людей. Когда в его работе и в работе всего колхоза появляются «окна». Он, конечно, будет знать, что от 20 апреля до 20 мая проходит посевная и три первые недели августа — время уборки хлебов. Этого ему не позволят не знать. Но он должен знать и то, что между севом и сенокосом остается маленький промежуток свободного времени, а быть может и — между сенокосом и жатвой. У каждого человека тоже есть свои индивидуальные или семейные графики. Представьте себе, что диспетчеру по культурной работе сообщают по телефону или по рации: хотим в субботу, хотим в воскресенье, хотим в июне, хотим в октябре. Регистрируется, планируется, организуется. Представьте себе, что в распоряжении этого диспетчера есть автобус, поездки которого запланированы главным образом на субботы и воскресенья. Вначале он возит только в театр и только в том случае, если набирается полная машина. Но можно бы возить и на выставки, если даже едущих человек десять. Воскресную работу шофера можно оплачивать из

фонда культурной работы. В настоящее время по маршрутам культурных мероприятий колхозные машины наездили сорок пять тысяч километров. Много ли это? Или это мало? Вот это и надо бы знать руководителям культурной работы. Много, мало — это определяется не километражем, а эффектом обогащения.

Диспетчер по культурной работе ищет в школах, ищет во всей округе талантливых людей, своих помощников. Ищет в школе, ищет дома, делает все возможное, чтобы не уходили из колхоза люди, необходимые для культурной работы. В «Драудзибе» многими из таких дел занимается секретарь партийной организации. Он постоянно следит за развитием детских талантов и интересов в своем колхозе. Да и во всей округе. Заметил музыкально одаренного парнишку — и колхоз платит теперь тому хорошую стипендию, через пять лет вернется и будет свой. Чтобы председателю колхоза не приходилось говорить так, как говорит председатель «Коммунара» Клява, когда он чем-нибудь расстроен: если мне навстречу идут из школы дети, я смотрю на тех, у кого губа отвисла, уж эти-то не уйдут, эти останутся, эти будут моими. Горькая ирония. Потому что в республике не делается все необходимое для укрепления престижа сельских профессий.

Покорпим еще над генеральным планом. «На фотокопировальном аппарате «Вега» печатать раз в месяц колхозную газету тиражом в 100—150 экземпляров». Это будет нечто вроде улучшенной стенгазеты, технические возможности у нас есть, говорит Мекш.

Но вы же не подготовлены к этому!

Так мы спорим.

Чтобы подобная газета не была чем-то формальным, нужна человеческая отдача. Где у вас такой человек, который бы с полной отдачей, но отдачей профессиональной, а не дилетантской, трудился из недели в неделю, из года в год? Или, быть может, вы присмотрели себе какого-нибудь журналиста или отправили кого-то учиться на вашу стипендию? Почему бы это не могло быть еще одной специальностью, способствующей культурной жизни колхоза? Тем более, что план предусматривает «радиофицировать центральный поселок колхоза, проводя ежедневные местные передачи как для решения организационных вопросов, так и для распространения политико-экономической информации». Но у вас для этого нет

специалистов. Ежедневно... Даже если у вас найдутся два-три человека, способных заниматься этим в общественном порядке на уровне, соответствующем вашему замыслу, то вы же их замучаете. Ведь им и свою непосредственную работу придется исполнять.

Дело не в том, что «Драудзиба» не хочет оплачивать работников культурного сектора, но планы и замыслы в области культурной работы, если их расшифровать, оказываются весьма непродуманными. Можно, конечно, и газету свою издавать и радиопередачи организовывать, но будут ли они на таком же толковом уровне, что и колхозное производство? О работе колхоза свидетельствуют не просто вспашка, сев, жатва, но и результат, продукт. Диспетчер по культурной работе отвечал бы за эффект, воздействие, результат начинания. Скажем, за результат того вечера, когда Майя рассказывала о поездке в Среднюю Азию.

Так мал процент «тянущих»... Это обычные жалобы. Всегда один бывает паровозиком, остальные — вагончиками. Обычные отговорки. Надо составить бюджет времени колхозных специалистов. А затем индивидуальный и общий бюджет времени всех людей своего колхоза. Тогда будет ясно, которому из вагончиков можно сказать: теперь ты можешь некоторое время побыть паровозиком, я отдохну.

В туристских походах так делается, ведущий все время меняется, и каждому приходится тянуть на своем отрезке пути. Надо только знать, когда именно человек может тянуть. А в том, что тянуть могут все, я не сомневаюсь. Вопрос в том — когда и сколько.

Кто составит такой бюджет?

Секретарь парторганизации? Секретарь комсомола? Культорг?

Несколько лет назад по инициативе газеты «Советская культура» в Буртниекском совхозе состоялась представительная встреча по вопросам культуры села. И хотя в то время вопрос еще не был столь актуален, но уже говорилось, что нехватка квалифицированных работников культуры очень ощутима и поэтому всем учебным заведениям следует подумать над подготовкой людей, чьи интересы и данные соответствуют общественным профессиям.

Можем ли мы представить себе современное сельскохозяйственное производство без специалистов с высшим образованием? Все без исключения ответят: анахронизм! А вот на культурной работе людей с высшим образованием почти и вовсе нет.

Кто же все-таки составит бюджет времени?

СЕКРЕТАРЬ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. И ему в этом случае понадобится своя организаторская группа. В колхозе есть лесничий со своими лесниками. У электриков есть своя оперативная группа. У главного зоотехника есть свои специалисты. Я смотрю на схему административной структуры колхоза и ее состав: в административном подчинении заместителя председателя, секретаря партийной организации, находятся вся контора и все работники культуры (председателю подчиняются производственники), в административном, а не в функциональном подчинении и не в отношении оперативной связи. Я никак не могу доискаться, в чем тут загвоздка. Может быть, вся беда только в формулировках? Ведь культурная работа должна же функционировать, а не администрироваться!

Мы дошли до самых ответственных точек в области культуры. От этих точек должны исходить импульсы. Поэтому эти центральные точки современного села должны не только смыслить в хозяйствовании, но и быть эстетически образованными, понимающими и мудрыми. Село ждет от системы партийного просвещения новых политических работников, имеющих и эстетическое образование. В колхоз «Лутрини» приехал новый, только что окончивший партийную школу, секретарь партийной организации. И опять по своему образованию он работник хозяйственного профиля, и все знают, поработает он заместителем председателя, а потом район заберет его — председателем в другой колхоз.

А колхозы ждут постоянных работников, интересующихся культурной работой, понимающих ее, не желающих уходить и менять профессию на должность.

Село сегодня требует не только культорга. Село требует стратегии и тактики культурной работы.

По меньшей мере, столь же серьезной, как и на современном производстве.

● 12. ГЛАВА О ТОМ, ГДЕ ИСКАТЬ СЫРЬЕ ДЛЯ КУЛЬТУРНОЙ РАБОТЫ

Председатель Янсон. Колхоз «Вента». Сельский работник с большим стажем. Практик. Труженик. Заслуженный работник сельского хозяйства. Есть у вас руководитель культурной работы?

У нас у самих нет, но есть поселковый Дом культуры. Ну да, как он может нас обслужить! Одна женщина там, ничего она не умеет, все только ходит да ищет чего-то.

Я вспоминаю, что в «Коммунаре» Клява тоже говорил: в последний момент ты констатируешь, что ничего не сделано. И тогда ты сам на скорую руку делаешь это, улаживаешь. И так всегда! Получается, что самому надо работать культторгом.

Ездят ваши хотя бы на экскурсии?

Нет автобуса. А таких, кто хотел бы в открытой машине ехать, у нас нет.

И что же остается?

Остается телевизор.

Председатель стопроцентный поклонник телевизора — там все увидишь, там вся культура. У нас 130 человек, 50 из них животноводы, а у животноводов на культурную работу времени нет. Стало быть — бог с ними! У животноводов нет времени, они обречены на хлев, производство.

Обреченные! Во веки веков, аминь!

Председатель сидит возле свежеекрашенной стены, большие тяжелые руки на тяжелых коленях. Досадное вторжение. Он хотя и спокоен, но за привычным спокойствием крестьянина чувствуется раздражение: ну и что вы предлагаете? Да, именно вы, что вы предлагаете?

Я предлагаю, чтобы культторга оплачивал сам колхоз.

Да у нас нет Дома культуры!

Вот он, этот схоластический спор, что было сначала — яйцо или курица?

Когда доход достигает сотен тысяч рублей, когда людям лучше живется и легче работается, тогда можно чаще и внимательней прислушиваться к голосу сердца, можно создавать материальную основу для массовых увлечений работающих, например, для развития спорта у себя в колхозе. Так говорят многие председатели. В моем изложении это звучит так: дайте нам жизнь радостную, тогда мы будем радоваться. Дайте нам жизнь счаст-



ливую, и мы будем счастливы. Но жизнь остается жизнью. И радоваться и быть счастливыми надо уже теперь. И не ждать этого свыше.

Здесь, на территории Румбенского сельсовета, на два колхоза есть только один Дом культуры и его единственная заведующая — та самая «женщина, которая все только ходит да ищет чего-то». А почему бы в одном Доме культуры не могло быть двух культторгов? На ферме-то за коровами ухаживают семь человек! Когда сель-

совет хотел уговорить «Венту» оплачивать вместе с соседним колхозом второго культорга, «Дзимтене» согласилась, «Вента» — нет. Сказали, куда там еще второго! Что они будут делать вдвоем в одном Доме культуры!

Опять старый скарредный образ мышления: как бы соседу не перепало чего-нибудь больше, чем нам. Как бы сельсовету не досталось больше! Как бы нас на этом не провели! Как бы, как бы...

На границе с соседскими полями минеральные удобрения не использовать, как бы ветер не унес какую-нибудь горсточку к соседу! А уж с самолета и подавно, так можно целые центнеры распылить над соседскими угодьями. Границы надо соблюдать! Старый закон собственника.

Неужели у ваших людей нет никаких культурных запросов, неужели они могут обойтись без культуры?

У них есть телевизор. И они ездят в Кулдигу.

Ну, это на разные вечера. А кто формирует культурную мысль колхоза? Что вы, как руководитель колхоза, глава правления, предлагаете людям, кроме работы и денег?

Это нелегкий вопрос, говорит Янсон. Если бы можно было предложить что-то готовое...

Готовое... Готовое уже предлагают телевизор и кулдигские афиши. А колхоз? Ваши ребята — шоферы, трактористы, механики, — они ведь чем-то увлекаются?.. На территории сельсовета в Строительном управлении работают фанатичные мототуристы. Петерис Зен, Роман Пескоп, они готовы помочь. Кто-нибудь говорил с ними, просил их? Ваши ребята пошли бы в мотосекцию, участвовали бы в мотоциклетных гонках и гонках скутеров по Венте? Уже участвовали, говорите. Носились по Венте так, что дым столбом. Вот только организовать некому! Стало быть — не хватает культорга.

Да ты помоги нам его найти, мы будем платить!

У вас есть шесть своих специалистов, организующих производство и воспроизводство скота. Только культурные потенции человека никто не производит и не воспроизводит. Не воспроизводит человека. Воспроизводятся его производящие мускулы, а не интеллект, эмоции и все то, что в совокупности зовется культурой. Посылали вы своих детей учиться тому, как вести культурную работу?

Некого послать.

Но в средней школе всегда найдется несколько человек, которым бы очень хотелось заняться культурной работой.

Так ведь такие уходят из колхоза.

Потому что они чувствуют, как к ним относятся. Окажите им свою поддержку, доверие, проявите к ним доброжелательность, отзывчивость, не ограничивайтесь деньгами. Дайте им такую же квартиру, как главному зоотехнику! Может быть, вы и машину могли бы дать? Как сказал Клява из «Коммунара»: теперь, когда мы строим новый поселок, культторгу можно и дом дать. Ведь это же вопрос хозяйственный — воспитывать своего человека, формировать свою среду. Культура — это не энтузиаст-культторг. Культура — это система, мышление, воспитание.

Наше дело не воспитывать, а производить!

Ага! Ну, теперь председатель приперт к стене! Председатель свято уверен в своем тезисе: колхоз — это единица производящая, которая сдает государству продукт. Такие разговоры председатели довольно часто слышат и на собраниях в районе.

И поэтому — культторг «вовсе не так уж и нужен». Если есть телевизор, можно и обойтись. Иногда у председателя вырываются слова, идущие от чистого сердца: в конце концов у нас этих кадров будет столько, что на каждого работающего придется по одному неработающему! Во-первых, заметьте: неработающему! Под этим неработающим подразумевается культторг. Во-вторых, заметьте: председатель говорит так, словно кто-то под видом культторга хочет выманить у правления деньги. Но ведь есть же законный культурный фонд, средства которого из года в год не используются целиком, это и есть «средства культторга», предназначенные на культурную работу. Но председатель культторгу платить не будет, нет и еще раз нет! Он говорит: у специалистов есть время, научились бы играть на каком-нибудь инструменте! Вот хотя бы секретарь парторганизации, агроном, высшее образование имеет. Умел бы он что-нибудь организовать в этой самой культуре!

И председатель в одном отношении прав. Газеты раструбили об общественных факультетах в Сельскохозяйственной академии. Но в культурной жизни села выпускники этих факультетов никак себя не проявляют. В конце апреля в Елгаве состоялся Прибалтийский зональный

смотр факультетов общественных профессий сельскохозяйственных вузов. Оценивались итоги их работы. Ребята из эстонского этнографического вокального ансамбля поедут в Москву, они вышли в финал. От литовцев поедут сельская капелла и танцевальный коллектив. А наши? Наши ограничиваются лишь привычно-стандартными формами культурной работы: хор, танцевальный ансамбль, эстрадный оркестр. Соседи же действуют более современно. Март, Галло, Антс, Тену, Мати и Мик — студенты лесоводческого факультета. Прошлым летом ребята решили, что они могут выступать с концертами. На смотре в Елгаве они предстали перед зрителями в качестве этнографического вокального ансамбля. Играя на современных инструментах, они возрождают традиции старинных эстонских народных песен. О наших же было сказано: оборудовали очень интересную танцевальную площадку с цветовой музыкой. Вот только — танцевальная площадка это «недвижимое имущество», в колхоз ее с собой не возьмешь.

И напротив, сельская капелла — это нечто мобильное, нечто выходящее за пределы вуза, и настолько увлекательное, что обязательно сыщутся последователи. Иными словами, это то, что сегодня нужно селу.

Но вернемся к аккордеону. Не слишком ли много спрашивается с одного человека, то есть не слишком ли мало спрашивается? Как говорится — не в соответствии с квалификацией. Большие задачи не поставлены, а требуют малых. Весьма простой взгляд на культуру: играй на аккордеоне и рисуй производственные схемы для конторы!

Бредем обратно к машине, туфли зачерпывают глинистую жижу. Мне неудобно перед зампреда райисполкома и заведующим отделом культуры, в конце концов это я подговорил их поехать, но у меня сапоги, а они прямо с работы — в туфлях. Завотделом культуры ворчит: нельзя обойтись без главного механика, главного агронома, но считается, что без культорга обойтись можно. Без техники нельзя обойтись, а люди биологически живучи — и без культуры обойдутся!

А в памяти все еще звучат слова Янсона: это из центра должно бы идти. У нас и так работы довольно.

Заведующий отделом культуры Гунар Гарокалн сам был председателем колхоза, окончил партийную школу, учится в консерватории на факультете культурно-про-

светительных работников, и кажется — это достаточно подготовленный специалист, способный понять обе стороны.

Янсон сказал: я не знаю, с какого конца взяться. Мы ждем помощи сверху.

Гарокалн сказал: мы можем быть посредниками, но нам нужен от колхоза исходный материал.

А Янсон на это: исходный материал в городе!

Естественно, престиж новых профессий упрочивается постепенно, но колхозы сами могут повysить этот престиж. Сейчас на селе господствует такой взгляд: культурная работа — с нею не справиться. О-ой, кто за нее возьмется?! Кто же пошлет своих детей в техникум культурно-просветительных работников, если результата не видно? Результат труда не материализуется, сказал Клява из «Коммунара». Много ли времени прошло, как переустройство сельского хозяйства дало действенные результаты в производстве? Всего четыре-пять лет. А в культурной работе урожай так быстро не снимешь. Тут не бывает ежегодной жатвы, много времени проходит, прежде чем можно говорить о стиле, о культурном стиле жизни на селе. Хотели мы одну девушку послать в техникум культпросветработников. Из нынешнего выпуска, хорошая девушка была. Не идет.

Потому что примера не было, не было авторитетов, которые бы доказали, что можно с этой работой справиться. Работник культуры должен быть сельским жителем. А сельские жители сами настраивают своих детей против — это, мол, не дело.

Когда мальчишку на уроке воспитания спрашивают: кем ты будешь? — мальчишка отвечает: шофером. До сих пор все в порядке. Но он бы мог и добавить: надо мной же все будут смеяться, если я окончу среднюю школу.

И это тоже входит в обязанности диспетчера по культуре — ликвидировать этот диссонанс.

● 13. ГЛАВА О ГРОБАХ, КОЛЫБЕЛЬКАХ И ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ

В октябре на заседании райисполкома обсуждалось использование фонда культуры и быта. У Гарокална в руках папка с колхозными сводками. О чем они говорят?

«Иванде» до первого октября использовал менее половины культурного фонда. Следовательно, до конца года эти средства не будут освоены. От неумения, от скупости (пусть лучше деньги остаются в кассе)? Или экономят на конец года для банкета с богатым столом и финской баней? Оставшаяся на конец года сумма наверняка будет занесена в бухгалтерскую графу «Прочие расходы». А один банкетный стол дал бы солидную годовую приплату работнику культуры. По всей республике зарплата руководящего производственного персонала колеблется в пределах 140—200 рублей. Плюс еще и премии. Премии получают все главные специалисты: агроном, зоотехник, бухгалтер, ветврач, инженер, механик; специалисты среднего звена: зоотехники, лесники, бригадиры, заведующие фермами. Примерно 120—140 рублей в год. Но только не культорг. И не секретарь партийной организации.

Ивандцы плохо расшифровали использование культурного фонда, но сумма, отпущенная на покупку сувениров, сразу бросается в глаза. 548 рублей — на производственное премирование. Для настоящих подарков — маловато, для кое-каких — многовато. Наверняка опять надарили людям ту ерунду ерундовскую, которую для себя лично никто бы покупать не стал.

В Алсунгском колхозе из 9000 рублей, составляющих фонд культуры, 2,4 тысячи отпущено на подготовку работников сельского хозяйства. И на подготовку работников культуры тоже? Если нет, то абсурд очевиден: культурный фонд производит производственников, а работников культуры не производит.

Посмотрим, как обстоят дела в колхозе «Вента», в котором мы только что были. Три тысячи. Всего? Всего 0,5 процента от общего годового дохода. Обычно отчисления в культурный фонд достигают 2 процентов годового дохода. Янсон действительно поспешил. К тому же из этого фонда взяты и «подъемные для электрика».

А ведь Управление сельского хозяйства рассматривает годовые отчеты и планы будущего года. Можно было бы не утверждать такой ничтожный культурный фонд, по крайней мере, указать: мол, этого для культурного фонда мало. Нет, ничего не говорят! Указывают лишь тогда, когда дело касается производственных показателей. Из такого отношения и рождается неколеби-

мый тезис председателя: наше дело не воспитывать, а производить.

Сельскохозяйственное управление не всегда (это зависит от района) приглашает на свои заседания заведующего отделом культуры. Вот и получается, что в одном и том же районе борются за колхозное строительство, с одной стороны, производственники (плоды их труда видит каждый), с другой стороны — отдел культуры (чьи усилия не так заметны, и поэтому производственники считают, что это работа низшего порядка, либо вообще это за работу не считают).

Беседуем с заместителем председателя райисполкома Ланкенбергом. Какую помощь Домам культуры оказывают правления колхозов?

Чем, например, Дому культуры помог директор Кабильского совхоза Матевич?

Вот что Матевич отвечает: мы производим, и мы свои планы выполняем. Производите вы тоже и выполняйте свои планы!

Начальник производственного управления Менгис говорит: мы справимся с производством, вы нам не мешайте!

Что может сделать сельсовет? Сельсовет не заинтересован ссориться с председателями, потому что у тех средства, деньги. Ни одному председателю колхоза еще ни разу не было указано (уж и не говоря о выговоре) на неудовлетворительную работу в области общественно-политического воспитания или хотя бы на халатность и запущенность культурной работы. В области производства все иначе: требуют соблюдения устава, выполнения плана, улучшения бытовых условий, подразумевая под этим главным образом жилищное строительство и коммунальное обслуживание. Отсюда и четкое благоговение перед производственным планом и чуть ли не уничижительное равнодушие к культурной работе.

И хотя было принято постановление правительства о правах местных Советов в деле мобилизации и объединения культурных и других общественных сил, ведомственные интересы закоснело противятся этому. Например, в Кулдигском районе почти всегда совпадает: один колхоз — один сельсовет. Но колхоз не имеет права оплачивать руководителя кружка, работающего в сельском народном Доме. Спор чисто формальный. Ведь может же колхоз оплачивать своих руководителей кружков, а сель-

ский народный Дом предоставлять им помещение — логично и результативно. Некоторые более сообразительные колхозы так и делают — в Скрунде, в Лайдах. Эдолский колхоз сам оплачивает культработника, руководителей кружков и все прочее. Но его председатель впадает в другую крайность, он говорит: мой народный Дом, мой хор, я им купил национальные костюмы! Сельский Дом культуры нам не нужен! Председатель «Эдоле» когда-то работал у Янсона в «Венте» бригадиром. Тот же стиль поведения, говорят в райисполкоме. Насколько один по-собственнически прижимист, настолько другой по-собственнически широк. Конечно, второй вариант результативнее. Ведь эдолский председатель Линкис дает то, что необходимо для культурной жизни, а Янсон из «Венты» не дает ничего. Если сельский Дом культуры просит машину, чтобы отвезти молодежь на спортивные соревнования, то не говорится категорически — нет. Говорится: культурной работой должны руководить вы. Если вам нужен наш шофер, идите, говорите с ним!

Эдолский колхоз мог бы и в садоводческий техникум послать своего человека, тот бы вернулся и занялся озеленением и колхоза и поселка, но колхоз не идет на это: зачем нам его оплачивать для других? Само собою напрашивается, чтобы у Эдоле и Алсунги был свой специалист по декоративному садоводству, хотя бы один на оба колхоза. Но который из колхозов первым перешагнет через себя и пойдет договариваться с соседом? Старая закваска...

Этот спор между сельсоветом и колхозом можно было бы назвать провинциальным и наивным (все ведь зависит от кругозора самого председателя), но дело в том, что Министерство сельского хозяйства и производственные управления уделяют совершенно недостаточное внимание тому, чтобы создать нужный общественный климат на селе. А там произошла экономическая революция, и нельзя вести культурную работу методами Пиетуку Крустиня¹.

Что нового можно предложить?

То, что необходимо. То, чего душа сегодня желает.

Чего душа сегодня желает? Хотите хор? Сейчас широко распространен взгляд, что хоры отжили свое время. Так говорят должностные лица в районе, так говорят не-

¹ Комический персонаж из романа братьев Каудзит «Времена землемеров».

которые измотанные вечной беготней руководители Домов культуры.

Существование хоров, видите ли, имело когда-то свою общественно-политическую основу — идею народного самосознания и единства. В нынешней интернациональной структуре, говорят они, хоры, как форма самодеятельности, отмирают сами собой. Я думаю, что это рассуждения весьма близоруких людей. Конечно, нельзя оживить ни одну традицию в том же самом культурном значении, которое было присуще ей в те времена, когда это была не традиция, а сама жизнь. Но культура является такой структурой, которая моделирует все формы и виды человеческой жизни. Пение всегда останется одной из жизненных форм культуры. А также и хоровое пение.

Механизация сельских работ увеличит у человека норму свободного времени, и, хотя и будут развиваться новые формы самодеятельности, певцы не исчезнут.

Наверное, рассуждение можно довести до конца, и тогда его абсурдность станет очевидной: интернациональная культура создана для того, чтобы не было певцов? Профессиональное искусство заменит хоры? Тысячи людей будут слушать одного профессионального певца, а сами петь не будут? Никогда? Нигде? А как же выразить то, чем душа полна? Эстрада? Может ли кино заменить театр? Будет ли картофель вытеснен морковью? Разве не будет больше гимнов и кантат? Разве песня солнечных зайчиков заменит песню солнца?

Хоры будут. Нынешний нигилизм будет преодолен. По мере увеличения на селе количества работников культуры (Министерство культуры обещает построить в республике институт, который будет готовить культработников с высшим образованием) — формы самодеятельности начнут множиться, становиться все более разнообразными, хоры, наверное, станут профессионально изощреннее и многограннее, будут выражать художественное «я» своего дирижера. Уже сейчас намечается одно из перспективных ответвлений будущего хорового искусства: учительские хоры. Иманта Кокара, главного дирижера наших хоров, знают все. Или он не знает, о чем говорит? Он занят этим делом, а стало быть, и знает, о чем говорит. Он предвидит, что учительские хоры в будущем значительно повысят хоровую культуру в республике, разовьют не только мастерство хористов, но и творческие силы дирижеров.

То же самое можно сказать о танцевальных и драматических коллективах. Беда в том, что о культурной работе теперь нужно представлять весьма однообразные отчеты: хоры, танцевальные коллективы и драматические. Министерство культуры требует от районных отделов культуры: обязательно! Районные отделы культуры — от заведующих Домами культуры: обязательно! Но заведующему Домом культуры уже некому сказать: обязательно! Потому что «обязательная самодеятельность» — это абсурд. Культорг так отчаянно мучается с этими обязательными дисциплинами, что у него не остается времени подумать о чем-нибудь другом. Когда я в «Варме» спросил у Руты, знают ли культработники, что через бюро кинопропаганды и бюро пропаганды художественной литературы они могут пригласить артистов и писателей, то Рута ответила мне в простоте душевной: да ведь у культработника на это времени нет, он же за всю культуру отвечает.

У него не остается времени поразмыслить над тем, что и «не обязательные» виды самодеятельности могут укреплять общую волю к самодеятельности. Почему в Нице обязательно должен быть хор, если там есть ансамбли ницавских песен? В Снепеле начинает создаваться кружок художественной фотографии. Ну, а если те же самые ребята участвуют и в танцевальном коллективе и объединить эти два дела нельзя — то, что же, уговорить их только танцевать, а фотографию отбросить? Нет же, конечно. Появился новый росток самодеятельности. Разнообразие культурной жизни позволяет нам вернуть себе молодежь, а следовательно, и приобрести новых участников самодеятельности для привычных традиционных коллективов. Должен существовать большой выбор кружков. Отделы культуры насаждают на культоргов: заставляйте, заставляйте их петь — в хоре! Однако объяснение тут весьма простое и нечего на него обижаться: не хорошая работа запущена, а сама культурная работа. Создадим богатую мозаику культурной работы, и засияет одно из ярчайших стеклышек этого витража.

В «Гайки» председателев сынишка выколупывает глину из тракторных гусениц и засовывает своих глиняных уточек в хлебную печь рядом с караваем. В «Друве» заведующая колхозным детским садом купила детям электрическую печь для обжига керамики. В Музее народного быта на республиканской выставке чеканки были

представлены очень интересные работы талсинца Яниса Путры. Он работает в колхозе. Просто удивительно, почему в колхозах не используют своих возможностей для самостоятельного творчества чеканщиков. Если керамистам надо строить специальные печи (хотя и это при колхозной глине недорого), то у чеканщиков в современном механизированном колхозе, по сравнению с другими прикладниками, условия самые благоприятные: мастерские, инструмент, отходы металла. Вот только научить некому, некому показать. В городе еще думают об этом и что-то делают, на селе — нет. В Кулдиге в ближайшие несколько лет старая ратуша будет реставрирована и превращена в дом прикладной самодеятельности со своим выставочным залом. Дом культуры посылает местного мастера в Ригу в Народный университет клуба полиграфистов учиться чеканке. Вернется он уже инструктором этого дела.

«В 1842 году управляющий Смилтенским имением со слов людей и в результате обыска установил, что хозяин хутора «Калнини» продал на Матвеевском рынке 10 гробов, его батрак 11 гробов, к тому же в доме было найдено еще 11 готовых гробов... За каждый проданный гроб «виновные» должны были уплатить 37 с 1/2 копеек штрафа и получить порку».

Так написано в книге «Хозяин и батрак в Курземе и Видземе в середине XIX столетия».

Порка полагалась за то, что согласно арендному договору кустарям-ремесленникам было запрещено продавать свои изделия на рынке, но крестьяне все-таки изготавливали деревянную посуду, колеса, гробы.

Сегодня мы не говорим о ремесленнике и рынке, мы говорим о ремесленнике как потенциальном художнике, самодеятельном прикладнике. И я отнюдь не хочу сказать, что начинать надо с гробов. Ведь на праздниках наречения имени мы качаем на сцене маленькие стилизованные колыбельки, обычно это на скорую руку сколоченные ясельки. А в республике уже могло бы существовать целое объединение мастеров по колыбелям, в Музее народного быта можно было бы устраивать выставки колыбелей и даже ввести звание Заслуженного колыбельного мастера. Шутка? Позволим себе побольше таких шуток, и жизнь станет разнообразнее, веселее, озорнее, непринужденнее и в конце концов мудрее.

Так рождается культурная мозаика.

В сельских домах нет картин, это можно понять. Никогда их не было, в этом отношении вкус еще не развит, но ни в новых, ни в старых домах нет декоративных тканей — вот это удивительно. Кое-где еще сохранились бабушкины покрывала — в Руцаве, в Нице, но очень редко можно увидеть новое, сделанное в городских кружках художественного ткачества покрывало. В Нице прекрасные настенные покрывала мы видели у Микелиса Дразниека. Они тоже сделаны в городе. Но таких домов очень мало — обычно кто-то из такого дома ушел в город и там работает в какой-нибудь студии, в городе больше возможностей. Микелис Дразниек шофер. Я боюсь сказать «простой шофер», очевидно, что не так уж он прост. Ему нравятся сады, декоративное садоводство и ритмы красок.

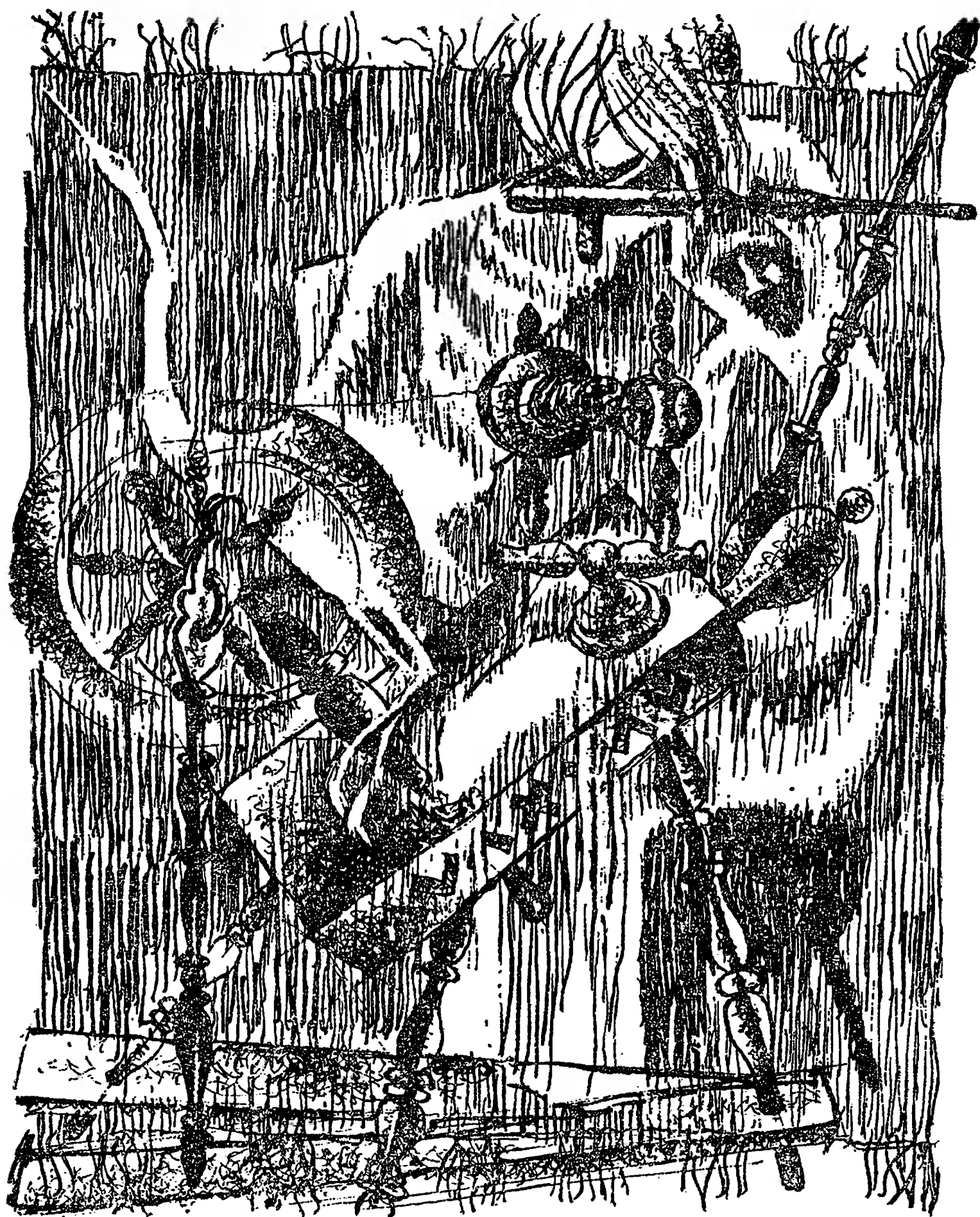
В Лутринях в квартире нового дома на кроватях турецкие ковры, но комната обставлена отнюдь не в восточном стиле. Есть и одно наше декоративное покрывало. Где я его взяла? Кажется, в Риге купила.

Почему в Риге? На селе в каждом пятом-шестом доме есть старый ткацкий станок.

В прошлом году я еще много наткала, сказала нам в Алсунге матушка Пупол, да она надо мной смеется, невестка моя... Пополам уже распилили станок. Я поздно спохватилась. Трине, видишь ли, наболтала, что уж очень дрова хорошие получаются.

Для повседневных нужд ткани больше не изготавливаются, поэтому и станки оказались заброшенными. А Дом культуры не догадался сохранить ткацкие станки для самодеятельных мастеров прикладного искусства. Там, где появляется какой-нибудь энтузиаст, начинается оживление. В сельсовете Басы есть дом «Смидри». Он уже наполовину заброшен, все переселяются в поселок, но когда меня привезли туда воскресным утром, дом гудел как улей. Удивило то, что большинство ткачих — молодые девушки, школьницы. Я ожидал (по собственной глупости, как большинство людей), что за ткацким станком будут сидеть старые и пожилые крестьянки. Там же, в «Апшениеках», живет Дайла Петровска, мастер художественного ткачества. Она ведет этот кружок. Началось с того, что председателю надо было организовать выставку на межколхозных соревнованиях.

А выставку без кружка не сделаешь. Нашли мы этот дом. Пол прогнил, повсюду зерно рассыпано, но мы ска-



зали: нам здесь нравится, надо только провести электричество. Председатель электричество провел, вставил окна, в нашем распоряжении почти весь дом — верхний этаж и две комнаты внизу (как бы только кто-нибудь не вселился!). Ткацкие станки раздобыли здесь же у старушек, на один сбросились и купили. Колхоз тоже обещал, да пока еще не раскошелится.

В соседней комнате лежит большая, еще не собранная машина — ткацкий станок «Вилломсона», Аиде тетя

подарила, мы его из Лиепайи привезли. Ну и деталей там всяких! Но все равно, будем возиться, пока не соберем.

Аида самая юная ткачиха, она еще в шестом классе, остальные девочки из средней школы. Зачет по урокам труда им ставит руководительница кружка, и это подлинно результативное обучение труду.

Директор Института художественного воспитания Борис Лихачев в этом году через газету «Советская культура» задал вопрос педагогам всей страны:

В расписании уроков нет эстетики. Почему?

И далее:

Исследования в различных районах Союза показали, что в хоровых, вокально-инструментальных и танцевальных кружках участвует примерно 10 процентов детей, в театральных — 3 процента, изобразительного искусства — 1,5 процента, кино — 0,5 процента, в литературных кружках — только 0,2 процента. А всего в художественных кружках занимается лишь 15 процентов учащихся.

По данным социологических исследований, примерно третья часть опрошенных школьников не может отличить произведение, полноценное в идейно-художественном отношении, от явно слабого, в музыке, в театре, кино — более половины, в изобразительном искусстве — две трети.

Культурную среду надо разнообразить.

Ткачих было бы еще больше, если бы можно было выпросить у колхоза автомашину — привозить людей, «Смидри» находятся в отдаленной части колхоза. Но шофер неумолим.

Так же нельзя, отчаянно жаловалась культторг другого колхоза. Я буквально бегаю за людьми, пусть дадут мне машину!

Если сельсоветский культторг мотается между двумя колхозами и ни один из колхозов не помогает ни средствами культурного фонда, ни автобусом, чтобы привезти ткачих или доставить инструктора из города, то тогда... Ну что тогда? Правление виновато. Политика рабочих будней есть, нет политики выходных дней.

И в Ренде есть самодеятельные ткачихи, но нет помещения для ткацких станков. Сегодня, когда ликвидируют столько старых крестьянских дворов? Политика рабочих будней есть, нет политики выходных дней.

Как в Лиепайском районе реализуется политика свободного времени, можно было увидеть на примере мес-

течка Гробиня. В Народном университете на факультете прикладного искусства раз в месяц собираются ткаческие кружки всех поселков. В этом году сюда впервые пригласили и не специалистов (не специалистов?!) — школьных учительниц по трудовому обучению, чтобы они могли научить детей вязать хотя бы рукавицы с национальным орнаментом. Обычно на такой слет из района съезжаются от пятидесяти до восьмидесяти женщин — из Дурбе, Ницы, Вайнёде и Барты. И тогда становится ясным, насколько опустошено село в смысле художественных традиций. Они живут воспоминаниями, говорит преподаватель прикладного искусства Лейниекс.

Кто они? Старые мастерицы! Они стараются вспомнить — вспоминают, вспоминают и не могут вспомнить. И появляется на ткани весьма упрощенный узор. Очень уж мало опубликовано образцов народного орнамента. У кого учиться?

Сегодня на лекции показывают платок Бартской расцветки — белое, черное, красное. А другие варианты найдите сами! Созидательница ткани должна уметь пользоваться цветом...

Я стал думать о созидателях. О созидателе кирпича, о созидателях садов, новых поселков и нового быта. Ведь им тоже дается модель (как для платка Бартской расцветки), и потом самим надо создать вариант своего поселка, местный вариант каждой традиции. Если все поселки получаются одинаковыми, то, очевидно, в этой отрасли работают и за нее отвечают (точнее: не отвечают) люди, лишенные созидательного таланта, люди, являющиеся простыми исполнителями. У них нет непосредственного трудового таланта. Быть может, они талантливо музицируют в свободное время, талантливо играют в карты или талантливо собирают грибы, но трудового таланта у них нет. И страдать приходится мне — производственнику, которому придется здесь жить. Потому что нет созидателей цветного кирпича, есть лишь производители серого кирпича, серого шифера, серых вечеров отдыха...

Тут вот тройная нитка... Один раз можно в центр, другой раз наоборот, можете менять квадратики. Сменить один храповичок... Вы приложите зеркальце и тогда увидите, насколько велика незаполненная полоса между узором, насколько широкой она должна быть. Возьмите зеркальце...

Мы уже в том возрасте, когда зеркальце нам ни к чему, огрызаются более пожилые. Старые женщины не очень-то любят, чтобы их поучал какой-то инструктор.

Надо, скажем, принять от ученицы покрывало.

Вы сами-то довольны?

Не знаю, мне кажется, чего-то тут многовато. Маме, вот — только пестрое подавай!

Ну да, беспокойное слишком, не так ли?

Теперь уже все наладилось, замечания можно делать, поправлять, а лет семь-восемь назад, когда начинали только, не дай бог сказать чего-нибудь! А надо было говорить, что не умеет старая женщина рукавицы вязать. Старые женщины, пытающиеся вспоминать узор, многое уже позабыли. А вот то, что мы обнаружили в старом сундуке, — сказка! Как ни поверни большой палец — его узор совпадает с узором всей варежки, вот это искусство! Молодые хотят очень быстро добиться результатов, поэтому они больше с янтарем работают (за ним ведь деньги маячат), но у нас в районе все-таки человек двадцать занимаются ткачеством, настоящие художницы есть в Казданге — Дилле, в Айзпите — Бикке. Всего в кружке прикладного искусства «Клубочек» Дома культуры Лиепайского района состоит человек пятьдесят — из тех, кто может работать и работает творчески. Но и у нас своя проблема: мы хотим, чтобы на выставке чувствовалось, что мы здешний край — Ница, Руцава. А Барта, Ница, Руцава всегда с германцами пытались состязаться в яркости. Это так укоренилось, что хоть зубами выдирай. Одни шелк вплетают, другие парчу. Все это чужое. Нет стиля.

В Москве на Всесоюзной выставке люди подходят к нашему стенду, говорят: не красочно. Вот это-то и ЕСТЬ наша красочность — приглушенные пастельные тона. Их и надо развивать. Самое ужасное это смешение стилей. Все время нужен какой-то «дежурный по стилю», что ли. Мы решили, что на нашей выставке будут плетеные изделия, договорились с плетельщиками. Накануне выставки я поехала за плетенками: все они отлакированы. Ну что тут делать? Я мастеру из своего кармана платила. Как ему скажешь: это не годится! Он ведь всю душу в них вложил. Значит, есть какие-то портящие вкус эталоны. Сейчас часто критикуют в печати «Дайльраде», но ничего не предпринимают. Они штампуют и штампуют и разбавляют искусство. На съезде от художников требо-

вали поставить это производственное объединение под контроль Союза художников. Так же, как некогда все эстрадные и ресторанные оркестры были взяты под художественный контроль. Никак не удастся! Тогда уж, по крайней мере, надо их отделить от понятия «искусство»! Хотя бы лишить их теперешнего названия! Посмотрите, на что похожи приемные пункты «Дайльраде» в районных городах. У них же даже занавесок на окнах нет! Словно какой-то пункт потребобщества по приему грибов. Моему сыну, он работает в «Дайльраде», дают образец: маленькую безвкусную деревянную зверюшку, когда-то халтурщики продавали таких на рынке и за это их штрафовали. Теперь в подземном переходе возле автовокзала продают еще более ужасающие «произведения искусства», никто за это не штрафует, газеты тоже не остерегаются от этих «могильщиков вкуса». Так вот, такую штуковину дают моему сыну, производи ее! Я говорю: тебя чему-нибудь подобному учили в художественном училище?

Бумбуле и работает и говорит с жаром. Ее в районе знают все, она необычный человек.

Двадцать пять из пятидесяти уже стали Мастерами народного искусства. Сначала упрашивать приходилось: работайте, работайте! Теперь я уже не упрашиваю, теперь уже многие работают на совесть, теперь надо смотреть, чтобы выросли из них художники.

Спрашиваю у Бумбуле: что дает кружок народного искусства?

Дает возможность сравнивать. Если рядом с красиво сотканным покрывалом находится какой-нибудь безвкусный сувенир ширпотреба, то разница становится очевидной.

Может показаться, что настенные ткани исчезли из новых квартир навечно, но это не так. Через эстетическое наслаждение восстанавливается также их функциональная необходимость. Ткани опять становятся нужными. Красивые, со вкусом сотканные, украшающие будничную жизнь ткани. Входишь в дом наших ткачих, и есть на что поглядеть. Скоро будем ткать дверные шторы. Раньше там, где жили ткачихи, стены были покрыты обоями из льняного полотна, мы тоже будем их ткать. В Казданге у нашей Дилле вся стена занята ситниковой плетенью. В Сикшки есть ткацкий кружок, они соткут обои для помещения сельсовета, особенно красивыми — укра-

сят зал для регистраций. В Бунке, например, две бригады, в каждой свой ткаческий кружок. В Снепеле живет учительница, окончившая художественное училище, — у нее все девочки учатся ткать, и — многие научатся. Будем ткать настоящие скатерти, эти подарочные полотенца, ритуальные полотенца свадеб. Когда у сына в сентябре была свадьба, молодые разбирали мой сундук и только ахали от удивления. Теперь и для выставок требуют уже не отдельные коврики или покрывала, а целые ансамбли — для интерьера. Директор совхоза в Нице говорит: сколько тебе денег надо? Он за деньги хочет иметь комнату для представительства, но я же одна не могу, мне нужен кружок! Я говорю: деньги мне не нужны, мне люди нужны. Вот если была бы расторопная заведующая Домом культуры, которая могла бы подойти к человеку, поговорить! (А! Если была бы расторопная заведующая Домом культуры...) У нас в Нице много молодых женщин, но у них дом, ребенок... Ничто их не интересует. Мы их зовем колясочницами. Толчок им нужен!

Чувствуешь, что людям надо дать нечто большее. Они собираются вокруг нас, но ведь всем всего не объяснишь. Когда в районе существовал межколхозный культсовет, у нас, методистов, была своя машина. Теперь по всему району надо ездить автобусом: мне уже не под силу весь год мерзнуть на остановках, годы не те. Когда существовал культсовет — его ликвидировали, — нас было несколько методистов: методист по новым традициям, методист по музыке, методист-режиссер и я, методист по прикладному искусству. Когда совет упразднили (я и сейчас не понимаю, зачем его надо было упразднить?), все они разбрелись, надо было о хлебе насущном думать, о пенсии. Я осталась при отделе культуры, на общественных началах. Теперь вот обучаю.

Работе этой конца не было! Звонят: приезжай! В воскресенье, скажем, оно у женщин свободное. Приезжаю, а у нее и всего-то нить порвалась. Будь ты неладна! В другом месте: она на все село покрывала ткёт — двадцать рублей за покрывало — я ей налаживаю, и все воскресенье у меня пропало. А она зарабатывает. Так большинство от кружков отходит. Как только чему-то научатся, так сразу же начинают подрабатывать (как в «Дайльраде»), и тут уж ясно, что художник из таких не получится. Начинают халтурить. Люди, продающие безвкусицу, напоминают мне дебилов, которые научатся

основам ремесла, женятся и давай плодить дебильных детей. И консультироваться люди приезжают, когда это удобно им, а не мне. Я бы могла назначить определенный день для консультаций, но все равно ведь скажут: я в тот день не могла, приехала сегодня. Одной такая работа не под силу. Нервной становишься. Доктора говорят, чтобы я не работала, но это глупо: вылечить не могут и работать не разрешают. Все равно, в упряжке я и свалюсь...

И я задумываюсь: а что будет, если действительно еще один паровозик узкоколейки перестанет тянуть? Что будет с замыслами и планами всех ткачих Лиепайского района?

И еще я думаю об этом самом культсовете. В районах созданы межколхозные птицеводческие комбинаты, межколхозные предприятия, специализирующиеся на искусственном осеменении скота, межколхозные известковые заводы и пивоварни — производство идет успешно, штаты утверждены, бухгалтерия налажена. В области культуры такое межколхозное объединение ликвидировано, из-за отсутствия будто бы бухгалтерского опыта в этом деле. Это было первое начинание подобного рода в республике, финансовые трудности преодолеть никто не помог, и теперь никто не хочет к этому возвращаться, говорят, что в Лиепае, мол, попробовали, ничего не получилось. Но ведь получилось же! Стоит посмотреть хотя бы на оживленную деятельность ткачих, и становится ясно, сколько культурных сил могут пробудить к жизни толковые энтузиасты. Таких специалистов по культурной работе, которые могли бы руководить всем и обеспечить выполнение всех требований в этой области, таких работников в настоящее время в колхозе нет. Но у каждого колхоза есть нечто свое, только ему присущее. У Ницы есть свои песни, у Снепеле — свои ткачихи. Если бы у Дурбе были свои чеканщики, а у Папэ — плетельщики тростниковых циновок, у Никраце — каменотесы, а у Руцавы — детский хор, у Гробини — кружок кинолюбителей, у Барты — танцевальный ансамбль пожилых, у Казданги — мастера карнавальных масок, а в Айзпите — методический центр современных танцев! Я фантазирую? Нет, все это осуществимо. Эту районную мозаику искусств может создать художественный совет. Такой объем культурных начинаний одному хозяйству не под силу. При кооперировании это становится возможным.

Теперь «Клубочек» надеется, что ему удастся стать Народной студией, тогда, по крайней мере, труд его руководителей будет оплачиваться. Но народная студия это в какой-то степени избранная группа районных художников (так и должно быть!), а сегодня необходимо развитие культурной жизни на местах, в самом селе. Пусть скажут совсем малюсенькие (что они значат по сравнению с цифрами производственного плана) цифры: 300 женщин района, участвующих в самодеятельных ткаческих кружках, получают всего девять катушек льняных ниток. Художественные студии в городе получают на одну ткачиху почти в сто раз больше. Село изголодалось по ниткам, по краскам, по художественной самодеятельности.

Вещи приходят в упадок от того, что ими не пользуются, сказала в Гробине актриса Даве. То же самое можно сказать и о всем другом. В том числе и о культуре. Культура распадается, как только перестает функционировать. Она становится пустым призывом, абстракцией, расхожим словом.

● 14. ГЛАВА О БЕРЕЗЕ, ВЫКАЧИВАЮЩЕЙ ИЗ БОЛОТА ТРИСТА ЛИТРОВ ВОДЫ В СУТКИ

В Курземе очень много охотников. Охотников на косуль, зайцев и кабанов. Ница, если верить старинным книгам, была знаменита своими охотниками за девушками. Есть колхозные агенты по снабжению — охотники за стройматериалами и запчастями. Есть журналисты — охотники за передовиками. Есть преподаватели Сельскохозяйственной академии — охотники за студентами. Они ходят по школам, ориентируют и призывают. В Рудбаржской школе-интернате охотятся за художниками. Сотни школ вообще обходятся без художников, потому что какой-нибудь случайный учитель или любитель отмечать именины, давно ничего не читающий, не может объединить вокруг себя учителей-художников.

Директора Манфельд я не повидал (она была очень больна), я пытался вспомнить ее по давнишней встрече в Мазирбе, в середине лета, в тишине школьных каникул, но в калейдоскопе множества виденных лиц не мог уже представить ее себе.

Она и сейчас создает вокруг себя некий магический круг. Есть душевная динамика, создающая собственную среду. И директор находит людей, увлекающихся созданием. Столярным делом в школе руководит Народный мастер Петерис Клаудзис, Билита окончила училище прикладного искусства, она ведет уроки труда и обучает ткачеству, Дайнис — акварелист, учится заочно в Академии художеств, учитель Рубенис — строительный мастер, его руками возведена каменная ограда школы.

Могут сказать: что тут особенного, подумаешь, в школе работают специалисты. Для городской школы это в порядке вещей. Но я еще раз подчеркиваю: речь идет об инициативных точках в сельской среде, о людях, которые не ищут культуру в городе, а создают ее на местах. Несколько лет назад проект декоративного оформления школы разработала выпускница Булдурского садоводческого техникума Эдите Вейс. Корявый дубовый столб служит дорожным указателем, каменная ограда ведет вверх, композиция из больших деревянных колод на площадке для игр напоминает, что не так уж трудно создать для детей естественную площадку даже в век бетонной серости. А у подножия холма и вокруг него еще столько мест, требующих оформления и охраны, — озерко со старой мельницей, Рудбаржские пейзажи, которые район решил сохранить. А разве оформление пейзажа и уход за ним это не искусство? В красивейших местах нашей страны (да и в любых местах) это дело следовало бы считать прикладной самодеятельностью. Разве не мог бы Дом культуры писать в своих отчетах: наш кружок декоративного садоводства, кружок оформителей наших парков, наших пейзажей?

Всегда можно до чего-то додуматься, что-то продвинуть дальше, если есть несколько человек, делающих почин. Рудбаржская школа его сделала, а вокруг нее есть благодатная почва для того, чтобы продолжить начатое. Но еще несколько слов о выпускниках Булдурского техникума. Почему они не проверяют, как выполнен их проект? Эдите больше ни разу не приезжала, так и не увидела, как претворена в жизнь ее дипломная работа. Если проект не реализован, если заказчик — упрямый, лишенный вкуса хозяин, испортивший идею проекта своими дурацкими «исправлениями», — то тут уж, наверное, ничего не поделаешь, нет ведь такой инстанции, которая могла бы в этом случае защитить детище художника.

Но если появился заказчик, реализующий твой проект со вкусом, с радостью, если образовался островок прекрасного, то с таким хозяином надо дружить, вместе с ним доказать всей округе, что прекрасное ширится, растет, захватывает пруды и дороги, что оно обладает силой воздействия на других, вот и поселок пошел по тому же пути, появляются другие островки прекрасного, приезжают люди, хотят поглядеть, хотят, чтобы и у них!.. А что, если каждый, кому посчастливилось хорошо начать, взялся бы спроектировать и возделать в течение своей жизни один из уголков Латвии? Независимо от того, где он сам работает. Можно работать в Риге и заниматься колхозом где-нибудь среди суйтов, вентиней или селов¹. Надо лишь облюбовать стоящее место и стоящих хозяев, которые будут не только хозяевами, но и единомышленниками.

— По-моему, главное теперь уже не в том, чтобы вырезать интересных чертенят, мелкие сувениры. Нас ждут более крупные вещи — дорожные повороты, ворота городов и поселков. А что, если бы мы попробовали украсить своими скульптурами новый центр одного из литовских колхозов, что, если бы мастера приложили руку к каждому двору, ограде, к конькам крыш...

Витаут Майор — литовский резчик по дереву, эти слова принадлежат ему.

Целый месяц под его руководством двадцать пять литовских мастеров народного искусства работали в Аблинге, одном из поселков Литвы. Они оставили там тридцать монументальных деревянных скульптур — Аблингский мемориал... Это был первый поселок, сожженный и вырезанный в самом начале войны немецкими фашистами.

— Жемайты с незапамятных времен были в Литве пионерами народной резьбы по дереву. Откликнулись мастера из Кретинги, Телшай, Таураги, Плунги, даже из Вильнюса. Мы обошлись без пособий и субсидий министерства. Люди работали по доброй воле, нужно было рассказать о страданиях своего народа при фашизме, — сказал мастер Майор.

«Жемайты испокон веку жили в лесах. Дерево сопровождало им от колыбели до могилы. Только при любви и понимании его древние традиции народного искусства

¹ В е н т и н и — латыши, живущие вдоль берегов реки Венты; с е л ы — жители Селии, левобережных районов Даугавы.

вновь оживают». Такую запись в книге гостей Аблинги сделал директор музея Чюрлёниса Нодзельский.

— Я думаю, что пример и опыт этого творческого лагеря приобретает большое значение и в последующих... новых исканиях по украшению наших городов и сел,— сказал при открытии мемориального ансамбля секретарь ЦК КП Литвы А. Снечкус.

В новых исканиях... Но для исканий необходимы ищущие.

Моседский колхозный врач Вацлав Инт собрал более 500 валунов с интересной фактурой и необычной формы. Камни выставлены вдоль всей аллеи от больницы до поселка. На островке посреди реки Бартуве собраны найденные коллекционером каменные жертвенники периода языческой Литвы. Теперь взглянуть на Моседское чудо едут издалека. Ныне здесь существует уникальный геологический музей.

Для исканий необходимы ищущие. Я вспоминаю нашего знаменитого геолога Яниса Гресте. Как он боролся во время буржуазной Латвии за права латвийских валунов. Если бы ему удалось одолеть коррумпированных чиновников, многие наши скульптурные ансамбли были бы, пожалуй, еще красивее и создавались бы не из привозных, а из наших собственных валунов. Потому что: есть своя душа в камне родной земли!

И я вспоминаю председателя колхоза, хотевшего разобрать кладбищенскую ограду, чтобы использовать эти камни на строительстве, обещая построить современный забор с бетонными столбиками и металлической сеткой.

Современный...

В туристский путеводитель по Кулдигскому району тоже не к месту вкралось это слово. В Скрунде и Никраце есть красивые современные поселки... Они и не красивые и не современные. Просто благоустроенные. А как красивы для застройки окрестности Никраце! В тот вечер на закате Никраце была прямо-таки величественна. Осенние зелены и дали, есть где разбежаться солнцу. Березовые рощи и сказочные серо-синие тучки, красный закат на небосклоне и в другой стороне голубая дымка над древними руслами Венты и Шкервеле. Вспаханная земля рыжела коричневато-красным, как ягода рябины. Бурые дали и большие, нигде не виданные груды камней на полях и вдоль всей дороги.

Дети шли из детского сада, на кладбище на верхушке войной сломанного дерева аист свил гнездо и, белоснежный, стоял там и тоже смотрел на солнце. Я сидел на большом камне и думал: как мало нужно, чтобы в этих мелиоративных далях оставить каменные образования и узоры, равных которым нет нигде! Одного бы художника. Одного художника, мыслящего крупными планами!

Возле этих самых камней умирали известные и неизвестные солдаты. Расставьте камни по одному через все поле долгим шествием с востока на запад! Здесь шли страшные бои, и Никраце была стерта с лица земли. Теперь на скрещении дорог будет поставлен монумент. А хватило бы этих самых камней. Своих камней. Есть какая-то сила откровения в своих камнях. Но надо уметь истолковывать их язык. Здесь можно было бы навалить огромную каменную гору — и никаких шлифованных гранитных плит! — огромную каменную пирамиду, и пусть она рассказывает, пусть стонет под северным ветром и облегченно вздыхает, когда цветет клевер и пылит рожь.

Я не могу представить себе, что эти камни будут взорваны и перемолоты в дорожную щебенку. Мне кажется, что у этих камней другое призвание.

Ну ладно, у нас нет таких каменотесов и резчиков по дереву, как в Литве. Но у нас есть непревзойденные керамисты. И вырастут невиданные глиняные цветы, огромные глиняные чудеса с невероятным для глины темпераментом.

А какое же местечко выделить де Буру? Может быть, глиняный холм возле Дурбе, чтобы он там воздвиг для нас фигуры сражавшихся в Дурбенской битве куршей.

Звара создавала монументальные скульптуры из плитняковых нагромождений. Некоторые из ее работ стоят в саду скульптуры Рижского замка. А место для них... ну уж художник нашел бы место для своих работ.

Итак, хозяева, производственники, — нет ли у вас какого-нибудь пригорка, не засаженного сахарной свеклой? И нескольких автомашин, чтобы подвезти плитняк? В случае, если скульпторша захочет свозить сюда камни ради увековечения прекрасного, на радость себе и другим, — придут ли колхозные охотники в какое-нибудь воскресенье дробить эти камни? Время пришло. Время начинать — люди, только что вырвавшиеся из хозяйственных забот начинают думать о прекрасном. И это —

время, которое нельзя упустить, потому что люди неумелые, формируя новую среду, по своей близорукости могут многое испортить. Это время, когда требуется глаз художника, его инициатива. Более того — надо предлагать себя, свои услуги. Хозяин иногда не может представить себе прекрасное, ему и в голову не приходит, среди каких возможностей прекрасного он живет. Их надо ему показать, сделать набросок, сыграть на рояле, дать понюхать.

В Айзпуте жил учитель танцев. Его помнит вся Курземе. Он (году в 1956) был первым, кто организовал в Домах культуры танцевальные курсы. Он боролся самоотверженно, объездил всю Курземе, работал недели напролет. Умер. Быть может, оттого, что переутомился. После него кружок любителей танцев в Айзпутском Доме культуры распался — не было паровозика узкоколейки. Но свою школу в Айзпуте Дзинтарс все-таки создал. Он успел подготовить для этой работы других. Теперь их двое: учительница Фреймане и учитель Петровиц. Есть в Курземе еще один энтузиаст — учительница Кареле из Кулдигской средней школы. Трое на всю Курземе. Петровиц — директор Айзпутской средней школы. Работы столько, что с нею не управишься. Поэтому прежде всего надо сохранить уровень самих школьных танцоров. На танцевальные конкурсы в Айзпутскую среднюю школу приезжают из Сигулды, Кулдиги, Бауски, Юрмалы, Риги. В Айзпуте дети приходят учиться из самых отдаленных поселков, не поступая в близлежащие школы. Они говорят: там интересно. А учительница Фреймане успевает заниматься и другими ансамблями и ездит с ними по округе, выступает в поселках, школах.

Просто не хватает специалистов. А публике очень нравится. Когда мы ехали из Рои в Колку, то с нами ехали и некоторые зрители, чтобы посмотреть наше выступление еще раз. И когда мы так разъезжаем, то и танцуют на вечерах в нашем присутствии иначе. Красивее. Это все говорят.

А готовят где-нибудь учителей танцев, инструкторов?

Министерство просвещения (Министерство культуры тоже? — Нет?) организует курсы балльных танцев, потом их руководители продолжают обучение уже в районах. Но иногда приезжают такие учителя, чей уровень непо-

мерно низок. Не случайно в книге, которую подобные «методисты» предложили издательству «Звайгзне», можно прочитать такие перлы:

БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ

Танцующие внешней ногой выполняют шаг с подпрыгиванием, внутренние руки соединены.

Действующая нога выводится вперед, вытянутыми пальцами она устанавливается на пятку.

Вытянуть в несгибаемое положение правую ногу вперед.

Левую ногу поставить за правую ногу на полупальцах, одновременно немного отделив правую ногу от туловища.

Скрестить шаг правой ноги с внешней стороны партнера.

Так что в основном приходится рассчитывать только на собственные силы. В районе есть объединение, где обучаются лучшие школьные танцоры. Есть у нас ребята, которые, научившись сами, обучают других. (Не забывайте, что у нас в школе танцуют все. Все, даже самые застенчивые и неуклюжие ребята!) Кое-кто учит и в сельских Домах культуры. В общем, рождается новый вид самодеятельности.

Обычно танцоров не считают даже мало-мальски серьезными деятелями в области культуры: уж эти плясуны, уж эти попрыгуны-стрекозы, делать им нечего.

В Айзпите учителя танцев только улыбаются, слыша такие речи, и мы резюмируем: культурная работа в провинции имеет свою тактику, но это тактика отдельных энтузиастов, обычно интуитивно верная, но зачастую стихийная и устаревшая. Нет стратегии. Об этом вы и должны написать. Об этом я и пишу.

Усилия отдельных энтузиастов могут принести плоды, а могут остаться втуне. У нас в Айзпите были знаменитые на всю республику радиолюбители, у нас были фанатичные планеристы, но как только учитель уходит, следы его дел исчезают. Нет еще такого аккумулятора, который вбирал бы в себя все богатство замыслов и, с уходом инициатора, консервировал бы, сохранял это богатство до прихода следующего энтузиаста. Сохранял так, чтобы ни одна частица творческой энергии не ухо-

дила в небытие. Таким хранилищем мог бы стать Дом культуры.

Но мы уже говорили об этом: нам нужны умные, обладающие широким кругозором организаторы культурной работы. Таких еще не готовят.

Я спросил в Салдусском районе: назовите мне одного организатора общественной жизни где-нибудь в колхозе или совхозе, у которого была бы разработана тактика и стратегия своей работы. Мне сказали: поезжайте в Курсиши, туда только что приехала и приступила к работе новый секретарь партийной организации Валия Швикстыня. Я подумал — опять «приехала». Почему так мало везде местных работников и руководителей? Неужто человеческий характер действительно таков, что люди больше уважают, ценят и слушаются пришельца, чем своего? Быть может, это просто неумение выдвигать свои, местные кадры? Мол, что там наш Андрей! А поговорили бы с Андреем... Андрей ничуть не глупее, чем эти пришлые Карлис или Степан. Да где там глупее! Он умнее их, к тому же знает все свои поля, дома, недостатки и резервы. Вот так-то, вот так-то... Надо научиться ценить цветы из собственного сада.

Человеку, чтобы почувствовать соседние корни, надо врасти в новое место. Это не происходит в течение одного лета. Пересаженные деревца приносят плоды не так скоро.

Здесь, на этом пригорке, стоял старый дом «Цауни», тут была батрацкая половина, на которой родился знаменитый советский деятель Янис Рудзутак. Клетушка еще стоит, но скоро и она развалится. А сюда мелниораторы могли бы прикатить большой камень, вроде того, что там, на обочине. На том написано, сколько гектаров земли они распахали и освоили. На этом можно было бы написать очень многое. Намного больше того, что знают об этом человеке прохожие и даже сами курсишские комсомольцы.

Ленин говорил, что всем цекистам, много лет не работавшим в профдвижении, следовало бы поучиться у товарища Рудзутака. Рудзутак в то время руководил Центральным Советом Профессиональных Союзов. Написанные им тезисы доклада «Производственные задачи профсоюзов» Ленин использовал, разоблачая взгляды

Троцкого по вопросам профсоюзного движения. Интересы первой страны социализма на международной арене защищала советская делегация на Генуэзской конференции 1922 года. В состав делегации входили виднейшие дипломаты того времени: Л. Красин, М. Литвинов, В. Воровский, член ВЦИК, генеральный секретарь ВЦСПС Я. Рудзутак. Во время конференции не раз возникали ситуации, требовавшие большой находчивости, строгого контроля за каждым произнесенным словом. Так, например, в момент колебаний — таких моментов было немало, потому что иностранные дипломаты всеми силами пытались добиться своих целей, — руководитель делегации Г. Чичерин, отвечая английскому премьер-министру Ллойд-Джорджу, обещал некоторые уступки иностранцам, владевшим ранее различными предприятиями в России. Я. Рудзутак выступил против подобного компромисса и срочно телеграфировал В. И. Ленину. Из Москвы пришел ответ, где говорилось, что Ленин считает совершенно правильными мысли Я. Рудзутака, высказанные в телеграмме от 22 апреля.

Камень находится не на территории Курсишского совхоза, говорит секретарь парторганизации, надо связаться с комсомольцами соседнего колхоза. Видите, какая проблема возникает, чтобы поставить памятный камень человеку, не знавшему границ в своей работе и жизни.

Проявлена ли в совхозе какая-нибудь новая инициатива в общественной работе? Секретарь парторганизации говорит: да, у нас начали действовать кинолюбители. Из Риги к нам перешел молодой, увлеченный этим делом парень, несколько лет он работал в съемочной группе киностудии. Талантлив. Мы сразу же выделили ему подвальное помещение в новом доме для кинолаборатории, купили киноаппаратуру. И еще много чего будет, надо только освоиться с работой.

Уже есть колхозы, увековечивающие своих людей и свою историю в собственных кинолентах. Колхоз имени Райниса Добельского района на сельских соревнованиях был представлен фильмом «Не проходи мимо» — о человеческой слепоте по отношению ко всему тому прекрасному, что сопутствует нам ежедневно.

О нетипичных для нынешних председателей действиях Элмара Микала, председателя «Красной стрелы», я услышал уже после того, как несколько месяцев месил

осеннюю грязь в поисках тех редких, редких начинаний, которые еще только зреют на селе.

Многие колхозники от всей души пожалели бы своего председателя, узнав, что из-за первого короткометражного фильма ему иногда случается спать меньше доярок, встающих в половине пятого, так пишут о Микале. В Попэ созданы свои фильмы, о своих. И неожиданно для самих авторов эти фильмы ушли в большой мир. «Земля, ты черна, но для нас ничего нет белее тебя», — говорится в фильме «Сила». На республиканском смотре он всем понравился и занял второе место. Следующий фильм уже демонстрировался по телевидению ГДР. А тот, что был снят после него, получил золотую медаль в Латвии, две награды на смотре Прибалтийских республик и первое место на Всесоюзном смотре. А затем на форуме кинолюбителей в Швейцарии. Но самое главное — они пробили маленькое русло в скуке будничных наносов. Они установили свою самооценку, утвердили собственное самосознание, упрочили свою профессиональную гордость. Именно это и необходимо сегодняшнему селу. Они отдали должное своим людям и вдохнули в них — СВЕЖУЮ НЕРВНУЮ ЭНЕРГИЮ.

Да, и вот опять появляется чувство хвоста. Он снова становится принадлежащим, если ты понимаешь, что я этим хочу сказать, сказал осел И-а.

— Поймите сами: когда тренер неустанно старается тебе внушить: если ты пробежишь с такой-то и такой быстротой, если ты прыгнешь в длину настолько-то и настолько, медаль будет твоя, — то знайте: эти результаты начинают во сне сниться. Так появляются тяжелые оковы, сковывающие спортсмена. — Рассказывает Игорь Тер-Ованесян, заслуженный мастер спорта. — У нашей команды в Мехико не было свежести, аккумуляторов, не было в запасе той нервной энергии, которая бы позволила свободно выходить на борьбу. С первого же дня, как мы устроились в Олимпийской деревне, только и было разговоров, что о результатах. Ради них мы тренировались, ради быстрых секунд и дальних прыжков соревновались. Это была, я бы сказал, внешняя активность, а не внутренняя. Постараюсь эту мысль пояснить. — И поясняет. Он говорит о раскованности спортсмена, о том, что заботы не должны превращаться в оза-

боченность. Важно, чтобы спорт доставлял человеку радость, удовлетворение. Даже для марафонца спорт не должен быть утомительным трудом...

И труд не должен быть только трудом. Вот в чем заслуга энтузиастов из Попэ. Я уже говорил: они обрели уверенность в себе. И это не та ограниченная самоуверенность, которая исходит из неразумия. Руководители «Красной стрелы» перешагнули через предрассудки, присущие бесконечному множеству практиков, они «осмелились» не стыдиться того, что в душе являются художниками, не ухмыляться, увидев цветок в петлице, не пожимать плечами, услышав стихи.

Отсутствие оригинальности везде, во всем мире, испокон веку считалось первым качеством и лучшей рекомендацией умелого, делового и практичного человека, и по меньшей мере 99 сотых человечества (по меньшей мере) всегда придерживались такого взгляда, и, быть может, лишь одна сотая человечества всегда судила и судит иначе, говорил Достоевский в «Идиоте».

Но вот ведь какое дело — если этот один процент не обособлен, если он обладает активной волей и возможностью сотрудничать с людьми, то это такой процент, который формирует вокруг себя среду. И тогда в хозяйстве люди начинают говорить, выражать себя, и вот из Алуксненского района уже пишут три девочки:

— Свою жизнь на селе мы не променяем на город. Любим мы наши поля, рощи, они нас кормят, согревают и одновременно приносят радость... Что делать, мы требовательны к искусству (*речь идет о кинофильмах.* — И. З.) так же, как и земля требует от нас всех сил.

И далее следует перечень того, что им хотелось бы внести в культурную жизнь, будь они руководителями.

И если они станут руководителями, то наверняка внесут другой ритм в работу и в образ мышления. Я уже говорил: количественные накопления в духовной жизни села подготавливают какой-то скачок. Какой?

Много можно ждать от молодых специалистов. И поэтому хочется еще раз заехать в Лайдзесский техникум. Здесь чувствуется более широкая ориентация молодежи, нежели только профессионально-сельскохозяйственная. У людей есть литературные, художественные и просто общественные интересы. Можно надеяться, что окончив-

шие Лайдзесский техникум экономисты и бухгалтеры внедряют эти свои интересы и в том колхозе, где им предстоит работать.

Чего требовали от журнала «Лиесма» его лайдзесские читатели? Публикуйте портреты и очерки о жизни и творчестве лауреатов Государственной премии СССР, дайте нам возможность понять их стремления. Печатайте приложение к журналу «Как проводить свободное время» (NB! NB!).

Сельские жители жалуются на свой Сельскохозяйственный календарь.

В нем есть и дельные советы. Однако подавляющее большинство рекомендаций и советов имеет форму категорического циркуляра: из-за того, что сотни раз повторяется слово «надо», быть может, и не стоит волноваться — допустим, что это погрешности стиля. Но советы и рекомендации настолько элементарны, что поневоле начинаешь думать — то ли сельский житель ничего не соображает, то ли эти поучения предназначаются для программирования какой-то не разбирающейся в сельском хозяйстве электронной машины, которой придется управлять колхозом взамен всех руководящих кадров. Примеров слишком много, чтобы приводить их все. Но некоторые придется процитировать: «При подготовке к отчетным собраниям надо тщательно составлять годовой отчет колхозов или совхозов». «Надо подвести итоги социалистического соревнования в животноводстве, закончить составление новых планов и заключить новые договора на соревнование между животноводами, фермами, бригадами, хозяйствами и районами». «Животноводов надо материально заинтересовать в получении большего количества молока в зимние месяцы, в просте живого веса, в том, чтобы, соблюдая чистоту в хлеву, поставлять государству молоко высокого качества, тщательно собирать навоз». «Корма выдаются только по весу. Надо ежемесячно подводить итоги работы животноводов и обсуждать их на собраниях... надо вскрывать недостатки и исправлять допущенные ошибки». «На августовских пастбищах трав не хватает: чтобы надои не уменьшались, коров надо пасти также на клеверных и луговых отавах» и т. д. и т. д.

Подобные азбучные истины занимают весьма значительное количество страниц. При всем при том о переизбытке бумаги слышать как-то не доводилось.

Поговорим и о том, может ли быть «избыток образования». Превышает ли сегодня «суммарность образования», «мощность образования» возможность его использования в повседневной практике? Есть ли переизбыток? Если есть — куда девается этот переизбыток? Где он аккумулируется? Для какой цели? Или, быть может, рост общего уровня интеллигентности готовит какие-то сюрпризы в культурной жизни, какие-то новые качественные скачки?

А что, если так называемый общеобразовательный уровень — это просто усвоение известных стандартных истин и стандартных фраз и ничего больше?

Темно, в лесу гудит ноябрьский ветер. С намокших елей капает. По ту сторону озера отчужденно мерцают огни Валдемарпилса. Я жду Яниса Метузала, скоро со стороны Вандзене должен подойти автобус. Рабочий день лесничего часами не измеришь. Так же, как рабочий день председателя или сельского врача. Когда звонит телефон, ты не можешь не снять трубку. Когда тебя останавливают на дороге, ты не можешь проехать мимо. Итак, лесничего еще нет дома.

Ветер гудит, тьма сгустилась, ничто не мешает, можешь, ходя взад-вперед по лесной дороге, без конца думать обо всем на свете. У Метузала есть КОРНЕВИЩЕ. Это не значит, конечно, что ты обязательно должен вырасти из корневища или расти рядом с корневищем, в виде побега. Нет, ты можешь быть далеко улетевшим семенем, но все равно ты знаешь, что там, на том холме или в ложбине за холмом, есть ТВОЕ КОРНЕВИЩЕ. Ты — семя с корневищем, семя от корневища. Ты можешь быть прутиком в метле, веткой в вазе на современном столе, но ты должен знать, что у тебя есть твое корневище.

Мать Метузалов сказала: мои дети не могут оторваться от земли.

Почему они не отрываются от земли?

У нас такой талант. Отец был земледельцем. Дочь Инта — мастер зеленого хозяйства города Талсы, садовод, окончила Булдурский техникум. Вы думаете, что все окончившие его работают по своей специальности? Здесь же в Талсы работают билетершами в кино, в бюро бытовых услуг и бог знает где еще.

А какие мгновения вам наиболее близки в вашей работе — запечатлеваются зрением, слухом и обонянием?

Весной. Тогда чувствуешь всем своим существом, что выбранный тобою путь — настоящий.

У меня еще с детских лет остались в памяти воскресные прогулки, когда всей семьей мы ходили смотреть на поля, как и что там посеяно, как всходит, цветет и набирает силу...

Я пытаюсь представить себе еще молодую в возрастном отношении семью: мать, отца, девочку и двух мальчишек, которые по воскресеньям идут порадоваться на свои поля. И не на собственные, личные. Быть может, таких семей одна на сотню — чувствующих торжественность труда и общность в слове «свой». Выезжают за город, идут по полям чужого колхоза и говорят — по своим полям. Это тот парадокс, который мы ищем — ОБЩЕЕ СВОЕ, общность своего. И этой семье повезло, они его восприняли с младых ногтей. Так рождаются трудовые характеры, общественно чуткие люди, патриоты.

Младший сын был правой рукой отца в сельских работах. У него хозяйственная хватка. Теперь Эвалд Метузаль — заместитель директора по научной работе Стендской опытной станции.

Мать права, говорит он. Мне кажется, что с раннего детства у нас такой интерес к селу. Я уже в первые годы коллективизации ходил работать в колхоз. И когда в средней школе учился, после обеда шел в бригаду. В материальном отношении мы жили не так уж плохо, отец работал в колхозе завскладом, но просто хотелось работать. Брат, тот прямо родился лесоводом. У него такой интерес к каждому дереву и семечку, какого я в себе не чувствую.

Проблемы? Наша проблема — вырастить семена новых высокоурожайных сортов, особенно трудно вывести новые сорта зерновых, потому что первое и почти единственное требование к ним — урожайность. При выведении нового сорта плодовых деревьев достаточно вкусовых качеств, цветовых оттенков, с зерновыми иначе — если их урожайность не превышает уже существующую, то сорт не перспективен. Как в спорте идет борьба за десятые доли секунды, так у нас — за прирост в килограммах. И так же, как в спорте, — повысить результат становится все труднее.

За поворотом полыхнул свет. Идет автобус. Мама

сказала: старший сын нашел себе место возле деревьев, которые можно возить и высаживать! Наш род всегда был связан с лесом. Мой дед был лесорубом во времена баронов, отец — лесником, сын поднялся на ступеньку выше.

Автобус останавливается, кто-то выходит. Меня охватывает чувство неловкости: ну как я подойду к нему, чужой человек? И как мне объяснить, чего я хочу? Даже руку трудно подать, здороваясь в темноте. Но начать разговор, оказывается, очень легко, быть может, шум леса способствует этому.

И лесничий рассказывает.

Выращивание леса это страсть. Я пас скот — то было мое первое знакомство с лесом — на старой вырубке. И вот, однажды весной смотрю: круглые куски дерна вырезаны специальной лопатой и аккуратно уложены, а в середине их елочки. Я тут же погнал коров обратно и никогда уже там не пас их. Тогда я увидел, что с лесом тоже надо что-то делать. Обычно думают, будто лес растет и развивается сам по себе. А у нас существует серьезная проблема: облесение. Не хватает рабочей силы, люди уходят из лесов, ищут более цивилизованную среду — поселки, города. Следовательно — для облесения необходима механизация. А в Латвии всего 0,2 процента всесоюзных лесов, во всей Прибалтике — менее одного процента. Видимо, государственное планирование столь мелкие единицы не принимает в расчет, нет смысла создавать для них машины. А большие машины сибирских лесов нам не подходят — разбивают лесные дороги и губят мелкую поросль. Что доказала техника помогавших нам украинцев и белорусов.

Это самая больная наша проблема.

Нынешней зимой я думаю оборудовать музей леса, помещение рядом с домом лесничества уже отремонтировано. Летом нет времени, а долгие зимние вечера — для домашнего досуга, альбомов, музея.

О Валдемарпилском лесном музее я уже слышал. Начало ему еще в 1962 году положил лесничий Страумер. Расширенный Метузалом, музей все растет. Но прежде чем зайти туда, мы будем есть блины с вареньем из лесной малины и земляники. Хозяйка смеется: лесничий сам большой лакомка. А теперь: грушевый компот имени Кришьяниса Валдемара! Да, в «Вецъюнкурах» еще растут груши, посаженные Валдемаром, и компот из них

считается праздничным в семье лесничего. Завтра мы обязательно съездим туда. А сейчас в музей.

Знаете вы, что такое смоляное гнездо? А древесный пасынок? И что такое эксцентрические деревья?

Приходят учащиеся на экскурсию и дивятся, никогда они не думали, что в лесу столько чудес. Вот маленькие дырочки в бересте, нет, это не червоточина, это дятел пил березовый сок. А это чага — вы знаете, что так называется нарост на березе? А это муравьиные ходы в сердцевине дерева.

У старых лесников собраны и с трудом выпрошены олени рога, никто не хочет расставаться с редкостными трофеями. Гляньте на этот кабаньей клык! 23 сантиметра в длину.

А на следующее утро мы обходим плантации. После первых заморозков черноплодная рябина стала красной. Осенью школьники налетают на нее как скворцы.

Всей школой на воскресник? Нет. Все за один раз ничего не сделают. Выделена специальная неделя, каждому классу свой день. И работают они, как трудолюбивые гномы. Вы читали, что сказал Сухомлинский? У человека есть три несчастья: смерть, старость и дурные дети. Или: если люди плохо отзываются о твоих детях, это значит, что они плохо отзываются о тебе самом.

Живые изгороди дубов, ухоженные березовые рощи, пригорки, ели. Возделано так, чтобы пейзаж все время жил своей жизнью — весной полянки с причудливыми островками одуванчиков под утренним солнцем, осенью заранее предусмотренные цветные мазки леса. И тут прикладное искусство. Пейзажизм.

А чуть дальше в лесу растет змеиная ель — капризмутации.

Уже приезжают экскурсанты. Мы шутим — следующая проблема не в том, чтобы вырастить, а в том, чтобы уберечь. Покойный лесничий Клявинь со спокойной душой создавал Терветский парк, но изнервничался и заболел, пытаясь уберечь свое детище. Огромный наплыв экскурсантов стал угрожать анемоновым полянкам. Каждый ребенок набирал по букетику белых цветочков, и когда приходил лесник, чтобы вести детей на экскурсию, они подносили ему цветочки, собранные ими самими. Святая простота! Охраняемые белые цветочки тому, кто их охраняет!

Весной в окрестностях Риги через леса проходят

орды торговков — соберет каждая по корзинке голубых подснежников, и лес после них — гол и сер! Этакie милые беспомощные старушки, просто стыдно и жалко делать им замечания, пугать лесником. На хлебушек себе зарабатывают, продают по двадцать копеек букетик. Но поглядите, некоторые внесли на сберкнижку целый гектар леса.

Тревога! Спасайте вербу на берегах Гауи и на взморских дюнах! Спасайте!

Когда-то в мои школьные годы между Рагациемом и Лапмежцием дюны, называемые Корабельными горами, были белым белы от вербы. Теперь кусты похожи на жалких изломанных уродцев. Поблизости расположена моя школа, часто побеждающая в конкурсах и других общественных начинаниях, скажем, в конкурсе «Любите море!». А может быть, целесообразно провести и такой конкурс — «Любите берега моря!»?

Мы едем в Пуни. Среди полей и лесов Валдгале, довольно далеко от Дундагского шоссе, там, где кончается проселочная дорога и начинается широкий простор освоенных болот, стоял дом «Вецъюнкури». Далеко, до березовых лесов простираются дымчато-бурые мелиоративные поля. Кришьянису Валдемару повезло, что его «Вецъюнкури» остались в самом конце дороги, дальше — мелиорированные земли, леса и огромное болото, по другую сторону которого родился еще один такой же энтузиаст и ратоборец — Лерх Пушкайтис. Хотите верьте, хотите не верьте, но в болотах заключена какая-то сила, призыв, романтический и практический стимул.

Вернее было бы сказать — повезло не Кришьянису Валдемару, а нам: трактористы обошли пригорок, где стоял Вецъюнкурский дом, живы дубы, живы липы и маленький полузаросший пруд, окаймленный ивами. Дом, видимо, сгорел, об этом свидетельствуют обгоревшие когда-то липы. Буйно разрастаются розы. Могуче ветвятся грушевые деревья. Величавая красота царит здесь, наверное, круглый год. Немного поработать, вырубить слишком разросшийся кустарник и опять-таки — прикатить сюда большой камень, вот и все, что требуется. И хорошо бы сделать так, чтобы можно было прочесть здесь нечто сказанное Кришьяном Валдемаром, пусть то же самое, что написано на его памятнике в Риге:

Горячая любовь близких, твердая решимость и бескомпромиссность в действиях — одолеют все.

Мелиораторы прикатили бы камень, додумайся кто-нибудь до этого, когда они работали. Но и сейчас это не трудно сделать, тракторы есть здесь же, в колхозе, Валдемарпилсская, Валдгалская и Дундагская школы тут же поблизости, и за несколько воскресников одно из важных и прекрасных памятных мест было бы возрождено. Трудно представить себе другое, столь же символическое место, где так бы совпадали память о судьбах народных и географическое расположение: на границе между болотами и недавно освоенными землями.

Едем обратно, по обеим сторонам дороги лежат вывороченные березовые пни. В хорошую погоду береза за сутки выкачивает около трехсот литров воды, говорит лесничий. Когда ураган валит деревья, земля заболачивается. Зарастает тростником и рогозом.

Кто-нибудь из вас знает об этом? Что самая обычная береза обладает таким могуществом. Не дает расти рогозу. Не дает земле заболачиваться.

Если Кришьянис Валдемар за один день выкачивал из земли три бочки болотной жижи, то сколько это будет за год? Сколько будет за всю жизнь?

Если Янис Метузал... Если секретарь парторганизации в Курсишах... Если учительница Манфелде... Если мастерица художественного тканья... Если... если... если...

Я зашел к актрисе Терезе Даве. Никакие болота она не выкачивает. Но в ее доме собираются актеры Лиепайского театра, чтобы отдохнуть, провести время. Здесь уютно. Быть может, «проводить время» как раз и значит — освободиться от тины тяжелого дня, от мутных осадков работы, скопившихся в тебе самом. Здесь уютно. Ты сидишь в комнате, обставленной, нет не обставленной (а быть может, все-таки обставленной) в стиле рококо, барокко, бидемайер, и чувствуешь, что тебе это нравится. Тебе нравится, и другим тоже нравилось. Потому что необычно. Ах, простите поэта, который ради своих капризов, ради поэтического вымысла и т. д. и т. п. ищет необычную обстановку. Скажите, гражданская ограниченность, снобизм. Скажите, компания старых дев за чаепитием. Скажите, скажите, придумайте еще что-нибудь, раз вы боитесь старых вещей. Тереза Даве говорит: мне удивительно нравятся два животных — свинья и коза. Свинья — за свое благодушие. А коза за то, что она знает, чего хочет, и не поддается чужому влиянию. Я отношусь к вещам так же, как к живым деревьям.

Я не могу сломать ветку, мне ее жаль. Цветок не могу сорвать. Вижу выброшенный столик и чувствую, что я должна его спасти. Там есть какие-то уже никуда не годные диваны, сказали мне... А вот этот столик выбросили в погреб...

За эти деньги можно было купить платье, связать свитер и бог знает что еще. Нет, она покупает какие-то китайские лампы! Она вообще покупает лампы. Вечером они светятся отблеском прошлых столетий, ведь это же чудесно, когда в доме самое разнообразное освещение, то тихое и крохотное, как светлячок, то величественное и кринолинообразное, как северное сияние. Иногда кажется, что вот эта лампа освещает только эти предметы, а та — только те. У каждой лампы свой нрав, одна — неназойлива, другая — заносчиво криклива.

То же самое относится и к часам. Ночью я не мог заснуть. Лежу, как мне объяснили, в кровати времен Николая II, но думаю не о Николае, а о времени, которое носится здесь по всем углам, тикает и пощелкивает, сыплется и течет. Там, будто динозавр, вышагивают большие часы, а тут по столику кузнечиком прыгают маленькие. А есть и поменьше, настоящие блохи, а где-то тикают часики величиной с инфузорию. Мне часы не нравятся. Я, правда, пытаюсь думать так же, как думали индейцы, что время сыпается в кучу и ты всегда наверху этой кучи, но все равно мне не хочется слышать время — лучше, чтоб оно не тикало и тихо шло своей дорогой. Я вспоминаю самые первые часы. У них был красивый циферблат с румяными яблочками, но все равно я их разбил. Сколько мне было лет? Четыре. Пять. Мне не нравилось, что они идут. Я взял щетку и ее палкой бил по ним, пока они остановились. Я не мог объяснить, почему, и меня выпороли.

Завтра я никуда не поеду, прежде чем не напишу чего-нибудь о часах.

У Терезы Даве есть еще одно увлечение: травяные чаи и цветочные вина. И каких там только не было: вино из одуванчиков и вино из цветов черной смородины, вино из березового сока и вино из подсолнухов, вино из ландышей и вино из кошачьих лапок. Может, и не все они были, но некоторые были точно. А если вы о травках хотите узнать, то — как одна тетенька сказала — надо святую крапиву употреблять. Это та самая жгучая крапива, которую раньше индюкам давали.

Я уехал в Ницу. В Нице люди только что получили ордена, но не было времени поговорить о жизни — время виделось текущим, утекающим, часы тикали, и хотелось писать. Правда, я спросил у одного из награжденных: «За что дают такие ордена?» (не мог же я спросить у порядочного крестьянского парня: скажите, пожалуйста, за какие достижения вас наградили и т. д.). Отец его, старик, сказал: да уж за с...ье не дают. И это так. Лучше не скажешь.

● 15. ГЛАВА С ПЕСНЕЙ ЮРИСА ШЕПЕРИСА
«ПРИНЕСИ МНЕ РОЗЫ ЖИВОМУ, НА МОГИЛУ
ИХ МНЕ НЕ КЛАДИ»

Когда ты строишь дом, то в этом доме должна быть большая комната и посередине комнаты большой стол. И когда ты поставишь на него кувшин пива, с которого стекает пена, то пусть эта пена там и останется. Не помню, кто мне это сказал, но помню, что ему так говорила бабушка.

Сегодня Катринин день, я приглашен к наибольшей руцавской певице Катрине Грабовской. У Катрины дом полон людей, она охотно бы со мной потолковала, но то и дело кто-то приходит, и детям чего-то надо, и внуки все время дергают, и пирог пригорает, и капуста булькает, да еще и радио орет. Знаешь, кто еще знает — Аусмина мама. Нет, она мало знает, а вот Тружа, ткачиха, та знает.

Не надо никаких Аусминых мам! Катрина сама знает! Катрина крепкая женщина, расторопная, с громким голосом, у нее здесь две дочери и внучка, оканчивающая среднюю школу. Один уже обещал приехать ко мне, слова записывать. Заматы... Господи боже, они удивляются, не знают, что это такое! Притащи эти заматы! Это жерди такие в воротах. Керте... Поставь метлу в керте. Ну в угол же! Что у тебя там с вином опять? А, оно не мочится, заткнуто. Открой эту трубочку! Кампиле — кампиле это такая перекладина на калитке, человек перешагнет, а, скажем, поросенок не выскочит.

Вилкаулениха могла бы подойти! Запустили бы какую-нибудь песню! Буйно? Самое буйное пение было, когда лен мяли — от дому к дому ходили. На празднике обмолота — тоже. Ты что — о париках говоришь? (Ей

уже надоело объяснять все этому чужаку.) В Паланге на черном рынке! Парики, каких душа пожелает. (Действие разворачивается в двух-трех планах, только успевай следить!) Начинают собираться гости, несут подарки. Сестра! Ты толстая, это тебе! Ты же знаешь, в будний день не выбраться. Ты знаешь, сестра, ног-то ведь уже нет. С братом опять то же самое — Цеплиниек сегодня вечером веранду свою строит, так ты же знаешь, что там делается.

В кухне кричат: — Ох! ооох! — радостно кричат, пришла Анна Крежа, ну, теперь попоем, ну, будет дело! Это судьба, говорит один мужчина. Какая тебя заберет, от той и чахнешь. Они вот, толстые, а мы хилыки, говорит другой, обращаясь ко мне, ты такой же хилык, как и я, мы чокаемся. Оказывается, что это Вилкаулис, значит, Вилкаулиха тоже здесь. Трах! У мальчишки лопается воздушный шарик. Где же эта маленькая Катрина? Хоть бы ты под столом нашлась! Да, Вилкаулиха здесь, несет торт, кто-то хочет запеть, но Вилкаулиха не разрешает: погоди-ка! Надо докончить! Ты смотри на этот торт и не пой! Шум на минутку стихает, гости собрались, все будут сейчас усаживаться за стол.

Петь начинают этак час спустя. Ну:

Держитися, держитися,
Супротив поющие,—
Задом прислонитесь
К двери в преисподнюю.

Катрина с дочерьми и внучкой будет одна сторона, а Вилкаулиха и Крежа — вторая, супротивная. Остальные так только, подпевать будут, от этих почтовых барышень да девчонок из столовой толку никакого: стыдятся они петь. Разве что попозже, когда пропустят по рюмочке... А старые разошлись вовсю:

Наши супротивницы
Лягушат свежуют...

Песни становятся все крепче и бесшабашнее, мужчины опускают глаза и говорят: пошли, покурим! А женщины говорят: ну, давайте-ка в таком случае споем шлагер тоже. Филин девку, филин девку начал ять... Я остаюсь в комнате — поди знай, услышишь ли еще когда-нибудь такой песенный разгул. Катрина перед этим ска-

зала: когда я сепаратор кручу, так я словно за роялем. А когда я хлеб замешиваю, так я зажигаю всех!

К дереву, земляк, прижмися,
А не к телу моему...

И вот, входит Янис Вилкаулис, и Янис Вилкаулис полон решимости, ну, сейчас он скажет. Так, закройте все двери! Я буду заводить, а вы пойте. Я замолчу, и вы молчите.

Был сюртук у Янциса,
Синий был сюртук.
Сюртучок был синий,
Пуговиц не счесть.

Ах ты, старый! Чего ты лезешь! Это же не народная песня.

Мужчины всегда оказывались податливее, уступчивее, трусливее, когда речь шла о том, чтобы уберечь чисто народное.

Правда, Мелнгайлис думает, что длинные песни появились отнюдь не под влиянием немецких песен — зингов, а являются латышскими песнями-посланиями, «сообщениями».

А, черт, нельзя ли потише? Начнем! Был сюртук у Янциса... Но никто не начинает. Юрис, прозванный Спедеринисом, подсаживается ко мне и говорит:

Переплюнь! У вас есть душа, у меня нет души. Почему ты не можешь написать такую поэму, как Плудонис? «Сына вдовы» — переплюнуть! Переплюнуть надо!

Ах, вот как? Пошел вон! Тебя самого надо переплюнуть! Уходи, тебе сказано, не мешай! Начнем. Был сюртук у Янциса... Ну что это, право?

Не поют. Никто не поет. Катрина успокаивает Вилкаулиса: две подпорченных есть в коллективе, — и показывает туда, в сторону женщин, в том числе и на Вилкаулиху: — та вот и эта.

Рехнуться можно с такими женщинами — ни за что они тебя не принимают всерьез!

Спедеринис опять за свое — Плудониса переплюнуть! Не можешь? Мо-жешь!

А почему ты хочешь переплюнуть? Ведь нет же больше такого сына вдовы.

А разве именно такой нужен, да? Такой именно? Другой не годится? С другой стороны нельзя подойти?

Спедеринис, бывший красногвардеец, теперь на пенсии, читает дома сборники стихов, много читает, и ни одного дьявола не найдешь, с кем потолковать. Об этом самом Плудонисе, я говорю, мы еще завтра поговорим, здесь нельзя, эта чертовщина в голову ударяет. А женщины тем временем — вот тебе и на! — все песни пропели. Пока выводили

Пойте, пойте, милые,
Славно получается,
Язычок у вас такой —
В пору в печку хлеб сажать.

Пока выводили это, в песне была насыщенность. И вот затянули «ноги тонкие, как шнур, а глаза, как фары». Нет никакой динамики, песня какая-то заунывная, да и сами поющие стали вдруг какими-то жидкими, словно разбавленное водой снятое молоко. Было так, как если бы теленку вместо молока дали сосать палец. И девушки уже перебрались в другую комнату, зовут: телевизор! Паулс!¹ Вот это совпадение! За один вечер увидеть все в таком разрезе — несколько культурных слоев. Четыре поколения: потомственные уроженцы Руцавы, пришельцы, сбежавшие из этих мест и приехавшие в гости, без образования и с образованием, со здоровой глоткой и без здоровой глотки, со звездой на груди и без звезды на груди.

Старушки не могут усидеть на месте: пошли во двор, мы лучше споем!

Ну а теперь все быстренько, быстренько!.. Собирайтесь в круг!

И все быстренько-быстренько рассаживаются за столы. На минуту воцаряется молчание, и теперь чувствуется, что в женщинах Руцавы Паулс задел чувство гордости. Ну, сейчас ты услышишь! Споем «Зеленые березы»!

Ой, зеленые березы, зелены побеги.
Уведи ты меня, мама, уведи из сада.

Ну, а песни других народов никто не сплет?

Застрелил папаня совушку,
Застрелила мама совушку,
Застрелил папаня, застрелила мама,
Дети застрелили.

¹ Р а й м о н д П а у л с — известный латышский композитор, автор популярных эстрадных песен.

Мелнгайлис прав — наряду с латышской дайной звучат в Руцаве и яркие мелодии литовских дайн. Правда, Мелнгайлис говорил «повсюду в Руцаве».

А Яниса Следиса знаете? Из «Упмали»? Телефон — одиннадцать, два звонка. Когда он вовсю расходился, трава вибрировала. Бывало, на охоте, жарим в сарайчике печенку, охотничий ужин соображаем, и уж тут его слушаешься.

От зычности толку мало!

А рост!

Юрис Шеперис сказал: «Розы мне дари живому, на могилу не носи». Ну что, разве не верно? Верно, хозяин, твоя правда! С друзьями надо встречаться и веселиться, в могиле будешь — проку от них никакого. Верно, хозяин! «Милый дружок, заходи в шалашок, выпьем, закусим», — говорил Андрей, и мы его похоронили как министра. Весь колхоз его оплакивал. Он был — вот какой мужик! А еще был у нас в селе такой Пукул, у него, в конце концов, ногу отняли. Он в голос орал: «Ни на что мои денежки не годятся!» В голос орал. Мы с матерью говорили: когда помрем, пусть соберут и сожгут наши тряпки, а пока нам надо дружить с людьми.

А что происходит там, на другом конце стола?

Подружка, споем гимн колхозников! В нашем будущем прекрасном будет все не так, как ныне... Чего ты ревешь: муж у тебя жив, о чем тебе реветь?

А около часу ночи, когда все шлягеры уже спеты, старые женщины снова заводят народные песни — звучно, выигрышно.

Усади, разуй с почтеньем
Своего хозяина.

Сестрица, сестрица, что это ты поешь, разве теперь такое бывает? Видишь ли, когда мы все шли домой, где-то за нами в темноте звучал одинокий мужской голос: что ж, бегите, матушка, раз уж вы спешите, ну а мне не к спеху. Что же ты, матушка, бросила его в темноте?

Янис Перкон и учительница Перконе оба из Папэ, он отвезет мальчишек из школы на тренировку по стрельбе, а затем мы поедем на «газике».

Выпал редкий снежок, но земля еще не замерзла, и, когда мы проезжаем через куйты Папэ и вдоль бигн, за нами остается черная вежа. Не думайте, что эти сло-

ва заимствованы у ученых-лингвистов — здесь еще действительно столь богата речь. Краевед, студентка Рита, записала 122 слова, которые даже не упоминаются в словаре Мюленбаха-Эндзелина. Пьяница — это пияк; а клюква — спранголес, лепина — широкополая рыбацкая шляпа. Салаку коптят в руке, а маленький бочонок, в котором косари когда-то брали с собой кашу на луг, — дудубинис. Не хочется даже переводить на современный язык — дивдибенис (двоедонный). Дудубинис. На языке ощущаешь вкус таких слов, как если бы я был мальчишкой и мне дарили губные гармоники. Дудубинис... Еще раз: дудубинис. Кажется, даже эхо есть у этого слова — тут же, сразу за последней буквой. А как свежи здесь литовские словечки — ноалпуси мейчена, аустринис. Бигна дижи ауг авиечас. Маргиета, Маргужа, Малле, Маллите — их больше всего. Много Катрин, Катруж. В школе после войны еще были Катружини, сейчас уже нет больше. За Тружей следует Нужа, Аннужа. Затем Керста, Илзе. В Руцаве полно Янисов. Имя Микелис малыши до сих пор пишут с долгим «е». Микелиса называют также Мичисом. Мичис с Юрисом. Петерисов совсем нет. Зато есть Никлавы.

Но хотя на свадьбах еще поют

Парнем в молодости я
Делал сразу дела два:
Весла из камней рубил,
Девку в мураву валил,—

и хотя

Девка падала в траву —
Сыновья рождались,—

в Руцавской школе теперь вполовину меньше учащихся, чем до войны. Одну часть из пяти тысяч взяла война, другую часть берет город, а еще одна, весьма необходимая часть — так и не появилась на свет.

Проблема заключается в том, говорит заместитель председателя Миёмьюского колхоза Лейманис, что из нашего района, так же как из Даугавпилсского, ушло наибольшее количество людей, рядом с нами строятся новые заводы, они поглощают молодежь. Нашим колхозам, находящимся по соседству с заводами, полагались бы большие технические лимиты, чтобы компенсировать рабочие мощности уходящих людей.

Проблема в том, говорит председатель Руцавского

сельсовета, что нам делать со старыми людьми. Детей у них нет, если и были, так сплыли, кто-то с войны не вернулся, кто-то в Швецию подался. Старые дома приходят в упадок, а у стариков нет семьи, которая могла бы построить новый дом. Наш колхоз хоронит за свой счет, а совхоз отказывается: у нас сотни рабочих, до бывших колхозников нам дела нет. И сельсовету приходится из своих средств покупать человеку его последнее домовище и... Из тех денежек, что предназначались на строительство мостов, асфальтирование улиц и вообще на благоустройство.

Узкоутилитарный подход дискредитирует многие идеи, без которых не могла существовать ни одна общность людей. Уважение к уходящему поколению... Вы же помните сказку об отце, который повез деда умирать в лес и хотел оставить его там вместе с санками, но сын, этот воспитанный в духе практицизма мальчишка, настоял на том, чтобы санки увезли домой, а то ведь — на чем же я тебя, отец, в лес повезу? В Руцаве, Нице, Барте и Папэ еще много крепких стариков. В других местах старшее поколение уже ушло в мир иной. Руцавцы своим долгим веком напоминают: вы строите новую жизнь. О нас вы можете не думать, подумайте о внуках. А вы что делаете? Все только о санках да о санках.

Самая старая жительница Папэ — Керста Каул. Домик у нее голый и маленький, спрятавшийся за дюнами среди нескольких верб. Когда-то Мелнгайлис, осматривая окрестности с Папэского маяка, назвал эти места знаменитыми...

— *Дальше виднеется село Кёню, небольшое скопление низких рыбацких хибарок, где язык еще более древен, чем в Папэ.*

...Как в опере из древнелатышской жизни, звучат названия хуторов: Эндрис, Каупс, Трукшма, Кёнис, Балтрис, Куршис, Юдбидис, Буберис, Менцелис... Менца — это треска, менцелис — ее ребенок. Видимо, немецкий художник Менцель происходит из окрестностей Куршских дюн и является отпрыском прусского рода.

Комнатка маленькая, с прялкой, с мешком шерсти, шкафом, кроватью, свободного места — только-только повернуться. Бабуля очень милая.

Я ходила в народный дом, пела и танцевала, теперь-то уж я танцевать не могу. Как песня пелась, так я вам ее и спою:

Низок потолок в людской,
Словно в мышеловке,
Нам и повернуться негде,
Негде рученькой взмахнуть.

...Что на невских берегах происходит?
Грохот пушек, шум и звон,
Вьются флаги...

Дочери неловко, что мать собирается петь, да еще и
рученьками взмахивать. Ну что ты, старый человек, петь
вздумала! Но песне рот не заткнешь.

Голос обрывается, надо передохнуть...

Там будет свадьба, музыка играет
В честь сына русского царя...

Эту песню никто не знает, ее только мать моя пела!
Керста снова пытается запеть, но только на старости лет
чувствуешь, сколько сил требует песня, в молодости
этого не замечаешь.

Она морской белее пены,
Она из датских из краев...

Видишь, что у меня за память еще! Мне девяносто
и три годочка. Я и пряду и шью еще! И все для себя
сама делаю. И за свиньями хожу, и, погляди-ка, какая
я еще шустрая! Прекрасное и забытое слово — шустрая.
Она действительно шустрая.

Мои песни в Риге, пишут, спрашивают: Керста еще
жива?

Она хочет петь еще, но мы не позволяем. Пусть про-
сто продекламирует.

Разве мы дурачились,
В дом чужой захаживая,—
Нет, и там нам руку жали...

Нигде вы таких песен не сыщете, она гордо смеется.
Никто таких песен не знает. Она может рассказывать
бесконечно долго, но меня интересует один вопрос:

А что в этой жизни непреходящее?

Не знаю, поняла ли она вопрос, но снова начала с
песни. Быть может, это и было ответом:

Была я у мамы единственной дочкой,
Я белой розой цвела в садочке,
Темным вином я рот полоскала,
Губы шелками я вытирала.

Туфли крапивой натирала, они блестели, как зеркало. Таких пуйков у нас не было, как нынче в комнате — телевизоров, радио (пуйков — красот). А когда я при отце жила, было мне двадцать лет. Четыре брата у меня были, и все музыканты. Старший брат уже за полтора-ста лет перешагнул. Все играли, один на струнных, другой на барабане. Каждую субботу люди со всех сторон собирались, когда эту музыку слышали. Такой вот была моя жизнь — радостной. Вместо пола мурава зеленая. Голышом бегали, ноги босые, туфли в руках носили...

Я тоже рыбачила, была у отца этакая ладья. Он ко всякой работе нас приохочивал, очень хороший был. Шустро (опять она говорит — шустро) мы сено сгребали, отец маленькие грабли делал. Стога укладывали красивые, как свирели. Я с малолетства к работе приучена, мне все по силам. Мне этому Андрею за зиму пять пар рукавиц связать надо. Она ведь не свяжет.

Она — это дочь, которая сидит тут же и слушает — иногда радуясь материнским речам, иногда волнуясь, как бы та не сказала чего-нибудь такого, что не предназначено для посторонних ушей. Но я слушаю эти речи как музыку, и мне важно не то, что она говорит, а как она говорит.

Вы от кого-нибудь в жизни плохое видели?

Она не слышит.

Дочь наклоняется к ней: он спрашивает, ты в жизни от кого-нибудь плохое видела?

Нет, тогда все люди добрыми были. Я плохих терпеть не могу.

Ну что же ты из этой доброты помнишь?

Не было никакой доброты. Жили люди кое-как. Но никогда я не сердилась, ни тогда, ни теперь. Ну и глупа она, коли смеется! Смейся, смейся! А я бы все песней встречала. Когда люди ревмя ревели, я ходила да напевала. Любили меня, ни я сама по судам не ходила, ни других по судам не таскала. Такая вот моя жизнь, и вдруг — клак! — сестры уже нет. Было ей девяносто и два годочка.

Ни тогда я не сердилась, ни теперь. Девяносто и три годочка... В этом есть причинная связь — долго тот живет, кто никого по судам не таскает, ревмя не ревет. Директор Руцавской школы сказал мне: Гриета Кейзаре дальше Руцавы не бывала. Что за дети могут вырасти

в такой семье... Или, скажем, женщины из Попэ — если и бывали где, так не дальше Лиепай...

И у Керсты и у Маргиеты жизнь была не легкой. Климат нездоровый: вокруг — болота, а море таково, что клетки с морской стороны сгнивают. Думаете, дома обшиты красоты ради? Нет, все это из-за того же морского воздуха, который соленой пылью перехлестывает через дюны. Может, пища какая-то особенно питательная? Бочка трески и вареный картофель — всю зиму напролет, говорит Янис из «Кляюми». Сметаны в нашем доме не водилось. Уехавшие в Австралию теперь в письмах спрашивают: что мы едим, когда не ходим в море и не можем насолить три бочки трески? А соседкин муж говорит жене: я такие тонкие колбасы с собой на работу не возьму. Застеснялся. У нас свинья такая оказалась, с тонкими кишками. Нет, Керсте боженька спуску не давал, тяжело ей приходилось. Сына море отняло, братьев — война, тут уж не до того, чтобы песни распевать. Но был в ней и сейчас еще есть — это чувствуется! — какой-то стержень. Что за стержень? Да все то же добросердие. Оно сквозило во всем ее рассказе. И в Катринин день у Грабовских. (Заходи, дружок, в хибарку!) Светлое восприятие жизни и строгий ритм, ритм солнечных часов. Все это вместе обозначается иностранным словом оптимизм. Оптимисты — это счастливые. Оптимисты они не потому, что счастливы (сколько раз мы видели счастливых людей, но оптимистами их никто бы не назвал!), а счастливы потому, что они оптимисты. Им просто посчастливилось принять и усвоить в качестве своего ритма ритм солнечных часов. Как туземцам южных морей удается овладеть искусством удерживаться на гребнях волн и мчаться вместе с волной, так оптимист держится на гребне хорошего настроения. У него есть нечто такое, чего не отнимешь — чувство жизненного ритма, чувство своего места и своего времени. У него есть опорные точки и точки опоры. И он устойчив. Но таких людей не так много, как нам кажется. Не будем называть ни глупца, ни ленивого невежду оптимистом. Оптимист — это носитель законов солнца.

В такие же дни мы, латышские поэты, побывали в Азербайджане. В горы подняться уже нельзя было, перевалы завалил снег. Нам показывали документальные фильмы о долгожителях Азербайджана. Деду — 157 лет, сыну — за сто, внуку — под сотню. И вот: к старому ак-

сакалу приезжают журналисты. Аксакал смотрит, спрашивает: а Хо Ши Мин? Общее недоумение. Да, Хо Ши Мин несколько лет назад прислал аксакалу свой вытканый на ковре портрет.

Ну, и что же?

Так он не приехал? Не мог приехать?

Оказывается, аксакал все это время был убежден, что Хо Ши Мин живет тут же внизу, в Баку. Так же вот и Керста говорила: были такие пранцузы, других я не помню. Есть Пранцузова гора, здесь же в лесу, там они все и замерзли. Вы думаете, она разбиралась в причинах поражения Наполеона или читала «Войну и мир» Толстого? Нет, конечно.

Но вот Толстой кое-чему от таких, как она, научился — первоначалам, языку сердца.

Были мы этой осенью и на острове Сааремаа. С киногоруппой, снимавшей фильм «Вей, ветерок», мы искали в природе каких-нибудь черт, могущих помочь раскрытию характера задиристого лодочника Улдиса. Наездившись за день по осенней метели и ветру, мы к вечеру стали искать магазин, крышу над головой, ночлег, хотя бы кого-нибудь, понимающего наш язык! — ничего! Мы устали, проголодались, замерзли и были удивлены той отчужденностью (словно тебя и нет вовсе), которая чувствовалась в неразговорчивости сааремцев. Последней нашей надеждой было село Юхана Смуула. В доме Смуулов нас приняли с открытой душой и чистым сердцем. Дядя Юхана говорил по-русски, сестра Юхана Линда, прямо-таки излучавшая благодушие, сразу же начала хлопотать, варила картофель, ставила на стол рыбу и радостно смотрела, как мы, изголодавшись, чистим дымящийся картофель и трудимся над соленым сигом — вот это была закуска! А после того, как все полакомились черносмородиновым вареньем, сваренным самой Линдой, нашу группу разместили у соседей. Мы попали в самое сердце дома, в ту тишину и покой, до которых чужаку нет никакого дела и которым нет никакого дела до чужаков. Никогда бы мы не попали сюда в качестве экскурсантов — в эту домашнюю тишину, пахнущую яблоками, травами и сетями. Большое хозяйство большого сааремского дома вела всего одна женщина, не знавшая ни одного языка, кроме эстонского. На стене — старинный ковер с чудесным узором и две карты, на каждой по полушарию. Я спросил: для чего эти карты?

И ответ, данный по-русски, звучал так непривычно, что его можно было понять двояко. Вроде бы она сказала: карта матери. Но это могло быть и — карта сына Мати. Здесь висели огромные полушария Земли, по материкам которых были разбросаны ее дети — один в Москве; другой на Ангаре, третий в Анкаре, четвертый в Австралии. Я уверен, что она не знает этих материков, что, подобно руцавской Керсте, не бывавшей дальше Лиепайи, она не ездила дальше Курасаари, но были в ней какое-то величие, какая-то негибная сила. Это была материнская сила, единственная, не поддающаяся смятению и сохраняющая себя даже в одиночестве. Так выживает зимой шмелиная матка, чтобы в следующем году воссоздать новый шмелиный рой. Здесь, где вокруг одни только камни, где даже заборы сложены из зеленых замшелых камней, было и в ней нечто такое, что можно назвать каменным величием. Здесь, где тянутся вдаль только заросли можжевельника, было и в ней что-то от можжевельника и — как бы смешно это ни звучало — можжевельниковая улыбка. Банальные аналогии? Но разве лесники не становятся под старость свилеватыми стволами, пнями и узловатыми сучьями? Летчики на старости лет, словно птицы, могут спать на деревьях, ногами охватив ветку. А мореходы и рыбаки уподобляются лодкам и ходят раскачиваясь.

На следующее утро я вышел с первыми лучами солнца, чтобы сфотографировать село на рассвете. Выпал первый снежок, и немного подморозило. На какую бы гряду камней я ни взбирался, из-под нее выпархивала стая куропаток, на какую бы можжевельниковую полянку я ни выходил, на меня удивленно глядели самцы косуль. Неприветливым был этот край, но был у него свой, нам, чужакам, неизвестный ритм. Ритм сааремского солнца. Он дал возможность нашей хозяйке прожить долгую жизнь на этом сыром, ветряном, измученном войной, туманном острове. Поднимавшееся солнце виделось сквозь полуразрушенные остовы ветряных мельниц, и я вспомнил всех встреченных и увиденных этой осенью старых людей — там, в Азербайджане, и здесь, на той стороне залива в Руцаве и Нице. Во всех них чувствовалась самостоятельность, не однодневная самостоятельность и не самостоятельность в каком-то одном занятии, а самостоятельность жизни. Самостоятельность, обеспечивающая постоянство.

Иногда эта самостоятельность принимает и весьма чудное обличие. По соседству с Керстой Каул живет ее брат, ему семьдесят девять лет. Живет одиноко. Он даже вату из ушей не вынул, когда мы вошли.

Не хочу я! С хитрецами я не разговариваю. Да, побывали здесь хитрецы! Я показал им мережи и верши... (у художника Зебериня есть рисунок «Чертов последний». Какое сходство! С чертовщинкой. Красив. Вата в ушах). Уж я-то знаю, я везде побывал. На мировой войне и в угольных шахтах, но я не хочу. (Мефистофель! Такого только в кино снимать!) Пусть оставят меня в покое! Сестра? И чтобы она приходила, не хочу. Она не слышит (балетный жест рукой), а я не могу кричать, у меня голова болит, так-то вот (жест, поза, Мефистофель!)!

Символ основательности: на стене портреты отца и матери, быть может, деда и бабки. И в Руцаве так повсюду, у Яниса Слеже тоже. Да, меня звать Янисом. Дед: Михель Слеже, кучер, потом все Янисы. В моем доме никогда не бывало такого, чтобы Иванов день не праздновали.

Хозяин с дерева грохнулся, когда за пчелиным роем лез. Да уж такой он умелец, вечно с ним что-то случается, еще по дороге сюда рассказывал мне Янис Перкон (Гроза), ничем, в действительности, грозу не напоминавший, любезнейший человек. К Слеже приехали мы уже в сумерках, отмахав порядочное расстояние по огромным волнам грязи.

Первые навыки пения у Яниса Слеже от бабки и отца. Бабка пела изо дня в день. Сядет ткать — немедленно запоем. И отец опять же — идут к кому-нибудь, он первый запевала...

Прирожденное, природенное это, да, соглашается другой Янис.

Противников нет. Ну кого ты на нынешней свадьбе станешь перепевать? Когда я был в Юрмале...

Когда Янис был в Юрмале на свадьбе, дело обстояло так: появляется он во дворе, с песней въезжает, рижане смотрят: наверно, хлебнул старикашка — чего это он разоряется? — ждут, осрамится сейчас. Но вот так он там появился, так он пел, и так он всех перепел. Противников нет, кого перепевать-то! Ни одного мужика нет. Одни

бабы. А уж их не перепоешь. Вмешивается хозяйка, она все время на приступочке сидела. Чем женщины берут — у них рядом бутылка со сладкой водой. Глотнут они крепкого и тут же сладкой водой запьют. Только тем и берут, видишь, какие у них приемы.

Память у меня дерьмовая, рассуждает Янис о себе самом. Надо бы Нуйского портного найти. Он мне, когда я еще мальчишкой был, дал тетрадку, чтобы я старинные песни записывал. Я ему записал «Антониус, ребенок хилый, остался круглым сиротой» — сто тридцать два куплета. Твое здоровье! Я Янис и он Янис. Ты не Янис и никогда им не будешь. Мать, подбавила бы ты еще закуски!

Ну что делать, если я не Янис. Хотелось бы им быть, да у меня все равно не то получается, что у этих двоих. Янис Перкон на это: Янцис, ты — нечто такое, что обычным человеком не сочтешь. И Янису Слеже это нравится, он говорит: стрелять таких надо, а?

«Песню слепого моряка» пел Розитис, играли ее повсюду, на рынках, в кабаках, в Лиепаве. В Руцаве тоже.

Это чувствительная жалоба, немного сентиментальная, как все песенки такого рода, но с меткими образами. *Хозяин подносит рабочему чарку и щурит глаза, хозяину жалко... Толстушка хозяйская дочь, коротышка, хозяйская дочь, как румяная пышка.* И голос отчаянно взлетает, словно в темной комнате эту самую дочь ущипнули за мягкое место.

Вы и этой песни не знаете: *Был хвастуном бессовестным огромный Голиаф...*

Голос у Яниса богат модуляциями, послушайте, какая самоуверенная ирония появляется в голосе Давида! *Сказал он тут верзиле: Ты парень хоть куда! Ты к бою подготовлен. И мне с таким беда. И тут же ловко выпустил он камень из пращи...*

Янис, песен в тебе — как в матраце пружин, опять восхищается Янис Перкон, это его маленькая хитрость — глядишь, второй Янис еще споет. А Янис и эту не кончил. Итак: *Камень долговязому угодил в висок. Хвастун упал, представился, хоть был хвастун высок...*

Выпьем за эти мгновенья, говорит Янис. Завтра мы уже не будем столь молоды. И тогда я вам спою гимн нашей роты. Янис суровеет, суровеет на глазах, озорные бесенята куда-то исчезают из его зрачков. Взгляд серый, тяжелый.

Буря нас нянчила,
 Пламя лелеяло,
 В сердце — вся алость партийных знамен.
 Сволочь фашистскую —
 Так нас учили —
 Гвардейцы латышские вышвырнут вон.

34-я Латышская гвардейская дивизия, 125-й полк, говорит Янис, огонь, воду и медные трубы прошли, а тут, понимаешь, за пчелиным роем полезешь, полезешь и разобьешься. В санаторий, что ли, придется ехать? *Да неужто стал таким я, что для девок не гожусь?* — в ответ ему поет Янис Слеже.

Янис, ты еще сгодишься! Если не целой сотне, то — сорока трем!

Янис Слеже знает огромное множество народных песен, их он еще и не пел нам вовсе.

Как ему не петь, когда внутри у него что-то само поет. В 1872 году «Латвиешу Авизес» («Латышская газета») писала:

— Известно, к чему об этом напоминать, что мужчины пожилого возраста да и другие (только не девушки), объединившиеся в хоровые кружки, уже долгие годы пели на голоса, потому что в Руцавской церкви и на кладбище, и в других местах, где они собирались, пели на четыре голоса уже целых 18 лет.

Стало быть, за 19 лет до первого Праздника песни.

Нельзя, конечно, заставить петь. Должно быть желание. У матери, скажем, душа к этому не лежала. Горести всякие, смерть сына, все время слезы в глазах. А Янис ходит, распевая, песенная сила его бережет. Верно, Янис? Даце говорят: спой в микрофон. Она говорит: не-е.

Старинная песня живет лишь под резными коньками крыш, говорил Мелнгайлис. Но вот ведь, я собственными ушами слышал, как живет она рядом с телевизором. Правда, нет у нее больше прежнего жанрового и обрядного богатства.

Мелнгайлис считает, что древнелатышское праздничное пение было столь богато, разнообразно, что различалось два особых вида его.

— Первый зовется в народе *людской песней*, кое-где — *праздничным пением*, и к нему принадлежат *обрядовые песнопения на чествованиях, праздниках, тор-*

жествах. К каждой из таких мелодий можно подставить бесконечное количество текстов.

Само слово «народная песня» значит «свадебная песня», «народом» считались поезжане жениха. Подлинную народную песню начинает со стороны поезжан ведущая, ударяя тридекснисом¹ по липовому столу.

Что за глупая голова
Восседает с молодцем?

Как только она кончила, подпевалы повторяют весь припев, соответственно переиначивая мелодию — таким образом, густой волыночный голос гудит вместе с переливчатым, свирельным подпеванием.

...Чтобы это пение не надоело, и ведущая и подпевалы бессознательно стараются каждый раз разнообразить мелодическую линию. Им мало этого, время от времени они вплетают совершенно новый темп. Как это трудно записать! Уже сама поющая, которой в ее 80 или 90 лет присуща известная неторопливость или нервозность, терпеть не может, если я прошу ее остановиться, а когда я хочу, чтобы она повторила, никогда не получится то же самое, а что-то совершенно другое, хотя и столь же логичное, но все-таки иное...

Ночую в Руцавском сельсовете. Стынут промоченные ноги. Из той самой горькой чаши, которую пригубливал каждый бродячий путник, полной мерой хлебнул и я, собирая исчезающие напевы.

Мелнгайлис в каждое из своих 175 путешествий собирал в среднем 20 мелодий, всего 3500. Приличествует ли мне, всего несколько месяцев месящему курземскую грязь, так раздражаться?

175 — это означает по меньшей мере вдвое больше бессонных ночей, бродяжничества по всяким дорогам на значительные расстояния, а все вместе, по крайней мере, целый год жизни, проведенный на обочинах большой дороги...

Когда я засыпаю, мне чудится:

— Над Папэским озером сверкает вся Руцава с соседними округами Ницей и Дуниками, с неразмотанными клубками песен, с расписными бабушкиными сундуками, со своеобразными типами построек...

¹ Т р и д е к с н и с — латышский национальный ударный музыкальный инструмент с колокольчиками.

А председатель колхоза сказал: на том берегу озера находятся Калнишки. Мелиораторы уже второй год мучаются, гребят технику, бегут оттуда. Стоит ли из-за каких-то семисот гектаров так уродоваться! Ведь сплошные камни! Это уже не по-нынешнему. Сколько за эти полтора года можно было бы у нас мелиорировать!

И Мелнгайлис, и председатель правы. У каждого по половине правды, но я складываю их вместе — целой правды не получается! Чего-то еще не хватает. Не хватает взаимного понимания, не хватает общего языка.

Утро начинается с грохота ведер во дворе и «Хора охотников». Точное время — семь часов сорок минут. Сегодня до собрания, которое состоится в четыре часа, председатель повозит меня в новой сельсоветской машине и покажет свое село Руцаву.

Начнем вот с чего: помните вы это место из рассказа Калве «Зарница в летнюю ночь», где говорится о председателе сельсовета? У меня выписано: «Почета ради он держится за кресло в сельсовете. Разве кто-нибудь из молодых согласился бы на такую зарплату?»

Это просто так, ради знакомства.

Почета тут мало, работы много. Я одиннадцать лет работал бригадиром, с 1948 года. Если хочешь все делать на совесть — нервы не выдерживают, последние ночи уже спать не мог. Теперь три хозяйства надо согласовывать. Ссориться и ругаться нет смысла, с хозяевами можно только по-хорошему, у них денежки-то. Отказываются даже национальные костюмы покупать. Раз уж шоферы по воскресеньям не ездят, не возят хористов, так ведь можно было бы из средств культурного фонда приплатить за воскресную работу. Уж это можно было бы. Хотя — уговори такого! Вроде моего! Вчера ночью опять он является в половине третьего, мать утром будит. Ты с ума сошла, хочешь, чтобы я пьяным шел на работу?! Уговори такого, чтобы он участников самодеятельности возил в воскресенье, попробуй, уговори!

Сначала мы поедем в Ниду, не в большую литовскую Ниду, а в нашу собственную Ниду. Здесь все друг друга знают, проехать, не взяв попутчиков, нельзя, этих женщин мы подбросим, только ты, Тружа, не хлопай этой дверцей изо всей силы, это не загородка в хлеву!

Между прочим, подошло время забивать свиней, дома пахнут топленным салом, а в дымоходах коптятся колбасы.

В прошлом году мы не устроили конкурс на лучший крестьянский двор, в этом году я говорю Лаугалису, он у нас культсоветом руководит: Янис, надо это сделать.

Въезжаем в «Юрмалниеки» в Ниде. Это дом — победитель. Одна только матушка дома, говорит, какая уж тут чистота, все в бегах.

В комнате все блестит и сверкает: и домотканые дорожки, и чистые полы. Двор тоже красив, насколько красив он может быть в этом дюнном заветрии, где каждое дерево день и ночь треплут ветры. В тот раз, в ту страшную бурю, море прорвалось. Возле Боженеков и возле Брустов прорвалось. Море так сыпало в воздух брызгами, что сосенки после этого стали коричневыми от соли. В Папэ в ту октябрьскую ночь 1967 года море прорвало дюны и промыло русло в озеро, образовав омут глубиной в одиннадцать метров. С дюн брали песок, чтобы насыпать дамбу вокруг озера. Одна старушка говорила: не трогайте! Вы моря не знаете. И так оно и было.

Крыши старинных строений украшены журавлями, покровителями рода, древним тотемическим символом. Дверь клетки, слуховые окошки дома — резные. Чистый и лаконичный крестьянский двор.

Насколько у Трашкалисов в «Юрмалниеках» красиво, настолько же в «Алвиках» все запущено. Что поделаешь, добрый человек, такова жизнь. Кто-то должен поддерживать равновесие, а не то она может стать слишком красивой. А чтобы жизнь не стала слишком добросердечной, нужна какая-нибудь Алвикиха. Где же старая Алвикиха?

Уехала. Все с собой забрала — гроб, кровать. Алвикиха всегда ездила в Лиепаю по тем дням, когда бывали судебные заседания. Все судьи ее уже знали: Алвикиха, и ты здесь? Когда она не могла поехать в Лиепаю, то приходила ко мне в сельсовет и жаловалась часами — вот у нее документальнейшие документы, квитанции и старые счета за электричество, ни одной бумажки с печатью она не выбрасывала — испокон веку.

А там в лесу есть старый дом лесника, в нем жила Нуга из «Цеплениеки», сейчас там бурят землю, ищут нефть. Она послужила Яншевскому прототипом Нугажи в романе «Родина». Нугажа убежала из Руцавы в Лиенаю, потому что ухажер ее бросил и «через это большие сплетни пошли».

— *Женщин из Руцавы и Ницы в Лиенае охотно берут в кормилицы, особенно богатые евреи, потому что нас считают красивыми и здоровыми, писал Яншевский. Какая-нибудь девка, заполучив ребенка, чувствует себя счастливой: можно пойти в город в мамки, там и заработок лучше и жизнь легче. Такие в любое время место получают. И меня тоже, куда бы я ни пошла узнавать, не нужна ли девка, сейчас же спрашивают, есть ли уже ребенок, либо когда он будет,— такой всегда можно место найти. Мне аж краснеть приходилось...*

Вслушиваясь: какой бы легкомысленной ни была в романе Нугажа, люди говорят о ней с удовольствием и только хорошее, оттого что есть в ней что-то притягательное — живое, отдающее себя тепло.

В «Бунках» живет старый Рога. Он считается здешним книжником. Когда пришла армия — сколько у меня книг скурили! Старуха (наверно, его старуха) говорит: он же всем детям книг купил. Уже с пятилетнего возраста. Дети дрожат над книгами.

Теперь они выброшены на чердак. Как же это? Почему вы ими не пользуетесь?

Старуха говорит: да что там книги, когда у нас роллер в сарае стоит без пользы.

И Рога сдается: когда женщины начинают править, тогда всему конец. Я махнул рукой, и они все повывбрасывали на чердак.

Папэ, Нида — прекрасно царство наших дюн!

— *А когда-нибудь, когда прекратятся войны, когда человечество отбросит свои шовинизмы и империализмы,— в 1923 году писал Эмиль Мелнгайлис, наслаждаясь морем и своеобразием природы,— здесь все пологое, ровное побережье будет покрыто лечебницами, цветущими здравницами, клубами гребцов и яхтсменов, всяческими красотами...*

Так же, как сейчас на побережье братской Литвы? Едем до границы.

Здесь не земля, а сплошные заплатки, говорили в Папэ. Нет смысла обрабатывать. А возле Ниды болота уже мелиорированы, агротехнически обработаны и тянутся до самых курортов Ниды, вдоль Свентяйи, где все еще много латышей проживает. И если теперь идти со стороны моря, то вдоль всей границы будут Калнишки, Какишки, Мейришки. Мелиорация захватывает «Слампинки», древние могильники, конечно, останутся, их не тронут. Клетушку из «Даугури» тоже какой-нибудь музей мог бы забрать, больно она необычная.

Гейстаутская школа. Нечего удивляться, что звучит по-литовски. Здесь были Гейстаутовы поселения, в которых, видимо, жили потомки великого князя Гейстаута, так это все объясняет Яншевский. В учебнике истории говорится: Кейстут. Невесту себе Кейстут взял из святилища богини Прауримы, она была там хранительницей священного огня. В Паланге это сейчас самое банальное, истоптанное экскурсантами место. Вроде как у нас могила Турайдской Розы. Здесь, возле Паурупите (Макушковой речки), протекающей через Руцаву, жемайты и курши попеременно немцев били. По речке плыли трупы рыцарей Ливонского ордена — только макушки виднелись, потому и называют ее Макушковой речкой.

Балчус, Ате, Деме, Цинкус... Поди разбери, кто литовец, кто латыш. И так как мы находимся на границе, то можно еще раз поговорить о «пограничных вопросах». В Литве, например, можно купить теплые детские сапожки, рассказывают учительницы, а у нас лектор говорит, что Латвия прочно занимает первое место в Союзе по производству обуви.

Несколько лет назад литовцы у нас спрашивали: можем мы одолжить посевной картофель?

Не можем. Говорим: нету. Этой осенью спешно надо было вспахать поля, мы теперь спрашиваем: тракторы дать — можете? Литовский совхоз — тут же, ни слова не говоря, четыре гусеничных.

Во времена Ульманиса шли к нам работу искать, много шло, у них перенаселенность была большая, контрабандисты ходили, со спичками. И лет десять еще назад ходили работать на нашу сторону. Теперь же мы кирпичный завод ликвидировали — нет литовцев, работать некому. Им здесь искать больше нечего, только лодыри да пропойцы еще захаживают.

Мы едем обратно в центр. У жителей Руцавы и Барты есть такие синонимы — живет, жива, работает. Во всяком случае, когда-то были. Доказательство тому — народные песни того времени, когда ходили работать в барское поместье. Боженька, приди помочь. Тяжкою пожить работой. Парадоксально — в поместье и вдруг — пожить. Разве это жизнь? Вот она, смысловая уплотненность в одном слове трудовой этики: жить — это работать.

Только работать. Только это. Всего лишь это?

Не кроется ли какая-то опасность в таком сужении понятия? Я вспоминаю тракториста, в воскресное утро явившегося к своему трактору. Он не знает, что ему делать со своим свободным временем. Он умеет работать, но не умеет многое другое — не умеет жить. А председатель не видел отпуска в течение пяти лет. В председательской жизни вообще нет свободного времени. Работа работу погоняет. Жить = работать. Красивый, но опасный знак равенства!

Как мудр должен быть человек, чтобы верно решить это, кажущееся азбучным, уравнение!

● 16. ГЛАВА О ЖИЗНЕЛЮБИВЫХ ПЕСНЯХ
И О ШЕСТИ МОГИЛЬЩИКАХ, НА ДОЛЮ
КОТОРЫХ ПРИХОДИТСЯ ПО ПАРЕ РУКАВИЦ
И ПО НОСОВОМУ ПЛАТКУ

Ница. Ницавцы. Певцы. Самые оживленные разговоры развертывались у матушки Малинь. Этой осенью до матушки Малинь можно было добраться лишь буквально по глиняному месиву. Поля вокруг только что мелиорированы. В сумерках соседки показывают — тут вот, мимо хлева, вдоль канавы, а там уж будет дорога в Малини. Дорога? Ни намека на дорогу! Куда ни поставишь ногу — везде по щиколотку. В темноте не разберешь, где и как вспахано, какие-то столбы валяются, проволока, и тут же глубокие следы больших колес, того и гляди провалишься в них. И когда ты в темноте огибаешь угол сарайчика, то чувствуешь уже, что какой-нибудь пес вцепится тебе в горло, и — действительно, пытается вцепиться! Ты еще успеваешь обрушить на него поленницу и отскочить к заборчику,

пробираешься через подойники, и вот она, дверь. Уф, до чего я напугался!

Когда матушка Малинь открывает дверь, ноги у меня — как два глиняных столба. Ей уже порядочно — семьдесят пять, но выглядит она на шестьдесят, не больше. Скоро надо будет на другой свет перебираться, она уже и рукавицы вяжет. Разве там так холодно, что она рукавицы?.. Нет, это я для могильщиков. Шестеро понесут, каждому по паре рукавиц и по носовому платку. Две пары еще связать остается. Вот оно как.

Меня смех разбирает, я смеюсь, такой жизнелюбивой тетушки я еще не видал. Она поглядывает на меня, в глазах бесенята прыгают, но она не смеется вместе со мной.

Погляди-ка, он и слышать не хочет, что когда-то умирать придется! Чего ты смеешься, у самого голова седая. Если на лошади повезут, то коню на каждое ухо по паре рукавиц. Кто же меня на машине повезет...

Они еще меня за собой таскают, свадьбы везде, приходят за мной со своими невестами. Тогда-то я им и пою песни. Старые-то традиции красивее новых, вот они и зовут меня. Теперь я уже не хожу. Полштофа надо и торт, с одними-то песнями не пойдешь. А где же пенсионеру так часто тратиться.

Давно ли — когда в колхоз шли, пели еще. Матушка Малинь, запевай! Пусть в «Золотой звезде» слышат, что мы поле кончили. «Золотая звезда» тут же, за Бартой, они тоже любую работу начинали с песней и с песней кончали. Или опять же — понаедут горожане — помогать, ну, да ты знаешь, что они за люди, ничего в толк не возьмут. Тогда вот, спеть надо, авось им работать понравится.

Глотка у меня здоровая, песни институтом записаны. Болтал тут один: «Вы, ницавки, во всю мочь поете». Да что он говорит! Как это можно петь во всю мочь, когда ты работаешь. Мы ведь поем и работаем. Вот видишь иногда, как у Эльфриды Пакуль вся грудь ходуном ходит, а у нас увидишь разве, чтобы грудь ходуном ходила? А в красных юбках когда поют — они же восемь фунтов тянут!

Сначала, перед тем, как в Москву ездили, трудно приходилось с дирижерами. Ни за что они не считаются с нашим пением. Он говорит: смилуйся, не кричи, пой по нотам! Нашим мужикам нот не надо — какие там еще

ноты, я вольготно пою. Когда по радио иногда ницавские песни поют, я и не слушаю вовсе. Ничего там не остается от этих песен.

А с песней так — всегда заранее надо подумать, что там прибавить можно — как это мы в Валмиеру приедем без песни? Ветер ли меня принес, иль течением прибило? Всегда надо быть готовой что-то добавить. Это уж запе-вала должна подготовить.

Матушка Малинь не может сразу вспомнить, где и как пели такое, что к местным жителям относится. А мне приходят на память суйтские певицы. В то лето, в самую пору цветения, люди шли как на гулянье или на кладбище в день поминовения усопших — в «Калачах», как обычно, в последнее воскресенье мая отмечался день памяти Вейденбаума. В саду толпы народа. Возле клетки под дубом ярко выделялись суйтки в своих нарядах. Когда мы, поэты, приехали, они стали нас втягивать в чистейшую импровизацию, со своим насмешливым суйтским «э»: *Писари сюда собрались. Чтоб со мною потягаться, э-эээ! Не хвалитесь, пишущие. Одолесть вам не удастся, э-эээ! Вы все в книгах пишете. Я в своей головушке...* Мы так и не смогли опомниться. В конце они стали опевать женщин из Видземе, и ни один голос не отозвался. Как сказал Янис Слеже: нет противников.

В пятьдесят пятом году ницавки пели на сцене Академии наук, в пятьдесят шестом — в Москве на фестивале.

В Москве мы заняли первое место, мы везде занимаем первое место, наверно, по случаю этих самых красных юбок и огромных сакт.

Я вслушиваюсь: чудесен язык матушки Малинь... Наверно, по случаю этих самых красных юбок и огромных сакт... Я слушаю — какие переходы! — от хвастливого наигрыша к самоиронизированию, от простой сердечности к самоуважительной гордости, но за всем этим чувствуется добрая песенная застенчивость.

Мой сундук остался в Москве. Уговорили меня, чтоб с собой взяла, такой, мол, красивый. Увезти вам всегда помогут, привезти — некому. С вокзала в концерт дали машину, обратно — никто и знать ничего не хочет. Очень на него один заглядывался, русский поэт. Отдала я.

На автобусе повезли нас Москву показывать. Два часа по Москве ездили, а окна в автобусе замерзшие, ничего не видно.

Тогда начинались времена телевидения. Было это на Сельскохозяйственной выставке, на нижнем этаже, напротив душевые. Мамаша Клампис тоже хотела эту телевизию посмотреть. Да двери перепутала. Входит, спрашивает: скажите, пожалуйста, здесь эта дивизия? Какая еще дивизия. Мужики тут моются.

Матушка Малинь показывает фотографии, их в доме каждой такой певицы найдешь — вот и все, что остается от этого пения, простой кусочек картона.

Здесь мы все три эти самые, звонкоголосые. Одна уже померла, перебралась в Ригу и померла.

Ну да, одна из этих звонкоголосых померла. Но ведь растут же поэты. Уж матушка Малинь всех окрестных поэтов знает. Скажем, Гутманис. Гутманис матушке Малинь очень нравится.

Он всегда хочет кислой кваша. Так я ему всегда бидончик этой кваша с собой даю. Косу держать не умеет, а туда же, я косить пойду. Но хороший он человек. Хоть и стара я, а стихи почитываю. Рита Керве тоже ко мне приходила: матушка Малинь, ты спой мне какую-нибудь песню! И сидела, слушала. Интересная девушка.

И сейчас рядом с матушкой Малинь сидит какая-то девушка и записывает все, что мы говорим, этакое предпримчивое личико, уж она-то знает, что делает. Всегда, как только кто-то приходит, она тут как тут, слушает и записывает. Это мои приемные дочери, говорит матушка Малинь, из средней школы. Мне их воспитывать надо. Время от времени они сменяются.

Бука из Руцавской средней школы тоже хорошие стихи пишет. Вот только в Вецвагаре матушка Малинь сомневается. Получится из него поэт? По мне, так нету там ничего. И матушка Малинь идет к его бабушке и говорит: «Прохвост этакий! Что это у него там — об этих самых груздях? Не пойму я что-то. Выйдет толк из этого прохвоста или нет?» А вы как думаете? Ну что я могу думать, проживем — увидим. Нет, матушку Малинь такой ответ не устраивает: он же на поэта учится там, у вас!

Я говорю, что на поэта выучиться нельзя, нужен талант. Но мне очень хочется, чтобы матушка Малинь пела вместе с другими женщинами в фильме «Вей, ветерок», ведь она знает каждый шаг в том свадебном обряде, где Улдис, приехав жениться... Да, да, матушка Малинь знает Улдиса. Трепло, говорит она. Она поедет, если понадобится. И она провожает меня через двор, мимо этого

чертова пса, а дальше — море глины. Как же вы выберетесь, надо до рассвета подождать. Никакого фонарика у вас нет?

Над просторами Ницы разгулялся ветер. Холодно. Натягиваю капюшон, но все равно продувает. Гутманис ей понравился. Вы скажите, чтоб он приезжал, если его увидите. Бодренькая старушка, сразу теплее делается, когда о ней думаешь.

Подлинную силу народных песен я впервые по-настоящему ощутил благодаря женщинам Ницы. В тот раз мы, писатели, ехали в экскурсию по Курземе, и уже заранее было договорено, что в клубе «Золотой звезды» нам покажут инсценировку ницавской свадьбы. Верьте или нет, но у меня, когда слушал песни, в горле комок застрял, и писатель Миервалдис Бирзе, несмотря на свое закаленное сердце врача, тоже каким-то странным стал. Режиссер Петерис Петерсон, быть может, в эту минуту мысленно уже ставил огромный спектакль по народным песням на сцене Художественного театра. Вообще, это был очень впечатляющий вечер. Тогда я и решил обязательно приехать сюда еще раз. Меня удивило и то, что в постановке прекрасно пели и молодые девушки. О Вие Пудзене говорили, что она, пожалуй, знает больше песен, чем некоторые старые женщины, из такой уж она семьи, отец и мать раньше часто бывали на свадьбах поезжанами, дочь переняла их песни. И тогда уже я был удивлен, что такой прекрасный ансамбль мы не слышали ни по радио, ни по телевидению. Никогда эти люди не выступали с концертами в Риге, в Дзинтари — в концертном зале филармонии, во Дворце культуры ВЭФа, в домах культуры? В Дзинтари мы бывали, сказала матушка Пиртниека. Мы там были в клубе пожарной команды. В большой мир вам следовало идти, подумал я, а не в какой-то клуб пожарной команды! И пластинки с вашими песнями мгновенно бы раскупили в Риге, Москве, Париже. Мы с матушкой Пиртниека танцевали в тот раз то ли польку, то ли рейнлендер, и мне было стыдно сознаться, что я задыхаюсь. Хорошо, что матушка Пиртниека первая заявила, что больше не может.

Ее уже нет. А еще месяц назад она пела в школе. Была спокойной, сговорчивой, никогда не спорила, но твердо стояла на своем. Было ей лет восемьдесят, жила она довольно далеко, подъехать туда нельзя было, на репетиции всегда ходила пешком. И вообще она всюду хо-

дила только пешком. И молодые у них были в стариков. На елку дети всегда ходили с дедом и с бабушкой... Я хотел пойти проститься с нею, но Расма меня отговорила — здесь это не принято, люди тут гордые, замкнутые и в такой час чужаку не обрадуются. Я не пошел. Я лежал в маленькой комнатушке общежития и размышлял.

Аксакалы, которых нам показывали на Азербайджанской киностудии (деду 157 лет, сыну за сто, внуку под девяносто) — они ведь тоже всюду только пешком ходили либо ездили на лошадях. Когда киношники самому старшему предложили подвезти его на машине, он отказался: она воняет. Хотите, сказал он, возите мою жену, глядишь, я на новой женюсь.

Паралитики, скрюченные радикулитом гении технической революции! Вы же не станете сами ходить пешком. Так постарайтесь хотя бы теоретически и юридически обосновать необходимость пешехода! Пусть останется миру, после того, как пешеходы вымрут, хотя бы один эталон этого ископаемого, исходя из которого человечество, при желании, могло бы когда-нибудь воссоздать здоровое племя пешеходов.

...На елку всегда ходили с дедом и с бабушкой... Это значит, что в семье царило чувство общности. «Эмансипация бабушек» в своих уродливых формах не затронула эту семью, бабушка осталась **ВЕРНОЙ ДЕТЯМ**.

Зачастую бабушки, «бросающие» внуков, своих детей тоже растили только собственными силами, оттого-то они и заявляют безо всяких укоров совести: я своих вырастила сама, теперь вы растите своих. А в результате семейные связи, из которых выпадает дед и бабка, на одну треть ссхращаются, укорачиваются, обрубаются, дети теряют некое чувство теплоты, которое не объяснишь словами, первичное ощущение общности... Вопрос о бабушках и внуках — это вопрос о патриотическом воспитании.

В автобусе я услышал разговор двух бабуль:

— Слюна течет и зуб режется. Дашь попить, опять спит.

— Пока маленький, трудно растить, но зато время быстрее летит.

— Летит-то быстрее, да с нервами беда.

Раньше бабушки не знали, что с нервами беда. Наверное, не читали «Здоровье». Растили — и все тут.

Я сказал, что Расма меня отговорила. Если уж рассказывать о женщинах «Золотой звезды», то прежде все-

го надо рассказывать о Расме. Ницавцы все время упоминали о старом Кибуре. Старый Кибур был когда-то в Барте подлинным организатором, но теперь уже постарел. Но разве не может ездить из города, из музыкального училища кто-нибудь знающий дело, любящий его?

Как это ездить? Женщины удивляются. Нет, конечно! Надо быть такой, как Расма, которая всех знает. Она действительно от всей души делает это. Дни и ночи она ходила, забыв о своей болезни. Вот это действительно драгоценные камни, которые так горят.

Расма Аттека — учительница. Когда я нынче встретил ее в школе, она выглядела усталой, готовилась ехать в санаторий лечиться. Дома у Расмы, насколько я помню, пять детишек. Что заставляет ее брать на себя еще и эту нагрузку, эту неоплачиваемую и неоплатную работу? Но она идет и все устраивает и уговаривает, если надо. Сама Расма приехала сюда из других краев, с совершенно другими взглядами на жизнь, поэтому сначала ей приходилось нелегко. Даже очень нелегко. Ницавцы в свой круг не так-то быстро принимают. Говорят: что паводком принесло, паводком унесет. Матери укоряют: неужто своих девушек нет, чтоб жениться? Неужто обязательно надо эту учительницу брать? И проходит еще три года, не меньше, прежде чем тебя станут считать своей. Потому что ницавки хотят познакомиться с матерью девушки: когда мы знаем, какова мать, то знаем и какова невестка. Трудно завоевать их расположение, еще труднее — завоевать доверие. Но уж если тебя сочли своей — так это на всю жизнь.

В первый год надо варить еду на всю мужнину семью, девка-то еще молодая, бестолковая, суп с клецками густоват, долъешь молоком — слишком жидок, добавляешь клецок, сердце стучит... Подходит свекровь, смотрит. Варишь ты этот суп, как Екаб Светкалейс. Каша это, а не суп, полный котел. Целый месяц придется есть!

Вы-то не знаете, что это за Екаб Светкалейс. Про него анекдоты рассказывают. Сдают молоко на приемный пункт. Бидон Екаба возчик обратно привозит — водой разбавлено. Екаб негодует: надо же, заметили!

И Руйка такая же — не дает песенницам две красные юбки, которые у нее есть. И вдруг в один прекрасный день говорит: вот шкода-то какая — мыши изгрызли!

Ницавцы негостеприимны? С гостеприимством так обстоит: пусть работают! Чего по свету шатаются, бродя-

ги несчастные! Поэтому нелегко вам будет, ницавцы люди сдержанные и сразу не раскроются. И разговаривают они грубее, чем в действительности думают: ну, опять будешь жрать? Глотка выгорела? Или: ну, так ты еще не сдох?

Надо их поглубже узнать. Говорят: ницавцы скупы. Сами ницавцы говорят: мы не скупые, мы бережливые. И это большая разница. Тот лишь, кто привык поверхностно судить о людях, станет бросаться словами — скупой, скупец. Такой человек не отличает щедрого от расточителя, рвача от бережливого, бережливого от скупого. А главное в них, конечно, то, что они работающие, дьявольски работающие.

О чужом человеке в Нице обычно и знать никто ничего не хочет, но если надо его принять, то честь честью, на званом вечере три-четыре перемены блюд должно быть. Тут уж гордость говорит. На свадьбу идти, значит, надо себя показать. Если женятся местные — двадцать почетных арок, у каждой по бутылке — и это считается пустяком. Еще этим летом такого можно было насмотреться!

И трудно вытащить людей из дому. Те, что приходят петь на людях, — это, так сказать, зерно другого помола. Большая часть — не приходит, а песенники есть почти в каждом доме.

Люди очень горды. Даже если им что-то понравится, вида не подадут. Скажут: пусть те ходят, у кого голоса хорошие. Но согласиться с ними было бы великим для них оскорблением. И с запевалами то же самое, друг друга подталкивают — ты иди! Куда уж мне! — хотя все знают, кто должен запевать, но сама она никогда об этом не скажет.

И вот, мне надо пуститься в море гордости, стучаться в двери самоуверенности и за грубым безразличием или суровостью пытаться разглядеть ту сердечность, из которой рождаются песни.

В Кибурциеме песенница Пулькене пела Мелнгайлису такую песню о понизовщиках — ницавцах, живущих в нижнем течении Барты.

Я спросила у селедок,
Как там девки день проводят.
Нить сучат, прядут, мотают,
Ходят, пузо заголив.

И чем дальше, тем хуже. Наши сегодняшние правила благопристойности не позволяют цитировать — чего там только не происходит с плодоносящими частями тела ницавских девушек! Мелнгайлис очень рассержен этим: все это беззастенчивая ложь. Потому что и сейчас почти каждая ницавка носит груз девяти юбок. Нельзя Ницу унижать. Отнюдь.

Прежде всего — к Вие. Я уже говорил, что Вия самая молодая песенница, она работает в магазине, очень общительна, и с нею легко разговаривать: в шутку, всерьез, как угодно. Совсем не похожа на ницавку, приходит мне в голову. Мама ее более замкнута. Приходит с работы отец, сам Ауза. Двадцать или тридцать брачных церемоний провели они оба. И Вия с ними, помогает свадебные столы накрывать. А когда отцу с матерью туго приходилось в песенных состязаниях, не могла девчонка выдерживать — тоже бросалась в бой. Потом уже девочку стали специально вызывать на состязание, все знали ее увлеченность песнями, не чужие ведь.

Я все время, пока на свои ноги не встала, в хоре была. С пятнадцати лет. Зимой, как с бревнами покончим, так тут же вечером на спевку.

А сейчас вы могли бы свадьбу провести?

Йоо!

Это звучит здорово убедительно. Словно затычку загнали в бочонок.

О Микелисе Лусене жители Ницы говорят: крепок характером, живет одиноко, полгода был женат, развелся, все из-за того же характера. У Лусена свадьба была как раз в то время, когда шли репетиции перед поездкой в Москву. Про гостей из министерства такое пели, такого перцу им задали, что аж страшно было, выдержат ли. Так совпали две свадьбы. Свадьба Лусена и свадьба на сцене. В этой сценической свадьбе невеста была очень молода и красива. Начальник из Риги влюбился и сам загримировывал невесту, других никого, только невесту.

Лусен поет с душой, он настоящий певец, для него песня никогда не кончается. Живет он холостячки, с одной стороны — больше забот, с другой опять же — меньше. Театры, которые в Лиенаю приезжают, надо все посмотреть. «Перепись скота» мне совсем не понравилась, по-

казалась слишком преувеличенной, а «Портрет лива из Старой Риги» — ничего, прилично.

Когда мне лучше всего жилось? Мне никогда плохо не жилось. Вся жизнь прошла на ногах и в разъездах. После войны переехал сюда из леса, бегал на спевки.

Жена была, сбежал от нее. Пока я был в Москве на фестивале, она двух свиней заколола, долги свои отдавала. Больше я не хочу жениться. И так хорошо.

А почему не остается тех, кто бы продолжил песню? Да в том-то и дело, что разбегаются все. Микелис на минутку задумывается, размышляет, но не может вспомнить ни одного человека, который бы увлекался пением. Кепаусис этот самый только отмахивается: да ну вас! Янис Спунтулис на лесопилке работает: тоже времени нет. Другой Янис мог бы петь, да пьянством увлекся.

Мне-то нравится, я хожу, говорит Лусен. Жаль вот, что Отис не ходит, а он был очень хорош. Мать его запевалой была. Геда Байтене тоже больная уже... А Вийина мама? И сам Ауза?

Вия только посмеивается: куда уж им, того и гляди, вставные зубы выпадут.

А у Микелиса нет вставных зубов? И у Микелиса есть! Да уж чего там, отговорка это.

Чем вы еще увлекаетесь? Я и сам уже чувствую, что неловкий этот вопрос для жителя Ницы звучит по-дурацки, но Лусен выходит из положения не раздражаясь, с честью: чем древний семидесятитрехлетний старик может особенно увлекаться.

Вот уж не знал, что в этом краю такие могучие люди, чуть ли не в каждом доме есть семидесятилетние старики, которым больше пятидесяти не дашь. Вот так и Ауза сказал об умершей Пиртниесе: она уже пожилая была, лет восьмидесяти. Не старая, а всего лишь — пожилая.

Маргриета Рунне живет в таком основательном ницавском доме. В доме жили деды и прадеды, в двадцатых годах он был восстановлен, вся кромка крыши резная. С коньками на концах тростниковой кровли? Увы, резных коньков больше нет.

Уже смеркается, в сенях ничего не разглядишь, но кто-то там есть. Пахнет свежим мясом (во дворе на снегу была кровь), он говорит: легки на помине. Это, наверное, про нас.

Маргриета читает книгу «Призраки диких лесов». Уже

во второй раз. Росла как обычно: деревенская детвора, скот пасли — петь раздольно. Он говорит — присмотрел се с колыбели, тогда уже протяжное «э» вытягивала. Потом в школу ходила. Дома ее звали Маллите. Маллите приезжает — весь дом звенит.

Когда время завтрака подходило, я прислушивалась, что окрест делается. После завтрака все выходили с песнями. В обед — меньше, но после обеда, под вечер — опять. Далеко было слышно соседей, по песням узнаешь, что они работу кончили. Вечером, если настроение хорошее, опять собирались. На чтение времени не было, только и оставалось что петь.

Я ее Маджей зову, Руннис маленько выпил, как и полагается на поминках свиньи, и подмигивает мне, увидишь, все будет отлично. Хозяйка не спорит. Это ведь тоже производное имя, в школе ее звали Маджите, Маджите. В пятом или шестом классе записала она сотни народных песен, отдала учителю. Рисовали они и узоры для рукавиц, рукавицы как живые были, в Лиепаве их потом на выставке показывали.

А когда вам лучше всего жилось?

Теперь! Теперь времени больше, чтобы подумать. Каждый сидел в своем доме, человека не увидишь. Сбегаешь в Пудзени к девчонкам, редко-редко — на какую-нибудь вечеринку. Я знала жителей только своей стороны. Зареченских не видела и не знала. Теперь все вместе. Все время мы грязь месили, ни проехать, ни пройти. С этого лета новую дорогу сделали — ни дожди не заливают, ни снег не заносит.

Перебраться в центр? Жаль плодовых деревьев. На нашем веку другие уже не вырастут.

Есть проблема одна, которая меня сердит: если мы теперь за двадцать лет не можем получать по четыре тысячи литров молока, то это позор! А возможности есть! Что молодые делают? Чему их учат?!

Разве мне кто-то петь когда-нибудь запрещал? Разве что этот, Малле показывает на своего старика. Для него, что ни делается — бал. Опять ты на бал едешь! Ну ладно, ладно, помолчи! У Малле более тонкое восприятие, наверное, она и песни тонко чувствует. У нее тихий голос. Тихие голоса больше прислушиваются к другим, громкие голоса из-за собственного других не слышат, приходит мне в голову. Лусен интересен тем, что начинает с верхних тонов. А Вия веселая и ласковая. Так вот мы и живем.

А что мне еще надо?..

Уже стемнело, а нам надо успеть к Отаньке, про которую Лусен сказал: второй такой не найдешь.

Маргриета Отаньке печет пироги, кличет внуков, чужие люди пришли, натягивает на мальчишку синий сюртучок с золотыми пуговками. Вия хочет знать: почему Отаньке не может свою Майру приводить на репетиции? Отаньке думает, что почему же, можно вообще-то, времени бы хватило, да вот национальных костюмов нет.

А Майра ходит на кулинарные курсы. Я спрашиваю, когда в последний раз в этом доме варили журе и мурчеклис. И когда пекли рейзинис? Майра о них и слыхом не слыхивала.

Журе — это овсяный кисель, мурчеклис — хлебный суп с клецками. Ни в одной курземской столовой или ресторане этих блюд уже не готовят. Готовят харчо, плов, пельмени. Рейзинис — не пекут. Даже не знают, что это лепешки из тертого картофеля, в которых запечены кусочки сала. А пимслу едят с селедкой, и пимсла — это каша из ржаной муки.

Что ни говорите, а ницавцы опасаются за чистоту своих песен. Когда раньше представляли свадьбу, то было человек тридцать пять. А потом придали руководителя, который нас так порастряс, что ничего уже от этой свадьбы не осталось.

Всяко бывало. Карлис Лиела в то время ввел в церемонию старинной свадьбы пионеров. Хорошо, что шум поднялся. Где это вы видели в старинной свадьбе пионеров! Опять же Тетере приехала и назвала нас во пленницами. Да только из-за этих самых дурных во пленниц она же в Москву попала!

У Катрины Байте голос был совсем особенный, дирижер запретил ей петь, мол, слишком грубо она поет. И вот всегда у нас так с горожанами.

Только что в «Золотой звезде» был юбилей — 25 лет. Юбилейная постановка продолжалась целый час, а телевидение снимало всего восемь минут, а потом до пяти урезали. Начальство речи говорило, для пения времени не хватило.

Так с явным недовольством говорил старый Ауза, на это же досадовали и другие. Это, быть может, единственный латвийский колхоз, владеющий таким духовным бо-

гатством, как ницавская песня. И сколько сил в нее вкладывается! И опять то же самое — показывают на экране машины, имеющиеся в каждом колхозе, и все тех же начальников, что ни спеть не могут, ни слова сказать. Почему не могли хор пустить по телевизору на весь час? Все, кто видел передачу, говорили: речи, которые там произносились, никто не запомнил. Остались в памяти только те несколько минут, когда песни передавали.

Маргриету Байде тоже называют Маллите или Маргужа. Первое, что замечаешь, входя в комнату Байде: слабое электрическое освещение, просто угнетающе темно. Когда-то везде очень много пели, рассказывает Байде. На любой работе, в сумерки, когда не разрешалось свет зажигать...

Быть может, призрак бедности долго еще сопровождает человека. Быть может, и электрический свет оттого слабее, чем в других домах, — в кровь и плоть вошло ощущение бедности. Быть может, от этого не избавляются всю жизнь. В комнате Байде открывается, если так можно выразиться, классовое прошлое Ницы. Я спрашиваю Байде, что она может рассказать о других певцах: каков характер их песен и каковы они сами по своему характеру? Лусен? По характеру? По характеру хозяйский сын. Рунне? Чем она отличается? Она тоже хозяйская дочь. Сапате? Она, как и я, в батрацкой семье родилась, долгое время работала у хозяев. Отаньке — хозяйская дочка, она всю жизнь могла петь.

Что мы имели? Один гектар земли и одну корову.

Я спрашиваю у Байде: вы можете меня опеть? Ну чего это я стану охаивать вас, говорит Байде, я впервые вас вижу.

У Маргриеты Силениеце, тут же по соседству, песенная проблема считается совершенно ясной — ни молодые, ни старички по-настоящему не осознают, какое богатство им дано. Я начну петь, когда состарюсь, сказала Айна, дочь Силениеце. Возможно, что сказано это было наполовину в шутку, но все равно тут сказалось современное понимание народной песни: она не для нынешней молодежи. Мы стали спорить. Да, но мать тоже в молодости не пела! Мать такую аргументацию отвергает: если бы я в молодости не пела, то не пела бы и теперь! Песенные возглашения я в риге выучила, когда лен сушили: никто не видит, не слышит, можно было возглашать без

опаски. Были там и взрослые девушки, я вместе с ними стала учиться.

Мать и дочь продолжают спорить.

Когда ты девчонкой была, ты все песни знала.

Я забыла.

Как ты посмела забыть!

Как ты посмела забыть... В Ницавской школе я беседую с учительницей Неймане, она создает в Нице второй вокальный коллектив пожилых людей, не здесь в Отаньках, а в Нице, там, где матушка Малинь. (Матушка Малинь уже спрашивает, когда мы начнем.) Но почему именно коллектив пожилых людей? Почему в школе не может существовать молодежный хор или хотя бы ансамбль Ницавской песни? Учитель Янсон, как и все учителя пения, перегружен обязательным репертуаром, но ведь ансамбль мог бы составить свой, местный репертуар.

Можно было бы, не подумали. Кто-нибудь из учителей на уроках пения, или на уроках литературы, или на уроках истории, или на занятиях по обществоведению, или на уроках воспитания дал ребятам хоть какое-то представление о богатстве и общественном значении Ницавской народной песни? И пусть не говорят мне, что программой это не предусмотрено или программа этого не позволяет. Программа позволяет! Программа-то как раз и требует от воспитателя, чтобы он насыщал детей тем богатством, что существует вокруг и лежит тут же за порогом. В Павлишской школе, которой руководил Сухомлинский, замечательный украинский педагог, висел плакат: «Матери! Рассказывайте своим детям народные сказки!» Индейцы не знали ценности золота, пока не появились в их краях разбойники-золотоискатели. А те, кто строит дороги на залежах мрамора в горах, не чувствуют красоту мрамора. Люди привыкают к своим ценностям как к чему-то будничному. Все считают эту Руцаву каким-то чудом, говорит Маргарита Штибеле. Так ведь это и есть чудо! Вот только и сами песенники не умеют оценить свое богатство. Народная песня сегодня уже не является будничной, какой она была раньше во время уборки навоза, льна, молотьбы или других работ. В будни ее уже не поют, ни приступая к работе, ни заканчивая ее. Как говорит Силениеце да и другие песенницы: нет больше таких работ, где можно было попеть всем вместе. В начале колхозной жизни мы пели еще на свекольном поле и в жатву, а теперь все комбайном убирают. И это вер-

но. Сегодня в Нице песня становится уже небудничной ценностью, хотя и не утраченной еще. Но в ближайшие годы ее можно утратить. А передать эстафету совсем не трудно. Когда мы разговаривали в учительской, у меня сам собою возник вопрос: почему вы хотите организовывать именно коллективы пожилых людей? Только экзотики ради? Поглядите, мол, что за старушечки, и откуда они взялись? А поют-то как здорово! Настоящий спектакль, верно? Мы показываем древних старушек, их старинные юбки, а не песни. Но песню следует исполнить ради самой песни, ради тех общественных ценностей, которые содержатся в песне. 17 июля 1970 года газета «Падомью Яунатне» писала: «...Этнографических ансамблей в нашей республике невероятно мало...» Почему в школе не может существовать ансамбль Ницавской песни? В школе на уроках пения учат ноты. А прислушиваться к окрестной песенной стихии в Ницавской средней школе не приучают совсем, так же, как и в других школах, у девочек песенные тетради заполнены здесь всяческой дешевкой.

Рядом со строчками Порука — вот такое:

Безумные вещи творятся в мае,
Когда весна сердца раскрывает.
Ток электрический искру рождает,
Два сердца горячих любовь порождают.

Стишки эти существовали и в прежние времена. Что же добавилось нового? Словно ничего не изменилось. Однако техническая революция все же произошла, и добавились на внутренней стороне обложки — номера телефонов. Когда это у деревенской девушки было в тетрадке 60 телефонных номеров?

Жизнь живи, живую жизнь, жизнь живая оживляет плюс 60 телефонных номеров... Тетрадки эти, конечно, были и будут, было бы глупо на это досадовать, потому что существует в эмоциональной градации и такая вещь, как сентимент. Сентимент — это ослабленная жизненная энергия, а людей с ослабленной или неразвитой жизненной энергией — много. Повышает энергию другая тетрадь. Я видел такую в Лайдзесском совхозе-техникуме в лаборатории вычислительных машин. На ней было написано: **КЛАВИШНАЯ ТЕТРАДЬ ИНЦИСА.**

Такие «клавишные тетради» не позволяют человеку пропасть, это тетради учебы и труда. Трудовой ритм предохраняет в известной степени от сентиментального вы-

рождения. Еще вернее предохраняет от этого философия труда и радости, которой так богаты народные песни. Сложные математические расчеты ученых свидетельствуют, что степень интуиции (а следовательно, и вкуса) у создателей народных песен и тех, кто «шлифует» их, по крайней мере столь же высока, как у Моцарта или Тосканини. Поэтому меня беспокоит, что наряду с этими двумя тетрадями нигде не была обнаружена третья тетрадка: с записями народных песен, услышанных от бабушки и других старых людей. Только у матушки Малинь девушка записывала песни, одна только молодая поэтесса Рита Керве приходила и интересовалась сокровищами матушки Малинь. Да еще некоторые новобрачные, которым хотелось красиво сыграть свадьбу свою, но которые забыли, как это делается.

Если уж разговор пошел серьезный, так давайте его продолжать. У Айны свои проблемы. В журнале мод новые подвенечные платья нынче без венца! А как же косу теперь расплетать? Вся Ница удивляется. У Айны сейчас нет журнала. Но можно позвонить подруге и узнать, в каком номере это было. Да, 72-й год, четвертый номер. Ее беспокойство имеет свое основание. И так уже все праздники одинаковы, а теперь и этот, самый торжественный момент человеческой жизни потеряет свою символику? Старый обряд уже утерян, новый не найден...

И как раз сегодня в Барте свадьба. Вия охотно поедет — надо взглянуть, как умеют праздновать соседи. Поедем? В таком случае надо позвонить.

Альвина, ты сегодня вечером свободна? Хочешь поехать на свадьбу?

Быть может, Вия уговорит Альвину. Очень хочется побывать на свадьбе в этой округе. Слушал я песни Руцавы, слушал песни Ницы, бартские еще не слушал. Руцавки — они тянут — у них все песни одинаковые, говорила матушка Малинь. А вот в Барте поют по-ницавски.

Собирайтесь, собирайтесь,
Расширяйте наш кружок!

Да, Альвина поедет. Принимала ванну, но поедет.

Долго парень умолял,
Гладил по головке...

Поздравляем Велту Тожис и Гунара Крейслера в день свадьбы!

Профком Бартского колхоза.

На свадьбе мы побывали, молодых поздравили — пусть ничто им не надоедает и пусть они никому не надоедают! — с сестрой невесты танцевали, пироги сверкали спинками, и мед по усам тек. Как и положено на свадьбе. Вот только великолепия прославленных традиций Барты не было. И потому — да будет так: пусть родится дочь — великая песенница или сын, не стыдящийся песен!

Хочется домой. Ницавские дома среди верб стоят, как девушки с челкой на лбу. Полого наклонны крытые тростником скаты крыш. Черные над белизною оконных рам — трехсотлетние. Не видели они таких чудес, чтобы верба на рождество цвела. Спятил, что ли, церковный календарь?

Вот и говори, что бога нет! — бубнит шофер «Колхиды». Другой: как это нет? Бог, словно бык, сидит на хвосте.

О чем это они? Да ни о чем. Просто языками чешут, чтобы сон не сморил.

Я хочу домой.

● 17. ГЛАВА, ГДЕ ОБНАРУЖИВАЕТСЯ БОЛЬШИЙ СПРОС НА СКРИПКИ, ЧЕМ НА ЛОДКИ

ЗДРАВСТВУЙ, СОЛНЦЕ РАССВЕТА! Высечено на камне. Здесь покоится его мать. 13 мая 1926 года корявыми буквами он запишет в школьной тетрадке:

Сегодня, сегодня моя мамуленька опять обратилась в атомы вечности.

Но пока мы об этом ничего не знаем. У нас еще нет его дневника. Есть только каменная скульптура матери на Виргавском кладбище и кресты со старинными фамилиями: Микелис Аугстпутис, Казбукис Янис, Микелис Смагис, Гедас Пуце, Снейбис Андрей, Силтс Маргриета...

Там, за прибрежными соснами, было село Силениеки, здесь проходил фронт, осталось только село Пайпас — дома три.

Сегодня воскресенье, у нас есть газик, и мы сажаем к себе рыбака, идущего в Ницу, он покажет нам дорогу.

И он показывает: за теми болотистыми лугами — дюны, а вдоль дюн — дома. Здесь и геологи ездят. Поезжай смело! Смело еду и увязаю. Выхлопная труба уже хрипит под водой, я пытаюсь включить передние ведущие, но почему-то не срабатывает сцепление. Засели! Надо искать тягач. Наш рыбак говорит: по хорошей дороге туда можно было наверняка проехать, и говорить ничего. Конечно, говорю я. Конечно.

Ну что ж, пока Андрей Кретайнис, Янис Жажа и Пейпа выпьют по воскресной рюмочке и решат — вытаскивать меня лошадью или не вытаскивать, мы пройдем к тому дому, куда когда-то приезжали из Лиепайи и других мест друзья, снобы-экскурсанты, жадные до сенсаций, болтуны и бог знает еще кто.

— *Латышские юноши и девушки, сходите посмотреть на юношу, который в наш век спорта и рекордов поставил рекорд скромности, простоты, любви к труду и ясности духа. Быть может, он и счастлив! Каждому посетителю он рад. Автобус довезет вас до Бернат, а затем вам примерно 10 километров надо пройти пешком до его дома, что возле Купской горы.*

Несчастные бездельники! Вот так они и шлялись.

— *В Нице, среди дюн бедного взморского поселка... Тут же по соседству шумит море и ветры воют в сосновом лесу. Как жемчужина в раковине, там приютилась в песках серая хибарка. Множество равнодушных проходит мимо и даже не догадывается, что в стенах покосившейся от ветхости и морских ветров хибарки...*

Ах! ах! ах!

— Он предложил нам ржаной хлеб с солью и молоко с такой сердечностью, что...

Salve!

Вот видите, Вы не ездите в гости на Рижское взморье — неумолим! Я приехала на Лиепайское взморье всего на один день — будь в моем распоряжении еще один свободный день, обязательно приехала бы в Ницу! Пусть Вам это не по нраву, я все же хочу представиться!

«Весенняя мечта»

— И вот Вы уехали. Нам без Вас как-то скучно. Много о Вас думалось, и все же ни к какому выводу я не пришел... В случае, если Вы переберетесь в город на какое-то время, я всеми силами буду оберегать Вас от городской культуры, потому что она абсолютно не дает...

Гугери, 13/X-33.

— Сегодня вечером штормит... Вглядываясь в темноту, я вижу бушующее море и людей, отчаянно борющихся со смертью. Бросив взгляд в сторону — замечаю и Ваш домик. И мне приходит в голову — снова толкнуть дверь, зайти и немножко оторвать Вас от работы.

...Странно устроен человек, иногда ему хочется сказать — он не пришел потому, что не имел достаточного основания.

...Почему некоторым людям дано столько сил? Но знаю я и другое — человек ничего не получает в качестве подарка. За все достигнутое надо дорого платить — черными днями отчаяния.

...Так трудно заглушить зов темных влечений. Они словно выходят из подземелья и издеваются над божественной ясностью духа.

Я знаю людей, у которых хорошее и дурное никогда не смешивается, а течет как два параллельных потока. Эти люди счастливее — однако им чужды душевные муки великих противоречий. Вы тоже к этим счастливым не принадлежите, но у Вас больше сил, чем у меня, чтобы формировать себя, преодолевать.

Кажется мне, что Вы будете сильным, что победы, одержанные в жизни, не опьянят Вас...

Подпись разорвана, неразборчива.

— Придется сказать словами старой истины: «Человек таков же, как его окружение». Жаль, очень жаль, если Вы такой... Да, я ошиблась в выборе мужа, ошиблась и по Вашей вине, ничего, я смеюсь всем в глаза, я смеюсь над их порядочностью, под покровом которой скрывается разврат. Вы тоже склоняете голову перед ними, перед этими отбросами человечества... Простите, что компрометирую Вас своим приездом, у меня не было такого намерения, потому что приехала я обрести покой, чтобы осенью снова можно было работать. Хотелось бы зайти к Вам всего один-единственный раз еще, но не смею, я боюсь Вас.

Эльза.

— Я и Вам хотела только помочь, но Вы испугались и неправильно меня поняли. Я не испытываю недостатка в мужчинах, вот только человека — брата до сих пор не удалось встретить. Но природа никогда не шлет человека в мир, не препоручив величия его души другой, родственной душе. И не может быть подлинной любви к искусству без горячей человеческой любви...

Неизвестно, ответил ли он. Но есть запись в дневнике, запись человека, вся воля которого сосредоточилась в творчестве:

Женщины не раз приводили в восторг творческих гениев человечества. Я не отрицаю этого, я даже признаю, что слишком уж они гипнотизировали великих людей... Я убежден, что не свяжи себя гении человечества семейной жизнью, они бы продвинулись в творчестве значительно дальше.

Грации, вы убиваете, убиваете больше, чем способны создать.

Но так или иначе:

Привет земляку!

Здесь, в окрестностях, пока не предвидится никакого вечера. В Деселе, быть может, и будет, но это далеко-далеко... Возможно, Вам известно какое-нибудь место, где мы могли бы встретиться...

...Простите, что беспокою Вас своим письмом. Очень сожалею, что наша встреча опять сорвалась.

...Очень трудно встретиться. Будь мы знакомы, это было бы значительно легче.

А вот — принесенное другими волнами и другими ветрами:

— Всего один раз в жизни я видела Вас и говорила с Вами... В тот раз, по тону Вашего голоса и выражению лица, я почувствовала, что Вы многое пережили и страдали. Поэтому Вы поймете меня. В тот раз я пришла к Вам, гонимая ощущением мучительной пустоты и бурного беспокойства. Странная, непонятная сила влекла меня к Вам. А когда я вернулась... Нет, это не поддается описанию. Пока Вы провожали меня глазами, я ехала по взморскому песку, но как только Вы пропали из виду, велосипед увяз в песке и пришлось идти пешком и тащить тяжелый велосипед.

Дорога была тяжелой, но мне было ничуть не тяжело. Душа была полна давно не испытанным счастьем. Но тут внезапно налетел шторм, и такой сильный, какого я еще никогда не видела. Ветер дул мне в спину и с бешеной, невиданной скоростью гнал вперед мой велосипед. Мне всегда хотелось полететь когда-нибудь со скоростью ветра, и теперь казалось, что я мчусь вместе с ветром...

17.X.38.

Даугавпилс.

Добрый день!

Быть может, Вы еще помните того солдата, который разговаривал с Вами в городском (Рижском) художественном музее — так вот, это я...

Если я буду жить так, как живу сейчас, то несомненно погибну: это ясно. Я из тех, кому нужен толчок извне, чтобы как-то двигаться вперед... Если бы мы могли работать вместе? Я был бы учеником и рабочим... Все это я говорю не ради себя, а ради той красоты и жажды, которые с детских лет ищут себе выхода, но в силу своего характера я ничего не мог создать.

Розенберг Роб.

И такое:

— С удовольствием бы служила Вам моделью. Хотела бы видеть Ваши глаза, потому что тот, кто вырезает такие прекрасные фигуры, тот и сам должен быть прекрасен. Хотелось бы с Вами переписываться...

И такое тоже:

— В разговоре Вы между прочим упомянули, что много копались и в философии, и тогда в моем сердце родился жгучий вопрос: «А смогли бы Вы заинтересоваться и познакомиться ближе с тем Единым Величайшим из всех, когда-либо живших или еще имеющих жить на свете, который сказал: «Мне дана вся власть на земле и на небесах, и небо и земля исчезнут, но мои слова не исчезнут»? Об этом вопросе мне очень хотелось бы, если возможно, когда-нибудь поговорить с Вами лично...

И совсем серьезно:

— Вы совершаете преступление по отношению к себе, своей работе и своему призванию. Вы совершаете то же самое преступление, что и самоубийца по отношению к

своей жизни. Вы убиваете в себе физического человека: и вот — у Вас развивается сильный ревматизм, а легкие восприимчивы к туберкулезу. Вы подвергаете себя пытке чрезмерного одиночества, позволяете, благоприятствуемые обстоятельствами, вызывать в памяти все мрачные картины прошлого и вообще Вы так завинчиваете свою психику, что действительно пора подумать о том, что она может сдать. Будь это в моей власти, я просто приказала бы Вам покинуть Юрмалциемс или дала бы распоряжение Вас оттуда «изъять», но я могу лишь просить Вас здраво оценить положение и немедленно перебраться в Ригу.

А «одна прекрасная женщина из Лиелварде, учительница, которая восхищается его искусством и зарабатывает 1000 латов в месяц», пишут друзья, согласна немедленно отправить его за границу. Он должен будет на ней жениться. Она согласна жить отдельно, только бы жить ради такого художника.

— Вы мне нужны, Вы с вашим внешним спокойствием и душой, истерзанной внутренними бурями и ненастьем. Вы должны влить в меня силы и дух борьбы. Если вы не хотите сделать этого, то — то у меня больше нет никого. Вы, человек закаленный для борьбы между внешней и внутренней сущностью, — скажите мне хоть несколько словечек.

(Усадьба «Инны» Гавиесской волости)

— Приехать ко мне так просто. От Лиенаи доехать до Айзпуте, а дальше узкоколейкой до станции Валтайки. Школа в $1\frac{1}{2}$ версты от станции... Этим летом Вам надо хотя бы раз приехать, чтобы познакомиться с моим теперешним житьем... Ница ведь суцее пекло, по сравнению со здешними местами!

...А потом, когда моих родителей уже не будет в Нице, не придется туда возвращаться и мне... В последнюю ночь, когда я уходила, то чувствовала себя как больной, который перенес кризис, но все еще слаб и бессилён... До последней минуты ждала я, надеясь, что Вы придете, не дождалась и ушла стиснув зубы. Прожила я 12 лет, потеряв свою молодость и здоровье в ужасающих условиях, а когда уходила, то не нашлось ни одного человека, который по-дружески пожал бы мне руку.

...Было у меня прошлой зимой 62 ученика. По возрасту — от 17 до 7 лет. Очень пестрый состав, но много остроумных и интеллигентных ребят... За всю зиму пришлось наказать только двух мальчишек, со слезами признавшихся в своих проступках и сожалеющих о них. Такую чуткость напрасно было бы искать у Ваших «соотечественников»!

В феврале мы устроили школьный вечер, на который собралась чуть ли не вся волость. Мои нервы были взвинчены до предела, и в случае провала я решила тут же исчезнуть со сцены жизни. Старшие ученики поняли это и старались изо всех сил... Все прошло блестяще, на удивление мне самой. На радостях я тогда и выучилась танцевать тот вечерний вальс, на который у меня раньше не хватало терпения, и танцевала всю ночь напролет...

...Подумываю о том, чтобы сменить место, если состав волостного правления останется таким же черносотенным. Если же его удастся переизбрать, то тогда я, быть может, и останусь. Какая реакция овладела теперь умами в деревне, знает лишь тот, кому приходится иметь дело с «серыми»¹, от демократизма и духа не осталось.

...Внезапно меня охватило желание: летом, когда Вы будете дома, пройти пешком по старому взморью до Вашего маленького домика, взглянуть еще раз на все-все, а потом уйти...

Мой нежный мальчик!

Сегодня воскресенье, а завтра я тоже свободна от школьных забот: можно перевести дыхание, но зато опять подступают грусть и тоска.

...А надо всем этим — желание не потерять Вас, единственную ниточку, связывающую столько воспоминаний и добрых и плохих, но охватывающих всю молодость. Что остается на мою долю теперь — выполнять свои обязанности — вот и все... Рассудок все подчиняет себе, упорядочивает, соразмеряет.

...Перенесенные несправедливости и незаслуженное глумление не позволяют уже быть откровенной с людьми и доверять им, в Нице я вытерпела больше всего и, перебравшись сюда, боюсь пережить это еще раз и оттого

¹ В Латвии кулаков называли «серыми баронами».

держу себя настолько сдержанно, что даже не встречаюсь ни с одним человеком.

Пишу, начинаю размышлять и опять мне становится тяжело: настоящее, прошлое и будущее, все сплетается в один клубок, хочется закричать, убежать — начать все сначала, быть свободной, как птичка в небе... но реальная, серая обыденность на все желания накладывает свою лапу, пригибает к земле и напоминает, что надо до конца тащить цепь своих обязанностей.

Мице.

И еще один зов, прилетевший в эти дюны то ли из Риги, то ли из других мест, столько ветров проносилось здесь — пойдй разберись!

— По вечерам, когда мои милые старички засыпали, я бродила вокруг, словно лунатик. Как хотелось мне тогда улизнуть к Вам, набраться еще большей отваги и воли к жизни, с которыми я и так уже приехала домой... Неужели и впрямь такие люди могут вырасти только в глухих уголках?..

Я хотел написать о скульпторе Микелисе Панкоке, но с головой ушел в письма, судьбы, в тот их клубок, который зовется Встретиться и Не Встретиться, Приди и Не Могу.

Горечь подлинная, обыденность тоже. И еще более подлинная любовь. Иногда экзальтация, немножко сентиментальности — как и бывает в жизни. И во всем этом хитросплетении один голос напоминает:

Будьте таким, каков Вы есть! Всего Вам доброго!

Чем же таким особенным владел Панкок и чего все добивались от него?

Мы плохо во всем разбирались, мы ни о чем таком не догадывались, говорит соседка — Майга Крейтайне. Сначала он в море ходил, а прежде был фельдшером, было у них земли немножко — тем и жили. Был он добрый, отзывчивый. Одному деньги были нужны, другой болел. Тогда медпункта не было, как теперь. Потом уже он выставки устраивал и денег за них получал довольно много.

Откуда у него это появилось?

Что?

Одаренность.

Откуда? Отец был пьяницей, мать тоже здорово выпивала. Сам он был чудаком каким-то — мясо не ел, мелко нарезал сосновую хвою, перемешивал с картошкой. Говорил, что лучше всего может уйти в это свое искусство, если ничего не ел. Когда человек наелся, ему ни до чего дела нет.

Мы стоим на дюнах. Море терпко пахнет водорослями. Вокруг песчаные пригорки, дома здесь стояли между ними и в песчаных овражках. Картофельные делянки тоже устраивали в песчаных ямах — думбиерах. Эти маленькие думбиеры, словно лошадиный глаз, говорит Майга Крейтайне, выкопаны они специально. Быть может, в далеком мираже увидел Юрмалциемс Кобо Абе, когда писал свой роман о людских жилищах и людских мучениях среди песков? Быть может, миражем промелькнула перед Чюрлёнисом угрюмая скала на Земле Франца-Иосифа, когда он писал свой «Покой»? Годы спустя люди нашли эту гору и назвали ее именем Чюрлёниса.

— Панкока нет дома. Одна дверь заперта, на другой — деревянная слега, чтобы ветер не распахивал. Для воров здесь вход свободный, но что тут украдешь? Деревянные скульптуры Панкока в его рабочей комнате, законченные и полузаконченные? У Панкока нет мирских богатств, которых жаждут воры.

Интересно наблюдать сквозь узкое окошечко за образом жизни другого человека. Кровать покрыта полосатым одеялом, на маленьком столике несколько писем, на стене цветная афиша, за планку засунуты бесчисленные зубила и ножи.

Во дворе дома лежит почти достроенная лодка. Впрочем, нет. Она только починена и основательно просмолена, а дыры забиты полосками жести. Но палуба новая, и над нею возвышается крыша большой каюты и штурвал.

Мы, правда, пытались удержать его от этого отчаянного шага. Лодка старая, ненадежная, в одиночку управлять ею невозможно. Нельзя же позволить человеку пойти на верную смерть. Но он и слушать ничего не хотел... Теперь, слава богу, правительственные учреждения запретили ему плавать на этой лодке.

Отец и мать Панкока уже умерли. Единственный его друг — это старый, пятнистый кот.

В поселке все любят Панкока. Когда он соберется уехать, все выйдут его провожать и пожелают счастья в долгой, тяжелой дороге...

Так писали, когда он был здесь.

Теперь лишь сосна на дюне.

Тут под сосной был погреб, тут были яблони, тут — большая береза, ее срубили.

Кто же срубил?

Нелюди. На дрова. Нечем было топить.

Вокруг леса, а кто-то взял и срубил единственную березу, росшую на дюнах.

В «думџиере» Панкока еще растут два куста бузины. А в ямке вода — здесь был колодец. Теперь скотина, пасущаяся тут летом, пьет из этой ямки.

А дом где?

Немцы снесли, взяли бревна для блиндажей.

У него много работ было, комната была битком набита.

Мне кажется, что немцы увезли. На крыше блиндажа стояла у немцев одна деревянная скульптура. Если бы их просто растащили, то тут бы они и остались. У Эрманисов, правда, еще могут быть. Они тоже этот дом разбирали и баньку себе строили. На доме что-то было написано и были изображения, но все это, видишь ли, разобрано и изображений этих не соберешь...

Все это, видишь ли, разобрано и изображений этих не соберешь... Ну и выражения у тебя, мамаша! Всю мировую историю можно определить такой фразой. А о чем он говорил?

Ну, этого так сразу не вспомнишь.

Но вот они, эти пожелтевшие страницы, где с годами почерк становится все более неровным.

— Меня много раз уберегала от боли и страданий философия, потому что я хоть и не систематически, от случая к случаю, но все-таки изучал в течение лет восемнадцати все философские доктрины мира, и мало я могу найти такого, чего бы уже не переваривал. Но все же я знаю, как мало знаю еще.

Быть может, вы читали Френсиса Мелфорда «Умирать — это безнравственно». Читайте его, перечитывайте несколько раз,

20 апреля 1922 года.

Нет ночью покоя, бодрствую часами, борясь с тоской. Я невежда и трус, потому что не умею и не могу закалить себя для жизни в отцовском домике. Хорошо, что ежедневный труд не оставляет времени на размышления.

Вернувшись домой с военной службы, я надеялся многое сделать, но человек, при самом большом желании, из ничего и не сделает ничего. Все же я убежден, что однажды смогу взяться за пластическую деревянную скульптуру, но будет это лишь через несколько лет. И вот этих-то лет мне очень жаль, жаль юношеских сил и той поры, когда ты находишься в расцвете молодости.

1922 год. Иванов день.

Избегать, избегать того, чтобы крушить зеленые побеги и обрывать чью-то маленькую жизнь. Воспитывать в себе великую любовь ко всем формам сущего, во всех их состояниях.

...Сосредоточить в себе законы вселенной. Не делай вреда ни прекрасной розе, ни гадкому червяку...

31 мая 1922 года.

Я убежден, что могу что-то создать, потому что нет у меня недостатка в чувстве внутренней красоты и нежности форм.

4 октября 1923 года.

Сегодня закончил вторую работу — скульптуру «Мечтателя».

Я обрел абсолютную веру в себя и уверенность в том, что действительно нашел себя в этой отрасли искусства. С неколебимой отвагой смотрю в будущее, и будущее будет моим.

11 ноября 1923 года.

Убежден, что быстро войду в конфликт с работодателем, потому что не настолько терпелив, чтобы оставаться в рамках, диктуемых предпринимательством. Знаю, что взлет волны будничного труда будет невысок и не принесет духовного удовлетворения.

16 февраля 1924 года.

Сегодня закончил третью скульптурную работу «Облетающие листья». Много усилий потребовалось мне, чтобы закончить ее в зимнее время, при морозе и холоде. С каждой новой скульптурой мне кажется, что очень-очень убоги формы, в которых воплощается замысел.

Когда работа окончена, меня просто злость разбирает.

29 марта 1924 года.

Снова после больших усилий и трудностей закончил пятую скульптурную работу «Русалка, ласкающая поэта». Сродниться с темным озерным омутом, в котором, словно в пропасти, исчезает все возникающее и сущее.

16 апреля 1924 года.

Сегодня закончил уже четвертую скульптурную работу «Жгучее беспокойство». Не могу больше оставаться дома, безотлагательно надо уйти, безотлагательно.

29 апреля 1924 года.

Вчера был в академии, чтобы узнать, могу ли я посещать занятия по скульптуре. К сожалению, ректор не пришел, поэтому я встретился с доцентом Дзенисом, которому и представился, попросив принять меня в академию в этом семестре. Он, увидев фотографии моих работ, сначала смотрел с недоверчивостью. Но когда я показал ему на уголок фотоснимка, где виднелся мой портрет, он наконец убедился и держался со мной очень любезно, насколько это возможно для доцента по отношению ко мне, заурядному человеку.

Он обещал поговорить обо мне с профессором медицины Сникерисом, чтобы подыскать мне работу в качестве бывшего военного фельдшера. Сегодня же я и сам отправлюсь к генералу и буду просить, чтобы он дал мне работу в подчиненной ему армейской санитарной части.

Генерал Сникерис был чрезвычайно любезен, но в том, что касается работы, посоветовал мне обратиться к скульптору, резчику по дереву Беринеку.

1 мая 1924 года.

Для меня лично, кроме интернационального значения мая, сегодня еще и день рождения, поэтому я полон сознания двойного праздника. Итак, весенний день этого года я проведу в большом городе... Знаю, что разовью свой творческий талант по-настоящему.

8 мая 1924 года.

Как озорной ребенок, дрожу от избытка энергии, беспокойным взглядом нащупываю то мгновение, когда снова проявляю себя в творческом труде. Я уже многое способен перенести. Не понять им вариаций моих ядовитых стремлений, отчуждения, одиночества, блужданий и тоски.

4 августа 1924 года. Рига.

Поистине тяжкий груз давит меня. Все-таки я убежден, что в процессе работы все это понемногу исчезнет и я буду чувствовать себя хорошо. Хочу закалиться против всех обстоятельств. Знаю, что трудно дадутся знания, которые давно уже следовало приобрести. Будет очень страдать чувство собственного достоинства, оно как дьявол не будет давать покоя, придется заставить себя привыкать к насмешкам и обидам со стороны своих товарищей. Эти страдания и боль найдут выражение в поэтических формах моих работ.

6 августа 1924 года.

Святые мадонны Ренессанса, с блаженной близорукостью смиренно отказывающиеся рассеять туман жизненных заблуждений. Пылаю ненавистью к старым изображениям Христа, которые еще выше воздвигли крест человечества и столько раз топили совесть в бессовестности.

Наверное, от своего ханжеского воспитания я приобрел такую огромную ненависть к христам и мариям религии, что мне противны даже произведения искусства, на которых я вижу их изображения.

— Мне очень трудно приходится со стариками, малосильные они для того, чтобы выходить в море. Очень жду твоего возвращения, уж тогда-то мы снова порыбачим как следует.

Твой друг рыбак-испольщик
Миллерис.

4 июля 1924 года.

Как скульптор я буду выражать и воссоздавать, главным образом, психологическую изменчивость человека, чувствую в этом свое призвание. Какие необозримо великие дали открываются мне в дьявольской глубине твоих глаз. И, словно бесконечность, светится там острый и ясный ум.

— Решил написать тебе несколько строчек и проинформировать о нынешней жизни в Юрмалциемсе. Прежде всего, могу сообщить, как живется твоему другу Балцису: в один прекрасный день его сбросило в море и основательно промочило, после чего из него получился настоящий баптистский Янис. Теперь он у баптистов сидит между их наставниками на кафедре, здорово пиликает на скрипке, не слишком уж губы кривит, иногда проповедует, ползает по земле, беседует с духами, рассказывает, что видел сонмы дьяволов, необычных, похожих на фонарь «Летучая мышь». В общем, дело Яниса сейчас в поселке на повестке дня... У меня все почти идет по-старому, почтальоном теперь Янис Зиemitис.

Рыбак-испольщик.

4 августа 1924 года.

Когда, занимаясь ежедневным трудом, я отправлялся в море рыбачить, то единственной опорой для меня было звездное небо, потому что нет опоры под ногами, когда нельзя ловить из-за акробатических прыжков вспененных волн разбушевавшегося моря. В течение семи лет своей рыбацкой жизни я интересовался и знакомился с астрономией и звездами небосвода.

...Чувствую сильную боль в груди, которую заработал в море, прошлой осенью. Как-то мне пришлось очень сильно грести, вытаскивая удочки, и с тех пор начались боли, которые не проходят уже целый год... Жаль, если мне придется сойти со сцены, не выразив свои идеи...

Здравствуй, сын!

У Драйкисов в Чимах подох конь, купленный прошлым летом. Маде Израэль с Екабом Драйкисом были в Лиенае, смотреть лошадей, нынче лошади подешевели — Янис привез из Ницы очень богатую жену Майгу Васар. У Анны Шклеър тоже была свадьба с Микелисом Крауклисом. Мы сейчас здоровы, и вся скотина тоже здорова.

7 IX 24 года.

Увидев мои работы, они умолкли и уже не смеялись над моими высказываниями. Делопроизводительница взглянула несколько раз на мои работы и, вижу, достает какие-то бумаги и говорит, словно не ко мне обращаясь, я вас все-таки запишу. Потом, обращаясь к другим: чего только не бывает. И взяв у меня документы, говорит, чтобы я оставил у нее фотографии своих работ, а утром с рисовальной доской и карандашами пришел на экзамен.

Я поклонился присутствующим, поблагодарил делопроизводительницу, повернулся и ушел. Хотелось мне, правда, сказать, что нет у меня ни рисовальной доски, ни карандашей, но я подумал, что могу этим рассердить ее, и молча вышел.

Генерал Сникерис не помог. Может быть, Райнис? Может быть, Мадерниек¹?

— Я думаю, что Культурный фонд не откажется помочь молодому энтузиасту. В Академии художеств облегчить его путь обещал профессор В. Пурвит,— сказал в своем интервью Я. Райнис.

— Своими силами ему будет трудно пробиться. Тут необходима помощь со стороны наших учреждений,— писал Юлий Мадерниек.

И только мать:

— В понедельник я пошлю тебе каравай хлеба. Ты говори, что тебе надо, я вышлю. Рукавички я тебе свяжу синие, те, что прислала,— это на время только. И будь здоров, мой милый сын. Твои родители. До свидания!

И так все время: звезды с картошкой, звезды с картошкой...

¹ Известный латышский художник.

Я знаю, что когда-нибудь в будущем человечество станет талантливее, станет свободнее после того, как исчезнут мелкие, бессмысленные дневные заботы.

Человек — ныряльщик в океане. Забытый и найденный цветок...

— Последнее время мы не ловили, но рыбы нам хватает, хороших грибов нет, одни маслята, погода очень плохая, дождь льет каждый день.

Проблемы — диссонансы, соответствия — несоответствия. Одна нить, но разные возможности ее разматывать и сматывать. Точка опоры, где ты себя обретишь? Эйнштейновская релятивность, теория относительности, когда ты станешь доступной массам? Когда ты будешь, теория относительности, настолько популярной, что тебя смогут переварить люди из народа?..

Быть вознагражденным или не быть, — к чему все это? Ведь есть только действие и его следствие. Не волноваться поэтому, если не получаешь ожидаемого вознаграждения — покая.

— Рожь мы уже обмолотили, ржи получилось 2 пуры и 4 четверика и ячменя 5 четвериков, и картофель хорош... Пожалуйста, купи наволочку и простыню, деньги не экономя.

...Мне очень жаль тебя — сейчас столько людей болеет и есть заразные болезни.

Очень необходимо учиться, надо углубляться в труды великих деятелей человеческого духа, там сверкают драгоценные камни чистой воды для тех, кто бродит в потемках. Глубоко, поистине глубоко надо вчитываться, анализировать все, что связано с необъятным и далеким прошлым, а также и с настоящим.

Микелис вернулся в Юрмалциемс.

Декабрь 1924 г.

За окном воет ветер и море ревет, слышу снова после долгого перерыва вечную мелодию природы. Мне кажется, что это я сам вздыхаю там снаружи — иногда я гар-

монично сливался с нею в своей доатомной жизни, после распада организма возвращусь обратно на вечную фабрику обмена веществ.

...На жизнь мне надо не много — около тысячи в месяц. Живу экономно. В Риге знакомые меня звали: пойдём туда! Сходим туда! Иногда я шел, но скоро понял, что этак денежки мои могут быстро иссякнуть, поэтому снова спешно приехал сюда — в свою взморскую тишину.

...Сегодня ходил на самый высокий холм наших мест, который находится возле пляжа и возвышается над уровнем моря примерно на 40 метров. На этом холме я частый гость, провожу на его вершине долгие часы.

...В темные осенние вечера я снова возвращался к философии, которую самостоятельно, бессистемно изучал лет 18, переваривая мировые философские доктрины.

В тонкой трясине своего разума прорывал каналы... Хотя при тяжелых ежедневных заботах это очень тяжело дается, но в молодости мы не подвластны усталости... В такие минуты исчезает все будничное, мелкое, серое. Ширь и свобода, близкое, далекое сливаются в высшей гармонии. Зрачки обретают речь, взгляд становится сверлящим и всепроникающим.

...Но любить — лишь с отбором, эстетически и мудро, ибо что значит любить несовершенное, которое мы так часто наблюдаем в природе? Разве сама природа не обращается к нам: «Действуйте!»? В ее лаборатории творите, все более развивайте стремление к совершенству...

Панкок работал фанатично. В течение семи лет пять выставок. Систематически тридцать-пятьдесят работ за год. Надо только поостеречься:

Надо очень остерегаться, чтобы мотивы «космической энтропии» как болевой аккорд не вплетались в форму.

И на памятнике матери высекают слова:

ЗДРАВСТВУЙ, СОЛНЦЕ

Умирает отец.

Некому больше грустить обо мне, потому что отец мой покинул меня одного в старой хибарке...

Теперь я готовлюсь к путешествию на лодке, в которую погружу часть своих лучших скульптур и в какой-нибудь весенний день поплыву из Латвии водным путем через наше море, потом через Кильский канал в Север-

ное море. Буду идти по компасу, вдоль берега. Если возьму направление на Лондон, то поплыву мимо Голландии, Бельгии. От Остенде поверну под прямым углом к Лондону. Если удастся сначала договориться о выставке в Париже, то поплыву до Гавра, оттуда по Сене до Парижа. После Парижа, если будет возможность, побываю еще в Брюсселе. Я уже запасся разными инструментами, морскими картами и лодкой. Мои земляки считают меня сумасшедшим, все (в основном) говорят, что я погибну от внезапного урагана в холодных волнах Северного моря.

— Не уезжай! Ты должен работать. Тратить столько сил на поездку не имеет смысла.

Он так и не уехал. Отговорили. Морское ведомство не пустило. И жизнь померкла, потеряв свои дали. Лодка на дюнах стала рассыхаться.

Теперь работаю медленно и понемногу, башка не выдерживает долгого напряжения, ничего не поделаешь. Опять я весел как прежде, пою, танцую, всячески тренирую тело.

Опять я весел как прежде... И все же, все же...

В мрачные осенние ночи меня здесь все больше начинают угнетать печаль и меланхолия.

Море черно, ночь черна, сверкнет лишь белая полоска в темноте. Это волна, но мне чудится, что это смеется судьба.

...Долго я не буду держаться за свою хибарку, потому что в долгие темные ночи ржавеет сердце.

А потом война. Первая военная зима. Рассказывают друзья, видевшиеся с ним.

Дело шло к весне, потому что лед в море начал сдвигаться и взрывать вмерзшие в него мины, в хибарке Панкока вылетели стекла. Был холодный день, и снег еще был глубокий. Домик был пуст, но где-то словно бы дятел стучал. Идя в направлении этих звуков, я нашел Панкока в ложбине между дюнами, он обтесывал камень. Встретил он меня как брата. Оставил работу. Разжег огонь на земляном полу. В дыму тепло держится лучше. И начал печь блины (по-латышски «панкоки»), добавляя в тесто сосновую хвою. Это его собственный рецепт...

Он ушел, когда нас сгоняли отсюда, говорит Майга Крейтайне. Во все наши картофельные «думбиеры» въехали немецкие танки и замаскировались.

Когда всех выгоняли отсюда, я видел его в последний раз — на велосипеде, с маленькой скульптуркой, говорит Янис Жажа.

Он был словно помешанный. Ведь у него-таки солидный капитал был, и все прахом пошло, говорит Майга Крейтайне. Рассказывают, что он эвакуировался на пароходе и умер от разрыва сердца. Похоронен будто бы на Центральном кладбище, тут же, в Лиепае. Так его знакомые говорят. Поднимался на пароход и упал с разрывом сердца.

Да брось, соседка, ты что, не видела, каким он был человеком? Разве такие живут и умирают из-за денег?

Лиепайчане, видевшие его в эти дни охоты за людьми, считают, что Панкок погиб на том, увозившем людей пароходе, который горел в этот день на горизонте.

Но вот письмо-отклик — в первой части «Курземите» я писал, что хочу проследить судьбы необычных людей своего края:

«Видно, немцы выгнали его из Юрмалциемса. Иначе он не попал бы в поток беженцев и не объявился бы внезапно в качестве одинокого путника в августе сорок пятого года в Кемптене, в Баварии. Говорил, что идет в Швейцарию. На рукаве у него опять была все та же повязка Красного Креста, только теперь чернилами на ней было приписано: «Проф. скульпт.» и «Д-р мед.»... Потом он сбежал. Мы обшарили все дороги юго-западного направления, особенно Имменштатское шоссе, по которому он должен был бы идти, но безрезультатно. И лишь много лет спустя я прочел, что Панкок находится в Блуденце (если я правильно запомнил), это в самом западном уголке Австрии, в Форалбергских горах. Как он перешел охраняемую в то время границу американо-французской оккупационной зоны, а кроме того еще и германо-австрийскую границу, трудно себе представить. Но до Рейна, который служит там естественной границей Швейцарии, он все-таки добрался...»

Что это, шок военного времени выбил его из равновесия? Обрел ли он вновь это свое, весьма необычное равновесие?

Никто не знает. Видимо, напряжение мыслей и чувств что-то пережгло в нем, какую-то жизненно важную прово-

лочку, какое-то сопротивление в этой цепи сохранения энергии.

Я стою в подвале, где находится запасник Лиепайского музея. Вокруг меня — жизнь Микелиса Панкока. Весьма могучая и интересная жизнь. Необычная? Конечно, необычная. Если других защитников нет, то сам художник здесь защищает себя своими творениями.

Мое личное «я», когда перестанешь ты быть оригиналом, или когда ты им не было? Разве одиножды один не равняется единице?..

Один-единственный раз ты посетил этот мир. И в одиночестве провозглашал:

ЗДРАВСТВУЙ, СОЛНЦЕ РАССВЕТА!

Одиножды один делал ты это. И вот, каждый из нас — итог этого умножения. Каждый в одиночку.

Работам Микелиса Панкока надо открыть дорогу из запасников в мир. Однажды это сделать надо.

Шофер Сельхозуправления, везший меня из Ницы в Лиєпаю, сказал: в Перконе умер Лаугалис, старый капитан. Жаловался: некому рассказать историю своей жизни! Человек до последнего мгновения остается сеятелем. Болят невысеянные зерна.

И еще: вспомнил я, уезжая, рассказ Мелнгайлиса о скрипичном и лодочном мастере из прибрежного поселка Вирга — Янисе Бардуле:

Где-то на краю света живет умелец, делающий скрипки!

Один из тех безвестных талантов, что, как куски янтаря, таятся в песке морских дюн, надеясь, что их найдут, оценят.

Чистый, желтый морской песок ничего не знает о мутной воде портов, в которой полощутся те, что перевозят нефть, соль, сало.

Что это, защита анахронизмов? Да нет же! Просто реакция на узкий практицизм.

Янис строил лодки, но все время рвался «к своей настоящей работе, к скрипкам».

— *Мы, латыши, все еще слишком тяжело боремся за хлеб свой насущный, чтобы спрос на скрипки превысил потребность в лодках...*

Прав ли Мелнгайлис? Прав ли он и сегодня? А если нет, то зачем он так говорил?

Затем, чтобы вы доказывали свою правоту. Противоположную той, другой.

● 18. ГЛАВА, ГДЕ Я МЫСЛЕННО УМНОЖАЮ
НА СЕМЬ. $3 \times 7 = 21$

Серая была эта осень. Сплошная свинцовая серость. Трудно в такую осень убирать сахарную свеклу. Быть может, не менее трудно, чем написать книгу. Люди хотят и в книгах найти солнце, и ясное небо, и цветущие деревья. Но деревья уже облетели, солнце маячило, как далекий корабль в тумане, и моросил мелкий дождь со снегом. Я стоял на обочине и записывал.

Да, иногда я ездил на машине, по стеклу бежали струйки. Только дети, которых я подвозил по дороге, были солнечны, словно серость туч не коснулась их. Девочка ехала в школу, перед нами катил маленький «Запорожец» со своим смешным развалом колес. Девочка повернулась ко мне: это та машина, у которой больные ножки?

У меня и в мыслях тогда еще не было что-то писать, когда — а было это давным-давно — приоткрылось мне вдруг одно мгновение в осеннем тумане, безветренным вечером, и воздух был странно звонок, и лай собак вдалеке шлепал глухо, как боксерские перчатки. Люди шли сквозь туман на спевку. Далеко разносились хлюпанье глины и девичий смех. Мне чудилось, что этот белый молочный мир сейчас собьется в масло и боженька намажет его на хлеб и начнет кормить ангелов... Так приоткрываются мгновения.

Я вез тебя на велосипеде. Из школы. У тебя были косы. И все жаворонки еще были глупенькими...

Вот ведь, какие-то короткие встречи, а остаются в памяти. Так сквозь секунду можно заглянуть в день. Словно через замочную скважину, сквозь день я увидел год. Иногда казалось — есть такие дни, которые сейчас распахнутся и увидишь вечность, но я отворачивался, страшась, что именно так и случится.

Я еду домой. За окном — Курземе.

Земля стряхнула с себя кустарник, как плесень с варенья. Дали открылись: у Иванде, дали Никраце, дали Лайде и Снепеле. Бегут облака, и тени бегут за ними по пахоте.

В ноябре по изумрудно-зеленым полям ударил град, но все так же шумели темные сосны, а даль была занавешена серым слякотным занавесом. Поля напоминали мундир — зелень озимых и чернота земли. Лужи поблескивали, как сакты.

На Сааремаа было то же самое. С моря шел снежный буран. В солнце летели лебеди.

На Даугаве — то же. Тучи всплывали прямо из лесу, вышли, таяли на глазах. Шли те самые низкие тучи, за которые можно сапог закинуть.

А в Имулинском овраге с той стороны, где Ване, засверкало солнце и стволы берез вскрикнули белизной.

Из Гайки и Сатини улетели аисты, там их было особенно много.

Прошел я по листопаду, и вот он пройден. И пройдена первая, схваченная морозом грязь. Желтеют закаты под темно-синими тучами, и вечера таковы же — темно-синие и багровые на закате. Обрел ли я что-нибудь в этой поездке?

Двадцать один — про себя, безмолвно, это трижды семь. $21 = \text{про себя } 3 \times 7$.

У отца три сына было и т. д. Помножил их на семь и оказался в выигрыше — я узнал о целой неделе трех сыновей. Во все дни недели их надо видеть. Мы иногда говорили по корешам, иногда — как глухой с незрячим. Осталось какое-то беспокойство, когда уезжал.

Я изжаждался по людям. Но нередко бывало так: перебросишься несколькими словами — и все прошло, словно проглотил три куска, а четвертый нейдет. То ли глотку дерет, то ли глотка не та. В общем, душа не принимает.

Черт знает почему, хочется умножать на восемь. Хочется чтобы: трижды восемь. Но нет ведь в неделе восьмого дня.

Думаю: надо ли мне писать о том плохом, что я видел? Ведь во всем есть и нечто хорошее. Зачем же писать о плохом? Это же буднично: кто-то ругает, выносит выговор, упрекает! О плохом узнают и без меня. Люди прежде всего нанюхивают плохое. Я не уничижал, не охаивал, я эту песенку знаю:

Ни с того уничижал,
Ни с сего охаивал.

Но помнил я и народное поверье:

Когда едят молодой картофель, бьют друг друга

ложкой по лбу, в будущем году он отлично вырастет.

И я облизал свою ложку, и прикусил ее раза два. Пусть родится картофель!

Потому что: и неправда бывала. Главные линии — прямые линии правды, но стоит им — на практике — разветвиться, глядишь, лезут сучки и задоринки — неправды. И тогда мы взываем к правде. И я в том числе.

К развалинам замков я даже не приближался, потому что на них написано: «К развалинам замков приближаться запрещено! Опасно для жизни!» И вот, я думаю: слишком долго требуя правды, теряешь силы, необходимые для любви. А ведь она-то и родила правду. Так сказал Альбер Камю. Не был ли я мелким и мелочным инспектором правды?

Потому что одной правды мало.

Надо сберечь в себе незамутненную ясность, источник радости, надо любить блеск дня, над которым не властна неправда, и с этим обретенным светом вернуться в бой, пишет Камю.

В какой бой?

В будни.

Будни — ведь это бой. Утомительнейший. Труднейший. Источник радости... Любить блеск дня...

Было ли нечто такое на моем пути?

Во-первых, СОЛНЕЧНЫЙ РИТМ.

Ярче всего проявлялся он в старых людях: в Папэ — матушка Керсте, на Сааремаа — Линда, в Азербайджане — аксакалы. С Солнечным ритмом приходят в мир дети, потом сотни и тысячи других, взаимоперекрещивающихся ритмов его затмевают, как бы утаивают от нашего зрения, и мы болтаем всякие глупости: «Я больше не верю людям», «Никто для тебя пальцем не пошевелинет», «Мне все осточертело» и тому подобное.

Поэтому и толковал со старыми людьми. Есть, наверное, такой возраст, когда с человека слетает все лишнее, все мелкие ритмы и остается лишь Солнечный ритм. То, что пришло с половодьем, с половодьем и уйдет, сказала мне по дороге старушка. И даже, роя могилу, нельзя бросать в лицо солнцу песок.

Поваленный дубовый ствол врос в развилину живого дуба где-то в Басах на обочине. Может быть, из-за этого только стоило забрести на эти забытые холмы. Чтобы увидеть — вечное не отдает гниению того, что вечно.

И там же в Басах на хуторе Гайли (Петухи) рос-

ла яблоня, которую называли Двойчатка. Она всегда приносила яблоки-двойнички. Быть может, она и сейчас еще там растет. Разве не следовало бы складывать под нее жертвоприношения? А на Вецауцской ферме есть корова, за восемь лет она дала жизнь четырнадцати телятам, и все они были двойняшками.

Яблоня-двойчатка в Петухах росла.

Янис Слеже пел свой гвардейский гимн.

Буря нас нянчила, пламя лелеяло...

Человек противится преходящему, эфемерному. Основательность требует, чтобы к чему-то был привязан. И когда в Айзпите мальчишки не хотят дважды в неделю ходить на занятия по танцам — это связывает, — им напоминают о ритме солнца, который они в себе утеряли. Они говорят: я верю ритму ветра. Но ритм ветра всего-навсего вассал солнечного ритма. Кому же вы хотите служить — слуге? Разве мы не учили физику — ритм ветра рождается от разности давлений между теплом и холодом? Солнцем! Микелис Панкок сказал: одиножды один — один. И стоял на этом. Мне бы хотелось сказать: двадцать один — это трижды семь. Я умножаю узкоколейки, толкачи, тягачи и тех, кто что-нибудь придумал.

Тонтегоде придумал — надо кладбищу колокол подарить. Древоточцы и гниение сделали свое дело, у колоколенки прогнило основание, но колокол еще висит и гудит о чем-то. В каждом человеке и в каждой вещи есть нечто необъяснимо от них остающееся, а это влечет к ним.

Тонтегоде придумал...

Басские женщины придумали собираться и пряжу прясть.

Никраце придумало породниться с художниками.

Валдемарпилское лесничество придумало основать музей леса.

Илмар придумал лебедей приохотить к Варме.

Попэ придумало фильм «Земля, ты черна, но для нас ничего нет белей...»

Много ли было подобных узкоколеек?

Не много.

Я спрашивал: есть у вас здесь интересные люди? Обычно каждый показывал на своих. Это хорошо, конечно, но все свои и свои... Только свои. Илмар своих указывал: Вильгельм — это да, ну, а другие — так себе. (Не оттого ли, что Вильгельм — охотник?)

Учителя с литературным уклоном указывали только

на своих. Ничего другого в своей среде они почему-то не видели. И каждый учитель учил только своему предмету, не пытаясь соприкоснуться с другим. И каждая воспитательница защищала лишь детей своего класса: да ну что вы, коллеги, а как же они в таком случае слушаются меня?

И пенсионеры показывали только своих. А разве нельзя было показать молодых?

Откуда все это?

Наверное, от чувства неполноценности.

А именно, в другой среде, в другом коллективе, в другой компании я чувствую себя ничтожеством, мое самосознание увядает, и мне становится не по себе. Я чувствую себя ничтожеством. Меня одолевает зависть. И в самолюбии своим я оберегаю ту малость, которая мне дана. А всех остальных я знать не знаю!

В каждом человеке надо воспитывать чувство собственного достоинства — и люди не станут оскорблять друг друга.

Рабочий с развитым чувством собственного достоинства не станет оскорблять интеллигента. Интеллигент, не чуждающийся труда, — человек рабочий, и он всегда находит общий язык с пахарем, с сеятелем. А вот у комбайнера или литейщика чувство собственного достоинства еще недостаточно утвердилось, равно как и у доярки. Но скоро это совершится. Должно свершиться.

Много надежд я скопил в себе. Много семерок и троек скопилось во мне. Теперь я молчаливо умножаю.

Не думайте, что производство и культура перемежаются именно так, как я написал в своей книге. Я не мог вести долгие разговоры с производственниками — механиками, председателями и экономистами, я не ориентировался по-настоящему в их работе, сколько бы ни рассказывали мне о ней. Но я никогда не говорил, что они неинтересные люди, многие из них были подлинными энтузиастами своего дела. Я нашел и нечто для души — людей ищущих. Мне это по силам. Уж такая у меня работа, я могу их найти, я их нахожу, оттого, быть может, что я подвижнее других.

Но не у всех есть такие возможности — всегда искать то, что тебе по душе. И вот, я думаю: человеку, работающему далеко в лесу, автолавка привозит хлеб. Человеку, который не может покинуть своего места, надо подвозить, доставлять ПРЕКРАСНОЕ.

И тут опять две возможности: пожалуйста, вот тебе прекрасное в готовом, так сказать, виде, а это — семена и ростки прекрасного. Из них вырастут деревца. Какую возможность вы выберете?

Председатель Янсон выбрал готовую красоту: мы вам — хлеб, а вы нам по телевизору — прекрасное.

Другие предпочитают рассадку. Потому что есть шепот первой листвы, и аромат цветения, и радость ВЫРАЩИВАНИЯ.

Аминь.

Где Унигунда?

Да вот же она. Сидит на пороге вместе с нами. Пахнет хлебами. В этом году это, быть может, последний теплый вечер. И в этот вечер глаза у нее темны, как речушка Имулия. Стынут у нее босые ноги, но она не уходит домой. Ты хочешь толковать о тракторах, Унигунда? Ты хочешь бродить по грязи, Унигунда? Унигунда опускает голову на колени, и темные ее волосы стекают в вечернюю мураву, и мне вдруг становится страшно, что вся она может утек, излиться в эту тьму и исчезнуть, я боязливо касаюсь ее волос, они влажны, но они еще здесь, и проходит минутный страх — мы еще будем жить!

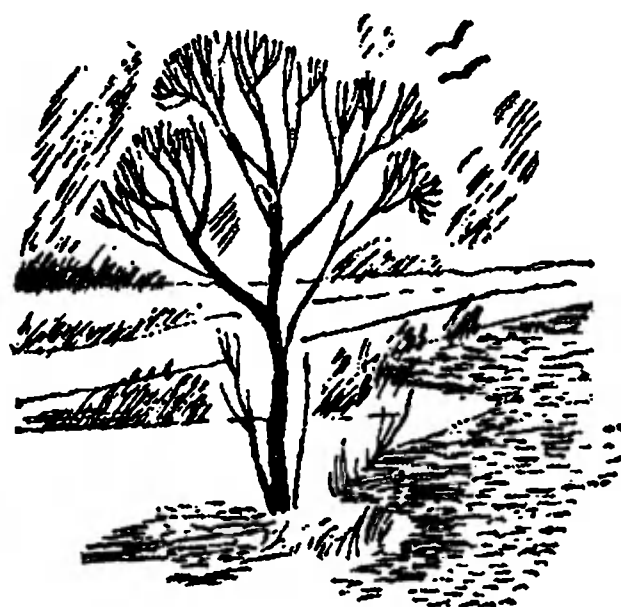
Надо льдом Эдолского пруда проносился ветер и раскачивал разукрашенную елочку возле Дома культуры. И в окнах уже красовались елочки, сверкая цветными шарами, — ждали вечера. Мороз был голым, и озера покрылись сверкающим льдом. Деревья уже не шелестели, не было больше цветочного размыва листвы, они обрели ритмическую ясность. Земля стала прекрасной и успокоенной. Если люди спокойны, значит, они что-то нашли, пришло мне в голову. Может, они нашли начало. Начало какого-нибудь клубка.

Не надо закругляться! Я слишком долго закруглялся. Надо заканчивать сразу. Так, как закончился этот год — без всякого закругления. Работали, сутились, и вот он — Новый год. Отбрось лопату, поставь машину в гараж! Всади свой топор в колоду и посмотри на небо. Скоро выпадет снег. Уже пришло время снега, и время отдохнуть земле. Год был дождливым, сколько могли, только вспахали.

Закатывалось алое вечернее солнце. Декабрьское, уходящее.

Земля ждала снега.

ЯНКА СИПАКОВ



эта земля, этот хлеб...

МЕЖДУ ЧЕТЫРЬМЯ
ВРЕМЕНАМИ ГОДА



Перевод с белорусского
М. ГОРБАЧЕВА



Янка СИПАКОВ родился 15 января 1936 года в деревне Зубревичи Оршанского района. Его родители погибли во время войны — за связь с партизанами их расстреляли гитлеровцы, — и он воспитывался у сестры отца, белорусской крестьянки. С детства ему знаком деревенский труд. Интерес и способности к литературе обнаружились у него еще в школьные годы. После окончания десятилетки Я. Сипаков некоторое время работает литературным сотрудником районной газеты, а затем, по окончании Белорусского государственного университета, в республиканских журналах. В настоящее время он заведует отделом культуры в журнале «Маладосць».

Первые стихи Янки Сипакова были напечатаны в 1953 году, а в 1960 году вышла его поэтическая книга «Солнечный дождь». С тех пор опубликованы еще пять сборников его стихотворений. За книгу «Вече славянских баллад» в 1976 году

поэту была присуждена Государственная премия БССР имени Янки Купалы.

В 1974 году вышел в переводе на русский язык сборник его стихов «День». Поэтическая манера Сипакова отличается безыскусственностью и проникновенным лиризмом. Он стремится раскрыть в поэтических образах «неповторимость времени и богатство души своего современника — простого труженика земли белорусской». В основе его стихов конкретная обыденность, привычные бытовые детали, но они всегда одухотворены, пронизаны подлинной поэзией. «До сих пор еще верю — у сказок есть дом... Поведу я вас в лес, где под каждым кустом, как под желтым ковром, под опавшим листом спят, как дети, обнявшись, сказки». Или: «Какой человек угловатый! За все на земле цепляется — за ветви деревьев, за хаты, о тишину и то спотыкается... И даже за небо, за зори цепляется человек угловатый».

Особенности поэтического творчества Я. Сипакова как-то очень органично и естественно перешли и в его прозу. Первый свой очерк он написал еще в 1963 году. Лучшие его произведения в этом жанре составили книгу «Зеленая молния», которая на русском языке вышла в 1973 году. Мнение о ней было единодушным — в нашей советской литературе появился еще один талантливый прозаик-очеркист со своим видением жизни и художественным почерком. Книга включает очерки о Сибири, Дальнем Востоке, Крайнем Севере и очерк о родной белорусской деревне — «Окно, распахнутое в зиму». Это и воспоминания о войне, о трудных послевоенных годах, и зарисовки современной деревни, ее тружеников.

«...Где бы мы ни были, какие бы страны нас ни звали, нам все равно будет сниться одна-единственная дорога, которая возвращает нас в наш неповторимый мир, который так ласково уводит нас в нашу деревню, в нашу избу, к нашей черемухе...» Любовь к деревне, глубокое знание и понимание ее жизни, ее нужд побуждает автора ставить в своих очерках актуальные и сложные проблемы сегодняшнего дня. Изменения, происходящие в деревне, необходимы, прогрессивны, но не приводит ли порой материальное обогащение человека к его духовному обеднению? Не утрачивается ли безвозвратно что-то очень важное, сокровенное, связанное с обликом деревни? Лучший из очерков Я. Сипакова о деревне — «Эта земля, этот хлеб», отмеченный

в 1974 году премией журнала «Дружба народов». В настоящей книге публикуется более полный перевод этого очерка. Критика отметила, что это, пожалуй, единственное в своем роде произведение о «круговороте крестьянских забот в современном колхозном селе». Четыре времени года, четыре главы-письма, обращенные к герою, — и в них вся будничность и вся поэзия деревенской жизни, крестьянского труда.

Янка Сипаков автор двух повестей: «Крыло тишины» и «Все мы из хат», доброжелательно встреченных критикой и читателями. Он перевел на белорусский язык книгу стихов Уолта Уитмена «Листья травы», переводил Блока, Мицкевича, Туманяна и многих современных советских поэтов.

У каждого человека, имевшего великое счастье когда-то родиться на нашей зеленой — такой маленькой и такой необъятной — земле, непременно есть свой любимый, ласковый и щемяще-неповторимый край, который в большом и широком понятии Родины обычно занимает небольшое, но привычное место. Такой край — всегда для тебя целый мир.

Есть такой край и у меня.

Там намного позднее, чем в более теплых районах Белоруссии, зацветает огуречник, а из шершавых пупырышей куда медленней вырастают полосатенькие, как дикие зеленые кабачки, огурцы.

Там намного дольше созревают привязанные к колышкам, тяжело обвисшие на рогульках зеленоватые помидоры, а круглобокие тыквы, перевернутые белыми, незагоревшими боками к поутихшему, похолодававшему уже осеннему солнцу, лежат в огородах чуть ли не до самых заморозков.

Там недели на две позже начинается весенний сев, позднее выезжают на жатву в поле комбайны — земля и солнце не успевают так быстро и полно взрастить и выспелить колос, как в южных районах республики. Ибо то летнее время, когда растение наиболее активно трудится, радуя себя животворными соками, — там, в моем краю, хоть и не намного, но все же короче.

Там сгибают аж до земли зеленые перья отавы крупные и чистые августовские росы, которые выпадают под утро и держатся чуть ли не весь день; согретые белыми туманами, в росах этих очень уж хорошо доспевают заботливо разостланные льны — гордость и слава моих земляков.

Зато намного раньше выбеливают знакомые мне зеленые поля и луга ранние зазимки — седые и неожиданные. Зима, как сообщают метеорологи, всегда приходит в мою область раньше, чем в другие, она богаче снегом и более сердита своими морозами.

А когда вдруг по-осеннему желто и торжественно зацветятся рощи и дубравы, то под каждой березкой обязательно прорежется подберезовик, под каждой осинкой — подосиновик, а боровики, эти осмелевшие лесенята, выходят тогда из-под мрачных елей, которые, как наседки крылья, распустили у самой земли ветви, — выходят на солнечные поляны, а то даже и на самое поле.

Что-то от настоящего Севера имеет, кажется, мой край:

И не удивительно — он же на самых северных широтах Белоруссии. Потому тут и осеннее небо кажется порой совсем низким, и метели — круче, и даже ветер немного злее — и не от холода, а просто от одной, видимо, мысли о Севере.

Этот край, этот мой Север — холмистая, озерная, льняная Витебщина, а в ней еще более близкая, еще более своя — Оршанщина.

Вот почему, когда появилось желание основательно понаблюдать за каким-нибудь колхозом во все четыре времени года, мне не надо было выбирать, куда ехать, — конечно же, только Витебщина, понятно — только Оршанщина.

Не понадобилось также искать и подбирать колхоз: еще задолго до командировки я уже совершенно точно знал, что поеду в «Большевик». Обыкновенный, еще не заласканный славой колхоз, который тихо, но настойчиво трудится под самой Оршей.

Сначала про «Большевик» я услышал в своих Зубровичах.

Тогда была самая жатва, и запыленные, со свежей соломкой на хедерах комбайны торопливо и, на взгляд

постороннего человека, суетливо ездили туда-сюда по улице. Помню, кто-то сказал:

— Вон Шведов тремя комбайнами все до зернышка убрал, а мы и такой силой никак не можем управиться.

И потом, в некоторых других, близких к колхозу деревнях, где приходилось мне быть, я только и слышал: «А Шведов...», «А у Шведова...», «А Шведову...» Даже районная газета удивлялась, что «Большевик» тремя комбайнами убирает за день больше, чем знаменитый и экономически сильный колхоз имени Кирова — всеми одиннадцатью.

Я начал следить по сводкам в районной газете, как «Большевик» сеет, косит, жнет, молотит... Сводки только радовали. Ей-богу, когда читал их, казалось, что в колхозе царит каждодневный радостный праздник — праздник труда. Скажем, если другие хозяйства убрали каких-то тридцать процентов картошки, то «Большевик» — уже все сто; соседние колхозы только еще начинали возить тресту на льнозаводы, а «Большевик» успел уже всю сдать; на других фермах удои молока падали, а в «Большевику» росли по сравнению с этим же временем прошлого года.

Все «Большевику» удавалось, все «Большевик» успевал делать.

Потому я и поехал именно туда. Тем более что Геннадия Михайловича Шведова, молодого председателя колхоза, я хорошо знал.

До этого он работал зоотехником в нашем колхозе «Волна революции». Еще раньше мы с Геннадием учились вместе в школе, а после уроков носили из Дубровок, из сельсовета, почту: он в свое Понизовье, я — в свои Зубревичи.

Потому, видимо, председатель «Большевика» не обидится на меня, если буду называть его не Геннадием Михайловичем, как обращаются теперь к Шведову и в колхозе и в районе, а так, как говорил ему в то время, когда, нагруженные письмами и газетами, мы столько лет топтали вместе одну дорогу из сельсовета...

● ГЛАВА ПЕРВАЯ

В Витебскую область зима придет
значительно раньше.

(Из метеопрогнозов)

Послушай, Геннадий, мне кажется, что обычно это бывает так.

Сначала ветер — такой упругий, что его даже можно, кажется, взять в горсть, и такой неожиданно сухой и непривычный после долгих, нудных осенних дождей — отрясет последние листья с мокрых деревьев, которые и так стоят уже точно призраки, повывдует холодную воду из луж, подсушит разбитую, разъезженную дорогу. Потом бодрый морозец, которым очень уж першисто дышится — он продирает легкие, как крепкий дедов самосад, — подморозит поле, где красиво зеленеют озимые, улицу, идя по которой еще в резиновых сапогах (не успел переобуться во что-нибудь более теплое) ощущаешь каждую неровность схваченной морозом земли.

И потом уже подходит то тихое время, когда воздух становится звонким, ядреным: звякнет кто-нибудь ведром у колодца — и этот звон долго не затихает на улице, проникает чуть ли не в каждый двор. Скажет кто-нибудь «доброе утро» в одном конце улицы, а в другом женщины отодвигают на окнах занавески, чтобы посмотреть, кто это встал раньше них.

Тогда становишься будто сам не свой, ходишь задумчивый, с каким-то странным чувством, которому трудно, да, видно, и не стоит, искать объяснения. Ходишь и все чего-то ждешь. Без надобности выйдешь во двор, поглядишь на небо, походишь, потопаешь по улице и снова возвращаешься в теплую хату. Но и в хате тогда, понятно, не сидится.

Ну где же он?.. Ну когда же он?..

И вот — наконец-то! В непривычной и торжественной тишине вдруг потемнеет небо, и оттуда обрушится на луг, на поле, на деревню белая радость — сначала засыплет колеи, борозды, лощинки, а потом выбелит, нарядит, как перед праздником, всю землю...

Этот же октябрьский снег падал не так, как всегда. Он, казалось, валился на черную и мокрую землю сразу целыми сугробами, валился без разбора, в самую грязь, в черные бездонные лужи — даже было жаль, что эта чистота сразу, вот сейчас перемешается с осенней чернотой улицы.

За окнами, несмотря на позднее утро, все еще темно — такой густой (сплошная стена!) снегопад. Даже не верится, что снег — это белое и чистое диво — может быть таким темным и непроглядным.

В райкоме партии горит свет. Секретарь райкома, глядя в темное окно, рассказывает:

— Если говорить честно, так мы предлагали Шведова председателем, а сами немного побаивались. Молод он, опыта нет. Да еще на место такого председателя, как Хасман. Даже после войны его «Красный Берег» на всю республику гремел.

Да, мы с тобою, Геннадий, этот «Красный Берег» помним — тогда нам, детям, казалось, что там создан какой-то земной рай. Уже только одно упоминание «Красного Берега» говорило про достаток, зажиточность. И это тогда, когда в нашем колхозе, на нашем столе нередко не было даже самого основного — хлеба.

— Как быстро стареют люди! Хасман — уже на пенсии, — как бы про себя, с грустью, заметил секретарь.

И снова глянул в окно. Там все еще валил снег. Там все еще было темно.

У секретаря, по-видимому, были какие-то свои мысли — о неумолимом времени, о старости. Мне же подумалось о другом. Никак не мог я представить председателя, человека, который всегда был на ногах, работал, как говорят, все двадцать пять часов в сутки, на заслуженной пенсии: сиди себе на завалинке, цветы разводи. Председатели-пенсионеры — это, видимо, пока еще редкость.

— А Шведов, понимаете, чуть было не бросил сельское хозяйство. Как-то зимой является в райком, заявление на стол кладет. «Я больше не могу, — говорит, — отпустите меня. Пойду на производство. Куда хотите пойду. Только не тут...» И действительно, положение тяжелое: самая середина зимы, а кормов в «Волне революции» — ни на зуб. А он там зоотехник. Мы его уговариваем, а он свое: «Скот сейчас начнет падать, а вы тогда Шведова — за воротник». Кое-как уговорили. Успокоили — мол, тогда все вместе будем отвечать. И он, и я, секретарь райкома.

Чем могли помочь. И вот видите — Шведов сам в хорошего руководителя вырос...

— Вначале многие не решались предлагать его «Большевику», — усмехаясь, добавила Ганна Ивановна Комягина, тогдашний второй секретарь райкома. — Это все я упрямо настаивала. И, думаете, почему? Как-то была я в «Волне революции». Собрала там на поле женщины, погоревали мы вместе, что столько беспорядка в колхозе, что председатель у них такой равнодушный, а потом я и спрашиваю: «А кого бы вы хотели себе в председатели?» — «Никого нам не надо, — отвечают, — дайте нам нашего Шведова в председатели: он же, огонь его знает, какой хороший хлопец». Ну, тут я и подумала, что если его, зоотехника, так сами колхозники хвалят, значит, ему можно доверить колхоз. Потому и настаивала. И на шестимесячные курсы председателей в Минск отправила...

На дороге ничего не видно — ни свету, ни следу. Машина идет очень медленно. «Дворники» едва успевают раздвигать в стороны снег на ветровом стекле. Но и в это протертое оконце ничего, кроме глухой мути снегопада, не разглядеть. Настоящая зима осенью!

На Кобыляцкой горе все движение остановилось. И, должно быть, надолго. Там, как раз у самой вершины, развернуло трактор с прицепом, и перегорожено все шоссе, да так, что этот случайный шлагбаум не могут объехать ни те машины, что едут сверху, ни те, что спешат взобраться на гору. Возле трактора, засунув руки в карманы, безучастно ходили трактористы и от нечего делать, для отвода глаз, бухали кирзачами по скатам — будто в них была причина всей этой задержки.

Пришлось вылезать из теплой машины в ветреный снегопад и пешком идти несколько километров до Андреевщины.

Чужая деревня всегда кажется какой-то неупорядоченной: в ней обязательно надо пожить, чтоб незнакомые улицы стали и тебе такими же привычными, как и тем людям, которые всегда помнили их только такими.

Пытаюсь разобраться, что к чему. Вот эта широкая полоса асфальта — шоссе Орша — Витебск — конечно, центральная, главная улица Андреевщины. Вот здесь будто тоже улица или даже переулок — тут стоят магазин, контора колхоза, клуб. Вон там, где высятся голые деревья, где на окраине, как мне показали, стоит и дом председателя, наверное, еще одна улица.

Очевидно от неожиданности, что зима пытается улечься так рано, деревня казалась притихшей, будто опустевшей. Плотны закрыты дворы. Нигде ни одного человека. Тихо. Только ветер, завернувшись в ранний снегопад, весело, как белая собачонка, кувыркается по улице.

Но так мне только показалось. Потом, приглядевшись, когда ты показывал свое хозяйство, я понял, что и сегодня колхоз работает, как и всегда — все на своих местах, каждый делает свое дело: кто в амбаре перелопачивает зерно, кто на механизированном току устанавливает новую веялку, кто в свинарнике взвешивает поросят, кто в мастерской ремонтирует трактор.

Вспомнилось, как когда-то на Тихоокеанском флоте мне показалось, что на большом крейсере совсем нет людей. Каково же было мое удивление, когда на вечернюю поверку на палубе безлюдного корабля выстроилась «целая деревня» моряков.

По организованности, по дисциплине «Большевик» мне напомнил тот крейсер. И я понял, что никакого особенного праздника труда, который читался по сводкам, не было. Была обычная работа. Напряженная и ежедневная. Ритмичная и добросовестная. И радостная — как всякая работа, что делается с желанием и заканчивается успешно.

Давай, Геннадий, мы попробуем с тобой вспомнить то наше путешествие и, как тогда, пройдемся по колхозу.

Вот амбар. Быстро закрыв за собой дверь, чтоб не напустить холода и снега, мы сразу попадаем в полумрак темного, без окон, помещения, останавливаемся и не можем отойти от двери. В амбаре ничего не видно. Но это пока приглядишься, пока глаза после яркой белизны снега привыкнут к сумраку. Постепенно светлеет. Мы видим уже закрома, полные чистого зерна, видим белые стены, кладовщицу. Да если бы мы даже и не присмотрелись, если б ничего и не увидели, все равно только по одному запаху каждый узнал бы, что тут лежит и прошлогодний и будущий урожай — зерно.

Засунешь руку чуть не до локтя (глубоко-глубоко) в податливую кучу, да так, что заворочится, кажется, вся эта гора зерна, и почувствуешь, как добрый холодок постепенно остужает пальцы, ладонь. Пускай, пускай студит — этот холодок как раз и не даст зерну пробудиться слишком рано, не даст ему прорасти, не дождавшись весны.

Направляемся к кузнице. Какой зимний ветер! Настоящая вьюга — она чуть не сбивает с ног. Идешь и вдруг замечаешь что-то неестественное в поведении березок, лип. Ветер такой, что ему бы с корнями вырывать деревья, а они стоят и не покачиваются даже. А если и качается какое, так будто бы нехотя. И не успев удивиться этому, вспоминаешь, что их упругие зеленые паруса лежат уже где-то под снегом, и потому ветер свободно пролетает через недавнюю крону — не за что ему зацепиться. Ого, были бы листья — как гнул бы он эти деревья — за чубы и до самой земли...

А вот и кузница. Какая же это кузница? Это же настоящий цех хорошего городского завода! И куда только подевались они, наши доморощенные кузницы, которые не так давно всегда безошибочно можно было узнать по раскрытым и дырявым крышам, откуда свободно сыпался на горн снег; по тем стенам, которые, казалось, вот-вот раскатятся на все четыре стороны сразу. Маленькие, тесненькие, они всегда были полны дыма, грохота, искр (нигде от них не спрячешься) — казалось, будто тут перековывают на какой-нибудь лемех или подкову не слишком ковкую звезду или астероид. И кузнецы — всегда чумазые, как малые дети. А этот чисто одет, даже какой-то городской вид имеет.

Когда мы простились с кузнецом и вышли в метель, ты, помнишь, сказал мне о нем:

— Хороший специалист этот Слонкин. Он недавно из Калининградской области к нам приехал. В колхоз мы его приняли... Видишь, вон там мы строим два двухквартирных дома? Летом закончим и дадим ему квартиру. Пусть едет, забирает свою жену да и живет себе как человек.

И я искренне тогда радовался за кузнеца, за тебя, что ты так просто понимаешь человеческую доброту, которая, видимо, всегда должна быть не снисходительной «милостью руководителя», а естественной и постоянной в любых человеческих отношениях. О человеке надо заботиться так, чтоб ему не было неловко от твоего внимания, чтобы он даже не всегда знал об этом и не чувствовал себя постоянно в долгу перед своим «благодетелем».

Возле самого коровника, запыхавшись, нас догнал мужчина. По одежде я понял — не колхозник. Поздоровался даже со мной несколько заискивающе — так обычно здороваются люди, которые собираются у вас что-то просить.

— Едва догнал. А то пришел в амбар — говорят, был. Прибежал в кузницу — говорят, ушел, — еще не отдышавшись, начал он и потом сразу выложил свою просьбу: — Михайлович, может быть, ты трактор нам дал бы?

— Вот видишь, и тебе трактор. А знаешь ли ты, что наша техника уже начала работать на полрайона? Вот и сегодня один трактор в «Сельхозтехнике», второй — в школе-интернате, третий — в ветлечебнице. И вот четвертый просишь ты. Так что, силами всего района угробим технику колхоза «Большевик», а Шведову тогда — сохой пахать землю придется? И все к Шведову идут. А почему в своем колхозе не попросил?

— Так этот не даст, Михайлович...

— А я, думаешь, дам? И я не дал бы, если б в какую другую организацию. А вам, конечно, грех отказывать. Иди скажи Комару или механику, что я не возражаю.

Когда мужчина отошел, я спросил:

— Откуда он?

— Да с Берестенова, из Дома инвалидов. Дрова им надо вывезти. Я знал, что они все равно ко мне придут. Тот, видишь, председатель не дает, у того не выпросишь, а у Шведова, думают, все можно.

И потом, помолчав, добавил:

— А ты говоришь, что председателю хорошо, когда колхоз так близко от райцентра.

На ферме как-то тревожно и пронзительно ревели коровы — сегодня они впервые не вышли в поле. В теплые коровники доходит сладковатый запах первого мокрого снега, ветра, который успел пропахнуть зимой.

Коровы, видимо, чувствуют, что теперь уже их не поднимут в поле до самой весны: ничего не поделаешь — надо привыкать к сену, забывать о росистой траве.

А на улице — осенняя, может, потому и такая пронзительная, метель. К теплым телятникам, коровникам и конюшням, из которых густо валит пар, жмутся нахохленные от безвременного холода воробьи да голуби. А влетев, отряхиваются от снега и в тепле с удовольствием расправляют, расслабляют свои крылья.

Тут же, в конюшне, дышат на руки в мокрых рукавицах тепло одетые женщины.

— Что, сегодня с воробьями в конюшне греемся? — спросил ты.

— Ага, греемся... Это мы, пока трактор вернется, —

ответила невысокая, худощавая на лицо женщина и плотнее закуталась в длинный ватник.

— Этакой холодище,— то ли сам себе, то ли поддерживая женщин, говорит конюх Харитон Шелепов и ласково отворачивает голову жеребца, который, как равноправный собеседник, откуда-то сверху наклонил ее к нам.— Коровы вон как ревут, зиму чуют.

— А моя мама так все говорила, что если коровы ревут на первый снег — значит, он растает, зимы еще не будет, — отозвалась все та же говорливая женщина.

— Кто его знает, может, и примерзнет,— не соглашается конюх и снова молча отводит морду коня, который жует сено где-то у самых наших голов.

— А вон вчера были у меня из областного радио корреспонденты, так они говорили, что видели, как где-то за Витебском только еще лен стелют,— сказал ты, и по твоему лицу я понял — тебе приятно, что в «Большевике» все свезено, убрано, сделано.

— Так у них, видать, и зимы не будет,— снова поддержала разговор та же самая женщина и торопливо добавила:— Побежали, бабы, трактор едет...

В конторе, где с утра было так холодно, что, как говорят, хоть волков гоняй, теперь потеплело — пришел кто-то из механизаторов, отвернул гайки и выпустил из батарей воздух, мешавший циркуляции. Тепло сразу кинулось в мокрое лицо, в руки. И как приятно расслабляешься тут, отходя от пронзительного ветра, от снега, лепившего на улице прямо в глаза.

В этом тепле более уютным, не таким чужим и холодным показался твой скромный председательский кабинет. В углу за твоим столом красные знамена, присужденные колхозу; как и всюду, возле них красуются высокие снопы льна, ржи; в другом углу стоит радиостанция: по всему видно — еще новая, недавно приобретенная — и запылиться не успела.

— Что, решил руководить колхозом по рации?— спрашиваю.

— Молчи ты с этим руководством. Она, понятно, вещь нужная, но я пока что мог бы обойтись и без нее. Сам видишь, колхоз у меня не очень большой, и за день всюду можно побывать. Я пытался возражать. Но наш район — экспериментальный: надо радиофицировать все колхозы. Ну, я отказывался, отказывался, а мне и говорят: «Все равно возьмешь». Но я не беру. Поехал как-то в «Сель-

хозтехнику», а мне даже и винта не дают... Взял. А куда денешься — возьмешь. Вот она и стоит тут. Радисточку ждет.

Приятно все же из окна, из теплой комнаты твоего кабинета смотреть на сад возле конторы, который шумливо отряхивается от снега.

Сидим, разглядываем книжки заслуженных колхозников. Есть в «Большевике» такое почетное звание, уважение к честной работе хлебороба, которое прижилось еще при Хасмане. 23 декабря 1963 года общее собрание постановило:

«Заслуженный колхозник колхоза «Большевик» пользуется следующими льготами:

Имеет преимущественное право на получение путевки на ВДНХ в Москву, в дома отдыха и санатории за счет колхоза.

Может направляться на учебу в техникумы, институты с выплатой стипендии за счет колхоза.

Может пользоваться без очереди и бесплатно транспортом артели для личных нужд, а также пользоваться топливом, электросветом и радиоточкой за счет колхоза.

В случае утраты трудоспособности по старости или по болезни назначается персональная пенсия».

Так кто же они, заслуженные колхозники колхоза «Большевик»?

— Расскажи мне хоть немного про них. Вот тут у тебя написано: Ганна Романовна Кухаренка, звеньевая, льноводка. Я, конечно, с нею встречусь, поговорю. Но скажи ты, что она собой представляет, эта Ганна Романовна?

— А ты же ее уже видел, за руку здоровался, разговаривал.

— Когда? Где?

— А в конюшне. Сегодня. Та невысокая женщина, с которой ты говорил, и есть заслуженная колхозница Ганна Кухаренка.

И я пожалел, что, не зная с кем говорю, недостаточно внимательно (каюсь!) слушал женщину.

— Ты же и сам знаешь, что на таких, как она, колхозы раньше держались. Да и сегодня по ее выходам на работу можно сверять любой календарь: сколько у нее выходов, столько и дней в месяце, в году... Знаешь, многие завистники даже посмеиваются: «Ого, Романовна на

работу жадная! Ей за колхозной работой даже замуж некогда было выйти».

Зазвонил телефон. Ты привычным движением взял трубку.

— День добрый!.. И у нас тоже бело, Петр Иванович... Нет, нету... Нет, не осталось, Петр Иванович... И с картошкой тоже управились... И еще кое-кому помогали. Наши картофелеуборочные комбайны в «Волне революции» и в имени Чапаева недели по две работали.

Положил трубку и объяснил:

— Автюхов звонил. Председатель райисполкома. Интересовался, не остался ли у нас лен под снегом. У многих и картошку и ленок укрыла зимушка... Подожди, так мы же про Романовну говорили. Знаешь, мне тут рассказывали, что она, ее подруга Ксения Цмак и другие женщины после войны в Оршу на элеватор зерно носили — госпоставки сдавать. Насыплут в залатанные торбочки ржи, вскинут их на плечи — и пошли. И молоко на тележках возили. Понимаешь, нашли каких-то два ржавых колеса, смастерили тележку — поставят пару бидонов и поехали в Оршу план по молоку выполнять...

Такие женщины всегда были опорой колхозу, всегда были с ним — и в его невзгодах и в его радостях. Не потому ли, хотя в наших белорусских деревнях люди зовут друг друга по имени в глаза и по прозвищу — за глаза, ее, Кухаренку, все называют только по отчеству, Романовной, — как тебя, председателя, как учителей, — словом, как всю сельскую интеллигенцию.

Листаем дальше дела заслуженных колхозников.

Иван Казакевич. Механизатор, свой, колхозный рационализатор. Из списанного комбайна сделал погрузчик. Вместе с бригадиром тракторной бригады Петром Комаром смастерил машину для рассеивания минеральных удобрений.

— Ты же сам ее видел, — сказал ты, — когда мы осматривали нашу площадку для техники.

Да, видел. Хорошо, что не спросил, почему не сдаете в металлолом списанные машины. Теперь уж я знаю, почему рядом с площадкой, на которой столько хороших машин (кажется, больше, чем раньше было в МТС!), стоят и списанные комбайны — ждут рационализаторов.

Пелагея Аланцева. Доярка из Анибалёва. Замечаю себе: обязательно встретиться с нею.

— Она уже на пенсии. Но все равно коров своих хо-

дит доить. Человек же не может без работы. Особенно тот, кто всю жизнь трудился.

Василь Кавецкий. Шофер молоковоза.

— Ну, это вообще какой-то исключительный человек. И честный, и послушный, и аккуратный, и заботливый, и деловой, и чуткий...

Иван Хахлянок. Животновод.

Михаил Хасман. Бывший председатель.

Всего восемь человек.

Общее собрание приняло решение присвоить звание заслуженного колхозника еще и бригадиру тракторной бригады Петру Комару.

Вечером на той незнакомой улице, которая идет параллельно шоссе, я искал хату Ганны Кухаренки. Напрасно брал твой, Геннадий, фонарик — неожиданно белый после темной осенней слякоти снег хорошо освещает вечернюю улицу.

Снегопад утих. Немного успокоился и ветер. Только лениво, не спеша, как во сне, качаются деревья, скидывая с суков непривычную белую навесь. Мокрый, набрякший водою снег упруго и неподатливо оседает под ботинками. Улица — белая, чистая, будто только что застелена свежей скатертью. А где ступишь — холодно-вато зачернеет за тобой темный водяной след.

Хату Романовны нашел быстро. А вот хозяйки нигде не было. Я постучал щеколдой и только тогда увидел, что на двери висит замок. Походил по двору, дошел до хлева, заглянул в дровяник, вышел даже в огород: думал — может, занятая непредвиденными заботами, из-за сегодняшнего осеннего снега, тетка Ганна хлопочет где-нибудь тут. Но нигде никого не нашел. Только следы оставил везде. Вот, думаю, будет завтра удивляться Романовна: какой же это чужак ходил у нее по двору и чего он искал — наследил, словно вор. Возле калитки меня встретил низенький худощавый человек в старой военной фуражке. Он что-то очень долго и взволнованно пытался объяснить мне, что-то пояснял, но я, хоть и внимательно слушал его, к сожалению, не понял ни слова...

— Так это же Степан, брат Романовны, — потом объяснил ты. — Он глухонемой. Поначалу его действительно никто не понимает. А потом, когда немного привыкнешь, если смотришь внимательно, все разберешь. Ты б только знал, какой это работник! И с какой радостью он трудится, если б ты поглядел...

Утром я проснулся от светлой тишины, которая, казалось, прямо ломилась в широкие окна твоей председательской квартиры. И огорченно подумал, что снова, наверное, проспал утреннее совещание специалистов, которое всегда на рассвете собирается в конторе колхоза.

На кухне горел свет. Но тебя уже не было дома. В коридоре еще свежо и душисто пахло дымом твоей папироски. Я тихонько, чтоб не разбудить Ларису и Гальку — милых твоих дочек, — вышел в сени, оттуда — на улицу. От твоей хаты огородами, а в общем-то будущей улицей, мимо новых домов, что только строятся и где ты обещал квартиру кузнецу, заснеженной стежкой, где прошел еще только ты один, быстро добежал до конторы. Добежал и обрадовался — нет, не опоздал: сюда только еще собирались специалисты.

Легко, по-мальчишески сбив кепку на затылок, в кабинет вбежал Леня Васьковский — главный агроном. Молодой — наверное, наш ровесник. Поздоровался, скомкал в руках кепку и тихо сел на диван.

Как-то медленно, спокойно и сдержанно вошел Петр Комар, бригадир тракторной бригады. Высокий, сосредоточенный, он тоже спокойно и привычно сел, аккуратно сложил высокую шапку-папаху, не спеша разгладил складки на ней и прислушался: хотя путевки всем механизаторам и шоферам даются с вечера, чтоб они не задерживались, но все же могут быть какие-то уточнения.

Тяжело ступая мягкими теплыми бурками в галошах, вошла Ефросинья Буйницкая, заведующая фермой. Грузно опустилась на диван рядом с агрономом. Мне уже говорили, что Швед (не удивляйся, так тебя зовут в колхозе за глаза — так, видимо, короче) переманил Буйницкую из колхоза «Борец». Дал ей тут квартиру, она бросила свою старенькую хатенку и переехала в Андреевщину.

. — Михайлович, есть человек, который на работу к нам фуражиром просится, — начала Буйницкая. — Жена Хахлянкова. Говорит: «Нам деньги теперь нужны, и дома я не очень занята».

— А какой же это толк будет, если муж — скотник, а она фуражиром станет? — усомнился кто-то из специалистов. — Где же тут правда будет? Он привез сено, а она взвешивает...

— А такая правда и будет, как прошлой зимой, — поддержал ты. — Весы позавеяло, попримерзло все в них,

даже подходы и подъезды к весам замело, а все говорили, что взвешивают.

И потом, повернувшись к Буйницкой, ты строго спросил:

— Кстати, а Хахлянок с Прымом сегодня на ферме? Скажите им, чтоб они зашли ко мне.

И уже даже по одному тому, как ты сказал это, я понял: что-то серьезное случилось на ферме. И об этом ты узнал только утром.

После совещания в твой кабинет зашли животноводы-пастухи. Иван Хахлянок — полный, круглолицый, чисто выбритый, и Змитрок Прыма — худенький, невысокий, с седой щетиной бороды и слишком смелыми глазами. Их двоих, казалось, специально объединили, чтобы показать, какие разные, не похожие друг на друга бывают люди. Хахлянок присел, предварительно откинув мокроватую полу плаща, одетого на ватник, а Прыма с размаху уселся так, что залубеневший край одежды громко зашуршал, и казалось, вот-вот может переломиться. Ты, помню, даже встал.

— Ну так что, самостоятельно решили сделать коровам разгрузочный день? Без правления, без зоотехника? Так, Прыма? Не подвезли на ферму ни соломы, ни картошки. Почему вы вчера рано отпряглись?

— Михайлович, так в такую погоду хороший хозяин и собаку из хаты не выгонит,— начал оправдываться Прыма.

— А кто вон тех баб выгнал, что вчера под открытым небом навоз возили? Ганну Кухаренку? Ксеню Цмак? Других? Позамерзали, посинели от холода, сбегает в конюшню, погреются — и снова на ветер. А кто Броника, пенсионера, выгонял? Бурты целый день в голом поле поправлял. Сам пришел...

— Что же тут сделаешь, Михайлович, когда такая погода, будто черт на ведьме женится,— отозвался и Хахлянок, молчавший до этого.

— Михайлович, так как же мы могли возить, если грязь на колеса накручивается, телега тонет... На каждом колесе, ей же богу, по пуду грязи. Мы ведь все же съездили, немного привезли,— оправдывался Прыма.

— Немного... А вьюги были и будут еще. Так что, коровам, по-вашему, надо будет всю зиму голодными стоять? Вы вчера отпряглись, обсушились, наелись. Так,

Прыма? А коровы голодали. Неужели, когда сами ели, не вспомнили, что скотина не накормлена?

— Михайлович, так мы же,— не унимался Прыма,— по какому-то килограмму на телеги клали, и то кони едва тянули по такой грязи.

— Когда вам надо, так не боитесь — тянут. Надо ему в Митьковщину на свадьбу ехать — пожалуйста, бери коня, гуляй, Прыма.

— Пускай уж Прыме все равно — накормлены коровы или нет: он вообще все что-то крутит, все выдумывает что повыгоднее. А вот вы, Иван Микитович... — повернулся ты к Хахлянку.

Тот, как заведенный, снова вспомнил про черта, что вчера на ведьме женился, а мне было видно, как тебе неловко укорять, стыдить человека, который по годам мог бы быть тебе отцом, человека, чье звание заслуженного колхозника, казалось, дает какую-то моральную неприкосновенность. Но звание званием, а коров не успокоишь тем, что сена или картошки им не подвез заслуженный колхозник...

В красном уголке на бригадном дворе шло распределение работы. Бригадир Владимир Бухавец давал наряды.

— Броник, вы тоже идите, как и вчера, к буртам. Надо их сегодня все поправить, а некоторые утеплить.

Броник — высокий, широкоплечий дед в выгоревшем на солнце солдатском бушлате и зимней шапке, из-под которой выбивались редкие седые волосы, молча кивнул, подтвердив свое согласие.

— Вот и Алексану с собой берите.

— Что ты, что ты, сынок мой! Куда ты меня, старую, на то поле, на ветер. Может, куда потеплей. Я уж и документы на пенсию подала.

Идти к буртам согласились молодые...

Я внимательно слушал и думал, давно ли бригадир бегал по хатам и чуть не на коленях упрашивал пойти на работу женщин, которые топили печи почему-то чуть не до самого полудня.

Сегодня же у Бухавца, да и у других бригадиров, в красном уголке уже с утра лежат ведомости, где каждый может проверить, правильно ли учтена его работа, увидеть, сколько он заработал вчера. Две молодые женщины, недовольные своим вчерашним заработком, перебивая одна другую, отчитывают бригадира:

— Мы тебе за полтора рубля сегодня гнуть спину не пойдем. Сам иди. Ведь же целый день на метели стояли.

— Так вы вчера до обеда только были. А после обеда не вышли,— оправдывается Бухавец, как-то по-детски смешно и часто моргая белыми ресницами.— Ну, а по вашему заказу я вам работы выдумывать не буду.

Сегодня вот в этой тесной бригадной хате, как и каждое утро, ведутся споры — тут распределяется работа, а заодно и деньги. Некоторые выгадывают, стараются получить более легкую и к тому же хорошо оплачиваемую работу. А тяжелую, менее оплачиваемую, кто будет делать?.. Найдутся, мол, жадные ко всякой работе. Вон Броник, Степан, Романовна...

И все это надо видеть Бухавцу, во всем разбираться. И он разбирается — Бухавец не только агроном, но и хороший организатор.

Бригадир сегодня превратился в «министра финансов» своей бригады. Сегодня в его руках деньги, сегодня он распределяет заработок. И, само собой понятно (бригадир ведь тоже человек!), в этом распределении денег, в расстановке людей на работу в какой-то мере всегда будут проявляться его симпатии и антипатии.

Вот мне и хочется, Геннадий, посмотреть на сегодняшнюю деревню немного и твоими глазами, чтобы лучше понять твои, председательские, заботы.

ВЕЧЕР С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ

Ты и сам говоришь, что раньше, когда заработок хлеборобу выдавался два, а то и один раз в год, каждый колхозник с нетерпением ждал общего отчетного собрания — этого своеобразного деревенского сейма. Ведь человек, получив, скажем, свои сто граммов на трудовень, надеялся на добавку. И потому колхозник спешил в назначенное время в клуб, потолкавшись там между фуфаяк и козухов, примащивался где-то на краю скамьи и терпеливо ждал сообщения, на сколько же граммов потяжелеет его трудовень. Конечно, чаще всего он был недоволен добавкой, так как считал, что его труд заслуживает большего...

Сегодня колхозника волнуют другие заботы, и на общее собрание он идет не только узнать, как будет оплачен весь трудовой год.. Теперь завтра же, как вон у Бухавца, каждый человек знает, сколько он заработал вчера.

Каждый месяц он имеет возможность сам или всей семьей пересчитать заработок — оплачивается ведь труд ежемесячно...

Нет, похоже, мы как-то слишком стыдимся высоких слов, когда говорим про наше сегодняшнее сельское хозяйство. Видимо, все еще не можем оторваться от обстоятельств тех времен, когда его надо было только ругать. А разве, Геннадий, не заслуживает доброго слова хотя бы средняя урожайность твоего «Большевика» — 26,3 центнера с гектара? Если вспомнить, что 10,4 центнера, прибавка колхоза за всю прошлую пятилетку, в том, предыдущем пятилетии, были нормальным урожаем многих колхозов... А разве можно не гордиться тем, что средние заработки механизаторов, животноводов, льноводов «Большевика» достигли ста шестидесяти — двухсот рублей в месяц? Разве не радуется то, что сегодня ни машины, ни мотоциклы, ни телевизоры, ни холодильники, ни модная современная мебель не считаются уже в деревне какими-то недостижимыми предметами роскоши? Тут, как и всюду, давно уже есть очередь на «Жигули». Мы забываем сегодня то время, когда на машину, купленную колхозником, как на какое-то диво, люди приходили поглядеть даже из соседних деревень.

Сегодняшняя деревня имеет много денег, и они по-своему, уже совсем по-новому формируют микроклимат деревенской жизни.

Скажем, раньше женщина собирала сливки с кувшина молока, возилась с маслобойкой, а потом утречком несла на базар светлую и пахучую, завернутую в капустный лист горку масла. Она продавала масло, чтобы иметь деньги. Теперь она платит деньги, чтобы купить то же масло... чаще всего в магазине.

Скажем, крестьянин всегда сажал огурцы, выхаживал их, а порой нес и на базар — тоже чтобы иметь деньги. Теперь он, имея деньги, покупает эти огурцы в магазине. Я даже видел, как колхозники, ленясь сажать и растить на своих сотках капусту, едут осенью в город и мешками везут скрипучие кочаны туда, откуда они и приехали, — везут снова в деревню.

Видимо, что-то изменилось в психологии деревенского человека, если он, не жалея, платит деньги, к которым всегда относился расчетливо и бережливо, платит за то, что всю жизнь заботливо выращивал сам...

И признаться, меня обрадовало, когда в небольшой

пристройке, где пахло стружками и свежим деревом, где собрались от холода все плотники, кажется, сам бригадир строительной бригады Игнат Медвецкий на мой вопрос, выращивают ли еще женщины в Андреевщине свои огурцы, капусту, не спеша и спокойно ответил:

— А кто же за нас их сажать будет? Если мы и от грядок своих откажемся, так мы же забудем даже, как и земля пахнет...

Не знаю, как насчет земли, не знаю, может ли кто действительно забыть, как она пахнет, но про грядки я думаю так же, как и дядька Игнат.

Ты, конечно, знаешь, как люди (деревенские в прошлом и горожане сегодня) с гордостью и радостью ставят на богатый стол тарелку своих огурцов, своих грибков, своей капусты, что приготовлены только по одним им известным рецептам. И закуска эта всегда кажется намного вкуснее и им и их гостям — видимо, потому, что она не сошла с конвейера, где чаще всего ей не хватает какого-то своего цвета или, наоборот, бывает какой-то лишний запах. А может, просто потому, что в эти огурцы, грибки или капусту мы вместе с трудом вложили и частицу своей души, своей неизвестной никому тайны...

Да, многое, очень многое изменилось в отношениях между самими колхозниками, между бригадами, председателями и хлеботорговцами.

Сегодня уже руководитель, если он хочет иметь авторитет, не может позволить себе грубости.

Все, видимо, знают, что было, когда в нашем Оршанском районе один председатель не дал своего «козла», чтобы отвезти в больницу заболевшего человека, который все лето работал на сушилке. Слышал и я, что этот случай рассматривался даже на бюро райкома, дошел до республиканских газет...

Заботой о человеке приобретает сегодняшний председатель авторитет, ибо, наверно, каждому не помешает чаще вспоминать давнюю истину: самое главное — не ты сам.

Видимо, потому ты, председатель, всегда в последнюю очередь привозишь себе брикет, дрова — вон они, еще не распиленные, засыпанные снегом, лежат на дворе. Видимо, потому тебе, председателю, привезли такие же, как и всем, яблоки из колхозного сада — вот они, на нашем столе: крепкие и побитые, чистые и червивые...

Знаешь, Геннадий, после «Большевика» я на несколь-

ко дней заглянул в нашу «Волну революции». В Орше случайно встретил Василенка, председателя колхоза, и на его «газике» добирался в Зубревичи. И, понимаешь, те неполные двадцать километров, которые отделяют мою деревню от города, мы ехали чуть ли не полсуток: «газик», как послушный конь, привычно останавливался возле каждой забегаловки, каждого шалманчика, где продавалось вино. Только поздно вечером, напрямик, по непривычно белому осеннему полю, которое хрустело под колесами, мы подъехали к зубревичским хатам.

Подвыпивший Василенок был весел. Он все время шутил. А я удивлялся его веселости, так как уже знал, что кому-кому, а «Волне революции» эта ранняя зима никаких причин для радости не принесла: под снегом оказалось двадцать пять гектаров поздно разостланного льна, в понизовском саду зазимовала картошка, в зубревичском — брюква. В Понизовье второй день стояли некормленные коровы. На председательского шофера, который случайно заехал на ферму, так и накинулись доярки:

— Скорее вези нас, Семен, в райком! Мы там все расскажем.

Назавтра я попросил, чтобы Василенок провез меня по бригадам.

— Так ты знаешь, я же Семена отпустил. Сегодня ему как раз понадобилось дома побыть,— не глядя на меня, сказал председатель.

— А вы же сами, Владимир Гаврилович, водите машину.

— Давай разве, может, я попробую завести,— нехотя проговорил Василенок.

«Газик» стоял возле конторы. Председатель долго возился около него, нажимал на стартер, крутил руль — словом, делал все, чтобы машина не завелась.

— Видишь, ничего не выходит,— вылезая из-за руля и глядя куда-то в сторону, заключил он.

Я же, зная, почему «ничего не выходит», предложил:

— А давайте мы, Гаврилович, пешком хоть на Заречье сходим. Тем более что сегодня сухо, морозец, даже сапог не испачкаем.

Схваченная легким морозом, разъезженная и перемешанная вчера со снегом уличная грязь сегодня хрустко ломалась под ногами, звонко и как-то по-весеннему легко крошился тонкий ледок на лужах.

По дороге Василенок рассказывал мне про свои «успехи». Урожай, правда, и в «Волне революции» был неплохой. Кое-как его убрали.

— Картошки по 140 центнеров накопили. А в Дружке даже по 180...

И ты понимаешь, Геннадий, услышав это, я даже остановился, даже переспросил:

— Где, где?

— В Дружке. Так мы недавно деревню Ярки переименовали,— думая, что я не понимаю именно этого, объяснил Василенок.

Нет, что Ярки стали Дружкой, я уже слышал. Меня заинтересовало другое. Я знал, что всю картошку в Дружке выкопали Виктор Медвецкий и Геннадий Кухаренка — экипаж картофелеуборочного комбайна из «Большевика»! Видишь, что получается: чужие механизаторы более старательно и заботливо убирали картошку, чем свои. Но удивляться тут, конечно, нечего — эти механизаторы приучены бережливо относиться к каждой картофелине, каждому зерну, выращенному людьми...

На Заречье, пока искали кладовщика и ключи от механизированного тока, мы с Василенком стояли около огромной загородки, где под открытым небом, по пузо в грязи и в снегу, жалостно и простуженно ревели взъерошенные от холода телята.

Василенок объяснил, что будет этим заниматься — как раз сейчас ему, видишь, захотелось переоборудовать телятник. И время нашел подходящее — перед самой зимой...

Наконец принесли ключи. Нехотя, долго ковыряясь в замке, отпирал председатель мехток. Заскрипели двери. Возле сушилки — ссыпанное кое-как, занесенное снегом, мокрое, неочищенное зерно. Через огромные дыры в фронтоне (через них, видимо, и снегу столько насыпало) в мехток залетают вороны и, не обращая внимания на людей, садятся на гору зерна. Правда, на почтительном расстоянии от нас.

Когда мы открыли второй ток, глаза ослепила свежая, яркая зелень. Высоким и широким зеленым холмом бурно росла на току молодая озимь. Можно было брать косу и косить ее на подкормку. А от дверей под всю кучу подтекала вода — верная гарантия того, что завтра прорастет и то зерно, которое сегодня пока не пробудилось.

И мне вспомнилось, как еще в Орше, увидев на доро-

ге горстку зерна, что неизвестно как попала на асфальт, Василенок, тот самый Василенок, который стоял теперь перед этими дружными всходами, не на шутку разозлился:

— Вот видишь, мы там растим, стараемся, над каждым зернышком дрожим, каждый колос оберегаем, а тут вон как его рассыпают, как не ценят наших трудов.

И знаешь, Геннадий, мне очень захотелось, чтоб те свои слова Василенок вспомнил вот здесь, над этой горой загубленного хлеба, над теми тоннами зерна, которое сгорало в Заречье.

Но Василенок молчал.

Чувства неловкости, стыда и злости сменялись во мне, когда мы с Василенком стояли перед зеленой горой выращенного, собранного и так безнадежно испорченного хлеба...

И, может, потому мне, понимаешь, всегда приятно снова, хоть мысленно, возвращаться в твой «Большевик», где все работы идут слаженно, не слишком подгоня одна другую. Скажем, после весеннего сева у твоих колхозников всегда остается каких-то пару свободных недель перед сенокосом — чтобы перевести дух, оглядеть технику, подготовиться. И так между всеми работами: между косьбой и жнивом, между тереблением льна и уборкою картошки у тебя всегда есть время на раскачку, ибо если колхоз, не дай бог, собьется с ритма, ему уже никто не сможет помочь: ни представители из района, ни сам председатель. Тогда все, как говорится, будет идти через пень-колоду: не закончено сенокошение, а уже осыпается рожь, не закончена жатва, а уже, смотришь, подгоняет картошка...

Когда я однажды заметил тебе, что, мол, в такой беде, видимо, могут помочь шефы, ты сначала молча поглядел на меня, а потом улыбнулся:

— Шефы, говоришь? Хорошо их иметь, когда в хозяйстве порядок. А то вон может случиться, как в «Волне революции». Приехали картошку копать на одной машине, а домой ехать собрались — начали Василенка за горло брать: давай им вторую машину — и все тут. На одной уже с мешками не умещаются.

Не выбиться из этого ритма тебе помогает постоянное внимание к технике. Ты знаешь, что без нее сегодня нельзя всерьез заниматься сельским хозяйством, думать о его успехах. Видимо, потому в своей известной на весь район

тетради, которую ты ведешь ежедневно (про нее мне рассказывали и в райкоме партии), ты тщательно записываешь, где сейчас каждая автомашина, каждый трактор, что они делали до обеда и чем будут заниматься с полудня...

Ранний снег уже тает. От земли идет густой пар. Из-под снега показывается темно-зеленая, перемерзлая и потому такая яркая трава. Я возвращаюсь в Минск. Полдень. Ты, Геннадий, видимо, сейчас пришел домой, чтобы пообедать, и пока что уставший, не раздеваясь, прилег на неубранную раскладушку, которая для этого и стоит в хате. Может, к тебе, как это нередко бывает, отгоняя младшую Гальку, ластится пятилетняя Лариса. Тянется со своими всегда большими и всегда необъятными, как мир, вопросами, которые ей обязательно надо решить. Молодому отцу надо уметь отвечать на все вопросы...

А ты, Геннадий, действительно во всем еще молод — молодой председатель, молодой коммунист, молодой отец, молодой человек: тебе же едва перевалило за тридцать. А в таком возрасте, как известно, по чьей-то искренней или неискренней доброте все еще считают человека молодым и порой с подозрительностью поручают какую-нибудь кажущуюся сложной работу.

В ответах на вопросы анкет ты пока частенько делаешь прочерк: в выборные органы не избирался, правительственных наград не получал. Но все это у тебя будет. Обязательно придет и слава, а с ней самое трудное испытание для человека — испытание этой славой. Видишь, передо мной уже приезжали в колхоз из областного радио, да и районная газета очень часто поминает добрым словом твой «Большевик».

Потому что ты, Геннадий Михайлович, именно из того поколения, которое сегодня не спеша, постепенно перекладывает на свои уже окрепшие и сильные плечи большой груз нелегких государственных забот.

Я обязательно вернусь еще в «Большевик». Приеду к вам весной, чтоб встретиться, с кем не встретился, поговорить, с кем не поговорил, познакомиться, с кем не знаком. А заодно воспользуюсь твоим советом посмотреть колхоз весной:

— Тоже мне нашел время — сырость, грязь... Приезжай-ка весной. Поглядишь, как у нас тогда красиво. Посмотришь хоть вот из этого окна кабинета на наш белый весенний сад...

● ГЛАВА ВТОРАЯ

Весна идет со скоростью 65 километров в сутки.

(Из научного исследования)

Послушай, Геннадий, тебе никогда не хотелось узнать, что чувствуют деревья, когда холодноватой еще весной под шершавой, нагретой за день корою заходит-забушует вдруг пенистый, беспокойный сок? Тогда даже мы, люди, кажется, сами воочию видим и чувствуем, как бунтует и пенится в березах эта хмельная и радостная кровь весны, как она бурлит, гулко и настойчиво стучится в каждую ветку, в каждую почку яблони, сливы, вишни — стучится до тех пор, пока не вспыхнет слабый до поры зеленый огонек листка или большое, белое и пахучее пламя первого цветка. И тогда по-другому начинаешь воспринимать дремотно-пробуждающееся беспокойство сосняка, что скрипуче потягивался на заснеженном, обласканном солнцем пригорке, в глубоких, будто омуты, снежных ямах возле нагретых комлей. Или какой-то по-новому светлый и задумчивый шум тех березок, мимо которых раньше, еще на сгоне зимы и снегов, проходил не останавливаясь.

Не спеша, наступая на ломкие льдины и на белый хвост зимы, который торопливо поджимали и несли на север вьюги, с юга зелено продвигалась по республике весна. Она весело обходила лужи, забиралась туда, куда даже птицы не осмеливаются залетать летним солнечным полднем, а то вдруг так набрасывалась на какое-нибудь дерево, что оно потом удивленно и долго шумело.

Пройдут сутки — и шестьдесят пять километров полей, лесов, лугов и всего того, что попадется под ноги весне, начинает как-то ровно и легко дышать. Еще сутки — и тут уже лопаются набухшие почки и по-своему радостно и желто, будто птенцы, над холодной водой, которая пахнет еще по-зимнему, начинают трепетать пушистые шарики вербы.

Вот так и шла она, весна, — от куста к кусту, от пригорка к пригорку, от дерева к дереву, от реки к реке, от области к области. На нашу Витебщину она, как и всегда, пришла в самую последнюю очередь...

Теперь же над «Большевиком» стояла теплая, настоящая весна. И сад возле конторы колхоза, который зимой звенел заледеневшими ветками и, словно от оводов, отмахивался от холодных снежинок, сегодня радостно тешился белым цветом, который просто кипел над каждой яблонью.

Неповторимый запах цветения в густом пчелином звоне хмельно кружил голову — дышишь им и никак не можешь надышаться.

Не знаю, так это или нет, но мне думается, что каждый, кто хоть раз увидел, перерадовался и пережил, как личное счастье, то время, когда зацветают сады, уже никогда, всю жизнь не сможет забыть, как это бывает. Не сможет равнодушно не замечать его — такое, говорят, не удастся даже самым черствым людям. Не сможет не скучать без него, если вдруг по своей или не по своей воле будет лишен возможности снова вдохнуть запах весенних садов, разнесенный по всей округе суетивными в это время пчелами.

Яблони радовались весне. Пчелы радовались щедрому цвету — они взволнованно делали свою извечную работу...

Мы с тобою, Геннадий, едем в Анибалево. Там как раз сегодня собираются выгонять в поле коров, и потому в бригаде идет разговор о пастухах.

Так, наверное, было всегда. Как только звонко, будто льдинки, ломалась зима и сгоняло снег, на свой первый весенний разговор всегда собиралась вся деревня. Мужчины обычно задумчиво садились на обсохшие, теплые уже бревна, которые этим летом станут кому-то хатой; женщины чаще всего стояли: видимо, чтоб удобнее было спорить и возражать. Разговор о будущих пастухах всегда велся неторопливо: мол, просится и тот, и этот... Обсуждали их всегда придирчиво и внимательно — крестьянин знал, что от того, кому отдаст он сегодня в руки кнут, зависит, как будет накормлена и напоена вся его большая босоногая семья, которая, словно пчелы в улье, гудит вот сейчас в хате, за окнами, прильнув носами к стеклам...

Едем на новой машине Василя Новикова втроем в кабине, ибо Куляй, шофер твой, меняет на «Москвиче» колеса.

Солнечное утро. Мне всегда казалось, что утро и весна — словно очень близкая родня: одно начинает светлый

день, другая — зеленый год. И от того, как они начаты, зависит, какой будет синий вечер и какая желтая осень.

Аромат весны всегда пьянит каждого — в нем ведь собраны запахи талой земли, молодой травы, свежего цвета и ласкового щедрого солнца, от которого, кажется, ширится небо. Этот аромат врывается даже в кабину, перебивая обычные запахи бензина и масла.

— Слушай, Геннадий, — начинаю я разговор, — понимаешь, я все время слежу по сводкам за «Большевиком». И вот меня удивляло, что ты долго не сеял лен. Все уже, гляжу, отсеиваются, а у тебя все — ноль да ноль. А потом через какой-то день-два вижу, уже все посеяно.

— Понимаешь, тогда как раз холода пошли, слякоть какая-то. Ну мы и решили подождать тепла. А что, если вдруг морозец ударит? Лен ведь на третий день всходит. Тогда он и сядет маком, закорееет. Подождали. Почва ж у нас вся подготовлена была. А как потеплело, за день и отсеялись.

Такое терпеливое выжидание, по-моему, требует крепких нервов от председателя. Это точно своеобразный азарт в игре с природой. Игре без гарантий, так как ты не знаешь наверняка, что будет завтра, через неделю, не знаешь, чем эта игра может закончиться: или ты, выждав — выиграешь и посеешь в теплую почву, или проиграешь — дотянешь до того, что и сеять будет поздно.

У тебя все кончилось хорошо. И сегодня «Большевик», победив в соревновании, получил переходящее Красное знамя за успехи в весеннем севе. Все шло как надо. Сев начали вовремя — не раньше и не позже сроков. Как раз когда созрела земля. Понимаешь, Геннадий, я никак не могу понять: зачем начинать сев раньше сроков? Помнишь, как еще недавно кто только не хвастался: в этом году начали сеять на две недели раньше, чем в прошлом, в прошлом году — на две недели раньше, чем в позапрошлом. И порой так заговаривались, что, когда брали карандаш и на свежую голову складывали все эти недели «опережения», так получалось, что сеем мы уже где-то в снежном январе.

А еще по сводкам я заметил, что «Большевик» немного отставал и по вывозке удобрений. Но об этом я не спрашиваю, так как знаю, что своих торфяников в колхозе нет, а потому приходится далеко ездить, выпрашивать. А дадут ли — неизвестно. Ты, видимо, догадался, о чем я думаю, и сам начал:



— Может быть, ты видел также в сводках, что и торфокрошку мы возили не так, как надо передовикам. Хотя старались. Поехали, скажем, в Белево за торфом, а их председатель не дал. Так и вернулись машины порожние. Возили немного из Осинторфа. Но это же очень далеко, больше сорока километров. Иные наши шоферы только по одному рейсу успевали делать. Тогда я позвал Виктора Медвецкого и говорю ему: «Докажи ты им, Витька!» Парень он хороший, честный. И доказал — по три рейса в день делал, а те раньше и по два не хотели.

Вот видишь, что стоит за обычным сообщением сводки: «отстает с вывозкой удобрений...»

Через запыленное окно кабины видно, как немного поодаль от дороги падает на кочку жаворонок. Наверное, прямо в свое гнездо. И, наверное, как всегда, с песней, хотя песни здесь и не слышно.

— И с надоями было трудно... Отелы все поздние, коровы не доятся, а план требует своего.

Доехали до Аржавки. Отсюда, вот с этого пригорка, очень хорошо видно поле — мягкое, ухоженное, подготовленное к посадке картофеля. За полем, за невысоким кустарником слева видны уже животноводческие постройки. Справа густо идет под далекий лесок и само Анибалево. Нет, это все-таки не лесок — это просто обычные кусты. Леса же настоящего, куда ни посмотришь, не видно.

— Понимаешь, — снова вернулся ты к проблеме, которая и ведет тебя сегодня в Анибалево, — попросился к нам в пастухи Александр Мирошниченко, милиционер из Орши. Такой уж свойский парень, такой хлопотливый. Ну — весь, понимаешь, сельский человек. Город ему вообще чужой был. Он когда и в милиции служил, — то, куда бы ни пошел, — не пропустит где клочок какой травы сорвать, а то мешок соломы притащит, хоть она ему и не нужна. Словом, не пастух, а находка для сельского хозяйства. Он человек дисциплинированный, а опыта пока что нет. Его, если в кустах, то корова иная так закрутит, что и сам не выйдет.

Ты немного помолчал, а потом признался:

— Хотят люди Аркадия Савельева, прошлогоднего пастуха, обломать немного. Какой-то он слишком задиристый, сварливый — любого человека зацепит, обругает. Вот потому пришлось Миколая Ефременку из строительной бригады в пастухи переводить. И ему в помощь Мирошниченку...

Возле коровника, который стоит на высоком пригорке, возле восточной стены, тепло прогретой ранним солнцем, уже сидели и стояли анибалевцы — ждали председателя. Мужчины молча, аккуратно держа над ладонями папироски, курили. Женщины старались и за себя и за них, крикливо переговариваясь:

— Глядите-глядите, вон Мирошниченко бежит и на ходу кнут вьет, — заметил кто-то.

— Огонь его знает, какой парень шустрый...

Вскоре на пригорок, запыхавшись, взобрался Мирошниченко — все бегом, бегом... Добродушная, сердечная улыбка, веселые, быстрые глаза. Темно-синий вылинявший милицейский китель с темноватыми полосами на плечах — от красных милицейских погон. В руках длинный, недовитый еще кнут.

Анибалевцев в таком сборе видел я впервые.

Давай, Геннадий, послушаем, что говорят колхозники.

— Пускай себе хоть втроем пасут. Но чтоб каждый день втроем были, а не то что они через два дня каждый себе выходной брать будут...

— А то выйдет, что они, как и прежде, вдвоем будут возле коров, а будет только считаться, что втроем пасут...

— Вдвоем, конечно, меньше напасешь, чем втроем. А коров ведь много: наших тридцать две да колхозных сто четырнадцать...

— Так скоро ли погоним?

Это уже Мирошниченко. Ему, словно ребенку, впервые оказавшемуся в самолете, не терпится: скоро ли полетим?

— Давайте выгонять поскорее, — не унимается Мирошниченко и, сжимая в ладонях кнутовище, добродушно улыбается своими большими и добрыми глазами, которые очень молодят его широкое лобастое лицо.

— Чего ты, Шурка, спешишь? Не сидится тебе что-то. Успеешь еще, набегаяешься.

В небольшом кустарнике возле фермы, растревоженные солнцем, прямо-таки заходятся, заливаются соловьи. Поют, соревнуясь между собой, три или четыре певца сразу. Их радостные песни то сливаются в одну звонкую мелодию, то вдруг разъединяются, и тогда каждый сам по себе старается получше рассказать об утре, о своей весенней радости.

Люди постепенно расходятся. А через некоторое время уже выводят коров — на вожжах и уздечках, крепко завязанных вокруг рогов, а то и просто на веревках. Одни идут спокойно, не сопротивляясь, радуясь, видимо, весне и солнцу, другие удивленно и нетерпеливо озираются — ну где же она, та молодая трава, которой так заманчиво пахнет все вокруг; третьи упираются, пригибают к земле рога, и их чуть ли не силой надо тянуть с горы, на которой стоит деревня, тянуть в глубокий ров, что разделяет Анибалево и ферму.

Доярки выгнали из коровника и колхозных коров. Вылинявшие, гладкие и чистые, рогули, словно ошалев от солнца и от такой внезапной свободы, забежали по двору. Они, казалось, не знали, что делать с этой свободой и с этим простором. Поддевали на рога кули соломы и трясли их, пока не вытрясали все под ноги. А если и оставалась в рогах какая соломинка, они настойчиво крутили головами, взбрыкивая, бегали по двору, пока и этот легкий груз не спадал с рогов. А то, будто задумав сдвинуть, упирались лбами в груды торфокрошки и торопливо крутя там рогами, поднимали большие облака бурой торфяной пыли.

— Ну и набегаются за ними сегодня пастухи! — заметил ты.

— Ага, сегодня они не присядут и не постоят даже, — отозвался высокий худой мужик в шапке-ушанке, сдвинутой набок: одно ухо вверх, другое вниз.

Подумав, добавил:

— А помните, Михайлович, как еще недавно выгоняли в поле? Выгоняли — это одно только слово. Даже неудобно — на руках выносили. А которая покрепче — выйдет сама и качается, как пьяная. И ветра нет, так она от солнца валится... Вот как было!

— Было, — поддержал ты мужика и повернулся в мою сторону. — У меня совсем недавно было, когда зоотехником в «Волне революции» работал. Поехал я тогда зимой, как говорится, дугою сено косить — коровам ведь нечего давать. Поехал за Дубровно. Лесник повел меня куда-то в лес. Едем на тракторе, кусты ломаем — не видно ничего. Едва назад выехали. Чуть прицеп не перевернули. Подгнившей осоки стог забрали, привезли. Поглядел я, как накинулись коровы на эту осоку, — и такой меня страх охватил. Испугался, понес в райком заявление...

Я знал, что ты когда-нибудь расскажешь про тот случай. Слушал тебя, а сам глядел на приземистые, осевшие за зиму стога, которые и теперь, когда уже выгнали коров в поле, все еще стоят непочатые. Сена, значит, хватило. Хватило и соломы. Вон там, возле Хасмановой рощи, сколько их, стогов соломы, все еще гордо возвышается на пашне: сверху серые от дождей и метелей, а раскопаешь — и как зазолотится, будто прошлогоднее солнце, солома и как запахнет она тем, тоже прошлогодним, жнивом!

Ты перехватил мой взгляд и заметил:

— Кормов нам хватило. Один стог соломы — вспомнив, как сам когда-то искал, — отдал «Волне». А вон там у нас из совхоза «Глыбочаны», из Ушачского района, солому берут. Вот уже около месяца, видно, работают. Прислали свою технику, тут прессуют и домой возят.

Ты заторопился.

— Знаешь, обязательно надо сейчас в Межколхозстрой к Пашэньке подъехать. Вот так надо!..

Мне же захотелось поближе познакомиться с Анибальевым, с анибальевцами.

— Так ты оставайся. Павел Сысоевич, наш фуражир, все тебе и покажет и расскажет.

Дядька Павел, передвинув свою шапку так, что теперь уже то ухо, которое было внизу, стало наверху, а что торчало вверху, опустилось вниз, повел меня знакомить с дояркой Пелагеей Аланцевой, заслуженной колхозницей. Но знакомства не получилось: тетка Пелагея была очень занята — как раз чистила коровник. С первого взгляда она мне показалась какой-то угрюмой, неразговорчивой, сдержанной. Поняв, что непринужденного и доверительного разговора сейчас не получится (какой там разговор, когда мешаешь человеку работать!), я условился, что мы поговорим позже, а сам пошел за ферму, где машины брали силос и где над ямой уже возвышалась шапка дядьки Павла: одно ухо вверх, другое — вниз.

— Этот рейс в Кобыляки? А вы там хоть взвешиваете, что привозите?

— Да зачем же, Павел, взвешивать теперь? Зиму ведь пережили. Бояться, что кормов не хватит, сейчас не надо, а до следующего года этот силос не прибережешь.

— Ну и что ж. Все равно надо взвешивать, — уверенно стоял на своем Павел Клыковский.

Когда машина, выше бортов нагруженная пахучим силосом, поехала в Кобыляки, дядька Павел, показав на далекие стога в поле, возле которых сновали люди (видимо, глыбочанцы), сказал:

— А Валентин, бригадир наш, чуть было не поджег их. Уже спичку поднес, уже затрещала было солома. Едва затоптал я тот огонь. «Сынок, говорю, а зачем это — жечь?» — «Так мы же, дед, скоро новой нажнем, — отвечает бригадир. — А эти стога и сеять нам мешают, и глаза только мозолят. Пусти!» А я не пустил: «Нехай себе, говорю, и мозолят, но не дам. Может, кому и понадо-

бится. Вон как люди без этой соломы бедствуют». Вот и понадобилась... Пускай и не нам, пускай чужим людям. Хотя, если вдуматься, то и они нам не чужие...

Дядька Павел помолчал, снова передвинул свою выдавшую виды шапку и, будто что-то вспомнив, заговорил снова:

— Жечь солому оно легко — это же не костер мокрой осенью в лесу или в поле раскладывать: только поднес спичку — и уже горит. Вон в Браздечине даже сорок тонн льна спалили. Говорят, изо всех соседних деревень, звеня ведрами, испуганные люди бежали — думали, Браздечино горит. Пожарные из города примчались... Тот лен, который сами погноили, им, наверно, тоже глаза мозолил. А председатель, говорят, даже сам такие приказы давал шоферам, которые возили лен, — мол, если не примут, скоренько где-нибудь по дороге у обочины сбрось, подожги и, пока не разгорелось, быстро удирай налегке — чтоб не узнали, чья машина была.

Я тоже слышал про эту браздечинскую бесхозяйственность. Сколько тогда по обочинам дорог с легкой руки председателя колхоза горело таких ярких костров!

Миновав ров, по твердой и утоптанной тропинке, которая, как кажется сегодня, излишне петляет (тогда же, в самую грязь, это было вынужденным — люди искали место посуше), вхожу в деревню. Вокруг, радостно отогреваясь после холодноватой ночи, вытаращившись на солнце и утро, желто тешатся весной одуванчики. Раскрывшись, как только можно раскрыться, они, кажется, даже отрываются от земли, — наверное, чтоб поближе быть к солнцу. А как только день повернет с полудня, — поутихнут краски, и эти круглые желтые зонтики свернутся в зеленые клювики, откуда как-то совсем по-птичьим будут испуганно выглядывать только небольшие желтоватые чубчики.

Будто дитя, радуюсь я всему, что растет. Да, видимо, таких нас на свете очень много, потому что вряд ли останется кто равнодушным, когда увидит, как на его глазах происходит величайшая неожиданность — рождается живой зеленый росток. Одни из них дыбятся, упрямо выгибают спины, а потом, нащупав твердую опору и укоренившись, победно поднимают на зеленом клюве ростка и само зерно, из которого выросли. Другие, пробив зерно, напористо и остро проходят землю и сразу — вверх, вверх, вверх! — спешат расти, спешат ветвиться, чтобы

опередить быстрые сорняки и обязательно быть выше них. Третьи долго и несмело ворошат вокруг себя землю, ищут куда лучше выйти, а выбравшись — отряхиваются от малюсеньких комочков и все озираются, стараясь понять, куда же они наконец попали.

Так бывает весною везде — и в поле, и в огороде, и на лугу. И даже возле этой вот тропинки, где, пробиваясь из земли, так упорно трудились недавно столько одуванчиков.

Широкая, просторная из конца в конец анибалевская улица... Совсем прямая — станешь в одном конце и видишь другой. Возле некоторых хат еще с зимы лежат кучки тоненьких прутиков, какими только б ребятишкам гусей пасти. Это анибалевские дрова — близкого, своего леса здесь нет, а потому чаще всего дрова на зиму приходится заготавливать где-нибудь в кустовье, которое чуть поднимается от земли.

Над хатами — редкая пока еще зелень. Светло-зеленые праздничные платочки березок подсвечивают и делают торжественными даже темные, более сдержанные по цвету тополя. Из щедро раскрытых кулачков большими гроздьями, шелестя, выходит рябиновая листва. Тихо шумит мелкая-мелкая зелень вербы. Всюду — радость зеленого листа. Еще одно чудо природы, благодаря которому существует все живое на нашей земле...

Не спеша прошел по Анибалеву. Улица, свернув вправо, уткнулась в бурый еще от прошлогодней листвы пригорок. Там, где-то за этим пригорком, — Соловье, уже другой колхоз.

На улице — никого: все повели в поле коров и еще, верно, настороженно следят там за своими рогулями: как они после зимы будут привыкать к новому стаду. Повел свою корову и Валентин Савельев, анибалевский бригадир, и пока еще не вернулся. Надо его подождать.

На этом, ближнем к ферме, конце деревни красиво белеют три светлых кирпичных двухквартирных дома. Четвертый нежилой — видимо, клуб. Напротив бригадирова дома, как раз через улицу, на лавочке сидит старушка, которая, как мне показалось, одна только и осталась сейчас в деревне. Не по теплу, не по-весеннему зябко укутавшись в толстый черный зимний платок, она сидит, низко согнувшись над согретой землей, что смело начинает зеленеть даже под ее валенками, сидит, перенеся всю тяжесть своего нелегкого уже от годов тела на

легкую опору — недавно окоренный (и потому белый-белый) суковатый посошок.

Разговорились. Выяснилось, что это — бабушка Пёкла, мать Куляя, председательского шофера.

Она охотно принялась отвечать на мои вопросы.

— Ага, это наш анибалевский клуб. Теперь закрытый. А на субботу и воскресенье столько парней и девок приезжают из города, что даже в клубе не помещаются. Ага, наших колхозников дети. Поют, танцуют до утра. По-всякому скачут: и по-новому, и по-старому. А к понедельнику все разъезжаются. А вот свадьбы, не говорите, я и не припомню, когда у нас справляли.

Вспомнилось, как кто-то в конторе еще осенью, когда зашел разговор о том, что нет молодежи, сказал:

— Как это нет? Вон на выходные дни как посъезжается наша молодежь, так аж заборы трещат. В Анибалево трещат — в Андреевщине слышно, в Андреевщине целуются — в Кобыляках эхо стоит...

Бабка Куляиха продолжала:

— Ага, эти дома колхозные. Колхоз построил, а нам председатель дал. Вот тут шофер Чайковский живет. А через улицу — бригадир. Вон как раз и бригадириха сюда идет. Она родила, так теперь не работает — дитя пока что растить надо.

Молодая женщина, аккуратно прикрыв сени белого, словно кусок сахара, домика, бережно держа на руках ребенка, осторожно перешла улицу и села возле нас на лавочку...

— Ага, а у нас в хате стоят люди из Ушачского района. У них, говорят, плохо. Солому берут. Идут на поле утром, а приходят поздно уже. А то еще придут, умоются, пол-литра разопьют, да на танцы в клуб нечистая их понесет. Так я уже и не слышу потом, когда они возвращаются.

Ребенок закапризничал, заплакал — не дал бригадирше посидеть с нами. Женщина опять так же осторожно перешла улицу и скрылась в своем беленьком, как сахар, домике.

— Ага, с дровами у нас, не говорите, трудно. Лесу-то нет. А эти вот прутики вон из той Хасмановой рощи. Это еще тот председатель память о себе оставил. Там наше кладбище как раз. Ну, и каждый возле могилки хоть какое дерево да посадит. Так, понимаешь, ветер от того кладбища начал разносить по полю семена березок, оль-

хи. Зарастать стало поле. Хасман и говорит: «Не трогайте, пусть растет: у нас свой лес будет». И правда — вот теперь если какая оглобля к телеге нужна или грабелице, то уже не надо далеко ехать — все идут в Хасманову рощу. А то и какой воз дров председатель даст нарубить тому, кто хорошо работает...

Бригадира все еще не было.

— Вот и с водою у нас плохо. Ты же, сынок, я знаю, прошел по улице, небось увидел, что ни одного колодца на ней нет. А какая же это улица без колодца, правда? Что за деревня без воды? Мы вон там в лощине воду берем. Бывает, что и не хватает. Первые выберут, а кто проспал, те уже ведрами в грязи болтают, болтают, пока какого месива с полведра наскребут.

Заговорившись с Пёклой Куляихой, я и не заметил, как на аржавское поле, которое хорошо просматривается с нашей лавочки, въехал трактор с картофелесажалкой. И спохватился только, когда столб пыли уже дымился где-то посреди поля. Я, понимаешь, забыв, что у вас, Геннадий, наряды раздаются с вечера, что уже тогда каждый знает, чем будет заниматься завтра, настойчиво ждал бригадира и наивно думал, что, пока он не вернется от коров, в бригаде будет стоять вся работа...

Когда я дошел до Аржавки, половина поля была уже засажена. Стеснительный, неловкий и замедленно-рассудительный Гриша Медвецкий вылез из кабины трактора и поздоровался за руку:

— А, это вы? А я уже думал — может, какой представитель из района проверять идет, правильно ли картошку сажаем.

Гриша весь серый от пыли. Даже на лице, которое теперь у него земляного цвета (только зубы белеют да глаза синеют), лежит такой пласт пыли — хоть ты расписывайся на нем. Гриша снял кепку, взял ее за козырек, хлопнул о гусеницу — облако пыли взорвалось над нею. Провел ладонью по щеке — и от уха до подбородка засветилась полоса белой, пока еще не загоревшей кожи.

— Давайте быстрее загружаться да поедем, — убедившись, что перед ним не очередной представитель из района, сказал Медвецкий колхозникам на картофелесажалке, и сам полез в кабину.

А я стоял и любовался, как послушный руке тракториста кронштейн высунулся и повис над самой дорогой, где в пыли, словно откормленные поросята, лежали меш-

ки с картошкой; как мощные зажимы брали за уголки, будто за уши, белые мешки и легко поднимали их над машиной — чтобы высыпать картошку в бункеры, людям оставалось только развязать хохлы... Любовался и радовался, ибо знал, как раньше трудно было посадить в срок картофель. Вспоминал, как ты говорил: «Картошку сажать теперь не проблема. Тут самое главное навоз поразбрасывать, почву подготовить».

Гриша Медвецкий осторожно тронул с места свой агрегат, и сразу же за ним за клубилось облако пыли. Скоро уже не стало видно ни трактора, ни картофеле-сажалки, ни женщин, что стояли на ней: казалось, столб пыли сам по себе ровно идет по полю, оставляя за собою с одной стороны сухую, выбеленную уже солнцем землю, а с другой — бурую, влажную, только что разворошенную и потому пахучую почву...

А чем же все-таки пахнет земля? Вот так, если ее, только что перевернутую, холодноватую еще, возьмешь в руку, разотрешь в горсти — кажется, у нее и запаха особого нет. Земля как земля. Черная, бурая, беловатая или желтоватая... И пахнет она только землею. А из нее, оплодотворенной трудом, и из нее же, даже никем не тронутой, рождаются все запахи, какие способны воспринять звери и люди. Потому что и запах огня, разложенного на опушке леса или в поле, и запах свежего хлеба, что волнует даже сытого человека, и запах антоновок, которые тяжело сгибают ветви, — все это от земли. И она, земля, никогда не повторяясь, дает свой особенный запах каждому цветку, каждому растению, каждой ягоде. Все они, если хорошенько вдуматься, пахнут только землей. Да еще, может, солнцем, небом и ветром...

Возвращаюсь в Андреевщину. По облакам пыли, которые клубятся тут и там, безошибочно можно догадаться, что где делается.

Вон то знакомое «облако» в поле, которое уже развернулось на горе и снова спешит в низину, — это, конечно, агрегат Гриши Медвецкого. В быстром белом облачке, что мчится по дороге в Аржавку, — наверное, машина, которая везет перебранную картошку: спешит, чтоб не простаивала из-за нее картофеле-сажалка. Еще одно облако сопровождает машину с силосом в Кобыляки, а в том пыльном облачке готовят почву под картошку...

Наблюдая за всем этим, я наконец понял, чего не хватает этой весне. Дождя не хватает, хорошего дождя!

Все ходил, глядел и чувствовал: ждешь чего-то ты, председатель, ждут твои льноводы и хлебосеи. Оказывается, все ждали дождя. От твоих колхозников я даже слышал такую шутку: «Нам два дождика в мае — и агрономы не нужны!» Только дождя, спорого и теплого дождя, ждали бурные пригорки, чтоб, отмывшись от прошлогодней отавы и листвы, чисто зазеленеть прогретыми боками. Дождя, который бы прибил разъезженную машинами пыль, ждала дорога. Дождя, чтоб еще больше зазеленеть, ждала листва. Дождя ждала земля — и то, что в ней уже лежит, да и то, что мы ей еще доверим.

Задумавшись, я и не заметил, как едва не наступил на маленькое птичье гнездо — из-под самых моих ног испуганно выпорхнула пташка и, точно стрела, воткнулась в ближайший куст. Беззащитное, не по времени доверчиво открытое для всех гнездышко было свито в колее, что осталась чуть сбоку от дороги в засохшей глине, из которой реденько торчали травинки, — видимо, весной тут как раз объезжали лужу. В гнездышке было два рябеньких, под цвет вспаханной земли, яичка: это, очевидно, жаворонок так неосмотрительно выбрал себе место и начал обживать его... И скорее всего совсем молодой. Ибо какая же это умудренная хоть несколькими веснами жизни и гнездования птица решилась бы свить свое гнездо около такой шумной дороги, на самом виду?

Возле меня, возле гнездышка, фыркнула, промчалась грузовая машина. Не успел даже испугаться — только пронеслось облако пыли. Шофер, видать, удивился — что это, мол, за чудак, почти на самой дороге, согнувшись, стоит над колеей...

Сколько же тебе, пугливый жаворонок, приходится каждый день вот так торопливо выпархивать из гнездышка и нетерпеливо ждать, когда можно будет снова вернуться к запыленным яичкам, которые успевают за это время немного остыть?..

В наши дни чаще всего так и бывает: справа басовито рокочет трактор, слева — другой, позади — третий, а где-то впереди, как в том вон кустарнике возле фермы, стараясь перепеть этих говорливых и голосистых рокотунов, захлебывается своей песней соловей...

А завтра, если не утихнет наша не объявленная, но

опасная война с природой, самый обычный подснежник, которых сегодня еще много в наших лесах, надо будет искать как что-то уникальное...

Потолкавшись там, поговорив здесь, заглянув на ферму, в контору, похажив по колхозному двору, заставленному техникой, и нигде не встретив тебя, я уже, Геннадий, честно говоря, даже разозлился на самого себя — чего ради от тебя оторвался? Вот попробуй теперь снова напасть на твой след, когда всюду, где только ни спросишь: «Не видели ли вы председателя?» — все отрицательно крутят головами или, занятые своими делами, коротко отвечают «нет» — весною разговаривать некогда.

— Нет, не видел, — ответил и Владимир Садкович, снабженец колхоза. — Я сам его жду.

Что ж, подождем вместе — вдвоем и ждать веселее.

— Он еще из Межколхозстроя не вернулся...

Мы с Садковичем присели на какие-то железяки возле кузницы. В кузнице весело стучал молоток, радостно и звонко пело железо. Удары тяжелого молота по наковальне на слух казались совсем легкими. Так может работать только человек, которому очень радостно.

— Что это Слонкину так весело? — просто, чтобы не молчать, спросил я.

— А чего ему скучать? — ответил Садкович. — Завтра он едет в свой Калининград. За женой едет. Заберет — и сюда. Ему Михайлович, пока новый двухквартирный дом будет готов, в конторе комнатку освободил.

Наверное, это закономерно: и радость человека, и боль его обязательно скажутся в рабочем ритме, который не может не быть созвучным его мыслям и ладу души...

Сидеть наскучило. Поднялись и пошли по дороге, разъезженной между хлевами, гаражами, мастерскими, — туда, под конюшню. Навстречу бежит заведующая фермой Буйницкая. Именно бежит. Меня это немного удивило, так как я уже, честно говоря, привык к ее тяжелой и спокойной походке.

— Не видели вы Михайловича? — спросила она и, не дожидаясь ответа, побежала дальше.

— Ого, и Буйницкая умеет бегать! — вслух удивился я.

— А куда денешься, забегаешь,— глядя, как удаляется заведующая фермой, ответил Садкович.— Ведь семьсот литров молока скисло! Говорят ведь, что бабы и есть бабы. Это же додуматься — пожалели льду сколько надо положить. Сэкономили, называется. Столько молока свернулось! Бабья экономия, называется!..

Снабженец Владимир Садкович работал когда-то в Орше мастером на льнокомбинате. Сегодня он среди тех, кто из рабочих снова сделался крестьянином,— вернулся с производства в свой колхоз. Ты сам, Геннадий, знаешь, какая у него теперь нелегкая и хлопотливая должность.

Давай-ка послушаем, как «достаёт» для колхоза все, что надо, твой снабженец.

ПОЛЧАСА С САДКОВИЧЕМ

Вот ты говоришь — колхоз, колхоз. А порой, бывает, не совсем с ним и считаются, с твоим колхозом. Давай поедем как-нибудь вместе — посмотришь. Повез я вон как-то в Борисов мотор ремонтировать: так, мол, и так, я Садкович, из колхоза «Большевик», говорю.

— Откуда, откуда? — спрашивают.

— Из колхоза «Большевик», — гордо повторяю я.

— Ну и что с того? — удивляются.

— Мотор привез в ремонт.

Приняли... Но я ведь знаю, что машина-то без этого мотора стоит. Да и они это, конечно, понимают... Ну, я так ласково, осторожненько и прошу:

— Как бы это... ускорить...

— Ах, ускорить?! — злятся.— Тогда на, забирай свои документы назад. Бери, бери, бери... Нам больше не с чем говорить.

И, знаешь, всунули опять мне в руки мои колхозные бумаги. Стою, как дурак, с ними: кому пожалуешься? Пошел к директору — «не можем». Пошел к заместителю — «не хотим». И только главный инженер — человек попался, поддержал меня. Еле-еле пристроил я тогда этот мотор. А ты говоришь...

А то на Осинторф ездил. Не знаю, кто до меня был там — то ли агроном, то ли экономист, — но вернулся он ни с чем. Не выписали торфокрошки. Михайлович говорит: «Поезжай ты, Садкович». Поехал я, зашел в при-

емную — много народу ждет. Я к двери, а секретарша мне наперерез:

— Куда вы? У директора совещание!

Но я уже опередил ее. Влетел в кабинет, с улицы пока ничего не вижу... Попросил извинения и говорю:

— Я из колхоза «Большевик». Не могу ждать. У меня четыре машины под вашими окнами стоят. Выпишите торфокрошки.

Смотрю, взял директор мои бумаги, подписал и отдает мне. И все молча. Он молчит, и все, кто на совещании, тоже молчат. Так и выскочил из кабинета, не услышав ни слова. Зато в приемной наслушался. Секретарша кричала — я и такой, я и сякой... А я себе думаю: «Кричи, кричи, я уже свое сделал». Потом еду домой с торфокрошкой, стараюсь думать о чем-нибудь другом, а все вспоминается, как директор, понимаешь, молча мои документы подписывал...

А другая секретарша станет в дверях, руки в стороны разведет и стоит, как крест какой, — не отпихнуть. И просишь, и молишь, и улыбаешься услужливо. Ничего не помогает.

— А вы мне не указывайте... А вы меня не пугайте... А я сама знаю, что делать, — только и слышишь. И так глядит на тебя, будто она бог, царь и воинский начальник.

Но бывает, правда, и по-другому. Однажды даже сам не разобрался, как и что получилось. Поехал я в Витебск лес выписывать, зашел к каким-то маленьким сошкам. Говорю:

— Я из колхоза «Большевик»...

Хохочут надо мной, смеются — гляди ты, чего захотел: лесу! И повторяют: «Лесу!» Да так, что даже сам в душе начинаю упрекать себя: «Ну и нахальство же у тебя, Садкович, — лесу тебе захотелось...»

Я тогда к начальнику управления. Не съест же он меня, думаю. Пришел и говорю:

— Я из колхоза «Большевик»...

Начальник вышел из-за стола, поздоровался за руку. Сесть мне предложил, сам сел. И не за столом своим длинным, а рядом со мною, на стул. Сидим, разговариваем вот так, как с тобой, — просто и открыто. Про колхоз спрашивает, как строимся, интересуется.

— Лесу я выписать хотел,— несмело говорю я.

Начальник взял мои бумаги, нажал кнопку — секретарша вошла.

— Оформите, пожалуйста.

И знаешь, пока мы еще несколько минут побеседовали, все уже готово. Возвращает он мне бумаги, а я и говорю:

— Мне куда-нибудь еще надо идти с ними?

— Нет, все уже сделано.

Я вышел, а потом даже назад вернулся:

— Скажите, а вы случайно не из нашей стороны будете?

— Нет, не из вашей,— отозвался он и спрашивает: — А почему вам так показалось?

— Очень уж вы со мной по-человечески обошлись.

Он усмехнулся и ничего не ответил. А потом я и третий раз к нему зашел — понимаешь, растерялся, забыл в те два первые раза даже «спасибо» доброму человеку сказать.

Вот так и ездит повсюду полномочный и полноправный представитель «Большевика» — непоседливый снабженец Владимир Садкович. Садкович знает, что за ним такое огромное и такое важное богатство человека — хлеб. Потому что он, этот хлеб, щедро дает жизнь всем — в том числе и начальнику управления и даже той самой секретарше, которая неприступной стеной стоит перед кабинетом.

...На бригадном дворе ты, Геннадий, появился неожиданно: когда мы с Садковичем шли еще в сторону конюшни, тебя не было, а как только повернули обратно — сразу увидели твою серую машину, которая тихо стояла возле мастерской: даже пыль успела осесть. А среди людей, что со всех сторон окружили тебя, блестела уже твоя светло-коричневая кожанка и белела серая, надвинутая почти на самые глаза шапка. Буйницкая, снизу вверх глядя на тебя, очень волнуясь, что-то рассказывала: должно быть, про те семьсот литров молока, что прокисли на ферме.

Здесь же, немного поодаль, топтался мужик с кнутом в руках; по тому, как нетерпеливо переступал он с ноги на ногу, сразу можно было понять — что-то хочет попросить у тебя. И пока мы шли, он все же, наверно, сумел

отыскать небольшую щелочку в разговоре и впихнул в нее свою просьбу. Подойдя, мы услышали только твой ответ:

— Культиватор на приусадебный участок, говорите? Картофелище взрыхлить, говорите? А зачем вам из своего картофелища пух делать? В том же пуху картошка как провалится, так и не найдете осенью. Вот придумали — на приусадебные участки технику таскать. Она же там не развернется. Только яблони ломает. А то вон Федя приходил и навозоразбрасыватель хотел на свои сотки взять. А когда я ему разъяснил, что этот разбрасыватель будет идти по его узкой полоске, а навоз разбрасывает на соседние, — эх, быстренько вилы в руки и с женой на огород бегом...

Бухавец, который от столярни шел к нам, на ходу кричал волосатому парню, копавшемуся у трактора:

— Я уж думал, ты давно уехал, а ты еще и плуги не прицепил.

Парень действительно совсем оброс. Из-под маленькой кепочки, которая блином и не очень крепко сидела на его кудлатой голове, во все стороны текли длинные волосы. Он нехотя разогнулся и с неохотой, даже, как мне показалось, с нарочитой усталостью, ответил:

— Сейчас. Ну, сейчас.

— А куда вы, Бухавец, его посылаете? — спросил ты у бригадира, а мне объяснил: — Эти ребята у нас на практике. Они в Высоком, в техникуме механизации учатся.

— Да там осталось клинок подворошить небольшой, и все.

— Смотрите, Бухавец, как бы после него вам не пришлось на тот клинок бульдозер посылать — ровнять пашню. Он вам там напашет...

Честно говоря, за свои наезды в «Большевик» я успел уже как-то привыкнуть к спокойной, не суетливой, слаженной работе Бухавца. В конторе, на утренних встречах специалистов, он всегда сидел с блокнотом и внимательно записывал, что на этот день потребуется от его бригады. И с людьми, я слышал, Бухавец ведет себя ровно, сдержанно.

— Может, зайдешь в контору, — предложил ты мне, — а я на минуту подскочу в амбар. Понимаешь, едут к нам из «Волны». Сеять им нечем. Везут нам свои неживые семена и просят, чтоб мы обменяли им на живые. А нам

все равно — мы скотине скормим. Понимаешь, посеяли они, ждут — не всходят. Ездят, глядят, удивляются. Проверили семена, что сеяли, на всхожесть. Только восемь процентов живых. А когда раньше проверяли, было все девяносто восемь процентов...

— Смотри, какие хитрые. Сами себя перехитрили,— поддержал я, вспомнив, как стоял в зареченском мехтоку перед зазеленевшим зерном. Может, это те семена, посеянные уже неживыми, и не взошли.— А что, Василенок тебе звонил?

— Молчи ты со своим Василенком. Василенка твоего уже нет. Звонил Шавня, новый председатель, которому приходится расплачиваться за эту Василенкову хитрость.

— Сняли Василенка?

— Сняли, сняли...

И я тогда вспомнил, как этой весной в сводках настойчиво лезла вверх «Волна революции». А я и не знал, что это уже делается заботами нового председателя.

— А теперь «Волна революции» забрала переходящее Красное знамя за посадку картошки. Вон мы с Федей Калошем вместе награды в райкоме получали. Ему орден Трудового Красного Знамени вручили: сорок гектаров картошки один посадил.

Откуда-то на своем мотоцикле появился агроном. Сняв кепку, тоже серую,— кстати, мне уже давно бросилось в глаза, что почти у всех андреевцев такие вот серые кепки: видимо, местный магазин закупил большую партию,— Васьковский вытер потный лоб.

— Михайлович, в Анибалеве перебрали всю картошку,— боюсь, что не хватит. Норму высева мы увеличили, а семена заложили по старой. Видно, резать придется...

— Не хотелось бы резать... Надо еще раз перебрать то, что осталось. А кто у буртов?

— Броник,— ответил за агронома молодой, совсем еще безусый паренек.

— Тогда волноваться нечего,— успокоился ты, а я подумал, что вот снова не удалось встретиться с этим человеком. Видимо, он все-таки очень душевный, сердечный и добродушный, если даже вот этот пацан называет его, деда, так просто, как равного: «Броник».

— А кто это такой, Броник? — спросил я.— Только и слышу: Броник да Броник.

— Так это же Бронислав Сейстуль, латыш наш. Всю жизнь работал на кирпичном заводе, заработал там

себе пенсию. И теперь, пенсионер, каждый день к нам в колхоз на работу ходит...

До конторы шел со мной Алексей Кухаренка — разговорчивый, общительный мужчина, которому, видно, нравятся молчаливые и внимательные собеседники. Пока мы шли возле зеленого поля капустной рассады, которую огородники растили и для себя и на продажу, шли, вежливо уступая друг другу выбитую под стезжку узкую межу, да так вежливо, что она все время пустовала, а мы с двух ее сторон пылили по пашне, — дядька Алексей успел кое-что рассказать мне и про колхоз и про себя. Понятно, в своем освещении:

— Видишь, рассада вянет. Дождя надо. Пошел бы дождь — она сразу бы уши и подняла. А его нет. Ежели какое облачко, слышишь, появится на небе — ветер его растрясет, как клочок сена, по всему куполу. Вот посеем и будем ждать жатвы. Тогда-то для меня самая работа начнется. Я и в том году все лето на сушилке работал. Все зерно, весь урожай пересушил — и, хитровато прищурившись, одним глазом посмотрел на меня. — А меня не замечают. Хотя я и свой, андреевский. У нас же одни Медвецкие да Кухаренки свои. А остальные приезжие. Хахлянки вон откуда-то из-за Митьковщины приехали, Аланцевы — из Анибалева. Понаехали отовсюду — им и почет, им и ордена. А мы Кухаренки — свои, нам нету. Свои могут и подождать...

— Как это нету? А Ганна Романовна — тоже ведь Кухаренка. Орден Ленина получила только что.

— Так одна только Ганна... А орден Трудового Красного Знамени Аланцевой, пенсионерке, отдали, орден Октябрьской Революции — Комару, который тоже откуда-то приехал. И председателя наградили.

Честно признаться, Геннадий, мне как-то не думалось раньше, что в деревне могут быть такие проблемы и такая обида — мол, наградили не меня, а кого-то другого. Что ж, видно, все-таки человек всюду остается человеком, и где б он ни жил, где б ни работал, все человеческое всегда с ним — и зависть, и недовольство, и уверенность, что именно он, а не кто-то другой, заслуживает доброго, похвального слова...

В конторе тебя уже ждала девушка — молоденькая, худенькая. Она скромно сидела на стуле и, склонившись набок, будто боясь отпустить от себя свои пожитки, дер-

жалась длинными пальцами, с которых не отмылись еще чернила, за потертую ручку чемодана, что стоял возле стула и, словно большой сытый кот, казалось, даже терся о ножку. Это была радистка, ее из районного управления сельского хозяйства прислали в «Большевик»: мол, раз куплена радиостанция — надо, чтоб возле нее был и специалист. И вот эта девушка, сдав последние экзамены, получив на распределении «Оршанский район», сложила в чемодан свой нехитрый студенческий скарб, приехала в Андреевщину и теперь ждала тебя.

Ты встретил ее приветливо, хотя было видно, что этот разговор для тебя не очень приятен. Ты понимал, что девушка тут ни при чем, и потому старался не обидеть ее. Расспросил, есть ли у нее кто знакомый здесь, чтоб остановиться хоть на время. Поручил кому-то из бухгалтерии накормить девушку и устроить ее на ночь. А сам начал звонить в управление.

— Да поймите вы меня, не нужна мне пока что радистка. Я же сам из армии специальность радиста привез. Я и сам могу кнопку нажать. А она тоже только ту кнопку нажимать и умеет. Я спрашивал у нее, девушка сказала, что ремонтировать рацию она не может — их учили только эксплуатации. Значит, испортится что-то — и рация будет стоять. А радистка будет зарплату получать. Ей же семьдесят — восемьдесят рублей надо платить. Где я их возьму? Как это колхозникам объяснить, что я ихними деньгами так неразумно распоряжаюсь? Да и вы сами за такую «бережливость» критиковать будете...

На том конце провода, наверно, не соглашались... Это было видно по твоим глазам, которые, прищурившись, глядели куда-то в угол, на сноп прошлогоднего льна.

— Да поймите вы меня, не нужна «Большевику» пока радистка. Потом, со временем, я, честное слово, сам попрошу...

В кабинет зашел Прыма. Тот Прыма, который в прошлом году оправдывался перед тобою, почему они с Хахлянком в первую метель не подвезли на ферму кормов. Он медленно и неуверенно шел по просторному кабинету к столу, а подойдя и почувствовав, что разговор по телефону будет долгим, сел почти рядом с председательским креслом и начал терпеливо ждать.

— С чем хорошим пришли, Прыма? — сразу же, кладя трубку, спросил ты.

— Надо бы, Михайлович, картошки выписать. Мне немного, каких-нибудь килограммов триста.

— А что, свою поели уже?

— И мы, и коровка, свиньи помогли...

— Не могу, Прыма, выписать, никак не могу.

— Как это — не могу? Разве я не заработал?

— Заработать-то вы заработали. Но и колхозу, видимо, картошки не хватит, чтоб отсеяться. Вон Васьковский был в Анибале, говорит, что мало уже осталось. Самим резать придется...

— Так мне же немного...

— Да, немного. Но если я вам выпишу триста килограммов, а колхозу не хватит досеять, так мне что, на базар прикажете ехать картошку покупать на семена?

— Вот такая она, справедливость! Как по семнадцать часов под солнцем и дождем стоять, так тогда Прыма-дурак стой, тогда Прыму все видят, а когда Прыме картошка нужна на семена или на еду — так ему тогда финдос под нос. Ладно, не хотите, так я брошу к черту этих коров и в бригаду пойду. Зачем мне мучиться. Пойду вон на картофелесажалку стану...

— Там же пыльно.

— Я и буртовать люблю.

— А там тяжело.

— Да я и на разных работах могу...

— А там же не так денежно.

— Зато отработал свои часы — и пошел спокойно домой: никаких тебе ни хлопот, ни забот. Ты ушел, и все за тобою ушло.

Дальнейшего разговора я не слышал. Не увидел, когда ушел Прыма. Случайно под стеклом на твоём столе я заметил два листа бумаги, вырванные, видимо, из одной и той же ученической тетради и исписанные аккуратным почерком. Чувствуя неловкость, что вот так неожиданно открывается перед тобой какая-то другая жизнь знакомого тебе человека, который успел уже чем-то понравиться, я медленно, будто шел по неровной дороге, читал бригадирову исповедь.

«Правлению колхоза «Большевик»
от бригадира бригады № 2 *Бухавца В. В.*

Объяснение

Сим объясняю следующее: ввиду слабости своего характера в первые дни июня этого года я в рабочее время был в нетрезвом состоянии, наряды колхозникам давал нечеткие и неконкретные, проверку работы не производил, а четыре дня вообще не выходил на работу. Понимая, что я заслуживаю наказания, даже снятия с работы, я очень прошу простить мне мое поведение и дать возможность работать на прежней должности. В дальнейшем обещаю работать без аморальных проступков, честно и добросовестно.

Бригадир *Вл. Бухавец.*

8.VIII».

И второй листок был такой же:

«Правлению колхоза «Большевик»
от бригадира бригады № 2 *Бухавца В. В.*

Объяснение

По поводу своих действий, которые выразились в нарушении правил ведения общего собрания колхозников 29.XII, я могу объяснить нижеследующее: на собрание я пришел в пьяном виде, так как в этот день у меня были гости, и я не нашел силы воли, чтоб отказаться и не выпить. До настоящего времени я никак не могу понять, как это я допустил такие действия. Я, конечно, был в сильном опьянении и сейчас плохо помню, как себя вел и что говорил. Но этим я нисколько не оправдываю свои действия, так как ход собрания уже был нарушен, и я полностью, конечно, виноват, чего и не отрицаю. Но для себя я не могу понять, почему я такое допустил, ибо за все время своей работы я всегда проводил линию правления колхоза, линию районного руководства, всегда старался доказать колхозникам правильность решений правления колхоза, никогда и нигде не высказывал недовольства. А вот на основании выпивки вел себя непристойно. И для себя никак не могу понять содеянное, так как оно не вяжется, это значит, не совпадает с моим

мышлением. Я, понятно, заслуживаю строгого наказания, но от всей души прошу понять меня и мои действия и простить мою вину.

Бригадир *В. Бухавец*.

5.1».

Только закончив читать, я увидел, что ты внимательно и, наверно, давно уже наблюдаешь за мной.

— И это Бухавец? Бригадир? — только и смог сказать я.

— Да, Бухавец. Да, бригадир, — будто еще раз заново переживая оба те случая, ответил ты. — Все правильно. И, понимаешь, когда трезвый — Бухавец милый, даже стеснительный человек, чудесный организатор. А как только выпьет — пиши пропало. Правда, после он все подгонит, наверстает. Парень он разворотливый, энергичный. Но...

Я понимал, что значит это «но». Говорить как-то не хотелось. Молча мы посидели в глуховатой тишине кабинета. И каждый из нас, видимо, думал по-своему, но про одно и то же...

Начало смеркаться. Не знаю как кому, а мне всегда нравится пора, когда вот такие светло-серые сумерки еще не назовешь вечером, но это уже и не день, который, кажется, вместе с солнцем медленно уходит за горизонт. Хорошо тогда, не включая света, в темной комнате сидеть возле окна и рассеянно смотреть на улицу, где пока еще светло. И думать. О чем-то своем, заветном. Если есть добрый и внимательный собеседник, в такой тихий час можно разговориться и искренне, не таясь, признаться в каких-то своих, очень личных болях или радостях, о которых в другое время, при свете, даже и заикнуться не смог бы...

А лучше всего у постепенно темнеющего окна сидеть одному и молчать. Такое молчание, говорят, приглушает самую большую радость и берedit до молчаливого душевного крика даже небольшую боль. Пускай, пускай берedit... Человеку обязательно надо время от времени переживать, чувствовать свою боль, чтобы знать и не забывать, как бывает больно другим...

Мы долго сидели и молчали, и мне казалось, что вот сейчас, в эту самую минуту должна возникнуть какая-то откровенная, доверительная беседа — именно та, которая возникает очень редко и всегда неожиданно.

Ты первым нарушил тишину:

— Сейчас снова поеду в Межколхозстрой.

— Так ты же только что ездил туда. Что-нибудь случилось?

— Не случилось, но может случиться, — нехотя ответил ты, и я понял, что разговора, который вот-вот должен был тихо начаться, не получится...

Недовольный, злой на себя, не спеша иду по улице — той, что как раз параллельна шоссе. Иду к Ганне Романовне. Улица эта, обсаженная высокими и ровными, как на подбор, березками, всегда нравилась мне тишиной, зеленью и радовала своей отдаленностью от шумного гула шоссе. Тихо, нежными, не окрепшими еще листьями шумят березки — именно такой приглушенный шум, будто шепот далекого дождя, всегда, говорят, успокаивает...

Тетка Ганна на этот раз была дома. Из окон ровно, неброско лился на улицу белый дневной свет. Погремев щеколдами, потопав в темных сенях, — пока нашел дверь! — зашел в хату. В передней комнате на столе стояли еще не убранные миски, тарелки, недопитые чарки, бутылки, по-крестьянски заткнутые газетным комком.

— Пульба, пульба, — с трудом выдыхая слова, спешил объяснить мне дядька Степан, и я, уже немного научившись разбирать, что он говорит, ответил:

— Да, дядька Степан, бульбу время уже сажать.

— Так вот мы ее сегодня и посадили, — поддержала брата Романовна.

И стол — этот непереманный свидетель радости (а как же — люди ведь помогали, их так не отпустишь, надо угостить), тетка Ганна еще не успела прибрать. Раскрасневшаяся от работы, а может быть и от выпитой чарки водки или вина, тетка Ганна, быстро спустив на плечи легкий кашемировый платок, высвободила из-под него ровно и гладко зачесанные назад и закрученные в узел волосы. Дядька Степан прибрал в холодильник то, что могло испортиться, и, все показывая на дверь во вторую половину хаты, говорил:

— Та хата нада... Та хата...

Романовна широко раскрыла двустворчатую дверь и пропустила меня вперед в более чистую, чем первая, но более холодную хату — видно, тетка Ганна весной перестала уже в ней топить.

Она достала откуда-то из шкафа целую пачку бумаг,

много коробочек, и все это выложила передо мной на круглый стол, застланный красным плюшем в больших цветах:

— Проверяйте.

Тут были депутатские билеты, грамоты с выставок, поздравления из райкома, обкома, коробочки с орденами и медалями. Тут же, еще ни разу не ношенный после торжественного вручения, ново и светло блестел орден Ленина.

— Проверяйте,— с гордостью повторила Ганна Романовна.

— А зачем же, тетка Ганна, проверять? Нет, я проверять ничего не буду. Буду просто радоваться вместе с вами вашим успехам. Вон у вас сколько наград, документов, депутатских свидетельств.

— А как же. Я и теперь депутат. В областном Совете. А бывало, что и в районном и в областном сразу. Тогда и туда надо, и туда. Мы ж перед сессией всегда раньше собираемся...

НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ С ЗАСЛУЖЕННОЙ КОЛХОЗНИЦЕЙ ГАННОЙ КУХАРЕНКОЙ

Конечно, вот теперь мы и не видим, когда и как в колхозе что делается: когда сеется, когда жнется. А раньше, бывало, в борозде настоишься, за конем, за плугом набегаешься, пока всю картошку колхозную посадишь. Ни ног, ни спины не чувствуешь. И то чуть не до самого сенокоса садим, бывало.

Ясное дело, коней нет, а с одних плугов заржавелых какой толк? И кто их знает, куда они, те кони, за войну подевались.

И сами впряжемся, бывало, тащить плуг, да тяжело. Тогда возьмемся за лопаты, на ладони поплюем, чтоб руки не скользили, да и давай копать, давай землю затравешую ворочать. Лопатами всю посевную и проведем. По пять, а то и по восемь соток в день вскапывали. А как же... Копаем, копаем, а земля за нами, кажется, вслед и зарастает. Пока одно поле вскопаем — другое зарастет.

На разживу, когда нас освободили, пригнали мы с собой одного коня из Свираков — это под Дубровном, там лагерь немец для нас сделал, там мы мучились, и голодные и холодные,— дороги ему, гаду, чистили... Привели,

значит, коня. Но что ты с одним сделаешь? Тем более с калекой таким. Ей-богу, чуть ли не на все четыре ноги хромал. Он уже мог только разве воды бочку, бывало, привезти нам на поле. Мы лопаты в землю, напьемся — и снова за работу.

Так лопатами и вскопаем все поле. А потом зерно, какое есть, в котомки насыплем и несем сеять. А как же... Вот что наделала эта проклятая война. А осенью уже, когда сожнем, обмолотим, снова в те котомки насыплем, кто сколько поднять сможет, и в Оршу на элеватор несем. До города шесть-семь километров, а там еще по городу сколько кружить надо, пока до того элеватора доберешься. В очередь, правда, чтоб сдать зерно, не становились: кто на телегах привез, у того спина не болит — немного и подождать может.

И молоко так сдавали. Нашли, не помню уже где, какую-то ломаную тележку, починили ее кое-как, колеса ржавые надели и проволокой привязали — чтоб не спадали. Бидоны поставим и везем на себе в Оршу. А дорога же тогда не такая гладкая была, не из асфальта, а мощеная, булыжная. Везешь эту тележку, а она по камням так уже грохочет, так подпрыгивает. Даже с горы не разгонишься. Везешь и боишься, чтоб вместо молока на завод сразу масло не привезти — собьется, кажется, в бидонах, как в маслобойке.

Позднее уже, когда кони у нас появились, я с Татьяной Максак, соседкой своей, поверите ли, по девяносто возов навоза разбивала. А агроном тогда у нас была Шура Галевич. Так она, пока не увидела, не верила. А потом и говорит: «Как же это вы, тетки, выдерживаете такое?»

Молодые теперь не умеют так работать. Им давай только такую работу, какую они хотят, и даже с кем хотят. Лишь бы с кем и в поле не пойдут. И уж никто не переработается. Нам, говорят, и по радио толкуют, и в газетах пишут, чтобы только положенные часы работали. Отработал свое — и домой иди. Так, поверите ли, настолько уж точно кончают, что после восьми часов иная даже и улицу бесплатно не перейдет. А может, если надо, так и переработать стоит, и после часов своих остаться. Вон Броник, так тот ни с чем не считается. И в воскресенье придет со своего кирпичного, и после своих часов поработает, когда надо. Хоть он и пенсию получает.

Верите ли, ошалели наши люди с этими шифоньера-

ми да обстановкою. Кажется б, все позакупили, все в свои хаты перетянули. А почему бы и не тянуть, если деньги есть? И завистливые какие-то люди стали. Если кто-нибудь бóльшую, чем они, копейку имеет, так и не знают, куда деться от зависти. И проверят, не больше ли тебе записали, так ли все в ведомости... Мне уж некоторые говорят: «Когда тебе, Ганна, надоест звеньево́й быть? Хотим и мы твои деньги получать». Берите, получайте. Увидите, легко ли те деньги достаются. Все лето бегаешь, всегда на ногах — присесть некогда. И частенько приходится женщинам угощение ставить: то досевки, то доборки...

Завистливые-то завистливые, но и ленивых, поверите ли, больше стало. И как только которая, скажем, кашлянула — эх, сразу бегом к доктору за бюллетенем. Получит и рада, сидит на печи. А то как же... А я так за всю свою жизнь, кажется, ни одного дня толком не поболела.

Раньше, бывало, мы вот с ним, со Степаном, за год тысячу двести трудодней выгоняли. Но что толку, если они совсем пустые были. По сто граммов на трудодень дадут, и живи как хочешь. Да еще целый день в Орше в очереди за хлебом прстоишь. Когда купишь, а когда и не хватит: с пустыми руками домой вернешься.

А я работать сызмалу любила. Отец мой тоже был очень упрямый в работе. Захотелось ему на хутор за Оршицу перебраться. Это вон за Антавильскими лугами хутор такой был — Козловка. Перевезлись в ту Козловку. А тогда отец вскоре и помер, и мать так затосковала, так заметалась — ходит да плачет: «А зачем же мы сюда ехали? А что же мы теперь делать будем? Тут же надо лес корчевать, чтоб хоть какой-то кусок поля занять...» — «Да перестань ты, мама, — успокаиваю я ее, — как-нибудь да проживем». Сразу думали, может, кого найдем из своей деревни, чтоб на наше место переехал. Где там — никто не хочет. А потом уже я сама, когда немного подросла, окрепла, из того хутора снова в Андреевщину старую хату перевезла. И, поверите ли, пока перевозили, так она совсем и рассыпалась. Потом уже я за семнадцать тысяч на те еще деньги купила себе новую хату в Бабиновичах.

Очень я в колхоз хотела — не могла на хуторе жить. Тогда ведь в колхозе и на поле и с поля шли с песнями и музыкой. Как заиграют, бывало, так хоть ты в Оршицу прямо в платье бросайся и плыви на тот берег. А играл

тогда так радостно на гармошке Матвей Медвецкий. Его сын Алексей трактористом теперь у нас. А сам Матвей в партизанах где-то на Украине погиб.

И Медвецкой Алены муж тоже из партизан не вернулся. Вот уж горемычная, вот уж кто колхоз глядел и берег! Вот кого б заслуженной колхозницей сделать! Она все время коров доила. Она доила, а мы, кто помоложе, корм подвозили. Бывало, придем, а она лежит на мокрой земле, дрова сырые в печку сует, а печка та низенько-низенько сделана. Вода холодная из котла капает на нее, дрова не горят, она дует-дует на них, бедная, а они только шипят. Теперь Алена уже на пенсии.

Сына ее, Гришу Медвецкого, вы, верно, видели. Он ведь в Аржавке картошку сегодня сажал. Скромный такой, тихий. Видели? Ну, я так и думала, что видели. Очень хороший парень. На девятое мая они куда-то за Богушевск к отцу своему в гости ездили — на могилку его партизанскую. Вернулась Алена и говорит, что люди там хорошие, могилку присматривают, пионеры даже цветы сажают...

Спрашиваете, почему Пелагея Аланцева такая неразговорчивая и грустная? А чего ж ей, Польке, веселиться? У нее же недавно брат, что долго пастухом в Анибалеве был, утонул. А после, через шесть месяцев каких-то, и братова жена — то ли она испугалась, то ли в голову чего забрала — померла. Четверо детишек на Полькиных руках осталось. И не говорите! Чего только эта женщина не вынесла? Одному богу известно. А она ведь сама всегда через силу брала. И теперь вон на руки жалится, а все равно дояркой работает.

Теперь-то, если говорить по правде, жить можно. У нас вон и холодильники, и газовые плиты, и стиральные машины — совсем как в городе. Десятков шесть уже этих газовых плит есть. В этом году еще десять Швед привезет. Даже воду к себе в хату понемногу проводим. И денег хватает — вон пастухи у нас больше двухсот рублей в месяц получают. А раньше над ними только и смеялись — если человек ни к чему не годный, так все говорили: «А, ему только в пастухи идти».

А потом же нам еще на каждые два полученных рубля по килограмму зерна дают, на каждый рубль — по килограмму двести граммов картошки.

Да и председатель, грех жаловаться, добрый к людям. И топливом поможет, и в любой беде не оставит. Хас-

ман, тот, бывало, и накричит, если придешь топлива просить. Но, правда, тоже был хороший человек, тоже помогал колхозникам.

У нас теперь и слава, и деньги, и почет. Мы только что вон какие высокие награды получили. Швед, правда, себе почему-то только медаль взял. Кажется, «За трудовую доблесть». Скромный. Нет, нет, что вы! Я знаю, что у нас ордена так запросто не даются — их надо заслужить. А он ведь у нас не так и давно работает.

Лучше стало жить, потому и люди в колхоз возвращаются. Кто раньше, кто позже. Вон Яшка Медвецкий с женой из Межколхозстроя вернулись. А до этого они лет десять в колхозе не работали. Вон Сапсалева из Казахстана вернулся. Теперь Николай шофером работает, а жена, Ева, — дояркой. Кузнец Слонкин из Калининградской области приехал, жену вскорости привезет. Тоже дояркой или телятницей будет. Чайковские приехали из города: Андрей — шофер, Ганна — доярка в Анибале. Да мало ли таких. За два года одиннадцать новых семей в колхоз приняли. А сегодня вот, я слышала, трубоукладчица из Высокого, из какого-то мелиоративного управления просилась к нам в колхоз дояркой. Но Швед не взял. Говорит: «Она у нас не задержится. Только летает с места на место». Он, знаете, позвонил в Высокое, спросил о ней...

Было уже поздно. Дядьке Степану, который, прибрав на столе, тоже молча сидел возле нас и внимательно вслушивался в то, о чем мы говорим, наверно, наскучило уже, и он, кряхтя, полез на теплую еще с самого утра печь и там шуршал теперь одеялами, поудобнее укладываясь спать. Я попрощался с теткой Ганной и вышел во двор...

С шоссе доносился приглушенный расстоянием, но все же слышный в ночной тишине шум машин. Шоссе гудело глухо и натужно. Там сверкали белыми и красными огоньками фары, которые то обгоняли одна другую, то медленно приостанавливались — наверное, там, где машины шли под гору.

А тут было тихо. И темно. Несмотря на то что вот сейчас где-то в небе, за тучами, катится круглая, полная луна. Спокойно пахло молодой листвой и разворошенной севом спелой, вспаханной и проборонованной зем-

лей. Так спокойно, что даже всегда тревожный для меня гул машин на дороге (это, видно, осталось еще с войны) сейчас казался удивительно успокаивающим.

Тихо, не торопясь, шел я по темной улице, всей грудью вдыхая упругий и свежий воздух деревенской весны...

Утро порадовало потемневшим, потяжелевшим небом. И пусть облака шли очень высоко, пусть в них не так много было дождя (если б было много, тучи шли бы совсем низко), но все же с ними появилась хоть какая-то надежда на дождь. В конторе все говорили только об этом. На улице — тоже. Некоторые даже колупали носками сапог пыль и неуверенно спрашивали друг друга.

— А не прокапал ли он ночью, а?

Было не по-утреннему душно и сильно парило.

Ты вновь собирался в Межколхозстрой. Подал мне какие-то бумаги, которые до этого держал в руке:

— Вот погляди. Директор кирпичного завода — а завод этот, ты же знаешь, на землях колхоза «Большевик» — Игорь Захарович Кичин дает объявление — требуются рабочие. Ну, требуются — пускай себе и требуются... Но ведь читай, что он пишет дальше: «...рабочие наделяются приусадебными участками». А где же он землю возьмет, чтобы людям дать? Может, из собственного кармана насыплет? Своей же земли завод не имеет. Значит, как хозяин, не особенно задумываясь, нашей землей распоряжается: мол, я щедрый, подходите кто хочет — каждому дам.

Ты начал уже злиться.

— А вот еще письмо. «Дорожно-строительный район просит вынести решение общего собрания колхозников о выделении земельного участка в Кобыляках под разработку доломитов». И заметь — не обсудить, а «вынести решение». А вот еще. На, сам читай...

«На основании письма Витебского облисполкома от 26 июня Управление сельского хозяйства Оршанского райисполкома предлагает рассмотреть на общем собрании колхозников вопрос о выделении земельного участка ДСР-7 Гушосдора при СМ БССР под известковый карьер... из земель колхоза «Большевик» и выписку решения прислать в управление незамедлительно».

И в этой бумажке меня удивило слово «незамедлительно» — на решение общего собрания в управлении смотрят как на какую-то формальность: никто даже и мысли не допускает, что колхозники могут проголосовать

против карьера на их земле, которая отдана им в вечное пользование...

— Вот и Пашэнька, председатель Межколхозстроя, тоже сам берет колхозную землю. То новые восемнадцатиквартирные дома строит — два гектара заберет, то новый цех откроет — шесть гектаров нашей земли подомнет. И теперь вот около пяти гектаров в районе Грязиловки забирает у нас — на приусадебные участки рабочим. В прошлом году эти участки они сами захватили, землю вспахали, удобрили. Я поехал к ним и говорю: «Спасибо, товарищи, что помогаете колхозу «Большевик» землю обрабатывать. Завтра мы сюда две сеялки пустим. Решения ведь о выделении вам этой земли нет». Просят — говорят, утрясется. А потом, пока в Витебск посылали человека, чтоб утрясти это дело, они — раз! — и быстренько отсеялись. И в этом году то же самое, видимо, хотят сделать. А с нас ведь ту землю никто не списывал.

Ты взял под мышку большую, в темно-буром переплете шнуровую книгу, и мы поехали в Межколхозстрой.

Там, хоть строителям дождь и не очень нужен, тоже говорили о нем — наверное, человек, который родился крестьянином, даже если он и оставил сельское хозяйство, невольно чувствует, когда полю и зерну нужен дождь. А в Межколхозстрое работают почти все недавние колхозники, их дети.

Миколай Семенович Пашэнька, встав из-за стола, радостно сказал:

— Дождик, Михайлович, на твое поле идет. Только что звонил в Коханово, так ребята говорят, там уже как из ведра льет.

— Ты, Миколай Семенович, видно, очень беспокоишься, чтоб он не обошел стороной Грязиловку, где ты сотками нашей земли своих рабочих наделил. А ты посмотри-ка в шнуровую книгу. Видишь, те пять гектаров нашей земли, которую вы засевае, с «Большевика» никто не списывал. Так ты хоть говори, какой вы средний урожай получаете, будем добавлять к своему общеколхозному. А то получается, что вы нашу среднюю урожайность снижаете, скрывая от нас свой урожай с соток. Поедем в райисполком, что нам скажут там...

Пашэнька глубоко надвинул шляпу и кому-то из своих сказал:

— Если будут меня спрашивать — я в райисполкоме.

По дороге, в машине уже, он оправдывался:

— Пойми ты меня, Михайлович, правильно. Зачем бы они мне нужны были, эти твои сотки, зачем мне эта война с тобой, если бы не необходимость... Ты ведь сам не хуже меня знаешь, что Межколхозстрой — организация трудная, объекты у нас разбросаны по всему району. Знаешь ты, что и текучесть кадров у нас очень большая. Вот я и хочу этими сотками людей к месту привязать. Может, пить поменьше будут — все же надо то севом заниматься, то урожай собирать. Понимаешь, пусть люди сделают себе хоть какие-то грядки да и копаются в них...

— Ваши грядки — на нашей земле...

— А где же мы еще возьмем землю? Конечно, на вашей...

Навстречу нам по шоссе неслись мокрые уже грузовики. С чисто обмытыми от пыли кабинами и кузовами, они мчались из-под Коханова, то ли торопливо убегая от дождя, который щедро лил там, то ли, наоборот, радуясь, что пришлось попасть под его первые струи.

Дождь, наверно, был уже где-то совсем близко. Его ждала также и Орша — какая-то притихшая сейчас, будто удивленная темной тучей, которая шла, надвигалась с запада.

Всюду ждали дождя.

И к обеду он наконец-то зашумел. Тихий, спорый и, несмотря на то что с самого утра, как перед грозой, парило, — без грома. Потом хлынул как из ведра.

Хорошо это люди сказали: «Как из ведра». Стоишь под таким дождем — и действительно кажется, что кто-то опрокинул на тебя огромное, бездонное ведро с водой...

Обычно каждый дождь пахнет по-своему. И этот запах обязательно зависит от времени года и от того еще, где дождь тебя застал. Если это было в самую цветень, и ты стоял, прячась от него под яблоней или вишней в саду, а крупные капли сбивали лепестки, отряхивали с нежных тычинок на тебя, мокрого до нитки, желтую цветочную пыльцу, которая прилипала к лицу, к волосам, к одежде, — такой дождь, разумеется, пахнул садом в цвету.

А если осенью он захватил тебя на поле, возле задумчивого костра, где в жаркой золе доходит печеная картошка, — тогда дождь (не сомневайтесь даже!) обязательно будет пахнуть приятным, тепловатым дымком

и тем душистым паром, который вырывается из-под желтой и хрустящей картофельной кожуры, когда ее вдруг разломишь...

В жатву дождь пахнет свежей соломой и спелым колосом, в пору сенокоса — привядшей травой, осенью — переспелыми сливами, яблоками, картофельной ботвой.

Этот же, мне казалось, ничем не пахнул. Просто он молодил, освежал землю, которая давно уже ждала такой ласки. И, может, еще чуть-чуть пахнул свежестью — именно так пахнут ранней весной омытые ливнем подснежники, когда их неожиданно внесет кто-то в хату...

Под вечер, уже из дому, я, помнишь, позвонил тебе по телефону, чтобы поздравить с дождем.

— Какой дождь? — удивился ты. — У нас он сегодня только покапал. Даже пыль и то как следует не прибил.

Значит, и этот дождь обошел «Большевик» стороной.

И тогда я понял, почему ты не очень охотно отвечал на мои настойчивые вопросы, какой урожай ждет в этом году колхоз.

Весной и председатели, и агрономы, и бригадиры, чтоб не искушать судьбу и не хвастаться журавлем в небе, чаще всего вот так, как ты, уклоняются от ответа, неохотно говорят, чего они ждут от только что брошенного в землю зерна. Хитровато почешут затылок — мол, кто его знает, что с этого будет. А осенью, если год был хороший, они радуются — теперь сами смотрите, что мы имеем, что получилось из того зерна...

Весною еще только работают сеялки, еще ничего неизвестно, еще даже вот от одного такого дождя, который, как назло, обойдет стороной колхоз, будет зависеть очень многое. Осенью же, когда ходят по полю комбайны, только по одному тому, густо ли, натужно ли гудят они, можно судить, какой выдался год.

— Слушай, — чтоб только не молчать, недоумевая, как это такой дождь, какой лил в Орше, не дошел до Андреевщины, говорил я в телефонную трубку. — Еще в колхозе я хотел у тебя спросить — куда девался Комар? Что-то его нигде не видно.

Да, его отсутствие бросалось в глаза, так как раньше приходилось встречать Комара всюду: пойдешь в контору — он там, пойдешь в мастерскую — он там, пойдешь в поле — он и там...

— Молчи ты,— слышалось из трубки,— перенапряжение, захворал. В больнице лежит. Сам знаешь, сколько забот доставляет бригадиру тракторной бригады каждый сев.

— Ну, а как ты в райисполкоме с Пашенькой о Грязиловке договорился?

— Сказали собрать общее собрание колхозников,— снова загудела трубка.— Как колхозники решат, так и будет. Словом, приезжай летом — сам увидишь. И на урожай посмотришь...

● ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Тот, кто сумел бы вырастить два колоса там, где раньше рос один... заслужил бы благодарность всего человечества.

Джонатан Свифт

Послушай, Геннадий, ты, видимо, тоже проклинаешь безжалостную жару этого лета. А лето — оно ведь всегда солнце. Выше синевы, дальше облаков: говорят же, что выше солнца облаков не бывает.

Порой, уверенные, что привычно и точно в свое время оно выкатится на ярко освещенный небосклон и так же привычно скатится — только уже с другой стороны,— мы особенно и не вспоминаем о нем: солнце хорошо сушит нам сено, помогает дозревать колосу, греет нашу общую землю. Словом, делает то, что нам надо — ну и пусть себе делает... Оно извечно радуется своей работой, благодаря которой мы, проснувшись каждое утро, можем любоваться все тем же восходом все того же солнца.

Но когда солнце во время сенокоса или жатвы долго не показывается из-за набухших дождем туч — его уже зовут. Если же солнце неумолимо стоит над выжженной, пожухлой землей — его уже проклинали. Это время, когда все надежды и ожидания хлебороба вверяются только одному ему, солнцу. И от того, как будет оно работать, зависит судьба урожая, завершение трудового года человека на земле.

В нынешнем году на солнце злились.

Выгонят, к примеру, люди в поле коров, те головы низко согнут, а есть нечего: трава вся выгорела — одни только прошлогодние стебли у самого носа шуршат. Поколют они этими стеблями морды, а потом целый день стоят на пастбище да ревут.

Этим летом задолго до поры, зеленые еще, опадали листья с деревьев — свернутся от лишнего солнца, нехватки влаги и опадут. Идешь под деревьями, и как-то страшновато становится от зеленого шороха этого летнего и жестокого листопада.

Морщились, словно печеные, яблоки на яблонях. Польешь деревце — отойдут будто и снова нальются, расправят свои морщинки. А не польешь — тихо и незаметно свалятся на травянистую когда-то, а теперь пожухлую землю под кроной.

Не росла, не крупнела, а будто в золе, в горячей и душной земле задыхалась от жары картошка.

Так было почти по всей Белоруссии. Я думал, что и наша Витебщина тоже страдает от этой общей беды. Но тут, как ты говоришь, и солнце более или менее умеренно щедрилось, и дождь, хоть и маленький, но иногда, словно спохватившись, вспоминал о своих обязанностях.

Но сушь и теплынь ощущались и тут. Почти все хлеба поспели как-то сразу, одновременно. Доспевала рожь, и переспевали силосные культуры; спело белели яровые, и прямо на глазах желтел рослый лен.

Давно скошенные уже, стали сеном трясунки и дрема, манжетки и мятлик. А то, что нескошенным оставалось на межах или вдоль дорог, — повыгорело, посохло, осыпалось...

В старенький твой «Москвич», стоит только съехать с шоссе на любую полевую дорогу, через все щели, которых и не видно, набивается столько пыли, что в этом густом облаке не видно даже соседа. В этой машине вот уже несколько дней мы кружим по колхозу. Да и когда после полевых дорог наконец выезжаем на шоссе, то долго еще «Москвич» никак не может отфыркаться от пыли. Даже за ночь пыль не успевает выветриться — она только осядет на сиденья и утром от быстрого движения и ветра, что врывается в открытое окно, снова поднимается вверх и кружит, кружит по кабине, как и вчера, как и позавчера.

К нам иногда кто-нибудь присоединяется — то экономист Святослав Яркович, то Петр Комар, который недав-

но вернулся из дома отдыха, то бригадиры, то еще кто-нибудь из специалистов. Агроному Леониду Васьковскому садиться в машину незачем — он обгоняет нас на своем служебном мотоцикле.

На кобыляцком поле, куда мы только что приехали и где, хлопнув дверцами, выпустив из машины пышные клубы пыли, вышли на низко и ровно подстриженную полосу, работал уже мощный силосоуборочный комбайн, который утром перегнали от Бухавца. Рядом с комбайном, будто привязанная к нему, шла машина с зеленой горой в кузове. Тут же стоял бригадир третьей бригады Шарай, которого мы за широкой и высокой стеной кукурузы с подсолнухами сначала и не заметили. Низенький и худощавый, в широких, длинных, добела вылинявших солдатских галифе, свисающих на кирзовые сапоги, Шарай сразу заторопился к нам и чуть было не упал, зацепившись за толстый корень срезанной кукурузы.

— Вы знаете, Шарай, что комбайн у вас только сегодня работать будет? — спросил ты, когда подошел бригадир. — Завтра мы его в Анибалево перегоним.

— А он мне больше и не нужен, — улыбнулся своей доброй, беззубой улыбкой Шарай: где уж сбережешь зубы на седьмом десятке! — Сегодня мы все это полз уберем и емкости как раз заполним. Я, Михайлович, сам знаю — что летом ногою копнешь, то зимою рукой возьмешь.

— А лен женщины теребят?

— Где там — теребят! Дерут! — снова усмехнулся Шарай, выплюнул травинку и сразу стал совсем серьезным: — Хоть бы какой дождь прокапал, хоть бы какая роса выпала, что ли, чтоб землю хоть немного смочило. А то такой коркой взялась — как зацементировал кто.

— Давайте, Шарай, подъедем на льняное поле, сами посмотрим.

— Я только что там был, но, если хотите, давайте поедем.

Леня Васьковский приехал на льняное поле раньше нас. Он уже объяснял женщинам, что правление решило уважить льноводов: кто вытербит по гектару льна — в добавок к обязательной оплате, как поощрение, получит еще пятнадцать рублей. Женщины почему-то были недовольны и уже чуть ли не ругались с агрономом.

— Попробовали бы вы сами его драть, лен этот. Прежде чем на правлении решение принимать, потербели

бы немного сами. А мы б у вас поучились, как это гектар такого льна вытеребить,— кричала Журавская.

— А то его, лен этот, тянешь-тянешь — аккурат как из смолы все равно,— поддержала ее Кравченка.

— Конечно, это труднее, чем сено убирать,— отозвался Васьковский, растирая в руке коробочку с семенами.— А там, случилось, под стогом кое-кто целый день пролежит и четыре рубля получит. Тогда было хорошо вам.

— Кто это под стогом лежал? А вы видели, что мы под стогом лежали? — снова наступала Журавская.

— А кто же тогда сено все вам убрал, если мы под стогом лежали? — поддержала ее Кравченка.

— Техника,— помог агроному Шарай и, как всегда, улыбнулся.

Бригадир, видимо, тут же пожалел, что ввязался в разговор: женщины оставили в покое агронома и накинулись на него.

— А ты лучше помолчал бы! — пошла на него Журавская.

— Ты лучше скажи, почему твоя жена лен не теребит? — поддержала ее Кравченка.

— Больная, говоришь? Справка у нее есть, говоришь? — снова кричала Журавская.— А мы что, здоровые, по-твоему, чтобы рвать этот лен? Погляди, вон руки какие у нас.

Женщины кричали уже на все поле. Перестали работать, выпрямились и начали переговариваться их соседки на своих полосках — не только на ближних, но и на дальних. Они прислушивались и все хотели разобраться, почему так раскричались подруги. В этой ситуации нам ничего другого не оставалось делать, как пожелать спорой работы крикливым льноводкам и распрощаться. Пошли к машине, женщины все еще наперебой говорили, кричали, но понемногу брались за работу.

Потому как-то очень тихо и спокойно показалось на другом льняном участке — в Кобыляках, где быстро бегал и негромко рокотал трактор, легко таская за собой льнокомбайн. Агрегат Ивана Казакевича очень красиво теребил и ровненько — залюбуешься! — стелил лен на льнище.

— Смотрите, Шарай, и без крика, а так чисто и ладно теребит,— заметил ты.

— Жаль только, что сняли приспособление, которое головки обрезает.

— А где же мы их, те головки, сушить будем? Нет у нас, сами знаете, ворохосушилки. На будущий год — кровь из носу, а построим.

— Тогда сразу сколько операций миновать сможем, — прикинул Васьковский. — Вытеребили — и сразу же разостлали. А то вот сейчас снова подымай его, вяжи, ставь в суслоны, грузи, вози на молотьбу, молоти, снова грузи, вези на стлище, стели...

— И вот этого шума и крика не будет, который сегодня Журавская с Кравченкой затеяли, — перебил ты агронома.

Пока агрегат делал очередной круг и, невидимый, рскотал где-то в низине, за небольшим горбылем-пригорком, мы сели под яблоню — благо рядом со льняным полем раскинулся большой приднепровский сад.

— Вон яблочко сколько растет, — взглянув вверх, сказал Шарай. — Одно на одном, кажется, висят. Так это же маленькие, а когда вырастут, так и листьев из-за них не увидишь...

— А что с этих яблочек толку, — сморщился Васьковский. — Придет осень — опять думай, куда их девать...

Комар, который недавно вернулся из дома отдыха, куда его послали сразу после внезапной болезни, начал рассказывать:

— Должно быть, это самая тяжелая все же работа — отдыхать. Сидеть сложа руки и ничего не делать. Человеку, который сколько живет, столько и трудится. Тем более, когда знаешь, что там, дома, подходит сенокос, жатва...

Легкий, ласковый ветерок тихо перебирает листья на яблонях. Суетливые лучики, пробиваясь через густую крону, скользнув то по яблоку, то по ветке, то по листку, весело играют в траве, на волосах, на лицах.

— А некоторые колхозницы и недели не могут пробыть в доме отдыха. «И что это — вот так целый месяц сидеть сложа руки да есть в столовую ходить?» — недоумевают они в первые дни, а потом собирают свои чемоданы — и домой. «Я там хоть свиней покормлю, и то мне легче будет отдыхать».

Мимо нас снова протарахтел льнокомбайн, постлав еще одну ровную полосу.

— Ну, машина работает отлично, — перебил ты Ко-

мара.— Поедем в Андреевщину, а то Петр Дмитриевич, слышите, в воспоминания ударился.

По дороге, отмахиваясь от пыли, наклонившись, чтобы лучше тебя видеть, к переднему сиденью, я расспрашиваю о людях, уже знакомых мне по прошлым приездам.

Давай, Геннадий, снова вспомним то наше летнее интервью в пыльной машине.

— Ну, как Мирошниченко, привыкает к колхозу?

— А что ему, Мирошниченко, привыкать? Он, по-моему, еще и отвыкнуть не успел,— ответил ты и, немного помолчав, добавил: — Мирошниченко нам беречь надо. Он, огонь его знает, какой хороший парень! Теперь в Анибале с пастухами порядок. Как-то Аркадий Савельев начал было мудрить что-то, изворачиваться, так Мирошниченко ему кнутом такого леща влил, что сейчас Аркадий ходит как шелковый.

— А ты взял тогда, весной, радистку?

— Нет, все же отказался. Хоть Ступаков, заместитель начальника управления сельским хозяйством, и сильно на меня разозлился за это. А зачем я буду платить деньги сегодня за то, что потребуется мне только завтра?

— А чем закончилась твоя весенняя встреча с Пашэнькой? Отвоевал ты колхозную землю?

— Отвоюешь... Ну, я тогда, как и договорились в райисполкоме, общее собрание собрал. Все высказались против того, чтобы отдавать колхозную землю. И проголосовали даже. Решение общего собрания я отвез в райисполком, а землю все же Пашэнька на сотки поделил и засеял. Вот как! Да, надо хоть посмотреть, какой у них там урожай на этих сотках единоличных...

Куляй притормозил, подождал, пока проедут встречные машины, а потом, поддав газу, круто свернул на андреевский бригадный двор. Когда тихо ехали мимо кузницы, в открытое окно «Москвича» донеслись рабочий звон железа и глуховатые удары молота.

— Забрал уже свою жену Слонкин, кузнец? — спросил я.

— Молчи ты с этой женой. Приехал он, а уже и забирать некого. Опоздал. Друг уже забрал ее. Скрутилась. Понравились они друг другу да и сошлись...

И мне показалось, что грустновато на этот раз вздохнул над наковальней молот, совсем не радостно, а как-то

печально, под настроение кузнеца, зазвенело железо. Но, может быть, это мне только показалось. Как и тогда, в прошлый раз, когда кузнец собирался ехать за женой и когда я был уверен, что в кузнице тесно от большой радости...

На андреевском поле было совсем тихо. Васьковский, который и сюда по полевым дорогам приехал раньше нас, ходил уже от полосы к полосе — наверное, тоже объяснял льноводкам условия дополнительной оплаты. Когда он, подходя, здоровался, женщина поднимала голову, выпрямлялась и слушала, не отпуская, однако, горстку льна, подобранного головками одна к одной, но так и не вытянутого из земли. Когда агроном отходил, каждая сразу же принималась за работу — видимо, чтобы скорее нагнать, отработать вынужденный простой. А некоторые слушали, даже не поднимая головы, не прекращая работы, продолжая выдергивать из пересохшей земли густые стебли льна, за которыми, казалось, тянется чуть ли не вся почва.

Многих женщин я уже знал по прежним приездам, а потому на поле узнавал их издалека — то по платку, то по какому-нибудь жесту, то по голосу.

Вон, спеша, на ходу поправляя старенькие перчатки без пальцев, быстро дергает лен Алексана. Она уже на пенсии, но отозвалась на просьбу звеньевой и пришла помочь в этой нелегкой работе.

Вон недалеко от нее споро вяжет снопы и аккуратно ставит их в суслоны давняя подруга звеньевой — Ксения Цмак.

А вот и сама звеньевая, Ганна Кухаренка.

— Бог в помощь, Ганна Романовна! — говорю я.

— Хотела сказать, мол «велел бог, чтоб и сам помог», но не буду. Очень уж трудно его, этот лен, теревить...

Разговорились.

— Оно верно, лен хороший в этом году, хоть и земля сухая. Только как мы с ним управимся, не знаю. Вот недавно были на совещании в районе — каждая звеньевая свой лен на показ возила, — так Белозоров, начальник управления, шутил, что как посмотришь на выставке — у каждой лен такой, что хоть ты его за пять единиц принимай. А как привезут, говорит, сдавать, и за единицу нельзя принять — такой раскудлаченный, поломанный. «Так молотилки ведь жуют очень», — оправдывались звеньевые...

Тетка Ганна подошла к аккуратно составленным чубами снопам, где в середине, в холодноватой тени, стоял глиняный кувшин с водой, осторожно достала его, не нарушив суслона, обдула с краев все, что нападало, и с наслаждением напилась — что ж, если пришлось задержаться с разговорами, так надо хоть воды попить. Поставила кувшин снова в суслон и сказала:

— А наш председатель правильно сделал, что завтра объявил выходной день, — мол, надо передохнуть, отдышаться перед жатвой. Конечно, надо. Но, ей же богу, вот сами увидите, что завтра все выйдут в поле, будут лен брать, несмотря на выходной. А если бы сделали рабочий день, вот крику да гвалту было бы — «нам даже в воскресенье отдохнуть не дают, не пойдем на работу!» И не пошли бы...

День сегодня был какой-то необычный — все чего-то ждали. Как тогда, весной, во время бездождья и засухи, ждали первого дождя. Мы ездили по полю, терли в пальцах коричневые колоски тимopheевки, которая уже созрела и, такая спело-бурая, радовала глаз, а ты, вывев в ладонях маленькие беленькие зернышки, бросал их в рот и говорил:

— Рановато еще. Это ведь у нас семенной участок. Вот как станут колоски сверху осыпаться, тогда и начнем. Скосим сначала высоко, одни колоски, — на семена. А потом и низко — на сено...

— Постояли возле белого, совсем созревшего уже, казалось, ячменя, который, опустив тяжелые усатые колосья, — только жать! — гнулся к земле. А ты, лаская колос ладонью, говорил:

— Надо еще немного подождать. Это тоже семенной участок...

Ходили по гулкому, непривычно пустому амбару в Анибалеве, радовались, как заботливо и чисто прибран он и ухожен, подсказывали плотникам, как лучше вставить верхнее окно почти под самым коньком крыши...

День был действительно необычный. Он что-то в себе таил. Это что-то гнало нашу машину от поля к полю, заставляло нетерпеливо тереть в пальцах мягкие колосья недозревших еще хлебов и с надеждой вглядываться в широкие волны на ниве.

Когда мы вернулись в Андреевщину, как только открыли дверь в контору, кто-то из бухгалтерских работников с улыбкой кинулся навстречу.

— А тут, Михайлович, все телефоны пообрывали. Вас все ищут. И из райкома, и из райисполкома, и из управления только и спрашивают: «Начали жать? А почему не начинаете? Когда начнете?»

И действительно, только мы вошли в кабинет и еще не успели снять шапки, как настойчиво зазвонил телефон.

Звонил, как я понял потом, заместитель начальника управления Ступаков.

— Почему это «Большевик» не начинает? Шведов же всегда начинал жатву первым и заканчивал раньше всех.

— Ездили, смотрели — не поспели еще хлеба. Так зачем торопиться? Силосу нажнем, а тогда что делать?..

— Что это вы все — сговорились в этом году, что ли? В прошлом году 28 июля выехали, а сегодня уже и август начался, а вы все медлите.

— А что же мы можем сделать, если не время — не поспела рожь.

— Вам не время, а Литасову вон время. У вас не поспела, а у Литасова поспела. Что вы, в разных районах живете, что ли? Можно подумать, между вашими полями тысячи километров.

Я уже знал эту историю с Литасовым. Ему тоже звонили, его тоже торопили, и тогда он через несколько дней пригласил:

— Приезжайте, начинаю — вывожу все комбайны.

К нему бросились разные уполномоченные, корреспонденты. Наехали — видят, и действительно начал.

А у Литасова было три гектара спелой ржи на песках. Вот он и вывел на эти три гектара чуть ли не все свои комбайны. Техника чудесная, механизаторы по работе за зиму соскучились — так они этот участок со всех сторон окружили и за несколько минут сжали — как раз только и хватило, чтобы корреспонденты успели заснять, как в колхозе имени Заслонова жнут... Убрал Литасов те три гектара, а потом сидит себе да посмеивается. Его уже не трогают, — он, считается, ведет жатву! — а других поторапливают:

— Почему не выезжаете? Вон Литасов давно жнет. Все комбайны в поле вывел...

Приехал председатель колхоза «Новая заря» Черников. У него стал трактор, а детали, которая сломалась, под рукой не было.

— Может, выручишь?

— Надо у Комара спросить, есть ли у него.

Уезжая обратно с той очень нужной, хоть и не слишком дефицитной, возможно, деталью, Черников тоже жаловался на звонки:

— А я так в поле от них, от этих звонков, удираю. Уеду как можно дальше — тогда звоните себе. И в конторе всех предупреждаю, — говорите, мол, что я в поле. А то все звонят: почему не жнешь, да почему не жнешь. Будто я сам себе враг — мол, зерно поспело, осыпается, а я, дурак, все комбайны держу, в поле не пускаю выезжать. Когда хоть какая делянка поспеет, меня и подгонять не надо будет — сам не усижу.

— Конечно, мы и сами знаем, что жать уже надо было бы, — поддержал ты своего коллегу. — Фуража нет, скоро скоту давать нечего будет. Да вон чапаевцы нажали немного, так раза четыре через сушилку пропускали, а зерно все равно не мелется, а только плющится.

— А где ж оно молотиться будет! — согласился Черников. — Сырое — оно ведь все равно, как живое: кажется, даже шевелится, будто муравейник.

И вот наконец, когда солнце, поднявшись в самый зенит, опустилось чуть ниже и заторопилось к западу, тот торжественный момент, ожиданием которого сегодня жил, кажется, весь колхоз, приблизился...

Мы стоим за Анибалевым, почти возле самой Хасмановой рощи, и не можем отвести глаз от этой светлой и тихой красоты — спелого ржаного поля.

Не знаю, как для кого, а для меня это всегда большая, до взволнованного гула в голове, радость — вот так подойти к крутому, отвесному берегу ржаного поля, которое, даже и не сжатое, удивительно пахнет спелой соломой, стать возле рослой ржи, взять в пальцы спелый и потому шуршащий колос, вылущить его на ладонь, попробовать зерна на зуб и обрадоваться этой твердости — смотри ты, выспело: можно жать.

Попробовали на зуб твердое и крупное зерно у самого края поля, вошли глубже в рожь и натерли там зерна с разных колосьев, оно тоже было твердое — не раскусить.

И я заметил, как радостно и довольно засветилось вдруг твое лицо. Ты улыбнулся.

— Видимо, в понедельник можно будет и начинать? — несмело подумал я вслух.

— А зачем до понедельника ждать? — решительно возразил ты. — В понедельник даже нищие, говорят, в поход не идут. А мы сегодня и начнем. Сейчас и зажнем...

Пока шли к машине, ты рассказывал:

— А вот Титович, председатель «Коминтерна», каждый год только в субботу зажинает. Хоть и раньше рожь поспеет, он сидит себе и субботы ждет. На него и сердятся, его и в райком вызывают, над ним и смеются, что в приметы верит. А он молчит и своей субботы все равно дождется. И сеять не поедет, пока бабы не скажут: можно!..

Вскоре от базы в сторону анибалевского поля, которое поспело раньше всех остальных, торопливо пылил комбайн Гриши Медвецкого — того самого Гриши, которого я весной видел на посадке картошки в Аржавке. Все — и Комар, и Васьковский, и друзья-механизаторы, которые нетерпеливо ходили возле выстроенных в ряд, отремонтированных комбайнов и от нечего делать то пробовали, хорошо ли натянуты ремни, то еще раз проверяли, плотно ли закрывается бункер для соломы, — все они решили, что зажинать надо ехать только ему, Грише Медвецкому. Гриша каждый год жнет это анибалевское поле, и потому он лучше всех знает, где там лежит какой камень, знает каждую ямку, каждый бугорок и помнит, как лучше их объехать.

Это решение свалилось на Медвецкого неожиданно, и он, обрадованный таким доверием, быстро завел комбайн и не поехал, а помчался в сторону Анибалева. Так спешил, что и младшего своего сына, который крутился под ногами тут же, возле отцовского комбайна, не успел отвести домой. И потому теперь малыш, сидя высоко на комбайне, радостно поглядывал на своих ровесников — он тоже ехал на зажинки.

На юго-западе ярко еще светило и сильно, даже через рубаху, припекало солнце, а на севере, где-то там, над Высоким, уже темнело небо, несмело и изредка вспыхивали молнии. Туча шла против ветра, и потому она двигалась очень медленно — порой даже казалось, что чернота ее не приближается, а, отработав свое, расстелившись дождем и немного полегчав, отодвигается туда, за освещенный солнцем далекий лес.

Потому и спешил так Гриша со своим комбайном, он боялся, как бы дождь не помешал ему сегодня испытать главную радость — въехать, словно в белое море, в

спелую рожь и услышать, впервые услышать в этом году, как тяжело и нутужно загудит комбайн.

Возле самой межи, перед рожью, комбайн остановился. Казалось, прежде чем войти в шуршащую тишину хлебов, нарочно помедлил — будто тоже хотел успокоиться немного и еще раз проверить, не забыл ли он за год, как это оно делается — жатва. Потом осторожно переехал через межу — сначала одним колесом, затем вторым — и пошел, и пошел...

Каждый год бывает жатва. И каждый раз это всегда светлый и щемяще-радостный праздник, которого с волнением ждет хлебороб, кажется, во все времена года. Прокладывает ли он первую борозду в еще не просохшей, а потому черной и липкой земле; доверяет ли смело такое слабое и такое неживое еще зерно согретому уже и поласковевшему от солнца полю; любит ли, как цветет-дымит, а потом упруго наливаясь зеленый колос, — всегда хлебороб видит перед собою вот такой зрелый простор; уже с весны он ждет того момента, когда, раскусив вышелушенное зерно, можно самому себе сказать: пора! Оно понятно, и первая борозда, и первая сеялка — тоже праздник и радость, но им все же трудно сравниться с той торжественностью, какой испокон веков была обласкана жатва. Жатва завершает год: то, о чем хлебороб только думал и мечтал весною, — теперь все перед ним.

Но жатва — это всегда трудная радость. Может, потому еще не так давно, согнувшись в три погибели, тяжело пройдя с серпом долгий путь от зажинок до дожинок, жнея, поставив последний сноп, не разгибаясь и не имея сил даже отереть с лица пот и налипшую пыль, тут же валилась на сжатую полосу, чуть ли не со слезами прося у земли: «Нива, нивка, моя ты сестрица, отдай мою силу, которую ты забрала у меня жатвой...» Потому и высмеивают наши песни скупердяйство на дожинках, когда приглашенных в помощь родню и соседей угощают скупо — сварила, мол, хозяйка комара в семи чугунах, делит его на семь столов и просит своих гостей не сидеть сложа руки, а хорошо наедаться, ведь перед каждым — комарятины целая гора: кому попалась комариная ножка, кому крылышко, кому нос, а кому так и вообще только комариный писк... Тяжелая это работа, жатва, а потому и угощение должно быть щедрым, веселым, богатым — подсказывают наши народные песни.

Крестьянин, складывая свои песни, чаще всего даже самую тяжелую работу умел превратить в радость. Отсюда, наверное, и та взволнованность и торжественность, с которой люди готовили телеги, зубили серпы, собирались на далекие сенокосы или сходились на толоку¹.

Теперь хлебобобу легче — за него работают машины. Жнее не надо просить ниву, чтоб вернула силы. Сегодня на пиве уже не увидишь жнею с серпом. Не увидишь и тех заботливо, красиво составленных в суслоны или сложенных крестцами снопов, которые еще недавно, форсисто сдвинув набок шапки, украшали поле. Сегодня уже смешно вспоминать, что еще недавно, всего каких-то полтора десятка лет назад некоторые председатели колхозов потихоньку сдерживали рабочий азарт комбайнов, давая полную волю серпам — мол, это и чище, и лучше, и больше по душе. Сегодня же все поле жнут комбайны, и мы радуемся, как чисто, как быстро и всем по душе они это делают.

Время, одно только время, которое никто не может ни остановить, ни подогнать, спокойно решает многие споры, конфликты, делает устаревшими самые новые сегодняшние желания и стремления.

Еще совсем недавно в своих привольных песнях мы только и славили стопудовые урожаи. Это была большая наша мечта. А если кому-нибудь из председателей колхозов сегодня наивно пожелать тот стопудовый урожай? Каждый, наверно, обидится, потому что сто пудов, наша давнишняя мечта, — это всего лишь 16 центнеров с гектара. За такие «успехи» сегодня уже председателя стыдят: «Что же ты, дорогой товарищ, отстаешь, в самом хвосте тянешься?» Сегодня мы привыкли уже мерить свои успехи на центнеры — на пуды слишком цифры громоздкие получаются. Вырастив двухсотпудовый урожай, мы можем уже смело сказать, что получили два, а то и все три колоса там, где рос раньше один. Ибо сегодня мы уже и к земле своей относимся несколько по-иному. «Земле надо угождать», — сказал как-то ты. Тебе, видимо, эта мысль давно понятна и не вызывает никаких сомнений. А я, признаюсь честно, с удовольствием застрял на ней и долго сам про себя повторял: «Земле надо угождать». Да, именно угождать, а не требовать, хватать, рвать, как еще недавно обращались у нас с землей некоторые заносчивые, недалекие и чуждые ей люди.

¹ Т о л о к а — работа в помощь, сообща.

Тогда мы тоже искренне радовались высокому, в рост человека, житю, в которое войдешь, руки подымешь вверх — и не видать. А сегодня задумались: подождите, подождите, а обязательно ли надо, чтоб росло такое высокое, под самое небо, жито? Наша ведь цель не солома (теперь ею и хат даже не кроют — сегодня уже трудно даже просто для интереса найти в наших деревнях соломенную крышу), а в первую очередь зерно. Не нарушаются ли у нас во время погони за высокими хлебостоями какие-то логические пропорции, когда на крепкой, толстой и длинной солоmine высоко и далеко от земли колышется небольшой, как заморыш, колосок? Задумались и ученые. «Надо, чтобы зерно составляло не меньше половины веса растения, — высказал свою точку зрения профессор Павел Лукьяненко. — Пусть питательные вещества идут не в солому, а в колос, в зерно...»

Что же, каждому времени нужны свои песни. Это банально, но зато очень точно...

Комбайн тихо, не спеша идет по полю. Время от времени останавливается — сначала, как всегда, что-то не ладится. То наматывается на вал солома (известно, сыроватая еще), то на сжатом поле замечаешь зерна (просыпаются пока что), а то слишком натужно вдруг загудит молотилка — что ж, с таким урожаем нелегко управляться сегодня даже комбайнам, так как они чаще всего рассчитаны на гораздо более скромный урожай. Но пока ученые думают над новыми машинами, которым по плечу будут и нынешние наши урожаи, неплохо трудятся и они, уставшие от стольких страд, работяги. Слушаешь, как они задыхаются от густой, умолотной ржи, и невольно думаешь: а как бы с этим урожаем управлялись сегодня серпы?

Комар идет через все поле за комбайном, помогает Грише отрегулировать машину. Следом идем и мы — целая процессия: и ты, и я, и шофер Василь Новиков, который будет отвозить зерно от комбайна, и даже твоя дочурка Лариса, которая упросилась посмотреть на зажинки и теперь, босая, поджимая ноги, несмело ступает по стерне рядом с сыном Медвецкого.

Наконец-то хлынула, полилась в кузов машины и густо зашумела тугая и теплая река первого зерна этого года! Было видно, как все, даже дети, радуются ему. Ты, взволнованный, став на колесо машины, жадно подставлял под широкую струю ладони, набирал полные

пригоршни, подносил их поближе и с неподдельным наслаждением, будто впервые, разглядывал зерна, вдыхал их свежий запах. Как оно, новое, пахнет! И свежо, и волнуяще, как и первая краюшка хлеба, испеченного из нового урожая. Оно пахнет неубранным еще полем, тем необъяснимым запахом, когда растение еще не солома, но уже и не стебель.

Вот оно, новое поколение жита. Его предшественников, которые дали жизнь этой спелой ниве, этому крупному зерну, видел я еще прошлой осенью в амбаре. Может, именно тут, на этом поле, дали потомство те зерна, которые тогда остужали мою руку, глубоко засунутую в гору чистых семян, и, будто живые, тыкались клювиками в ладони.

Потом видел эти зерна весною — в сеялках.

Затем видел, как они колосились.

Потом — как созревали...

Молодой хлеб... Кстати, а каков все же вообще возраст хлеба? Ему, верно, уже тысячи лет и ведет он счет своим векам от того первого зерна, которому вдруг удивился и обрадовался человек? А вот этому, нынешнему, хлебу всего только один год. Но, может, главное — одна минута, как раз та, когда неожиданно взрывается зерно и совершается великое чудо — рождается жизнь.

Да, хлебу всегда тысячи лет и одна минута...

С первой машиной, которая очень осторожно, бережно, объезжая даже небольшие ямки, повезла в Андреевщину молодое зерно, вся торжественность переместилась туда. На мехтоку собрались чуть ли не все специалисты. Тут и Комар, и механик Куртасов, и агроном Васьковский, и бригадир Бухавец, и Алексей Кухаренка, что заботливо осматривал свою сушилку, на которой, как он говорил сам, в прошлом году пересушил все зерно и без которой уже, наверно, и нынче заскучал. Все ходила — не могла устоять на месте! — и кладовщица Надя Купава.

Ради такого торжественного момента не пошел домой, на свой кирпичный завод, и Бронислав Сейстуль. Он теперь за током старательно ссыпал с машины Новикова зерно в яму, из которой уже транспортер подаст его на мехток, в сортировку. Я только поздоровался с ним и, увидев, что человек занят, понял, что и сегодня мне не удастся поговорить с этим рослым спокойным латышом, который после стольких лет работы на кирпичном заводе

все же вернулся к крестьянскому труду, который так светло и чисто любил.

Леня Васьковский подбирал сита. От него не отходили остальные. Подсказывали. Советовали. Помогали — кто сито подержит, кто зерна насыплет, чтобы проверить, будет ли просыпаться.

— Ты понимаешь, — беря новое сито, вслух рассуждал Васьковский, — на земле ведь каждый месяц где-то жнут: мы сеем, а где-то жнут, мы зимою на печи сидим, а где-то жнут. И оно, видимо, всюду жатва — праздник...

Это сито как раз подошло. Когда Васьковский поставил его в сортировку, ты заспешил в контору.

Все, конечно, поняли, что тебя волнует. В прошлом году «Большевик» взял первую квитанцию — колхоз первым в районе привез на элеватор новое зерно. Конечно, хотелось, чтоб и в этом году получилось так же, как в прошлом. И как только мы вошли в контору, ты сразу же подошел к телефону и позвонил:

— Степан Васильевич? Шведов говорит. Степан Васильевич, сдал ли уже кто новый хлеб? Пока что никто? Ну, хорошо. Это я собираюсь первую машину прислать. Да, начали уже жатву. Вот сейчас через сортировку пропустим и привезу.

А положив трубку, объяснил:

— Смолякову звонил, главному инспектору по заготовкам. Хороший дядька. Все вспоминает, как он у моего отца учился когда-то в школе. Ты его не знаешь? Он же в Зубревичах школу кончал. Правда, давно уже — до войны.

На мехтоку, куда мы вернулись, сортировка еще не наладилась: наверно, не так расставили сита — в отходы почему-то шло самое крупное, самое лучшее зерно. Пока все вместе переставляли сита, пока искали причину, на мехток пришла девушка из бухгалтерии.

— Михайлович, вас Смоляков по телефону разыскивал. Сказал, будто бы во дворе элеватора из колхоза имени Кирова машина стоит уже. Заготовку, сказал, только что кировцы привезли.

Этот слух скоро подтвердился: Салтанович действительно на какое-то время опередил «Большевик» и забрал первую квитанцию.

И когда сортировка была отрегулирована, когда она равномерно затарахтела на весь мехток и все уже забыли о первой квитанции, ты вспомнил:

— Смотри ты, Салтанович уже на элеваторе. Может, и он, как Литасов, «жать» начал. Нажал, может, на какую машину и привез...

И было как-то трогательно, что ты по-детски жалел: первая квитанция попала не в «Большевик».

День, который наконец порадовал началом жатвы, заканчивался тихо, тепло и солнечно. Секретарь обкома партии, которого ты ждал и который должен был приехать в «Большевик», чтобы посмотреть, как колхоз справился с нелегкой и новой работой — закладкой сенажа, — видимо, где-то задержался, не приехал.

А показать тебе как раз было что.

— За четыре дня мы четыреста тонн сенажа заложили. По шестьдесят человек в день на сенаж выходили. Такое большому колхозу и то, должно быть, не всегда под силу, а мы одолели, — хвалился Леня Васьковский. — И все спокойно, без лишнего шума.

Это, конечно, Геннадий, хорошо, когда человек вот так тихо и скромно, без крика, без шума делает свою работу. И в райкоме говорили о тебе:

— Любо смотреть, как Шведов работает. Не кричит, не обещает, не бьет себя в грудь, не устраивает показухи. Он тихо, но зато уверенно делает свое дело. Только глянешь — а у него уже все сделано...

К вечеру, когда машины пошли на элеватор, когда твоему рабочему дню давно уже надо было закончиться, я уговорил тебя съездить вместе искупаться.

Миновав шоссе, возле красивой школы-интерната Куляй везет нас за освещенный солнцем сосняк, за которым петляет в ольшанике и меж кустов черемухи неширокая, неглубокая, наша древняя, с детства знакомая Оршица.

— Ты знаешь, что Андреевщина — зеленая зона, зона отдыха города Орши? Куда мы едем — то же самое. В воскресенье сюда столько наезжают, что свободного места не видать. Газетки расстелят, чарку берут, закусывают себе, — объясняешь ты.

И немного помолчав:

— Наши бабы, согнувшись в крюк, на полосках в поле стоят, лен теребят, а оршанские женщины, кругленькие, румяные такие, прыгают весело в купальничках — в бадминтон играют.

— Не злись на них. Они же свое около станков за неделю отстояли, отработали.

— Я понимаю, я просто так.

— Тем более, что крестьянская работа, мне кажется, намного интереснее, разнообразнее: то пашешь, то кошишь, то сено ворочаешь, то жнешь...

Лето подбиралось уже к середине августа. В огородах приятно пахло смородиной и спелым укропом, возле хат — малосольными, засоленными, видимо, еще не на зиму, огурцами.

Из леса густо пахло грибницей, хотя грибов еще и в помине не было: где там они пробьются, те грибы, в такую сушь!

Воздух также отдавал уже осенью, сыростью, хотя до обложных дождей и осенней слякоти было еще далеко-вато.

С каждым вечером замечаешь, как настойчиво и неумолимо становится короче день — солнце склоняется к закату все раньше и раньше. Кажется, даже чувствуешь, как тихо и почти незаметно, уходя, струится около тебя лето, как выпутывается оно из паутинок, на которых под ветром летят куда-то в свои теплые края маленькие паучки, надеясь, что чем длиннее спрядут они паутину, тем дальше будет их путешествие...

Оршица плещется под самыми берегами, булькает возле коряг. Рядом, у глубокого омута, где когда-то стояла водяная мельница, весело хохочут ребятишки.

— А помнишь, как мы с тобой почту из Дубровок по-сили? — неожиданно для меня спросил ты.

Оглядываюсь. Пытаюсь понять, почему ты вдруг вспомнил те далекие наши годы. А ты, улыбаясь, показываешь на толстую, старую вербу, которая выгнулась над самой рекой, вытянулась, словно мостик-кладка, до другого берега, а там уже снова пошла вверх — будто она растет не на этой, а на той стороне.

— Помнишь, возле Стахвана как раз вот такая стояла. Дойдем, бывало, до нее — я остаюсь тут, а тебе надо на ту сторону перебираться. А мост ведь тогда между Понизовьем и Зубревичами был сломан. Вот ты по такой вербе и перелезал.

Конечно, Геннадий, помню. И как ты мне помогал — тоже помню. Я, чтобы руки были свободными, передавал тебе связанные газеты и письма, а сам, держась за суки, доходил по вербе до того места, где она, пружинясь, гнулась почти к самой воде, а потом спрыгивал на тот берег. И чаще всего, особенно в половодье или в осенние дожди, попадал в воду — с такой пружинистой вербы далеко не

прыгнешь... Тогда ты забирался на вербу и раскачивал на веревочке, словно маятник, связанную вместе почту, чтобы я поймал ее на том берегу...

Пока мы раздевались, из кустов появился Садкович — и здесь он нашел тебя.

— Михайлович, нужна машина. Дочка рукой на какой-то сук напоролась — надо в больницу отвезти. Пока того автобуса дождешься. Да и плачет очень...

Ты не возражал. Только спросил, говорил ли Садкович с Бухавцом — он ведь вместе с Комаром или Куртасовым мог бы сам дать машину: зачем еще и председателя искать...

— Не видел я что-то Бухавца.

— Что, Садкович, может, он опять?..

— Не знаю.

Когда Садкович чуть не бегом заторопился назад в Андреевщину, где его ждала дочка, ты рассказал мне:

— Как-то в самый сенокос, на разнарядке, я специально говорю: «Товарищи, завтра у нас получка, кому надо взять выходной, скажите сегодня». Все молчат. «А вы, Бухавец, как думаете?» — спрашиваю у бригадира. «Нет, мне не надо», — отвечает. «Ну, смотрите, чтоб потом неприятностей никаких не было». Так и вышло. Только он успел наряды дать — и уже готов: говорят мне, что Бухавец пьяный. На другой день я сам пошел наряды давать, а потом вызываю экономиста и говорю: «Принимайте, Яркович, временно бригаду». Через несколько дней появляется и сам Бухавец. «Ну что, Бухавец, из очередного отпуска вернулись?» — спрашиваю. Молчит. «А где же вы эти дни были?» — допытываюсь. Опять молчит. «Почему на работу не выходили?» — интересуюсь. Тоже не отвечает. Всем правлением решили в последний раз ему поверить... Да ведь люди виноваты тоже. Сами поднесут, напоят, а потом, как вон Алексей Кухаренка, прибежит который в кабинет и пальцем показывает: смотрите, мол, какой пьяный ваш бригадир...

Там, где омут, сначала что-то гулко бултыхнулось, а потом покатился по лугу беззаботный смех — видно, девочка кого-то из своих друзей в одежде столкнула в воду.

— А я сначала думал, что легко его перевоспитаю. Жена у него учительница, чудесная женщина. Да и сам он, когда трезвый, — человек хоть куда. И все мне тогда говорил, будто пьет потому, что нет условий. Он ведь тоже приезжий, жил на квартире. Я думаю — ладно. Про-

давал тут один андреевский человек свой дом. Я и купил его в колхоз, две тысячи отдал. И Бухавца вселил туда. Теперь он живет в этом доме, условия уже есть, а он все равно пьет... Вот тебе и воспитание...

Видимо, не ты один так остро ощущаешь проблему воспитания. Видимо, многие задумываются, где же она, та граница, которая дает возможность быть и требовательным, непримиримым к недостаткам и, не утратив своего авторитета, хорошо понимая, что самое важное в жизни — не ты сам, одновременно оставаться отзывчивым, чутким и очень внимательным.

После того как Василенка сняли с должности председателя колхоза, был я в своих Зубревичах. И те же самые люди, которые раньше зло говорили про него («довел, довел, пьяница, колхоз до ручки — что дальше будет, так и сами не знаем»), когда прошло время, когда отлегло от сердца, говорили уже совсем по-другому: «А что Василенок? Василенок был человек добрый. Это же люди плохие — не слушались его, не уважали. А он никого зря не наказал, никого не оштрафовал, никого не обидел...»

Человек, как видишь, по природе своей очень добр: пройдет время, и он готов простить многое...

Сначала мне казалось, что в «Большеви́ке» все идет хорошо, гладко, за исключением каких-то мелочей. А как пригляделся, познакомился поближе — увидел, что и тут хватает своих забот, своих проблем, из-за которых болит твоя, председательская, голова.

От проблемы воспитания мы незаметно перешли к проблеме воды.

— С водою раньше у нас трудно было. Даже сюда, в Оршицу, за километр! — ходили из Андреевщины по воду. Зимой санки маленькие делали, летом — тележки: поставят бочку и погремели вниз. Вниз-то с пустыми легко греметь, а вот с полными — как раз в гору подыматься. А кто и с коромыслом на Оршицу ходил — принесет пару ведер, а потом делит по капле, лентяй, весь день: это себе, это корове, это курам...

Знаешь, меня тоже всегда трогало, когда я замечал, с каким уважением и почтением смотрят старые деревенские люди на нашу городскую воду, которая сама пришла в квартиру — на второй, на пятый, на восьмой этаж. Просто покрутят кран, подставят палец под струю и будут приговаривать, будто еще не веря: «Смотри ты — вот и горячая побежала...» Мы сами — деревенские люди, и по-

тому хорошо знаем, что значит для крестьянина, да еще и в самой хате, вода. В хлевах ведь ее ждут и коровы, и свиньи, и овцы. Пока наносишь ее ведрами из колодца, пока понаставишь в огромных чугунах в печь, чтобы согрелась, а потом пока повынимаешь их — так, глядишь, и устанешь: даже плечи гудят.

— Теперь и мы водопровод по всей Андреевщине провели. Правда, на ту сторону, за дорогу, не просто было сделать, шоссе мешало. Не разрешили дорожники под ним трубы класть. Съездили в Минск, поговорили, объяснили — разрешили. А мы только трубу под насыпь пробили — да и все. Но теперь и у Комара, и у некоторых других — как в городских квартирах: отвернешь кран и, пожалуйста, подставляй ведро или чугунок — течет, дорогая. А вода, я тебе скажу, это такое же богатство, как и хлеб...

Мы разделись, но в воду лезть не хотелось. Стояли на берегу, разговаривали. Солнце уже красновато стояло на самом закате.

— Я знаю, что такое вода, — не успокаивался ты. — Когда я только вернулся из армии в свое Понизовье, возле нашей хаты решили мужчины колодец выкопать. А до этого тоже из лога, из криницы воду носили. Договорились с Сергеевым, землекопом из Верховья, — может, ты и сам его знаешь? Тот, и правда, до воды дошел, а оттуда ключ так уж ловко забил, так забил — песок даже выбрасывает, и все пузырится. Тогда землекоп попросил мужчин привезти воза три камней. Те привезли, он побросал их в колодец. Камни-то и засосало. А толку никакого: и песок наверх, на камни, выносит, и воды зачерпнуть невозможно. Ведро опускаешь — оно о камни бьется. И только каких-нибудь полведра черпает. А в договоре сказано, что землекоп обязан чистить этот колодец не раньше чем через год. Спустили его снова в колодец — в ведре, как бабу-ягу в ступе, — он полазил там, полазил и дергает за веревку: просит наверх тащить. Вылез и говорит, что ничего не получается — я, мол, верну вам часть денег. Вернуть-то можно, только колодец же выкопан. Так что, он и будет стоять без дела? Я тогда бушлат с себя, гимнастерку с себя — и в колодец. Сел в ведро и кричу, чтобы раскручивали ворот. Спустился. Гляжу, а эти камни уже настолько вмуровались, что и вытащить нельзя. Я тогда дернул за веревку, попросил, чтобы подняли. И — в Зубревичи. Уговорил Хына, куз-

неца, сделать мне многороговую кошку из стальной проволоки. С ее помощью кое-как повытаскали камни. Начали песок чистить. Но не так, как землекоп, а старались, чтоб на поверхности всегда большой слой воды оставался — для давления. Вычистили мы его — какой чудесный колодец получился! А вода — будто чуточку даже подслащенная. Как березовик, такая вкусная и резкая. Поглядел на меня землекоп ласково так, помню, и говорит: «Ты, хлопец, у меня хлеб отнимаешь». А колодец тот еще и сейчас стоит: как домой приезжаю, так и хочется из него напиться...

Наконец все же решились и осторожно, держась за траву, сошли с берега. Такая теплая, ласковая (как всегда под вечер) вода! Ты бухнулся в реку, раскачав ее чуть ли не до самых берегов, и поплыл, поплыл — красиво, свободно, легко. Показалось даже, что и так тесная Оршица еще более сузилась и обмелела — так стремительно и бурно ты плыл. Я даже сначала удивился, где это ты так хорошо научился плавать. Понятно, не в нашей же Вуллянке, где летом воды — курице по колено. А потом вспомнил: наверно, в армии научился, где же еще!

Выплыли на самую середину заводи — как раз туда, где когда-то стояла мельница. У берегов, не заходя на глубокое место, баловались дети — брызгались, бегали, кувыркались, будто гуси, в воде. Возле кустов стояла «Волга», а подле нее аккуратно вытирались махровыми полотенцами двое солидных мужчин — видимо, только что искупались. Держались важно, с достоинством. Увидев их, ты хотел было повернуть назад, но, почувствовав, что мужчины тебя тоже заметили и узнали, поздоровался. Они и сами, как мне показалось, смутились и сдержанно ответили на приветствие. По их поведению я догадался, что это, видимо, из Орши — кто-то из районного руководства. Потому, наверное, им и было неловко, что ты увидел их за таким сугубо личным занятием, как отдых. Да и ты очень застеснялся — каким баловством показалось тебе это наше купание! Мол, самая жатва, работы хоть отбавляй, а он, председатель, как ребенок, плещется в реке. Пускай себе и после работы. Этак ведь на весь район прославиться можно — дескать, вон Шведову за купаньем так и комбайны некогда в поле вывести.

Знаешь, я и сам задумывался, почему сложилось такое странное, на мой взгляд, мнение, которое, кстати, и

сегодня считается нормальным, что председатель обязан работать круглые сутки, все двадцать четыре часа, не оставляя ни минуты для личной жизни. Будто о каком-то очень смешном, а то и позорном поступке порой рассказывают еще и сегодня о том, что председатель (пускай себе и после работы) ходил за грибами, загорал или вот так купался. А если бы председатель, к слову, посидел возле реки, скажем, какой-то часок под вечер с удочкой, то наверняка о таком случае сообщили бы даже в райком — мол, идет сенокос, а он рыбку, видите ли, ловит...

Раньше, когда председатель как можно меньше спал, когда он суетился целые сутки (перекусить даже было некогда), — считалось, что это очень хороший хозяин, чудесный организатор. Теперь, мне кажется, все несколько изменилось: за такой стиль работы председателей колхозов стали критиковать. Председатель должен уметь так организовать труд в колхозе, чтобы ему не надо было бегать, как раньше, по хатам, чтоб, отлучившись в район или в область, он был уверен, что в колхозе и без него — полный порядок. Председатель же сегодня должен, как и каждый человек, спать сколько надо, есть когда положено и не забывать об отдыхе.

А о тех, минувших годах, давай, Геннадий, послушаем кое-что из биографии Михаила Иосифовича Хасмана, рассказанное им самим.

ДЕНЬ С БЫВШИМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОЛХОЗА

Я человек сельский. Родился в деревне (есть такие Шарипы в Горецком районе) и все время среди крестьян жил. Иной раз мне соседи прямо так и говорили: «Ты, Миша, землю очень уж любишь». А я, кажется, еще больше земли коней любил. Поверишь, возле хорошего коня мог полдня простоять. Стою себе, разглядываю, люблюсь — понимаешь, очень мне нравилось смотреть в их большие, добродушные и наивные, как у ребенка, глаза. А когда маленьким был, так отец и обедать только хворостинкой от коней отгонял.

Около сорока лет на земле поработал я. И двадцать пять из них — председателем пробыл. В разных колхозах, правда.

Перед самой войной избрали меня заместителем председателя колхоза «Красный Берег». Ты же, должно быть, слышал о нем, коль сам оршанский. Слышал? Я так и

знал. И, понимаешь, 21 июня прислали мне путевку на курорт — завтра надо ехать, путевка горит. А завтра — это уже было 22 июня. И вместо курорта занялся я эвакуацией колхоза... Орден «Знак Почета», которым как раз перед войной наградили колхоз, я тоже сберег. И потом, вернувшись из партизан, сразу же на знамя его прикрепил.

Пришел, значит, я в свой «Красный Берег», председателем меня люди поставили. А в колхозе — ни коровки, ни лошаденки. Правда, было каких-то пять «монголов» хромых, которых красноармейцы оставили (помнишь, может, маленькие такие лошадки были).

А тут как раз из Германии гнали девчата огромный табун наших коней, которых фашисты в войну, как и людей, в неметчину вывезли. Коней около пятисот было в том табуне. Догнал я их уже где-то за Хоробровым. И ты знаешь, какую картину красивую увидал!

Ночь кончается уже, светать начинает. Вижу — на лугу кони. Туман еще не сошел, и они в этом тумане, в этой сероватой предутренней дымке — как привидения. Собирают траву росную, фыркают — будто той росой поперхнулись. Кое-где костры горят, девчата возле них греются. Не все, правда, а только те, что не спят. Остальные кто где свернулись — кто под деревом, кто под кустом. Вижу, и майор с опушки выходит.

— Что это у тебя? — поздоровавшись, спрашивает он и показывает на мою грудь.

А я, понимаешь, при всех своих партизанских наградах пришел на луг этот: китель у меня один был, а медали поотцеплять не успел еще.

Потом, подойдя ближе, пригляделся он лучше и, заметив в слабом полумраке рассвета мои партизанские медали, спросил:

— Так что скажешь, партизан?

Я и объяснил ему, что хотел бы поменять пять «монголов» наших на хороших коней — нам же, мол, и жать, и сеять надо, а коней нет. Прошу его, как брата родного, а майор молчит.

— А чем ты нам поможешь, партизан? — спрашивает потом.

У меня с собою было все мое партизанское жалованье, какое мне выдали как раз перед этим, — за все годы войны. Я и протянул ему всю эту толстую пачку денег. Подержал он ее в руке, взвесил на ладони, потом дунул на

нее, чтобы разъединились бумажки, посплюнул пальцы, разделил на две равные части, одну отдал мне, а другую в карман положил да и говорит:

— Слышишь, партизан, я не брал бы у тебя и этих денег, ибо знаю, какой кровью оплачена она, твоя зарплата. Но девчата мои ведь совсем изголодались. Если б было чем их накормить, я не взял бы у тебя ничего. Ясно тебе? Ну, а теперь давай гони сюда в табун своих «монголов» и забирай самых лучших коней — тебе ведь, брат, надо хлеб государству давать. А вдобавок просто так бери вот этих семь подбитых коней, только нам документ дай, что они остались в твоём колхозе. Понимаешь, у тебя они поправятся, вылечатся и хорошие кони будут, а в дороге, видимо, мне не удастся их уберечь — погибнут.

Я — быстрее домой. Зануздав всех своих «монголов», немного конюх помог, и галопом в Хораброво. Пригнал оттуда двенадцать настоящих коней и радуюсь, радуюсь сам. Даже и не верится: все эти кони в тумане утреннем пасутся на нашем лугу, а я сижу, гляжу на них, и мне кажется, что все это только снится. Даже страшно, что вот сейчас проснешься...

Так мы и начали обживатьсь. А в 1946 году «Красный Берег» гремел уже на всю республику как первый колхоз-миллионер. Нам тогда особенно и соревноваться было не с кем. Правда, еще тельмановцы (был такой колхоз в Брагинском районе) немного подгоняли нас. Это же не шуточки, в то время мы получали по 28—30 центнеров, а с отдельных участков — даже по 48 центнеров ячменя. И это в первые послевоенные годы, когда многие колхозы меньше собирали, чем сеяли. Орловский часто в последние свои годы вспоминал: «А помнишь, Миша, как ты форсил в «Красном Береге»?» Видимо, это его немного задевало, так как о «Рассвете» в те годы никто и не слышал даже. А с Орловским я хорошо дружил все время. Как-то мы даже слово друг другу дали до самой смерти не оставлять колхоз. Так он вот в своём «Рассвете» на председательском кресле и умер, а я нарушил то слово — на пенсию, как дед старый, подался.

А тогда же, бывало, и комиссии разные республиканские без меня не обходились.

Помню, как после войны целый месяц был я в Минске — комиссия по нарушениям сельхозустава работала. Приехал домой, а у меня в колхозе тоже два ревизора сидят. Я сам еще не обедал, говорю им:

- Пойдем пообедаем.
- Нет, мы уже обедали.
- Ну, вечером ночевать приходите.
- Спасибо, мы в гостинице.

Ну, в гостинице, так в гостинице. Позвал я колхозного бухгалтера. Сделали они ревизию. Думали, что найдут много нарушений — колхоз же почти в самом городе, считай. Ничего не нашли. Пришли и просят:

- Довезите нас до станции.
- Нет,— говорю,— не повезу. Боюсь, что по дороге подкуплю вас и вы недостатки мои не вспомните.

Смеются. Я попросил конюха запрячь коня в возок и подъехать часика через полтора.

- А теперь пойдем пообедаем. Теперь уже можно?
- Можно,— улыбаются.

А я в своем «Красном Береге» до 1950 года красовался. Потом началось укрупнение колхозов. Поприцепляли к моему «Берегу» со всех сторон слабенькие хозяйства, называли колхозом имени Кирова, и я, признаться, испугался этого нового большого хозяйства. Раз двадцать на бюро в райком вызывали, чтоб принял укрупненный колхоз. Отказался. Тогда в районе разозлились (подожди, мол, раз ты так, так мы эдак) и послали меня в Браздечино — в самый отстающий колхоз. Сдал я все свои дела Салтановичу и поехал туда. Вышел в первый день на бугорок, осмотрелся вокруг и чуть не заплакал: «Куда же тебя, Миша, занесло? Куда же ты, дорогой мой, попал?» На поле все осыпается, в копнах сено погнило, в свинарнике свиньи в грязи плавают, голодные — глаза, как у волков, блестят. Конторы даже нет. Упросил бабку одинокую, та небольшой уголок в своей хате старенькой отжалела, поставил я там стол и взялся за работу.

Хорошо, что у меня в кармане остался еще лесорубочный билет из «Красного Берега». Ничего, думаю, надо его тут использовать. Там же на меня в обиду не будут, я им оставил миллион дохода. Хоть лес заберу для бедолаг этих. Поехали мы, вырубili и вывезли лес, свинарник начали строить, конюшню. Хотя, правда, коней не хватало. И все какие-то хилые, маленькие — вырождались уже, наверно. Я вызвал комиссию. Она почти всех моих буланых и выбраковала. Получили мы страховку, кое-что добавили и поехали в Западную Белоруссию — там люди продавали своих коней. Пригнали мы оттуда

восемнадцать настоящих красавцев. А на другой год даже по килограмму хлеба дали людям.

Потому, видно, когда меня в 1953 году переводили в «Большевик», колхозники из Браздечина и в райком, и даже в ЦК писали, чтобы меня у них оставили...

Приехал я, значит, в «Большевик». Колхоз закредитованный — все хозяйство в кучу сложено. Урожай — 3,8 центнера с гектара, строительства никакого, весь денежный доход составляет только 28 тысяч рублей — и это еще на те, на старые деньги. Попробуй развернись на таком доходе. Тяжело — вся рабочая сила в городе. А те, что в колхозе остались, тоже на работу не ходят.

— Почему в колхозе не работали? — спрашиваю у женщин.

— А мы в Орше в очереди за хлебом стояли.

Приехал я первый раз в Андреевщину автобусом. Канцелярия маленькая, тесная — едва нашел. Как решето вся — кажется, даже звезды через крышу видны. Потом мы в ней летом намучились. Как только дождь пойдет, не знаем, куда нам и деваться. Столы передвигаем из угла в угол, бумаги переносим, а он барабанит всюду. И крупный-крупный — такой только со стрех капает.

Приехал я утром. Сторож мне коптилочку зажег. В конторе холодно. Коптилочка еле тлеет: вздохнешь — и желтое крохотное пламя так и закачается. Сижу, не дышу, жду, пока светло станет. Но рассвета никак не дожждаться — ты же сам знаешь, какое зимнее утро — и длинное, и темное. Нелегко тогда свету темень пробивать.

Не дождался я рассвета — пошел на ферму. А на ферме — холоднее, чем на улице. Коровы не встают.

— Как соберутся люди, подымать будем, — объяснили мне доярки.

А Алена Медвецкая — ты же, наверно, знаешь ее, она мать Гриши Медвецкого — лежит на земле, дует в холодную печь, чтобы сырые дрова разгорелись, и одновременно на руки озябшие дышит.

— Замерзаем вот, — говорит. — Как уж дальше будем жить, наверное, и бог не знает.

Я расспросил у доярок про ферму, а потом и говорю:

— Вот тут, женщины, новый коровник стоять будет. Коровы в нем сами и есть и пить будут.

— Я не доживу, — сомневается Медвецкая.

— Доживешь, Алена Яковлевна, доживешь,— успокаиваю я.

Потом Медвецкий Иван, который был за председателя, передал мне колхоз. Пришел в контору, а сам злой, на людей глаз не поднимает, не разговаривает ни с кем. Я гляжу на него, а самого так и подмывает спросить: «Как это ты, Иване, такой колхоз чуть ли не до ручки довел?» Посоветовались мы с правлением, поговорили и оставили его бригадиром.

Собрались как-то мужчины на колхозном дворе, а я и говорю им:

— Вот тут скоро наша пилорама стоять будет.

Некоторые усмеваются так хитровато — мол, давай, давай, заливай. А Герасим Медвецкий, так тот будто и поверил:

— Вот тогда я уж свою хату обошью досками.

— Это будет, когда в Оршице рак свистнет,— упрямо не верит бывший председатель, нынешний бригадир Медвецкий.

Потом привез я немного погоды и пилораму.

— Ну что, Иван, свистнул рак? — спрашиваю.

Молчит мой Иван и не говорит ничего. А Алена Медвецкая, так та все говорила, когда построили коровник, про который я ей рассказывал: «Это же не председатель, а бог его знает кто: откуда он знал, что именно такой коровник будет!»

Хотя, правда, и строилось все это не очень легко. Не из чего было строить, нечего было возить и не на чем. Коней совсем нет. Я в Минск на базар поехал, чтоб себе выездную кобылу купить. Увидел одну и отойти никак не могу. Красавица, да и только. Сама такая красноватая, белая лысинка на лбу, голову гордо держит. Дед из Западной привел ее на базар. А народу возле Красавицы — не пробиться. И я подошел. Поговорил с хозяином.

— А ты разве себе ее купить хочешь, а не в колхоз?

— Что ты, дед. Конечно, себе! — сказал я.— И ухаживать за твоей Красавицей буду лучше, чем ты сам.

Поверил дед, разогнал всех покупателей:

— Идите, идите отсюда. Я не буду ее продавать, самому жалко стало.

А потом вывел с базара, чтобы никто не надоедал, и отдал мне в руки повод. А у самого слезы стоят в глазах и не прольются никак, что-то все глотает и проглотить не может. Уж очень красивая была кобыла.

— Слушай, добрый человек,— просит дед.— Я тебе еще пару сотен рублей скину, только смотри ты за ней получше, береги ее, жалея, не бей ее.— И смотрит со слезами на свою Красавицу.

Ну и я, правда, ее очень берег. От нее в «Большеви́ке» пошла вся порода коней — красноватые такие, с лысинками. Они и сейчас там работают. А тогда же, после войны, конь был незаменимым тружеником. Без него бы и поле осталось незасеянным. Ни машин, ни тракторов под рукой не было.

Так я на Красавице почти все свое председательство и проездил. Все под седлом. Ах, как она ходила, как ходила! Даже и в «Москвич» не хотелось мне пересаживаться. Я вообще считаю, что председатель, который ездил на коне, был как-то ближе к человеку. Он мог и на картофельное поле заехать, и на льнище. И на дороге его каждый мог остановить, спросить, что хочет, решить любое дело, поговорить. Попробуй сейчас останови машину!

А первый грузовик колхоз получил за капусту. Тогда ведь вообще был в моде натуральный обмен. И все продавалось, если не за капусту, так за молоко, за мясо, за яйца.

Договорился я в районе и в области, сдал 200 тонн капусты. Мужчин мало было, так я и говорю женщинам:

— Ничего, бабоньки, проживем без капусты, зато машина у нас грузовая будет.

Поехал я со всеми документами машину получать, а там мне говорят, что на капусту отменили, теперь дают только на молоко. Что ты будешь делать! Я в Витебск, в облпотребсоюз. Говорю, не выйду из кабинета, домой не поеду, пока машину не дадут.

— Колхозники же мне скажут: обманщик,— объясняю свою настойчивость.— Я же им ни грамма капусты не дал, чтоб на машину хватило. А ее, выходит, не будет?

Дали они все-таки мне машину. За капусту. Пригнали мы ее в колхоз, поставили в какую-то землянку — гаража никакого и в помине не было. Неделю моя машина стоит — некому водить, вторую неделю стоит — нет шофера. И вдруг как-то вечером приходит ко мне на квартиру Микита Шкуратенка, который шофером на автобазе работал. Приходит и сам просится за руль. Я рад-рад, не знаю, что и делать от этой радости, а сам напускаю на себя строгость, чтобы не отпугнуть его. Словом,

перешел к нам в колхоз Микита. А позже, когда получили вторую машину, Вася Кавецкий, нынешний заслуженный колхозник, вернулся. Вася до этого в детдоме шоферил.

Ну, когда появилась у нас первая машина да еще и первый шофер, тут мы уже зажили. Гараж начали строить, свинарник — в старом же до этого барахтались двадцать восемь свиней. Из силикатного завода возили на новой машине половняк, кирпич битый и так строились. Наперед смотрели, а потому некоторые колхозники и не всегда понимали нас правильно.

Скажем, строил нам Бабицкий по найму гараж. За ним я приказал закрепить кобылу. А Кухаренка Ульяна, живая такая старушка, пришла и отобрала у Бабицкого кобылу. Ей, видите ли, картошку надо было окучивать. Да еще, как рассказывал Бабицкий, ругалась:

— На что ему, твоему председателю, сдался этот гараж? На кой черт он его делает! Всего одна машина появилась, а он уже такой гараж строит. Ничего с этой машиной не сделается, если и в землянке постоит — это же не конь...

И с дисциплиной тогда, сам знаешь, нелегко было. Порой и хитрить приходилось.

Помню, строили мы в Кобыляках конюшню. Лес выпи-сан, а вывезти никак не можем. Тогда я подошел к женщинам, что на улице стояли, и говорю:

— Бабоньки, кто хочет за ягодами съездить?

Вижу, многие не прочь были бы. Тогда я и дальше провожу эту линию: мол, давайте поедем, машину нагрузим, а тогда собирайте себе ягоды сколько влезет. Машина постоит.

И они согласились. Особенно Александра и Татьяна Борщевские загорелись:

— Поедем, бабы, может, ягод и не наберем, так хоть сами наедемся.

Поехали мы в Рацавский лес. Пока напилили, пока сучья пообрубали, пока погрузили... А тут еще жара такая — дышать нечем. А слепни, оводы. Так и липнут — известно, мы ведь все потные. Как натаскались по бурелому мои женщины бедные, так сели на бревна и уже идти никуда не хотят.

— Спасибо тебе, председателька, за ягоды, — говорят, — не нужны они уже нам. Вези нас скорее домой.

А мне жалко их, но, думаю, ладно, что поделаешь — может, когда-нибудь простят.

Бывало — некоторые и воровали. Я иногда уже думал, что и отучить их не удастся — так привыкли к этому. И я тогда тоже одну хитрость придумал. Был у меня на примете Костевич, инвалид — одной ноги у него не было. Хороший такой человек. Вот я с ним и договорился. Залезет он на крышу, будто что-то ремонтирует, — а сам все смотрит вокруг. Я ему за это даже трудодни платил.

Один раз увидел Костевич, что от сеялки повезли мешок ржи. Он быстренько сполз по лестнице и ко мне. Я сразу — туда. Снял мешок ржи — его везли самогонщице, чтоб самогонки дала. Я, значит, снял этот мешок, а дело — в суд. По два года дали ворам. Костик, один из тех, что мешок этот украл, вернулся из тюрьмы и в оршанскую баню работать пошел. Я думал, что с кулаками на меня накинется, как увидит, а он наоборот — в баню без очереди пускал, когда людей много было.

Не знаю, то ли меня немного боялись, то ли уважали, но как-то слушались. Даже чужие люди, не колхозники, и те стыдились, если что не так.

Как-то вечером еду я из Анибалева на своей Красавице, а Кавецкий — другой, не наш Вася — из Межколхозстроя пьяный с работы идет. Как увидел лысую кобылу, стал, собрался с силами, пряменько прошел мимо меня, даже поздоровался, а когда я проехал — снова раскачиваться начал. Так это ведь не колхозник, он же знал, что я ему ничего сделать не могу — ни наказать, ни поругать даже.

Правда, вначале с людьми трудно было. Орша ведь близко — идут туда мои колхозники, и все. Заявления несут, чтоб из колхоза отпустил, справки просят. Придет, скажем, такой здоровый как бык детина и просится в город.

— Вот видишь, смешно получается, — говорю. — Ты из колхоза уходишь, а я как раз сюда, в колхоз, приехал. Ты думаешь, я не нашел бы места потеплее? Нашел бы. Но кому-то надо и хлеб растить. А у тебя же тут мать старенькая, и отец такой же. Кто за ними присматривать будет?

— Так я ведь и иду в город, чтоб их кормить.

— Вот видишь, ты только сегодняшним днем живешь. Потерпи год-два, и посмотришь, как мы разбогатеем, как будем больше получать, чем городские...

И правда, скоро у нас самый богатый в районе трудодень стал. Тогда уже к нам из города люди пошли. Первый комбайнер свой, Иван Казакевич, в «Большевике» появился. Пришли и свои строители, Игнат и Федор Медвецкие. До этого они по найму ходили, другим колхозам помогали. Топор за пояс, пилою подпояшутся — и пошли. А как увидели, что и мы неплохо платим, домой вернулись.

Техника своя колхозная появилась. Как это умно сделали, что и тракторы, и комбайны самим колхозам передали! А то, бывало, просишь-просишь у МТС, а они там еще выше нос задирают — мол, давай лучше проси. Я как-то на совещании в районе покритиковал тогдашнего директора Оршанской МТС Лисовского и, поверишь, сам был не рад после. Поехал я в Москву на выставку, а у меня на овсе комбайн работал. Так, понимаешь, сам Лисовский приехал, снял с поля этот комбайн и в другой колхоз перевел. Приезжаю я с выставки, а овес мой весь осыпался. Я с Лисовским долго тогда не разговаривал. Это все, чем я мог ему как-то отомстить. Ибо попробуй его снова зацепить, так и на рожь еще комбайна не даст. Как хорошо, что сегодня вся техника в руках у председателя! А председатель сам знает, что начинать жать раньше, а что еще может постоять.

Иногда председателя, мне кажется, слишком опекают, дергают: все хотят ему подсказать, как говорится, разжевать и в рот положить. Будто председатель — мальчишка несмышленный.

Понаедет, бывало, разных инспекторов, ходят, руководят — только мешают работе.

И мне, случалось, перепало. В последнее время за искусственное осеменение критиковали очень. У нас на ферме коровы не породистые, а потому молока дают немного. Я и сейчас слежу за сводками — плоховато выглядит «Большевик» по молоку: стадо все надо менять. И я в свое время хотел обновить коров. Поехал к Орловскому. А тот тоже не терпел этого искусственного осеменения.

У Орловского были породистые бычки. Я сдал тогда за «Рассвет» мясо первой категории, а Кирилл Прокофьевич дал мне семь бычков.

Боже мой, что тут началось! В «Большевике», мол, бычков держут! И Орловский тоже держал, но ему-то уже можно было. А меня сразу вызвали в Оршу.

— Почему, Михаил Иосифович, игнорируешь искусственное осеменение? — спрашивают.

— Так это же породистые бычки. А мне стадо обновлять надо, — оправдываюсь.

Узнали в производственном управлении — тоже крику наделали. Как только какое собрание, какое совещание, ни о чем, кажется, не говорят, только про наших бычков.

— Надо кастрировать, — кричит кто-то ершистый с места.

— На мясо сдать, — уточняют другие.

Прославили «Большевик» на весь район те бычки. Даже в народный контроль дело передали: мол, я плохо занимаюсь этой проблемой. Не знаю, правду я скажу или нет, но мне кажется, что тут есть какая-то загвоздка, если вот уже столько времени председатели колхозов встают против этого искусственного осеменения и «подпольно» держат породистых бычков. Мы еще не знаем, как это искусственное осеменение отразится на породе через одно, два, три поколения и какой приплод будет давать телка, зачатая таким непорочным способом...

Всякое было у меня. Была и слава, было и уважение. «Большевик» крепко стал на ноги, сделался одним из лучших в районе. Был я и депутатом, был и членом пленума райкома. А теперь вот на пенсии. Председателей-пенсионеров мало у нас в районе. Только вон, кажется, Громыка из Дубровок да я. Говорят, что и Титович с Салтановичем собираются.

Нелегко нам, старикам, на пенсии: кто еще не дожил, доживет — почувствует. Я же душою все равно там, на поле. Даже газету нашу районную беру утром в руки, так на городские материалы и не смотрю, только на деревню — и как сеют, и как убирают хочется быстрее узнать. Поверишь ли, даже руки дрожат от нетерпения...

И не удивительно, Геннадий, что в «Большевике» часто вспоминают добрым словом бывшего председателя — твоего беспокойного предшественника. Механизированный ток построил он, мастерскую — он, гараж — он, контору — он. Приятно все же вот так оставить после себя на земле, там, где ты жил, где ты работал, доброе слово, доброе воспоминание.

И хоть и сегодня в колхозе есть много своих забот, своих неприятностей (это только когда со стороны смотришь, так кажется, что все там хорошо, что работа в «Большевики» — праздник, а если приглядишься — увидишь, что и то порой делается не так, и это не эдак — одним словом, идет обычная жизнь со своими радостями и огорчениями), все же тебе, председателю семидесятих годов, намного легче, чем было тем, кто постепенно, настойчиво возвращал силу и веру небогатому в то время колхозу. Сегодня ты идешь по более ровной, куда более ровной дороге, потому что сегодня проблемы, если можно так сказать, немного «подобрели» — крестьянину нужен уже водопровод в доме, газовая плита на кухне, электрическое освещение на улице да разве еще близкая очередь на «Жигули».

Уезжал я из «Большевика» теплым и солнечным утром, когда август еще выглядит только августом и лето пахнет только летом. Это потом уже появится тот холодок, те звонкие дни конца лета, когда каждый невольно почувствует, что август выглядит уже сентябрем...

Возле конторы колхоза на легком утреннем ветерке, будто натянутый упругим и щедрым солнцем, тихо шелестел красный флаг — экономист Святослав Яркович только что поднял его на мокром еще от утренней росы древке — в честь колхозницы Лиды Сидоровны Пачкай, которая вчера вытеребила 10 соток льна при норме 4 сотки. Завтра он будет поднят в честь другого человека: комбайнера, тракториста или простого колхозника — того, чья работа в этот день будет лучшей во всем колхозе.

Комбайны уже всю жали рожь, на мехтоку тарахтела сортировка, на льняном поле тихо перекликались, переговаривались женщины.

Гудели трактора, поднимая зябь. Конечно, чтобы получить урожай по тридцать и более центнеров с гектара, надо поднимать зябь одновременно с уборкой. А ведь и нынешнее жаркое лето торопит подготовку почвы под новый урожай — надо вспахать пораньше, пока земля не успела еще утратить много влаги. Да и сам сев уже не так далек...

Словом, начался обычный летний день.

На другом конце города, в другом колхозе, возле зеленоватого, еще не доспевшего жита несмело топтались комбайны, не отваживаясь войти в него, не зная, с какой

стороны подступиться. И, наконец, найдя поле желтого, спелого жита, весело съезжали в него с дороги...

Из окна вагона я смотрел на этот праздник жатвы, который наконец докатился и до нашей северной Витебщины, и вспоминал твои слова:

— Приезжай-ка ты осенью. Там мы посидим, подсчитаем все и узнаем, какой урожай нам насыпал этот год.

● ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Осень — это вечер года.

(Из газет)

Послушай, Геннадий, должно быть, не только на меня одного желтой и шепотливо-шуршащей осенью как-то неожиданно и без особой на то причины найдет вдруг тихая и, если хочешь, даже приятная своей тишиной грусть, которая волнует, тревожит, где бы ты ни был, куда бы ни шел, ни ехал. Тревожит, как и весной, — тоже без особой причины! — захватывает, берет тебя в плен так же, как и в прошлом году, и в позапрошлом. Только весенние радость и грусть — всегда бурные, неукротимые, необъятные. А осенью — все сдержаннее, тише...

Откуда оно, это щемящее беспокойство желтой осени?

Может, оно появляется потому, что человеческому глазу как-то непривычно видеть голое, опустевшее вдруг поле. Что ж, вид сжатой полосы вместе с радостью от законченной работы всегда, мне кажется, оставляет какую-то смутную, необъяснимую грусть.

А может, просто потому, что каждый мимоходом видит, как в эти дни медленно, не спеша готовится к зиме, к долгой и сонливой неподвижности вся природа. Еще недавно вот тут шуршало, шелестело, желтело, светилося, празднуя свое время, ласковое бабье лето. Были такие утра и вечера, когда даже казалось, что можно почувствовать на ощупь, как каждый новый день становится все короче и короче, как упруго струится, торопливо уходя, лето — шелестит мимо поздних мотыльков, мимо стогов соломы, мимо нас самих.

Потом похолодало — спохватилась осень, затянула тучами небо. А вот сегодня, после нескольких холодных

дней октября, снова хозяйничает солнце и ласкается тихое-тихое тепло — кажется даже, что бабье лето вернулось вновь, чтобы отнять у осени еще хоть пару дней.

Деревья, до однообразия спокойные, стоят по обеим сторонам дороги в солнечных лучах — такие тихие, что, сколько ни гляди на них, не увидишь, чтобы где-то шелхнулся хоть один листок...

Я и не заметил, как быстро приехал в Андреевщину: автобус привычно остановился возле магазина — я едва успел выскочить.

Возле клуба, освещенный солнцем, бурлил пестрый цветник ребятишек в ярких пионерских галстуках. Одеты они по-праздничному — на белых кофточках девочек, на сорочках у мальчиков еще не разошлись складки. Возле забора девчата откручивают зеленые хвосты большущим морковиным и, принеся откуда-то ведро воды, старательно, в вытянутых руках, чтоб не испачкаться и не облить обувь, отмывают их от земли. Другие осторожно отламывают от огромных кочанов капусты светло-зеленые, побитые за дорогу, потертые верхние листья — надо ведь, чтобы кочаны имели праздничный вид! Третьи поправляют на своих стендах экспонаты, которые, пока их довели, тоже сдвинулись, перекосились.

И потом все это несут в темноватый, когда войдешь с улицы и покуда не осмотришься, потесневший клуб, в котором и так уже негде ступить: высоким ровным льном, колосистой рожью, красивыми яблоками и спелыми помидорами, брюквой и даже патиссонами заставлены все уголки, все проходы.

В клубе сегодня важная выставка и еще более важное мероприятие — слет юннатов со всей Оршанщины. Потому и привезли в Андреевщину ребятишки из разных колхозов района экспонаты со своих пришкольных участков, выращенные и собранные их детскими руками, не привычными еще к тяжелой работе земледельца. Пускай себе где-нибудь на пришкольном участке урожай получился не такой, чтоб им можно было хвалиться, не важно, что они, может, на эту выставку попросили в колхозе самый большой кочан капусты или самую большую брюкву, которую, ей-богу, один и не поднимешь — пускай себе! Пускай еще не совсем, может, сознательно будут они, дети, говорить на этом слете про свою любовь к земле, про свое уважение к нелегкому труду матерей и отцов — пускай! Пускай не все участники прошлогоднего слета

школьников — будущих хлеборобов района, — который тоже проходил в Андреевщине, не совсем осознанно и обдуманно призывали себя и своих сверстников остаться в колхозе, обещали пойти на поля и на фермы родной деревни...

Важно то, что в наше время, когда очень заметно стареют и остаются без молодежи наши деревни, проводятся вот такие торжества, как съезд будущих хлеборобов или слет юннатов. Ибо проблема, которая сегодня стоит перед всем сельским хозяйством республики, не миновала и колхоз «Большевик»: здесь тоже маловато молодежи — колхоз ведь под самым боком у Орши! А когда мало молодежи — понятно, мало бывает и свадеб, мало свадеб — мало и родин, мало родин — так откуда же тогда станут братья будущие заслуженные колхозники колхоза «Большевик»?

Нелегкой и долгой была дорога от плуга до книги. Но наши отцы и деды, занятые заботами о хлебе и о земле, порой сами не умея даже расписаться, направляли по этой дороге и упорно учили своих детей — чтобы вывести их в люди.

Еще более тяжелой и еще более долгой, мне кажется, будет дорога назад — от книги к плугу.

Все дальше и дальше от земли отходим мы, горожане в первом колене, — те, кто когда-то приехал за знаниями в город да так и остался в нем. И чем дальше вживаемся в город, чем больше становится наша любовь к нему, тем чаще тревожит нас какая-то непонятная грусть, в которой трудно бывает разобраться и самому: грусть по узкой тропинке в жите, по костру на картофельном поле, по небольшой копне сена, в которой, усталому, так хорошо спится.

Казалось бы, чего проще: ты любишь город не менее своей деревни, так живи, пожалуйста, в нем, пользуйся всеми щедротами цивилизации, и к чему твоя непонятная тоска по деревне? Но если уж тебе в городской жизни действительно не хватает именно твоей деревни — пожалуйста, поезжай туда, живи там, работай и не тревожь человечество своей настойчивой грустью по деревенской весне или по деревенской осени.

Но это, кажется, весьма упрощенное решение очень не простой, на мой взгляд, проблемы.

Что ж, наверное, такова наша судьба, судьба деревенских горожан: мы все равно и в счастливой городской

жизни будем вспоминать о деревне и тосковать о ней, с волнением будем приезжать туда, но все равно будем возвращаться в город. В свой город — домой. Возвращаться, хотя нас, может, и будут упрекать за это люди, которым трудно понять такую непоследовательность...

А пока что стареют наши деревни, ибо там, как говорит один белорусский социолог, остались только те, кто уже разучился рожать, да те, кто еще не научился. Принять роды сегодня в деревне есть кому, но в том-то и дело, что принимать некого: наши аисты, как иногда шутят все те же социологи, чаще всего носят детей не к нам, а куда-то в азиатские или африканские края.

За два последних года ни в Анибале, ни в Кобыляках не было ни одной свадьбы. Так, внимательно просмотрев все свои бумаги, сказали мне в Кудавском сельсовете, центр которого в Митьковщине, — туда я именно за этими сведениями и ездил с Куляем. Были, правда, свадьбы в Андреевщине, но больше всего не свои, а городские пары приезжали к родителям, потому что тут, в деревне, удобнее и выгоднее справлять такие торжества, чем в тесной городской квартире.

Во многих деревнях забывается, какое неповторимое волнение охватывает всех, когда вдруг зазвонят под свадебно убранной дугой бубенцы, когда неожиданно из повеселевшей, душной от гомона хаты, кажется, даже выламывая своей радостью стекла, вылетает на улицу песня:

Лавки дрожат, окна горят,
Печка хохочет — каравая хочет...

Или, например, вот эта, тоже улыбчивая, которая охотно и звонко подтягивается всеми и потом летит по улице из конца в конец:

Оженился бедолага
И пошел с сумою...

Наверно, ничто так не волнует, как рождение нового человека. Даже смерть, если она не преждевременная, поражает не так — ничего не поделаешь, человек свое прожил, отлюбил, порадовался солнцу, земле и траве да потихоньку и отошел, уступив дорогу кому-то новому.

А вот этот новый, только что родившийся землянин, который так пронзительно (может, даже самого себя напугав) крикнул впервые, известив всех, что он появился

на свет... Как он будет беречь землю, что он сделает, чтобы по возможности оправдать и довести до конца те желания, которые не удалось осуществить его отцу, деду?

Может, поэтому раньше, как только рождался ребенок, отец, на ходу подпоясываясь ремнем (когда мучилась роженица, все двери раскрывались, все ремни и веревки развязывались — верили, что это поможет ей), торопливо искал, на чем перерезать пуповину. Если рождалась девочка — пуповину перерезали на веретене: каждая женщина должна быть хорошей пряхой и ткачихой; если появлялся на свет мальчик — на топорище: ведь что это за мужчина, который не умеет держать в руках топора!

Так родители в этот ритуал вкладывали свое желание видеть ребенка умелым, честным и добросовестным в труде...

Где-то тут, на выставке, разместили свои экспонаты и ученики Андреевской начальной школы — попробуй отыщи их на этом своеобразном празднике урожая!

Школа маленькая, всего 29 учеников в трех классах. Помню, как той осенью, свернув с шоссе, которое, мне кажется, всегда гудит тревожно и беспокойно, я сразу очутился на тихой улице, что спешит к Оршице. И как-то неожиданно для самого себя на небольшом и светлом здании прочитал: «Начальная школа». Ну, как тут не зайти! Ноги сами сворачивают на широкую, вытопанную в траве, но не до голой земли, тропинку (обычно возле школ стежки утрамбованы, словно ток). Как раз и дети небольшой группкой выскочили из класса и стремительно, точно пчелы — бзынь, бзынь! — промчались мимо меня: один, заглядевшись, ткнулся мне стриженной головой в живот, второй, отбежав, уже где-то далеко позади, вспомнил и крикнул: «День добрый!», третий, озорник, все же успел показать мне язык — синий-синий от чернил.

— У нас-то еще ничего, — успокаивали то ли меня, то ли самих себя учительницы. — У нас все же почти три десятка учеников. А вон в Берестенове вообще человек семь во всей начальной школе.

Да, сюда, в Андреевскую школу, ходят дети и из Межколхозстроя, и с кирпичного завода. Своих, андреевских детей, было бы еще меньше.

Дети учатся вместе — и два и три класса в одной комнате.

— Тяжело очень учить, — жаловались учителя. — Читаешь сказку первоклассникам, а дети из старших классов рты поразевают и тоже слушают. Забудут про свои задания — сидят, и только глазенки горят. А как им слушать запретишь?.. Вон Витя Сафроненка из второго класса, а спроси его — все походы, все войны, всех полководцев знает, про которых в старших классах рассказываешь...

В клубе уже начался слет. Дети, как и взрослые, выходили на трибуну и тоненькими, не окрепшими еще голосами рассказывали о своих пришкольных участках, мечтали вслух, как они, когда повзрослеют, будут украшать нашу землю.

А возле конторы колхоза Святослав Яркович спустил уже знамя почета, которое ежедневно с весны до осени обязательно взвивалось на тонком флагштоке и сообщало колхозникам, кто из них этот день трудился лучше всех. Что же — самое напряженное время миновало, почти все работы переделаны, и знамя может отдохнуть до весны...

А мы с тобой, Геннадий, давай посмотрим, что же вырастил «Большевик» за этот уходящий 1971 год.

С таким урожаем (в среднем 30,5 центнера с гектара) даже твоему обыкновенному колхозу, который не привык еще ходить в передовых, не стыдно будет перед людьми. Тем более если вспомнить, каким трудным для хлебороба был этот год.

Все три — без зимы — времени года только и говорили о дожде. Сначала дождей долго, но напрасно ждали. Помнишь, ждали весной — а он крутился, как выюн, и все время обходил «Большевик». Ждали летом — а он все не приходил. Ждало поле — не наливался, как надо, колос. Ждал луг — не было травы, а потому коровы возвращались на ферму почти без молока. Ждала картошка — как она без дождя в этом горячем, как зола, песке будет расти...

Ждали, ждали, ждали...

И наконец дождались. Весь сентябрь лили дожди, хотя они уже были не нужны ни полю, ни лугу, ни тому же картофелищу.

Едем с тобой в Кобыляки. По дороге заглянули на поле, где дискуют картофелище трактористы Стаховский

и Кухаренка. Оба трактора бегают по полю быстро, только за трактором Стаховского сразу же тянется черная полоса взрыхленной земли, на которой то тут, то там белеет картошка, а диски Кухаренки едва колупают почву. Проехали они по нескольку раз, а уже, смотри, перед тобой лежит пестрая земля — сразу видно, где ехал один, а где другой.

— Не берет что-то, — оправдывается Кухаренка.

Останавливается и Стаховский. Невысокий, коренастый и грузноватый, он кажется излишне медлительным — даже удивляешься, что это у него так весело только что бегал трактор. Здоровается с достоинством, смотрит на диски, будто изучает их, потом говорит:

— Углубить надо.

И наблюдает, как несмело перед председателем и чужим человеком работает Кухаренка — будто первый раз взял в руки ключ. Ты, Геннадий, тоже помогаешь трактористу, но мне кажется, что и у тебя это не очень хорошо получается.

Стаховский с тем же чувством собственного достоинства, неторопливо и спокойно берет у Кухаренки ключ:

— Давай я попробую...

Отвинтил одну гайку, отвинтил другую, опустил диски. Работает медленно, но точно, — залюбуешься. Все у него получается: и молоток бьет как раз куда надо, и скоба передвигается насколько требуется. Всего каких-то пятнадцать минут и понадобилось, чтобы углубить диски.

Снова побежал по картофельному полю трактор Кухаренки, но теперь и за ним уже тянулась темная, такая же, как и за Стаховским, полоса взрыхленной земли.

Поехал и Стаховский. Потом остановился почему-то, позвал нас, не поленился даже слезть с трактора, медленно подошел ближе и, довольный, то ли спрашивая, то ли утверждая, сказал:

— А вот вы, Михайлович, без меня, видно, и не поняли б, как это сделать...

Вот оно что! Человек даже остановил трактор, чтобы еще раз услышать доброе слово о своей работе, которая у него и на этот раз очень удачно получилась. Что ж, такое можно понять...

— Уж это я умею! — продолжал Стаховский. — У меня вон и сын Саша с пятого класса уже зябь подымал.

Сашу я знаю. С ним, чубатым, веселым шофером, который через десять дней пойдет в армию, я ездил в Ар-

жавку, где работала картофелекопалка. И убедился, что машина у Саши бежит так же красиво и быстро, как у отца трактор...

Шарая, бригадира этой приднепровской бригады, мы увидели на поле. Он стоял между садом и льнищем — как раз там, где еще летом мы говорили с ним и наблюдали за льнокомбайном. Казалось, что он с того времени никуда отсюда так и не отлучался. На нем все тот же длинный военный китель, который закрывает карманы широких штанов, все те же галифе, что свисают на кирзовые сапоги, все тот же картуз, надвинутый на самые глаза.

— Кажется, что Шарай стоит здесь с самого лета, — сказал я тебе. — Похоже, будто он и домой не ходил.

— Это тебе только так кажется, — заметил ты. — Ходил Шарай. И не только домой, но и на пенсию даже ходил. Приехал тут к нам один выпускник Горецкой академии, Персиков Анатолий Петрович. Мы его бригадиром назначили. Ну, а Шарая на пенсию торжественно проводили — ему же по годам давно уже надо на пенсии быть. Но, понимаешь, Шарай все равно сам наряды за нового бригадира составлял, а тот только ходил по Приднестровью да все охал, да все кряхтел: «Зачем мне все это. Брошу к черту, пойду к дьяволу». Болезней себе по-выискивал — хоть сразу в гроб клади. Ходит Анатолий Петрович и стонет: «Я же тут себя в землю зарываю». И бросил. Ушел через месяц. Правда, не к дьяволу, как обещал. Видимо, где-то полегче работу ищет. А Шарай, вот тут, видишь, опять стоит. Как и летом, как и год, и десять лет тому назад стоял...

Подошли поближе.

— Вы женщин собирать картошку не посылайте, — поздравившись, сказал ты Шарая. — Пусть завтра пастихи выгонят на это поле скотину, так она сама и подберет, — ей же все равно картофель давать надо. А то только лишнюю работу придется делать: собирай, вези на ферму, сыпь в желоба. Пусть на самообслуживании день побудет.

— И я так думаю, Михайлович, — ответил Шарай, пожевал беззубыми деснами сухую травинку и поморщился: наверно, горькая попалась.

— А как со льном?

— Лен-то мы весь выхватили. Что сдали, а что под навес свезли. На поле у нас сегодня ни снопа не валяет-

ся. Нам не страшно, если б даже и сегодня снег пошел.

И, показывая на большую грудку снятых яблок, которые желто блестели на теплом солнце, добавил:

— Нам бы, Михайлович, вот это добро как-то припутить. А то растили-растили, но вот куда девать — не знаем.

— Я договорился с соковым заводом. Через денек-другой отвезем. Садкович ящики ищет. Упакуем — и туда...

Кобыляки, или по-новому — Приднепровье, если в них очутиться вдруг где-то посреди улицы, между хат, вот таким желтым, светлым и теплым еще осенним днем, поразят каждого своей красотой. Внизу лениво плещется тихими волнами о высокий берег светлый, как зеркало, Днепр, — по успокоенной к осени воде его, кажется, плывут неторопливые облака, летят птицы и самолеты. Наверху, на высокой горе, за которой начинаются опустевшие в это время поля, одна перед другой стараются как можно выше взбежать желтые березки. А между рекою и березами, то взбираясь выше, на самую гору, то опускаясь чуть не до самой воды, уверенно уселись на высокие каменные фундаменты приднепровские хаты — видимо, каждая выбирала себе самое удобное место: чтобы и от воды не особенно далеко было, но чтобы и поближе к березовой роще, такой красивой во все времена года.

В Приднепровье об этой роще рассказывали мне уже раньше:

— Тут сначала кусты были. Мы ими печи топили. Пойдем утром, наломаем прутьев, только распалишь, а они, как подсохнут, — пых! — и сгорели, будто солома. А потом как-то Хасман приехал. Собрал нас в чью-то хату (ей-богу, уже не помню — в чью) и говорит: «Вот эти кусты — наш лес будет». И строго-настрого приказал, чтобы не трогали ни одного прутика. Мы и не трогали. А кто тронет — с того штраф по ведомости. Тогда поверить невозможно было, что из тех кустов такой хороший лес получится!

Если идти прямо с Приднепровья, то дорога, как слепой конь, потыкается, потыкается в пригорки и выведет в Митьковщину, в сельсовет. А за Днепром, подальше в поле, — Лариновка, сказка моего детства. В этой деревне, будто в каком-то недосыгаемом, заморском королевстве, очень хотелось мне в детстве побывать. А как же! Оттуда, из Лариновки, в нелегкие послевоенные годы

приезжали в гости в Зубревичи наши одноклассники и рассказывали нам (а мы слушали, как настоящую сказку), что у них в хатах горит электрический свет, через день бывает кино — там уже тогда работала стационарная установка. Ну, как было, скажите, не завидовать той Лариновке, когда в наших хатах дымили пока что еще копилки из гильз и кино приезжало к нам раз в три месяца, а то и в полгода!

Разноцветно блестят на солнце крыши лариновских хат. Обыкновенные крыши обыкновенных хат в обыкновенной деревне. Я сдерживаю свое желание непременно съездить туда — а что, если эта Лариновка сегодня разочарует меня? А что, если выяснится, что она — самая простая, самая обыкновенная и вовсе не похожа на ту, от которой, как от наваждения, вот уже сколько лет не может отказаться моя память? Чаще всего оно так и бывает — человек разочаровывается, встретившись спустя некоторое время с тем, что когда-то казалось ему недостижимым... Нет, видимо, я не поеду пока что туда — пусть сказка моего детства еще остается для меня сказкой...

— А вон, видите, в Лариновке школа, — наверное, заметив, что я долго гляжу на тот берег, показал Куляй. — Туда дети из Кобыляков в начальные классы ходят. Точнее — плавают. Родители посадят их в лодки — и поплыли. Из школы тоже на лодках забирают. Только во время ледохода трудновато — даже страшно смотреть бывает. Двигается лодка среди огромных льдин, те о борта, словно киты, трутся, на лавках — как зайчата в лодке деда Мазая! — тихонько, боясь пошевелиться, дети сидят.

— Не перспективны у нас Кобыляки — о какой школе можно говорить, — будто дополняя шофера, объясняешь ты.

И я вспоминаю строгую бумагу, которую показывал ты мне еще в прошлом году: «О системе расселения населенных пунктов в колхозах и совхозах». Там, кстати, утверждалось, что Кобыляки попадают под снос и будут сломаны во вторую очередь — это значит, через пятнадцать лет. Бумага запрещала в этой деревне какое бы то ни было строительство и разрешала только капитальный ремонт старых построек.

Тогда еще Кобыляков я не знал, и мне было все равно, в какую очередь их задумано сносить. А вот теперь, когда увидел Приднепровье во всем его желтом, светлом

и радостном величии, мне, честно говоря, немножко взгрустнулось, что вот этой красоты, этой своеобразной и продуманной застройки, которая так умно соединяет и использует лес, реку и гору, через каких-то пятнадцать лет уже никто не сможет увидеть...

В третью очередь (это лет так через двадцать пять) исчезнет с карты района и Анибалево — по плану и эта деревня попадает под снос.

И только Андреевщина, которая вберет в себя все эти деревни, будет расти, шириться, строиться, пока не вырастет в большой колхозный поселок со всеми городскими удобствами.

Выехали на шоссе — во всех переездах из бригады в бригаду, хочешь ты этого или не хочешь, все равно приходится выезжать на него и пользоваться им: так удобнее, быстрее.

Шоссе тяжело дышало. Мчались, спеша, легковые и грузовые автомашины, тарахтели тракторы — у всех были свои срочные дела.

За шоссе щедро зеленели озимые.

Неподалеку, за деревней, тихо и задумчиво шумели кобыляцкие закруты: именно тут когда-то ледник перегородил дорогу реке, и Днепр, который тек раньше в Балтийское море, круто повернул на юг — к Черноморью...

В Анибалево, чтобы все же побеседовать с Пелагеей Аланцевой, пенсионеркой и дояркой, заслуженной колхозницей и обыкновенной женщиной, на плечи которой вдруг легло столько тяжелых забот, я пошел пешком — хотелось пройтись уже знакомыми мне стежками. Дошел до конюшни, увидел, как Харитон Шелепов выгоняет красивых седогривых коней, — и задержался.

— Дядька Харитон, а где тут Хасмановы кони?

Конюх поглядел на меня удивленно — кто ж это теперь, мол, конями интересуется, теперь только машины да машины подавай, — но ответил вежливо, как своему старому знакомому:

— А они все Хасмановы. Видишь, у каждого грива седая и белая лысинка на лбу. И все такие красноватые, гордые — видишь, как голову красиво держат?

О дядьке Харитоне я знал немного. Знал только, что раньше он жил где-то в Дубровенском районе. Но там неожиданно обрушилась на него беда: кто-то из недру-

гов — может, соседн, а может, кто и издалека — глубокой ночью, вспомнив давнюю обиду, может, еще с тех времен, когда Шелепов был председателем колхоза, поджег его хату. Сам Харитон отделался только испугом, а его дочка обгорела. После такой обиды ставить новую хату на старом селище в своей родной деревне не хотелось, и он поехал искать более ласковое пристанище. Новой деревней, которая добродушно, как погорельца, встретила и обогрела Харитона Шелепова, стала Андреевщина.

— Покажите мне, дядька Харитон, ту кобылу, которую Хасман когда-то купил в Минске на базаре и от которой пошел весь этот род седогривых Хасмановых коней.

— Ее здесь нет. Красавица ходит вон там, за стогами. Я как раз туда гоню. Хочешь — пойдем, покажу.

Кони громко фыркали, широко махали хвостами, высоко поднимали передние ноги, потом, встряхнув гривой, резко и с глухим топотом опускались на них. Хоть по дороге шел целый табун, пыли не было — осенью ее прибивают к земле дожди и обильные росы.

Рядом то и дело мимо коней проносились машины, но седогривые не обращали на них никакого внимания — привыкли. А еще ведь совсем недавно, в начале стремительного освоения деревенских дорог машинами, как пугались кони, лишь только увидев это незнакомое для них существо! И не дай бог, если какой-нибудь шутник-шофер бирикал у самого лошадиного уха! Тогда не помогали ни широкие шоры, специально нашитые на уздечку, ни натянутые во всю силу (даже в руки врезаются) вожжи, ни растерянное «Тпру, тпру!» Испугавшись, кони, не разбирая дороги, мчались куда глаза глядят, бежали по канавам, по пням, по огородам — того и гляди, что растрясут и саму телегу и то, что в ней лежит.

Теперь кони не боятся машин — чего бояться, когда сегодня в колхозе столько разной техники! Начнешь пугаться каждого бириканья, сторониться каждой проезжающей возле тебя машины или трактора, и травинки не успеешь ухватить: только и будешь шараться из одной стороны в другую.

Лошади шли спутанные — до выпаса недалеко, ноги не сотрут путами. Только один седогривый был свободный, без пут, но и он не нарушал общего ритма — шел, как и все.

— А почему этот не стреноженный? — показал я на него дядьке Харитону.

— Так это ведь наш основной жеребец был. Теперь он уже рабочим конем стал. Запрягают кто куда хочет. Только у него с задней ногой что-то. Мы уже с ветеринаром и копыто промывали — ничего не видно. А как только возьмешься за бабку — не дается. Так-то он тягучий, но походит немного, и вдруг — цоп! — станет; стоит и ногу подтягивает... Его у нас ведь крали. Продрал кто-то соломенную крышу, уздечку нашел. Обратал — и поехал. Возле магазина его, говорят, некоторые видели. Потом через несколько дней под Богушевском в лесу нашли — стоит за ель привязанный, некормленный и непоеный. А грива какая у него была — красивая, большая! До самых колен. И поверишь ли, на лугу никто его поймать не мог — и близко не подпускал к себе: уши приложит и — летит. А раз ночью кто-то влез в конюшню и, как в потемках умудрился, — обрезал и хвост и гриву. Не на одну, видимо, прическу волос модницам хватило. И вон еще, видишь, две бесхвостые лошади скачут? Пасли их мальчишки возле шоссе, а из города пацаны приехали, дали им по конфетке и пообрезали хвосты.

Я подошел к седогривому поближе.

Старый жеребец теперь стоял тихо, спокойно, и только когда я наклонился и потянулся рукой к копыту, заметил, как по лошадиным бокам, словно от холода, передернулась, пошла волнами кожа и уши сами собою прилегли к голове...

За стогами сена и клевера, что аккуратно огорожены жердями, одиноко паслась Красавица. Она как-то торопливо, не поднимая головы, хватала коротенькую, уже выщипанную к осени отаву — будто спешила насытиться на всю зиму. Еще и теперь, несмотря на свои немалые уже годы, она была красивая и гордая — можно было представить, какой была Красавица в молодости!

— Слабая уже она, — грустно говорит дядька Харитон. — Что ни говори, а ей более двадцати годков. Старость пришла — ничего не поделаешь, такой уж он короткий конский век. Тот ведь председатель очень ее жалел — запрягать никому не разрешал. Недавно хотели на мясокомбинат Красавицу сдать. Но новый председатель не дал. Говорит: «Пускай она уже у нас своей смертью помирает. Она того заслужила...»

Как только табун доскакал до луга, все кони сразу

нагнули головы и быстро взялись собирать отаву, которая и так уже была словно подстриженная у самой земли и только возле коровяков возвышалась темно-зелеными островками. Кони ходили дружно. Одни, отыскивая траву погуще да повыше, мелко переступали-перебирали, насколько позволяли путы, ногами, другие — постепенно подтягивали задние ноги к передним, а потом, встряхивая гривой, скакали вперед.

— Теперь уже кони выгулялись, — прислонившись спиной к жерди, которой был огорожен стог, сказал конюх. — Сегодня пусти коня одного с поля, так он, ей-богу, и Андреевщины не найдет. Бывало, у него все ребра видать, а он целое лето то в плугу, то в телеге, то в бороне. А теперь вон нашим «жеребяткам» уже по семь лет, а их еще никто не запрягал. Да что там запрягал — на них все лето даже уздечки не было. Пенсионеры и те не берут коней, все машин просят. Они по слабости своей уже ничего с конем и сделать не могут. А молодые не хотят: «Зачем нам с конями возиться». Если уж и берут некоторые, то просят таких, чтобы потише были. А то, не приведи бог, поразбивают все — и телеги и плуги. Даже сотки свои в огороде вспахать и то не хотят конями. Боятся. А что ты думаешь, эти жеребцы там и яблони ломают и груши с корнем повывернут. Потому и идут все: дай грузовик — надо корову отвезти, дай машину — надо в гости съездить, дай трактор — за дровами поеду. А вот эти силачи — их в колхозе пятьдесят шесть — гуляют, запрягать их никто не хочет: конечно, с ними возни много — с ночного сходи приведи, запрягай, распрягай, в табун опять отведи... А трактор — гыrr! — и в Орше.

Вот так, Геннадий, конь — когда-то самое большое (конечно, после хлеба и земли!) богатство крестьянина — сделался сегодня как бы лишним в сельском хозяйстве. И не только, конечно, в «Большевики».

А прежде сколько радости, какой праздник переступал порог темной хаты хлебороба, когда во дворе или перед окном появлялся наконец свой, выстраданный, конь, которого так долго ждала вся семья — от старого до малого. Свой конь, на котором можно ехать куда захочешь, пахать свою полоску тоже когда захочешь. Потому, видно, извечным и всегда неутолимым было желание крестьянина купить своего коня — именно по нему судили люди о твоей зажиточности.

Сколько их, неудачников, несчастливых, не обласкан-

ных судьбой, наших дедов и прадедов, в отчаянии топились в реке или вешались, сделав крепкую петлю из ненужных теперь уже вожжей, уходили из жизни только из-за того, что у них украли коня. И с каким наслаждением, с какой злостью били мужики пойманных конокрадов, которым не посчастливилось убежать. Били те, у кого крали коней, и еще более иступленно те, у кого их пока не крали: они как бы наперед платили за ту обиду и растерянность, что сваливаются на человека, когда он, выйдя утром из хаты, неожиданно увидит сломанный замок и такой безнадежно пустой без коня хлев.

Оставался человек без коня — и огромное горе темной тучей наваливалось на его осиротевшую подслеповатую хату.

Видимо, потому на земле даже появилась пословица: «Поднявшись утром, поздоровайся с отцом; если отца нет дома — иди поклонись коню...»

На той стороне Орши, возле Барани (как раз по дороге в наши, Геннадий, деревни), был когда-то большой и, как говорят, непроходимый сосняк. Его и облюбовал Кавун из Яромкович — бандит бандитом, как утверждают те, кто о нем слышал.

Сидит он, бывало, в базарный день возле дороги и смотрит, кто ведет в Оршу на базар коней продавать. А когда люди возвращаются с базара, Кавун с друзьями выходит на дорогу.

— Здорово, тетка, здорово, дядька, — говорит.

— Здравствуй, добрый человек, — отвечают ему старики.

— А вы под венцом стояли? — спрашивает.

— Ай, когда-то в молодости было, венчались, — стыдливо отвечают старики. — Забыли уже.

— Вот я и хочу, чтоб вы вспомнили. Заново венчать вас буду. Слезайте, слезайте с телеги. Вот так. А теперь беритесь за руки. Ой, что же вы, мои помощники, еще не управились? Отпрягайте скорее коня! — приказывает своим соучастникам.

Те и выпрягут. А Кавун кинет старикам свою шапку и заставит их с нею, как с иконой, вокруг коня несколько раз обойти. А сам сидит на пеньке и гнусавит:

— Венчается раба божия... как тебя, бабка, зовут? Анисья? Анисья и раб божий... как тебя, дед, зовут? Ахрем?... Ахрем.

А потом и говорит:

— Вот теперь вы законные муж и жена. Платите за венчание сорок рублей.

— А где же мы тебе, добрый человек, такие большие деньги возьмем? — пытаются отговориться старики.

— Не притворяйтесь, — злится Кавун. — Я их хорошо обвенчал, как, может, и в церкви не венчали, а они платить не хотят.

— Не прикидывайся, дядька, дураком! — помогают Кавуну и «помощники». — Мы же видели, как ты коня вел в Оршу продавать... А конь как раз сорок рублей и стоит.

Отдаст дядька деньги, за которые, может, новую хату хотел купить, а они еще и последнего коня, у соседа, наверное, для базарного дня одолженного, отнимут...

— Коня мы этого тебе тоже отдать не можем. Он же теперь как святой. Он нам еще не одну пару обвенчать поможет...

Сколько радости и сколько горя всегда доставлял крестьянину его величество Конь. А сегодня он уже будто бы и не нужен. Как подумаешь, сколько же коней мог бы купить сегодня каждый колхозник! За год. И даже за одну свою месячную зарплату. А сколько лошадиных сил приручили и заставили работать на себя в своих городских квартирах даже мы, наследники безлошадных крестьян, которые сегодня не удивляются и не замечают даже, что у нас на глазах исчезла чуть ли не основная ветвь старой воровской практики — конокрадство.

А конь, как и все связанные с ним ранее ссоры, споры, обиды, страдания, постепенно отходит в прошлое — все дальше и дальше. И уже почти всерьез представляется то время, когда нашим внукам будут показывать лошадь только в зоопарках.

И хоть мы знаем, что процесс механизации нужен и, очевидно, необратим, все же как-то больно вот так думать о коне, который для нас был таким привычным и домашним, будто сизмалу знакомая игрушка — да, да, не улыбайтесь, — игрушка, потому что куры и цыплята, кошки и котята, телята и коровы, кони и жеребята были для нас, деревенских детей, словно живые и любимые игрушки...

Попрощавшись с конюхом, я лугом вышел на аниба-левскую дорогу. Хорошо идти по знакомой уже тебе тро-

пинке — она кажется намного короче, чем когда ты шел по ней в первый раз.

Вот пасутся коровы из Андреевщины. Иван Купава издалека здороваётся со мной и, волоча по траве намокший кнут, подбегая ближе, на ходу спрашивает:

— Почему вы пешком, а не на машине?

Вот и то гнездышко, которое я видел весной, — опустевшее, полуразрушенное: видно, жаворонята давно уже вывелись, научились пользоваться своими крыльями и улетели в теплые края.

Вот Гриша Медвецкий докапывает своей картофелекопалкой картофельное поле в Аржавке — ту картошку, которую он сам сажал, сам окучивал, сам растил.

Вот в Хралах анибалевские женщины поднимают последний лен.

А вот уже и само Анибалево.

Хата Пелагеи Аланцевой — чуть ли не последняя в деревне: под самым Соловьем. Возле изгороди, на улице, кажется, в самой пыли реденько разостлана поздняя осенняя отава — кто ее знает, успеет ли она высохнуть. Сбитые из жердочек (только для приличия) ворота — представляю, как они скрипят, когда их открывают, чтобы впустить во двор коня с телегой. Всюду — и на дворе и даже за воротами, на улице — неубранные пока что, валяются сломанные игрушки: тут лежит втоптанная в землю нога бледно-розовой пластмассовой куклы, вон там — погнутый маленький совочек, еще дальше — испорченная заводная машина... Мне все это понятно — у тетки Пелагеи в хате все лето было много детей. Теперь осталась только одна внучка — светловолосая говорунья.

В хате чисто, аккуратно. В передней части стоят холодильник, газовая плита. В задней — два шкафа, которыми отгорожена спальня. Тетка Пелагея, увидев, что я гляжу на эти два шкафа (зачем они, мол, два в деревенской хате), объясняет:

— Второй шкаф — брата.

Она собиралась на ферму.

— Ты побудь, внученька, одна, пока мама с работы придет, — ласково сказала она девочке, которая забавлялась большим голубым мячом. — Только смотри окна им не разбей...

Мы вышли на улицу.

С ТЕТКОЙ ПЕЛАГЕЕЙ ПО ДОРОГЕ НА ФЕРМУ

— Что-то я совсем занедужила. Руки болят — и вот тут в пальцах, и вот тут в плечах. А что вы думали — сызмальства работаю, да чтоб все еще сила была? Откуда же ей браться? После войны осталась одна, без хозяина, а на руках — пятеро детей. И все маленькие, как конопельки. Что тут делать? Сижу и ничего придумать не могу. А дети есть просят: «мамка» да «мамка». Крикнешь на них: «Я тебе сейчас мамкну!» — а потом и самой жалко. Мне уже советовали кого-нибудь в детдом отдать — все легче было бы. Но кого из них отжалеть? Если кого и отдашь, так будто ты его уже не так и жалеешь. Погляжу я на них, погляжу, а потом обниму всех, прижму к себе, да как заплачу, заплачу. И они, дети, плачут. Нет, думаю, пускай все остаются: никого не отдам — они же все мне дороги. Как будет, так будет — как-нибудь проживем.

Пошла я тогда с мужчинами косить. И что вы думаете — научилась не хуже их косой махать. Потом уже мужчины узнавали мой прокос: «Так чисто — видимо, Польша косила...» А я, может, и не пошла бы косить, но тогда косцам литру молока давали. Пойду-ка, думаю, пусть моим деткам хоть та литра молока будет...

Повырастали уже мои дети, поженились, поразъезжались кто куда. Нынче вон сынок пишет, что скоро приедет, дров мне поможет привезти. И прошлый год приезжал, навозил дров, напиллил, наколол, сложил, да и говорит: «Не жалеёй их, мама, жги, чтоб в хате тепло было». Так их, этих дров, до самого лета хватило.

А со мной дочушка моя, Томка, с внучкой живет. Правда, и Томка уже выходила замуж в Оршу. Поженились они с Мишей. Ну, я им денег дала, сумки поналожила — живите там, в городе, как люди, разживайтесь. Они от меня и пошли на автобус. Дошли до магазина, как раз до остановки, а он как пристал: давай деньги, и все тут. Это чтоб выпить. Он до этой гадости тягу большую имел. А Томка ему не даст. Упрашивает:

— Миша, ну подожди, куда я с тобой, с пьяным, поеду. Приедем в Оршу, дома и выпьешь.

А он — с кулаками. Да так дал, что Томка головой об асфальт ударилась. Сознание потеряла. Ее сразу в больницу отвезли. Лежит она в Семашке, а я ничего не знаю. Неделю, вторую лежит в больнице, а мне ничего не пере-

дают. Уже чужие люди сказали: «А знаешь ли ты, Пелагея, что твоя дочка в больнице с сотрясением мозгов лежит?» Я быстренько собралась, коров подоила — и в Оршу.

— Что, моя детка? — спрашиваю.

— Ничего, мама, страшного: шла и с лестницы упала, — обманывает она меня.

А доктора сказали:

— Это ее муж так ударил...

Тогда я и говорю Томке:

— Бросай ты его, моя детка, как-нибудь проживем...

Потом, когда выписалась, пришел брат мой, пастух — он еще живой был. Виктор Колтунов, может, слышали? Вот тут недалеко от меня жил. Вон его хата печалится — и окна досками забиты, и двери. А такой уж был мой братец отзывчивый — всегда, когда надо, поможет. Он тогда и говорит моему зятю:

— Ты, змей, над этой горемычной семьей не издевайся. Она и так много горя узнала.

А тот все равно бил Томку. Развелись. Миша ушел от нас. И в Андреевщине в примачи пристал — как раз по соседству с Романовной живет.

А мой братец в прошлом году, как раз в свой день рождения, утонул. Сорок лет ему всего исполнилось. Жарко было, а они возле Оршицы коров пасли. Виктор полез в реку, чтоб немного освежиться, а оттуда уже и не вылез: сердце, говорят доктора, разорвалось.

Прошло каких-то полгода — на тебе, и жена его померла. Райка работала прачкой в Андреевской школе-интернате. То ли Витиной смерти так перепугалась, то ли еще что...

Сами они умерли, им будто уже и легче, а мне оставили четверых сироток. Вон они у меня все лето на каникулах были. А я уже слаба, растить их сил нет. Большенькую, Нину, отвезла в Витебск в школу-интернат. Теперь раза по два в месяц езжу туда. «Тетенька, возьмите меня назад в Анибалево», — плачет Нинка. А я и сама плачу да уговариваю ее как могу: «Глупенькая ты, тут же хорошо, тут ведь ты и ухоженная, тут и подружки у тебя есть». А она все свое: «Пускай себе, но в Анибалево, когда были мама и папа живы, мне было веселей». Глупенькая, она еще не понимает, что без папки и мамки всюду невесело — и там, и в Анибалево. Когда она была в Андреевской школе-интернате (жаль, что у нас тут все-

го восемь классов, а она ведь в девятый ходит), так у меня только и пропадала. Все же веселей на родной улице, возле родной хаты, хоть в ней и окна досками позабиты.

Младшенькие, близнецы Лешка и Павлик, — те в Полоцке, в детдоме. Тоже, как только приеду, очень радуются — глазенки так и горят. Вот немного управлюсь, поеду и переведу их из детдома в Андреевскую школу-интернат — все-таки ближе будут. И я чаще смогу к ним зайти, да и они сами, когда скучно станет, прибегут...

А Наташка — совсем малое грудное дитя — в оршанском Доме ребенка. Ну, она еще ничего не понимает — ей все равно, где соску сосать. Это потом уже, когда увидит, как к другим матери да отцы будут приходить, заскучает и эта сиротка.

Но пока я жива, пока еще ходить смогу, буду им, этим детям, заменять и отца и мать...

Мы шли медленно — тетка Пелагея не может уже быстро ходить.

Улица кончалась. Вот и последние хаты. Из сеней в какой-то длинной, похожей на пальто поддевке, со своей обязательной палкой в руках вышла старая Куляиха и по переулочку, который отгораживал узкую стезю от огородика под окном — с одной стороны, и от опустевших уже грядок — с другой, пошла было к той скамеечке, на которой я разговаривал с ней еще весной, но, видно, что-то вспомнив, снова вернулась в сени...

Спустились в овражек, поднялись на крутой пригорок — вот мы и на ферме.

Тетка Пелагея, скинув с себя ватник, закатала рукава кофты и взялась замешивать мукой в большом чане пойло коровам, а я, познакомившись с другими доярками и свиноводками, сидел и слушал их разговор.

Послушай, Геннадий, и ты, о чем они мне рассказывали.

— Вот с хлебом у нас не все хорошо. В Оршу ездим, в Андреевщину ходим. А чаще всего черствый едим. И так уж мы попривыкли к черствому, что от свежего нам уже, наверно, и плохо было бы, — шутят женщины. — Хоть бы раза два в неделю привозили нам в Анибалево хлеб. А то, бывает, и коня запряжешь, и объедешь близкий свет — и Соловье, и Селище, и Хлусово — и так, без хле-

ба — злой-злой! — домой вернешься. Там не привезли, тут разобрали. Хорошо, что Вася Кавецкий, шофер молоковоза, возит нам из Орши хлеб. Когда ни попросишь — никогда не откажет, всегда привезет. Он порожняком не ездит: туда молоко везет, оттуда — хлеба мешок.

(— А чего они хотят, чтобы я им за хлебом ездил? — злился ты, когда я передал тебе это.— Мы ведь договорились с андреевским магазином, сделали ящик, чтоб возить хлеб, даже на правлении решили, что колхоз будет платить за каждую возку по рублю, а они никак охотника не могут найти. Видишь, коня никто не умеет запрячь. Да и за рубль никто не хочет ехать — мало. И ящик стоит, и хлеба нет.)

— И с водою у нас не лучше. Один родник на все Анибалево. Зимой в замерзших окнах утром дырочку каждый надышит и все поглядывает в нее, кто же первый осмелится тропинку к роднику протоптать, лед пробить... Пробьет кто-нибудь (надоест ждать!), ну, тогда уже вся деревня и пошла по его следам с ведрами. А весной как заплывет наш родничок, понаедет санитарных врачей, хлоркой все так засыпят, что воду и не пригубишь: воняет — на километр ко рту не подноси. А когда в Андреевщине задумали водопровод построить и когда не разрешили через шоссе пробивать, так Садкович даже в Минск ездил... Добились все же разрешения...

(— А чего они хотят, чтобы я им и колодец копал? — снова злишься ты, услышав об этом.— Наняли бы землекопа да выкопали себе пару колодцев — вот и все. А то ждут, чтоб кто-то за них сделал.)

— И улицу нашу надо было бы осветить. А то темнотища, особенно осенью, идешь — руки перед собой выставишь, чтоб не удариться обо что-нибудь. Вы же знаете, какие осенью вечера темные бывают — хоть глаз выколи. Ей-богу, на шаг от себя ничего не видишь. А мы и на работу идем затемно, и с работы в темноте.

(— А что я им — на столбы полезу, лампочки вкручивать буду? Обо всем председатель должен думать. Даже как лампочку вкрутить...)

— Вон и клуб наш давно закрыт. Овес в нем лежит. Да там даже ни одного хорошего стула нет — все поломанные. Свою какую-то самодеятельность организовали, так со всего села одеяла собирали, чтобы сцену занавесить. Хоть мы-то сами танцевать в тот клуб, может, и не

соберемся, но пойти посидеть возле стены, полюбоваться, как наши дети танцуют — не откажемся.

Ну, про отдых, про культурные мероприятия мне уже говорила Корпачева, директор просторного андреевского клуба. Как-то пригласили они из Витебска солидных артистов, привезли их, деньги им колхоз заплатил, послали в деревни машины (теперь ведь и на концерт колхозника надо привезти и обратно к самой хате отвезти), так почти никто не захотел ехать: чуть ли не на коленях некоторых упрашивали съездить проветриться в Андреевщину... А в анибалевском клубе только одни отходники и танцуют.

Но все же, Геннадий,— мы с тобой можем быть откровенными,— мне немного не понравилось твое отношение к просьбам анибалевских животноводов. Понятно, тебе незачем самому лезть на столб, чтоб ввернуть лампочку, нет необходимости тоже самому возить в Анибалево хлеб, но ты ведь председатель, руководитель, так к кому же тогда еще, если не к тебе, пойдут вот эти женщины со своими заботами? Ты не лезь сам копать колодец, не вози хлеб, не вкручивай лампочки, но организуй, помоги людям, чтоб они были и со свежим хлебом, и с чистой водой, и с освещенными улицами... Мне кажется, что, занятый экономическими, хозяйственными заботами, ты просто упустил это из виду...

К вечеру неожиданно резко похолодало. Зарядил нудный промозглый дождь — куда девались недавнее тепло и грустная красота бабьего лета, которое вернулось было на несколько дней. Только желтая молодая роща броско светилась в это темное и мокрое предвечерье.

А вот и вечер настоящей осени. Как только смерклось, густая, тугая темень обволакивает тебя так плотно, что даже, кажется, чувствуешь, как она шелестит, ходит возле тебя. Выйдешь на улицу и долго стоишь, слушаешь, как по листьям, еще не успевшим опадать, гулко сечет дождь; долго вглядываешься в темноту, стараешься заметить очертания дерева, хлева или забора, чтоб хоть знать, в какую сторону идти. Но, ничего так и не разглядев, рассердившись, снова спешишь в теплую хату.

Утром похолодало еще больше. Неприятно сек колючий и холодный дождь. Он был крупный и частый: нагнешь голову — и с полей шляпы зажурчит вниз холодный ручей. Воздух отдавал морозом — наверно, где-то недалеко выпал снег.

Бухавец надел уже свой теплый синий свитер, ходил по бригадному двору, энергично отдавал какие-то очень нужные сегодня приказы, а сам все втягивал голову в теплый и мягкий воротник.

Не спешили выпускать и коров:

— Незачем их гонять по такому холоду. Они и вчера так замерзли, что со всех ног домой бежали...

Женщины, которые сортировали лен, оделись сегодня потеплее. Даже перчатки с оторванными пальцами натянули на руки — хоть в них пальцы и голые, а все равно немного теплее...

К полудню дождь еще усилился. С поля, промокшая до нитки, прибежала Ганна Кухаренка — льноводки только что отсортировали машину льна, который надо сегодня же отвезти на льнозавод. Перед дорогой ей, звеньевой, надо переодеться и пообедать.

Тетка Ганна достала из печи чугунок упревшей картошки с фасолью...

ОБЕД С ГАННОЙ КУХАРЕНКОЙ

А как же, надо везти и в такой дождь. Привезешь, бывает, на льнозавод, а приемщица как закричит:

— Что ты мне привезла? Что привезла, я у тебя спрашиваю? Это же одна мокредь.

— А что я сделаю, если все время дождь льет! — оправдываюсь тогда я. — Небо ведь я платком не завяжу, чтоб оттуда не лилось.

— Что это за лен? С него же вода течет? И почему снопы такие большие?

— А что я сделаю, если у меня одни пенсионеры на поле собрались, в перчатках вяжут эти снопы и все на руки дышат...

— А что я с твоим льном буду делать?

— Вон ту скирду завершить им можно будет.

— Так он же всю ее сгноит.

Но, бывает, покричит, покричит, да и примет. Только я все равно очень переживаю. Поверите ли, подъезжаю к Богушевску, а у самой аж ноги трясутся от страха. И ехать не хочется, когда лен мокроватый везешь. Молишь бога, чтоб только приняли. А то вон льноводка из Митьковщины одну и ту же машину раза три в Богушевск возила, да так и не сдала. Вот как...

Но я тогда свой с горем пополам сдала, приезжаю до-

мой, а мои пенсионеры вяжут снопы — только брызги летят.

— Что вы делаете! — кричу.

— А на нас и бригадир и агроном ругаются, говорят, чтоб вязали, — оправдываются они.

Им-то что — повязали, нагрузили машину, да и все. А звеньевая вези. А как же. И поверите ли, как только приемщица вытаскивает из машины сноп на пробу — в глазах темно становится. Когда мокрый вытащит, так еще, бывает, с горячки и пошутишь:

— Это я, видать, не тот сноп пометила: тяните другой — тот посуше будет.

А что, некоторые так и, правда, помечают. Привезут приемщице подарочек, а тогда и говорят:

— А вы тяните тот сноп, на котором красная ленточка мотается.

Сноп, конечно, лучший выберут. И тогда всю машину высоким номером сдают.

Лен наш в этом году, несмотря ни на что, хороший. Я его по 1,75 сдала. Вон и юннаты из нашей школы пришли, лучший сноп выпросили.

— Дайте, — говорят, — тетка, самый высокий нам.

Потом и пофорсили. А анибалевский по 0,75 идет. Потому все шоферы просят возить лен только из нашей бригады. У нас прогрессивка будет. А там — ничего. Я сама так очень любила с Васей Кавецким лен возить, пока тот на молоковоз не сел: с ним всегда спокойнее, веселее было ездить.

И пенсионеры охотно на лен приходят. А теперь, поверите ли, у нас началась целая война против пенсионеров.

— Почему они на лен идут? — кричат молодые. — Здесь так они могут, а в другом месте не хотят работать?

— А мы, мне кажется, и за это должны спасибо им сказать, что они хоть так помогают, — говорю я женщинам. — Вы же то холода боитесь, то бюллетень возьмете, а эти старухи всегда притопают.

Слушает, слушает Бухавец, да и сам не выдержит, вступится за пенсионеров:

— Как вам не стыдно, тетки! И вы же такие старые будете. Вам только бы кричать...

Ай, ну его... Пора, видимо, и мне бросать этот лен. А то завидовать начинают звеньевой. Идет дождь, а они радуются: «Пускай Романовна позлится...» Да и мне са-

мой надоело. Посеяли лен — угощай, вытеребили — угощай, обмолотили — угощай, постлали — угощай, подняли — тоже угощай.

А когда я уйду из звеньевых, тогда, как и все, не буду никаких забот иметь. И я буду говорить: «Что, дождь идет? Ну и хорошо, пускай идет. А я что — этой звеньевой небо подопру, что ли...»

Знаешь, Геннадий, я, честно говоря, не верил тогда, не верю и теперь в последние слова тетки Ганны. Будет, будет она звеньевой! И всегда, если пойдет вдруг ненужный дождь, она будет искренне переживать, что на поле остался отсортированный, но не отвезенный еще в Богушевск лен; если ляжет неожиданный, непрошенный снег — она будет волноваться, что в поле остались распаханые, но невыбранные борозды картошки...

Тетка Ганна не может быть равнодушной, ибо она всю свою жизнь работала честно и трудно и потому хорошо знает, как бывает больно, когда видишь, что гибнет даже малая частичка твоего труда...

Наконец я выбрал время сходить к Комару: после обеда тетка Ганна повезла лен в Богушевск, и у меня освободилось полдня. А Петр Дмитриевич всегда, в каждый мой приезд, приглашал к себе — посмотреть, как работает деревенский водопровод, и вообще поинтересоваться, как живет в «Большеви́ке» бригадир тракторной бригады.

Возле магазина толпилась небольшая группка не занятых на работе мужчин — сегодня ведь получка! Здесь же слонялся уже веселый Алексей Кухаренка.

— А кто вон тот, в черном плаще?

— Да это же Слонкин, кузнец, — ответил Комар.

Вот, дьявол, кузнеца не узнал — чистый, по-городскому одетый, стоит, как министр.

Среди мужчин я заметил и высокую фигуру Бронислава Сейстуля, который весело смеялся над чьей-то незлой шуткой. «Вот теперь бы, под такое настроение, и поговорить с дядькой Броником, который с виду всегда кажется мрачноватым, неразговорчивым, задумчивым», — подумалось мне, но тут же я решил отложить этот разговор: успею еще.

По мокрому, липкому и скользкому, словно рыба, шоссе одна за другой бежали машины. Мы с Комаром

осторожно, не спеша перешли шумную улицу, спустились на обочину и стежкой, что возле самых хат, пошли к Комарову переулку.

Мокрые хаты мокрыми окнами равнодушно смотрели на шоссе. Возле чьего-то двора на высокой липе виднеется круглая борть — интересно, неужели пчелы не боятся шума машин на шоссе?..

— Петр Дмитриевич, — спросил я. — А чья эта вон хата, которую мы прошли? Недалеко от магазина.

Такой дом каждый заметит: он заботливо ухожен, аккуратно покрашен, покрыт шифером, перед ним — красивая, умело выложенная из кирпича калитка.

— Это Алексей Кухаренка так обжился...

— Алексей? Тот Кухаренка, который мне жаловался, что его не замечают, ордена ему не дают, хоть он и свой, андреевский, а не из какого-то там Анибалева?..

— Если б не замечали, разве можно было бы такой дом поставить...

А вот и Комаров переулок. Предпоследняя в переулке — ближе к сосняку, под Оршицу, — его усадьба.

ПОЛДНЯ В КОМАРОВОЙ ХАТЕ

— Как селился? А все мое селение началось вот с этого дубка. Принес я его сюда (не дубок, а прутик еще) и в чистом поле посадил. Лене, жене своей, сказал тогда: «Вот тут будут жить Комары».

Дубок сейчас стоял еще зеленый. Только некоторые побуревшие листья опали уже на землю и прилипли к мокрой отаве.

— А потом хата появилась, сад зазеленел.

Сад, в котором сняты плоды, мокро дрожал под холодным ветром. Лишь пара поздних яблонь ярко светилась небольшими красными яблоками, которыми были усыпаны деревца. Яблоки, хоть и красивые с виду, были кислые, твердые: чтобы повкуснеть, им, видимо, надо какое-то время вылежаться. А может, они позднее покажутся вкусными только потому, что тогда, зимой, нельзя уже будет пойти в сад и сорвать любое яблоко, которое на тебя посмотрит...

Просторный двор. Ухоженные хлевы. Новая кирпичная баня.

— О, с этой баней были у меня хлопоты. Только я ее

построил, обновить захотелось, в своем пару попариться. Ну, натопил я ее — аж уши горят. Лена помылась и пошла в хату. А я с детьми остался. Сам парюсь, а дети в тазу плещутся. Слез с полка, а они белые-белые — как полотно. И сам чувствую, что и меня уже ноги не слушаются: как ватные стали. Боюсь только, чтоб не упасть. Я тогда детей быстренько повыкидал из бани в предбанник, и тут же сам упал. Полежали мы немного, свежим воздухом подышали — отошли. Когда мне стало легче, я воды холодной принес. Головы детям ополоснул, и они пришли в себя. А беда в том, что цемент был еще сырой, газ появился — вот мы и угорели. Пришел домой, а Лена спала. Проснулась, а я возьми да и расскажи ей про все. Гляжу, а она белеет, белеет на моих глазах и — хлоп! — потеряла сознание. Что мне делать? Я давай мою Лену по лицу бить. Вижу, румянец появляется — ну, думаю, слава богу, проходит...

— Что ты человеку голову морочишь своей баней! Будто ему интересно слушать твою болтовню.

Это пришла с фермы Комариха. Елена Семеновна уже давно работает дояркой и с мужем, как она говорит, встречается чаще всего только возле своего дубка: он спешит на базу — она идет с фермы, он идет с базы на обед — она спешит на ферму коров доить...

— Я же и тогда говорила, на кой черт тебе спешить с этой баней. Пусть постоит, обсохнет...

— Зато теперь лучшего пару, чем в моей бане, ни у кого в Андреевщине нет.

Комариха зазвенела в сенях ведрами. Комар показывал мне свой водопровод — откручивал краны на кухне, в коридоре и любовался вместе со мной, какой упругой струей бьет вода.

— Петро,— спросила из сеней Комариха,— Вася еще не вернулся из Орши?

— Сама же видишь, что нет,— ответил Петр Дмитриевич и внимательно посмотрел в окно, которое заслоняли кусты еще зеленой сирени.— Вон и Васьковский бежит,— увидев сквозь листву агронома, сказал Комар.— Он сегодня в райкоме был, на бюро в партию Леню принимали...

Васьковский давно стукнул в сенях щеколдой, но в хату пока не заходил — наверно, старательно вытирал мокрые ботинки о постланный у порога вместо половичка старый, но чистый мешок. И как только он открыл

дверь — не дав ему даже как следует войти в хату, — Петр Дмитриевич нетерпеливо спросил:

— Ну, как, Леня, дела?

— Отлично, Петр Дмитриевич!

— Приняли?

— Приняли. Разве вашей, Дмитриевич, рекомендации можно отказать?

— Оно, Леня, не только моя, — смутился Комар. — И другие рекомендации у тебя тоже весомые, серьезные.

— А чья еще? — спросил я.

— Иван Казакевич дал, — ответил Васьковский, — механизатор-рационализатор. Словом, два заслуженных колхозника рекомендовали меня в партию.

Леня Васьковский был все еще взволнован. И не удивительно! Такое ответственное событие в его жизни!

— Теперь, Леня, видимо, ты у нас не удержишься. Чувствую, что тебя председателем выдвигать станут...

Наконец приехали из Орши на машине Володи Макаренки ветфельдшер Леонид Белецкий и Василь Кавецкий.

— А братец ты мой! — кинулась к ним Елена Семеновна. — Вы же, наверно, и голодные и холодные... А мне и покормить вас некогда — на ферму надо идти.

— Ничего, Елена, ничего, не переживай. Сами соберем поужинать. Мы в ларьке мясокомбината печенки купили. Сейчас зажарим.

И поскольку все, кто был в хате, уже знали о беде Комаров, знали, зачем ездили мужчины на мясокомбинат, Елена Семеновна в сенях рассказала об этом мне одному:

— Это же у нас сегодня будто похороны. Отвез мой братец на мясокомбинат телку, которую я на корову растила. И так уж, ей-богу, на душе грустно, так горько — точно человека похоронила. В хлев, поверите ли, не могу зайти. А такая она была хорошая, моя телка. Поверите ли, я ей даже воды не давала — одним только молочком и поила. А как она ела! Бывало, когда ест, так даже на коленки становится. Только все равно почему-то из хлева вырваться ей хотелось. И вон какую стенку, из бревен сложенную, перескочила. Стенка эта, сами взгляните, какая высокая, а она перескочила, конечно, силы у нее было много. Только все же животом, видимо, о бревно ударилась. Приду в хлев, а она, бедная, лежит и, поверите ли, стонет, как человек — ых, ых, ых...

Комариха ушла на ферму. Вася Кавецкий и ветфельд-

шер на газовой плите жарили печенку. Чтобы я не скучал, самая меньшая дочка Комара — четырехкласница Света — принесла мне толстый семейный альбом.

Давай, Геннадий, полистаем его.

Вот небольшой, с обломанными уголками фотоснимок. Возле новой Комаровой хаты весело смеются, хохочут, чуть не ложатся от смеха дети. Они сидят на лавках, стоят за ними, лежат на траве — ну, целый детский сад в палисаднике! Даже не верится, что столько смехунов поместилось на таком маленьком клочке фотобумаги. Столько мордочек! И каждое смеющееся личико можно разглядывать долго, часами — не наскучит. Мне показалось, что и сама хата вместе с детьми добродушно смеется своими широкими, освещенными солнцем окнами.

Что ж, видно, она очень ласковая и гостеприимная, эта новая хата, если смогла собрать возле себя и расшевелить столько детей!

— А кто вот этот весельчак? — показываю я Свете другую, немного пожелтевшую уже фотокарточку, где тоже широко и беззаботно смеется (рот — до самых ушей!) курносый мальчишка.

— Неужели не узнаете? — не сразу говорит Света.

— Разве его узнаешь, если он смеется так, будто только что смешной блин проглотил.

— А вы все равно узнайте! — настаивает Света.

Когда я все же сдался и сказал, что ни за что не узнаю этого вихрастого мальчика, Света подсказала:

— Вы в сени загляните. Он там печенку жарит. Это же наш дядя Вася...

Да, это действительно дядя Вася. Василий Семенович Кавецкий, заслуженный колхозник. Тот, что вот сейчас умело хлопочет возле плиты, где весело шипит сковорода. Как же это я его не узнал? А можно было отгадать: вон ведь и нос тот самый, и рот похожий, и глаза те же — в них уже можно увидеть родничок той доброты, которая будет радовать людей впоследствии...

— А это моя старшая дочка Рая, — неожиданно из-за спины подсказал Петр Дмитриевич, который незаметно подошел к столу.

У маленькой девочки, как это чаще всего бывает на фотокарточках, немного неестественная поза. Девочка сидит очень прямо, слишком напряженно смотрит в объектив. В строгом школьном платье с белым передничком. И сама — такая уж строгая.

— Тогда Рая еще в школе училась,— добавляет Света.

Да, когда фотографировалась, Рая еще не знала, кем она станет, что будет делать после школы. Может, даже и она мечтала (кто из девчат, скажите, не лелеял такой мечты!) о шумном успехе артистки. Не знали еще, какой путь в жизни изберет дочка, и сами ее родители.

— Теперь уже Рая академию Горецкую окончила. Бригадиром совхоза в Могилевской области работает. Приезжает иногда на выходной домой и плачет: «Трудно, папочка». Мужчины там, как и всюду, конечно, грубоватые, матюкаются. А она ведь девушка стеснительная. Если бы мужчина, так тот нашел бы, понятно, покрепче слово в ответ, а она, кроме слез, ничего другого не придумает. Я ей и говорю: «Что поделаешь, доченька. Надо терпеть, надо приучать мужчин к культуре. Ты так себя поставь, чтобы они стыдились при тебе плохое слово сказать». — «Стараюсь, папочка», — говорит она. — «И как — выходит?» — «Иногда выходит, папочка».

— А это тоже мои сестрички,— перевернула страницу альбома Света.

— Бедненькие,— голос у Петра Дмитриевича неожиданно задрожал.— Они такими маленькими навсегда и остались. Одна, Зинка... вот эта... в Оршице утонула. А другую, Люду... вот эту... автобус на шоссе подбил. Иду я на обед, вижу — посреди дороги люди что-то собрались, кричат. Подошел ближе, гляжу — а это моя дочка на асфальте вся в крови лежит. Дальше не помню уже, что было. Лена потом рассказывала. Говорит, увидела меня и испугалась: «Боже-боже, чего это мой стоит на шоссе и волосы на себе рвет?»

...Лопушистая, но пока не очень еще высокая кукуруза. Широкое-широкое поле. Посреди него стоит Петр Дмитриевич — улыбается. Кукуруза перед ним, кукуруза за ним — зеленеет почти до самого небосклона. Видно, фотокарточка еще из тех, давних, времен.

— Да, снимали тогда, когда кукуруза царицей была,— подтвердил Петр Дмитриевич.— А я же, как ни крутите, специалист, ведь я украинец, хоть и давно в Белоруссии живу (так вот он откуда тот далекий, чуть уловимый акцент, не свойственный нашей белорусской речи!). Вызвали и говорят: «Попробуй, Комар». Ну, я и прорастил, как у нас делалось, семена. Потом испугался — а что, если проращенные не взойдут? Ведь будет го-

лое поле! Тогда я взял еще не пророщенные семена, смешал с пророщенными и так посеял. На всякий случай. Гляжу, взошла вся моя кукуруза: пророщенная — через неделю, а не пророщенная — через три... Вот я и стою в ней веселый...

А это выступает секретарь райкома. Среди тех, кто внимательно слушает, сидит и Петр Дмитриевич.

Соседи. Может и не близкие, но свои, андреевские. Добродушные лица настоящих, исконных хлеборобов...

— Один... вот этот... пришел как-то ко мне вечером и бутыль самогону принес. «Хочу,— говорит,— с соседом выпить». «Ну, давай выпьем»,— отвечаю я ему, а сам вижу, что он уже на хорошем взводе. Поставил он бутыль на стол, я налил ему стакан, а остальное в шкаф запер: «Как-нибудь потом отдам». Он вышел от меня и долго не мог понять, что произошло. Стоял возле крыльца, недоуменно пожимал плечами и сам с собою говорил: «Пришел к соседу чарку выпить, а тот мою самогонку в свой шкаф спрятал».

Второе лицо немножко похитрее.

— А про этого так Лена мне рассказывала. Пошла она как-то утром в наш сарай. Слышу, говорит, шуршит там кто-то в соломе. Дай, думаю, погляжу, кто там и что. А это — он. Достал из соломы бутыль самогона, нагнул ее и пьет. Вот оно что! Это же он в нашей соломе самогон свой от жены прячет и утром причащаться в сарай бегают. Вернется в хату, жена подозрительно глянет: «Снова самогоном запахло?» А он: «Тебе уж, видать, этот самогон и во сне снится...» И садится спокойно завтракать... «Ну, хорошо, хорошо,— увидев все, сказала ему тогда Лена,— у нас она целее будет, твоя самогонка. Только надо было бы сказать мне, а то я могла бы вилами разбить твою бутылку»...

Я заметил, что ты, Геннадий, глядя куда-то далеко в темное окно, нахмурился, задумался.

— И я ведь когда-то пил,— глядя мимо нас все туда же, в темноту, тихо сказал ты.— Здорово пил, когда зоотехником работал: то тот поднесет, то этот пригласит. Не хотелось людей обижать,— думалось, что так каждого уважишь, если водку его выпьешь. Теперь вот вижу, что не так надо уважать человека...

Может, как раз теперь, если б под другое настроение да если бы в хате не было так много людей,— может, и состоялся бы тот искренний разговор, который чуть было

не завязался в твоей конторе еще раньше, в тот тихий весенний вечер...

Но Света перевернула очередную страницу семейного альбома, и ты лишь успел сказать:

— А теперь — только в исключительных случаях пью.

Большой общий снимок на фоне леса, сделанный, когда все собрались 9 Мая на маевку.

Вот Игнат Медвецкий, бригадир плотничьей бригады. Тот, что раньше некоторое время имел доступ к колхозной печати. Серьезный, важный, в шляпе, с галстуком...

Рядом спокойно стоит Комар.

А вон лысоватый и немолодой уже мужчина с тяжелыми руками кузнеца.

— Иван Казакевич, механизатор, — объясняет мне Леня Васьковский и добавляет: — Это он мне рекомендацию в партию дал. Мы только что о нем говорили...

Чубатый, кудрявый, совсем молодой еще парень. Сдержанно улыбается.

— Вася Медвецкий — хороший комбайнер наш. А когда учился, не давал мне покоя. Все спрашивал: «Дядька Комар, а когда уже я настоящим комбайнером буду? Таким, как Гриша Медвецкий?..»

А вот и ты, Геннадий, — торжественный, нарядный. Тоже важный на снимке, серьезный и немного надутый — как раз такой, каким иногда и представляем мы себе строгого председателя. Стоишь под высокой сосной, и солнечный зайчик, пробившийся через густую крону, светло блестит в траве перед тобой. Второй задержался на губах — будто нарочно хочет рассмешить...

Тем временем Василий Семенович уже поджарил печенку, отварил чугунок рассыпчатой картошки, принес соленых огурцов и нарезал их в миску.

Мы сели за стол. Петр Дмитриевич налил по чарке, взял свою в руку и только хотел сказать, наверно, первый тост, как со скрипом отворилась дверь и в хату тяжело вошла Комариха. Еще не переступив порога, она каким-то осевшим голосом запричитала:

— Ой-ей-ей, ой-ей-ей, слышали вы, что Броника машина убила?..

Была темная-темная ночь. На шоссе остановилось движение. Машины стояли одна за другой, требовательно сигналили, мигали включенными фарами. Шоферы задних машин злились и ругались — они не знали, что там, впереди, случилось...

На другое утро повалил снег.

В конторе колхоза все без исключения только и говорили о Бронике.

Красиво жил этот человек. Добрую, светлую жизнь его оплакивала вся Андреевщина. И даже когда в своих Зубревичах я начал рассказывать о несчастном случае на шоссе, выяснилось, что и там хорошо знали его:

— Какой Броник? Неужели тот, что на кирпичном работал? Вот уж был человек, так человек. Бывало, и тут поможет, и там подсобит...

В холодной снежной метели еще более щемяще, совсем по-человечески печалются траурные трубы оркестра. Последний раз дядька Броник медленно едет на машине Василя Новикова, на которой он столько перевез зерна, силосу, картошки, едет по той дороге, по которой столько ходил и ездил, едет туда, куда ездят только один раз.

За гробом — много людей.

Сняв шапки, рядом идете и вы: Кичин — директор кирпичного, которому Броник отдал всю свою жизнь, и ты, председатель колхоза, которому в свои последние годы так помогал этот человек.

Над гробом — Броникова жена. Она смахивает платком с холодного лица мужа снег и голосит, причитая:

— А мой же ты дедочек, а куда же ты в такой холод собрался...

— А зачем же ты едешь туда, где тебя никто-никто не ждет?..

— А кто же тебя там накормит и обогреет?..

— А кто же теперь в нашей хаточке дверью скрипнет, поесть у меня попросит?..

— А мой же ты дедочек, а на твоих же щеках снег — и тот не тает уже...

Снег действительно падал на белое Брониково лицо и не таял. Таял на зеленых листьях, на ветвях. И даже на неживых предметах — на камне, на крышах, на шоссе, где, видимо, все еще сохранялось тепло. И только на лице дядьки Броника белые снежинки лежали так, как и упали... Столько было у этого человека тепла, энергии, и вот не осталось даже той малости, которая нужна, чтоб растопить всего-навсего небольшую снежинку...

Снег падал весь день.

— А что же вы хотите — сегодня ведь Покров,—

оправдывали эту преждевременную зиму старики.— А на Покров обязательно земле надо чем-нибудь укрыться: или дождем, или снегом.

— Говорят же, что первый снег всегда ложится за сорок дней до настоящей зимы.

Эту закономерность я уже заметил и сам. Той, прошлой осенью, когда «Большевик» встретил меня настоящей зимой, думалось, что это простая случайность — видимо, год такой. А вот в этом году, когда первый снег улегся еще раньше, чем в прошлом, про случайность уже не стоило и вспоминать: видно, действительно первый снег зима всегда посылает немного раньше, чем приходит сама.

В андреевском саду (да, наверное, и в кобыляцком) занесло груды круглобоких спелых яблок — кое-где они светились из-под снега своими красными боками. Тут же, под яблонями, лежали в снегу ящики, которые перед самым снегопадом раздобыл Садкович — в них должны были везти на завод яблоки, но метель помешала отсортировать их.

Желто светились на белом, чистом снегу осенние березки. Под ними, тоже на снегу, — желтые, сорванные ветром, сбитые снегом листья. Сочетание этой желтой грусти осени и белой свежести молодой зимы непривычно поражало глаз, казалось каким-то нереальным.

Потяжелели, еще ниже обвисли красивые, созревшие гроздья рябины, ибо на каждой красной ягоде лежало теперь по целому «сугробу» белого снега.

Снег облепил заборы, ворота, набился в углы хат, налепился между бревен, откуда до этого торчал только сухой мох. Неожиданно светло на фоне темного неба забелели заснеженные крыши, которые всю осень мокро темнели даже днем.

Глянешь на пушистое — все в снегу! — небольшое деревцо, и ветви его покажутся толстыми, прочными — не сломать. А отрясешь с него снег и, пораженный, удивленно пойдешь дальше — тьфу ты, черт: и никакое это не дерево, а всего только тоненький, небольшой стебелек чертополоха или тмина, которые стали такими солидными в своем снежном уборе.

В Андреевщине и Кобыляках лен убрали: часть сдали, а часть укрыли под навесом. А как в Анибале? Ты нетерпеливо включил рацию: Савельев сейчас должен был выйти на связь.

— Первый? Я второй. Как меня слышите? Прием.

— Слышу хорошо. Прием.

— Сколько у вас, Савельев, льна на поле осталось?

— Машины три.

— А под навесом?

— Тоже три...

— Сегодня у вас будет машина Сапсалева. Обеспечьте погрузку. Больше машин дать не можем. Все на ремонте. Что вам еще надо?

— Надо было бы еще одну машину — навоз из коровника вывезти.

— Я же говорю, что сегодня нету. Это потом уже сделаете, когда освободимся ото льна...

Значит, колхозная радиостанция работает и без радиста. Ты сам принял на себя все радиозаботы.

На колхозном дворе занесло телеги: снег сугробами лежит на оглоблях, на спицах колес, на дробинах. Иван Хахлянок, аккуратно подоткнув полы плаща под веревку, которой подпоясался, меняет в телеге колесо и бубнит себе под нос:

— Да, на этом ломачье, холера, и до стогов не доедешь.

Змитрок Прыма в своем длинном, намокшем снизу плаще запрягает коня в другую телегу: поднял одну оглоблю, бросил ее о землю, чтобы сбить снег, — она так и зазвенела. Потом привычно и умело всунул толстый конец дуги в гуж и через шею коня подал ее на другую сторону. Стряхнул снег со второй оглобли и крепко прижал ее к дуге гужом. Засупонивая хомут, Прыма помогал себе коленом.

Запрягли, перевернули доски на телегах, чтобы сбросить и с них мокрый снег, постучали дробинами о ручки телег — с них тоже отвалились комья снега, — стали на телеги и так, стоя, дергая время от времени вожжами, громко переговариваясь, неторопливо поехали один за другим в ту сторону, где стояли стога. Поехали за сеном или соломой — сегодня ведь коровы первый день не вышли в поле.

И пока ехали, чуть не до самых стогов, далеко были слышны их голоса...

Вот так, Геннадий, и кончился наконец твой очередной сельскохозяйственный год.

До этого все время одна работа наступала на другую, торопила, подгоняла, а теперь уже можно передохнуть,

отдыхаться. Урожай в амбарах, и сегодня ты можешь полностью посвятить себя заботам о будущем годе.

Год — на исходе, год — на подходе.

Работа хлебороба, может, никогда не наскучивает и не приедается, как черный хлеб каждый день, потому что каждый год начинает все заново и можно в следующем году исправить и учесть все свои просчеты и упущения.

Понимаешь, хоть и дождей было маловато, хоть и солнце жарило, казалось, излишне щедро, хоть и снег, такой глубокий, выпал в самой середине осени — но все же этот год, который незаметно для нас состарился, был самый обычный. Ибо кто, скажи, вспомнит такой год, когда бы хлебороб не ждал дождя или солнца, чтобы он не сердился на позднюю весну, обложной дождь во время сенокоса, преждевременный снег?.. Это только в своем самоуверенном бахвальстве мы порой заносчиво хвастаемся, что уже давно покорили природу. А в жизни нередко бывает, что человек очень серьезно зависит только от нее. Случится долгая засуха, махнет над полями своим тяжелым черно-белым крылом градовая гуча, скуют вдруг голое, не заснеженное еще поле двадцатиградусные морозы — и хлебороб будет тревожиться за свой урожай, но помочь ему уже мало чем сможет.

Мы видели с тобою, Геннадий, колхоз во все четыре времени года — и когда только что просыпаются деревья, поля, луга, и когда они тихо успокаиваются до новой весны. Видели, как весной бушует все живое и как оно с грустью увядает под осень. Видели покой снегов и щедро согретую ниву. Оплодотворение, колошение и созревание. Сев и жатва, весна и лето, осень и зима быстро промелькнули перед нами — кажется даже, что и ты, Геннадий, не успел оглядеться, как уже надо думать о новом круговороте.

В первый мой приезд ты еще во всех своих анкетах писал, что правительственными наградами не награждался, в выборные органы власти не избирался. А сегодня у тебя уже есть и награды, и ты избран депутатом районного Совета.

Год закончился. Еще один извечный круг извечного хлеба на извечной земле замкнулся. Он достался нелегко и твоим колхозникам. Что поделаешь — хлеб всегда требует честной и добросовестной работы, потому что он не рождается самородками, его надо собирать по зернышку. Начинается другой круг, другой год — пожалуйста, об-

думав и пережив только что минувший, твори все заново: зерно, колос, урожай... Да, откровенно говоря, этот следующий год уже давно для тебя начался — вон как зеленеют на поле всходы озими, которая новым летом обрадует ниву тяжелым, согнутым к земле колосом.

Один год — на исходе, второй — на подходе.

ЗВОНОК ИЗ ПЯТОЙ ПОРЫ ГОДА

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

— Это ты недавно звонил? Мне как сказали, что Минск вызывал, так я и подумал про тебя. Где я тогда был? В поле. Сам ведь знаешь, где бывают во время сева. А мы с Ярковичем — он теперь у нас секретарь парторганизации — ездили вручать переходящий вымпел райкома и райисполкома Грише Медвецкому. Да, прямо в поле. Пожали руку, поздравили.

И нас весной поздравляли. Понимаешь, «Большевику» присуждено переходящее Красное знамя Министерства сельского хозяйства СССР, а также денежная премия. Это по итогам прошлого года.

В этом году давно уже отсеялись. Нет, у нас ничего не вымерзло. И морозов особенно больших не было. Так, пару заморозков случилось, но это мелочи — на посевы они не повлияли. Теперь Комар осматривает технику, чтоб к сенокосу и жатве готова была. Картошку понемногу окучиваем. Нет, рядов еще не видно, мы ведем слепое окучивание. Скоро сено косить начнем.

Что еще нового? Комар новую машину сам сделал. Нет, не себе. Для колхоза — удобрение разбрасывать. Яркович только что «Жигули» себе купил — пока каждую пылинку сдувает. Как Бухавец? Ничего, держится... Вот, гляди ты, и про кузнеца не забыл. Скучает ли Слонкин без жены? Нет, кажется, не скучает: он уже опять женился. Да, на нашей, на местной.

Работает ли Васьковский, спрашиваешь? Работает, работает. Правда, его тут недавно сватали председателем в один колхоз. Пока что отказался.

Вот еще что. Ты же знаешь, нам все свое молочное стадо сдавать придется. Наши коровы совсем перестали доиться — как козы молока дают. В сводках по молоку, заметил, как мы плохо выглядим? Недавно 22 породис-

тые телки в колхоз привезли. Так постепенно и заменим всех своих «коз».

Словом, по телефону обо всем не расскажешь. Да и некогда. Сейчас вон ждем польскую делегацию из Зеленогурского воеводства. Ты ведь знаешь, что Витебская область давно дружит с этим воеводством Польши. Они сегодня через какой-нибудь часок должны приехать. Так хоть улицу надо немного полить — все же пыли меньше будет.

Так что извини, спешу. Приезжай сам — тогда и посмотришь, что у нас нового. Увидишь, как косить будем. Почему весной не было тебя? Тогда, когда под моим окном так красиво цвел наш колхозный сад?..

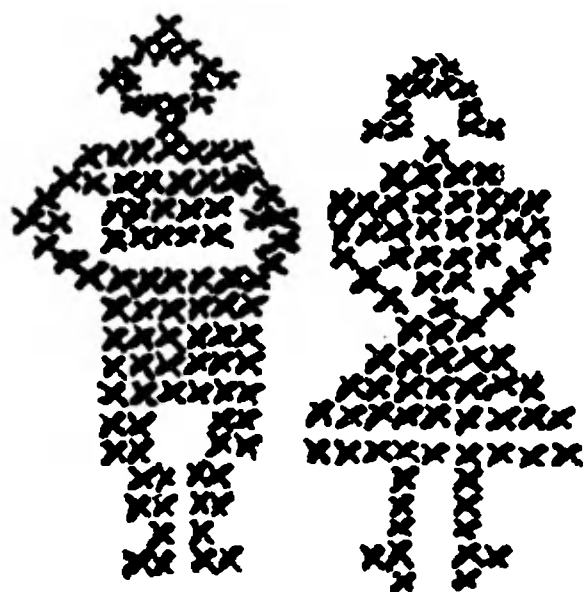
И мне хоть на один день нестерпимо захотелось снова в Андреевщину — вспомнилось, как бело и душисто цветут под председательским окном гудящие от пчел колхозные яблони.

Даже показалось, что по-июньски приятно запахло в моей комнате андреевским лугом — нет, не как-то особенно, нет, не по-своему, а именно так, как пахнут во время сенокоса, наверное, все луга на свете.

И еще вспомнилось, как один мой знакомый, который всю свою жизнь прожил в городе, нарочно поехал на год в деревню, чтобы самому увидеть хоть в конце жизни это величайшее чудо на земле — рождение хлеба.

Поехал и остался в ней навсегда.

БРОНИСЛАВ ХОЛОПОВ



село великое –
село упрямое





Бронислав Борисович ХОЛОПОВ родился в 1934 году в Ярославле, там же окончил среднюю школу. В 1957 году закончил факультет журналистики Московского государственного университета. Журналистскую работу начинал на Всесоюзном радио корреспондентом, обозревателем. Позднее заведовал отделом экономики в журнале «Советский Союз». В этот период (с 1966 по 1971 год) особенно много ездил по нашей стране — Курилы, Дальний Восток, сибирское Заполярье, Тува, Саяны, Урал, Средняя Азия. Впечатления от этих поездок уже не укладывались в малые журналистские жанры, в обычные корреспонденции, которых было написано за это время великое множество. Холопов начинает писать крупные очерки, приходит к тому, что называется художественной публицистикой. Его интересуют проблемы, «возникающие на рубежах, на границах, где сталкиваются природа и индустрия, город и село, вековые традиции и социальная

новья», и как это все преломляется в человеческом, нравственном плане. Он пишет о людях, необычных в житейском понимании, интересных своей судьбой и мироощущением. Их он встречал в поездках немало. Большие очерки Б. Холопова начиная с 1970 года публикуются в литературных журналах («Юность», «Октябрь», «Смена»). Он пишет и рассказы, но главным на сегодняшний день в его творчестве остается художественный очерк.

В 1976 году вышла книга Б. Холопова «К родному порогу». Это путешествие от Дальнего Востока до земли своих предков, села Великого на Ярославщине. Книга состоит из четырех очерков: «Амурские земледельцы», «Испытание Амударьей», «Город идет в горы» (об Армении) и «Село великое — село упрямое» — очерк, публикуемый в настоящем сборнике. В 1974 году ему была присуждена премия журнала «Дружба народов». В нем острее, чем в предыдущих работах автора, ставятся проблемы столкновения города и села, старых ремесленных традиций и современной индустрии. Очерк этот написан о родине, и за всем этим — глубокий интерес к корням своего народа, к истокам своего прошлого, боль за утраченное, активное стремление сберечь и восстановить все то, что дорого русскому человеку. Интересна художественная манера Б. Холопова. Читая его, ощущаешь большую культуру, бережное отношение к языку, ему удается очень естественно и логично сочетать то, что мы привыкли называть современным в стилистике, с исконно русским, но нечасто употребляемым.

Последние очерки Б. Холопова посвящены строительству Южно-Таджикского промыш-

ленного комплекса и Нурекской ГЭС — «Вид с четвертого яруса» и «По Вахшу вверх!» Они, вероятно, станут основой новой книги.

Пишет Холопов и об изобразительном искусстве, которое привлекает его давно. В журналах «Смена», «Литературная Армения», «Дружба народов» опубликованы его очерки о современных художниках, о развитии прикладного искусства у нас и в социалистических странах. Интересен его очерк о В. Д. Бубновой, замечательной русской художнице («Светло и глубоко», «Дружба народов», 1976, № 6). Здесь и осмысле-

ние ее творчества, и история ее долгой сложной жизни, написанная ярко, искренне, оригинально. Часто публикует Б. Холопов литературно-критические статьи. Его оценки и анализ произведений всегда четки, глубоки, даны в перспективе. Выступает он и как переводчик с чешского и словацкого. Он переводил прозу Яна Козака и Яна Паппа, стихи Владимира Райсела, Мирослава Флориана, Иозефа Кайнера, Франтишека Грубина и многих других. Собственные его очерки также выходили в переводах — главным образом в Венгрии и Чехословакии.

Памяти А. П. Холоповой

Известна притча о мужике: съел чугунок каши — и не наелся, а потом бублик погрыз — и сыт. Жалеет: зачем на кашу тратился, когда одного бублика за глаза хватило бы... Вот так и у меня с размышлениями о селе Великом получалось: все что-то читал о нем, что-то набрасывал на бумаге, а воедино это никак не связывалось. И ехать туда я все не мог решиться. И тут попадаетея мне в руки «бублик» — «География Ярославской области», учебное пособие для средней школы. Во всех областях теперь такие книжечки есть, особых откровений от них ждать не приходится, но написаны они просто и толково, как букварь. В ярославском учебнике я вычитываю фразу:

«К агропромышленным относятся колхозные или совхозные села, где, кроме сельскохозяйственных, имеются и промышленные предприятия и учреждения, в которых занята часть местного населения...

Такой тип поселений очень перспективен для дальнейшего развития нашей области».

Строки не из тех, что «жгут сердца людей», но я их перечитал не единожды. «Такой тип поселений очень перспективен»! А дальше в качестве примера учебник приводил село Диево-Городище. Село это я знал. И не только потому, что бывал в нем. Коренными городищенцами были наша соседка по ярославской квартире Фаина Флегонтовна Шарупина и трое ее сыновей, двое из которых потом не вернулись с войны. Они выехали оттуда, должно быть, в двадцатые годы, но у Фаины Флегонтовны в Диево-Городище оставался дом, каждое лето Шарупины там проводили месяц-другой, и разговоры о делах и заботах этого богатого волжского села то

и дело поднимались в нашей квартире. Главной и заинтересованной собеседницей Фаины Флегонтовны была, конечно, моя бабушка — Афанасия Петровна. Ведь и село Великое, родина Афанасии Петровны, тоже находилось недалеко от Ярославля, и она имела там дом и, как Фаина Флегонтовна, приехала жить к сыну в город. Да и села их походили друг на друга — торгово-промышленные, известные, с традициями. Правда, Великое было куда значительней и известней Городища — В. И. Ленин, говоря о промышленных селах в «Развитии капитализма в России», ставил его наряду с Иваново-Вознесенском и Павлово-Посадом. Однако Фаина Флегонтовна классиков марксизма не читала и первенства Городища отдавать Великому не желала.

На почве спора о приоритете родовых гнезд у соседей возникали серьезные разногласия. Обе они были женщинами «караактерными», к тому же природа и воспитание не создали их для сосуществования в коммунальной кухоньке на две семьи. И когда отношения обострялись, грозное молчание витало в кухне, в то время как соседки, словно жрицы, вглядывались сквозь слюдяные продушины в загадочное тусклое пламя персональных керосинок. Фаина Флегонтовна, смуглая, кареглазая, похожая на белку, кидала на Афанасию Петровну время от времени горячие взгляды и коротко ворчала, Афанасия же Петровна, выпрямившись в спине и стоя во фронт, как николаевский солдат, невозмутимо смотрела перед собой.

Но, конечно, ни та, ни другая не согласилась бы поменять соседку, если уж без нее нельзя обойтись. Ведь кто еще мог так близко принять к сердцу расстройства Фаины Флегонтовны по поводу того, что базары в Городище уже не те, как не Афанасия Петровна? И кто так же хорошо понимал сожаления Афанасии Петровны о вымерзающих великосельских садах, как не Фаина Флегонтовна? Жизнь, круто переломившаяся в подъярославских торгово-промышленных селах, обсуждалась соседками и приходившими к ним иногда односельчанками в разных поворотах. Говорили, что народ разъезжается, что промартели сапожников и портных тяжело перебиваются, что кончились знаменитые великосельские ярмарки... Тут, правда, Фаина Флегонтовна вносила и оптимистические ноты: в Городище, где всегда больше занимались сельским хозяйством, колхоз налаживается

и жизнь веселей идет. Афанасии Петровне крыть было нечем: в Великом, где жили преимущественно ремеслом, садами и торговлей, колхоз двигался ни шатко ни валко... Уступать тем не менее преимуществ Великому она не хотела ни в какую. Опять конфликт!

Но в общем с детства я привык считать, что у Диево-Городища и Великому — одни заботы, а следовательно, и радости одни. Судя об этих селах по впечатлениям послевоенных, пятидесятых годов, я считал, что забот куда больше, чем радостей, и не ехал в Великое — чем я ему помогу? И вдруг эта фраза: «Такой тип поселений очень перспективен для...» Если так пишут о Диево-Городище в школьном учебнике, то, верно, и к Великому эти слова можно отнести. Должно быть, пока я ездил по Сибири и Дальнему Востоку, колесил по градам и весям Средней Европы, к лучшему переменялась жизнь в дорогом для меня углу земли, который я с жестокой поспешностью зачислил когда-то по разряду милых сердцу погребений. Так, может, не очерковые элегии о Великом, над которыми я сидел, писать надо, а деловой материал — «пути подъема», что ли? Так или иначе, но радужная фраза о перспективности аграрно-промышленных поселений для Ярославской области вытолкнула меня в старое село, где я не был лет двадцать.

И тут в дороге поднялись сомнения: а что мне оно, село Великое? Я родился в городе, работал, да и сейчас работаю в городе. В селах бывал — и часто, да ведь все наездами: лето в деревне, месяц на уборке картошки, командировка в колхоз, в гости к родным... Может, не душевная необходимость послала сейчас в дорогу, а мода запрограммировала эту поездку, словно бы и независимо от меня? Кто теперь не ищет своих корней в деревне, кто не навещает родственников в забытых селах, кто не противопоставляет исконно незапятнанно-естественную чистоту села безнадежно испорченному городу? Но, задав себе все эти вопросы, я все же ответил: ладно, пусть и меня причислят к жертвам моды на патриархальность; пусть даже эта мода действительно повлияла на мое решение, — что ж, мне только спасибо ей за это остается сказать... Ведь она заставила и меня вернуться к одному из тех двух родников, с которых начиналось ощущение мира, а к ним время от времени обя-

зательно надо возвращаться. Каждый год я езжу в Ярославль, а в Великом не был двадцать лет. Между тем они почти равноценны для меня в тех первых впечатлениях жизни, с которых все и началось. Великое и Ярославль. Село и город.

Фешенебельный журналист,— понимаю, что так сказать нельзя, а все же скажу,— спросил меня:

— Ну, и что бы ты советовал почитать из современной прозы, раз уж защищаешь ее?

Я назвал.

Он брезгливо поморщился:

— Опять деревня. Нет, я этого не читаю.

Он вообще-то неглуп и сказал то, что думал. А мне просто физически непонятна такая позиция. То, что пишется о деревне, задевает меня уж никак не меньше, чем произведения на «городские» темы. А может, и больше — тут в последнее время заметнее удачи. Вероятно, мы, горожане во втором поколении, еще не вполне урбанизировались, хотя и лошадь в пять лет не запрягали, и за плугом не ходили. Гены деревенского мировосприятия, которое заставляет человека почти телесно ощущать связи с землей, с местом, где рождались и умирали предки-крестьяне, которое первым из учителей языка подразумевает бабку-крестьянку,— все же эти гены пусть частично, но определяют конституцию нашей души. А в сущности, не в гармоничном ли соединении той близости к природе, прочности и жизненности во взглядах, которые отличают человека от земли, с широтой кругозора, открытостью, презрением к предрассудкам, предприимчивостью городского жителя,— не в этом ли, опять подчеркну — гармоничном — соединении путь к идеальному типу человеческого мировосприятия? Он еще только вырабатывается, этот тип, и в деревне, и в городе, до гармонии еще далеко. А иногда эти два начала в душе и борются, конфликтуют, не смешиваются, взаимно отталкиваются, как это было, скажем, у людей ярославских пригородов до войны.

Наш двухэтажный деревянный дом на тогдашней ярославской окраине (теперь-то центр!) так же, как и два-три десятка ему подобных, был наскоро срублен в тридцатые годы на месте слободок, спаленных белогвардейским мятежом восемнадцатого года. До конца двадцатых — начала тридцатых это место называли страшным словом «трупинь». Говорят, тут долго на пожарни-

щах, в зарослях крапивы и мари, под метелками иванчая, словно бы крашенного слабой марганцовкой, лежали неубранные трупы. Но в тридцатые годы мощно вздохнула нарождавшаяся ярославская индустрия — «резинка», то есть резинокомбинат, «эска» — завод синтетического каучука, автозавод, сажевый, лакокраски, «яэмзэ» — электромеханический, — и одним первым вздохом эти «гиганты» (только так и называли новостройки в те годы) откачнули из окрестных ярославских сел и деревень едва ли не половину всего населения. Новоиспеченные горожане обосновывались в Щитовых, Фибролитовых, Эсковских, Автозаводских и разных барачных поселках, в тесных квартирешках, «обчагах» — заводских общежитиях, которые тотчас становились семейными обиталищами, — и бодро пустили корни. У фибролитовых домов вырастали сараюшки — по привычке хозяйственные мужики устраивали там рукодельни; другим рукоделен казалось мало, и они разбивали огородики с огурцами, луком и помидорами между сараями и помойками; третьи же презирали все это барахло и, демонстрируя свою пролетарскость, шли вечером на футбольный матч «Каучук» — «Локомотив». Но и у демонстративных пролетариев то и дело проглядывала деревенская натура, как они от нее ни отрекались.

Сидит, бывало, такой без году неделя горожанин на крыльце, обсуждает с соседями итоги «мачта» — сколько было подано «корнеров», как не забили «пендаль» и как правый «бек» Костя Плешка зафитилил «файную свечу» на трибуну, — как вдруг во двор входит тетушка, краснолицая, с двумя «сидорами» наперевес, вся в чем-то неладном, и затрапезном, и бросающемся в глаза, в сапожищах.

Видит тетушка родственника-болельщика на крыльце, а тот словно и не сразу узнает, не спешит ей навстречу. Лениво так бросает собеседникам:

— Явилась — не запылилась. Своячка из Слинькова. Нагрузилась-то, как ломовик. Ох-ти, деревня-матушка...

Но дома урбанист пьет со «своячкой» чай и ревниво, заинтересованно выведывает слиньковские новости — кто вышел замуж, кто уехал, кто остался. Он хочет, чтобы знали в Слинькове, как он устроился, какой стал культурный — вон даже приемник «СИ-235» купил, какой он во всем городской. И в этой наивной похвальбе горожанин с «резинки» еще самый что ни на есть деревенский.

Да, многие тогда жили двоедомно — городским и деревенским домом. И дети играли в деревенские игры — в «попа-догонялу», лапту беговую, чижа. Даже дом с домом, поселок с поселком враждовали по-деревенски — так, как раньше: слобода на слободу, посад на посад — и предпринимали друг на друга воинственные набеги. При этом к солидным операциям, поселок на поселок, готовились, строя рогатки, стрелявшие булыжниками. В таких набегах нередко принимали участие и взрослые мужики.

Это теперь на месте «обчаг», «фибролиток» поднялись микрорайоны с четырнадцатипятиэтажными башнями, и жизнь в них идет вполне городская, а тогда почти все наши соседи, гордясь своим городским положением, все же считали себя одновременно и городищенскими, большесельскими, слиньковскими...

Вот по такой генеалогии мы были великоселами. И в те времена вместе с нашей поселковой жизнью полноправно вторгалось в меня Великое, откуда, как я знал, все мы и пошли.

И все же, заняв место в рейсовом автобусе «Львів», раздрызганном, как старая кровать, я опасался: а узнаю ли Великое? Однажды ведь уже не узнал. Было это в гостях у художников Татьяны Алексеевны Мавриной и Николая Васильевича Кузьмина. Они тогда только что вернулись из поездки в Ростов и Ярославль — их возил туда на своей машине ныне покойный Ефим Яковлевич Дорош. Ярославщина стала для Дороша второй родиной, и никто из современных писателей не написал о ней так точно, честно и проникновенно.

— А в селе Великом были? — спросил я тогда Маврину. — Оно между Ростовом и Ярославлем, чуть в стороне от шоссе.

— По-моему, не заезжали, — покачала головой Татьяна Алексеевна. — Впрочем, у меня все, что мы видели, в книжечках зарисовано.

Она достала пачку небольших альбомов. Там эскизно, помнится — цветными карандашами, все запечатлено: деревянная церковь на Ишне, близ Ростова, ростовский базар под монастырскими стенами, лодки на Неро...

— А вот еще удивительное место, — показывает рисунок Татьяна Алексеевна. — Не помню, как называется.

Поселок из старых каменных домов и домушек. Жмутся друг к другу, как снегири на ветке. Глядите — и белые, и красные, и желтые... Что у меня там, внизу, начеркано, прочитайте-ка...

Гляжу, а внизу почерком Мавриной, похожим на старорусскую скоропись, выведено: «Пос. Великое». И дата стоит.

Я-то спрашивал про село, а оно давно поселком считается. И так мне досадно стало, что я не узнал Великое на рисунке с первого взгляда. Неужели и сейчас, в натуре, не узнаю?

...Низкие, безлистые, черные вишенники за окнами автобуса заставили насторожиться: нигде в округе нет таких вишневых садов, как в Великом. Въехали, что ли? И тут же отчужденный, печальный липовый парк на горе, кладбище, кладбищенская церковь, вставшее торцом к дороге длинное краснокирпичное здание старой школы и — ниже его — серовато-белое полотнище замерзшего Черного пруда, простеганное крест-накрест тропками, стали меня уверять: да, да, Великое. По соображению получалось — оно, но внутренним своим взглядом я его не узнавал.

Со мной был нетяжелый портфель, и, покинув автобус, я решил побродить по селу, чтобы восстановить его в себе, связать мои представления о нем с ним самим. Однако узнавание в этот оттепельный, туманный зимний день шло медленно и тяжело, — так неуверенно и слабо проступает изображение на фотобумаге в холодном проявителе. Я не узнал даже главную площадь — торговые ряды перестроили, и на месте старых деревянных лабазов с нависавшими крышами появился оштукатуренный каменный квадрат, крашенный изжелта-розовым. Штукатурка во многих местах отсырела, и потому новый торговый центр поселка Великое выглядел не весьма привлекательно. Окон, однако, в здании прорубили много, стекла в них вставили цельные, и около этих витрин довольно густо для будничного дня толпился народ. Так как торговый центр был вознесен на подиум, оставшийся от старых рядов, то что-то в этой магазинной толчее было от статистов в массовой оперной сцене.

Как вскоре я выяснил, в рядах поместились: гастроном, универмаг, хозяйственный, мебельный, магазин по комиссионной продаже сельскохозяйственных продук-

тов, столовая, кафе. И краем примкнул комбинат бытового обслуживания. Во внутреннем дворе ворочались автомобили — не гараж ли?

В столовой обедали студенты зооветтехникума — шумели, смеялись; в универмаге выкинули ковровые дорожки; в гастроном завезли колбасу; у киоска Союзпечати на площади очередь ждала свежих газет, и, наконец, в кафе забросили пиво. Тут, в кафе, толпились мужики в прокеросиненных ватниках, в валенцах с галошами и в треухах с заломленными, но чаще всего незавязанными ушами. Торговля пивом и пирожками шла бойко. Нет-нет да и мелькали в руках бутылки белоголовой. В большом, уютном помещении стояло всего три колченогих стола, и общество освоило пивные бочки, в количестве полудюжины находившиеся тут же. А над всем этим царила буфетчица, которая, конечно, знала своих клиентов по именам и командовала ими с лихостью бывалой полковничихи:

— Иван, а ну, катись, у тебя перерыв кончился!

Или:

— Федор, больше тебе не налью. Язык-то уже заколдобел, как хек мороженный.

Весь этот грубоватый, шумно пенящийся рассол полуденной жизни не вязался у меня с давно установившимся в памяти обликом тихого, пустынного Великого. И потому даже расположенный напротив рядов ансамбль двух больших старинных церквей — Рождества Богородицы и Покрова Богородицы, которые связаны между собой каменной оградой с арочкой посередине и высящейся позади ее четырехъярусной семидесятипятиметровой колокольной, — и этот ансамбль казался незнакомым. С обеих церквей давно уже снесли купола, да и барабаны тоже, и в левой хранил зерно колхоз «Красная Поляна», как объяснили мне в газетной очереди, а правую занимал Дом культуры. У входа в зерносклад стояли машины, ворота церкви были распахнуты, и когда я подошел ближе, чтобы рассмотреть, сохранились ли внутри фрески, в горле запершило от сухого, сытного запаха хлеба. Запах стлался по сырому, растертому на площади с глиной и углем снегу, смешивался с бензиновыми, рогожными ароматами, растворялся во влажном, холодном воздухе... И все это были для меня чужие, не великосельские запахи. С каким-то другим, главным за-

пахом связывалось у меня в памяти Великое, но я никак не мог вспомнить, с каким именно...

Проулком я вышел на второй посад,—впрочем, теперь его уже не называли посадом: улица носила громкое и стандартное название. Здесь было тихо, снег оставался белым, и только вдоль домов, меж сугробов, вилась тропа — скользкая и черная, как рыба. И эту улицу я тоже примеривал к представлению, которое у меня сохранилось о ней. Далеко не все совпадало, но дом бабушки я нашел сразу — низкий, беленый, в три окна по фасаду, под карминной железной крышей. Дом, как она сказала бы, был обихожен: новые ворота, крепкие сени из тарной дощечки, телевизионная рогулька рядом с трубой и напротив дома с десяток розовых сосновых бревен,—видно, хозяин задумывал какую-то пристройку... Продавая после войны дом, бабушка радовалась: хорошему мужику дом достался — полы сразу перестлал, печь переложил... Интересно, тот ли все еще хозяин у дома или уже другой?

— Разыскиваете кого-нибудь, молодой человек? — Сухолицый старик в ватнике, в валенцах с галошами, но в старой порыжевшей каракулевой шапке пирожком (ну конечно, мы, великоселы, люди культурные) поставил ведро с водой на тропу и, кажется, приготовился к обстоятельному разговору. Я к нему был не готов и спросил, чтобы отделаться:

— Как, скажите, в зооветтехникум пройти?

Старик оглядел меня внимательно. И верно, стоит приезжий, из города, перед домом Ивановых или Сидоровых, а спрашивает о зооветтехникуме. Но, слава богу, кажется, он решил, что на злоумышленника я не похож, и ответил:

— Так техникум не здесь. Заплутались. Техникум на Розе Люксембург, в христианской помощи.

Экзотический адрес старик произнес буднично — к невероятному сочетанию имени Христа и немецкой коммунистки давно притерпелся. Я, казалось, помнил крепкое здание «христианской помощи» и выдал себя:

— Это что же, где детдом был?

— Ах, так вы сами из Великого? — оживился старик. — Только путаете, детдом был левее. А христианская помощь — красное здание с белыми наличниками. Там после того, как приют, который еще Локалов содержал, распустили, детскую колонию устроили, а потом

сельскохозяйственную школу, а уж потом техникум... Ну, а вы чьи же будете?

Все же я решил не раскрывать разговорчивому деду свою родословную.

— Да нет, дедушка, я просто бывал в Великом раньше. Спасибо...

Я двинулся дальше по посадку, и старик крикнул:

— Так опять же не туда пошли!

— Ничего,— махнул я рукой и, чтобы уже окончательно отвязаться от старика, зашел под низкую каменную арку в середине двухэтажного дома. И тут я услышал запах... волглого кирпича? Да, это был он. Я узнал его и окончательно уверился, что я — в Великом.

Запах сыроватого кирпича, не острый, но как-то плотно, усадисто пристающий глинистый запах... Так вот чем пахло для меня Великое в детстве. Когда я первый раз услышал его? Должно быть, в тридцать девятом. Наверное, июнь. Мы с отцом идем в Великое от станции Коромыслово, это километров десять. Отец несет меня на плечах. На нем вышитая льняная косоворотка. Переходим через какую-то речку. Боюсь,— отец осторожно ступает по шатким лавам. Мне в лицо лезут ветки. Бабушка уже в Великом — ждет нас в этом самом низеньком каменном доме. За домом приземистые рогатые яблони. А за яблонями чистая и высокая трава. Эта трава называется странно и по-стариковски — стлище. Слово, похожее на огромную улитку (после, гораздо позже, я догадался, что на стлище расстилали льняные полотна для отбелики). Много вишни в тазу. Значит, все же июль, а не июнь. Ем и ем вишни. Потом заболел — дизентерия. Лежу на постели, головой к окнам, завожу глаза. Вижу солнечную кисею, мух на ней. В доме низкий потолок. Сумрак. Прохладно. И запах волглого кирпича...

После, наверное, сороковой год... Бабушка ведет меня за руку по посадку, мимо тесно прижавшихся друг к другу каменных домов. Очень скучно. Нет детей. Разные тетки останавливают:

— Фоня! Это, поди, Борисов? Ну вылитый Борис...

И дома скучные, совсем нет таких, как в Ярославле, на Большой Октябрьской,— с колоннами, украшениями, вазами и голыми курчавыми младенцами. Стены глад-

кие, арки в стенах, окна поверху тоже округленные... Как бабушка различает их? А для нее каждый дом на особицу, и она называет: Сальников дом, Демидовой Ленки, Моругиных, Алексей Петровичев был (ее старшего брата), а теперь Белянкиных... Она ведет меня в лавку на площади. Двери у лавки как крышка у сундука: и сами железные, да еще крест-накрест перетянуты узкими железными полосами, вверху закруглены. Приоткрыта только одна половинка. На ней — кованая накладка, такой только Ваське Буслаю в фильме «Александр Невский» махать, и в пробое накладки — фунтовый черный крендель замка. В лавке продают гвозди, хомуты, мануфактуру и книги. Бабушка покупает мне толстую красную книжку с выдавленной на обложке крепостной башней — «Старая крепость». Я беру ее и снова слышу запах кирпича. Великое — старая крепость...

Хожу с прабабкой по ее запущенному саду. Ей под девяносто лет. Она сгорбленная, с крючковатым носом, седые космы выбиваются из-под черного платка, но веселая и добрая у меня прабабка. Кормит меня малиной. Идем в ее темный дом. Райса, ее дочь, сестра деда, такая же крючконосая, кажется мне, как и прабабка, строчит на машине, тачает сапоги. Она надомница. В доме пахнет нежилью, и глинистый запах опять и опять...

Каменное село, упрямое село, старая крепость. Угрюмоватое, но надежное прибежище. И вот таким оно особенно глубоко вошло в меня в сорок третьем году, тридцать с лишним лет назад.

Тем летом неожиданно ужесточились бомбежки Ярославля. К небольшим налетам все давно привыкли: то за Московским вокзалом падало несколько бомб, то в текстильном районе — на «Красном Перекопе». Говорили, что попадали в поезда — были жертвы, но не много. Среди наших родных и знакомых от бомбежки еще никто не пострадал. На Советской площади выставили сбитый «мессершмитт», и хотя обнародованное тут же описание, как он был сбит, подтверждало, что «мессер» нашел конец «в небе Ярославля», почему-то не очень верилось этому.

И уже от Москвы отогнали фашиста, Калинин освободили, но вот тут-то все и началось.

Той летней ночью расточительный — на все небо! — фейерверк вспыхнул над городом: немец зажег «елку», и в этом обманчиво-праздничном свете шел над Ярославлем воздушный бой. Никто из наших домов к тому времени уже не прятался в щелях — их давно залило, — и жители толклись в подъездах, следили из-под дощатого козырька крыльца за происходящим в небе.

Попадая в скрещения прожекторных лучей, шаставших по небу, как гигантские щетки-«дворники» по автомобильному стеклу, самолеты обнаруживались легкими алюминиевыми крестиками и в эти мгновенья становились похожими на невесомых, бесплотных мотыльков. Тут же принимались торопливо «долбать» зенитки, и разрывы их снарядов расцветали вокруг мотыльков дымными розочками. Да, все это огненное действо с висящими в небе гирляндами разноцветных ракет, со строчками трассирующих очередей, радужными отсветами ложившееся на лица людей, переливавшееся в зеркально-черных, закрытых изнутри светомаскировкой окнах, казалось чуть ли не карнавальным, но это лишь усугубляло его безумие. Всех бил нервный озноб. Вой, треск, свист стояли в ушах, и, как сердечный приступ, накатывали ударные волны от далеких взрывов.

Не помню, кто из пацанов сбежал с крыльца и вернулся, перебрасывая что-то из ладони в ладонь, словно печеную картофелину.

— Осколок! Еще тепленький...

Он тут же получил затрещину от старика соседа:

— А ну, не слезай с крыльца. Уши оторву!

Афанасия Петровна и Фаина Флегонтовна легли у нас в комнате под стол, придвинутый к окну, — все укрытие...

Бомбы вначале рвались где-то вдали, и вдруг, когда бой в небе, похоже, стал стихать; они посыпались на наши улицы — Чайковского, Пушкинскую, Салтыкова-Щедрина... Пробиться к заводским районам налетчикам не удалось, и они, улетаая, сбросили бомбы на окраину.

Дом затрясся. Где-то, показалось — совсем рядом, взметнулось пламя до неба. Закричали: «На Чайковского горит!» — и тут же жахнуло страшно, близко, словно в нашем дворе, стекла посыпались на стол, под которым лежали бабки.

Тяжелая фугаска упала не у нас, а за целый квартал, срезав треть двухэтажного бревенчатого «типограф-



ского» дома. Мы узнали об этом минут через двадцать, когда объявили отбой, и тут же, не обращая внимания больше на запреты взрослых, кинулись глядеть, как тушили пожар и вывозили убитых и раненых.

В этом доме люди тоже стояли в подъезде...

А утром, еще раз придя на место взрыва, я увидел на завалинке оставшейся части дома желтую, в коричневой крови, человеческую руку.

С улицы Чайковского еще летел пепел — большими хлопьями, размером девять на двенадцать и тринадцать на восемнадцать. Размеры определялись точно — ведь это были сгоревшие, а точнее, превратившиеся в тончайшие угольные пластинки фотографии из семейных аль-

бомов. Их можно было осторожно взять в руки и, найдя удачный ракурс, рассмотреть мирные группы, снятые на фоне декоративных занавесей, где отец семейства опирался на колонку ионического ордера, а пухлый младенец, примостившийся на коленях матери, пытался выскользнуть из кольца ее рук.

Это были души сгоревших фотографий.

На тонко моделированной пластинке солнечный свет радужно дробился, переливался, как осветительные огни в слепых ночных окнах.

Пепел летел и летел, и у солнечной завалинки, на которой лежала желтая рука, намело пепельный сугробец.

Все прошлые бомбежки стали не в счет. Эту ярославцы называли Первой бомбежкой. Потом пришла и Вторая...

Тут-то бабушка и решила, что нам лучше уйти в Великое. Да, уйти пешком, потому что ни автобусы, ни поезда тогда не ходили. И мы двинулись — она с мешком за плечами, а я с жестяным бидончиком, в который было что-то положено. Несли не столько продукты, сколько товары на обмен — хрустящие косынки, нарезанные из красно-зелено-фиолетового переливчатого канифаса, сохраненного бабушкой в сундуке, — такой канифас великосёлки покупали когда-то на нижние юбки; несли тетради, состроченные на машинке из отдельных листов, — мать и отец складывали в диван старые тетради своих учеников, и теперь, тщательно их просмотрев, можно было обнаружить один-два чистых листа в каждой. Несли мы и настоящее сокровище — сохранившийся нетронутым классный журнал. Его намечалось предложить не частнику, а колхозу, — считали, что за журнал «хорошо дадут».

Шли по огородам, по наплавному мосту через Которосль. У Московского вокзала покинули город...

Не помню машин на Московском шоссе, — их, вероятно, и не было. Или шла одна, газогенераторная, с двумя черными круглыми печками по бокам кабины, которые топились чурками. Зато люди брели и поодиночке, и группами, с мешками на спине, а то и толкали перед собой тачки. Мы двигались, часто отдыхая — то на кладбище у пригородного села Кресты, выставившего свою церквушку с остроконечной колокольней на самый тракт, то в придорожной канаве. Шли мимо некрасовской Карабихи тем же путем, что и Пахом из «Кому на Ру-

си...», который когда-то «соты медовые нес на базар в Великое». Строчки эти любил повторять мой отец... Шли мимо поселка «Красные ткачи». Здесь, в поселковой школе, дожидался отправки на фронт полк отца, и мы ездили к нему с мамой летом сорок первого года. Отец, кажется мне теперь, был острижен наголо, хотя мама уверяет, что нет, командиров не стригли. Гимнастерка его пахла потом, и скрипели желтые ремни,— говорили — латышские. Долго гуляли в сыром лесу. Я гулял один, собирал незабудки...

Потом мы с бабушкой второй раз перешли Которосль. Неярославцу ничего не скажет имя этой реки, а для ярославца она чуть ли не так же близка, как Волга. По Которосли сплавился из Ростова в Волгу Ярослав Мудрый. Со стрелки при впадении Которосли в Волгу начался Ярославль, она, эта речка, была самым древним путем цивилизации в наших местах, и она же учила каждого жителя своего во все времена плавать, кормила нас и своей рыбешкой, и овощами с огородов своей поймы. За Которослью — это далеко, а тут мы второй раз переходили ее — куда уж дальше? Тут, над речкой, в сельце Кормилицыно, мы попросили попить в одной избе — хозяйка неожиданно вынесла стакан молока, не за деньги, просто так... Чуждые края за второй Которослью! Сидели, отдыхали в оплывшей канаве под старыми березами, и бабушка, а также случайная собеседница, эвакуированная ленинградка, тоже ходившая менять, хвалили кормилицинскую хозяйку за доброту.

За Кормилицыном свернули с Московского тракта и пошли проселками, держа Которосль где-то слева: сокращали путь. Проселок, которым мы двигались, как я теперь понимаю, совпадал с древним путем с Севера на Ростов и Москву. Позднейший тракт отвернул от старинного пути к западу, а по нашему проселку возвращался из Костромы в Москву приглашенный на царство Михаил Романов и, как сообщают летописи, останавливался в Великом на охоту. На старом тракте Великое лежало как раз посередине пути между Ростовом и Ярославлем, и обозы, пройдя за день тридцать верст, оставались в селе на ночевку. Отсюда же ответвлялась дорога на Суздаль, так что Великое было важным перекрестком транспортных связей того времени.

Но это я теперь знаю, а тогда проселок и казался проселком... Суточный переход конного обоза нелегко

давался горожанину девяти лет от роду, отощавшему на скудных харчах. Вскоре дорога уже совсем перестала занимать, и я не помню ее. Осталось только — как поло-скали уставшие ноги в бочаге пересыхающей речки Та-лицы. А так — пыль под ногами, сухощава фигура ба-бушки впереди и только одно желание — скорей бы Ве-ликое... Кажется, и не дойдем до него. Все чаще отды-хаем, бабушка и бидончик у меня отобрала.

И тут:

— Гляди-ка, Славка, — наша колокольня, велико-сельская.

— Да где?

— Раствори глаза-то. Столб-от видишь?

— Ну!

— А левей, во ржи, маковка.

И точно, что-то такое маячит за ржаным полем, стол-бик не столбик, да и неважно что: главное — видно Ве-ликое! И ноги двигаются веселее, а колоколенка то спря-чется, то вновь покажется с какой-нибудь горушки, успев немного подрасти, и тянет, и тянет к себе... Она царит над всей этой округой, великосельская колоколь-ня, она тут — земная ось...

Наконец вышли на холм — и вот он, высоченный столп, и село — белые спокойные дома в садах, нет, не белые — розовые, потому что за Черным прудом садит-ся солнце и белые стены легко откликаются ему. А Чер-ный пруд — да какой пруд, озеро! — весь в красных, би-рюзовых, зеленых полосах, и дома за ним на закате чер-ные, плоские, словно вырезанные из маскировочной бумаги. Тихо, спать хочется, и нереальным представляет-ся отсюда город с его бомбардировочными ночами, с безумным карнавальным освещением. Какой покой в Ве-ликом! Толстые кирпичные стены, глинистый запах. При-ходим в дом, у соседей покупаем молоко, пьем, заедая хлебом. Великое — прибежище от страха, от голода... Этого никогда не забудешь...

И все же тогда, в детстве, было такое ощущение, что лучшие дни большого села — в прошлом. Эти пустын-ные каменные посадки, эти заколоченные ряды, эти ог-ромные разоренные церкви казались большой, не по ро-сту, одеждой с чужого плеча для той жизни, которая шла в Великом. Работало две-три лавки, а говорят —

были магазины, в сапожной артели тачали сапоги, а были не артели — фабрики! И домов много пустует от лета до лета. Во всем — в разговорах, в пустующих домах — жило сожаление об отхлынувшей жизни. Я еще тогда не задавался вопросом, почему она отхлынула, но ощущение, что так случилось, да, оно существовало всегда.

Что же Великое представляет собой теперь? Теперь ведь другое время. За сорок минут я просквозил тот путь, на который в сорок третьем году нам с бабушкой потребовался целый день. Кое-что я узнал из прежнего на Московском тракте. Те же «Красные ткачи», те же березы у Кормилицына. Но и нового сколько... Город давно перешагнул за село Кресты. Чуть ли не у самой Карабихи, обновленной и помолодевшей от вновь прихлынувшей к ней славы, рядом с некрасовским парком, мигает огнями своих черных этажерок, размахивает факелами горящего газа Ярославский нефтеперерабатывающий завод. И столько автомобилей на шоссе, — они идут сомкнутыми колоннами, бампер в бампер, дорогу перейти невозможно. А вот Великое... В центре и оно колготное, шумное, изменившееся, но отошел на десять шагов — и та же тишина посадов, старые дома... Непривычно, что новостроек почти нет. Селение без новостроек — можно ли его назвать перспективным? Да, но, может, и агропромышленным назвать нельзя? И почему это я решил, что раз географы о Диево-Городище пишут с оптимизмом, то это и к Великому относится?

...Гостиницы в селе Великом сейчас нет. Районный центр Гаврилов-Ям недалеко — семь километров, там чаще всего и живут приезжие, да ведь и приезжих-то мало. Так объяснили мне великоселы. Но я все же решил поселиться в Великом. Моя родственница, еще одна дедова сестра, ярославская учительница-пенсионерка Варвара Павловна, дала адресок своей подруги, тоже учительницы и тоже пенсионерки, Анны Николаевны Воробьевой. Они знакомы чуть ли не с гимназических времен.

Анна Николаевна, в отличие от полной, громкоголосой, семейственной Варвары Павловны, оказалась женщиной тихой, бледной, прямо-таки прозрачной. Она не выказала удивления по поводу того, что я так неожи-

данно у нее появился, не было и никаких расспросов, особых хлопот по устройству. В этой повадке я сразу узнал типичнейшую великоселку; так уж, я знаю, всегда считали люди, выросшие в Великом: лучшее проявление вежливости по отношению к незнакомому человеку — не считать его незнакомым. Ну, а коли человек свой, то какие тут могут быть особые хлопоты, какие ахи и охи?

Мне было отведено место в боковушке, на железной кровати, ногами к печи.

— Уж не знаю, не замерзнете ли? — сдержанно качала головой Анна Николаевна, кладя еще одно солдатское одеяло на постель. — Печь-то у меня в доме хорошая, да мало топлю. Что мне одной-то топить? А я и привыкла...

Верно, в большой избе-пятистенке, крепко поставленной на каменном фундаменте, было свежо, и весьма. Выстуженность словно подчеркивалась тонким, пронзительным запахом лекарств, во множестве стоящих на столе посередине комнаты. Через семь окон лился свет, отраженный от белейшего снега, и холодной белизной блистала печь голландка, выложенная крупными гладкими изразцами, сияющая корабельной медью вьюшек и заслонок. Как-то уж тут жилось раскидистому фикусу? Впрочем, и он с глянцевыми, тоже словно изразцовыми, листьями, должно быть, притерпелся к холодку.

— Великоват для меня одной дом-то, — объясняла Анна Николаевна, заметив, что я передернул плечами от холодной, светлой знобкости, давно, видимо, поселившейся в ее жилье. — Отец еще перед той войной поставил. Он сапожником был, очень хорошим мастером. Да вот и самого давно нет, и у меня муж с сыном с этой войны не вернулись. Так и живу... Вечером-то и дома не бываю — хожу к соседям телевизор смотреть. Я очень балет люблю. Конечно, можно бы купить телевизор подержанный, да одной как-то и смотреть неловко... А это вам с непривычки холодно: у вас, наверное, в Москве квартира с газом, с центральным отоплением?

И, услышав мой утвердительный ответ, покачала головой, сожалея о какой-то своей несбывшейся мечте:

— Видите...

Еще перед той войной дом поставлен. Большинство домов в Великом такого возраста. Сапожник строил дом на совесть, а о печи особо заботился — всем печам

получилась печь. Ей бы пылать жаром, греть спины и ладони домочадцев в зимний вечер, а она вот холодная... За печью, в кухоньке, тлеет у Анны Николаевны электроплитка, на которой она варит суп — в кастрюльке на одну тарелку — или одно яйцо, или кипятит кринку молока — на два дня... Быт одинокой пенсионерки.

В кухоньке же она угощает меня чаем.

— С дровами тяжело,— возвращается к разговору Анна Николаевна, и я замечаю, что при всей сдержанности она все-таки довольна появлением мимолетного квартиранта: хоть поговорить есть с кем.— Раньше проще было. Сад у меня порядочный, я найму покосчиков, сено продам, дрова куплю. А теперь и сено людям не больно нужно — не хотят коров держать. У нас на улице... сколько же?... да, считай, дома три всего коров-то и держат. Молока не у кого купить, хотя мне, конечно, соседка всегда кринку оставит. А и как держать? Кто в Яму работает, кто в Семибратове. Да и в магазине молоко бывает. Очередь, конечно. Вот сено-то еле-еле и продала. Но жить можно, что вы! По сравнению с тем, как жили, я очень довольна. Все жалуются, а масло выкидывают, о крупах и не говорю, колбасу завозят... Конечно, не как в городе, а все же... Да ведь у нас в Великом все так: то городом его считают, то селом — как выгоднее...

— Это как же так, Анна Николаевна?

— А так. Вся торговля у нас от сельпо,— как в селе, значит,— но сельских учителей по закону дровами должны бесплатно обеспечивать, а нас, великосельских, в этом случае, однако, городскими считают и дров не дают. Я и говорю: то село, то город...

Город? Село? Рабочий поселок? Агропромышленное поселение? Что же оно все-таки такое — Великое? Я иду в поселковый Совет — в Великосельский поселковый Совет. Даже тут есть нечто парадоксальное. Спаялись два слова — село Великое — никак не хотят разъединиться, упрямятся. И жители так и зовут себя: великоселами.

Мария Ивановна Козлова, председатель поселкового Совета, сказала:

— По административному делению мы рабочий поселок, тут никаких сомнений быть не может. А уж как

там по существу, вы сами разбирайтесь. Я вам цифры могу сообщить.

И она, вооружившись счетами, стала откладывать на них цифры, которые приведу и я.

Постоянных жителей в поселке Великом на 1 января 1972 года — 3000 человек. Кроме того, в зооветтехникуме — 600 учащихся и в производственно-техническом училище, которое готовит кадры для легкой промышленности, — 300. Итого, постоянных и временных 3900.

Тут сразу заметим, что в 1959 году жителей было 5100. На 1200 человек сократилось с тех пор количество великоселов.

Теперь — кто чем занимается. Около 700 человек работают в Гаврилов-Яме, на льнокомбинате «Заря социализма», 300 — в филиале Ярославского швейного объединения (потомок великосельской швейной артели), 110 — в филиале обувной фирмы «Североход» (потомок артели сапожной). Человек 100—200 ездят на работу в Семибратово, на завод газоочистительной аппаратуры, и трудятся в строительных организациях.

В зооветтехникуме, ПТУ, средней школе около 120 преподавателей. В больнице — три врача и тридцать человек среднего медицинского персонала. Еще человек сто работает в сфере обслуживания.

Итак, 1500 (вместе со средней школой) учащихся, 1500 рабочих и служащих... А сколько же занято в сельском хозяйстве? Оно представлено в Великом одной бригадой колхоза «Красная Поляна», центральная усадьба которого в четырех километрах от Великого, и состоит в этой бригаде около 30 человек. Следовательно, пенсионеров, домохозяек получается около 900 человек. Многовато...

Пощелкала Мария Ивановна пятнадцать минут на счетах, и от моего «бублика», от моей надежды причислить Великое к перспективным агропромышленным поселениям, осталась дырка. Какое уж тут «агро» — тридцать человек... Разошлись, видно, пути развития у Великого и Диева-Городища... И что тут сказать о перспективности, если население значительно сократилось? Надо же мне было еще после поселкового Совета зайти в школу, чтобы там директор Евгений Михайлович Семеновский назвал еще одну невеселую цифру: за двадцать лет количество учащихся уменьшилось почти вдвое. Тут, правда, надо заметить, что в близлежащих колхозах открыли

свой восьмилетние школы — раньше дети оттуда ходили в Великое. Но все-таки, если в поселении с тремя тысячами постоянных жителей набирается всего два первых класса, да при этом один из них состоит из воспитанников детского дома, привезенных из других мест детей, то тут есть над чем задуматься...

И что же теперь делать мне? Выпить еще одну кружку кисловатого пива в кафе, сесть на автобус и уехать? Но по атмосфере на площади никак не назовешь Великое угасающим поселением. Тут идет какой-то более сложный процесс... И я снова брожу и брожу по великосельским посадам, спорю сам с собой.

Рабочий поселок, рабочий поселок... Да, может, и дело-то в том, что село Великое и до рабочего поселка не дотянуло, и от села ушло, а агропромышленным поселением опять-таки не стало. Я понимаю, Хову-Аксы в Туве или Кудринка какая-нибудь под Москвой — это рабочие поселки. Там есть одно-два предприятия, с которыми связана вся жизнь поселка, там застройка в основном городская, там весь склад жизни почти городской. А в Великом живут рабочие, но по облику, по всему складу оно осталось селом. Дома те же, обиход домашний во многом тот же, — правда, электричество есть у всех, а телевизоры и газ в баллонах у многих. В сущности, большинство рабочих-великоселов — это современные «отходники», «маятниковые мигранты». Утром — качание маятника на работу, за пределы Великого; вечером — возвращение в Великое, домой. Там был рабочий — здесь снова сельский житель. Вернувшись, он смотрит на свое жилище, сравнивает его с заводскими домами... Дать бы дому ремонт, да был бы водопровод на улице, да наладить как следует газоснабжение, «свой дом» еще поспорил бы с городской квартирой... Но суммы, которыми располагает поселковый Совет для ссуд «на поддержание», — мизерны, водопровод строят уже семь лет: финансирование идет гомеопатическими дозами, и подрядчик в такой стройке не заинтересован. Предприятия, которое помогло бы Великому подняться, тоже пока нет. Ни гаврилов-ямская «Заря социализма», ни семибратовский завод Великое своим не считают. Вот и думай...

Вот и думают великоселы, взвешивая все эти условия. Какая-то здоровая основа для жизни есть, и она развивается, заставляет и магазины в Великом строить, и сообщение налаживать — рабочие же, студенты здесь живут.

Но в то же время и отмирание каких-то пластов в Великом продолжается. Оно словно бы ищет себя, не может определиться... Искать себя в таком-то возрасте — когда первое упоминание было в начале XIII века — нелегко. Почему так получается? Некоторое объяснение этому в истории Великого найти можно.

В этот раз я несколько дней просидел в библиотеке Ярославского краеведческого музея — смотрел материалы о Великом. Одним из авторов последней публикации, которая так или иначе Великого касалась, была Лилия Афанасьевна Костерина, сотрудница библиотеки. Она участвовала лет десять назад в работе музейной экспедиции по Гаврилов-Ямскому району, и об этом в сугубо специальном издании появилась сугубо специальная статья. Тем не менее статья дала мне повод познакомиться с Лилией Афанасьевной, и я ей сразу и очень определенно заявил, что мне «что-то такое хочется найти». Тем не менее Лилия Афанасьевна, кажется, поняла мои смутные устремления.

— Тогда я вам рукопись Ведерникова принесу, — пообещала она.

Странный свод записей, оказавшийся в результате на моем столе, как вскоре я выяснил, принадлежал не одному Ведерникову. В этой папке собрались и заметки, делавшиеся орешковыми чернилами на бумаге с водяными знаками «2 рубля асс.», которые, судя по всему, писались в шестидесятых годах прошлого века, и более поздние документы, и, наконец, справка о селе Великом, написанная уже в тридцатые годы нашего века. Видимо, Ведерников собрал эти начатые, но не доведенные до конца попытки составить летопись Великого, в которых факты значительные перемежались с происшествиями анекдотическими.

Библиотека музея разместилась в низком помещении, прислонившемся к внутренней стене Спасского монастыря. Я видел за окном башни под деревянными четырехскатными шатрами кровель, каменные крыльца собора, куранты под золоченой луковкой звонницы, и весь этот монастырский антураж помогал мне впитывать эпический слог великосельских летописцев.

...1820 года Свирепствовала (для вящего ужаса, что ли, это слово написал с большой буквы летописец?) в Селе Великом прилипчивая горячка, прекратившаяся

после обета сельских жителей ежегодно праздновать Божьей матери Боголюбской с хождением по селу со святыней.

...1825 года, во время Великосельской ярмарки, 1-го сентября похищена с местной Иконы смоленской Божьей Матери (все же очень вольно предки поступали с прописными буквами) жемчужная риза ценой 2210 руб. ассигн. Платили за нее старосты и причт церковный.

...Весна 1836 года — 23 апреля деревья стали процветать, а потом сделалась ужасная перемена погоды — сильные морозы с перепадением снега.

И вместе с такими эпизодами сельской хроники тем же почерком, тем же стилем записывалось:

...1826. Усмирен бунт гагаринских крестьян старанием Ярославского Гражданского Губернатора Александра Михайловича Безобразова, который нарочно прибыл в вотчину князя Гагарина в деревню Великосельского прихода Плотину (это чуть ли не великосельская слобода) и открывал там полное присутствие.

«Полное присутствие» означало всеобщую порку, а потом и каторгу для наиболее упрямых смутьянов-крестьян, откликнувшихся, как утверждают историки, на выступление декабристов. «Они думали, что царь хочет дать им свободу, а дворяне — против», — объяснял это в своих воспоминаниях великосел Савва Дмитриевич Пурлевский, человек прелюбопытной судьбы и живого ума. Но воспоминания этого современника А. С. Пушкина я прочел уже не в своде Ведерникова. На другой день Лилия Афанасьевна принесла мне отпечатанные на машинке, переплетенные, богато иллюстрированные «Очерки по истории пос. Великого». Их составили пенсионеры-великоселы Алексей Николаевич Карповский и Николай Константинович Маслов. К очеркам они приложили и воспоминания С. Д. Пурлевского.

Взяв впоследствии в великосельской библиотеке имевшуюся и там копию «Очерков», я пошел с ними по селу, как с путеводителем, и многое из прошлого ожило для меня...

Черный пруд площадью в восемь гектаров, Белый, да и другие, поменьше... Возможно, они и привлекли сюда новгородцев, переселившихся в XII веке в Ростовское княжество. Похоже, что первоначально село у Черного пруда называлось Приимковым. Есть предположение, что среди первых жителей села было много выходцев из

Хлопье́й свободы Господина Великого Новгорода. Они заложили улицу Охлопенку и дали начало распространённой в Великом фамилии Холоповых.

Проходя по бывшей Охлопенке, я вспоминал не то чтобы спор, а так — оживлённый обмен мнениями с весьма ученым московским историком. Он говорил, что между Россией средних веков и нашими теперешними представлениями, обычаями, привычками лежит непроходимая пропасть, ров, вырытый реформами Петра. Мы, так сказать, целиком послепетровские, а от допетровской Руси нам ничего и не досталось. Что-то мне не давало с ним согласиться. Я не верю, что мощные слои жизни, прожитой предками, бесследно, глухо лежат в толще исторических напластований, не имея никакого выхода в нашем сегодняшнем бытии. Да мы просто не осознаём, что многие черты склада нашего характера, наши пристрастия, привычки «запрограммированы» исторически и корни их уходят чрезвычайно глубоко.

Вот ещё об этом новгородском происхождении великоселов. Я и не догадывался раньше о нём, но с юношеских лет отмечал в великоселах то, что условно называл «скандинавскостью». Среди них много попадалось людей высоких, прямоносых, светлых, и некая суровость в обращении, суховатый, но меткий язык, сдержанность — всё это словно бы отличало их от обычного типа ярославцев, которых известный краевед прошлого века А. А. Титов описывал так:

«Житель Ярославского уезда отличается по большей части красивым типом лица, средним ростом, ловкостью, расторопностью, сметливостью, но большей частью мало силен (сравнительно, например, с жителем более южной полосы), хотя при случае не прочь и от тяжёлой работы. В характере его замечаются и хорошие, и дурные качества... Ярославец усвоил себе хорошие качества характера: ловкость, сметливость, вежливость в обращении и т. п., но, с другой стороны, он стал льстив, самоуверен, уклончив в ответах и склонен к обману, что, впрочем, в наше время вовсе не считается грехом, в особенности в среде люда торгового. Совокупностью таких качеств во время отхожих промыслов житель Ярославского уезда почти всегда достигает той цели, к которой стремится, и почти всегда берет верх над своим конкурентом».

В этих строках есть и поспешные обобщения, и многое устарело, но характер ярославца все же схвачен мет-

ко. Так вот, хотя и великоселы были известны своей деловитостью, она у них чаще соединялась с какой-то суровостью, строгостью, замкнутостью. И я узнавал великосельские черты в облике и обычаях многих наших северян — устюжан, печорцев, которые тоже, как известно, потомки новгородцев. На Печоре, услышав мою фамилию, меня спрашивали:

— Из наших, видно, краев?

Фамилия эта в северных областях распространена, и только теперь, узнав о новгородском происхождении великоселов, я объяснил себе переключку с печорцами. Да ведь и излюбленные великосельские блюда, кажется мне, тоже имеют северный уклон. Это и пельмени, которые делаются здесь на особый манер: раскатываются до бумажной тонины длинной, нетолстой скалкой круглые, на полстола, колоба, режутся на квадраты, а те уже «чинятся» мясом, заворачиваются куколкой; и крошенная опять-таки тончайше, в ниточку, лапша; и пресные колобья с творогом...

Наконец, я думаю и о названии села... Почему оно из Приимкова в некие незапамятные времена стало Великим? Только ли потому, что разбогатело, расстроилось? А может, и потому, что выходцы из слобод Господина Великого Новгорода хотели подчеркнуть свою связь с ним?

Новгородское происхождение наложило свою печать и на все социальное развитие села. Земли у «приимковцев» было мало — куда меньше, чем у жителей окрестных сел и деревень. В то же время вплоть до 1709 года Великое оставалось дворцовым селом — ни один боярин еще не успел наложить на него лапу. Дворцовые же крестьяне жили вольнее боярских: власть подальше — жизнь послаще. Малоземелье толкало на поиски приработков, а относительная воля открывала для этого кое-какие возможности, и потому издавна в Великом процветали ремесла.

Малоземелье так и оставалось, говоря ученым языком, постоянно действующим фактором великосельского развития: средний надел крестьянина Великосельской волости в конце прошлого века составлял три с половиной десятины на душу, а в самом Великом он был всего три четверти десятины, но вот пределы воли то сокращались, то растягивались.

Храм Рождества Богородицы, в котором хранит зерно

колхоз, напоминает о времени, когда великоселы из дворцовых крестьян стали боярскими. «Птенец гнезда Петрова», князь Аникита Иванович Репнин, рифмовавшийся в пушкинской «Полтаве» с самим «полудержавным властелином», получил Великое из клюва императорского орла за победу над Карлом шведским и возведением церкви обозначил свою власть в новом владении. Потом Великое принадлежало сыну Репнина, и тот был мягок по тем временам, брал с великоселов оброк, даже предлагал им выкупиться, так как крупно промотался. Великоселы, однако, требуемых денег быстро собрать не смогли, и Репнины продали сначала половину, а потом и все село Собакиным.

Савва Собакин, хваткий и жестокий «негоциант», основатель Ярославской полотняной мануфактуры, владелец уральских рудников, возведенный Петром в дворянство, решил прищемить разбаловавшихся великоселов как следует. Так, он решил заставить кузнецов, выстроивших в Великом целую улицу — Кузнечиху, покупать его уральское железо втридорога. Кузнецы отказались. Тут в перепалке Савва будто бы толкнул какого-то кузнеца на раскаленную заготовку, а остальные его в ответ изрядно помяли. Причем кузнец Петр Санников еще и приговаривал:

— По тебе, Собакин, и прозвание твое.

Наводили порядок в Великом солдаты, но легенда утверждает, что после этого Собакины переменили свою фамилию на Яковлевых.

Сын Саввы и в селе открыл полотняный завод, чем крестьяне были весьма недовольны. Но после младшего Яковлева Великое унаследовали семь его дочерей, они вновь стали собирать только оброк и вроде опять полегчало — до самого манифеста 1861 года великоселы успешно откупались от собакинских дочек.

На втором посаде, недалеко от бабушкиного дома, стоит самое примечательное в Великом здание: какой-то гибрид старорусского терема с небольшим европейским замком и коттеджем стиля модерн. Флюгер крутится на высоком шпиле башни, а если войти внутрь, то вас встретит мраморная лестница, цветной паркет, высокие дубовые двери, за одной из которых комната-грот. Здесь в некоей имитации карстовой пещеры, в углублениях стен гнездились южные растения, которые

вились по искусственным сталактитам и сталагмитам...

Все это великолепие принадлежит теперь детскому дому, но первоначально оно имело другое назначение. Оно должно было показать великоселам, чего добился, несмотря на их противодействие, род Локаловых. История этой купеческой семьи, вышедшей тоже из крестьян Великого, и отношения сельчан с ней чрезвычайно важны для понимания особенностей развития нашего села.

С XVIII столетия главным промыслом великоселов стала выделка льна. Великое — родина и метрополия знаменитого «ярославского полотна» — тончайшего, белейшего, неоднократно отмечавшегося на различных выставках XIX века. Отмена крепостного права подтолкнула развитие промысла — он стал подниматься, как опара, поставленная в теплую печь. Если уже в 1859 году Великое считалось самым крупным фабричным селом Ярославской губернии, то в 1868 году губернские ведомости писали, что в селе столько отдельных фабричек, сколько и крестьянских хозяйств. Каждый, мол, двор — фабрика.

Тут губернские ведомости кривили душой. Да, лен обрабатывался почти в каждом дворе. Но сельский бурмистр Алексей Локалов, занявшись с сороковых годов скупкой и перепродажей льна, к шестидесятым годам большую часть этих «фабричек» уже подмял под себя. В его раздаточной конторе в 1860 году работало 42 стана, да по домам, «в светёлках», на Локалова ткали полотно 800 станов. Все эти отдельные фабрички уже тогда составляли одну, рассеянную Локаловскую мануфактуру. Однако даже у тех, кто работал тогда на Локалова, оставалось представление, и небезосновательное, что они — сами хозяева, такие же, как и Локалов. Действительно, пусть у меня не восемьсот станов, а один, но есть же! Пусть у меня дом не как у Локалова, но тоже каменный. Пусть сад не такой доходный, но тоже есть что продать. И мы хозяева, и мы Локалову ровня. Различие между Локаловым и средними великоселами сглаживалось еще и потому, что в селе существовала прослойка купечества помельче, чем Локалов: тут были Моругины, Пичугины, Иродовы, Воронины, Латышевы — владельцы кожевенных, кирпичных, ваточных предприятий, трактиров и магазинов.

Так и получалось, что все великоселы принадлежали как бы к одному сословию и одной общине. Краевед А. А. Титов называл Великое селом «крестьян-собствен-

ников». Занятное определение. В общем, любой крестьянин — собственник. Почему это надо подчеркивать? Но Титов хотел особо выделить отдельность каждого крестьянского хозяйства в Великом, его зажиточность, потому и подчеркнул: «Крестьяне-собственники».

Тем положением, которого добились для себя великоселы в семидесятые — девяностые годы, большинство из них было довольно. Другого они не хотели. Здесь вроде бы осуществлялась иллюзия о процветающей общине, где каждый одновременно и хозяин, и труженик, и владелец, и производитель. Зажиточен, но не чрезмерно. Сам живет и жить дает другим. Владеет ремеслом, но и близок к земле. Использует в своем деле, так сказать, плоды науки и просвещения, но верен здоровым патриархальным заветам и трудовой морали большой крестьянской семьи. И им самим казалось, что положение их прочно, незыблемо.

В незыблемость, в жизнеспособность такой двойственной позиции и сейчас, словно бы стихийно, бессознательно, верят иные наши «деревенские» литераторы. Иллюзия прочности положения крестьянина-собственника, труженика и хозяина, словно бы витает над некоторыми произведениями, подталкивая руку художника, когда он пишет о прошлом, к мягким, пастельным тонам и расплывчатым контурам. Да разве так уж невозможна ты, страна Муравия? Так ли уж ты нереален, некрасовский Тарбагатай, где и кони сыты, и избы тесом крыты, и обильны стада, и на бабе душегрейка из соболей, и молот стучит в кузнице?.. А и весь секрет благоденствия — «мужику не мешай!».

Николай Алексеевич, думая о судьбах мужика, мог бы обратиться и не к той «страшной глуши за Байкалом», где он вместе с декабристом, героем поэмы «Дедушка», вымечтал осуществление утопической социальной программы. Он мог бы, кажется мне, приглядеться к хорошо ему знакомому Великому — от Карабихи километров двадцать. Пусть не в таком чистом виде, но и мои земляки отвоевывали себе право жить по принципу: «Великоселу не мешай!»

Но показательно, что из их среды и выдвинулся человек, который решил помешать жизни по этому принципу. В семидесятых годах Алексей Локалов обратился к великосельскому миру с просьбой продать ему землю для строительства фабрики. Его уже не устраивала «рассеян-

ная мануфактура», которую великоселы сами не считали чем-то противоестественным для себя. Он созрел для мануфактуры подлинной, неприкрытой, для фабрики. Тут уже великоселы увидели угрозу своему положению.

Почти в то же время капиталистический прогресс и с другой стороны мощно толкнулся в Великое. По проекту железная дорога из Москвы на Ярославль и дальше на Север, в Сибирь, должна была пройти через Великое. У горы Шухи, соснового холма, сложенного из чистейшего, крупного желтого песка, которым великосельские чистоплюйки добела отдирали полы в своих домах, грозила появиться железнодорожная станция. И опять великоселы, прежде всего именитые — Моругины, Ведерниковы, Пичугины, поднялись: не нужна Великому чугушка, пусть стороной тянут... Здесь, кажется мне, главными были конкурентные соображения. Пройди мимо горы Шухи чугушка, построй Локалов мануфактуру — все село будет под ним. Но эта конкурентная борьба обернулась в Великом своеобразно. Чтобы дать укорот алчному земляку, локаловские соперники использовали стремление великоселов законсервировать свое положение «крестьян-собственников». Конечно же напоминания и пророчества вроде: «Забыли яковлевский завод? Глядите, будут и в Великом корпуса с каморками, а чугушку пустите, так со своими домами распрощаетесь», — находили отклик в душах великоселов. Тут вот еще что важно: при том, что Великое шло, кажется, в первых рядах промышленного прогресса, в то же время самым уважаемым качеством великоселы считали верность старым устоям. Так уж повелось! С. В. Пурлевский, мемуары которого уже цитировались, так, например, объяснял беды, посыпавшиеся на его земляков, когда Великое приобрел Собакин-Яковлев. «Не за то Бог гнев на нас положил, — пишет Пурлевский, — что при князе вольничали (имеется в виду князь Репнин), а за то, что отступили от веры по старым книгам, погубила нас Никоновщина и сожительство с табачниками». Кстати, в Великом жило много староверов, здесь и староверческая церковь действовала.

В общем, упрямые великоселы ни железной дороге, ни Локалову свои земли не отдали. Отстояли великосельскость, сохранили свои каменные дома, сады со стлищами...

Но вот ведь что получается, когда против прогресса и проблем, которые он с собой несет, встают со знамена-

ми консервативного романтизма. Локалов, откупив в семи верстах от Великого болото, близ деревушки Гаврилов-Ям поставил-таки фабрику, которая вскоре стала одним из крупнейших льноперерабатывающих предприятий России. С каждым годом тень от гаврилов-ямских труб, падавшая на Великое, становилась все гуще. Великое терялось в этой тени, и великоселы все равно шли к Локалову.

А сколько раз они кусали себе локти, что отказались от железной дороги! Я помню, уже бабушка моя, собираясь в Великое, всегда ворчала:

— И раньше ведь были дураки, не тем будь помянуты! Если бы сейчас в Великом да железная дорога была — ух, какое было бы село. Куда Яму-то!

Эти слова, а они часто повторялись великоселами, — приговор потомков тем, кто поднялся против «чугунки». Конечно, и потомки хотели Великое Великим сохранить, но они уже понимали, что одним «чур нас от всего нового!» этого не добьешься. Поставив Великое в число аутсайдеров промышленного прогресса, они все равно не сохранили в конце концов своего положения крестьянина-собственника. Мы теперь знаем, что это исторически непрочная социальная фигура: расщепление хозяев-тружеников на небольшое число хозяев и большое — тружеников — естественный и неизбежный процесс при капитализме. Попытки великоселов подольше сохранить свою «двойственность» любопытны, но бесплодны...

Правда, еще перед той войной внешне оно держалось, Великое. К 1914 году здесь жило около шести тысяч человек. Село было в основном каменным, сложенным из своего же, великосельского кирпича. Пять центральных да еще четыре запрудных посада, три слободы. В центре — собор, склады, богадельня, магазины, трехэтажная гостиница, колокольня с часами, пожарное депо. На окраине — каменная больница.

И культура, хоть и не так уж она заботит великоселов, а все же развивается. Приходская школа, двухклассное министерское училище, женская церковно-приходская школа, четырехклассное городское, и в 1914 году открывается восьмиклассное коммерческое училище.

Противостоя конкуренции фабрик, портные и сапожники объединялись в артели. В 1910—1913 годах организовалась первая великосельская сапожная артель, шившая до тридцати тысяч пар обуви в год. Позже образо-

валось второе великосельское общество сапожников, во-бравшее в себя уже пять артелей. После революции все это называлось загадочным для меня словом Кушвей.

А какие ярмарки в Великом! Осенний базар — Никольский — овощной, фруктовый, мясной, разгульный. Зимний — Крещенский — лен, дрова, щепяные товары: бочки, кадушки, розвальни, шорные изделия — хомуты, сбруи, разный плотницкий инструмент — скобели, тесла, бызы... Запах дерева, кожи, полотна на морозе... До 300 возов съезжаются на площадь. Желтая лошадиная моча на снегу. Желтые самовары в трактире «Америка»...

И все-таки оно уже перестойное дерево, Великое. Каждый год отмечают свидетели того времени, как трудно идут дела у артелей. Мельчают сады, падает с них доход... Наконец революция, сметая все сословные преграды, широко открывая пути к образованию, к большому делу, ставит перед великоселами еще один парадокс. Они, великоселы, для которых нет лучше места на земле, чем родное село, привыкли всегда во всем считать себя первыми. Но тут вот какое дело — уже нельзя быть первым, оставаясь в Великом. И самые великосельские великоселы уезжают из села — на учебу, на работу...

Парадоксы двойственной великосельской души... Они мне известны. И по кому! Да опять-таки по своей бабушке Афанасии Петровне. У нее-то противоположность некоторых душевных качеств и черт характера приобретала и трагическую окраску. Я хочу, рассказав о ней, симпривизировать опыт исследования одной великосельской души.

Я вот сейчас добиваюсь четкого определения — Великое село или поселок по своей сути? А ведь жители его как раз и гордились тем, что они ни городские, ни деревенские, а именно великоселы. Звание это, по их мнению, было чуть ли не самым почетным на земле. То, что они относились свысока к деревенским, — ладно, понять еще можно. Но вот почему и горожан считали людьми ниже себя, попробуй объясни! А ведь считали... Когда в нашем ярославском дворе вчерашние деревенские жители вовсю старались себя показать настоящими горожанами, Афанасия Петровна поджимала губы: эка невидаль — город! Дома каменные, фу-ты, ну-ты... Да Великое все каменное. Живут тут в квартирешках, а у каждого великосела свой Дом. По-особому произносилось это

слово, с протяжным «о»: До-ом. А порядок какой в Великом, а чистота... Культура? Помалкивайте вы со своей культурой. Грубиян на грубияне, и девки все с парнями под ручку ходят. В Великом-то если уж гуляли, так вежливо, под ручку не брали, обнимали за талию. И поют в Ярославле — послушать нечего, глотку дерут. А вот Алексей Моругин, бывало, как заведет дишкантом — у всех сразу глаза на мокром месте. И одеваться умели в Великом, куда городским! Кофточка шерстяная «на котетке», с выточками, на груди — часы на цепочке, а парни — в «сертуках», стоячий воротничок, при галстукке... Вот оно как в Великом-то было!

Она меня тоже хотела воспитать «приличным человеком» и проводила свою программу спервоначала неуклонно и сурово: «Называй меня бабуся», «Проси прощения», «По крышам не лазай!», «С Горшком-хулиганом не водись!», «Платок в кармане?» — и так далее, и так далее... Понятно, что наши отношения не могли быть идиллическими. Всю сознательную жизнь у нас шла борьба с переменным успехом, то затихавшая, то обострявшаяся. В конце концов мы пришли к мирному сосуществованию. Она поняла, что из меня образцового великосела не получится, а я ее педагогические посягательства принимал с юмором и, случалось, для виду даже подчинялся.

Наверное, я тоже виделся ей в «сертуке» и манишке со стоячим целлулоидным воротником — таким был ее отец, патриарх многодетной семьи, знаток льна, «булыня» и прасол, ездивший его скупать для Локалова, и отец мужа — старший приказчик богатого латышевского магазина, и муж — Николай Павлович, служивший вместе с отцом.

Сама же она дома словно хотела быть всегда застегнутой на все пуговицы, как бы мысленно сохраняя на себе ту кофточку из темной шерсти с искрой, «на котетке» и с пелеринкой, в которой ее сфотографировали перед свадьбой, в десятом году... Шиньон, правильное, миловидное лицо с прямым носом, с этой самой великосельской «скандинавскостью», улыбка несколько натянутая, видимо сделанная по просьбе фотографа... Она сама дала увеличить эту фотографию и навсегда повесила над кроватью, как напоминание о коротком времени, которое, наверное, было для нее счастливым...

Наверное, говорю я, потому что точно не знаю. Бабуш-

ка никогда не рассказывала о своих чувствах к деду. Неприлично, неудобно... И вообще не любила «лизаться» — не были у нее в заводе все эти поцелуи, ласки, уменьшительные слова. Но где-то глубоко, — вот так, как в пасмурный день вдруг угадываешь за тучами живущее там солнце, — в бабушке угадывалась натура сложная и страстная. Есть слух — теперь-то уж можно сказать! — что с Николаем Павловичем, веселым, ловким, обходительным латышевским приказчиком, Афанасия сошлась до свадьбы и чуть ли не она была тут активной стороной. Так оно или нет, не известно точно, но после того, как Николай Павлович пропал в восемнадцатом году без вести, возвращаясь из австрийского плена, она — это уже не оспаривается — ни с кем из мужчин не перебросилась игривым словом и австрийские открытки мужа, перетянутые резинкой, бережно хранила в комод. Написанные не слишком грамотно, но ловким, наклонным писарским почерком, испещренные аккуратными черными вымарками австрийской цензуры, эти открытки словно бы и не интересовали ее, когда их брали другие... Но я-то подсмотрел, как она их перебирала одна!

Злые языки в Великом (а этим тоже славилось село) говорили еще, что Николай Павлович сознательно не вернулся к своей строгой и молчаливой Фоне. Мол, видели его на крыше теплушки где-то в Галиции, и он что-то такое говорил — не хочу возвращаться... Я этому не верю.

Он, конечно, был человек куда более открытый — рассказывают, засиживался в клубе, состоял ревностным членом великосельской добровольной пожарной дружины, которую так же, как и драматический кружок, создал в Великом фельдшер Илья Писарев — великосельский просветитель и душа общества, память о нем и сейчас еще жива в селе. В праздничной касторовой тройке выскакивал дед на пожар — для мира, мол, ничего не жалко!

Но и другое известно. При всей своей компанейскости Николай Павлович превыше всего ценил дом, До-ом... В 1910-м они приобрели просторный, крепкий деревянный дом в Гагаринской слободке и обставили его «приличной» мебелью. Буфет, украшенный порталом из точеных балясинок, шишечек, с каким-то полусолнцем посередине, комод под стать ему, с висячими, литыми, в завитках, скобками на ящиках — точно такой я увидел у Анны Николаевны Воробьевой: тоже когда-то, видно, был

крик моды! Стол и стулья на точеных ножках; «зерьгало» до потолка в черной раме расхожего в то время стиля «модерн» — все это впоследствии было перевезено Афанасией Петровной из Великого в нашу тесную городскую квартиру и сберегалось, не продавалось, хотя ножки стульев жучок уже источил внутри в труху, одна обложка осталась. Бабушка сама эти стулья «уколачивала» разными дощечками...

Да, видимо, как и для мужа, для Афанасии Петровны Дом олицетворял смысл жизни, тут все было реально и четко. Весь остальной Мир интересовал ее лишь постольку, поскольку имел отношение к Дому. Дом на Миру надо было представлять, и представлять достойно. Вот потому-то человек и должен быть таким, чтобы «на людях не стыдно было показаться»: почтенным, аккуратным, скромным, немногословным... Конечно, жест Николая Павловича — выскочить на пожар в праздничном костюме — не вполне отвечал кодексу представительства на Миру в том виде, как его исповедовала Афанасия Петровна, но она понимала, почему он мог появиться.

Забота о благоденствии и богатстве Дома, однако, никогда не толкала Афанасию Петровну к мелким ухищрениям, продажам и перепродажам, — а кто ими в войну и после войны не добывал приварок к скудному столу? Нет, она признавала лишь честные, абсолютно законные способы достижения благоденствия. Благоденствие Дома должно прийти как награда за беспрестанный умелый труд, строгость и экономию в домашнем обиходе... И она умела работать, умела вести хозяйство. Оставшись молодой вдовой, тачала сапоги в артели, в Кушвее, и обихаживала дом, — большой деревянный она обменяла к тому времени на маленький каменный. В хозяйстве любила раз навсегда заведенный порядок, и в Ярославле все у нее на кухне, от жестяной крышки и спичек до керосинки, ковшика и березового туеска, было «причережено» и «обихожено»... А кто лучше ее делал великосельские пельмени, кто ловчее крошил лапшу? Когда она раскатывала идеально округлый, тончайший, желтый, как луна в полнолуние, колоб и потом, сложив его книжечкой, крошила — быстро, изящно отрезая полоски толщиной в миллиметр, — то наблюдение за этой работой доставляло наслаждение.

Она сохранилась в моей памяти словно бы и неизменной за те почти тридцать лет, что мы прожили вместе.

И в том сороковом, когда она покупала мне в великосельской лавке «Старую крепость», и в шестьдесят третьем, когда вышла проводить к машине (а мы с женой уезжали надолго за границу), она кажется мне одной и той же. Только волосы стали белее, только черты несколько смягчились...

Лицо продолговатое, с прямым носом, твердые губы, твердый подбородок. И взгляд выцветших голубых глаз прямой, твердый. Волосы гладко зачесаны, заплетены в косицу, завернуты на затылке в крендель. Простоволосой ходила редко, дома покрывалась белой косынкой, а когда шла утром «по молоко», повязывала черный, шерстяной, в мелкий редкий оранжевый цветочек плат.

Идет прямо, слишком прямо, подняв подбородок, черное шевиотовое полупальто, черная юбка ниже колен, сухие ноги в бумажных чулках, начищенные туфли на низком каблуке. Туфли шил муж племянницы Геннадий: в магазине трудно было подобрать обувь на длинную, плоскую, с выступающими костями бабушкину ступню.

Ее многие считали человеком черствым, резким, замкнутым. Она если говорила, то только правду в глаза, как она ее понимала, не обинуясь. И уж «к слову» могла сказать! Сидит с соседками на лавочке — молчит, лицо непроницаемое, даже и на собеседниц не смотрит. Речь идет, к примеру, о том, как Федька Соколов похвалялся: вот кончит институт, вот квартиру получит, зарабатывать станет, да уж так заживет, так заживет... А сам-то попивает и попивает.

И тут Афанасия Петровна произносит, ни к кому не обращаясь:

— Замыслы-то наполеонски, а свод печников.

Замолкают: так припечатала, что больше и сказать нечего.

А что думала, прежде чем сказала? Это никто не мог угадать. В кино она не ходила и говорила, что радио не любит, но я замечал — прислушивалась. Книжек читала немало, хоть и не очень была грамотна, три класса церковноприходской школы. Но и о прочитанных книгах опять-таки не любила говорить.

Спросишь:

— Как, понравилось, бабуся?

В ответ промолчит. Только, может, махнет рукой и подожмет губы, полуотвернувшись. Мысли о прочитанном, вызванные книгой чувства, так же, как и все, что

касается отношений к мужу, к сыну и дочери, к внукам, — это ее личное, о чем говорить н е у д о б н о. Но действительно ли было у нее это глубокое, личное, что не исчерпывалось ее представительством на миру и в доме, или я это только предполагаю, безосновательно домысливаю? Нет, однажды эту скрытую, зажатую душу бабушки я ощутил в остром, прямом впечатлении. Это было летом сорок пятого года. Но прежде чем рассказать сам случай, мне надо будет сделать небольшое отступление от непосредственного анализа великосельской души...

...Мой отец, сын Афанасии Петровны, как и ее муж, а мой дед, тоже пропал без вести, но уже во вторую мировую, в сорок втором. Вернулись письма «за ненахождением полевой почты». Пришли в ответ на запросы официальные извещения. К маю сорок пятого и ждали, и уже не ждали... Но пришел этот май!

Я помню воздух того утра — студеный, легкий, крылатый. Ночной заморозок выжег весенние лужи подо льдом, и когда люди ранним утром слышали слово «победа», тысячекратно повторенное черными, по привычке казавшимися скорбными, бумажными глотками репродукторов, когда они выбежали после этого на улицы, то под ногами звонко и оглушительно трещал тонкий весенний лед.

Все двигалось к центру Ярославля, к Советской площади, к древней Ильинской церкви, и шли с флагами, с гармошками, даже оркестры уже играли. Кричали, пели, плясали. Холодный ровный ветер туго натягивал красные полотнища, а когда он давал себе мгновенную передышку и тотчас же мощно и ровно снова двигал воздух навстречу людям, красные полотнища, расправляясь, трещали, выгибались дугами, флаги становились прямыми как доска.

Ветер словно бы кричал, как кричит военный строй: ура-ааа,— но кричал беззвучно. Переводил дух — и снова: а-аааа...

Однако тем утром я быстро замерз (как же мы все замерзали в войну, — видно, нашим телам не хватало топлива) и забежал к родственнику, Юльке Жукову. Он был дома один. Мы ели жареную картошку с рыбой, когда зачем-то к нам зашла соседка Жуковых по лестничной площадке, молодая и холеная женщина.

— Мальчики, — сказала она, — что же вы рыбу-то ножом режете?

Мы посмотрели на нее ошарашенно. Она говорила так, словно сегодня был обычный день. Она, наверное, только что проснулась, была в халате и ничего не знала.

— Да ведь война кончилась,— сказал Юлька.

— Что? — раскрыла глаза соседка.— Правда?..

Только тут она услышала радио, кричавшее в комнатах (мы сидели на кухне), и кинулась нас целовать, а потом повела к себе. Она, кажется, была молодой женой какого-то пожилого начальника, бездетная, в войну собаку держала, и тут же принялась нас кормить невероятными, совсем мирными продуктами — маслом, колбасой, сгущенным молоком — и даже налила по рюмочке красного сладкого вина. И она смотрела на нас — так мне теперь кажется — и с материнской любовью, и с женской — как на мужчин будущего, мирного времени, и сама она воспринималась нами как ровесница наших матерей, но и не только: я помню ее руки, губы, помню, как задыхался, когда она прижимала мою голову к груди... Она напоминала нам о жизни довоенной и обещала жизнь послевоенную. Но та и другая была для нас изобильной, соблазнительной, обещающей, мирной жизнью.

Весь день мы с Юлькой потом бродили по улицам, по волжской набережной. Вечером на Советской площади толкались среди танцующих, и по головам людей шарили, скрещиваясь, прожекторные лучи, которые никого не пугали...

Вот с того майского утра мы в семье вновь — и уже без сомнений! — поверили, что отец вернется. Вокруг то и дело рассказывали о чудесных возвращениях отцов, сыновей, братьев, которые чуть ли не с первого года войны считались даже не без вести пропавшими, а погибшими, и вот приходили — живые-здоровые, с руками и ногами. И нам говорили: да придет Борис Николаевич, что вы, вот в одном доме на Чайковской... И мы уже словно видели, как он приходит, высокий, русоволосый, голубоглазый. Его новый коверкотовый костюм висел в шкафу, от него еще пахло папиросами. В нижнем ящике шкафа лежали его новые ботинки. Представлялось: проснешься, — а это он над тобой наклонился. Как тогда, ночью, перед отправкой на фронт...

И вот этим летом Афанасия Петровна тоже помолодела, повеселела, смеялась вечерами за картами, — свет теперь выключали реже, и мы играли в дурака, акулину или свои козыри.

Что-то в ней раскрылось...

Она нанялась ночной няней на лето в детский сад, выехавший на дачу. В этот детсад раньше ходил я, а теперь сестра, и бабушка взяла меня с собой. Детсад нанял на лето школу в деревне Нестерово. Кухню поставили временную, под горкой, на берегу речки Ить. Мы, трое или четверо школьников, «дети сотрудников», целые дни крутились у кухни-мазанки, кое-что нам тут перепало от котлов. Тут же мы и купались, плавали на самодельном плоту, а перебредешь реку — и тебя ждут в сосняках и осинниках по высокому правому берегу Ити грибы, ягоды.

Когда у бабушки случались выходные, мы шли с ней по грибы. Она называла их по-своему, по-великосельски: не сыроежки, а солодашки, не свинушки, а матренины губы, — и какое-то заячье ухо попадалось, и валуи, которые она звала кулаками, и белые — коровки.

Она не любила, когда я вертелся рядом, и отгоняла: — Не ходи за мной, не заплутаешься, кричать будем. И покрикивала издали «дишкантом»:

— У-у, у-у...

В то утро мы вышли еще затемно, что-то долго бродили, и когда, возвращаясь, вновь подходили к Нестерову, солнце успело разогреть лес. С жарой сразу же навалилась усталость.

С нашего, высокого берега сквозь сосны уже виднелась деревня, тут я не опасался заблудиться и решил, пока бабушка добывает «губы», полакомиться дикой клубникой — «бобами». Она во множестве росла на южном, теплом склоне глубокого, сухого оврага.

Я чуть спустился в овраг, лег на живот и, переползая в сухой и душистой траве, выискивал круглые, крепкие, бело-розовые клубничины, красиво повиснувшие на длинных стеблях, как молочные шары — светильники на тонких, изогнутых мачтах висят теперь над городскими улицами.

Внизу, справа, в устье оврага, виднелся треугольник реки, по ней перебежал редкий, торопящийся туман.

Шумели сосны. Тишина и тепло укрывали меня.

И вдруг я услышал песню.

Женский негромкий, но приятный голос, совсем еще, показалось, молодой, тянул протяжную мелодию в утренней сосновой тишине:

Хаз-Булат у-да-лой... бедна са-акля твоя...

Я выполз на край оврага и взглянул из-за пня: кто же это?

Это была бабушка.

Никогда до этого я не слышал, как она пела, да и не пела она никогда. Даже до войны, когда гости собирались, не пела. И вот в лесу, одна, этим летом сорок пятого года — запела. Я и поразился, и испугался чего-то, и словно стыдно мне стало: я увидел тайное, скрытое у нее от всех и даже от самой себя. И жалость во мне к ней пробудилась: песня звучала как последняя надежда. И еще я злился на нее в это мгновение: почему она не всегда такая, почему это человеческое зажато, погребено в ней? И в этом я винил тогда село Великое — каменное, тяжелое, упрямое село: оно такой ее сделало. И наперекор всему этому жгучая, до слез, поднималась любовь — и к бабушке, и к селу Великому, и ко всей жизни, непонятной, перепутанной, жестокой, и доброй, и такой притягательной...

Может, вот так, разбирая сейчас то, что я чувствовал, услышав пение бабушки, я и грешу против истины: не мог же я тогда, в одиннадцать лет, анализировать свои переживания. Но комок, вставший в горле от той песни, — он во мне, и сегодня я разбираю разумом, а тогда понял внутренне все сразу, хотя у меня и не было еще слов, чтобы выразить это понятное.

Сколько же ей тогда было? Пятьдесят восемь уже...

Нет, никогда больше я не слышал, чтобы она пела.

Шли месяцы и годы, уходила надежда на возвращение сына, подступали болезни... Еще только об одной вещи мне хочется сказать. Она никогда не отличалась верой в бога и до войны в церковь не ходила. Но в войну, когда многие обратились к религии, и она с соседкой несколько раз посетила Федоровскую, а дома повесила икону Казанской божьей матери. Она хотела и меня крестить, но я, воспитанный отцом на журнале «Безбожник» и стихах Маяковского, не дался. И вот уже после войны она как-то сняла икону, чтобы, как обычно, протереть, но больше ее не повесила... С богом тоже все закончилось. Шла у нее скрытая, тайная, духовная жизнь...

Да, мы жили мирно в ее последние годы. Но во мне она не видела продолжения той жизни, которую понимала. Не Дом меня привлекал, а Мир, не чинное представительство в нем, а открытость общения... куда какими были мы максималистами!.. Она помогала мне во

всем и, когда родилась дочь, не одну неделю прожила в общежитии на Ленинских горах, хотя все эти лифты, столовые, шумные студенческие сборища были уж совсем не по ней.

Афанасия Петровна умерла, когда я жил за границей. Хоронили ее без меня.

Не Дом, а Мир... Двадцать лет тому назад у многих из нас это противопоставление прямо-таки в крови растворено было. Все, что окружало рядом,— в Ярославлях, Великих, Калязинах, Кимрах, Угличах,— казалось привычным, скучным, тупиковым. Все настоящее было далеко — в Москве, Сибири, на Дальнем Востоке. Не терпелось оставить дом и жить без кола и двора, без быта и квартиры. Пожалуй, наши отцы первыми испытали это нетерпение и передали его нам.

В свое последнее ярославское лето, уже окончив школу, мы с приятелями как-то бродили по великосельской и ростовской округе — решили добраться до истока Которосли. Шастали по болотам вокруг озера Неро, отдыхали на стогах сена. На выкошенной сырой луговине испугнули птицу — она вылетела из-под ног и тут же стала отводить от гнезда: вспорхнет — сядет, вспорхнет — сядет...

Которосль недалеко от Неро сливается из двух рек — Вёксы и Устья. Вёкса берет начало в самом озере. До вытека ее мы тогда не дошли — топь,— но на самой Вёксе опять-таки испугнули утиное семейство. Мамаша и желто-серое потомство как дали стрекача по воде, только лапки замелькали...

— Где дают? Что дают? — кричали мы вслед.

Реки Вёкса и Устье сливаются, чисто, красиво. Церквушка там или часовенка стояла на стрелке, через Которосль перекинут мост из гнучих тесин...

Уж под вечер шли по жирным, пахнущим илом огородам ростовской низины. Выдергивали сладкую морковь — каротель. И вдруг на заброшенной проселочной дороге — цыганский табор. Брезентовые шатры, костры пляшут, пасутся стреноженные лошади.

— Дай рубль, красивый молодой,— приставала цыганка,— дай рубль, любовь нагадаю, дорогу дальнюю..

Мы убегали от нее, она кидала нам вслед морковь, мы смеялись...

У села Макарова вышли на Московский тракт, до-

рогу дальнюю. Желтым тихим светом горели огни изб, девушки в смутных белых платьях собирались под липами, там тихо играла гармошка. В само село с полей и из леса уже вплывал прохладный ночной воздух, но рядом жарко дышал асфальт большой дороги, и тут, около него, все виденное за этот день и само это село, липы, помню, сразу показались такими скучными, такими надоевшими.

Тяжелые, сердитые, глазастые машины налетали с шумом, фырком, как майские жуки, и тут же скрывались, оставляя за собой на мгновение красную точку света в темноте... Страшно хотелось уехать, и уж никак не думалось, что тот день, такой обычный, останется в памяти. Но остался же, и сегодня я вижу в нем даже что-то пророческое. В том, как мы бесшабашно выгоняли птиц из гнезд, как пришло к нам видение цыган — вечных кочевников... Еще тогда, когда мы без сожаления оставляли наш тогдашний Дом, он уже предупреждал нас о будущем сожалении, и все равно он вошел в нас и был с нами все эти годы.

Так что же теперь — сказать по-великосельски: не Мир, а Дом? Заняться возделыванием своего сада? Но противительные союзы не так смелы, как кажутся. Гораздо было бы смелее поставить союз «и». И Мир, и Дом... Не отдает ли это, однако, фанфаронством? Оно изменилось с тех пор для меня — понятие Дома. Что скромничать, оно для меня многослойнее, чем для моей бабушки. Когда я говорю о Доме теперь, то вижу и всю страну, знакомую и исхоженную, от ласковых песков залива Анива на Сахалине до нарядных закарпатских елей — смереков. Это тоже мой Дом... Но тогда какое же место занимает тот, юношеский Дом — Ярославль и Великое — в моем Доме сегодняшнем? Любимый образ яблока помогает мне. Оно все целиком — едино и все прекрасно: кожура, мякоть, даже сердцеобразные жесткие чешуйки внутри. Но вот маленькие черные зерна. Тайное тайных, кодовая запись дерева, каждого листа и каждого будущего плода. Из разных зернышек — первоначальных детских впечатлений — начинает расти в наших душах раскидистое понятие Родины. И для русского, естественно, это зерно — его село, его город... Его город и его село. Наш сегодняшний, большой и многоязыкий Дом, вобравший в свою историю прошлое многих народов, в свои советские обычаи — обычаи разных племен и наций, будет тем богаче, чем больше каждый народ, каждый

край внесет в этот Дом своего, неповторимого, самого что ни на есть ценного у него. Вот тут-то, понятно, я с особой ревностью смотрю на нашу среднюю и северную Россию — на те края, где и завязывалась, как яблоко, вся наша Русь — так ли много она сегодня дает, как могла бы дать? Все ли свои ценности сохранила и умножила? И не слишком ли легко мы, жители этих краев, покидали свои родные гнезда?

Да, расширились и окрепли главные промышленные центры — и старые, такие, как тот же Ярославль, и новые, как Череповец (пусть его история исчисляется сотнями лет, но, в сущности, это молодой двадцатилетний город). Не говорю и о том, какими стали люди: рост образования, культуры — это у всех на глазах. В последние годы куда бережнее стала охраняться память народа, воплощенная в древних храмах и поселениях, в наших лесах, в старинных парках... А вместе с тем идешь по старым ярославским селам, по маленьким городам — Любиму или Тутаеву, Великому или Курбе — и видишь еще так много заброса, неустроенности, и это в тех самых местах, которые славились своими ремеслами, ярмарками, садами и огородами. Тут, на волжской пойме, — не забудем это — были выведены такие породы скота, как ярославская корова и романовская овца, здесь родилось русское льноводство. И ведь отсюда, с ростовских огородов, бывало, возили в Москву и Петербург спаржу и артишоки. Нет, говорят, в этих селах и городах базы, то есть такого предприятия, которое бы держало на себе все интересы населения и взяло на себя все заботы города. Считается, что в этом путь омоложения старых русских городов и бывших торгово-промышленных сел. Приводятся в пример Углич и Рославль, скажем... Согласен, это важно. Но не хватит каждому городку филиалов промышленных гигантов. И тогда они обречены на угасание? Но большинство из них — это места, обживавшиеся столетиями, по которым, как по геологическим обнажениям, наглядно можно изучать историю русского народа. Мне кажется, что и история Великого в этом убеждает... Были ли исторические причины для угасания Великого? Да, и мы говорили с вами об этом. Царил ли в этих селах и городках дух собственничества, ограниченности, замкнутости? И об этом шла речь... Именно эти пласты жизни и сейчас словно бы еще дотлевают тем тонким, еле видимым, червячным каким-то жаром, который пере-

бегают по уже почти совсем погасшим угольям. Но ведь те же великоселы были не просто собственниками, не просто хозяевами, а хозяевами-т р у ж е н и к а м и, великими, умелыми тружениками, которые оставили нам в дар это древнее каменное гнездо. Отказываясь от всего собственнического в их наследстве, как же развиваем мы их трудовые традиции? Ведь есть же еще запас жизненной энергии в упрямом селе, оно живет. Чем помогаем мы этой упрямо продолжающейся жизни?

От отца мне осталась вышитая льняная косоворотка. Он любил ее и надевал по воскресеньям, отправляясь в гости к теще, в подъярославскую слободу Починки, или даже в центр, чтобы пройтись по волжской набережной. Бывает, летом и я надеваю ее, но только дома: теперь в таких не ходят... Можно посмеяться: уж эта любовь к исконно-посконному, к лаптям и берёстам... Попробуйте посмейтесь при грузине, когда он подносит вам свою братскую чашу с вином, унаследованную от отца. Он воспримет это как оскорбление. Почему бы и мне иначе воспринимать насмешку над льняной косовороткой? А вообще-то, даже оставляя в стороне чувства такого рода, стоит заметить, что нет летом лучше одежды, чем из тонкой шелковисто-серой холстинки, прочной, мягкой, прохладной... Но холстинка — это еще не ярославское полотно... Из того были полотенца у бабушки, тончайшие, хрусткие, снежно-белые. В Великом выделялись и грубые холсты, и холстинка, и полотно — великоселы любили северный шелк. Бабушкин старший брат, Алексей Петрович, большой знаток льна, учившийся у своего отца — локаловского «булыни», на взгляд определял и номер волокна, и его происхождение.

Когда я рассказывал в Москве, в какое село собираюсь, мне давали наказы:

— А ты привези-ка сувениры из льна. Салфетки там какие-нибудь...

Я мялся:

— Да какие сувениры?.. Нету их там...

— Что ты, — уверяли меня, — теперь сувениры где только не выделяют, а чтобы в таком селе, да не было... Не может быть.

И я втайне надеялся, что мой пессимизм не оправдается и я привезу в Москву чего-нибудь такое великосельское...

Пессимизм оправдался.

Александр Дмитриевич Барашков — представитель одной из тех фамилий, которые пользуются в Великом особым уважением. И сегодня еще великоселы делят себя на «коренных» и «мологских». «Мологские» — переселенцы из города Мологи и окружавших его сел. Это великое переселение случилось в тридцать восьмом — тридцать девятом годах, когда старая Молога ушла под воды новорожденного Рыбинского моря. Честно-то говоря, если бы не «мологские», то население Великого сократилось бы к нашему времени еще значительно: ведь именно «коренные» первыми и уезжали из села, как о том уже говорилось. И все же эта кастовость нет-нет да и напомним о себе: «коренные» считаются рангом выше. А Александр Дмитриевич не просто коренной. Барашковы были закоперщиками великосельских сапожных артелей, заводилами артельной великосельской промышленности. Вся история ее прошла на глазах и при участии Александра Дмитриевича, да вот и сейчас он работает в филиале Ярославского швейного объединения.

Не могу удержаться от слов, уже не раз повторявшихся: типичнейший великосел. Высок, невозмутим, себе на уме, скуп, но точен в ответах... И черное пальто с каракулевым воротником, и каракулевая шапка — все при нем.

Он избегал эмоциональных оценок того, о чем рассказывал. Только факты... Производство растет, конечно. Новое оборудование получили, японское. Разместить как следует, однако, негде. Смотрите сами — цехи расположены в старых домах, в небольших комнатах. Да, вопрос о расширении ставили, он и сейчас стоит. Нужен новый корпус, и проект есть, но невозможно найти подрядчика, — дельце невелико, строители не берутся, у них есть заказы и повыгоднее.

...Продукция?.. Что ж, продукция — нижнее и спальное белье. Вот детская рубашечка спальная. Из ситца, конечно. Везем ситец из Шуи, из Тейкова. Ситец поступает нерегулярно, перевозки тяжелые... Фабрика имени Тельмана должна кружево для отделки поставлять, но давно уже кружева не видели. А без него рубашечка уже не та. Но спрос есть, конечно. По реализации все показатели выполняются.

Нет, из Гаврилова-Яма, с «Зари социализма», ничего не получаем. У них же лен, да и свой швейный цех есть. Нет, они, разумеется, и в другие места свою продукцию

для пошива посылают, но не нам. У нас другая специализация...

Александр Дмитриевич, как истый великосел, от эмоциональных оценок воздерживался. Но я-то не «коренной» и даже не «мологский», моя родословная безнадежно испорчена, и потому у меня возникают — что скрывать! — отрицательные эмоции.

Ну, к примеру, ночное и нижнее белье — продукция, прямо скажем, не самая сложная в исполнении, и до сих пор я считал, что куда как выгоднее такие вещи делать на крупных, хорошо оснащенных технически швейных конвейерах. Там изготовление рубашечки детской, спальной, копейки бы стоило, и эти рубашечки, — которых, кстати, не хватает, особенно с кружевом, в прессе об этом писали, — на таких предприятиях можно было бы распрекрасно пошивать. Лучшая ли это продукция для филиала, где нельзя установить современное оборудование?

И еще недоумение. Везут ситец в Великое за сотни километров, предприятия его поставляют с перебоями, в Шую и Тейково направляются из Великого толкачи... При мне как раз один из сотрудников филиала собирался в Иваново, и Александр Дмитриевич наставлял его, как сделать да что сказать, чтобы выбить контейнеры с ситцем. Рядом же, в семи километрах, один из крупнейших льнокомбинатов страны. Неужели выгоднее шить рубашечки из привозного ситца, чем, к примеру, мужские летние куртки из льна с лавсаном, с русской вышивкой по карманам и воротнику? Я видел такую, привезенную из Чебоксар, потом и в Москве искал, и в Ярославле спрашивал — где там! Или те же холстинковые брюки, или льняное постельное белье — высшего качества, с какой-нибудь там мережкой, с вышивкой гладью... Неужели не выгоднее?

Тут ведь надо и традицию учитывать. Традиция — тоже стоимость, и высокая. Поставь рядом мед башкирский и, к примеру, владимирский. Пусть даже они будут одинаковы по качеству, но купят башкирский: за ним традиционная репутация. Дай рекламу, что льняные платья сшиты в Великом, родине ярославского полотна, известном тем-то и тем-то, — и стоимость платья растет в глазах покупателя.

Представляется, что гораздо бы разумнее такие предприятия, как филиал в Великом, ориентировать на

производство вещей, так сказать, штучных или малосерийных, высококачественных, с элементами народного прикладного искусства. Приглядитесь, как это организовано в Польше хотя бы фирмой Цепелиа, которая объединяет небольшие предприятия в сотнях городков и местечек. Я однажды уже и специально писал об этом, не хочется повторяться. Но как там ценят традиции, как используют их — гибко, умело... Ведь маленькое предприятие и перестроиться может быстрее, откликнуться на призывы моды. Это хорошо, что оно входит в большую фирму, но фирма должна учитывать и как можно выгоднее использовать особенности своих филиалов, а не превращать их в стандартные цехи на отшибе.

Привели меня в Великом к одному старикану сапожнику. Он дома шьет дамские сапоги на заказ. Вы бы посмотрели, как работает этот виртуоз сапожного ножа и молотка. Представляется, что высококачественный ручной труд и в наше время еще может найти свое место — там, где требуется особое качество, где нужно подчеркнуть индивидуальность товара... И тут можно было бы разумнее использовать высококачественный ручной труд в небольших предприятиях. Нет, не возвращаться к кустарничеству мы призываем, но там, где это возможно, и в тех масштабах, в каких выгодно, сохранять традиции ремесла необходимо.

Старик сапожник, конечно, жаловался, что «товара подходящего нет». Это я еще могу понять. Но вот чтобы льняных материй рядом с Гаврилов-Ямом не хватало, это у меня в голове не укладывалось, и я решил побывать на «Заре социализма». Хоть когда-то именно эта фабрика, как ель подсушивает выросившую ее березу, погасила льновыделку в Великом, но, в сущности, сейчас она великосельские традиции и продолжает. К тому же, вспомним, 700 великоселов ежедневно отправляются к станкам комбината. Тут, кстати, меня интересовало, всех ли желающих работать там великоселов может принять комбинат, надежен ли он как работодатель для жителей Великого. Ведь семь километров по нашим временам не расстояние, не трудно добраться из Великого до Яма.

Первое, что я выяснил: семь километров — это все-таки семь километров. В автобусе давка, хоть я еду и не в часы пик, дорога разбита... Не самое приятное испытание для нервов перед рабочей сменой.

Проезжаем деревню Плотину, где стараниями губернатора Безобразова пороли гагаринских мужиков, потом плотину через Которосль, выстроенную Локаловым, и за рекой белеет еще один локаловский дом — отец и сын Локаловы, а потом их наследники Лопатины утверждали себя и в Яму, и в Великом...

Красные трубы фабрики, кирпичные корпуса — типичный рабочий поселок, выросший в районный городок. Новый ресторан — никак не могу прочесть название, сплетенное из кованого железа словно бы старым уставом. Наконец понимаю: «РУСЬ»... Русь, Русь, не стилизованная, не пряничная, — вот она, вокруг.

Комбинат — пар из дверей, банный запах; полотна требуют для выделки тепла и влаги. Предбанничек перед кабинетом главного инженера, и тут небольшая неожиданность: главный инженер — женщина, Клавдия Александровна Степанова. Собственно, удивляться нечему, но, начитавшись истории, я хорошо представлял себе главного специалиста Локаловской мануфактуры — англичанина Девисона, Романа Романовича, как его окрестили в Яму. В кепи, в белом пиджаке, с седыми английскими усами, с трубкой, он смотрел на меня со старой фотографии — воплощенное самодовольство. И вот на его месте — Клавдия Александровна...

Она с кем-то говорила по телефону, напористо, смело. Потом приняла нескольких рабочих, дела решала быстро и внимательно. Я ждал. Мне нравилось в ней совершенно естественное сочетание деловитости и женственности. В черном сатиновом халате, видна веселенькая, какая-то полосатая кофточка. Молодая, — пожалуй, сорока нет.

— Сравнить хотите? — усмехнулась Клавдия Александровна. — Старое и новое... было и стало... Что же, сравнить есть что.

Я быстро записал, что, хотя на комбинате теперь работает не десять тысяч человек, как при его последнем дореволюционном владельце Рябушинском (Локаловы-Лопатины продали ему предприятие перед первой мировой войной), а всего шесть, но продукции оно выпускает в несколько раз больше. Года три назад началась и сейчас заканчивается очередная реконструкция. Поставлены сотни новых станков-автоматов, новое отделочное оборудование... Производительность труда за прошлую пятилетку выросла на 75 процентов, в этой — должна под-

няться еще на 55. Высокий уровень подготовки кадров — рабочих, инженеров, художников. Продукция идет на экспорт, да и в стране раскупается нарасхват. Как и везде, растет заработная плата, улучшаются условия труда и быта...

— А только что в селе Великом швейники мне говорили, что льняных тканей не хватает,— влез я с вопросом хотя и в содержательный, но... уж слишком отчетный рассказ главного инженера.

— И правильно говорят,— оживилась Клавдия Александровна. Видно, и ей невесело делать эти отчеты перед появляющимися время от времени журналистами. Гораздо интереснее о нерешенном говорить.

— Вот даже Великое на ивановском ситце работает.

— Им-то, если бы нужно было, мы бы дали,— ответила мое замечание Клавдия Александровна.— Но льноволокно мы недополучаем, и особенно высоких номеров, тонкое. Выпускаем лен с лавсаном — хорошая ткань. Но для нее лен мы должны на комбинате перечесывать. А вот то, что мы вынуждены хлопком заниматься,— это уж совсем непорядок. У нас и оборудование на хлопок не рассчитано, и авторитету нашей марки это не способствует... А что делать? Нет льна...

После беседы с Клавдией Александровной я несколько часов ходил по комбинату. Моим спутником был инженер Юрий Александрович Фомин, потомственный гаврилово-ямский текстильщик, учившийся в Ленинграде. Перебирали полотенца, знаменитые гаврилово-ямские скатерти, цветные гардинные ткани... Ассортимент был, конечно, куда обширнее, чем при Локалове, да и нравилась мне сегодняшняя продукция. Но вот в кабинете, где хранятся образцы всех товаров, выпущенных предприятием за сто лет своей работы, его радушная заведующая стала доставать старые скатерти, белье, полотенца. Она сама, кажется, была довольна, что представился случай вытащить все это.

— Давно не видела, а подержать в руках — и то приятно,— говорила она.

И верно, какое же это было полотно! Его поверхность заставила меня вспомнить изразцы на голландской печи в доме Анны Николаевны Воробьевой. Богородная гладкость; уплощенность волокон; тонкость в

сочетании с упругостью; холодок, который чувствуешь, прислоняясь щекой к матери, и внутренняя живая теплота под этим холодком... Хорошие выпускает ткани комбинат сейчас, и много, но что поделаешь — этого элитного благородства старого полотна им недостает. А нам нужны вещи такого ранга, — кроме всего прочего, они и воспитывают.

Я спросил Юрия Александровича, почему такое качество недостижимо сегодня.

— Прежде всего волокна нет, об этом уже говорили, — ответил он, — а потом, поглядите, как волоконца-то расплющены. Сказывают, наши деды в ступах пестами полотна толкли для мягкости и тонины. Мы при наших масштабах этого позволить себе не можем.

— Так ведь, вероятно, такая операция машинам под силу?

— До этого руки не доходят. На обычные ткани льна не хватает, о батисте думать пока не приходится.

Заботы льняной промышленности, правду говоря, не были для меня новостью. Об этом писали газеты, да и много рассказывал мне о льняных проблемах горьковский партийный работник и литератор Ким Ильинич, чей обстоятельный очерк «Дедушка-лен» обстоятельно разбирает причины застоя льноводства: недостаточная механизация полевых работ и первичной обработки льна, неудовлетворительное материальное стимулирование труда льноводов, неважная организация семеноводства...

Все так, но когда следствия всех этих причин увидишь в натуре, да еще в одной из самых старинных и славных вотчин русского льна, то прямо-таки саднит душу. И это опять-таки имеет самую прямую связь с демографическими проблемами Великого. Когда я спросил Клавдию Александровну, может ли комбинат предоставить работу всем желающим великоселам, она ответила:

— Еще бы нет! У нас же триста пятьдесят вакантных мест на комбинате. Так ведь не так уж охотно к нам и идут... Непрестижная профессия. С нашего комбината и коренные-то, гаврилов-ямские работницы каждый год уезжают — и в Сибирь, и на Кавказ, и в Среднюю Азию. Везде сулят заработки выше, условия лучше, разные льготы... А у нас — ни льгот, ни особых условий. Теряет лен притягательность и для рабочего, и для крестьянина.

И для крестьянина... Что же, пройду по великосельской льняной нитке до конца, а вернее, до самого ее начала — до льняного поля. Крестьянина-льновода в Великом я опять-таки не найду, но неужели и в великосельской округе совсем не жалуют лен? Я решил двинуться в колхоз «Красная Поляна», который своей бригадой представляет в Великом сельское хозяйство.

Поляна, Поляна... Именно тут, в правлении колхоза, мы с бабушкой когда-то и сменяли классный журнал на ведро молока и полмешка муки. Что-то даже припомнилось: изба правления, деревня на взгорке... Нет, ничего не узнал, да и до деревни-то старой не доехал. Перед ней меня поджидала новая Поляна — школа, мастерские, клуб, правление колхоза. Строения все свежие, из белого кирпича, под шифером, выведенные солидно и с размахом. Давно я не бывал в ярославских колхозах и, привыкнув в послевоенные годы к прокуренным избам правлений и бревенчатым фермам, обнесенным жидким пряслом, нередко еще под соломой, как-то вскинулся даже, увидев новую Поляну. Еду говорить об упадке льноводства, а тут, гляди, подъем налицо! И сожаление какое-то промелькнуло у меня: вот быть бы Великому действительно агропромышленным селением, — наверное, жизнь веселей бы шла, основа жизни была бы прочнее.

Ощущение подъема, прочности, уверенности, которое возникло при первом взгляде на Поляну, усилилось, когда я познакомился с членами правления и его председателем Вадимом Сергеевичем Королевым. В этот день они обсуждали новые нормы оплаты. Колхоз получил сборник рекомендованных Министерством сельского хозяйства норм, и надо было подогнать их под свои условия, «сделать привязку», как сказали бы строители.

Скучное, казалось бы, занятие — слушать, сколько надо платить за вывозку навоза или перепашку междурядий, а оказалось — нет, занятно. Члены правления не формально обсуждали нормы, а как хозяева, часто и не соглашаясь с рекомендациями министерства, и тут же свое несогласие подтверждали примерами:

— Что-то маловато за перепашку-то... Я ж помню, Борька Малышев у меня на ней сидел, ты еще тогда, Вадим Сергеич, в бригаду заезжал, ругался — ну никого на нее не пошлешь. Надо копейки накинуть...

И еще это обсуждение помогало в некоем обобщении увидеть, как усложнился, насколько стал квалифициро-

ваннее труд земледельцев. Десятки разных работ они выполняют теперь, о которых раньше в ярославских колхозах и речи не было: культивация различными луцильниками, опрыскивание, механизированная разброска навоза, работа на сенокосилках и пресс-подборщиках, секторные способы полива, прикатка пахоты...

Солидным предприятием стал ярославский колхоз. Вот сидят инженер с высшим образованием, агроном — с высшим, экономист тоже. А председатель — аспирант, без пяти минут кандидат наук.

Вадим Сергеевич говорит тихим голосом, лицо тяжеловатое, в резких складках, крестьянское лицо. Еще нет сорока. Сам из ивановских. Только улыбка, острая и не без яда, которая нет-нет да и изломает его обветренные, крупные, жесткие губы, выдает: это человек, должно быть, нестандартной мысли и в работе азартен.

«Красной Поляне», хорошо оснащенной техникой, обладающему прочной экономической базой, строящему свою работу на современной научной основе предприятию, уже не так страшны самые крутые перепады погоды, — а на них куда как щедр ярославский климат. Да что, в страшном семьдесят втором году, когда от Владимира до Смоленска воспаленная земля задыхалась в горьком дыму горящих лесов, даже и тогда «Красная Поляна» получила по восемнадцать центнеров зерна с гектара, — раньше в самые удачные годы это считалось выдающимся урожаем для наших мест. Теперь же при нормальной погоде и тридцать центнеров получить, так не удивишь. Хорошее молочное стадо в колхозе, неплохо родит картофель. Средний заработок колхозника — 120—140 рублей. Вовсю строятся новые дома. Газопровод сюда не дошел, но колхоз установил большие емкости для газа, и снабжение им в границах центральной усадьбы бесперебойное...

— А обо льне, Вадим Сергеевич, вы что-то молчите...

Королев жестковато усмехается:

— Считаете, поймали на слабом месте? Ан нет. Нас заставляли отказываться ото льна, а мы не согласились. Спрашивают: «Зачем он вам?» Я отвечаю: «Для девушек. Девушек нам в зимние вечера занять надо, чтобы не скучали, — вот мы их льном и займем». Это так, шутка, хотя и серьезная. А вообще я считаю, что лен может быть и будет у нас выгодной культурой.

И председатель льет и льет мне на душу льняной бальзам:

— Почему лен невыгоден? Трудоемок. Значит, надо механизировать его возделывание. Это азбука. Но машины пока неважные. А вот наш механизатор Кузьмичев Игорь Парменович их отладил — и глядите, что получается. Он один засеял льном девяносто гектаров. Один весь лен с этой площади убрал. Подъем льнотрестей тоже наполовину осуществили машиной. Примерно в восемь-девять раз подняли производительность и к пятому января закончили всю обработку. Сдали семя, сдали волокно — восьмым номером, низковато, но все же ничего. Получили прибыль. Дайте нам хорошие машины, и мы будем выращивать прекрасный ярославский лен.

— Игору Парменовича увидеть можно?

— Нет, не выйдет. У нас свой механизированный отряд по добыче торфа на удобрение работает, Кузьмичев сейчас там, нет его в колхозе... А вы вот что. Если уж о том, что выгодно, что невыгодно, зашел разговор, так я вам сейчас тему дам — пальчики оближете. Напишите о переводе котлов в сельском хозяйстве с угля и жидкого топлива на электричество. Интереснейшее дело, перспективное. Мы подсчитали — экономия людей, экономия средств, повышение культуры труда...

И Вадим Сергеевич разворачивается во всю ширь своего расчетливого азарта. Да, так дело пойдет, глядишь, и снова заголубеют поля вокруг Великого, а там и само Великое...

— Вадим Сергеевич, а великосельскую бригаду расширять не намерены?

Ответ твердый:

— Нет. Мы там открыли новую механизированную ферму, и этим ограничимся. Люди там в колхоз не больно идут, да и воды в селе нет — ни реки, ни пруда...

«Ни пруда» — как мешком по голове ударил... Я возвращаюсь в Великое, и больно отзываются во мне эти слова краснополянского председателя. Как «ни пруда»? А пруд Черный? А пруд Белый? Что тут, впрочем, говорить... Королев лучше меня все знает. Черный пруд давным-давно чистить надо, он заболачивается, мелеет. Великоселы обратились к своему земляку, министру водного хозяйства и мелиорации РСФСР К. С. Корневу. Он

помог составить проект очистки. Но стоимость-то проекта не под силу поселковому Совету. Вот и получается: пруд есть, и нет пруда...

И все же, несмотря на эту горчинку в конце разговора с Королевым, «Красная Поляна» взбодрила. Пусть Игорь Парменович Кузьмичев пока еще ходит в одиночках, пусть девяносто гектаров краснополянского льна погоды не делают... Но как вам нравится? — производительность труда выросла в восемь-девять раз! Там, где великосельская льняная ниточка берет начало, наметился сдвиг. Если бы так не только в «Красной Поляне», а и в области, во всей льноводческой полосе дела пошли, то вскоре смогла бы и «Заря социализма» от хлопка отказаться, да и начать думать, как возратить изразцовую гладкость ярославскому полотну. А потом — приезжаю в Великое и узнаю, что там шьют льняные вышитые косоворотки, которые вошли в моду и туристами раскупаются нарасхват... А?

Есть, однако, одно важное условие, чтобы льняные косоворотки раскупались туристами в Великом: для этого туристы там должны быть. Пока их нет, и вопрос, будут ли. Авторы проекта «Золотого кольца», по которому ряд древних городов Ростово-Суздальской и Московской Руси становятся звеньями кругового туристского маршрута экстра-класса, как сказали мне, в Великом были, но в «Золотое кольцо» его не включили. Что же, туризм — это индустрия, туризм — это экономика. Экономический подход к туризму разумен. Такой грандиозный проект, как «Золотое кольцо», одним махом осуществить невозможно, в его реализации необходима очередность. В первую голову, естественно, должны быть приведены в порядок Суздаль, Ростов, Переяславль-Залесский, Александров — тоже достаточно запущенные, особенно последний. Но, наверное, надо думать и о второй очереди. Согласимся ли мы с тем, что древний Радонеж, родина основателя Троицко-Сергиевской лавры и одного из вдохновителей освобождения Руси от татаро-монгольского ига, останется захудалым селом? Или так и будет обречена на безвестность Курба — вотчина князей Курбских с ее знаменитой колокольней, одно из гнезд старорусской культуры? И нормально ли это, что уникальный, может, единственный в своем роде великосельский ансамбль крестьянского каменного зодчества XIX века в общем-то обречен на медленное угасание? Этот список

можно продолжать и продолжать, не надо пугаться его чрезмерности.

Представляется, что мы еще не осознали в полной мере ценность тех богатств, которыми владеем. Охраняем храмы — хорошо, а вот к гражданской архитектуре XIX века еще относимся с прохладцей. Один сибиряк рассказывал мне, как в некоем доме слиток золота весом в несколько килограммов долгое время служил гнетом на кадке с капустой. Хозяева и подумать не могли, что этот выщербленный, вываленный в грязи медный «кирпич» — целое состояние! Узнали только тогда, когда его лишились: прохожий старатель прихватил с собой да в дороге перед кем-то побахвалился.

Вот так и мы сегодня относимся к архитектуре Великого. Девятнадцатый век, крестьянское каменное зодчество — такого-то добра у нас пруд пруди... Только художник придет, восхитится, зарисует в книжечку: «Снегири на ветке...» Как важно воспитать в себе этот художнический, старательский взгляд, который помогает в захватанном обрубке распознать благородный металл. В Ярославле я вел своего друга-армянина в знаменитую церковь Иоанна Предтечи в Толчковской слободе. Кто ее не знает! «Славнейший памятник мирового зодчества», «лебединая песня древнерусской архитектуры», «феерическое разнообразие декора» — какими только эпитетами ее не награждали, и любые похвалы бледны рядом с ней. О ней молчу, о ней надо говорить или много, или ничего. Но вот после толчковской церкви мы направились в федоровскую — это недалеко, надо покружить по двум-трем переулкам, застроенным старыми одноэтажными домами, обычными для закоросельной стороны Ярославля.

И вдруг в одном из этих переулков мой армянин остановился и зашептал:

— Да ты погляди, какое чудо!

Я оглядывался и ничего не видел: что можно называть чудом после толчковской церкви!

— На дома, на дома посмотри! — размахивал он руками.

И тут я увидел этот переулок его глазами. Черные деревянные дома захудалой ярославской улицы были украшены резьбой, самой что ни на есть обычной для наших изб резьбой: наличники, полотенца, подзо-

ры на крышах, коньки... Только жители этой улицы, видно соревнуясь друг с другом, расцвелили резьбу суриком, белилами, ультрамарином, охрой. И на взгляд человека, который раньше не бывал в русских селах (а это, в сущности, были сельские дома), поразительны были эти кружева, спускающиеся с крыш, окружающие окна, эти мифические звери, восседающие на коньках.

— Сказочная улица! — восхищался писатель, воспитанный на великой архитектуре Айастана.

Его пафос первооткрывателя и в моем восприятии обнажил какие-то свежие, еще не притупившиеся рецепторы. Я заметил, что в этой улице живет то же самое мироощущение, которое вдохновляло строителей храма Иоанна Предтечи. Здесь господствовали та же веселая и соразмерная пышность, то же замысловатое узорочье... Улочка эта словно зажглась от толчковской церкви, но я тут же почувствовал, что теперь и на толчковскую церковь от этой улочки лег для меня новый, живой отблеск...

Я убежден, что архитектура Великого ждет человека, который бы взглянул на нее тем же взглядом, как мой армянин на закоросельный переулок. Больше того — я и сам представляю, какую своеобразную великосельскую грань могло бы нанести это древнее русское поселение на «Золотое кольцо». Вот хотя бы осенняя ярмарка в Великом! А что? Возродили же ярмарки в Сорочинцах, чем хуже ярославская округа? Гаврилов-ямские скатерти, великосельские сапожки и платья из льна, ростовская финифть, ростовские овощи и великосельские яблоки. Да мало ли! Вадим Сергеевич Королев из «Красной поляны» тоже настойчиво подумывает о промыслах. И конечно, не только старина, а и современная бытовая индустрия должна быть представлена — прекрасные шариковые ручки, и транзисторы, и мебель, и посуда... Я представляю и музей, расположенный в нескольких старых великосельских домах: история ярославского полотна, история промыслов в Средней России, старый быт крестьянина. Я надеюсь увидеть реставрированным ансамбль церквей Рождества Богородицы и Покрова Богородицы, и пусть Вадим Сергеевич меня простит, но ему придется тогда вывезти зерно из церкви, на которой словно лежит отблеск Полтавской виктории. Я воображаю гостиницу в Великом и ресторан получше даже, чем гаврилов-ямская

«Русь». Черный пруд с лодками на нем... Ах, да мало ли что я воображаю: если бы построить мост от Москвы до Петербурга и на нем все лавки, лавки, лавки... Как не хочется думать, что все это маниловщина. В Литве не маниловщина, в Польше — реальность... И в Великом возможно — приглядеться бы только к тому сокровищу, которым сегодня капусту в кадке уминают.

Тут и еще одно говорит в пользу того, что Великое должно иметь возможности для своего развития, — его культурные традиции. Полторы тысячи учащихся, сто двадцать учителей! Сегодня зооветтехникум не только самое большое учебное заведение Великого, но и его самое крупное предприятие, самая большая новостройка. Да, есть-таки новостройка в Великом, и директор техникума Иван Александрович Тимофеев,водя меня по новому общежитию, по новому корпусу, новому актовому залу, новым лабораториям, не скрывал своей гордости.

— Почти в миллион обошлось, а? Для района заметно, да и для области тоже. Ну, зал видели, — говорите, подвесной потолок не помешал бы? Подумаем, подумаем... Теперь что еще у нас будет? Ну, бум грить, — Иван Александрович говорит быстро, и его любимое присловье «будем говорить» звучит именно так, — обучающая машина. Да мы ее уже и получили. Я их много посмотрел, в большинстве ерунда, — по-суворовски решительно утверждает Иван Александрович, и во всем его облике, в жестах, оживленности, в победительности взгляда есть нечто фельдмаршальское... — Да, ерунда, но тут я узнаю, что в одном ленинградском институте студенты создали именно такую машину, какую мне надо. Дошли такие слухи. Но — слухи. И только. В каком институте — не знаю. Что делать? Ответ прост. Беру список ленинградских институтов и во все, где такую машину могли бы создать, пишу письма. Есть ли, мол, такая машина. Приходят ответы: нет, нет, нет. И наконец одно: да, есть. Прошу описание. Присылают. То, что надо. Решаюсь и заказываю. Лучшая обучающая машина — у нас, в Великом.

(Нет, жива, жива все-таки великосельская предприимчивость!)

— Теперь слушайте, — продолжает Иван Александрович. — Общежитие прекрасное. Лаборатории, библиотека — сами видели. Учебное хозяйство я вам покажу — уезжать не захотите. Но не хватает искусства! Мне ну-

жен художественный руководитель — их нет. Говорят, низки ставки. Кое-что делаю — ставку повышаю. Сам еду в культпросветучилище, беру симпатичнейшую выпускницу — умница, поет, танцует. Привожу. Устраиваю. Все прекрасно. И тут у нас один грузин оставляет свою жену — и все внимание человеку искусства. Я поздно об этом узнал, жаль. И она, бум грить, выходит за него замуж, хотя он, конечно, женат. И он с ней уезжает из Великого. Теперь — представьте! — через полгода возвращается. Он. Без нее. К своей бывшей семье. А моя руководительница что? Фьюить... Так этот нахал еще идет устраиваться ко мне в учебное хозяйство. Не беру! Таких, кто у меня уводит кадры, мне не надо. Теперь снова о руководителе думаю — не женатом или замужнем. Беру с семьей. А как иначе? Искусство надо поддерживать...

Я верю, что веселая деловитость Ивана Александровича приведет к успеху и в поисках художественного руководителя. Побольше бы в Великом таких предприимчивых людей. Сплотить бы интеллигентов, — пока они еще достаточно разобщены. Прошел, говорят, один вечер интеллигентов в Доме культуры, но когда, как — мне так и не ответили... А была у меня мечта — посидеть за столом с великосельскими интеллигентами, потолковать обо всем том, что составило предмет этих размышлений. Не вышло. Впрочем, в одной семье интеллигентов я побывал — и был чай, и были разговоры. Я сидел в гостях у врача Саши Дубова, простите, Александра Александровича, и его жены Нины, которая преподает английский в зооветтехникуме. Оба они из старых великосельских семей, хотя по отцу Нина грузинка. Почти в одно время учились в школе, потом в ярославских институтах — медицинском и педагогическом. А после института Саша поехал в Туву — Сибирь, Енисей, не в Великое же возвращаться. Кроме того, ему, охотнику, «пополевать» как следует хотелось...

— А потом затосковал, — говорит Саша, — вот затосковал, и все. Нина ко мне в Кызыл во время своих каникул приехала, домой зовет. И вот я рассуждаю: где я нужней — в Кызыле или Великом? В Кызыле врачей хватает, честное слово. Мне предлагают должность санитарного врача. А в Великом, думаю, уж сколько лет то два врача, то снова один остается, Мария Зуевна Фокина. Она как с войны в Великом осталась, так и рабо-

гает. А по штату должно пять... В Великое хуже, чем в Туву, ехать не хотят... Я и вернулся.

Для работников больницы построили сейчас новый дом — Мария Зуевна «выбила», и Нина с Сашей устроились в нем основательно, надолго. Как положено у сельских жителей — своя картошка, свои огурцы, свои грибы, все свое.

— Приезжай осенью, — звал Саша. — Охотники что-то поперевелись, так и дичь появилась. Я зайцев беру, а то и лиса попадалась. Тетерева есть.

Милый этот молодой дом привлек меня — и не только уютом... Еще одним. Пока мы разговаривали и пили чай, бабушка Нины укладывала в другой комнате спать своего правнука — Дубова-младшего. И краем глаза я все заглядывал в ту комнату. Видно было, что бабушке много лет, но держалась она прямо, и в этой «николаевской» осанке, в гордом и замкнутом новгородском лице, в доносившихся до меня великосельских словечках вроде: «Да что ты, милок, выкобениваешься, как Ваня барской?» — было для меня такое родное, полузабытое, ушедшее далеко-далеко. Потом она забормотала колыбельную, не больно-то ласково, ворчливо, и это была та же самая колыбельная, под которую, наверное, в детстве не раз засыпал и я...

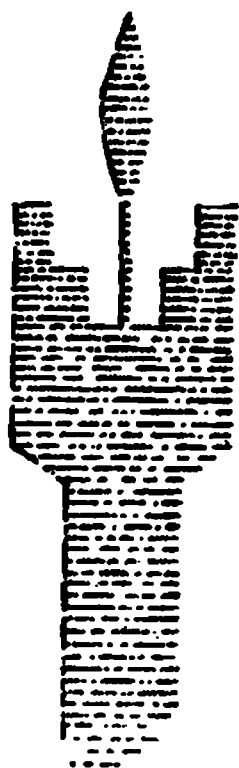
— Сколько же лет бабушке? — спросил я Нину.

— Много, много, — заокала она по-великосельски, и это как-то не очень вязалось с ее пышной грузинской внешностью. — Не знаю и сколько... Муж у нее рано умер, она одна с детьми, в Кушвее сапоги тачала, весь дом на себе везла. И столько лет, а ум ясный. Только другим строга кажется, а на самом деле — как бы мы без нее, и не знаю...

Она могла бы и не рассказывать. Я и так знал все о ее бабушке. И рад был, что ровесница Афанасии Петровны живет в этой новой квартире, где так многозначительно сошлись несколько поколений великоселов — за вычетом одного, военного, но и в этом был свой трагический смысл.

Как бы мы без нее? — сказала Нина. А как бы мы без них, старых великоселов, своими суровыми руками слепивших это гнездо? Как бы мы без него, Великого, без всех наших малых русских сел и городов, городов-сел? Они заслужили лучшую судьбу. Невозможно без них. Пусть они живут.

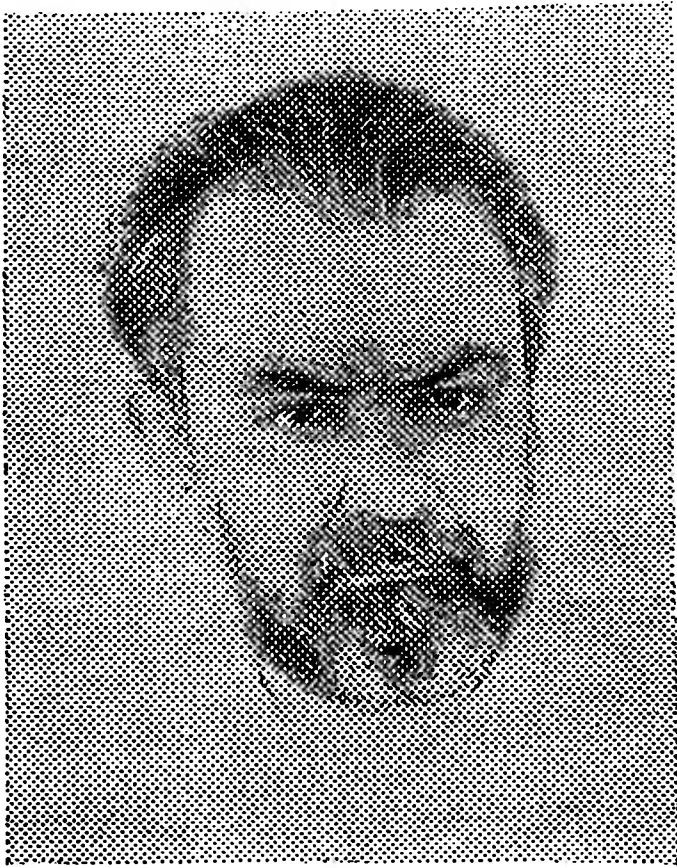
ГЕВОРГ ЭМИН



семь песен об армении



**Перевод с армянского
А. ГАМБАРЯН**



Советскому читателю хорошо известно творчество Геворга ЭМИНА. По справедливому замечанию Бориса Слуцкого, Эмин — «один из самых переводимых и читаемых армянских поэтов в Москве, в России, во всем Советском Союзе».

Геворг Эмин родился 30 сентября 1919 года в селе Аштарак в семье учителя. В 1927 году он переехал с родителями в Ереван. Литература, история, искусство интересовали будущего поэта еще в школьные годы, но не менее сильно его влекло к математике и другим точным наукам. В 1936 году он поступает на гидротехнический факультет Ереванского политехнического института. Будучи студентом, работает некоторое время в Матенадаране — научно-исследовательском институте по изучению древних армянских рукописей. В 1940 году после окончания института Эмин едет на строительство Тускулинской ГЭС. В этом же году выходит его первая книга стихов. Название ее «Нахашавиг» означает по-русски «Предпутье». Это стихи о студенческой жизни, о начале пути,

который скоро пересекла война. С 1942 по 1944 год Г. Эмин находится в армии. Он продолжает писать стихи, и уже в 1942 году из его военных стихотворений составился сборник «Трубка мира». В том же году Эмин был принят в Союз писателей Армении. Все это окончательно решило его дальнейшую судьбу.

В 1946 году выходит сборник стихов «Норк» (букв.: новь, новое) — так назван один из районов Еревана. Первая книга стихов Геворга Эмина в русском переводе увидела свет в 1947 году. В конце 1950 года к тридцатилетию Советской Армении вышел на русском языке сборник стихов «Новая дорога», удостоенный Государственной премии СССР.

Позади десять лет поэтического труда. Определились основные идейные и философские устремления поэта, особенность его художественной манеры. Характерные для классической армянской поэзии, обусловленные трагической историей нации, мотивы изгнания, тоски по отчизне обретают у Г. Эмина иной, активный смысл. Поэт стремится воспевать не горе, а радость жизни, ее утверждение. «Отчизна — не только земля под ногами, а счастье, которое строим на ней». Форма его стиха традиционна, лаконична, собрана и вместе с тем воспринимается как новаторская. Поэзии Эмина свойственны лиризм и глубокие философские раздумья, мягкий юмор и беспощадная сатира.

После «Новой дороги» в 50-х годах вышли в свет еще несколько сборников стихов. В 1956 году Г. Эмин окончил Высшие литературные курсы в Москве. Поэт работает много и напряженно. В 1962 году выходит в русском переводе кни-

га «Перед часами» — новый этап в творчестве Г. Эмина. Здесь стихи о войне, о ненависти и любви, о фальши и подлинном служении жизни. Затем один за другим публикуются сборники: «Дождь в Ереване» (1966 г.), «В этом возрасте» (1968 г.) и другие.

В 1974 году выходит на русском языке книга стихов «Век. Земля. Любовь», удостоенная Государственной премии СССР за 1976 год. Это книга о проблемах нашего времени, о «борьбе, размахе и жажде света» в нашем, двадцатом, веке.

В одной из бесед Геворг Эмин сказал, что его «поэтическую судьбу определили три совершенно между собой не связанных фактора». Встреча в ранней юности с Егише Чаренцом — самым крупным поэтом новой Армении. Работа в студенческие годы в хранилище древних рукописей Матенадаране. И, цитируем самого поэта, «как это ни парадоксально, мое техническое образование... Точные науки прививают дисциплину мышления и чувство крепкой лаконичной конструкции, неприятие словесной и эмоциональной расхлябанности». На вопрос же, что привело его к прозе, Эмин ответил: «Я бы сказал... поэзия». И это безусловно так, ибо «Семь песен об Армении» — произведение глубоко поэтическое, и появление его действительно предварено многими и многими стихотворениями автора.

Первая прозаическая книга Геворга Эмина «Огни Еревана» вышла в 1956 году. Это был

цикл разнообразных очерков: о Матенадаране, о талантливом скрипаче и талантливом каменисте, о Ленинграде, о прошлом и будущем родины. «Семь песен об Армении» на русском языке впервые были опубликованы в 1967 году. Настоящее издание значительно переработано и расширено автором. По его словам, он многое добавил и уточнил в плане историческом — новые данные о присоединении Армении к России в 1828 году, новые страшные свидетельства о геноциде 1915 года... Сам автор называет «Семь песен» историческим эссе. К этому следует добавить определения критики: «поэтически-публицистическое эссе», «своеобразная художественная энциклопедия Армении». Все это одновременно справедливо, ибо, прочтя «Семь песен об Армении», читатель узнает об этой удивительной стране очень многое. Ее история, ее земля, ее вода, ее промышленность, ее письменность, ее искусство — все это как единый поэтический сказ.

«Семь песен об Армении» переведены на латышский, молдавский, аварский языки, готовится их издание на английском, болгарском и польском языках. Именно это произведение полностью отвечает определению самого автора: «...подлинно национальное — это не просто восхваление своего народа, а разговор поэта и со своим народом, и со всем человечеством, разговор, в котором на национальном материале поднимаются вопросы, касающиеся всех...»

Я хочу поведать вам семь песен о моей возрожденной Армении.

Семь — число, освященное для нашего народа веками, число из сказок и чудес. Но разве не похоже на сказку то, о чем я собираюсь писать?..

В давние времена и особенно в наши дни в Армении совершались и совершаются такие чудеса, что и простой рассказ о них кажется песней.

Вы думаете, это только мое мнение? Нет человека, который, побывав в Армении, не согласился бы с этим.

«Если бы меня спросили, где на планете Земля больше всего можно встретить чудес,— я назвал бы в первую очередь Армению...» — это уже не я, это говорит Рокуэлл Кент.

А век назад Байрон писал, что страна армян навсегда останется одной из самых богатых чудесами стран на всем земном шаре.

Что такое родина?

Родина — это народ и его история; это земля, вода, камни; это наши заводы, наши книги и наши песни. Это прежде всего — то время, при котором больше, чем когда-либо, цветет родная земля. Та новая эра, от дыхания которой все, что веками существовало, начинает жить.

Возродившись, поет о себе не только народ, поют принадлежащие ему земля, вода, камни...

Послушаем эти песни.



ПЕСНЬ О ВЕКЕ

В течение долгих веков, от Ара Прекрасного до Аварайра и Сардарапата, мы побеждали умирая; отныне мы верим, что можно и нужно побеждая — жить.



Века приходили и проносились над этой землей, и каждый оставлял на ней рану и глубокую отметину на челе и в сердце ее народа.

Века проходили, но не ушли бесследно. Они сохранились в клинописях, в разрушенных памятниках, в некогда неприступных крепостях.

Вся Армения словно музей под открытым небом, где и без учебника можно постичь историю этой земли и этого народа, начиная от мифических обломков библейского ковчега до вполне реальных развалин, оставленных турецкими янычарами всего несколько десятков лет назад.

Однако каждый век оставлял не только развалины и раны, он вместе с тем становился одной из ступеней той длинной крутой лестницы, по которой народ шел от страданий к счастью.

С какой страницы начать листать эту живую книгу истории?

Да если хотите, хотя бы с того самого замшелого камня, на котором мы стоим,— весьма возможно, это осколок хеттской или арамейской надписи или обломок урартской крепости...

Раньше принято было начинать историю Армении с Урарту, то есть примерно за тысячу лет до нашей эры.

Однако раскопки, произведенные в последнее время в

Мецаморе, Шенгавите, Мохраблуре, повелевают отодвинуть начало истории в глубь веков примерно на пять тысяч лет и вести исчисление с шестого тысячелетия до рождения Христова.

Но гораздо важнее исходной даты сама суть, смысл обнаруженных памятников древности. К примеру, найденные в Мецаморе древний литейный цех и астрономические знаки «замесили тесто, которое потребует еще много воды»... Они несомненно свидетельствуют о существовании на этой земле одной из древнейших цивилизаций еще задолго до того, как воды легендарного потопа залили ее...

Много в Армении урартских крепостей — начиная с крепостей Тушпа (Тосп, ныне Ван) и Аргиштихинили (Армавир) до древних поселений на берегу озера Севан, до крепостей Тейшебаини и Эребуни на месте нынешнего Еревана и его окрестностей...

Оговорим с самого начала, что, несмотря на исследования опытных историков и других специалистов, многие факты, относящиеся к Урарту, имеют спорный, иногда весьма противоречивый смысл — начиная с времени существования государства до его географических границ.

Загадка эта обрастает новыми неясностями, если припомнить, что многое в истории Урарту непосредственно связано с Арменией, — начиная от имени основателя государства царя Арама, или Араме, до названия самой страны «Урарту», которое, по свидетельству одной древней надписи, является иным написанием слова «Арарат».

«Было ли, не было ли» — так начинаются наши сказки, подчеркивая значительность того, о чем будет поведано, и не беря ответственности за его достоверность и реальность.

Так существовало ли Урарту, могучее государство, или была просто... ошибка в прочтении слова «Арарат»?..

Предоставив историкам нести ответственность за достоверность, перейдем к сути дела — изложению имеющихся на сей день (и нередко противоречащих друг другу) фактов и мнений специалистов.

Урарту — одна из самых могучих и культурных держав древнего мира, располагавшаяся на территории исторической Армении, образовалась в X—IX веках до нашего летосчисления и существовала по VI век до нашей эры, вплоть до разрушения столицы Урарту Тушпы.

Еще до образования государства Урарту здесь, на

этой территории, жили предки армянских племен, которые называли свою страну Наири (возможно, этим объясняются встречающиеся в урартских клинописях понятия «пришли, завоевали, захватили» в отношении той или иной части страны).

Страна Наири, как впоследствии и Армения, начала свое существование со страданий и бедствий. Вот клинопись ассирийского царя Тиглатпаласара I (1115—1077 гг. до н. э.) о нашествии на «незнакомую, обширную и не бывшую в покорении» страну Наири: «Их большие города захватил, а имущество перенес к себе. Их поселения разрушил, спалил, превратил в груды развалин и целину. Табуны их лошадей, мулов и коров и земледельческие орудия захватил и перенес к себе...» («перенес...» — сколь вежливое слово для выражения насилия и грабежа!..)

Основателем Урартского государства и его первым царем был Араме или Арам (860—843 гг. до н. э.). Имя его сохранилось в армянских языческих легендах и преданиях, и по нему, очевидно, другие народы впоследствии называли наш народ или одно из племен «араменами» или «арменами», а страну — «Арме»...

Вначале государство Урарту занимало территорию только вокруг озера Биайна (ныне озеро Ван в Западной Армении), поэтому и урартцы свою страну называли Биайнили.

Кстати, о стране Урарту (в написании Арарат — Аларод) есть упоминание еще в Библии, где говорится, что сыновья ассирийского царя Синахериба (Сенекерима) после убийства отца бежали в страну Арарат.

Мовсес Хоренаци, древний армянский историк (V век), замечает, что сыновья эти, Адрамелек и Санасар, обосновались вблизи нынешнего Сасуна. Несомненно, есть косвенная связь между свидетельствами патриарха нашей истории и Библии с эпосом «Сасунские храбрецы». Происхождение названия местности Сасун, строительство Сасунской крепости в «Храбрецах» связываются с именем богатыря Санасара.

Впоследствии, во времена царей Менуа и Аргишти I, границы Урарту распространяются до нынешней Араратской долины и берегов озера Севан.

Именно при Аргишти I в 783 году до нашей эры был основан город-крепость Эребуни, а при Руса II построен тот канал, который и сейчас орошает виноградники под Ереваном. «Отвел канал из реки Илдаруни (ныне

река Раздан, протекающая через Ереван), посадил виноградники», — похваляется Руса II, присваивая только себе заслуги урартских крестьян.

Чтобы представить себе, сколь тяжел был их поистине каторжный труд, достаточно вспомнить, что канал этот (как и аштаракский канал Аканатес) был прорыт через скалы, иные его подземные «каменные» отрезки достигают трехсот метров длины...

Посмотрим, что нам оставили века от урартских крепостей и поселений.

Вот развалины циклопических крепостей, в них обнаружены огромные глиняные сосуды — карасы, а в карасах — пшеничные зерна и виноградные косточки.

Рядом — ржавые мечи и копья, статуэтки богов и идолов и женские украшения.

Еще тридцать — сорок веков назад наши предки возводили на этой земле крепости, сеяли пшеницу и растили виноград, защищали свой посев от иноземных захватчиков, поклонялись своим богам и идолам, воплощали в искусстве свою любовь и страдания.

Они рыли циклопические каналы, но эти каналы орошали земли урартских царей.

Растили виноград и сеяли пшеницу, но урожай отбирали и хранили в своих гигантских амбарах урартские цари. «Много трудились, но не воздалось нам сторицей», — словно строка из гимна эпохи рабства, звучит эта надпись, сделанная руками безвестных мастеров на мозаике храма Гарни.

А когда урартские боги и идолы требовали жертв, перед жертвенниками убивали самых красивых дочерей и самых статных сыновей крестьян и ремесленников.

Когда урартские цари захотели основать крепость Эребуни, это они — крестьяне и ремесленники — таскали камни и месили глину для крепости, они высекли на камне дожившую до музеев нового Еревана клинопись, которая более 2760 лет тому назад возвестила миру о рождении города Эребуни — Еревана:

*«Величием бога Халда
Аргишти, сын Менуи,
Возвел эту крепость
И назвал городом Эребуни,
Во славу страны Биайна и на страх ее*

врагам.

*Аргишти возвещает: земля сия была пустынна,
И свершил я на ней великое созидание.
Величием бога Халда Аргишти, сын Менуи,—
Могучий царь, царь страны Биайна,
Владыка города Тушна».*

Потом очередной Руса, Сардур или Аргишти подняли крестьян и ремесленников с насиженных мест, дали им в руки вместо кирок и лопат копья и стрелы и двинули их против северных племен.

От озера Биайна они добрались до лазурного озера Севан, построили на его берегу крепости, высекли на огромных скалах надписи о победе и славе урартских царей.

Для победного пиршества они выловили из Севана знаменитую форель, «князь-рыбу», на чешуйках которой алеют пятнышки, будто капли пролитой крови моего народа.

А когда грозная Ассирия надвинулась войной и урартские цари в страхе бежали, крестьяне и ремесленники своею кровью защитили эту землю, которая не принадлежала им, не была еще для них матерью, родиной.

Они преследовали могущественных ассирийских царей до Ниневии и Вавилона, до самых висячих садов Семирамиды.

Народ боролся, страдал и мечтал...

А что дошло до нас от тех дней?

Дошли клинописи, которые славят лишь царя Русу или Аргишти; крепости, которые увековечивают славу Сардура; циклопические каналы, постройка которых приписывается царице Семирамиде.

Но к чему заходить так далеко?

Не вчера ли еще в Египте, при строительстве Асуанской плотины, нашли четыре гигантские одинаковые статуи фараона Рамзеса...

Гигантские статуи тирана, у ног которого копошились земледельцы и ремесленники, воздвигая Сфинкса и пирамиду Хеопса...

Гигантские статуи тирана, такая гигантская Ложь, приписавшая себе талант и славу народа,—четырежды умноженная Ложь...

А где же народ — труженик, созидатель, борец?

Остались четыре каменных Рамзеса, остались Сардур, Руса, Семирамида, но нет единственного истинного

хозяина этих стран, подлинного творца истории — народа...

Я не мог не думать об этом, когда увидел после спада зеркала севанских вод обнажившиеся прибрежные древние клинописи, и мысли мои вылились в стихотворение:

Плещут волны Севана,
И хлещут о скалы дожди.
И слова на скале:
«Я — Руса, мой отец — Аргишти.
Повелитель великий,
Владыка, чей славен удел,
Я построил, возвысил,
Воздвиг, совершил, овладел...»
Врешь, урартец!
А где же неизвестные эти рабы,
Что тяжелые камни таскали,
Взвалив на горбы,
И долбили скалу эту
Сотни и тысячи дней,
И хвастливую надпись твою
Высекали на ней?
Плещут волны Севана,
Как эхо седой старины,
Возникают слова
На камнях монастырской стены:
«Я — Ашот, сын Вахтанга,
И княжеской волей моей
Я монахам дарую
Все злаки окрестных полей,
Чтоб в рождественский праздник
И в пасху молился народ,
Прославляя меня
И великий мой княжеский род...»
Ну, а где же те люди,
Что, бога о смерти моля,
Эти злаки взрастили,
Возделали эти поля
И во славу чванливого князя,
Худы и черны,
Вырубали слова
На камнях монастырской стены?
Плещут волны Севана,
Прибрежные дремлют края.
И доносится:
«Мы, Николай, повелитель всея...
Мы с персидским сардаром
Вступили в решительный бой,
И разбили его,
И с победой вернулись домой...»
Ну, а где же те храбрые парни,
Что в раннюю рань
Здесь костями полегли,
Защищая мою Эривань?..

Плещут волны Севана,
Куда-то бегут и бегут...
Ты не верь этим надписям —
Лгут эти надписи, лгут! ¹

Тайны зарождения и образования народов сложны и теряются в дымке далекого прошлого.

Происхождение армянского народа восходит к той глубокой древности, когда на большей части территории Малой Азии еще не было исторически сформировавшихся народов, а жили только племена, разрозненные или объединенные в более крупные союзы, как, например, в стране Наири.

Первое армянское государство образовалось после падения Урарту на его территории, с той же столицей Тушпа.

По-видимому, консолидация армянских племен произошла еще в недрах Урарту, если ко времени падения Урарту армянский народ уже был способен создать самостоятельную государственность. По свидетельству крупнейшего древнегреческого ученого Страбона (ок. 63 г. до н. э.—ок. 20 г. н. э.), все племена, жившие на этой территории, еще в то время говорили на одном языке — армянском.

Эти обстоятельства объясняют возникновение армянского государства сразу после падения Урарту. По этой причине еще долгое время древние племена и страны называли нас, армян, урартцами, а Армению — страной Урарту.

Характерна Бихистунская клинопись персидского царя Дария I (522—486 годы до нашей эры), где впервые упоминается государство Армения — как «строптивое» и «непокорное». Причем — «стране Армении» в староперсидском тексте соответствует в вавилонском тексте «Урарту».

Впоследствии страну нашу называли Арменией, а нас армянами греки и мидийцы — по имени жившего в местности Агдзник племени «арме» (или «уруме»), которое в VIII—VII вв. до нашей эры вместе с мидийцами совершило нападение на столицу Урарту город Тушпа.

Мы сами называем себя «ай», а страну свою Айастан, вероятно, по имени одного из проживающих в стране Айаса племен, которое впоследствии совместно с други-

¹ Перевод Ю. Левитанского

ми проживающими в Арме-Шуприи и Биайнили племенами сыграло решающую роль в образовании армянской нации.

Некоторые исследователи считают, что это название происходит от имени прародителя армянского народа Айка, древняя легенда о котором сохранилась в книге историка Мовсеса Хоренаци. По этой легенде, богатырь Айк жил со своим племенем на обширных плодородных землях, подвластных, однако, тирану Белу. Поэтому он предпочел сняться со всем племенем с насиженного места и обосноваться на голых камнях, лишь бы обрести независимость. По легенде, на этом новом месте было «соленое озеро, богатое мелкой рыбой», то есть озеро Биайна.

Бел, разъяренный дерзостью Айка, напал на него с огромным войском, но Айк победил в неравном бою и убил тирана, утвердив право своего племени на самоуправление.

Эта легенда как бы предвосхитила историю нашего народа — с тех пор Армения утверждала свое существование в постоянной борьбе, в неравных битвах с тиранами и завоевателями, постепенно, ценой вековых страданий овладевая тайной долгоденствия.

Когда на наших предков напал легендарный Бел, народ ответил незваному пришельцу натянутой тетивой прародителя Айка.

Когда ассирийская царица Семирамида хотела завоевать страну и ее царя любовными чарами, народ призвал Прекрасного Ара, который предпочел пасть на поле битвы, защитив честь своей земли и своей жены Нвард.

Против войска на слонах персидского царя Азкерта народ выставил храброго полководца Вардана Мамиконяна¹, фанатичного патриота иерея Гевонда и гениального летописца Егише, описавшего эту битву...

Против натиска огнепоклонничества народ поднял крест христианства, а против коварства христианской Византии создал непобедимый легион из тридцати шести букв собственного алфавита.

В каждую войну мужчины погибали на полях сражений, молодых девушек и женщин угоняли в плен, матери молились, дети плакали, а старики утешали их, надеясь,

¹ В а р д а н М а м и к о н я н — предводитель армян в национально-освободительной Аварайрской битве против персов (V век н. э.).

что война скоро кончится, что ждать осталось немного — четыре года, три, два...

Откуда было им знать, что эта война — эти войны продлятся два века, три, четыре, двадцать веков и тридцать, будут длиться, пока народ не станет сам себе хозяином, пока эта земля не станет для него настоящей родиной...

Менялись «чужие» завоеватели и «свои» правители, которые приписывали себе талант и мужество народа, плоды его труда и воинскую доблесть. Неизменными всегда были только войны и народ, страдающий от войн.

Когда на эту землю напал всемогущий Рим, победа армянского народа на поле битвы была окрещена именем царя Тиграна Великого, а построенные народом город и крепость наречены Тигранакертом.

Когда на смену Риму пришли Персия и Византия, героизм народа воплотился лишь в именах Вагаршака и Аршака, а новые города были названы Вагаршапатом и Аршакаваном.

Но были и такие войны и нашествия, которые угрожали самому факту существования народа, его языка, письменности, веры. И подымались тогда все — мужчины и женщины, стар и млад...

Так было в 451 году, во время Аварайрской битвы.

Тяжелые слоны персов растоптали тогда легкую конницу армян, но персидский царь Азкерт был подавлен, его страшила фанатичная вера и преданность нашего народа своему родному языку, родине, свободе.

Шли века — и появлялись новые завоеватели. Проходили века, но не заживали оставленные ими раны.

Смутно понимая, что царь — не государство, а церковь — не вера, народ с той же фанатичностью, с которой раньше веровал, породил ереси, выражая таким образом свой протест. Возникли бунты против церкви и знати, движение мцгнийцев, павликианов, тондракийцев...

Эхо их восстаний, пронесясь через время и пространство, докатилось до Болгарии и Германии, до Мартина Лютера и протестантов...

Народ воздвиг крепость своей свободы Цура и рукой Смбата Зарехаванци осмелился сбросить со скалы в пропасть чашу со святым миром...

И хотя еретиков клеймили, мучили и убивали, эхо их восстаний еще долго отзывалось в горах Армении и в сердце народа.

А когда напали на нашу землю арабы, сельджуки и монголы, народ, разуверившись и в вере и в безверье, уповал уже только на прекрасную легенду и создал образ эпического героя Давида Сасунци с его мечом-молнией, призванного освободить народ, когда переполнится чаша терпения.

Давид уже понимал, что недостаточно прогнать чужеземных сборщиков налогов и «разъять на сорок кусков» пришедшего с войной Мсра-Мелика. Он не уничтожил войско Мсра-Мелика — пригнанных силой на войну бедных арабских крестьян. Он твердо знал, что виновником войн и бедствий является не народ, а его правители.

А дальше?..

Разрушать гораздо легче, чем строить; уничтожать легче, чем создавать. И все же чужеземные завоеватели уставали разрушать, а наш народ без усталости строил; они уставали уничтожать, а наш народ без усталости созидал.

Вместо разрушенного города Эребуни — Еревана он строил Арташат, вместо Арташата — Тигранакерт, вместо Тигранакерта — Вагаршапат, Двин... Вместо разрушенной урартской крепости он возводил армянскую крепость; вместо языческого храма Гарни — христианские храмы Эчмиадзин и Звартноц, храмы Рипсиме и Ахтамар.

А когда завоеватели рыскали по всей стране и люди были вынуждены скрываться в пещерах у реки Азат, они высекли в этих пещерах храм Гегард, чтобы время не притупило резца созидателя. Или ночью, тайно выбираясь из пещер села Аштарак, орошали свои виноградники, чтобы не засохли возвращенные еще во времена Урарту лозы винограда.

Стоило волей небес хоть на время воцариться миру — сразу вырастали богатые искусными ремеслами города, такие, как Ани; вновь зеленели поля и сады, а в монастырских кельях создавались новые рукописи и миниатюры. И сначала робко, потом все смелее и смелее звучали песни гусанов и ашугов¹; канатоходцы и скоморохи показывали свое веселое умение; повсюду слышался радостный гомон свадеб и крестин.

Мало-помалу разоренная земля снова превращалась в страну, в государство — пока не нагрянут новые завоеватели и ввергнутый в изгнание народ снова не окажется

¹ Гусаны и ашуги — армянские народные поэты и певцы.

вынужденным создавать страну и государственность, школы и очаги письменности, ремесла и искусства на склонах других гор, в других долинах, на берегах других озер обширной территории исторической Армении.

В последний раз — в XI—XIV веках — наш народ надеялся, что еще раз обрел родину и свое государство на берегу Средиземного моря, в Киликии, но именно там на долгие века была похоронена его мечта о независимости. На Армению налетели турецкие и персидские племена — раздирая землю на куски, разлучая брата с сестрой, мать с сыном, отрывая перо от рукописи, лемех от земли, стирая с географических карт само название Армении. «Вторжение османских турок в Малую Азию и создание разбойничьего государства Карахисара было одним из самых мрачных бедствий средних веков», — пишет Маркс об этой эпохе.

Долго, очень долго длилось это бедствие — целых пять веков, долгих пятьсот лет. До того долго, что наш народ-каменотес отвык от камня — начал возводить глинобитные дома и стены, стал создавать рукописи, написанные армянскими письменами, но на языке османском, или на армянском языке, но персидской вязью. И вместо своих бесподобных тонких «айренов» и «антун»¹ слушал лишь заунывный зов муэдзина...

Как справедливо отметил великий Байрон, «трудно найти в летописи какого-либо народа столь много испытаний и невзгод, как в истории армянского народа — народа, чьи деяния носят исключительно миролюбивый характер, а недостатки навязаны волей угнетателей и завоевателей»...

Но что бы ни случилось, мыслимо ли было обратить в рабство людей, которые, глядя на родные горы, учились у них не сгибать спину; глядя на строгие, стройные формы своих архитектурных памятников, вбирали в себя их красоту; глядя на клинописи и пергаменты, всегда помнили о своих истоках.

Можно ли было обратить в рабство народ, создавший эпос о Давиде Сасунци; отнять веру у людей, сражавшихся при Аварайре; удержать в повиновении человека, воспитанного на вулканическом порыве чувств поэта Григора Нарекаци; навязать новых богов и проро-

¹ А й р е н ы — средневековые армянские стихи. А н т у н и — средневековые армянские песни изгнанников.

ков правнуку еретика Зарехаванци; отнять тот язык, на котором творили сказители Гохтана, поэты Шнорали, Фрик и Кучак.

Сколько раз пытались уничтожить центры письменности, вырвать с корнем зеленое древо нашей культуры!

Но семена, упавшие с него, рассеялись по всему свету. И если раньше очаги армянской письменности были только в Армении, то теперь они возникали повсюду — от Венеции до Филиппинских островов, от Феодосии до Львова, от Калькутты до Вены...

Земля Армении сотрясалась от восстаний, бунтов и стихийно возникавших столкновений с иноземными захватчиками.

То в самой Армении, то в армянских колониях, разбросанных по всему свету, снова и снова возникали идеи и планы создания свободной и мирной Армении. В индийской колонии, например, появилась книга «Западня славы» — программа грядущего освобождения Армении и ее народная конституция. В Карабахе состоялись знаменитые собрания меликов¹, чьи взгляды были устремлены к России.

Вдохновители и вожди национально-освободительного движения Израел Ори и Овсеп Эмин с энтузиазмом, хоть и без большой надежды на успех, обивали пороги европейских дворов, били челом Петру I, пока русские пушки не пришли на помощь мечу Давид-Бека и впоследствии, в 1828 году, восточная часть Армении не освободилась от персидского ига.

Ликовал армянский народ. Торжествовал великий основоположник нашей новой литературы Хачатур Абовян. Торжествовал Нерсес Аштаракеци, умный и храбрый армянский католикос того времени; восседая на белом коне, с мечом в одной руке и с крестом в другой, он шел на бой против персов под русским знаменем, во главе русских и армянских отрядов.

Торжествовали ратовавшие за свободу нашего народа и боровшиеся за это ссыльные русские офицеры-декабристы.

Присоединение Армении к России не только спасло наш народ от физического уничтожения, но и побратало его с великим русским народом, приобщило к искони присущему русскому народу страстному поиску правды — предвестнику грядущих революционных бурь.

¹ М е л и к — феодальный князь.

Но пока офицер-декабрист читал Абовяну запрещенные стихи Пушкина, а в Ереване, в крепости Сардара, впервые по написании ставили пьесу Грибоедова «Горе от ума», русские жандармы уже ссылали в Сибирь цвет армянской интеллигенции, а русский чиновник уже брал первую взятку у армянского крестьянина.

В числе сосланных был также Нерсес Аштаракеци — тот, кто при входе русских войск в его родную деревню остановился на кладбище, преклонил колени перед могилой отца и в волнении воскликнул: «Слышишь, отец, настал тот час, о котором ты мечтал,— армянский народ освобожден рукою русских!..»

Он был сослан, потому что в Армению вступил, увы, не русский народ, а граф Паскевич, потопивший Польшу в крови, целью которого было лишь добыть новый кусок для когтей двуглавого орла.

Он не знал и не мог тогда знать, что у двуглавого орла с этого дня появляется еще один противник — народ, готовый снести эти хищные головы...

Если Хачатур Абовян видел и воспевал одну Россию, то шестидесятник Микаэл Налбандян, друг и соратник Герцена и Огарева, различал уже и другую; он знал, что в России есть и Сенат и обогреченная кровью декабристов Сенатская площадь, есть крепостное право и «Колокол», возвещающий его гибель.

Национально-освободительные надежды нашего народа Налбандян связывал не с царской Россией, а с крушением самодержавия. Он уже знал, что царская Россия — тюрьма народов, и пока не разрушена эта тюрьма, не быть свободным и армянскому народу.

Единственная религия, за которую стоит умереть,— это свобода, провозгласил Налбандян. Недаром его знаменитое стихотворение «Свобода» армянские юноши читали даже с церковных амвонов:

...Свобода! Восклицаю я,
Пусть гром над головою грянет,
Огня, железа не боюсь,
Пусть враг меня смертельно ранит,
Пусть казнь, виселицей пусть,
Столбом позорным кончу годы,
Не перестану петь, звать
И повторять: Свобода! ¹

¹ Перевод В. Звягинцевой.

На эту благодатную почву упали зерна марксизма, тогда уже распространяемого в России Плехановым, Лениным и его сподвижниками.

И не случайно многие армянские общественные деятели стали близкими друзьями и соратниками Ленина — начиная с возникновения «Самарской группы» и до последних дней его жизни...

Исаак Лалаянц, Богдан Кнунянц, Степан Шаумян, Сурен Спандарян, Анастас Микоян, Симон Тер-Петросян (Камо), Александр Мясникян, Варлам Аванесов, Ваган Терьян...

Они боролись за победу революции в Самаре и Москве, в Петрограде и Париже, в Польше и Швейцарии, в Баку, Тбилиси и в самой Армении...

Но до того как загорелась ожидаемая ими светлая заря, жестокая тьма опустилась на армянскую землю и ее народ.

Если народ Восточной Армении начиная с 1828 года был спасен хотя бы от физического уничтожения и религиозных притеснений, то Западная Армения вот уже несколько веков оставалась под игом турецкой тирании.

Там не было никаких гарантий ни для личности, ни для имущества, ни для вероисповедания. Грабеж, угнетение и религиозные притеснения стали обычным явлением, повседневностью.

В этом мрачном аду западные армяне почитали поистине счастливыми своих братьев, освобожденных «рукою христианского царя», и мечтали о том дне, когда русский сосед спасет и их...

Национально-освободительное движение, восстания западных армян (будь то в Зейтуне, Сасунских горах или в каком-либо ином месте), их тяготение к России и симпатии к русским не могли не возбудить и без того не знающую предела ненависть такого деспота, как султан Гамид.

Турецкие погромщики каждый раз топили в крови армянское освободительное движение, ожидая удобного случая для кровавой расправы над всеми армянами.

И случай этот вскоре представился...

Весною 1915 года, прикрываясь «законами военного времени», главари младотурок, тогдашней правящей партии Турции, запланировали и хладнокровно осуществ-

вили массовое переселение и истребление западных армян — так же, как впоследствии немецкие фашисты пытались сделать это со славянами, евреями и другими народами Европы.

Бредовой программой младотурок был пантюркизм, который мало чем отличался от пангерманизма немецких милитаристов.

В обоих случаях главным условием завоевания мира являлось уничтожение целых народов. Разница была лишь в том, что если пантюркисты требовали уничтожить армянский народ, а русских всего лишь «вышвырнуть с Кавказа, присоединив эту область к Турции и сделав Черное море внутренним турецким морем для создания Великого Турана от берегов Босфора до Байкала», то немецкие фашисты для создания «Великой немецкой империи до Урала» уже требовали уничтожения всех славянских народов...

Согласно тщательно разработанному плану турки захватили имущество армян, согнали их с родной земли, из городов и сел, и отдельными группами в сопровождении вооруженных палачей погнали в лагеря смерти. Расположены они были в пустынях Месопотамии. Немецкие фашисты, наверно, были бы разочарованы — там не было ни газовых камер, ни больших крематориев, ни освенцимских «бань», ни рафинированных палачей, читающих «Майн кампф» под абажуром из человеческой кожи...

Кроме того, в отличие от технически оснащенных лагерей Освенцима и Бухенвальда, в Тер-Зоре понапрасну пропадали прекрасные длинные косы истерзанных девушек и женщин, а гниение непогребенных трупов было опасно для самих погромщиков — летом и осенью 1915 года во многих турецких вилайетах и в особенности в армии свирепствовали страшные эпидемии... Да, способы истребления были примитивны, но зверства, настоящего фашистского изуверства, помноженного на чисто янычарское варварство, хватало...

Многих армянских писателей, ученых, композиторов уничтожили, раздробив камнями им головы...

В эти дни единственный свет в Турции исходил от огня, охватившего облитых бензином и подожженных армянских женщин, которых под дулами винтовок заставляли плясать танец смерти, но от этого света лишь гуще становился опустившийся на страну мрак средневековья...

Три с половиной миллиона армян жили в Западной Армении до организованного султаном Гамидом, а затем младотурками геноцида.

Турецкие палачи выселили с родных мест и уничтожили около двух миллионов армян; оставшиеся в живых, чудом спасшись от истребления, бежали в другие страны, разбрелись по свету. Больше всего армян осело в Ливане, Сирии, Франции, Египте, Греции, Иране, Северной и Южной Америке.

Жил древний народ на своей родной земле, слившись с нею воедино. Окровавленный ятаган срубил его под корень, и создались две страшные чудовишные половины — народ без земли и земля без народа...

Турецкие палачи не только предварительно запланировали чудовищную расправу, но и приняли меры к тому, чтобы мир ничего не узнал.

Однако это страшное преступление получило широкую огласку и потрясло весь свет. Волна протеста прокатилась от далекого Уругвая до Ирана, от России до Исландии, от Англии до Италии, от Греции до Норвегии, от Индии до Швейцарии и Канады...

Многие выдающиеся политические деятели XX века, писатели, ученые, деятели искусств осудили неслыханное преступление младотурок, выступили в защиту армянского народа и выразили ему свое сочувствие. Среди них Гладстон и Фритьоф Нансен, Максим Горький и Валерий Брюсов, Анатоль Франс и Жан Жорес, Моргентау и Ренэ Пино, Армин Вегнер и Тойнби, Василь Коларов и Либкнехт, Ленин, Киров, Орджоникидзе...

Многие коммунистические и социалистические партии приняли резолюции в связи с этими событиями. Газета «Правда» гневно заклеила кровавое преступление младотурок, а Центральный Комитет Болгарской компартии принял специальное постановление по этому поводу.

Зверства младотурок осудили также некоторые турецкие политические деятели: Рифат Мевлан-заде, Али Кемал, Рефид Халид и другие, в том числе и участник резни Наим-бей.

Об этом запятнавшем турецкий народ преступлении писал впоследствии великий турецкий поэт XX века Назым Хикмет в своем стихотворении «Ночная прогулка»:

...В бакалейной лавчонке Сурена
загорелись огни.

Он армянской резни
 не забыл.
 Он убийцам отца
 не простит до конца,
 до смертной черты.
 Но он любит тебя,
 потому что и ты
 не простил тех, кто помог
 на лбу Турции
 выжечь это клеймо...¹

Может быть, для младотурок была неожиданностью прокатившаяся по миру мощная волна протеста? Может быть, они не осознавали полностью, на какое неслыханное преступление идут, не представляли его чудовищных размеров и последствий?

Увы, нет. Тысячу раз нет, и именно в этом весь цинизм содеянного ими.

Еще за пять лет до начала резни они запланировали ее не только во всех подробностях, но и предусмотрели реакцию общественного мнения и его... беспомощность.

На съезде младотурок в 1910 году в Салониках один из лидеров партии доктор Назым, перечисляя выгодные и невыгодные для Турции стороны планируемого геноцида, отмечает: «Безусловно, после армянской резни повсюду распространится волна протеста и негодования и моральный авторитет Турции сильно пострадает...» И тут же спешит успокоить своих единомышленников: «Однако не следует забывать, что это будет временным явлением, и вскоре все будет предано забвению...»

Да, в этих словах сквозит страшный цинизм, но, к несчастью, и трезвый взгляд на мир, в котором долгие века народы были лишь слепым орудием в руках правителей.

И действительно, кто и как мог протянуть руку помощи истребляемому народу, если каждое правительство защищало лишь свои интересы: свою нефть, которая была дороже человеческой крови, или свой сахар, пусть даже на костях уничтоженных в пустыне Тер-Зор армян...

«Вскоре все будет предано забвению» — вот на чем хладнокровно построили свой расчет турецкие палачи.

Не на ту же ли забывчивость рассчитывал спустя двадцать пять лет после армянской резни другой палач — Адольф Гитлер, напутствуя своих эсэсовцев перед

¹ Перевод К. Симонова.

вторжением в Польшу: «Безжалостно уничтожайте мужчин, женщин и детей, главное — быстрота и жестокость. Скоро все забудется. Кто помнит сегодня о резне армян?..»

К сожалению, это было так — спустя двадцать пять лет фашистские палачи, окрыленные безнаказанностью этого преступления и надеясь на забывчивость человечества, смогли уже, вместо Тер-Зора и Мескене, построить Освенцим, Бухенвальд и Дахау и, вместо двух миллионов армян, уничтожить (ведь способы умерщвления были технически усовершенствованы!) шесть миллионов русских, поляков, украинцев, белорусов, чехов, евреев...

Но в конце концов они просчитались — это был уже не 1915 год, а год 1945-й... Иными стали времена, иным стал мир, в нем уже существовал сокрушитель фашизма — великая Советская страна...

В разгроме логова палачей в Берлине участвовала также армянская Таманская дивизия, воины которой, хорошо помня трагедию прошлого, карали за новые преступления против человечности...

Да, жестоко заблуждались и турецкие палачи, и немецкие фашисты, полагая, что незлопамятность человеческая распространяется и на такие чудовищные преступления, как геноцид — истребление целых народов.

И не случайно, когда боннские реваншисты, надеясь на ту же «забывчивость», пытались в 1964 году спасти от справедливого возмездия фашистских палачей, мотивируя свои действия юридическим понятием «давности преступления», против них восстало все прогрессивное человечество.

Для таких тяжких, чудовищных преступлений нет ни смягчения наказания, ни забвения, ни давности срока, и, сколько бы ни прошло времени, палачи должны ответить за свои преступления, — твердо заявил Советский Союз всему миру постановлением Верховного Совета СССР от 4 марта 1965 года, выражая желание и волю всех народов...

После событий 1915 года лишь горстка армян осталась на родной земле — в Восточной, русской Армении — десятая часть народа на десятой части родной земли.

Казалось, все кончилось, на месте Армении лишь прах и пепел, руины и могилы...

Казалось, за три-четыре года уничтожен и стерт с лица земли народ, идущий из глубины веков и несущий миру сокровища своей древней культуры.

Казалось, борьба между чудовищем и человеком кончилась победой чудовища, а сражение между мрачным средневековьем и светом будущего — победой тьмы...

Все «союзники» и «друзья» оказались несостоятельными.

«Мы бы желали помочь Армении,— фарисействовали английские дипломаты,— но что поделаешь, ведь наши корабли не в силах взойти на вершину Арарата...»

Однако нашелся в мире корабль, который пришел на помощь нашему потопленному в море крови народу, и назывался этот корабль «Аврора»...

Жестоко ошиблись те, кто полагал, что можно стереть с лица земли Армению и армянский народ, хотя этот преступный опыт они пытались повторять и после 1915 года, устраивая кровавую резню в Баку и Восточной Армении вплоть до 1920 года. Они не поняли, да и не могли понять, что сила народа — не столько в количестве, сколько в его духовной стойкости.

Геноцид, если можно так выразиться, убил плоть, но укрепил дух. И прав один из очевидцев, написавший впоследствии: «Турецкая резня имела материальную удачу, но потерпела поражение в сущности...»

Да, всего семьсот тысяч армян осталось на маленьком клочке земли — территории нынешней Армении.

Но это был народ, испытанный страданием, народ, ценою вековых мучений постигший тайну возрождения.

Ведь так он жил испокон веков. Плененный — сохранял достоинство, в поражении одерживал победу и умирая — жил.

Лишь в Евангелие поведано об единственном случае воскресения смертного — легенда о том, как бедняк Лазарь, умерший и погребенный, вновь обрел жизнь от моления Христа.

Воскреснуть-то он воскрес, восстал из гроба и прожил еще долгие годы, однако на лице его больше ни разу не появилась улыбка.

Что же сказать о нашем народе, который не только обрел возрождение и продолжает жить, но и, несмотря на перенесенные страдания, полнокровно и широко улыбается миру...

Да, такими мы были всегда — нам больше доводилось умирать, чем жить, однако мы не только продолжали жить, но и творили, боролись, веровали... И даже едва тлеющий, огонь наш был неугасим. И если мы иногда и безмолвствовали, то — как стрела праотца Айка, готовая сорваться с натянутой тетивы...

Даже во времена самых страшных бедствий миру слышна была не только наша неумолкающая песня, но и гром боев за свободу — от Аварайра до крепости Цура, от Зейтуна и вершины горы Муса до Сардарапата.

Да, осталось всего семьсот тысяч армян на своей земле, но они были теперь окружены дружной семьей братских народов.

И вскоре с «уничтоженной» родины «уничтоженного» народа на весь мир прозвучали мелодии Арама Хачатуряна, засверкали радуга красок Мартироса Сарьяна, отблеск серебристых куполов Бюраканской обсерватории и розовокаменного Еревана, прозвенели чеканные стихи Чаренца:

И вот я стою
На вершинах гор моей разоренной страны,
Стою уверенно и пою...
И громоподобную песню свою
Шлю народам всех стран,
Страждущим людям во всех краях...¹

Да, осталось всего семьсот тысяч армян, но это означало миллион четыреста тысяч создающих рук...

И всего через несколько десятков лет Армения стала посылать самые сложные и совершенные машины и точные приборы в более чем 80 стран (в том числе и Турцию), а изготовленные на армянской земле части космических устройств дошли до Луны и других планет...

Эти семьсот тысяч армян, в течение нескольких десятилетий превратившись в два с половиной миллиона, создали на пепелище ту могучую, возрожденную Армению, которая является лучшим памятником жертвам 1915 года...

После начала второй мировой войны весь армянский народ и на родине, и в изгнании сделал для священной освободительной борьбы против фашизма все, что мог.

Больше трети нашего маленького народа участвовало в боях против фашизма, сотни тысяч погибли на полях

¹ Подстрочный перевод здесь и далее А. Гамбарян.

сражений. Сотни отважных стали Героями Советского Союза, а такие выдающиеся полководцы, как маршал Советского Союза Баграмян, адмирал флота Исаков, маршал Бабаджанян, маршал Хамферян (Худяков) и многие другие, получили широкую известность и удостоились искренней благодарности всех народов Восточной Европы.

Десятки тысяч зарубежных армян боролись против фашизма не только в союзнических армиях, но и в партизанских отрядах, в боевых группах движения Сопротивления, в концлагерях и тюрьмах — от Парижа до Софии, от греческого города Кокина до Освенцима и Бухенвальда.

Среди героев и жертв этой борьбы были и легендарный командир парижской Интернациональной бригады поэт Мисак Манушян, имя которого ныне носит одна из улиц Парижа, и повешенная немцами восемнадцатилетняя партизанка-армянка Герминэ Разкратлян, и убитая в концлагере писательница Луиза Асланян, и погибший в союзнической армии писатель Гегам Ахмаджян, и многие другие.

Характерно, что немцам не удалось отправить в бой против нашей страны даже замученных и обреченных на голодную смерть в фашистских концентрационных лагерях военнопленных-армян, в которых, казалось бы, должны быть задавлены последние проблески непокорности и сопротивления.

Когда первый батальон армянских военнопленных, организованный после громких речей и заверений в одном из концентрационных лагерей Польши, в Пулаве, повезли на фронт, принуждая выступить против своих, то военнопленные, еще не доехав до передовой, подняли восстание под руководством офицера Красной Армии Исаака Андреасяна и других товарищей и, перейдя фронт, стали героически сражаться против немцев.

Наученные опытом, немцы не решились более приближать другие батальоны армянских военнопленных к нашему фронту и отправили их во Францию.

О том, чем это кончилось, красноречиво рассказывает героический путь Александра Казаряна, Бардуха Петросяна и их соратников. Во Франции они тотчас примкнули к партизанам и так отважно сражались, что генерал Де Голль лично прикрепил к их груди высокие французские ордена...

По свидетельству прессы многих европейских стран, армяне, уже испытавшие в прошлом ужас геноцида, были в числе самых яростных борцов против фашизма. Понимали это и сами немецкие фашисты. Не случайно в «Зеленой папке» Геринга содержалась рекомендация фашистским палачам «при вступлении на Кавказ учитывать особую ненависть армян».

Да, была эта «особая ненависть» к германским милитаристам.

В первой мировой войне младотурки были их союзниками, и предшественники фашистов не только не удержали кровавую руку своих варварских союзников, но и, пообещав им на Кавказе земли за счет России, еще более разожгли пантюркистские устремления Талаата и Энвера.

«Метод прусский, осуществление турецкое» — так писали историки и очевидцы событий 1915 года, отмечая постыдное участие германских милитаристов в этом преступлении.

Рассеянные по всему свету армяне ничего не жалели для борьбы против фашизма. Они твердо знали, что победа, одержанная над фашизмом немецким, означает победу над всеми видами фашизма, старыми и новыми, и от этой победы зависит судьба всех народов мира, в том числе и армянского народа и его возрожденной родины, возвращение в лоно которой было их заветной мечтой.

Есть глубоко поучительный исторический смысл в том, что осуществление этой мечты стало возможным лишь после победного окончания Великой Отечественной войны.

Именно победа над немецким фашизмом спасла жертвы фашизма турецкого — армянских изгнанников, дав им возможность вернуться на родину.

Всего за несколько лет почти со всех концов света на родину вернулись двести тысяч армян. Истосковавшиеся по родной земле, они внесли свою лепту в ее возрождение и расцвет.

...Герой, очевидец, мученик, жертва — вот слова, наиболее часто употреблявшиеся в армянской исторической летописи.

Много отважных героев-патриотов у армянского народа, память о которых стала легендой, песней, — начиная от Ара Прекрасного, жившего во времена образования Армении, от героя отечественной войны 451 года про-

тив персидских завоевателей Вардана Мамиконяна до известных и безымянных героев Сардарапатского сражения 1918 года, где горстка спасшихся от резни армян остановила турецкие орды, нацелившиеся на уничтожение русской Армении.

Но странно... Странно и печально — все они, славные герои истории Армении, побеждали, умирая. Умирая, победил ассирийскую царицу Семирамиду Ара Прекрасный; умирая, одержали победу над персидским войском «Красный Вардан» и его соратники; умирая, побеждали герои Сардарапатской битвы, ибо не было другого выхода, история не предоставила иной возможности.

Жертвенное это геройство стало законом нашей истории, фатальным явлением, а смерть — как бы необходимым условием победы. Чуть ли не крамольной казалась даже сама мысль о том, что можно и нужно побеждать — жить.

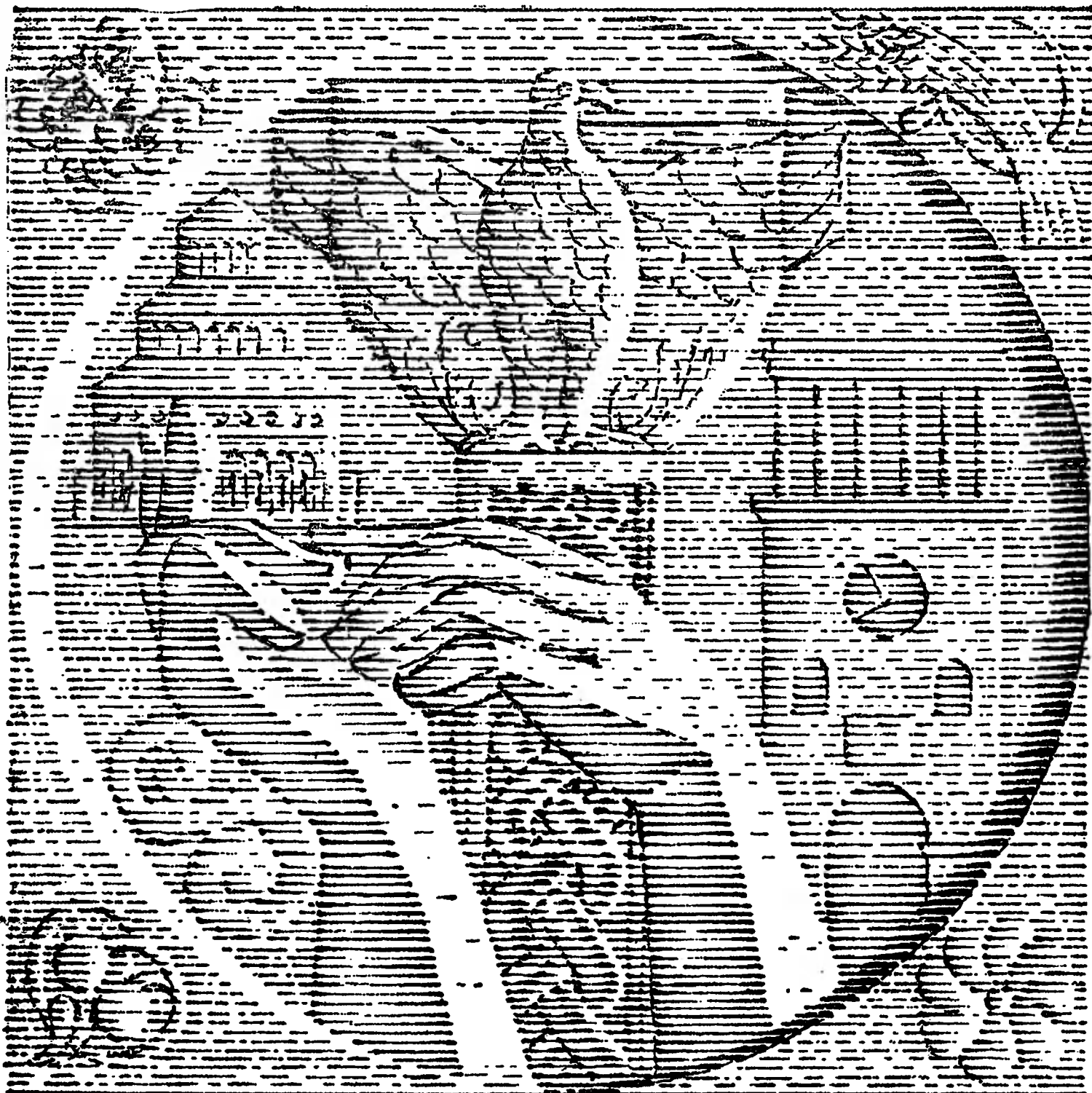
Это было еще непривычно для нас, еще казалось чудом, подобным легенде о птице Феникс, воскресшей из пепла. И нужны были многие годы для того, чтобы это представление о геройстве, освященное веками и кажущееся единственно возможным, изменить в корне, а следовательно, изменить и характер нашего патриотизма: от слов вдохновенных и прекрасных перейти к пусть и неприметным внешне, но действительно нужным для народа спасительным делам.

Да, много раз наш народ умирал и воскресал в течение своей долгой и трудной истории. Но после резни 1915 года, с перебитым хребтом, разъятый на части ятаганом, захлебнувшийся в крови, он не только не умер, не только продолжал жить — он возродился.

Создать прекрасную могучую страну, страну богатой культуры, и все это за несколько десятилетий, на пепле и руинах, — это ли не чудо?

При виде этого чуда заговорил не только весь мир, но и сами камни Армении.

Послушаем их.



ПЕСНЬ О КАМНЕ

Много разных камней в Армении, но здесь почти не найдешь камней неграмотных. Поскреби любой из них, и ты обнаружишь на нем то клинопись, то армянские письмена, то орнамент или барельеф.



Армяне свою страну называют «страной армян», Айастаном. Но есть и другое, созвучное этому слово — Карастан, «страна камней».

Воистину Армения — страна камней. Более двадцати горных хребтов пересекают ее, свыше девятисот больших и малых вершин возвышаются над ней, примерно две трети нынешней территории Армении занимают горы — сплошной камень. А остальная земля в течение веков так была затоптана конскими копытами чужеземных завоевателей, что тоже затвердела, как камень.

Поля и горные склоны Армении до того каменисты, что кажется, будто заросли они когда-то каменным лесом, который потом вырубili, оставив лишь пни да кочки.

Народное предание гласит, что бог, создавая «твердь и хлябь», стоял на вершинах наших гор. Сотворенное им месиво он просеивал через огромное сито и чистую, мягкую землю ссыпал в одну сторону, а оставшиеся на дне камни — в другую, на место нынешней Армении.

Кажется, будто здесь, на этой земле, некогда был гигантский каменный столп — памятник Армении и армянскому народу, но потом его разрушили, и камни, рассыпанные по всей Армении, не что иное, как осколки этого памятника...

Права Мариэтта Шагинян, уподобляя старую Армению нищему из лермонтовского стихотворения, в протянутую руку которого вместо хлеба вложили камень.

Орущих камней государство —
Армения,
Армения! —

воскликнул поэт Осип Мандельштам, впервые увидев Армению.

О чем «орали» они, эти камни? Ведь камни могут заговорить лишь, когда от невыносимого страдания немеют люди...

Они кричали об адской жизни этой страны, лежавшей, по преданию, на месте библейского рая. О том, что исстрадавшийся от войн и нашествий народ даже во время мирных передышек не мог обрабатывать свою обильно политую кровью землю, потому что земли-то не было, потому что это была страна камней, Карастан. В течение веков камень был несчастьем нашего народа, армянский крестьянин веками «выжимал» из камня хлеб, единоборствовал с ним, смягчая его потом и кровью.

Лава, столетиями извергавшаяся из вулканов, превратила Армению в уникальный открытый музей строительных камней. Нет такого строительного камня, которого не было бы в Армении, — будь то мрамор, базальт, гранит, туф или пемза.

Но в этой изобилующей камнем стране добротными каменными домами от века владели лишь Христос да горстка богачей, а народ жил в сложенных начерно лачугах. Так жили люди, создавшие чудеса архитектуры, — Гарни и Звартноц, Гегард и Рипсиме, Ахтамар и Текор...

Много разных камней в Армении, но здесь почти не найдешь неграмотных камней.

Осторожно ступай по этой земле, осторожно обращайся с каждым камнем — хоть с виду грубым и рябым, покрытым сухим мхом и лишайником.

Осторожно — потому что стоит соскрести кусочек мха, и можно обнаружить или рисунок первобытного человека, или арамейскую, хеттскую, халдо-урартскую клинопись, орнамент или барельеф, а начиная с конца IV века — и те, похожие на железные скобы, крепкие и выносливые буквы, которые неотделимы от этих камней уже

более 1600 лет... Камни эти не просто грамотны — на них наша подпись, они наши...

На каждом из них есть печать самобытности нашего народа, так же как на этой земле — тяжелая каменная печать нашей самобытности в виде наших архитектурных свершений.

В каждом открывающемся ландшафте, в каждой долине, ущелье, на вершине горы увидишь то каменный монастырь, то хачкар¹, то мост, то старинное гостинное подворье — каменную «печать», свидетельствующую о том, что это наша земля...

И не случайно каждый новый враг и завоеватель старался прежде всего разрушить наши архитектурные памятники, разбить хачкары, то есть стереть с земли нашу подпись, соскрести печать нашей самобытности.

Армения, страна камней, Карастан...

От непрерывных войн и нашествий разрушились, обратились в пыль и многие из этих архитектурных памятников.

В течение девяноста лет своего владычества в Армении русский царь сложил из черного туфа лишь несколько казарм и канцелярий, которые впоследствии тоже были разрушены турецкими янычарами.

В 1920 году наш народ, имевший тридцативековую историю, получил в наследство только разрушенные века или годы назад здания и памятники. Их трудно было отличить друг от друга — развалины не имеют возраста...

От времени и векового ужаса войн «онемели» и превратились в камень даже некоторые армянские рукописи. Окаменела будто сама история.

После трагических событий 1915—1920 годов казалось, что даже в этой камнеобильной стране не хватит камней для могильных плит. Казалось, будто престарелому каменотесу доведется в конце концов огранить последнюю могильную плиту и высечь на ней: «Здесь покоится Армения».

Но этого не случилось.

Армянский народ, хоть и истекающий кровью, хоть и на малой части своей земли, обрел государствен-

¹ Х а ч к а р — плоский, вертикально поставленный камень с высе-
ченным на нем крестом, украшенный резьбой,— своеобразный вид
средневековой армянской мемориальной архитектуры.

ность, получил возможность строить свой родной дом, и тогда, подобно вулкану, вырвалась наружу заглушаемая веками жажда созидания.

Сколько понадобилось времени, чтобы восстановить то, что разрушалось веками?

Оказалось, всего несколько десятков лет новой жизни.

Старому каменщику, еще недавно тесавшему могильные плиты, новорожденная Армения заказала постройку родильного дома и школы; вместо казарм и тюрем велела строить жилой дом и клуб, библиотеку и университет.

Всюду возводились стены, стены покрывались кровлями. Это были простые стены, крытые пока только плоскими крышами, но их было так много, что казалось — не хватит камня на них.

Камень начал служить народу. Теперь он вновь жаждал обрести дар речи, мечтал превратиться в барельеф и капитель, колоннаду и карниз, статую и родник, стать Оперным театром и Домом правительства, Матенадараном и памятником жертвам геноцида.

Страна строилась... Неиссякаемые залежи Арктикуфа еле успевали удовлетворять потребность в камне для новых зданий новой Армении.

Камни мечтали обрести речь, и они заговорили. Заговорили и позвали на родину своего чародея — архитектора Александра Таманяна, уже известного в России своими прекрасными сооружениями.

Он был счастливейшим из зодчих — может ли быть для архитектора счастье выше, чем жить в стране, где всегда и всюду строят?

Тот, кто проходил по грязным, узким улицам тогдашнего Еревана, не знал, что — правда, еще только на ватмане и кальке — в городе уже есть площадь Ленина, Дом правительства, здание Оперного театра.

Многие не видели этого даже тогда, когда стали уже сносить ветхие домишки и рыть котлованы под фундаменты этих памятников нового Еревана. Им, очевидно, застилала глаза пыль от разрушаемых домишек...

Ереван — жалкий провинциальный полугород-полудеревня. Вот как описывает его в 1882 году один из царских чиновников: «Дома с плоскими глиняными крышами,

глиняные улицы, окруженные глинобитными стенами площади. Повсюду — глина, глина, глина...»

Поздно увидел я Ереван — в 1927 году (хоть и заслуженно считаюсь «старым ереванцем») и, однако, увидел его почти таким же, каким он был в 1882 году.

Арба, на которой я сидел, переезжая с семьей из Аш-тарака в Ереван, проехала по нынешней улице Шаумяна, потом по самому центру и остановилась где-то в окрестностях нынешнего кинотеатра «Москва» перед одним из глинобитных домишек. Кривые, узкие улочки, словно поссорившиеся с миром и повернувшиеся к нему спиной дома с высокими глухими стенами. Пыль, жара, грязь, тоска...

Как сказал Егише Чаренц:

Эривань.
Пыль в глаза...
Все в пыли...
Виноград,
И толпа,
И стены домов,
И рев:
«А-и, а-и-и!» —
Осла,
Ослицы,
Ослов.

Над мостовой
Лень и зной,
Зной и мгла;
Ало-серая мгла;
Лень, словно в летнюю рань,
Сон счастливый осла...
Эривань!
Эривань!
Эривань! ¹

Самым распространенным видом транспорта были тогда фаэтоны и ослики.

Маленький Ереван, который начинался и кончался улицей Астафян, был едва заметен на дне котлована, окруженного горами. По вечерам с голых склонов этих гор и холмов ветер наносил в город столько песку и пыли, что в двух шагах уже ничего нельзя было разглядеть.

¹ Перевод В. Брюсова.

— Чтоб ты провалился в преисподнюю! — в сердцах проклинали свой город в такие часы старики и просили нас, детей, полить хотя бы двор, чтобы осела пыль.

«Заграничное» стекло единственных городских часов давно разбилось, и вороны, свободно садившиеся на стрелки, передвигали их по своему усмотрению: то останавливали время, то поворачивали его вспять... Жизнь тоже остановилась, как эти часы, и казалось, так ничто и не изменится в этом сонном городе.

Впоследствии Чаренц поведал нам о том, как Еревану чудятся настоящие большие города, и он рассказывает поэту о своей тоске:

Говорит:
 «Я к смерти готов».
 Шар земной опоясали звенья
 Звонкой цепи больших городов.
 Там начищены, как гуталином,
 Тротуары,
 И вместо телег
 Там моторы на радость витринам
 Ускоряют свой плавный бег.
 Светят зарева издалика мне,
 Фонари унизали мосты.
 У других — драгоценные камни,
 Ничего у меня, сироты.
 Мой Чаренц, умереть мне слаще,
 Чем дремать другим не под стать.
 Если ты поэт настоящий,
 Помоги страну подымать.
 Пусть мостами протянутся строки,
 И под арками их на бегу
 Прогремят столетий потоки,
 Чередой впадая в Зангу.
 Если можешь —
 Неизвестный, новый,
 Полный света город построй¹.

И этот город родился...

Через несколько лет новорожденный Ереван уже давал о себе знать в своей пыльной колыбели. Взамен простых стен и плоских крыш появились базальтовые фундаменты и цоколи, мраморные колоннады, а на капителях колонн и стенах новых туфовых зданий красовались первые высеченные из камня лани и расцветали первые каменные розы.

¹ Перевод А. Тарковского.

Сколько людей в свое время называли романтиком и даже фантазером старого архитектора Таманяна!

Они имели основания для этого. Ведь в 1924 году в Ереване было всего 30 тысяч жителей, а Таманян проектировал город на двести тысяч!

Вы снисходительно улыбаетесь, жители сегодняшнего Еревана, насчитывающего около миллиона населения? Да, невиданные до сих пор темпы развития нашей жизни превратили в обыденное самые смелые мечты и планы.

Старому архитектору пришлось трижды менять и расширять генеральный план города. Что ему оставалось делать?

Веками лежавший на дне котлована Ереван вдруг так «закипел», что поднялся по склонам гор, перевалил через них на соседнее плато, дошел до Канакера и Норка.

Теперь на юге он половодьем стремится к Араксу и Арарату, а на севере карабкается вверх, к озеру Севан.

В Ереване уже в 40-х годах ежегодно строилось столько домов, сколько было их в 1920 году во всем городе!

Камень «заговорил», «запел»...

Если б Мандельштам увидел Армению в это время, он, может быть, сказал бы иначе:

Поющих камней государство —
Армения,
Армения!..

Новые здания и памятники Еревана уже могли тягаться с лучшими архитектурными памятниками прошлого и нередко превосходили их.

В новом Ереване построено больше, чем было разрушено за все времена, плюс то, о чем в прежние времена и мечтать было невозможно...

Приехавший в Ереван незнакомец чувствует, что попал в своеобразную, имеющую свою историю, свой стиль, свой облик страну.

Ереван стал одним из красивейших городов. Площадь Ленина — один из интереснейших архитектурных ансамблей в Советском Союзе.

...Много было городов в Армении в течение веков, среди них и такой, как освященный сиянием легенды

Ани¹, но не было и не могло быть города, построенного всего за несколько десятков лет и такого красивого, как Ереван.

Ровесник Вавилона и Рима, он не столько наш предок или отец, сколько сын и внук, возвращенный нами самими.

Ведь то, что сейчас называется Ереваном,— площадь Ленина, сооружающийся Главный проспект, огромные кварталы на севере и на юго-западе размером с город двадцатых годов, новые широкие улицы, Матенадаран, памятник Давиду Сасунци — несравненно моложе ровесников Советской Армении, а кое-что моложе и наших детей и внуков...

...Не так давно с большой торжественностью было отпраздновано 2750-летие Еревана. Гости, прибывшие со всех концов света на это празднество, пили армянское терпкое вино и холодное пиво. Пили, вряд ли осознавая, что лет этак две с половиной тысячи тому назад на этом же месте сидели первые обитатели и первые гости города-крепости Эребуни. Они пили вино, выжатое из гроздей лозы, которую, весьма возможно, посадила еще рука праотца Ноя, и прохлаждались пивом, которое лишь некоторое время спустя здесь попробовал и описал в своем «Анабасисе» отец истории Ксенофонт. Остается добавить, что и съеденная ими форель вполне могла быть выловлена из только что схлынувших вод потопа...

А голуби?.. Голуби не изменились. Они лишь дали новое потомство. Первым был тот, которого праотец Ной выпустил из ковчега на вершине Арарата, чтобы проверить, кончился ли потоп и не видно ли где суши.

Тот голубь, созданный господом голубь номер один, спланировал над водами потопа и опустился на влажную землю... как раз в том месте, где теперь расположена площадь Ленина, и оттуда принес в клюве зеленую веточку Ною. В память об этом «историческом событии» на площади и сегодня клюют зерно его крылатые потомки...

Стар, очень стар Ереван. Иногда старики, замечая благоговейное удивление окружающих по поводу их почтенного возраста, любят накинуть себе годы... И если верить одному из старых толкований названия нашего города, то это был первый кусок суши, который увидел Ной после потопа. «Еревац, еревац» (виднеется), — радо-

¹ А н и — одна из древнейших столиц Армении.

стно возгласил он при виде этой суши, окрестив таким образом наш город именем «Ереван».

Но не по легенде и сказке мы отпраздновали юбилей Еревана, а по его достоверному клинописному свидетельству о рождении.

На это празднество, кажется, прибыли гости и из Рима, но не могло быть никого из Карфагена, Ниневии, Вавилона, потому что они, увы, обратились в прах, давно уже не существуют, как и многие старшие и младшие сверстники Еревана... И, раз уж пришлось к слову, добавим, что мы отпраздновали юбилей не только старого Еревана, но воздали честь новому, возрожденному, поистине прекрасному...

Ведь, как уже было сказано, то, что сегодня зовется Ереваном, создали мы, новые жители и творцы Еревана, и каждый из нас мог бы, подобно царю Аргишти, высечь на каком-либо здании или памятнике такую примерно надпись:

*Я, Геворг,
Сын кондского¹ учителя Григора,
Воздвиг этот город из туфа
И назвал его новым Ереваном...*

Если до последнего времени Ереван раздавался лишь «вширь», волнообразными кольцами, грозя добраться до подножия Арарата, то теперь он тянется ввысь, стремясь поравняться с его вершиной...

В городе появилось уже множество девяти- и восемнадцатизэтажных зданий, которые кое-где закрывают вид даже на самый величественный монумент — Арарат...

Но сколько бы ни было в городе новых высотных зданий, самым характерным для его силуэта являются журавли подъемных кранов — вестники будущего Еревана.

Подъемные краны, незавершенные новостройки и... пыль, вечная ереванская пыль, которая есть всегда и лишь меняет свое происхождение и характер...

Боюсь, что долго еще будет колыхаться над Ереваном эта пыль (которую поэты, чтобы утешить ереванцев и пустить им «пыль в глаза», называют «золотой»). Ведь сколько еще старых домов и районов надо разрушить, сколько построить новых зданий...

¹ Конд — район Еревана.

Итак, строительная пыль, подъемные краны и незавершенные здания...

Однако, несмотря на это, для Еревана гораздо более характерны особая ухоженность, какой-то домашний уют.

Впечатление это создают не только зелень, искусственные озера и архитектура малых форм, не только небольшие кафе и фонтанчики с питьевой водой, настенная роспись и памятники в нишах, огромные вазы в траве и мемориальные камни, но и...

Кажется, будто каждый куст и дерево, каждый дом и памятник ухожены, приласканы нашими руками и, как все предметы в доме хорошей хозяйки, хранят в себе их тепло, причем тепло не только наших рук, но рук тех полтора миллионов армян-изгнанников, которые со всех концов света совершают паломничество в Ереван, как фанатичные христиане — в Иерусалим и магометане — в Мекку...

Ереван — всего лишь город, но, выражаясь с восточной велеречивостью, в нем есть тысяча разных городов и тысяча разных оттенков ереванцев — от старых ереванцев и переселенцев из армянских деревень до бейрутцев и ньюйоркцев, халебцев и марсельцев, тегеранцев и афинцев, миланцев и каирцев...

Каждый из них по-своему «недоволен» Ереваном, не находя в нем того, что довелось видеть в «своем» городе, и каждый старается сделать так, чтобы то хорошее, что было в Халебе и Марселе, Париже и Нью-Йорке, Сан-Пауло и Бейруте, непременно появилось и в Ереване.

Не потому ли еще Ереван день ото дня становится краше и больше?

Да и как ему не расти и не благоустраиваться, когда, впервые за свою многовековую историю, уже более полувека он не разрушается, а застраивается, не подвергается грабежам, а богатеет?

За каждые пять — десять лет к Еревану прибавляется часть, равная досоветскому Еревану (сейчас город уже в двадцать раз перерос его), а население возросло в несколько десятков раз...

Что касается Эребуни, первыми поселенцами которого были 6600 военнопленных из краев Хаде и Цупани, то лишь на одном из стадионов Еревана во время футбольного матча поместится в 10 раз больше зрителей, чем бы-

ло жителей в основанном царем Аргишти городе-крепости.

Армянская архитектура...

Вероятно, ни в одной области искусства и духовной культуры не отразились с такой полнотой сущность, характер нашего народа, как в архитектуре.

К несчастью, до нас мало что дошло от гражданской архитектуры прошлого — единичные полуразрушенные здания в Ани, несколько древних гостиных подворий и мостов, и, говоря о старой армянской архитектуре, мы преимущественно имеем в виду церкви и монастыри, крепости и великолепные хачкары.

Если архитектура — это музыка в камне, то памятники эти — песни нашей самобытности, выстоявшие под бурями веков.

И не случайно это искусство, достигшее у нас совершенства еще в эпоху раннего средневековья, оказало влияние и наложило отпечаток на архитектуру других стран.

Островерхий купол армянской церкви, который, точно под гнетом насилия, был несколько придавлен и распластан, перекочевав в Европу, беспрепятственно устремился ввысь, дав, по свидетельству многих видных мировых теоретиков искусства, начало готическому стилю.

Архитектура безмолвно, исподволь, уже одним своим существованием воспитывает вкус. И впоследствии, впервые в жизни увидев знаменитые готические храмы мира, я... узнал их стремительные линии и формы, которые впитал в себя еще в те времена, когда босоногим деревенским мальчишкой со своими сверстниками протирал штаны на «Скользком камне», вросшем в землю во дворе аштаракской церкви «Сурб Маринэ». Точно так же, еще в ту пору, совсем ребенком, я уже был во власти обаяния гармонии и совершенства, играя в чехарду у часовни Кармравор, у изумительных хачкаров старого деревенского кладбища. Кстати, Илья Эренбург, побродивший по белу свету, повидавший все и всяческие архитектурные шедевры, не мог сдержать волнения перед Кармравор, посетив ее...

Впоследствии, узнав историю нашего народа, я смог понять, почему наши храмы, породив готическое искусство, сами не могли иметь его блеска, великолепия и грандиозности (разумеется, помимо различий, исходящих из чисто религиозных догматов).

Ведь великолепие храма тотчас привлекло бы внимание чужеземного захватчика — вечно действующей силы на армянской исторической арене — и обрекло бы его на разрушение...

Наши архитектурные памятники не могли быть и грандиозными — возведение большого сооружения требовало долгого мира, а у нас слишком коротки были промежутки между войнами...

Не были они ни легкими, ни воздушными — ведь земля наша все время сотрясалась под копытами конницы завоевателей, и легкое сооружение не выдержало бы.

Что до блеска — откуда было взяться ему в постоянно разоряемой стране!..

Наши памятники очень разные — скитающиеся по чужим берегам армяне-изгнанники по-своему вспоминали и воссоздавали свою духовную родину — всегда одну и ту же по корням, но каждый раз неповторимую по стволу и кроне...

Лучшее тому доказательство — высеченный в скале храм Гегард, непритязательный с виду (чтоб не привлекать внимание чужого глаза) и чудо искусства внутри. Линии его не стремительны и не изящны — но это сама Армения, глубоко запрятавшая в тяжелый камень свою подлинную красоту и тайную суть...

Убеждает в этом и храм VII века Рипсима — внимательный взгляд может прочесть по нему всю историю нашего народа, познать его сущность и характер: он не грандиозен — но величествен, красив — но какой-то твердой, мужественной красотой, суров — но не мрачен, и в своем безмолвии — красноречив.

Даже исключения в виде трехъярусного Звартноца и богато украшенного снаружи резьбой Ахтамара не противоречат жестким законам нашего национального искусства. Могила творца армянского алфавита Месропа Маштоца еще одно доказательство этих законов.

В течение веков враги нашей земли больше всего и наиболее яростно уничтожали то, что связано было с письменностью. И если в этих условиях в течение тысячи шестисот лет не была осквернена могила Маштоца, то лишь потому, что была она неприметной, скрытой от вражеских взоров в подполье невзрачной часовенки, вернее — врыта в ее основание под стеной...

Наша история была преимущественно историей разрушений и потерь, плачем на развалинах.

Есть у нас, например, богатейшая литература о развалинах храма Звартноц, но почти ничего не сохранилось о Звартноце, каким он был в целости и сохранности.

Можно сложить целый холм из книг о развалинах города Ани и о его раскопках — это будут книги древних историков, хроники, путевые заметки, стихи, современные научные труды... Но мы очень мало знаем об Ани, каким он был в пору расцвета, о жизни и быте города, об искусствах и ремеслах, о событиях и людях.

Да, история наша была в прошлом историей потерь (сожгли столько-то рукописей, убили, забрали в полон столько-то человек, разрушили столько-то домов и памятников...) и минувшей славы. И мы слишком часто говорили о блестящей славе и священных развалинах прошлого, забывая о настоящем; шли вперед, непрестанно оглядываясь назад (и потому часто спотыкаясь о камни и пороги).

Порой мы забывали, что невозможно творить настоящее, восхваляя лишь прошлое, нельзя сегодня создавать совершенные творения, лишь восхищаясь развалинами старых.

Цитировать себя для подтверждения собственной мысли — не самый лучший способ. И если я хочу призвать в свидетели одно из моих стихотворений 1947 года, то лишь потому, что там лучше выражено то, что я только что изложил в прозе:

Ты очень любишь древние творенья,
Я тоже дань былому отдаю,
Когда-то в нем искал я вдохновенья,
Теперь давно уж о другом пою.

Не замечаешь ты того, что ново,
Любуешься мощами да быльем.
А я горжусь, что на камнях бывшего
Мы памятники наши создаем.

Когда бы предки в давние столетья
Любили старину, как ты сейчас,—
Кто создавал бы памятники эти,
С которых ты теперь не сводишь глаз? ¹

Да, так было... Со священным трепетом паломника шли мы к прекрасным развалинам Ани, бросая лишь мимолетный взгляд на встречающиеся по пути живые горо-

¹ Перевод В. Звягинцевой.

да и села, словно они были только приложением к развалинам. Тогда как справедливее было бы наоборот — идти в эти города и села, взглянув по пути и на развалины прошлого, пусть самые священные, но лишь сопутствующие главному — жизни и созиданию.

Наверно, семь новых Ани можно было бы построить, если обратить в созидательную энергию все обожание, все эмоции и вздохи, обращенные к руинам Ани...

И если сегодня я разрешаю себе говорить об этом столь горячо и с такой болью, то лишь потому, что это — тоже прошлое, и разрушенные шедевры сейчас, рядом с прекрасными памятниками новой Армении, обрели свое истинное значение.

Все свое лучшее они отдали новым зданиям и памятникам Армении. Гагикашен возродился в великолепном здании Оперного театра, храм Рипсиме — в Доме правительства, барельефы храма Ахтамар донесли до нас тайны нашего древнего театра и теперь украшают новое здание драматического театра имени Сундукяна. А с многочисленных хачкаров, камней-крестов, великолепные орнаменты перешли на поставленные у армянских дорог родники-памятники, дорожные указатели и другие творения архитектуры малых форм.

Лишь тот, кто видел колоннады, арки, великолепную резьбу по камню нового Еревана, может оценить по достоинству наше прошлое и его место в нашей жизни.

Ведь самое славное прошлое любой страны теряет смысл, если остается только прошлым, если на него приходится лишь оглядываться, как павлину на свой пышный хвост.

Резьба на уцелевших камнях Звартноца стала нам еще дороже потому, что мы украсили ею стены наших новых зданий, а камень с клинописью Аргишти — тем, что стал первой ступенькой, ведущей нас от Эребуни к сегодняшнему Еревану.

Сама гора Арарат приобрела более глубокий смысл и значение после того, как мы своими руками подняли ее на наш герб.

Ереван, насчитывающий двадцать восемь веков истории, лишь теперь становится известным миру и рассказывает ему о себе.

Ереван... Город, имеющий свое лицо, свой особый национальный стиль. Однако, развиваясь лишь в этом направлении, город может многое потерять. Ведь, как за-

мечали справедливо в старину, наши недостатки — всего лишь преувеличение, одностороннее развитие наших достоинств...

И если сегодня во имя верности национальному стилю оформить в виде монастырских ворот VII века вход на современный завод, можно сделать смешным и скомпрометировать само понятие национального стиля в архитектуре.

Если бы не появляющиеся в последние годы в Ереване образцы (к сожалению, пока немногочисленные) новой, современной архитектуры, вернее — удачные попытки выразить национальную форму средствами современности, то мне лично день ото дня становилось бы труднее показывать свой родной Ереван сведущим гостям. Здесь, как и во всех других областях, сохранять национальные традиции прошлого — значит не повторять их механически, а продолжать и развивать, создавая качественно новую национальную форму, воплощающую новое национальное содержание нашей жизни.

Не надо обладать большим умом, чтобы понять, что туф красивее бетона... Но как бы ни красива и ни предпочтительна была традиционная кладка из туфа, возможно ли сегодня, вручную укладывая камень за камнем, строить высотные дома современных городов, огромные новые районы?

Так что же — безликие бетонные коробки без прикрас, однообразные застройки, в которых не то что человек навеселе, но и знаменитый Шерлок Холмс не в состоянии был бы отличить свой дом от других, — или облицованные туфом новые районы, та «розовая скука», которая по ошибке зовется Ереваном?..

Нет — новое качество национальной формы, новый язык и стиль, которые смогли бы совместить алюминий и стекло с туфом, резьбу по камню — с готовыми панельными стенами, арку и колонны — с бетоном и железом.

Ереван... Лишь на земле сегодняшней Армении — клочке Армении исторической — есть несколько древних столиц: Армавир и Арташат, Двин и Вагаршапат... Ереван — лучшая и счастливейшая из них.

А многочисленные поселки, окружающие Ереван, как цыплята насадку? Воспоминания скольких поколений, потерявших родину в изгнании, воплотились в их названиях, сколько городов и селений, разрушенных во время резни, вновь возродились и приютились под боком у ма-

тери-столицы в облике Ареша и Зейтуна, Киликии и Себастии, Харберда и Ачна, Арабкира и Балаовита, Малатии и Нор Гехи...

Но почему мы говорим только о Ереване? Гюмри, ныне Ленинакан, имевший некогда «семь храмов» и не имевший ни одного трехэтажного здания, грозит превзойти его, если Ереван, не дай бог, возгордится и замешкается.

Но почему только Ленинакан? Затерянный в лесах жалкий Караклис — ныне Кировакан — стал не только одним из красивейших городов Армении, но даже соперничает с Ереваном своими инженерно-техническими кадрами, заводами новых профилей и обилием научно-исследовательских институтов.

А села и районные центры? Давно ли единственным каменным зданием здесь была церковь... Но кто удивится сегодня, увидев в Эчмиадзине и Воскевазе, Арташате и Талине, Аштараке и Двине дворцы культуры, не уступающие лучшим зданиям больших городов.

Раньше, глядя издали на Аштарак, можно было различить лишь церковь Сурб Маринэ, а теперь аштаракцы всерьез озабочены тем, как быть с неудачно поставленными у церкви многоэтажными домами — то ли снести, то ли «передвинуть», чтобы не закрывали вида на прекрасный церковный купол...

Армения. Страна камней. Карастан...

И камень, извечно считавшийся нашей бедой, обернулся для нас источником богатства.

Чего только не создают из камня жители «каменной» страны!

Камень превращается не только в здания и мостовые, ограды и колонны. Из этих ненужных, мешающих обработке земли камней здесь «выжимают» все — начиная от питающих эту землю удобрений и кончая деталями для космических кораблей.

Из камня та стеклянная посуда и керамические сервизы, что можно увидеть на наших столах. Из камня же — хрусталь отличного качества, по свидетельству чешских специалистов.

Из камня получают тот огнеупорный материал, что идет на строительство домен.

Из камня — каучук, резина, автопокрышки.

Из туфа и пемзы, например, получают бетоны высоких марок, заполнители, теплоизоляторы, прекрасную ке-

рамику и мягкое, как шелк, волокно. Кто бы мог подумать, что камни, в несметном количестве усеявшие наши поля, не просто камни, а клубки нежного шелка?

Я уж не говорю о не использовавшихся до недавнего времени «горячих камнях» — нефелиновых сиенитах, запасы которых в Армении огромны и из которых химии уже «выжимают» свыше десяти ценных материалов.

С использованием туфов и пемзы, мрамора и гранита, перлитов и обсидианов, базальта и нефелиновых сиенитов в Армении, кажется, не остается ни одного вида ненужного, неиспользованного камня, который был бы несчастьем, мешал бы человеку и земле.

И теперь наряду с такими полезными ископаемыми, как варденисское золото, кафанская, алавердская медь, агаракский, каджаранский и дастакертский молибден, сваранцское и разданское железо, мы можем с гордостью говорить и о таких полезных ископаемых — камнях, как артикский туф, анийская пемза, хорвирабский мрамор и базальт, араратский известняк, арагацкий перлит и обсидиан, разданский сиенит.

Если раньше в строительстве использовались лишь базальт и туф, и то большей частью черный, то сейчас на новых зданиях Армении можно видеть все цвета туфовой радуги вплоть до фиолетового, желтого, красного, мозаику разноцветных мраморов, синеву базальта.

Если бы камень не был столь тяжелым, а его транспортировка — столь трудным и дорогостоящим делом, то разноцветные камни Армении сверкали бы сейчас не только в Москве, Ленинграде и других городах Советского Союза, но и во всем мире, ибо запасы их неисчислимы и практически неиссякаемы. В дома, построенные из армянского туфа, можно вселить все население Европы и Советского Союза, а армянского базальта с лихвой хватило бы на тысячу лет...

Алавердские и Кафанские горы по-прежнему дают медь, но теперь в семь раз больше, чем прежде.

В горах Каджарана, Дастакерта и Агарака хранятся несметные, поистине волшебные сокровища — залежи меди и молибдена, редких и драгоценных металлов.

Весь Ереван буквально «стоит» на каменной соли, а Варденис... Басаргечар (так его называли встарь), страна «мацуна» — кислого молока! И кто бы мог подумать, что он с таким упорством долгие века таил в своих недрах золото. Да и кому было поведать об этом кладе,

кому его отдать — татаро-монгольским завоевателям, византийцам, персам?!

Даже своим сынам нельзя было открыть тайну клада, пока они не были сами себе хозяева и не могли удерживать его в своих руках...

Мудрая, воистину мудрая родная земля... Веками тебя только грабили, и ты постаралась как можно глубже упрятать свои сокровища — так глубоко, что иной раз и сама забываешь, где твои хранилища (как это случилось с нефтью и природным газом)...

Но камень не только помогает стране отстраиваться, он увековечивает тех, кто трудился, творил на этой земле, кто боролся за нее.

Сколько неприметных камней, разбросанных по армянским ущельям, обрели счастливую судьбу стать памятниками или пьедесталами памятников Ленину и Шаумяну, Давиду Сасунци и Маштоцу, Комитасу и Саят-Нова, Налбандяну и Исаакяну, Вардану Мамиконяну и Гаю, украшают теперь улицы и парки наших новых городов.

Возведен в Ереване еще один памятник — жертвам 1915 года, он водружен на высоком горном плато над рекой Раздан, откуда хорошо виден его вечный огонь.

Медленно шло строительство этого памятника, ибо не было здесь почти ни одного рабочего, чей брат или отец, мать или сестра, дед или прадед не погиб в черные дни резни или не пропал без вести, исчез навсегда без могилы и надгробного камня.

Богата Армения камнем, однако часто, слишком часто не могла возложить она даже простой плиты на могилы самых любимых своих сыновей — Мовсеса Хоренаци, Хачатура Абовяна, Григора Зохраба...

Что до бесчисленных жертв 1915 года, то Армения при всем желании не смогла бы почтить их: тысячи и тысячи невинных людей не удостоились даже могилы...

Еще и поныне в пустынях Месопотамии, в ущельях, пещерах и на дорогах Тер-Зора и Мескене белеют кости жертв этого злодеяния, ждущие похорон в родной земле.

По ночам они отсвечивают призрачным фосфорическим сиянием...

Медленно строился памятник жертвам 1915 года — каждый каменщик и рабочий строил его как надгробие своим близким, думая свою горькую думу, вновь вспоминая те черные дни.

Медленно строился памятник, но крепко и на века, ибо это не только и не столько надгробный памятник, сколько монумент чудесного возрождения нашего народа и нашей страны.

Стоит лишь, преклонив колена перед неугасимым огнем в память жертв геноцида, выйти из-под давящих и будто обваливающихся на тебя сводов памятника, сразу увидишь раскинувшийся вокруг Цицернакабердского холма цветущий Ереван, который более, чем любое архитектурное «ухищрение», знаменует возрождение нашего народа.

Армения. Карастан — страна камней...

А сколько их легло в кладку могилы Неизвестного солдата, множества родников-памятников и увековечивает память погибших в Отечественной войне героев, чья слава крепка, как эти камни, и вечна, как родниковая струя.

Остановимся у одного из этих родников-памятников, восславим бессмертную память героев и вслед за родниковой струей пойдем слушать новую песню.



ПЕСНЬ О ВОДЕ

Видимо, так и случилось бы в этой стране горных рек — она умерла бы от жажды, если бы не изменилось течение самой большой реки — Истории.

● —————

Э то продолжалось долгие годы, до самых последних времен...

Лет двадцать—тридцать назад пассажир, выехавший поездом из Еревана в Москву, едва успевал устроиться в купе и выглянуть в окно,—зелени ереванских садов как не бывало. Начиналась простирающаяся чуть ли не до Ширака пустыня, сначала белесая, цвета соли, постепенно принимающая темно-бурую окраску. Это была характерная картина для старой Армении, земля которой веками орошалась или солеными слезами и становилась от этого белой, или кровью, окрашиваясь в бурый цвет.

Именно здесь, в Сардарапатской пустыне, в 1918 году было сотворено одно из многих чудес в истории Армении — ржавыми берданками, мотыгами и лопатами народ наш остановил нашествие турецких орд, отстоял свое право на жизнь, отвоевал кусок своей земли.

Тяжелые, безнадежные были времена...

Русская армия оставила кавказский фронт. Ослабленной от гражданской войны Советской России немцы навязали невыгодные условия Брестского мира, а теперь, нарушая подписанный ими же договор, двинулись вперед на Украине, тогда как в Закавказье действовали их турецкие союзники.

Что мог поделать истекающий кровью, надломленный резней и одинокий, без друга, без помощи, армянский народ против этой гигантской военной машины...

Близкая гибель Армении была столь очевидной и неизбежной, что Вехиб Паша уже из Сардарапата телеграфировал Высокой Порте¹ о том, что в скором времени он окончательно сотрет с карты мира страну, именуемую Арменией...

Однако народ наш — и это одна из его характернейших черт,—инстинктивно почувствовав, как и во время битвы на Аварайрском поле, что именно сейчас решается вопрос, «быть или не быть» и самому народу, и от-

¹ Правительство султанской Турции. Высокая Порта — (букв.) ворота султанского дворца Долмабахче.

чизне,— начал в буквальном смысле слова отечественную войну против врага, войну не на жизнь, а на смерть, вновь доказав, что невозможно уничтожить целый народ.

Сардарапат...

Здесь вчера вновь повторился
Новый Аварайр битвы за свободу,
Здесь настал предел терпению,
Но Мгер¹ не вышел из пещеры...
Здесь не было ни храброго Вардана,
Ни Егише, ни Гевонда Ереца,
Была лишь горстка сирот,
 лишь горстка беженцев
И битва, подстегивающая сама себя...
Здесь камень сам породил Мгеров,
Безвыходность создала новый выход,
И не то что враг — сам аллах
Возопил бы в страхе перед этим чудом...
Здесь земля сама ринулась в бой
И погибла в неравном бою,
Превратилась в солончак от крови и слез...
Был Сардарапат — стал анапат².

Все колокола деревенских церквей Араратской долины день и ночь тревожно били в набат, сзывая народ на поле боя. И со всех концов Армении, вооруженные винтовками и вилами, косами, лопатами и камнями, спешили в Сардарапат мужчины и женщины, старики и дети...

Многие понимали, что их ждет верная смерть, и не случайно некоторые отряды так и назывались — «саванщики»...

В старину перед решающими сражениями армянские военачальники и воины отправлялись в Эчмиадзин приложиться к руке католикоса и испросить у него благословения...

На этот раз, в нарушение традиции, католикос сам прибыл в Сардарапат и, обливаясь слезами, обходил ряды и целовал измазанные землей, мозолистые руки крестьян-воинов...

И чудо свершилось.

Истекающий кровью армянский народ преградил путь турецким ордам.

Целью захватчиков в этот раз было не только завоевание Армении и уничтожение армянского народа.

¹ Мгер — один из героев народного эпоса «Сасунские храбрецы».

² Анапат — пустыня.

Подстрочный перевод.

Эти кровавые орды стремились тогда к Баку, чтобы вместе с прусскими войсками как можно скорее захватить бакинскую нефть, задушить в крови легендарную Бакинскую коммуну и новорожденную Советскую Россию...

В Сардарapatской битве наш народ не только завоевал себе право на жизнь, но и пришел на помощь Бакинской коммуне и молодой Стране Советов.

И хотя захватчики все же прорвались к Баку, но, по свидетельству начальника генерального штаба германской армии фон Людендорфа, из-за «этих проклятых армян» сильно опоздали с захватом нефти... Они вынуждены были в конце 1918 года капитулировать.

Когда из окна поезда теперь глядишь на последние клочки каменистой пустыни и солончаков около станции Октемберян (бывший Сардарapat), то невольно думаешь: неужели в этой стране совсем не было воды?

Но достаточно побывать в Лорийском ущелье и услышать журчание горного Девбеда, вспомнить синий плеск севанской волны, рокот водопада Шаки, шум Раздана, Воротана и тихое бормотание Аракса...

Вода была. Но ручейки и реки, рожденные в армянских горах, низвергаясь с бешеной силой вниз, проносились мимо нашей жаждущей земли и устремлялись туда, где и без них воды было вдосталь,— в степи, к большим рекам, к морю.

Как сказал бы мой друг Расул Гамзатов:

Горной речки глупая вода,
Здесь без влаги трескаются скалы,
Почему же ты спешишь туда,
Где и без тебя воды немало? ¹

...Бурны и мутны бывают горные реки, а наши помутнели еще и от ярости и горя... Легко ли безвозвратно покидать отчизну, да еще не принеся ей никакой пользы...

И как они могли приносить пользу, если на том коротком отрезке пути, что протекали по родной земле, были они упрятаны на дне глубоких ущелий.

Самое большее, что можно было делать,— брать воду из рек для орошения жалких, похожих на заплаты, прибрежных полей, садов и огородов или заставлять ее вертеть мельничное колесо.

¹ Перевод Н. Гребнева.

Как дождь, обойдя иногда стороной высохшие от зноя поля, проливается в море, так и вода здесь в течение веков, закипая от злости, лишь рыла и углубляла собственное русло, обнажая пожелтевшие корни ив. А в нескольких шагах от берега иссыхали от жажды поля и сады, трескалась земля. Бесплодную землю эту народ называл словом наподобие вороньего крика — «крр» (пустошь).

В ущельях рек воды было хоть отбавляй, а чуть подалее она ценилась на вес золота. Не случайно вода здесь испокон веков была предметом поклонения. От чудотворной воды Катнахбюра — «Молочного родника» — зачала героиня нашего эпоса Цовинар и родила богатырей Санасара и Багдасара — предков Давида Сасунци...

Хвалой воде и родникам полна наша поэзия с древнейших времен до наших дней.

На журчание чистой родниковой воды похожа средневековая армянская песня «Юноша и вода», до сих пор живущая в народе:

С высоких гор, угрюмых гор
Вода сбегает на простор.
Вот юноша пришел к воде,
Помылся юноша в воде,
Лицо и руки мыл в воде,
Так юноша сказал воде:
— С какой горы ты, ключ, бежишь,
Мой сладкий ключ, студеный ключ?
— Я с той горы струюсь, бегу,
Где новый снег, где старый снег.
...
— К бахче какой ты, ключ, бежишь,
Мой сладкий ключ, студеный ключ?
— Я в ту бахчу струюсь, бегу,
Садовник где хозяин сам.
...
— В какую ж реку ты бежишь.
Мой сладкий ключ, студеный ключ?
— Я в ту реку струюсь, бегу,
Куда приходит яр твоя,
Там воду пьет она, а я,
Пока она твердит «люблю»,
Ее уста волной ловлю!¹

В этой песне не только хвала животворной воде, не только тоска о чистой, как родниковая вода, любви, но и затаенная мечта труженика о том, чтобы садовник сам стал хозяином своей земли...

¹ Перевод В. Брюсова.

О древнем культе воды свидетельствует и армянская языческая богиня Нар, или Нурин, до сих пор почитаемая в деревнях, а также сохранившиеся и поныне на склонах горы Арагац каменные драконы — «вишапы» и крепости, сооружавшиеся у истоков рек для их охраны.

Но в какое сравнение могли идти эти разбросанные по берегам рек каменные чудища с настоящими драконами земли армянской — чужеземными завоевателями или своими заправилками!.. Это они сидели у истоков рек, а внизу, на полях и в долинах, люди орошали свои сады и посевы слезами, потом и кровью.

Говорят, в Котайкском районе сохранился до наших дней камень, на котором высечено: «Эта вода принадлежит Мелику. Да будет проклят со всем своим потомством тот, кто воспользуется этой водой».

А на кладбище села Аштарак есть могильный камень, повествующий о том, что здесь лежит человек, убитый соседом из-за воды...

На этом сухом, как земля Армении, и покрытом лишайником камне нет даже имени покойного, но есть тут самое главное, за что бедняга положил жизнь, — вкривь и вкось выдолблены на камне наделы двух соседей с грядками, межа между ними, водораздельная линия и то место, где было совершено убийство.

Как объяснить ребятишкам, которые сегодня в Ереване затевают веселую возню у фонтанчиков с прозрачной питьевой водой и, прижав палец к отверстию, щедро разбрызгивают ее вокруг, как объяснить им, что такое «водяной камень».

Водяной камень... Это установленный на деревянных подпорках сосуд из туфа, напоминающий опрокинутый церковный купол, — туда с утра наливали мутную речную воду, чтобы процедить ее и получить воду для питья.

В глиняный кувшин, поставленный под камень, вода натекала по капле, подобно волшебной живой воде или слезам. Надо было обладать терпением сказочных великанов, чтобы набрать немного воды и утолить жажду в жаркий летний день.

И какой-нибудь мудрый старец, сидя в задымленной комнате ветхого дома, сложил бы еще не одну легенду об этой стране и ее народе, умирающем от жажды, если бы не изменилось течение самой большой реки — Истории — и не был бы уничтожен засевший у ее истоков дракон.

Грохот последних залпов войны в Армении смешался

с грохотом строительства первых каналов. И с тех пор не проходило года, чтобы в Армении не открылся новый канал. Эчмиадзинский канал, Октемберянский канал, Ширакский канал, канал в Гарни, Сисиане, Талине, Арзни-Шамирамский канал, Котайкский канал...

Не счесть всех больших и малых каналов, построенных в Армении за последние десятилетия, как не счесть кровеносных сосудов в теле.

Есть среди них и два убеленных сединами старца — это Шамирамский и Аштаракский каналы, которые века назад орошали владения урартских царей, а теперь без устали орошают аштаракские и эчмиадзинские общественные угодья.

В своем письме от 14 апреля 1921 года Ленин, горячо приветствуя республики Кавказа, писал, что самое главное для нас — орошение. А приехавший на открытие Ширакского канала Фритьоф Нансен сказал, что народ, который стоял перед опасностью исчезновения и перспективой превратиться лишь в историческое воспоминание, теперь орошает зеленое древо своего возрождения...

Надо ли объяснять армянскому крестьянину или рабочему, интеллигенту — выходцам из того же крестьянства, — что такое новый канал, что такое вода для иссохшей от вековой жажды земли?

Говорят, армянский виноград и фрукты так вкусны еще и потому, что пропитавшаяся горечью земля впервые полита не кровью, а водой и теперь отдает нам накопившуюся за века сладость.

Верю этому, клянусь в том и удостоверяю — на этой земле все сладостно...

И знаете почему? Потому что соленым-пресоленым потом добыто все из этой земли — из этих камней...

Но вода — это не только поле, новый сад или родник-памятник.

В новые красивые поселки с каменными домами, построенные на берегу Талинского канала, переселяются сейчас сасунцы, осевшие в свое время в бедных деревушках на склонах Арагаца.

Почему они когда-то выбрали для жилья высокие горы, может рассказать вам наша вековая судьба — история бесконечных страданий от войн и нашествий.

Разве мог армянский крестьянин, видевший ужасы Тер-Зора и Зейтуна, Андока и Муса-горы, разве мог он не выбрать для своего жилья наиболее недоступное ме-

сто и не построить крепость?! Вокруг одной только деревни Мегри на высоких горах возвышаются четыре крепости, предназначавшиеся для ее защиты. Историческими памятниками они стали лишь с 1920 года...

Итак, сасунцы оставляют свои горные деревушки и спускаются в красивые поселки на берегах Талинского канала. Снимается с места армянское село, но впервые это происходит не в дыму и пламени, не под звуки выстрелов и плач младенцев, а под напев зурны, под автомобильные гудки и грохот круговой пляски сасунцев.

И впервые это происходит по доброй воле самих крестьян. Оставляя насиженные места, они прощаются с могилами родных и отправляются в село, где нет еще ни одного могильного камня. Зато в колыбелях уже лежит не один новорожденный Давид или Сасуник.

Но и здесь армянский климат суров и жесток, и здесь без воды не прорастет ни травинки... То ли дело в Грузии или в Молдавии... Там крестьянин, вернувшись ввечеру домой, может прислонить свою палку к стене, а наутро, проснувшись, увидит, что она зазеленела — так добры там земля и воздух.

Можно отправиться в любой район Армении, хоть в тот же Аштарак, и издали сразу определить, где есть вода и каковы пределы ее досягания, — это предел между жизнью и небытием, и проходит он там, где кончается зелень...

Талинский район Армении — весь в диких каменных пустошах. Кажется, будто это огромное нерукотворное поле, которое каждый год приносит урожай камней, к тому же весьма обильный.

И камней этих, «разгулявшихся» на воле, становилось будто все больше и больше, потому что никто с ними не боролся. Да и что было бороться, ведь если даже все их раздробить и просеять через гигантское сито, обратив в землю, — не было самого главного для возникновения жизни, не было воды...

Теперь воды нового Арзни-Шамирамского канала дошли до пустошей Аштарака и Талина, и жители этих районов повели настоящую священную войну против жестокого владычества заполонивших их землю камней...

Сюда, в эти равнинные деревни, спускаются сасунцы с гор, сохранив, однако, в глубине души воспоминание о своем Сасуне и... свой горский дух.

Если они спускаются на равнину, то жители многих

сел Зангезура, в том числе и села Хндзореск, на ту же равнину... поднимаются снизу, вернее было бы сказать — из той бездны истории человечества, когда люди еще жили в пещерах.

Одна из причин их переселения — опять же вода. Зачем было им раньше выбираться из пещер наверх, если там их ждали не сады и поля, а лишь выжженная пустошь... Не все ли равно, где бедствовать — вверху ли, внизу ли... Не все ли равно, где жить без воды...

Но вода — это не только сады и виноградники, поля и пастбища. Сегодня это прежде всего энергия, могущество, свет, та сила, что дает жизнь стране, начиная от небольших предприятий до мощного электронного ускорителя.

Теперь в Армении почти не найдешь «праздной» реки. Все они приводят в действие множество больших и малых электростанций, которые дают нашей стране миллионы киловатт-часов электроэнергии.

Одна только река Раздан вращает турбины шести электростанций. Шесть больших гидроэлектростанций на не очень длинном пути от озера Севан к Еревану...

Недавно в клубе одного из горных селений во время концерта погас свет. Вы бы посмотрели, какой тарарам поднялся в зале и как честили бедного электромеханика, пока он не исправил повреждения! Не хотели и пятнадцати минут оставаться без света те крестьяне, которые несколько десятков лет назад, а до этого — сотни веков жили в полном мраке или при свете лучины!

Свет вошел в жизнь всех армянских городов и сел, проник во все ущелья, взобрался на все горы. Армения залита светом. И для того чтобы ночью определить границу нашей страны с Ираном и Турцией, достаточно взглянуть в ту сторону: граница там, где кончается свет...

Говорят, что там, за Араксом, в Западной Армении, по ночам вдали виднеются как отсвет Северного сияния или раннего рассвета, огни Еревана, ставшие для местных жителей песней и сказом...

Огни Армении...

Их главным источником стал Севан.

Это одно из самых красивых высокогорных озер. Самое высокое из красивых и самое красивое из высоких. Это соседствующее с небом озеро — одно из неповторимых чудес природы, порой трудно бывает различить, небо ли отражается в воде, волны ли плещут в небе...

Чудом этим надо лишь восхищаться, и к нему грешно было подходить с практической целью, если бы...

Но в тридцатых годах единственной базой нашей тогда еще бедной страны была эта озерная вода, и она с присущей только матерям преданностью и самоотверженностью отдала всю свою красоту и силу, чтобы встал на ноги, вырос ее и без того измученный сын — Айастан.

Красавец Севан своими низвергающимися с большой высоты водами (при расстоянии от Севана до Еревана в семьдесят километров разница в их отметках равна почти девятистам метрам!) вращал турбины мощных гидроэлектростанций, превращая в богатыря хилую Армению.

Но сам он съезжился и точно поседел, обнажив лежавшие до сих пор под водой известняковые бока.

Из-за утраты былой красоты озеро сейчас окружено как бы траурной каймой, но — белого цвета... Видимо, «печаль его светла», ибо жертва его — во имя людей...

Севан, Севан...

Великодушное и незлобивое озеро, ты осталось прозрачным и чистым, как материнское сердце. Прости, если в чем виноваты перед тобой... Но что нам было делать, когда из твоей поднебесной чаши пили лишь боги и звезды, а сыновья твои страдали от жажды, как и скалы на твоём берегу...

Лишь недавно, после того как страна утолила свой голод по насущному хлебу энергетики, наступил черед красоты. Весь наш народ спешит теперь на помощь Севану, пытаюсь, насколько возможно, спасти его красоту и остановить его «голубое кровотоечение».

После того как будут достроены работающие на природном газе мощные теплоэлектростанции в Раздане, Кировакане и других местах, озеро Севан получит возможность отдохнуть от длительного самоотверженного труда.

Но мыслимо ли это, возможно ли повернуть вспять не только время, но и воду, которая уже утекла? Подобное чудо станет возможным при помощи своеобразного «переливания» воды. Где-то в горах за Севаном веками текла река Арпа. Гидротехники заинтересовались ею, определили «группу» ее воды, чтобы сделать «донором» Севана. Ведь Севан — озеро «голубой крови», то бишь воды. Недаром живущая в ней форель зовется «князь-рыбой» — ишханом.

На реке Арпа около курорта Джермук сооружается

плотина высотой в 50 метров. У курорта образуется большое озеро, и воды Арпы через туннель длиной в 48 километров, пролегающий глубоко под землей, потекут в Севан. Свыше 270 миллионов кубометров воды в год будет вливаться в Севан, и озеро, если не восстановит прежнее зеркало, то хоть сохранит нынешний уровень.

И утихнут наконец споры между «физиками» и «лириками» — инженерами и поэтами.

Чувствуя свою вину перед Севаном, мы стали сейчас особенно заботливы к нему. Благоустраиваются и озеленяются его берега, строятся дома отдыха, детские лагеря, кафе, пляжи. Современные крылатые ракеты-катаера мчатся по синим водам Севана — тем водам, изпод которых наши археологи недавно извлекли имеющие трехтысячелетнюю давность громоздкие повозки урартских царей и военачальников.

Нет на свете поэта, который, увидев хоть раз Севан, не воспел бы его! Но меня больше всего волнуют посвященные Севану стихи моего друга — аварского поэта Расула Гамзатова. Его далекие предки двести лет назад разрушили чудесные храмы на острове Севан, утопили в озере много ценнейших рукописей.

Думал ли кто-нибудь из них, что сегодня я буду переводить на армянский язык трепетные стихи аварского поэта о Севане, а об Армении он напишет так:

Как армянин, я Арарат люблю,
Как армянин, с ним вместе я скорблю...

Чтобы не утруждать более Севан (придуман даже особый крылатый девиз, который пишут на трубопроводах новых каналов и насосных станций: «Да облегчится бремя Севана»), «приставлены к делу» и река Воротан, которая до сих пор лишь билась о скалы в праздности, и самая большая река Армении Аракс — будучи пограничной, она до сих пор воспринималась скорее как меч, разделивший нашу родную землю, чем как вода, дающая ей жизнь...

В последнее время успешно применяются для орошения также «отлынивавшие» от труда подземные воды, которые при умелом использовании могут дать земле больше влаги, чем Севан и даже снеготаяние. Сооруженные в Апаране, Манташе, Карноте, Сарнахпюре и других местах водохранилища соберут все талые воды, и летом, когда так дорога каждая капля воды, они будут использованы для орошения земель Араратской долины.

Завтра, глядя на какую-либо речушку или ручей, мы далеко не всегда сможем ответить на вопрос из народной песни — «С какой горы бежишь», зато на другой ее вопрос — «В какой сад стремишься, водица» — мы сможем ответить с точностью до каждой капли...

Но если даже мы смогли бы использовать с самым высоким коэффициентом полезного действия все воды Армении (вплоть до осевшей на цветы росы), это было бы лишь капель для растущих изо дня в день нужд республики.

Дело в том, что сейчас мы получаем в год около трех миллиардов киловатт-часов электроэнергии — количество явно недостаточное, несмотря на десятизначную цифру. А в ближайшие годы потребность в электроэнергии дойдет до 35 миллиардов киловатт-часов! Где же их взять, если наши водные ресурсы уже на исходе?

Положение может спасти природный газ, который мы получаем из Азербайджана, Дагестана, а также из Ирана. Построенные на природном газе теплоэлектростанции в несколько раз мощнее своих гидробратьев. Одна только Ереванская ТЭЦ дает стране столько же электроэнергии (и не сезонно, как ГЭС, а круглогодично), сколько все гидростанции Севанского каскада. А мощность Разданской ГРЭС, самой крупной в республике, — 1 миллион 200 тысяч киловатт! Это превышает мощность всех существующих в Армении гидростанций.

Если и этого окажется мало, на помощь придет атом — добрый атом, надо надеяться... В Араратской долине, возле древнего Мецамора, уже дает энергию первая атомная электростанция в Армении мощностью в 880 тысяч киловатт...

Найдется ли в Армении город или село, возле которого на горном склоне или в ущелье не трудился бы родник. Но много ли городов и сел имели питьевую воду? Даже такое сравнительно благоустроенное в прошлом село, как Аштарак, не имело питьевой воды, и в домах ежедневно снаряжали ребятишек в ближнее ущелье за родниковой водой. За парней из горного села Гндеваз неохотно отдавали девушек из других мест, жизнь их превращалась в ад: все снохи села ежедневно пускались в трехчасовой путь вниз к ущелью за водой. Да и ереванские жители веками использовали для питья воду из канав — водопровод был сооружен здесь всего несколько десятков лет назад.

Дорога́ вода в Армении еще и сегодня, но есть здесь и поистине драгоценные воды. Более трехсот источников целебной минеральной воды известно в Армении. Из них «Арзни» и «Джермук» соревнуются с наиболее прославленными мировыми источниками.

Кстати, несколько слов о «Джермуке» и... нефти.

В Армении есть целые потоки — нет, поистине великий потоп — горячего, вкусного, целебного «Джермука», большая часть которого течет напрасно, пропадает втуне.

Если бы хоть сотую долю той суммы, которая десятилетиями расходуется на поиски нефти в Армении, употребить на розлив «Джермука», то выгода от этого была бы в несколько раз больше, чем предполагаемая выгода от предполагаемой у нас нефти. Ведь, что ни говори, литр «Джермука» вдвое дороже керосина.

Это отнюдь не призыв отказаться от поисков нефти в Армении. Разве давалось нам когда-нибудь что-нибудь легко?

Да, нелегко в Армении найти нефть, и, как остроумно заметил один из наших геологов, надо углубиться в этот вопрос, сиречь — копать как можно глубже...

Дорога́ была вода в Армении и издревле освящалась народом. Поэтому еще и сегодня народ сооружает родники в тех местах и в память о тех людях, которые дороги его сердцу.

Родник на Степанаванском перевале отмечает место, где Пушкин встретил гроб с телом убитого Грибоедова; родник Гндевазского ущелья рассказывает о героях гражданской войны, а в Сардарапате — о знаменитой битве; родник в Харберде увековечивает память жертв 1915 года, многочисленные родники-памятники сооружены в честь погибших в Отечественной войне.

Один старик каменотес из Кировакана соорудил у дорог четыре родника-памятника в честь четырех своих сыновей, павших в Отечественной войне.

Красивая и мудрая это традиция — символизировать память погибших тихим грустным журчанием чистой родниковой воды.

Воды, которая в жару дороже золота, — испивший ее невольно благословит и того, кто построил родник, и того, в чью память он сооружен.

Родники-памятники послужили хорошим стимулом для развития архитектуры малых форм, и теперь в самых глухих деревушках Армении можно встретить неброские

с виду памятники, которые являются прекрасными ее образцами.

Вот стихи об одном из них:

Ты слышишь отзвуки речей
Сквозь плеск и струек перекаты?
То голоса твоих друзей,
Что воду пили здесь когда-то,
Тех, что погибли на войне,
Далеко от селений отчих,
За то, чтоб в мирной тишине
Незамутненным бил источник.
И если ты спешишь домой,
Жнец, поработавший на нивах,—
Водой студеною омой
Ладони рук трудолюбивых.
А если ты поэт,— поверь:
Споешь ты песню смело жившим.
Прохожий, таковы теперь
У нас поминки по погибшим.
И если твой отец и брат
Не возвратились с поля боя,
И если пал твой друг-солдат,—
Склонись над чистою водою,
Ты припади в вечерний час
К ней, как к губам, тебя любившим!
Прохожий, таковы теперь
У нас поминки по погибшим!.. ¹

Не так давно новый оригинальный памятник появился в одном из скверов Еревана — родник в память Саят-Нова, гениального поэта XVIII века. Из белой мраморной стены, на которой высечен гордый лик поэта, выбивается, журча, прозрачная струя родника, словно повторяя без устали гениальные слова Саят-Нова:

Не всем мой ключ гремучий пить: особый вкус
ручьев моих!
Не всем мои писанья чтить: особый смысл у слов моих!
Не верь: меня легко свалить! гранитна твердь
основ моих! ²

На службу человеку стали все армянские реки и озера, водопады и родники. И от этого сделались они чище и прозрачнее. Кажется, словно и течь они стали быстрее.

Они торопятся, будто понимают, как много надо еще сделать, сколько полей и садов ждут их, как много еще страждущей от жажды земли.

Отправимся и мы вслед за журчащей струей к полям и садам, к жаждущей земле и послушаем новую песню.

¹ Перевод В. Звягинцевой.

² Перевод В. Брюсова.



ПЕСНЬ О ЗЕМЛЕ

Если выражение родная земля привычно и естественно во всех странах, то в Армении его можно употреблять лишь условно. Вернее было бы сказать — родные камни.



Обычно весна наступает раз в году, но в Армении ее можно встретить несколько раз.

В горах — своя весна, в долинах — своя, к тому же — в разное время года.

Армения мала, но многолика. На ее земле представлены все климатические зоны — есть тут альпийские луга и виноградники, леса и субтропики.

Когда в Араратской долине наступает осень, наливаются соком виноград и начинают алеть персики, ближе к подножию гор еще лето — здесь только начинает золотиться пшеница. На горных альпийских лугах в это время пышно растет трава и цветут маки. Еще выше снега только начинают таять, только появляются подснежники и фиалки. А на самых вершинах — вечные снега, зимняя стужа.

В это время в Мегрийском ущелье среди раскаленных скал созревают гранат, инжир и японская хурма.

Горный поток, родившийся из талых снегов на склонах Арагаца, может за день на своем пути к реке Раздан встретить все четыре времени года — зиму, весну, лето и осень.

Есть в Армении места, которые лишены даже этой естественной смены четырех времен года, где в году бывают лишь два времени — зима и весна.

Только стают снега — распускаются по весне цветы, пробивается трава, но не успеет земля прогреться и зелень отцвести, как вновь ложится снег, завершая этот малый круговорот года...

Но эти различия были ясно выражены лишь на плодородных землях. Большую часть земель Армении летом одинаково иссушало солнце, осенью секли дожди и зимой покрывал снег. Там кое-где росла горькая полынь, по ко-

торой не очень-то отличишь времена года, да еще лиловые и желтые неувядающие цветы — бессмертники. Но говорили они лишь о «бессмертной» нищете, о «неувядающей» обездоленности.

Прорастали тут иногда и занесенные ветром семена и косточки, превращаясь в кусты и деревья.

Жалкие это были деревья, согбенные, придавленные к земле, росли они вкривь и вкось. Ведь для того, чтобы выпросить у сурового неба каплю дождя, им приходилось семь раз преклонить колени!

Я невольно вспомнил о них... в Америке.

Неподалеку от Сан-Франциско есть роща дошедших до нас из давних времен «красных деревьев» — редко встречающихся в природе секвой. Их берегут как зеницу ока, к ним совершают паломничество все посетившие Америку туристы.

Они не похожи на деревья — словно это вонзившиеся в небо, готовые взлететь к звездам ракеты...

Многие из них насчитывают до двух-трех тысяч лет жизни, в их век уложилось все — от Римской империи и закладки крепости Эребуни до открытия Америки, при них звучал голос Джорджа Вашингтона и свист направленной в Джона Кеннеди пули...

Высота их достигает порой тридцати — сорока метров, а ствол едва могут обхватить десять человек.

Они прекрасны и внушительны, горды и... целеустремленны. Ничто не мешает их росту, все проявляет к ним доброту и щедрость — атмосферные условия и окружающая среда: солнце, земля, вода.

Как погруженный в себя гений, стремящийся к единственной, священной и труднодостижимой цели, забывает обо всем, не хочет тратить времени ни на что другое, так и секвойи, устремляясь ввысь, не хотят терять время даже... на ветки. Как только верхние ветви набирают силу, нижние тотчас высыхают и опадают, чтобы не занимать собою дерево, не отнимать у него энергию, необходимую для роста...

Я глядел на соседствующие со звездами кроны этих гигантов и вспоминал наши деревья — искривленные, морщинистые, порой с покореженными и обожженными стволами.

Вспоминал, и думалось мне: да, семя очень важно, семя есть семя и талант есть талант. Но ведь не менее важно, на какую почву упадет это семя — на мягкую,

влажную, обласканную заботой солнца и воды, или, как в былые времена в Армении, на жесткую и каменистую землю, с которой враждует само небо...

Но насколько жестока и безжалостна была земля, настолько упорны и трудолюбивы были люди, жившие на ней.

Однако что они могли поделать, когда корни нищеты можно было подрывать только водой, а воды не было...

Но безводье — это еще полбеды. Беда была в том, что нет в этой стране земли, а жалкая горстка ее, по воле господ бога, была сплошь вымощена камнем...

Достаточно сказать, что еще и сегодня используется всего п я т н а д ц а т ь п р о ц е н т о в и без того ничтожного количества земли в Армении (территория которой равна всего 29,8 тысячи квадратных километров).

Виноградники моего родного села Аштарак окружены множеством небольших каменистых холмиков. Уроженец Аштарак и сын крестьянина, я долгое время думал, что это природные, естественные холмы, и лишь потом узнал, что это такое. Все эти бесчисленные камни мои деды и прадеды, согнувшись в три погибели, подбирали с земли, освобождая ее, сносили на окраину села и там складывали в пирамидки.

Виноградники Мегрийского ущелья также окружены каменистыми скалами и холмами, но здесь все наоборот — искусственно созданы рукой человека не холмы, а зеленеющие на их склонах, расположенные амфитеатром сады.

На каменистых уступах гор крестьяне сделали ступенчатые террасы, нанесли на них толстый слой привезенной издалека земли. Орошая эти террасы водой, приносимой в глиняных кувшинах из глубокого ущелья, мегрийцы создали свои чудо-сады и виноградники.

Вот какой ценой добывал армянский крестьянин свой хлеб — он буквально «выжимал» его из камня.

Если во всех странах, у всех народов выражение родная земля привычно и естественно, то применительно к Армении его можно употреблять лишь условно, вернее было бы сказать — родные камни...

Возлюбленные, трижды проклятые и семижды любимые родные камни, родной клочок земли...

Сколько страдал мой народ из-за тебя, сколько пролил он слез и крови за естественное для других народов право, чтобы ты принадлежала ему, чтобы он потом лица

своего добывал из тебя хлеб, возвел на тебе свой очаг, свой дом.

Земля Армении... Скупа она, сурова, на ней могли жить лишь подвижники — упрямые, твердые, способные сотворить чудо, люди беспокойного ума и талантливых, трудолюбивых рук.

Английский историк и журналист Эмиль Диллон писал: «Армяне миролюбивы до самоотверженности, оптимистичны в таких ситуациях, когда кто угодно мог бы предаться отчаянию. Лучшие сыны армянского народа — тот материал, из которого история создает своих героев и своих страдальцев».

Родная земля...

Верхний слой ее — это обожженные солнцем камни и скалы медного цвета, почти расплавленный камень, который уже превратился в стекло, и перегоревшая земля, которая уже превратилась в цемент. Они подсказывают ученым секреты изготовления цемента и стекла, силикатов и огнеупорных материалов.

Если удастся тебе вырвать с корнем полынь и тимьян, выбрать хоть с небольшого клочка все камни — ты с трудом доберешься до слоя земли, крепко просоленной и поседевшей от пролитых на ней крестьянских слез...

Копни еще — и увидишь уже чуть влажную землю, влажную от крестьянского пота. Слой этот, дающий землепашцу хлеб, тонок, как его надежда...

Глубже начинается мощный слой красного туфа — как кровь народа, обильно полившая не так давно эту землю.

Еще глубже слой черного туфа — как кровь, пролитая в давние века и годы; она уже запеклась, почернела, превратилась в сгусток скорби о прошлом.

Под ним залегает синеватый базальт, он повсюду, он похож на затвердевшую от гнета волю и веру народа.

Может ли эта земля — этот камень — не быть для нас любимой, единственной и незаменимой, если в ней вся наша жизнь, наша кровь, пот и слезы; и наша смерть — прах наших родных и близких, прах лучших сынов нашего народа, от которого и сама земля становится священной...

Возлюбленная, трижды проклятая и семижды желанная родная земля...

Сколько раз она спасала нас, вдохнув силы, чтобы мы не склоняли головы перед бедствием, перед всеми и

всяческими тиранами, начиная от легендарного Бела до вполне реального султана Гамида, известного миру под именем «кровавого султана», до пашей-убийц Талаата, Энвера и Джемала, бесславно павших от несущей возмездие армянской пули...

Чудодейственное свойство родной земли описал армянский историк Павстос Бюзанд еще в IV веке в знаменитой истории об Аршаке и Шапухе. Персидский царь Шапух заманил к себе армянского царя Аршака, желая узнать его заветные мысли и цели. Шах, беседуя, прогуливается с Аршаком по шатру, половина которого, по тайному совету персидских магов, устлана землей, привезенной из Армении. Находясь на «персидской половине», царь Аршак говорит с Шапухом мягко и покорно. Но стоит ему ступить на родную землю, как он сразу становится гордым и независимым.

Возлюбленная, трижды проклятая и семижды сокровенная родная земля...

Была она расположена на месте легендарного рая, но жизнь на ней с самого начала была поистине адовой. И как могло быть иначе, когда эта маленькая обетованная земля лежала между древними могучими державами Востока и Запада, на перекрестке мировых торговых путей, отданная на поприще всем завоевателям!

Простирающееся от Севанского до Ванского озера и от реки Раздан до берегов Евфрата Армянское плоскогорье не только обеспечивало господство на самых важных торговых путях древнего мира, оно являлось также мощным военно-стратегическим оплотом в отношениях с соседними странами. Не по этой ли причине с самого начала своей истории Армения стала яблоком раздора между великими державами мира... Кто только не нападал на эту страну, чьи только мечи не преломлялись на ней! На ее земле сталкивались Ассирия и Урарту, Рим и Византия, Персия и арабы, монголы и Оттоманская империя.

Столько бурь сотрясало эту землю в течение веков, что на ней было разрушено все, кроме... горы Арарат, которую враги, не в силах разрушить, взяли в плен.

Возлюбленная, трижды проклятая и семижды заветная земля, над которой, кроме проклятия истории, тяготело еще и проклятие географии — трагедия народа, построившего свой дом на пути весеннего паводка или у кратера вулкана...

Армения — не только страна землетрясений, лавы застывшей и лавы раскаленной, вулканов потухших и затаившихся, Армения вместе с тем — эпицентр многих национальных и социальных вулканов и потрясений, тех исторических подземных тектонических сил, которые в течение веков с варварским неистовством видоизменяли эту землю и ее историю.

Сколько раз самые умные из сынов нашего народа, преждевременно седея от головоломных, неразрешимых вопросов и забот о мирном, свободном существовании, готовы были принять самое фантастическое решение: всем народом сняться, уйти с этой роковой арены истории, где в течение веков какие только не разыгрывались трагедии на фоне неизменной декорации — горы Ара-рат...

Но мыслимо ли оставить родную мать и искать на чужбине другую; искать другую землю взамен родной, единственной — той, что есть ты сам, твоя кровь, пот, слезы.

И новая колыбель твоего сына и старые могилы предков — одинаково родина. Без священных белых куполов Арарата можно еще чувствовать себя армянином, но нельзя чувствовать себя на родине. И народ, несмотря на все невзгоды, оставался на этой земле, страдал, погибал, эмигрировал, опять возвращался, снова уходил в изгнание, но родиной оставалась эта земля. А те, кто вынужден был уйти совсем, даже живя в раю, тосковали по своему родному аду, мечтая вернуться в лоно этой трижды проклятой и семижды любимой земли.

Наверно, самое армянское слово в неисчерпаемом армянском лексиконе — это «тоска», и если существует болезнь, которую действительно можно считать «армянской»; то это «истощение от тоски»...

Не знаю, какие существуют обычаи у разных народов, что берут с собой путники в дорогу. Но узелок с родной землей — неизменный спутник любого армянского путешественника...

Если он эмигрировал из Армении, то брал эту землю для себя. Если ехал в чужие края на время, то вез эту землю для живущих там родных и друзей.

Удивляюсь, как не иссякнет затесавшаяся между камнями горстка армянской земли — еще и сегодня тысячи живущих за рубежом армян, приезжая на родину, увозят с собой причитающуюся им щепотку...

Узелок с родной землей — святая святых для каждого армянина-изгнанника, где бы он ни жил. Он хранится на самом почетном месте, рядом с тем, уже поржавевшим ключом, которым сам он или его родители в 1915 году, во время насильственного изгнания, запирали двери родного дома...

Щепоть этой земли посыпают они на гроб своих родственников, чтобы создать иллюзию похорон в родной земле. По этой же причине называют они свои кладбища в далекой Америке или Австралии «Арарат», «Ван» или «Ошакан».

Этот мираж родной земли лелеют изгнанники, мечтая о том времени, когда все армяне смогут жить на ней, когда вся семья соберется под одним кровом... В семь раз прекраснее была бы сегодняшняя Армения, если бы этой земле отдали все свое умение и таланты рассеянные по свету армяне, если бы на этой земле возводили все то, что строили в разное время в Иерусалиме и Мадрасе, Египте и Турции, Франции и Ливане, Тегеране и Багдаде, Эфиопии и Амстердаме, Венеции и Вене; если бы веками щедро не экспортировали они свой ум и свои таланты, получая взамен лишь страдания и бедствия.

Нередко мы говорим, что у нас в Армении то или иное создается лишь теперь. Это верно лишь отчасти: у нас было почти все, но не здесь, на этой земле, а вдали от нее и для других. Новое, принципиально важное сегодня в том, что отныне мы все создаем здесь, превращая землю в родину. Это трудная задача, требующая больших усилий и много времени. Ведь даже сегодня из шести миллионов армян лишь треть проживает в Советской Армении — одной десятой части исторической Армении. И понятие «армянский народ» включает народ, живущий в Армении, и всех армян, проживающих за ее пределами, а «армянская культура» — созданные в Армении культурные ценности и все сотворенное в мире руками армян.

Впервые после падения Киликийского армянского государства в XIV веке мы создали государственность, превратив эту землю в родину всех армян.

Может быть, именно по этой причине все, что происходит сейчас в Армении, обретает особый смысл, значение символа. Ведь камень, из которого наши ученые делают шелковые нити, — это тот камень, что веками был нашим злосчастьем; новый сад — это та пустыня, что веками орошалась лишь слезами и кровью; новый дом —

тот дом, что бессчетное число раз был разрушен и лишь сейчас твердо стал на родной земле.

На этой земле, которая может гордиться тем, что никогда не упала на нее ни единая капля невинно пролитой чужой крови. На этой земле, что вновь возвращает свою старинную виноградную лозу, чьи корни восходят к Урарту, а листья купаются в лучах солнца грядущего.

На этой земле, что так мала по размеру, но велика талантами и деяниями своих сыновей, своей самоотверженной любовью к другим народам, ко всему честному, возвышенному и доброму...

Да, мы маленький народ —
Подобный
Камню,
Взявшему с горы разбег,
Что в сто раз сильнее
Скалы огромной,
У подножья простоявшей век.

Маленький —
Подобно речкам горным,
Необузданным и непокорным,
Что напористей равнинных рек.

Маленький народ мы!
Но — ответьте:
Кто это придумал в черный час
Нас давить, сжимать тысячелетья
Так, что превратились мы в алмаз?

Кто придумал, чья это причуда —
Нас рассеять, чтобы отовсюду
Вам — как звезды в небе —
Видеть нас?

Маленький...
Но посмотри на карту —
Как границы распространены:
Вглубь — от Лусавана до Урарту,
Вверх — от Бюракана до Луны...

Как урана малая крупица,
Он великой силой наделен,
И — не иссякает,
И — лучится,
И — пребудет до конца времен¹.

...Где родина винограда, где родина пшеничного зерна? Кому это известно и кто мог бы об этом поведать?

Но в построенных три тысячи лет тому назад урарт-

¹ Из стихотворения автора «Мы». Перевод Е. Николаевской.

ских крепостях близ Еревана при раскопках обнаружены и пшеничные зерна и виноградные косточки именно тех сортов винограда, которые и сейчас плодоносят в Армении.

Это говорит о том, что наши предки десятки веков назад сеяли на этой земле пшеницу и разводили виноград.

Разводили, борясь со скалами, да и то лишь одной рукой. Ведь другой рукой они вынуждены были держать меч, чтобы защитить свои сады и посевы от чужеземцев.

Они единоборствовали с камнем, выращивали пшеницу и ячмень и варили из ячменя пиво. Они единоборствовали с камнем, выращивали на нем виноград, пили виноградное вино и, опьяненные вдохновением, высекали на тех же камнях виноград и гранаты, пшеничные колосья и орлов. Но больше всего — виноград.

Что было роднее нашему народу, что могло быть для него лучшим символом, чем виноградная лоза!

Ведь она, как и наш народ, упорна и вынослива, она выдерживает и зной (и даже наливается от него сладостью), и стужу, как свидетельствует проросший на склоне горы Адис дикий виноград.

Даруемое ею вино горько и сладостно, как судьба нашего народа. Горько — как перенесенные им лишения, и сладостно — как его вера в грядущие дни.

И не случайно виноградная лоза, как и наш народ, выдержала повторявшиеся в течение веков войны и нашествия, выстояла против огня и меча.

В 1919 году в Армении оставалось всего пять тысяч гектаров виноградников.

Пять тысяч гектаров вековых, морщинистых корней, плоды и листья которых были сожжены пожаром и растоптаны копытами.

Казалось, последняя виноградная лоза, как и наш древний народ, будет уничтожена.

Казалось, где-то старый садовник поднимает последнюю чашу выжатого из последней грозди вина за упокой Армении.

Но этого не произошло.

Взявшиеся за винтовки во время турецкого нашествия садоводы и сеятели вернулись в свои сады и на поля и снова взялись за лопаты.

Они нашли там несколько смятых пшеничных колосьев, обгоревший виноградный куст с уцелевшей гроздью. Надо было распрямить эти колосья, выпестовать лозу...

Но как раз в это время создавался государственный герб новой Армении, и они решили поднять эти колосья и лозу на герб, поместить их рядом с серпом и молотом. Трудно представить себе более высокий пьедестал для винограда, символизирующего наш народ.

Поднявшись на герб, он стал предметом попечения уже не только садоводов, а всего народа, приобрел государственное значение.

С этого дня не проходит года, чтобы в Армении не насаждались новые виноградники.

Упорна и вынослива лоза винограда, но любит она ласковую заботу, любит труд и отдает свою сладость приложившему труд человеку.

Недаром корни и ветви ее так похожи на огрубевшие, покрытые морщинами руки крестьянина.

Лоза винограда всегда как бы протягивает свою руку-ветвь и ищет поддержки, чтобы подняться. Глубоки ее корни, сама она скромна и распростерта по земле, но, если есть рядом какая-нибудь опора, может вскарабкаться по ней, подняться ввысь.

И она поднялась...

Поля и ущелья Араратской долины превратились в зеленые озера и реки виноградников.

Реки эти, все прибывая, вскоре добрались до предгорных районов, и ныне виноград «прописан» не только в Араратской долине, но и в Ноемберяне, Шамшадине, Талине, а холодостойкие сорта его уже укореняются даже в бассейне озера Севан и на Ленинанском плато.

Мало-помалу виноград завоевал все более или менее плодородные земли Араратской долины, заполнил Егвард, все пустоши по бокам дороги Ереван — Аштарак и остановился, лишь упершись в мощенные камнем земли Талинского и Аштаракского районов.

Остановился и долго еще топтался бы на месте, не доберись туда воды Арзни-Шамирамского канала.

...«Вначале сотворил бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста». Эти слова Библии сказаны будто о каменных зарослях Аштарака и Талина, и целых шесть тысяч лет никто не пытался приложить руку к этому созданному вчерне, незавершенному миру...

И лишь в последнее время опаленные солнцем садоводы Аштаракского и Талинского районов, вооруженные тракторами и другими машинами, сделали то, чего не сумел сотворить создатель — хотя и он, подобно руко-

водителям иных районов, приукрасив содеянное, в своем опубликованном в Библии отчете писал, что земля повсюду покрылась зеленой травой и плодоносными деревьями...

Я, с первого дня бывший свидетелем исторического и «богоугодного» дела исправления божьей ошибки, должен сказать, что это было удивительное, трудное, настоящее мужское дело, об этом стоило бы знать тем, кто не ведает, каким горьким трудом добывается урожай сладкого армянского винограда...

Представьте себе пустыню, выложенную огромными плоскими каменными плитами, где растет лишь полынь в земле, нанесенной ветром в щели между камнями.

Жара такая, что воздух, подобно прозрачному занавесу, колышется перед взором и то ли мошка вьется, то ли черные точки мелькают в воспаленных от зноя глазах...

Вернее всего — именно черные точки, ведь жара такая, что ни одно живое существо не шевелится, не рискуют выползать из-под камней даже прокопченные, почерневшие от солнца змеи и снующие повсюду ядовитые фаланги.

Кажется, будто бог действительно только что создал сей дикий хаос и, не доведя дело до конца, отошел по какой-то более важной надобности...

Однако, откуда ни возмись, вдруг слышится неожиданный в этих пустынных местах и покуда неведомый им рокот мотора.

Машина, выкорчевывающая камни, волоча за собой огромный стальной крюк, вдруг находит в камнях расщелину, крюк вонзается в нее, и машина, рыча, выволакивает и опрокидывает огромную скалистую глыбу, за ней — другую, третью...

Иногда машина, несмотря на огромные усилия, лишь процарапает метров тридцать — сорок грунта, и все... Это значит, что каменный пласт здесь слишком велик и помочь тут может лишь динамит...

Но взрывы и выворачивание каменных глыб, хаотические клубки выползающих из-под них змей — лишь начало дела...

После этого надо тягачами оттащить большие глыбы, потом удалить менее крупные, этак с мельничный жернов, камни, потом вручную подобрать оставшуюся «мелочь», затем взрыхлить созданную камнедробильными машинами землю, разровнять ее, и лишь после этого на-

станет черед орошения, а потом и насаждения садов.

А пока что — солнце, зной, шум, грохот машин и пыль, ставшая добычей разъяренного ветра, — она так густа, что толстым слоем, кажется, оседает даже на произнесенных вслух словах.

Эта каменная целина так неприступна, что для ее освоения создана специальная машинная станция. Однако, несмотря на обилие механизмов, труд этот так тяжел, что освоение каждого гектара обходится в 750 рублей.

Чтобы представить размах этих работ, достаточно сказать, что издавна славящийся садами Аштарак со времени сооружения канала Аканатес вплоть до 1960 года имел всего 1300 гектаров садов, а при полном освоении целины их будет 16 тысяч гектаров.

Утешением при мысли об этом тяжком и дорогостоящем труде служит лишь то, что эта веками копившая силу земля и это жгучее солнце очень уж хороши для тех сортов винограда, из которых делают переливающийся солнечным блеском коньяк... Если бы господу богу довелось попробовать его, вряд ли он оставил бы пустынными эти земли...

Говорят, в былые времена здесь располагалось стрельбище. А, собственно, есть ли в Армении хоть пядь земли, которая не была стрельбищем, не видела огня — начиная от истоков нашей истории вплоть до вчерашнего дня...

И весьма глубокий смысл таится в том, что именно на месте стрельбища взойдут сады, — на опаленной огнем войны земле будет расстелена зеленая скатерть мира.

Однако на целине возрастают не только сады. На уже освоенных пустошах Аштаракского района основаны и строятся семь новых поселков (при каждом из них — тысяча или полторы тысячи гектаров садов). А это означает сотни новых семейных очагов, свадеб, рождений, новых колыбелей.

Мала наша земля, но хватит на ней места для гостей, для всех тех, кто входит в наш дом с добром, чтобы разделить с нами хлеб-соль, нашу мудрость и опыт.

Мал наш виноградник, но может наполнить несметное количество дружеских чаш искристым вином и коньяком. Только за год мы влили в старинные бочки треста «Ара-рат» восемьдесят миллионов литров вина и шесть миллионов литров чудесного армянского коньяка.

Возродилась земля наша, возродился и сам труженик земли.

Горемычный крестьянин распрощался с закопченной землянкой, кизяком и лаптями, с тем прокисшим духом нищеты, который так прочно въелся в эту землю.

В свой новый каменный дом он провел водопровод, поставил там газовую плиту, радиоприемник и телевизор, книжный шкаф и холодильник, здесь хранит он свидетельства и дипломы своих детей об окончании учебных заведений, а в гараже при доме стоит собственная автомашина.

За обработку земли он получил орден, побывал на Урале и в Москве, в Софии и штате Канзас, портрет его красовался на страницах газет, на сельскохозяйственной и даже на художественной выставках.

Дома у себя он слушает радиопередачи из родного села и концерты из Еревана, песни далекой Индии и сигналы космических ракет, видит ступившего на Луну человека и футбольный матч в Лондоне, итальянское солнце и лед Гренобля, а то и может сделать заявку на исполнение полюбившейся еще в молодые годы песни.

В клубе или дворце культуры своего села он видит известных армянских, и не только армянских, писателей и артистов, при желании может съездить на машине в город на стадион или на спектакль, а летом — отправиться к морю на отдых...

Старики вообще любят похвалиться прошлым: «Эх, ну и жизнь была!..»

Однажды в горном селении Иринд, где проживают сасунцы, бежавшие в 1915 году от резни, я стал свидетелем разгоревшегося между стариками и молодежью спора.

Выяснилось, что лучшим, самым счастливым временем своей жизни старики считают те годы, когда урожай бывал чуть больше обычного, когда в доме имелось мешков шесть проса и глиняные кувшины были наполнены маслом.

Что еще?.. Больше и вспоминать было не о чем. Протяжное «эх, времечко» повисло в воздухе...

Выяснилось, что в остальные годы они довольствовались лишь горьковатыми просяными лепешками («Ну и вкусны же просяные лепешки! Что против них ваш нынешний пшеничный каравай!»), ходили в лаптях, жили в закопченных домах, гнули спину перед турецким полицейским и вождем курдского племени или с оружием в руках воевали против них.

И это «эх, времечко» произносилось в двухэтажном каменном доме, с крашеными половицами, электрическим освещением и телевизором, в доме, где на книжных полках стояли тома Шекспира, Пушкина и Туманяна, где хранились университетские дипломы хозяйского сына и невестки, в доме, где в этот день гостил младший сын — член-корреспондент Академии наук...

Стало очевидно то, из-за чего не стоило спорить со стариками и огорчать их. Все эти «эх, времечко», неизбежные для каждого человека, означали не хвалу прошлому, а сожаление и тоску по прошедшей молодости и по родной земле («Эх, родная сторонushка!»), с которой в далекие годы ушли они в изгнание и которая теперь, естественно, представлялась им, старикам, обетованной.

Выяснилось, что раньше требования сводились к тому, чтобы земля обеспечивала сытую жизнь. И поскольку она давала желаемое, они крепко держались за нее.

И если сегодня, располагая несравненно большими благами, деревенская молодежь все же норовит уйти в большой город, одна из причин состоит в том, что это уже не вчерашние неграмотные, оторванные от мира мужики. Они уже не могут довольствоваться хлебом насущным или даже «насущным шашлыком» с коньяком в придачу — подавай им кинофестиваль и бразильский футбол, литературный диспут и балет на льду!

...Не забыть мне тот день, когда наша семья в телеге переезжала из Аштарака в Ереван. Сразу за старинным каменным мостом показались желтые заплаты лишенных воды полей, за ними тянулась пустошь до самых ереванских садов.

Выжженные зноем замшелые скалы, растрескавшаяся земля, дикая полынь, развалины какого-то разрушенного здания, а за ними — Ущелье Черного Макича, Разбойничье ущелье, Ущелье янычаров.

Черные камни в темноте принимали облик то какого-то зверя, то человека. И то, и другое было опасно, но опаснее был человек.

Ведь совсем рядом — Разбойничье ущелье.

Вблизи камни уже не казались людьми, и это было еще страшнее. Лучше уж человек, хоть и разбойник, чем это подавляющее чувство запустения.

— Так и умру я в пути разутая, — жаловалась в дни реалистической живописи.

Он запечатлел в своем творчестве собирательный об-

моего детства моя старая тетка Асанет (увы, тогда она казалась мне старой, ведь ей было уже сорок лет!), которой приходилось часто ходить пешком по этой дороге.

Так и умерла, бедная, не увидев, как Аштарак, перескочив через реку Касах, добрался до городской развилки, как Ереван, разрастаясь ему навстречу, дошел до половины пути в Аштарак, как в безлюдной пустоши зажурчали воды канала, как вдоль всей аштаракской дороги раскинулись по сторонам новые сады и виноградники, поднялись новые поселки. Сливаясь друг с другом, они скоро превратят в Аштаракский проспект Еревана эту некогда безлюдную дорогу...

Тетка моя так и не увидела, как друзья нашего аштаракского родственника бригадира Сурена, пируя за столом, читают монолог Отелло, а неподалеку от аштаракских садов поднялись огромные корпуса научно-исследовательского института радиопизики и электроники...

Не увидела она, как большеголовый мальчик из аштаракского приюта Эзрас, потерявший в дни резни семью, которого она часто угощала пшатом и орехами, вырос, уехал в Москву учиться, а потом стал одним из ближайших помощников академика Павлова — известным ученым академиком Эзрасом Асратяном.

Не увидела она и выросший у шоссеиной дороги новый поселок, названный именем другого аштаракского мальчика, их соседа по саду, любившего искать птичьи гнезда, а впоследствии известного ученого Норайра Сисакяна...

Но довольно об этом. Из садов доносятся звуки зурны — надо успеть хотя бы на одну из справляемых нынче в Аштараке семи свадеб.

Повсюду идет сбор винограда, куда ни глянь — видишь виноград, к чему ни притронешься — ощущаешь липкую вязкость его сока. Сок этот вскипает под солнцем, превращается в молодое вино — мачар, воздух насыщен его испарениями, так что опьянеешь и не выпив...

Играет зурна, бродит молодое вино, разведенный для шашлыка огонь разбрасывает вокруг искры.

А груженные виноградом автомашины денно и ночью тянутся от садов к винным заводам.

Последуем за ними, направимся и мы к заводам, их множество в Армении — самых разных, больших и малых, тихих и огнедышащих.

Послушаем новую песнь...



ПЕСНЬ ОБ ОГНЕ

В течение веков здесь мало было доброго огня — в печи, в горниле, в литейне, однако сколько угодно было злого пламени — пламени войны, пожара...

Небеса и земля были в муках родин,
Морей багрянец был в страданье родин.
Из воды возник алый тростник,
Из горла его дым возник,
Из горла его пламень возник,
Из того огня младенец возник,
И были его власы из огня,
Была у него брада из огня,
И как солнце был прекрасен лик ¹.

Так возвестила о рождении Армении из огня и пламени одна из наших прекрасных песен-легенд языческого периода.

Армяне — не идолопоклонники, но огню они воистину поклоняются — ведь он символизирует родной дом, очаг, а их дом и очаг всегда были в опасности...

Сельджукские завоеватели для определения национальности попавших к ним пленников сажали их у огня. Тот, кто сразу начинал подправлять костер, поддерживал пламя, подкидывал топливо, оказывался армянином...

Пылающий очаг, мирно вьющийся к небу дым из ердика ² — что еще нужно было армянскому крестьянину для счастья?

А стране?

Что можно было создать, чего можно было достичь одним лишь огнем скромного очага?

Мог ли он осветить всю страну или хотя бы сжечь, уничтожить лохмотья вековой нищеты?

Из огня и полымя родилась Армения, но в течение веков здесь мало было доброго, созидającego огня — огней завода или литейни, печи и горнила, однако сколько угодно было злого пламени — пламени войны, пожара...

¹ Из древнейших эпических песен. «Рождение Ваагна». Перевод В. Брюсова.

² Е р д и к — отверстие в кровле.

(Если не считать, что в давние времена в Мецаморе плавил металл, а урартцы в Зоде добывали золото...)

Огни современных многочисленных заводов Армении новы, они загорелись от тех красных искр, из которых, подобно легендарному Ваагну, родилась новая Армения.

И более всего благодаря им, этим новым огням, Армения, в которой исстари предметами ввоза были лишь войны и бедствия, а вывоза — сироты и изгнанники, сегодня посылает точные и уникальные приборы и устройства не только в самые далекие страны мира, но и в космос.

Раньше мы сравнивали свои достижения с тем, что было до 1920 года. Теперь это было бы просто смешно. Ведь одно дело сказать, что у нас того-то стало в два-три раза больше, и другое дело — в пятьсот-шестьсот раз...

Часто такое сравнение вообще невозможно, потому что многого в прошлом попросту не существовало. Кожевенный завод, артель Тер-Аветикова, винные заводы Шустова, Сараджева, еще несколько мелких мастерских — вот и вся имевшаяся в прошлом ереванская промышленность. Если веками существовали камни, земля и вода, письменность и песня, обретшие ныне возрождение, то промышленности в Армении не было вовсе — ни сорок веков, ни сорок лет тому назад (если не считать кустарную добычу меди на Кафанском и Алавердском рудниках).

Все крупные промышленные предприятия Армении созданы в 30—40-х годах или и того позже, большей частью — после окончания Великой Отечественной войны.

В 1828 году в Ереване было семь церквей, шесть гостиных подворий, 51 мельница и несколько кустарных мастерских. Даже в 1890 году все недвижимое имущество Еревана (вместе с промышленностью) оценивалось в 281 тысячу рублей...

Это значит, что наш сегодняшний более или менее богатый колхоз мог бы «купить» весь старый Ереван, да еще и внести задаток за другие города...

Когда видишь крупные современные предприятия сегодняшней Армении, когда видишь огромную армию искусных армянских инженеров и строителей — не верится, что первый примитивный ереванский водопровод строился в течение шестидесяти лет, а для строительства не менее убогой конки в 1912 году были приглашены специалисты из Германии!

Кстати, 1912 год был для Еревана временем сравнительного преуспевания, и город настолько «разбогател», что его заводы и мастерские давали продукции в год на 84 тысячи 700 рублей!

Чтобы представить себе все «величие» этой цифры, стоит напомнить, что сегодня лишь один из ереванских заводов выпускает продукции на несколько сот тысяч рублей — в час...

Но не будем отклоняться от хода событий... Ведь мы еще только стоим на Канакерском плато и, смешавшись с толпой, наблюдаем, как входит в Ереван революционная армия...

Это был декабрь 1920 года.

Над страной взвилось красное знамя Октября. Но... страны не было. Были только руины, пепел да синее небо, постепенно прояснявшееся от дыма и гари. И еще — камни, камни, камни... Словно осколки разрушенного памятника Армении. С чего начинать, как строить новую страну, новую жизнь на пепелище? Другого выхода не было — надо было творить новую Армению из этих камней и этого неба.

И стали творить.

Прежде всего взялись за известняк, в обилии рассыпанный по полям, и с упорством алхимиков превратили его в карбид.

Потом воздели очи к синему небу и, соединив с карбидом азот, получили удобрения для армянской земли. Дальше пошло легче...

Одним словом, народ наш, воскресший подобно бедному Лазарю, но наделенный творческой силой созидания, сказал: «Да будет Армения!» — и Армения появилась...

Потом, продолжая «сотворение мира», мы из карбида получили каучук, резину превратили в шины, шины приладили к автомашине «Ераз»...

Но все это было потом, а вначале...

Новая промышленность новой Армении была заложена с того дня, как рабочие Ивановской области подарили армянским рабочим несколько станков для основания текстильной фабрики. Один из этих станков, давно уже отслуживший свой век, стоит сейчас в зале ереванского Музея Революции.

Удивительное чувство испытывают сегодня армянские рабочие и инженеры, глядя на этот простенький станок.

Вероятно, так смотрит здоровяк внук на своего иссохшего деда, не веря даже, что ведет свой род от него.

Но факт остается фактом — каждый внук происходит от своего деда, и именно эти станки положили основу одному из первых предприятий Армении — Ленинанканской текстильной фабрике (ныне это огромный комбинат).

Рядом с текстильной фабрикой скоро встал масложиркомбинат, маленькая артель Есабова превратилась в консервный завод, а мастерская «Лепсе» — в Станкостроительный завод имени Дзержинского.

Сколько было создано потом в Армении гигантских предприятий, но ни одно из них, наверно, не принесло столько радости, сколько эти первые, тогда еще небольшие заводы!

Потом началось... В Лорийском ущелье серны и пернатая дичь были испуганы грохотом Дзорагэса.

В Кировакане к туману, окутавшему леса, примешался золотистый (и, увы, ядовитый) дым химического комбината. А не имевшая до тех пор понятия о каучуке Армения стала значительным центром производства синтетического каучука.

Ереван, тот самый Ереван, что славился лишь вином, коньяком и пылью, в тридцатые годы производил уже карбид, хромпик и стекло, мулит и станки.

Кафанские горы стали давать в несколько раз больше меди, а на Алавердском новом медеплавильном предприятии выплавлялась не только медь, но и традиции новорожденного рабочего класса Армении.

А дальше — началась война...

В тяжкие годы войны ни на один день не прекратился шум строительства.

Именно в эти грозные годы неподалеку от склонов древнего Арарата возникли огромные корпуса электромашиностроительного завода, каучук в самом Ереване стал превращаться в кабель и шины, над городом раздавался веселый перезвон первых выпущенных ереванским заводом часов, а на Арабкирском плато устремились ввысь трубы алюминиевого завода...

Создавались новые заводы, а старые обновлялись и совершенствовались.

На одном только Кироваканском химическом комбинате за десять — пятнадцать лет трижды переносили ограду из-за расширения предприятия. Я видел остатки первых двух и построенный уже за пределами третьей

новый замечательный цех синтетического корунда, который мог бы быть предметом гордости любой высокоразвитой страны...

Армения издавна была сельскохозяйственной страной, страной гумна и овина, пахаря и его песни.

Героем книги, ее читателем, а зачастую и автором был все тот же крестьянин, и это наложило свой отпечаток на нашу литературу. Промышленность же существует в Армении всего 40—50 лет...

Видимо, по этой причине в сегодняшней Армении заводы можно найти повсюду, но не в книгах советских армянских писателей (исключения, как известно, лишь подтверждают правило).

Сказывается не только отсутствие традиций, но и то, что «поэтическим» и «национальным» зачастую почитается лишь былое, старое, освященное временем...

Иные наши писатели и поныне думают, что изъясняющийся на диалекте пастух в папахе (или столь же колоритный старец) — тема более «поэтическая», «национальная», чем, скажем, создающий электронно-вычислительную машину и увлекающийся Азнавуром молодой ученый...

И это сегодня, когда, чтобы в Армении найти пастуха в папахе, надо потратить столько же усилий, сколько на то, чтоб отыскать на заводах неграмотного рабочего...

Пройдитесь по цехам таких заводов, как часовой, электроточприборов, электроламповый, электронно-вычислительных машин, — и вы увидите, что многие из них не отличаются от лабораторий научно-исследовательских институтов: всюду порядок, чистота, люди в белых халатах, тончайшие измерительные приборы...

Подобные предприятия еще очень молоды. Однако отзывы о выпускаемой ими продукции мы уже получаем даже из далекой Индии.

Мог ли вчерашний забитый армянский крестьянин, боявшийся даже самолета, мечтать о том, что созданные руками его сыновей и внуков точнейшие армянские приборы будут установлены на космических ракетах... Что будут запущены в космос на орбитальных станциях и космических кораблях обсерватории «Орион», изготовленные в Армении...

Сегодня Армения снабжает некоторыми редчайшими и сложнейшими станками и приборами даже страны высокоразвитой промышленности. Сто пятьдесят видов про-

мышленной продукции изготавливает на экспорт Армения в Англию и Францию, Бельгию, ГДР и ФРГ, Голландию и Италию, Японию и Индию, Индонезию и Вьетнам, на Кубу и в Чехословакию. Большой популярностью в этих странах пользуются сверхточные измерительные приборы с маркой «Сделано в Армении», часы и синхронные генераторы, синтетические и пластические материалы, лазеры, электроискровые и расточные станки, электронно-вычислительные машины «Раздан» и «Наири», каучук «наирит».

Мало кто из немецких физиков и математиков бывал в Армении и видел маленькую реку Раздан, но многие производили вычисления при помощи электронно-вычислительных машин «Раздан-2» и «Наири», пользовавшихся особым успехом на Лейпцигской ярмарке.

Если вначале Армения изготавливала на экспорт лишь сырье и полуфабрикаты, а не так давно только уникальные станки и сверхточные приборы, то сейчас — уже целые заводы: специалисты Ереванского электромашиностроительного завода спроектировали и построили в Багдаде большой завод электрических машин (не из чудес ли это «Тысячи и одной ночи», родившихся в свое время в Багдаде?).

Кстати, понятия «чудо», «мечта» стали все чаще скрещиваться с такими сугубо прозаическими понятиями, как машина, промышленность. Кажется, совсем еще недавно из ворот одного из новых ереванских заводов вышла первая армянская автомашина, которая называется, ни больше, ни меньше, — «Ераз», что по-армянски значит «сон», «греза». И хотя в данном случае это всего лишь аббревиатура — согласно принятой в автопромышленности СССР форме сокращений «Ераз» здесь означает «Ереванский автомобильный завод», — по отношению к первенцу, предмету гордости, это слово могло быть употреблено и буквально...

Все это происходит в нашей Армении — самой маленькой по территории из братских республик, занявшей, однако, по производству важнейших видов промышленной продукции в СССР (электромашиностроение, станкостроение, химическая промышленность, приборостроение и др.) третье — пятое места!

Напомним, что территория Армении составляет лишь 0,13 процента территории СССР, а население — лишь 0,9 процента населения страны... И вполне понятно то

удивление, которое выразили индонезийские специалисты, узнав, что Армения, снабжающая их страну сложными станками и сверхточными приборами, по территории своей немногим больше их острова Бали...

До чего легко и просто было раньше писать о промышленности Армении, производившей такие понятные и привычные вещи, как вино, консервы, медь и даже каучук — слово, к которому уже привыкли все.

А сейчас появились заводы, выпускающие продукцию с новыми сложными названиями, производство лишь одного из этих «ацетатов» намного выгоднее для Армении, чем производство даже трижды благословенного трехзвездного коньяка!

Армения издавна была страной контрастов, страной высокоразвитой духовной культуры и нищего крестьянского быта. Здесь веками рукописи гениального Нарекаци и переводы трудов Аристотеля соседствовали с задымленным очагом и ердиком, с сохой и кучами кизяка, обездоленностью. Это была могучая голова на хилом теле...

Только сейчас, в наши дни, этот могучий дух обретает столь же могучее и здоровое тело. Только сейчас, в наши дни, Армения становится промышленно-технической страной. Она становится страной-лабораторией, страной — гигантским научно-исследовательским институтом, где решаются многие сложнейшие проблемы науки и промышленности XX века!

Одно из лучших свидетельств тому — не так давно построенный в Ереване кольцевой электронный ускоритель, один из крупнейших, с мощностью в 6 миллиардов.

Этот гигант — самое сложное и умное сооружение, когда-либо возведенное на армянской земле, и окрещен он нежным женским именем АРУС (кстати, это своеобразная, принятая в научном мире традиция: женскими именами названы почти все наиболее мощные ускорители и в Америке и в других странах).

Институт физики, станция исследования космического излучения, атомная электростанция, электронный ускоритель, лаборатория космической астрономии...

Не значит ли это, что Армения понемногу становится также одним из центров развития теоретической физики?..

Это все — сегодняшний день.

А что произойдет в ближайшие годы, можно представить, если учесть, что суммы капитальных вложений в промышленность и науку на каждые предстоящие десять лет превышают сумму за все предыдущие годы, вместе взятые.

Только за одно пятилетие промышленное производство в Ереване возросло в пять раз, в 1970 году оно исчислялось в два миллиарда рублей...

Одно лишь перечисление построенных и строящихся в последнее время в Армении промышленных предприятий может занять несколько страниц. Для сегодняшней Армении характерно, что именно в городах, где находятся эти предприятия, проживает 60—70 процентов ее населения.

Естественный прирост народонаселения, репатриация, промышленное строительство привели к тому, что маленькая Армения ныне — одна из наиболее густонаселенных республик в Советском Союзе.

Если раньше промышленные объекты строились в городах, в основном в Ереване, то теперь они строятся и будут строиться повсюду, и многие районные центры и села Армении превращаются в города и благоустроенные поселки.

...Почти сразу после окончания войны я и мой друг, инженер-гидротехник Ашот Экимян, вбивали в открытом поле, среди камней и полыни, колья первой палатки одного из участков строившейся в те годы крупной Гюмушской гидроэлектростанции, не подозревая, что становимся основателями одного из новых городов Армении, — честь, которой в прошлом удостаивались лишь цари, витязи и легендарные герои.

Вот и не верь в чудо, поэт, глядя сегодня на город Лусаван (ныне Чаренцаван), на его красивые дома, новые улицы и большие заводы, мимо которых мчится к Севану электропоезд «Наири»...

Производящиеся на одном из лусаванских заводов расточные станки завоевали добрую славу далеко за пределами Армении.

Лусаван — значит Светоград. А зарождающийся неподалеку новый город окрещен Лусакертом — Свето-строєм!

Их много, этих городов на берегу Раздана, берущих у него энергию и обращающих ее в свет.

Сравнительно недавно в Агараке вошел в строй большой медно-молибденовый комбинат. На самой границе Армении, на некогда безлюдных скалах появился чудесный городок с пока еще малочисленным населением. Он еще не нанесен на карту.

Нет пока на карте СССР и будущего города химиков Раздана, в недалеком прошлом дачного поселка, который возник рядом с большим горно-химическим комбинатом.

История людей, причастных к его созданию, стоит того, чтобы рассказать о ней.

В годы первой мировой войны из спаленного и разрушенного города Ван вместе с изгнанниками и сиротами бежал в русскую Армению и беспризорный мальчик Манвел Манвелян. С большими трудностями добрался он до Еревана. Родина, тогда такая же бедная, как и он, дала ему хлеб, а потом карандаш, тетрадку и букварь.

Манвел вначале продавал на улицах и бульварах знойного Еревана холодную воду, потом был учеником маляра. Еще со школьной скамьи начал писать он стихи, пытаясь выразить в них переполнявшее его чувство благодарности к матери-родине, спасшей его от смерти. Но, по-видимому, судьба решила дать ему для этой цели другие средства. Вскоре юноша впервые взял в руки пробирки и реактивы, а впоследствии стал одним из ведущих химиков Армении.

Еще в годы Отечественной войны в Ереване был построен огромный алюминиевый завод, который должен был работать на сырье, привозимом... с Урала. Это беспокоило многих, и химики Армении начали лихорадочно искать в самой республике драгоценное сырье.

Манвеляну было известно, что в других местах — например, в Волхове — сырье для алюминия, глинозем, получали не из бокситов, а из нефелиновых сиенитов, которых в Армении очень много. Но беда была в том, что себестоимость такой продукции была очень высока. Кроме того, после получения глинозема, шлама для цемента и поташа оставалось много неиспользованных отходов. Но что поделаешь, если Ереванский алюминиевый завод уже существовал, а в Армении не было бокситов.

И молодой Манвелян начал свои долгие и трудные опыты для получения новым методом глинозема из нефелиновых сиенитов Армении, опыты, которые завершились открытием, сулящим народному хозяйству большую эко-

номию. Согласно новому, комплексному методу обработки нефелиновые сиениты используются целиком, без отходов. При этом получается не только глинозем, но и большое количество ценных материалов — метасиликаты натрия и кальция, ереванит, белая сажа, портландцемент, поташ.

Проще говоря, это означает, что сооруженный в Раздане горно-химический комбинат, кроме своей основной продукции — сырья для алюминия, дает стране огромное количество цемента (1,5 миллиона тонн в год!), моющих и отбеливающих средств, белого стекла и прекрасного хрусталя, высокой чистоты кремнезема, который крайне необходим в производстве оптических стекол, полупроводников и во многих отраслях электроники.

Более десяти очень ценных для народного хозяйства материалов из невзрачного камня, запасы которого в Армении неисчислимы, — вот лучшее «произведение» не ставшего поэтом Манвела Манвеляна, красноречиво выражающее его чувства к своей возрожденной родине.

Поэзия и химия... Испокон веков вся жизнь Армении неразрывно связана с литературой и с глубоким почтением к ней. Примеры тому и сегодня можно встретить повсюду, в том числе и на химических предприятиях.

Перед зданием Ереванского алюминиевого завода, вместо бетонных тумб и обычных стендов, возносится на стеле алюминиевый орел — копия орла с капители разрушенного храма Звартноц. На фасаде — выложенные из сверкающего алюминия строки стихов Егише Чаренца о нашей возрожденной родине. В цехах завода можно увидеть портреты выдающихся деятелей искусства, писателей, ученых. Даже обычные рабочие смены названы в честь любимых народом поэтов — «смена Григора Нарекаци», «смена Ованеса Туманяна», «смена Егише Чаренца»...

Эта прекрасная традиция осталась со времен ныне покойного директора завода, одного из известных химиков Армении Апета Довлатяна, и многие работники завода утверждают, что она также немало способствует подъему трудового энтузиазма коллектива...

Неузнаваемо меняется карта Армении.

Кажется, только в Иджеване в течение ближайших лет не будет сооружено нового предприятия. Впрочем, там уже построена большая ковровая фабрика. Ведь Иджеван — северные ворота Армении, порог нашего отчего

дома, а армяне издавна сохранили обычай устилать коврами путь вступающих в дом гостей.

...Вот о чем рассказывают заводы Армении, вот что произошло здесь всего за несколько десятков лет.

Неисчислимы бедствия, постоянное напряжение сил и необходимость противостоять злу, удивительное умение находить выход из любого, казалось бы безвыходного, положения отточили ум и талант народа, разожгли веками заглушаемую и сдерживаемую жажду созидания.

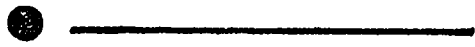
Если в течение веков, будучи одиноким и окруженным врагами, народ столько создал, то чего не сделает он сейчас... Говорят: «ум — хорошо, а два — лучше». Что же тогда сказать об объединенном уме и таланте братских советских народов, который делает много сильнее каждый из них в отдельности...

Если сегодня армянские специалисты, ученые и инженеры работают во всех уголках Советского Союза, то и в Армении работают специалисты, рабочие и строители почти со всех концов нашей Родины. Производство электронно-вычислительных машин нельзя представить без помощи московских ученых; получение и эксплуатацию природного газа — без опыта специалистов Азербайджана, Башкирии и Туркмении; сложное строительство тоннелей Арпа — Севан — без бескорыстной помощи Белоруссии и Украины; производство автомашин «Ераз» — без консультации друзей из Львова и Риги; монтаж и пуск кольцевого электронного ускорителя — без участия ленинградских специалистов.

Не это ли способствовало и тому, что так возрос выпуск промышленной продукции в Армении, и сейчас мы в течение одного дня выпускаем продукции на ту же сумму, что в течение целого 1913 года!

Сегодняшняя Армения так могуча, будто вобрала в себя сто старых Армений! Это по ее зову, зову возрожденной родины, со всех концов мира возвращаются чудом спасшиеся от резни армяне. Возвращаются — как рассеянные бурей страницы той книги, которая называется Историей Армении...

Полистаем эту книгу, попробуем понять тайну стойкости и долгоденствия нашего народа. Послушаем новую песню — о книге, о письменах...



Терзаемый в течение веков войнами и невзгодами, народ наш вряд ли выстоял бы, если б наряду с мечом не обладал другим, самым могущественным оружием — письменностью.

Там, где бессильным оказывался меч, побеждали письма — уничтожая врагов, пронося сквозь века к грядущим поколениям чаяния народа, его надежду и веру.

Несмотря на неисчислимыя бедствия, чудом уцелело и дошло до нас свыше двадцати пяти тысяч армянских рукописей, которые не только дают ключ к раскрытию тайны стойкости и долгоденствия моего народа, но и, как мудро определил Валерий Брюсов, являются его «аттестатом благородства».

В этих рукописях содержатся редкие, бесценные сведения не только об Армении, но и об истории и культуре почти всех народов и стран старого и нового мира. Ведь в Армении, одной из древнейших колыбелей человечества и его культуры, скрещивались пути и судьбы многих народов.

Очевидно, это и имел в виду Илья Эренбург, говоря о том, что Армения принадлежит к числу стран, которые для каждого мыслящего человека являются источником не только глубокого эстетического наслаждения, но и серьезных раздумий о вековых корнях и судьбе искусс-

ва; что это одна из тех стран, перед которыми хочешь не только склонить голову, но и вступить в них, как это принято в восточных святилищах, сняв обувь.

Больше половины дошедших до нашего времени книг собрано в Ереванском хранилище древних армянских рукописей — Матенадаране, а остальная часть рассеяна по всему свету. Рукописи эти есть в Венеции и Вене, Иерусалиме и Новой Джуге, Калькутте и Змаре, Париже и Лондоне, в Москве, Ленинграде, Тбилиси и других местах.

Войдя в зал, где хранятся рукописи, ощущаешь молчание веков, молчание, которое красноречивее любых слов.

Если бы рукописи вдруг нарушили это молчание, то тихие, таинственные залы хранилища наполнили бы звуки молитв, песен пастуха и пахаря, печальный звон колоколов, вопли изгнанников, скрежет оружия, топот всадников, стенания армянских матерей и воинственные клики завоевателей...

Но все это навеки замерло, застыло в старинных фолиантах.

В этих залах сконцентрирована вся история армянского народа — начиная с набегов гиксосов-гайксов на Египет до трагических событий 1915 года...

Свою неповторимую биографию имеет каждая рукопись в этом зале. Роднит, связывает их неразрывными нитями лишь одно: каждая хранит в себе частицу истории создавшего ее народа. На каждой рукописи — видимые или невидимые следы той крови, которую проливали армяне в борьбе за свободу, сопротивляясь порабощению, гнету, уничтожению.

Здесь можно найти все, начиная от фрагментов языческих легенд до памятных записей очевидцев трагедии 1915—1920 годов.

Самые разнообразные рукописи хранятся здесь — от книг философов и историков V века до переводов научных трактатов Аристотеля, Платона, Зенона, от астрономических и математических книг Анании Ширакаци до «Утешения в лихорадке» врача Мхитара Гераци, от «Книги скорбных песнопений» поэта Григора Нарекаци (X век) до рукописной книги гусана Саят-Нова.

Разнообразны они по виду и размеру: вот Евангелие в переплете слоновой кости (работа V века), вот многопудовые «Избранные речи» из города Муш, вот и раз-

мером со спичечный коробок, весящий всего девятнадцать граммов календарь, который можно прочесть только через лупу.

Есть здесь роскошные, но не представляющие для науки особого интереса церковные канонические книги и есть невзрачные с виду, но воистину бесценные сборники песен и философских трудов.

Пожалуй, нет такой отрасли знания, которая не была бы отражена в рукописях Матенадарана.

Здесь представлены все верования и ереси, философия, математика, история, медицина, поэзия и проза, ботаника, зоология, петрография, анатомия, астрономия, химия и алхимия, геология и музыка, живопись и воздухоплавание. Здесь есть словари и хроники, географические карты и пособия по изготовлению пергамента, красок и чернил...

Рядом с книгами армянских врачей здесь есть переводы трудов Галена, Немессия, Ньюсского, Авиценны; наряду с книгами армянских писателей — старинные переводы Гомера и Катона, Овидия и Эзопа, Менандра и Олимпиана, переложение или пересказ на армянском (с прекрасными стихотворными кафами Хачатура Кечареци) «Истории Александра» Псевдо-Калисфена, представляющий интерес в мировом масштабе.

Есть тут книга стихов Навои, переписанная еще при жизни поэта, в 1494 году; произведения Низами, Фирдоуси, Руставели, Физули, средневековые итальянские притчи, «Песнь о Роланде» и многое другое.

Все это великое многообразие нелегко даже распределить по разделам...

Чтобы не нарушать лишней раз таинственную тишину залов хранилища, полистаем лишь те из манускриптов, над которыми сегодня трудятся ученые в Матенадаране.

Что же могут сказать человеку XX века, познавшему все и вся, знакомому с Эйнштейном и квантовой теорией, достигшему Луны, производящему пересадку сердца, усвоившему учения Гегеля и Маркса, — что могут сказать такому человеку безвестные книжки из какого-нибудь древнего монастыря, затерявшегося в глухом уголке постоянно подвергавшейся набегам и разрушению Армении?

Известно, что вопросом вопросов, стержнем и сутью философии и науки вообще является вопрос об отношении сознания к материи, и в зависимости от ответа на

него определяется место ученого в историческом прогрессе.

Итак, прислушаемся с благоговейным удивлением к тому, что говорит армянский философ XIV века Григор Татеваци о познании и отражении мира, об отношении сознания к материи: «Мы познаем (мир) часть за частью, с большей или меньшей степенью знания, и к тому же согласно изменению вещи. Наше познание следует за сущностью вещи, потому что прежде существует вещь и лишь потом — наше познание».

Или: «Если бы то, что вы говорите, было правильно, то не мысль следовала бы за вещами, а вещь следовала бы за мыслью, что заведомо ложно, ибо постоянное не следует за непостоянным, а только в нем отражается. Ведь следы идут за ногами, а не ноги за следами, тень следует за телом, а не тело за тенью. Отсюда ясно, что не мысль удостоверяет истинность вещи, а вещь определяет истинность мысли». Мир познаваем, пишет Татеваци, потому что «мудрой мыслью мы проникаем во все сферы мира, и ничто не может укрыться от света мудрости»...

Бесстрашным и дерзновенным надо было быть, чтобы так думать и писать в средние века!

«Мысль — судья бесстрашный и беззастенчивый; она не боится бога, ибо свободна; не стыдится людей, ибо скрыта; не принимает подкупа, ибо не нуждается в этом; не невежественна, ибо постоянно наблюдает. По этой причине судит она точно и истинно»...

Григору Татеваци повезло, что армянской церкви не были свойственны дикие судилища и инквизиция католицизма, у нас не были в ходу санбенито и аутодафе, иначе он неизбежно вошел бы на костер за свои «дерзкие и нечестивые» идеи...

А вот что писали армянские философы и ученые о земном шаре и солнце, о солнечном затмении и луне еще в V—VII веках (за такие мысли еретиков сжигали и десятью веками позднее, в XV—XVI веках)...

В рукописи армянского ученого V века Егише «Толкование Книги Бытия» читаем: «Когда луна находится в верхнем полушарии, а солнце в нижнем, то есть они находятся на одной оси, то солнце не может одновременно бросать свет и на луну, и происходит затмение луны».

Вот крупный философ, астроном и математик VII века Анания Ширакаци: «Земля и ее окружение напомина-

ют мне яйцо. Как круглый желток яйца находится в сердцевине, окруженный белком, а скорлупа покрывает все, так и круглая земля находится в середине, окруженная воздухом, а небо обволакивает их». В другом месте он пишет, что все сущее предполагает распад, а из распада зарождаются семена сущего, и мир продолжает существовать благодаря этому противоречию.

Вот «Судебник» ученого и баснописца XII века Мхитара Гоша: «Человеческая природа создана богом свободной, но принуждена была служить господам из-за потребности в земле и воде. И это я считаю достаточным для того, чтобы, оставив господ своих, человек жил там, где пожелает».

Мысль эту подтверждает и углубляет Григор Татеваци: «Простые люди достойны прощения и милосердия, ибо совершают преступление не по своей воле, а по принуждению нищеты. Как говорится в притче, крадет, чтобы насытить свою голодную утробу. Тогда как князь совершает преступление по своей воле, ибо ни в чем не нуждается, поэтому он должен быть наказан вдвойне...»

Татеваци вообще свойственна необычайная глубина мысли и разнообразие интересов. Во многих философских проблемах он предварил взгляды крупнейших мыслителей будущего. Вот что говорит он об особенностях строения человека, о роли труда в процессе его становления: «Голова человека поднята кверху, чтобы язык и руки служили мысли и труду. Ибо если бы голова человека была опущена книзу, а руки прижаты к земле, он не мог бы работать, и ему понадобились бы длинный язык и толстые губы, чтобы подбирать пищу. В таком случае язык не мог бы служить мысли, как ныне».

Буквально с полуслова ту же мысль продолжает в XV веке философ и ученый Матевос Джугаеци: «Поскольку животные лишены разума, чтобы творить, им руки не нужны. Человек же — обладатель разума и мудрости, которая нуждается в руках. Поэтому он встал на задние ноги, а передние поднял и превратил в орудие действия...»

В эпоху средневековья, когда человек почитался «порождением греха» и «вместилищем скверны», подлинным гимном Человеку звучит рассуждение Татеваци о его совершенстве. Говоря о наличии трех стадий развития души — растительной, чувствующей и разумной — и о переходе от несовершенных стадий к совершенной, разумной,

Татеваци утверждает, что она может быть присуща лишь такому совершенному созданию, как человек...

Можно было бы без конца цитировать из трудов других историков и философов — начиная от Давида Анахта (Непобедимого) до Езника Кохбаци и Григора Магистроса.

Однако и приведенного достаточно для того, чтобы показать, что и безвестные и известные тогдашнему миру ученые из глухих уголков Армении, именовавшие себя «недостойными» и «последними», находились на самом высоком уровне современной им науки и философии и выражали мысли, которые почитались «дерзкими откровениями» спустя много веков даже в самых цивилизованных странах.

Да, многих из них могли бы сжечь на костре — хоть они и вынуждены были скрывать обретенную истину за густым слоем молитв и восхвалений всевышнему, хоть и делали порой сколь искренние, столь и тщетные попытки своими по существу богоборческими идеями доказать существование бога...

Неудивительно, что чужеземные захватчики нападали в первую очередь на очаги армянской письменности, разрушали книгохранилища, убивали ученых монахов и переписчиков, а рукописи уничтожали и сжигали, надеясь огнем пожаров заслонить исходящий от них свет...

Но наш народ-книголюб ценой жизни спасал не только армянские, но и множество славянских, персидских, греческих, еврейских, индийских, латинских, грузинских, арабских и других рукописей, которые ныне хранятся у нас, вызывая добрую зависть многих книгохранилищ мира.

Многие утерянные в течение веков труды древних греческих, ассирийских и других ученых и философов сейчас снова становятся достоянием человечества благодаря сохранившимся древним армянским переводам.

К их числу относятся «Хроника» известного греческого историка IV века Евсевия Кесарийского, книга «О природе» греческого философа Зенона Стоика, труды Феона Александрийского, Филона Еврея, фрагмент «Ботаники» Диоскурида, математический труд Авиценны «Китабе Неджаб», многие главы «Истории Александра Македонского» Псевдо-Калисфена и другие.

О древних и средневековых библиотеках, университетах и монастырях, где создавались и хранились рукопи-

си, много рассказывается почти всеми армянскими историками, к великому сожалению, большей частью в связи с их уничтожением захватчиками.

«Тамерлан распорядился собрать и уничтожить огромное количество древних рукописей, а часть увез в Самарканд», — пишет один из переписчиков рукописи.

«В 1179 году во время нашествия сельджуков в городе Багаберд была сожжена библиотека, где хранились 10 000 рукописей», — добавляет другой.

А вот как описывает в 1386 году переписчик Акоп свои мытарства и мытарства своего учителя, философа Ована Воротнеци во время нашествия монголов: «Я начертал эту книгу и закончил в годину горькую и полную слез...»

Захватившие Армению монголы заняли крепость Воротан, и философ Воротнеци, преследуемый врагами, вынужден был бежать. Переписчик пишет: «С тяжелым грузом, накинув на плечо переметную суму с экземпляром переписываемой рукописи, пером и чернилами, шел я с Воротнеци, читал и писал, сколько успевал, с большими трудностями и страданиями, ибо, где я начинал писать, там не мог закончить...»

На последней странице матенадаранской рукописи за номером 823, написанной в 1266 году, есть трогательный рисунок, не имеющий никакого отношения к тексту рукописи. На полу лежит одетый в красную ризу старик, из груди которого течет кровь, а рядом валяются окровавленные мечи. Под рисунком — памятная запись молодого переписчика, в которой он просит читателей этой рукописи «поминать в своих чистых молитвах» его духовного отца и учителя Ованеса, которого на его же глазах убили чужеземцы...

Буквы расплылись от слез, почерк неровный. Видимо, заметив это, переписчик просит прощения у читателя: «В последних страницах книги будут ошибки или буквы будут большие и неровные, так как горька моя печаль, и я самый недостойный из учеников моего мастера».

...Каждый завоеватель старался уничтожить не только народ, но и его культуру, уничтожить библиотеки, университеты, школы.

Люди бежали из страны, унося с собой спасенные от огня и меча книги. Так появлялись новые очаги армянской письменности — в Феодосии, Амстердаме, Венеции, Иерусалиме, во Львове и Крыму, в Исфагане, Бомбее,

Басре, Париже, Киликии и даже на далеких Филиппинских островах.

Каждый раз, когда враги пытались, подобно буре, с корнем вырвать ростки армянской культуры, семена ее той же бурей разносились по всему миру и в далеких его уголках давали новые всходы.

Наряду с центрами культуры, появлявшимися за пределами Армении, вновь оживали библиотеки и университеты на армянской земле.

Выкупались и возвращались рукописи, писались другие, строились новые библиотеки и университеты.

«В год 1235 я и жена моя Хоришан построили это книгохранилище во имя дочери нашей Мамахатун», — гласит надпись князя Вачутянца на стене монастыря Сахмосаванк.

Многочисленные центры письменности, которых в Армении буквально было «не счесть», имели каждый свое направление, свое лицо.

Один из древнейших центров письменной культуры — основанное еще в V веке Эчмиадзинское хранилище рукописей, где с XV века стали сосредоточиваться рукописи из Сахмосаванка и других монастырей. Эчмиадзинское собрание впоследствии стало основой нынешнего главного хранилища рукописей — Матенадарана.

Сколько людей трудилось над созданием каждой из дошедших до наших дней двадцати пяти тысяч армянских рукописей, над тем, чтобы писать или переписывать их, хранить, спасать от гибели и порчи для грядущих читателей!

Взять хотя бы переписчиков рукописей, тех скромных, бедных людей, благодаря легендарной трудоспособности и упорству которых мы имеем эти сокровища. Они, как правило, избегают говорить о себе, а если и говорят, то с многочисленными оговорками: я, мол, «самый недостойный», «первый среди глупцов и последний среди мудрых» и т. п. У них была трудная жизнь, непосильная работа, но сообщают они не об этом, а только о великом утешении, о вознаграждении за все эти трудности — о книге. Они редко пишут о тяжелой работе по изготовлению пергамента, о сложности составления красок и чернил, о том, как годами и десятилетиями сидели они, сгорбившись, над рукописью. В монастырях переписчики жили беднее всех, довольствуясь куском хлеба и водой, страдая от холода, сырости, болезней.

Вот как описывает их благородный труд армянский поэт Аветик Исаакян:

В уединенье темных келий, в глухих стенах
монастырей,
Историки, от скорби сгорбясь, перед
лампадою своей,
Без сна, ночами, запивая заплесневелый
хлеб водой,
Записывали ход событий на свиток
желтый и сухой:
Нашествие орды кровавой, несчастья
гибельной войны,
Врагов жестокою расправу, крушение
родной страны...
Оплакивали Айастана жестокосердную
судьбу
И уповали неустанно, что бог услышит
их мольбу...¹

Сколько страданий перенесли эти простые люди, спасая рукописи от пожара и грабежа, скольких из них убивали прямо в келье, во время работы, сколько они мучились, бродя по селам и городам, странам и государствам, чтобы выкупить и вернуть попавшую в плен рукопись (они так и писали — «попавшую в плен», как пишут о людях!...)!

Как трудно было им переписывать в нескольких экземплярах скучные, надоевшие канонические религиозные книги или схоластические трактаты! Сколько раз их обманывали, лишив обещанного по окончании работы: выпустить из монастыря, наделить куском земли или одним волом!

Сколько переписчиков погибло во время переселения, на дорогах изгнания, было убито врагами, от которых они пытались спасти рукопись! Во время монгольского нашествия рукописи из Ахпатского и Санаинского монастырей были скрыты в ущельях и пещерах Лори. Враги окружили эти места и стали пытаться монахов, требуя выдать тайники. «Не предавайте святыни псам и не мечите бисера перед свиньями», — гордо ответили евангельским изречением три священнослужителя. Говорят, надгробный памятник этим священникам, известный под именем «Три креста», сохранился поныне где-то в окрестностях Санаина...

Эпизод этот не случаен и не единичен. Многие фана-

¹ Перевод М. Зенкевича.

тичные переписчики и ученые монахи ценою собственной жизни спасали рукописи, которые были для них святейшей, почти живым существом, родным и близким...

Бывали случаи, когда бездетные семьи «усыновляли» рукопись, как усыновляют ребенка, впоследствии оставляли ей наследство и специальным завещанием поручали попечительство о ней какому-нибудь монастырю или хранилищу...

Да, для армян рукопись была существом живым и любимым. Нередко существом живым и непокорным была она и для врага — иначе для чего было рукопись, предмет неодушевленный, заковывать в цепи, как это сделал один персидский шах...

Переписчики думали о рукописи как о самом сокровенном, говорили о ней как о живом человеке («попала в плен», «похоронили в земле») и считали лучшей наградой за все свои страдания возможность расписаться в уголке последней страницы рукописи. Более смелые из них оставили записи, в которых выражали свои мысли, чувства, иногда писали стихи или рисовали себя у ног того или иного знаменитого ученого, историка, поэта.

В одной рукописи описываются страдания армян от ига монголов и то, как некоторые из них предпочли позорное рабство борьбе и смерти. Переписчик не мог оставаться равнодушным и на полях рукописи приписал: «Лучше умереть с чистой совестью, чем жить, не смея поднять глаза».

На полях рукописи по алхимии, где описывается испытание золота огнем, переписчик добавил: «Золото испытывается в огне, а настоящий патриот — в бою».

Другой, заботясь о крестьянах, которые после сдачи урожая князьям и монастырю с горя пьют, приводит двенадцать доказательств о вреде пьянства. Но, видимо, сам чувствуя, что все это не поможет и люди все равно будут заливать горе вином, он переходит к советам более реальным — как пить, не пьянея: «Съешь натошак семь штук миндаля, после каждого стакана сжуй два зерна айвы...»

Описывая убийство армянским крестьянином одного из сельджукских ханов, особенно прославившегося своими зверствами, переписчик добавляет от себя: «Тот, кто убивает бешеную собаку, неповинен».

В одном из многочисленных списков переводов Аристотеля (их больше трехсот!) после мудрых изречений

философа с изумлением читаешь: «О блохах: возьми кровь козла, налей в миску и поставь рядом с собой — так избавишься от блох». Это кажется сейчас странным и диким, Аристотель — и вдруг блохи, но в свое время было естественным и вполне понятным.

Переписчику, который работал в душной каморке с земляным полом, блохи не давали покоя. Человек не мог работать, и избавление от блох было для него очень важно — ведь надо было закончить книгу Аристотеля!

В одной из рукописей переписчик допустил в строке ошибку, зачеркнул ее, исправил и приписал: «Если кто заговорит рядом с писцом, получится так неправильно»... Видно, какой-то говорун досаждал ему при работе, может, кто-то делился своими бедами, которые казались ему важнее переписываемого...

Очень интересны комментарии переписчиков к переписываемым книгам. Один из них, переписывая книгу армянского философа V—VI веков неоплатоника Давида Анахта (Непобедимого), недоволен тем, что философ выражается очень сложно:

«О философ Давид, писал бы попроще, чтобы мы тоже кое-что поняли», — иронически советует он.

Другой, переписывая «Грамматику» Дионисия Фракийского, возмущается схоластичными, мертвыми, не применяемыми на практике видами склонений и спряжений, которые занимают в рукописи десятки страниц: «Я кую, ты куешь, он кует... Я ковал, ты ковал...» Настоящее время, прошедшее, будущее, причастие, деепричастие... Но, видимо, спряжению нет конца. На двенадцатой странице переписчик, устав от этого, пишет: «О брат читатель, я уже устал ковать; если хочешь, куй дальше сам», — и, пропустив остальные формы спряжения, переходит к другой части рукописи.

Десятки тысяч переписчиков работали в Армении над рукописями, их памятные записи составляют целые тома. Это благодаря их беззаветному труду до нас все сокровища Матенадарана, и не случайно я мечтаю о том, чтобы увидеть у здания Матенадарана рядом с памятниками историкам, ученым, писателям и памятник простому переписчику рукописи...

«Рука моя уйдет, а письмена останутся» — вот единственное, что утешало этих людей в их тяжелом, изнуряющем труде, которому они отдавали всю свою жизнь. И хоть достойная преклонения рука их обратилась в

прах, письма остались и дошли до нового ереванского Матенадарана...

Совсем не заботясь о себе, о своем здоровье и жизни, переписчики беспокоились лишь о судьбе рукописи. В большинстве памятных записей — мольба к современным и грядущим читателям бережно относиться к их детищу. Вот дословный перевод одной из таких записей:

О читатели, молю вас,
Внемлите моему слову:
Возьмите себе мою книгу, храните
ее и читайте,
Попадет она в плен — верните обратно,
Не кладите во влажное место, отсыреет,
Не закапайте ее свечой,
Не слюнявьте палец, листая рукопись,
И не рвите бесстыдно ее страницы.

Больше всего боялись переписчики, что умрут, не завершив рукописи.

Восьмидесятишестилетний переписчик Ован Мангасаренц кое-как, одной рукой поддерживая другую, уже дрожащую от старости руку, неровными буквами все-таки переписал до конца последнюю рукопись. Он умер, не успев начертать только памятной записи.

Это сделал за него молодой переписчик Захария, который сообщает о своем учителе: «Семьдесят два года, лето и зиму, день и ночь, провел он в переписывании. Его рукой переписаны сто тридцать две книги. И в старости, когда зрение его испортилось и рука дрожала, с большими мучениями он едва смог закончить Евангелие от Иоанна и больше уже не мог держать перо».

В Матендаране есть много буквально изувеченных в битве рукописей — настоящих воинов, жертв армянской резни, чудом спасшихся от смерти. У одних вырван переплет и пергаментные листы, другие наполовину сгорели на костре или от пожара, третьи были брошены в реку, четвертые изрезаны ножом на куски. Одни закованы в цепи, с других пробовали соскрести армянские буквы и начертать другие письма...

Многие из поврежденных рукописей сейчас реставрируются, но иные так пострадали, что онемели навсегда и больше уж никогда не смогут рассказать о себе...

В старину случалось, что такие полусожженные, изрубленные мечом или попорченные водой рукописи, если их нельзя было уже излечить, пытались даже захоронить,

как хоронят павших в битве воинов, однако ничья рука не решалась предать святыни земле, и рукописи хранили, как дорогих покойников, в склепах.

Среди уцелевших многострадальных рукописей — «Избранные речи», история которой будто повторяет историю армянского народа. Рукопись эта была создана в армянском городе Муш (ныне территория Турции) переписчиком Варданом Карнеци. Целых три года потратил он на переписывание «Избранных речей» и закончил работу в 1204 году. Эта огромная рукопись весит без переплета два пуда. Для изготовления ее шестисот семи больших пергаментных страниц было забито около шестисот телят.

«Памятные записи» рукописи рассказывают о многих событиях, большей частью трагических: о состоявшейся в 1204 году в Басене битве армяно-грузинских войск с полчищами сельджука Рукн-эд-дина, об убийстве хозяина рукописи (заказчика), о том, как рукопись «попала в плен» и как армяне, собрав по городам и деревням, монастырям и школам деньги — четыре тысячи монет (примерно 20 килограммов серебра), с большими трудностями пашли эту рукопись на чужбине, заплатили грабителям выкуп и вернули ее обратно в монастырь города Муш.

Там она сравнительно спокойно просуществовала целых семь веков (спокойно — в армянском понимании, не считая пожаров и с десятков мелких набегов на монастырь, во время которых ее прятали в подвалах).

В годы первой мировой войны рукописи грозило неизбежное уничтожение. Русские войска уходили с Кавказского фронта, и озверелые турецкие захватчики наступали, уничтожая на своем пути все живое и ценное. Но рукопись была спасена двумя голодными, изможденными беженками из спаленного, ограбленного монастыря города Муш. Они по очереди несли на спине эту тяжелую ношу. Выбившись из сил, они разделили рукопись на две части, и одну половину, завернув в тряпье, зарыли во дворе церкви в Эрзеруме, а другую с большим трудом донесли до Эчмиадзина.

Прошло время, и вторую, зарытую ими часть рукописи нашел и отдал Матенадарану поляк, офицер русской армии.

Наконец обе части этой многострадальной рукописи, подобно нашему народу, соединились на родной земле.

Хотя, как и наш народ, эта рукопись тоже имеет свою диаспору — своих изгнанников, вынужденных жить вдали от родной земли: семнадцать страниц «Избранных речей» когда-то (вероятно, в средние века) попали в Италию и хранятся в одной из библиотек Венеции.

Однако оказалось, что «настоящими мужчинами» показали себя в эти трудные дни не только женщины, но и мужчины. Покидая Муш, они взвалили на плечи тяжелую дверь мушского монастыря — шедевр деревянной скульптуры XII века — и пешком дотащили ее до Еревана. Сейчас она находится в историческом музее Армении. Впоследствии по этому образцу современные армянские мастера изготовили дверь для одного из залов Матенадарана — за ней, как и в давние века в монастыре города Муш, хранится рукопись «Избранных речей».

Сколько сокровищ духовной культуры потерял наш народ в течение долгих веков своей истории...

Христианство уничтожало языческую литературу и искусство, еретики боролись против всего христианского, чужеземные завоеватели выкорчевывали и то, и другое.

Однако, несмотря на все это, сохранились и дошли до нас богатейшие сокровища литературы — начиная от языческих легенд в книге отца нашей истории Мовсеса Хоренаци и его же знаменитого «Плача» до страстной «Войны Варданидов» Егише, от мудрых средневековых притч до вдохновенных стихов Нарекаци и Шнорали, от посвященных природе и любовных од средневековых песнопевцев до наших бесподобных айренгов, от созданий известных и неизвестных гусанов до Нагаша Овнатана и Саят-Нова...

Испытываешь непередаваемое чувство гордости, листая многовековую книгу нашей поэзии, эти бессмертные создания бессмертных творцов.

Да, гордость, но одновременно и тяжелое чувство, потому что созданные в течение веков книги эти оставались живыми и потому, что не устарели, не ушли в прошлое волнующие народ проблемы: все те же были бедствия и страдания, те же неразрешимые вопросы и попытки освободиться от них, то есть все то, что породило эти книги...

Откройте книгу сокровищ армянской многовековой поэзии, прочтите ее — начиная от «Плача» Мовсеса Хоренаци до стихов Исаакяна, Варужана и Терьяна.

Какие они все разные, самобытные и оригинальные,

однако у всех у них тождественна суть, главное содержание их творчества — описание народного горя, бедственного положения страны, вера в светлое грядущее. Словно все эти книги — от V до XX века — писал один человек, одна чуткая и мудрая душа, веками бывшая свидетелем одних и тех же бед и страданий народных.

Вот «Плач» Хоренаци, доносящийся к нам из V века: «Оплакиваю тебя, страна армянская, ибо нет более у тебя царя и священника, советника и наставника, покой твой возмущен, нарушена правая вера, и в невежестве укоренилось суеверие... Внутри — междоусобица, извне — бедствия, и нет советника, который наставил бы тебя... Управители не блюдут порядка, они жестокосердны. Милые сердцу преданы, враги окрепли, вера продается ради суетной жизни»...

То же самое находим в книгах Егише, Езника, всех других историков и летописцев V века. То же видим в VI веке и в VII, во время арабских нашествий. То же самое находим у Аристакеса Ластивертци, жившего в XI веке. Если Хоренаци «Плачем» заканчивал свою книгу, то он начинает повествование с плача:

Наступили для нас дни мучений,
И постигли нас великие бедствия,
Ибо переполнилась мера грехов,
И суетный глас наш вознесся к богу!
Каждый смертный свой путь осквернил,
Страна исполнилась нечестивости,
Убавилась справедливость, возросло беспутство,
Мирянин и иерей изолгались перед богом.
Вот почему племена инородные
Смогли изгнать нас из обители нашего...
С четырех сторон ныне войны проснулись:
С востока — меч, с запада — гибель,
С севера — пламя, с юга — смерть!¹

Так было в Армении со времен Айка и Бела до Ластивертци, о том же рассказывают книги во все другие времена.

Неужели и после этого ничего не изменилось в Армении, неужели глаза поэта видят все то же и говорит он все о том же? Увы, это так!

Вот как описывает Армению XII века поэт Нерсес Шнорали:

Тогда пошли грозой войны
Агари на меня сыны.

¹ Перевод К. Юзбашяна.

Сначала зло умерщвлены
 Ряды детей моей страны,
 И грады вслед истреблены,
 Как ряд зубцов одной стены,
 Разрушены и сожжены,
 В развалины обращены.
 ...Меж тех событий гробовых,
 Для коих нет и слов земных,
 Как выразит поэта стих
 Весь ужас бедствий роковых? ¹

А вот положение в Армении через сто лет, по свидетельству поэта Фрика:

Но мы неверным преданы,
 Что мучат нас огнем войны...
 Враг наших женщин продает,
 О, сколько между нас — сирот,
 О, сколько крови пролито,
 И сколько каждый день невзгод!
 Доколе будем мы страдать?
 Доколе в рабстве изнывать?
 И ты, о боже, терпишь все!
 Где ж пресвятая благодать?
 И ты за нас не мстишь, творец!
 Ты бедам не кладешь конец! ²

Кажется, что это продолжение стихов Шнорали, хотя от Шнорали до Фрика прошло более века. Однако ничто не изменилось в Армении, то же самое наблюдал глаз поэта, то же ощущали его сердце и душа, от тех же дум изнемогал мозг...

Оставим позади еще сто лет и послушаем поэта XV века Ованеса Тулкуранци:

И страх над городом навис.
 Напрасно горожан отряд
 Сопrotивлялся. Занят Сис.
 Враги вошли, дома горят,
 Церковных не щадили стен,
 Разрушен город и сожжен,
 Служителей церковных в плен
 Угнали, увели их жен ³.

Есть одно великолепное, можно сказать гениальное, аллегорическое стихотворение «Песнь об одном епископе», приписываемое поэту XVI века Григорису Ахтамарци. Стихотворение это — о вечной связи и вечном проти-

¹ Перевод В. Брюсова.

² Перевод В. Брюсова.

³ Перевод С. Спасского.

воречии жизни и смерти, о том, что человек смертен и, не вкусив в полной мере сладости жизни, не осуществив свои желания, вынужден покинуть сей мир...

Несомненно, в поэтическом наследии каждого народа есть подобные стихи. И каждый поэт придает этой вечной теме колорит и образы, характерные для его страны и его народа. Один сравнивает жизнь и смерть с кораблем и морем, другой — с караваном верблюдов и безбрежными песками пустыни...

У Ахтамарци здесь звучит извечный для армянского народа лейтмотив изгнания... Как чужеземные завоеватели принуждают человека, не отведав созревших плодов, покинуть свой сад и дом, так и смерть вынуждает его, не изведав сполна жизни, расстаться с ней...

Опустошил я горный скат,—
Камнями защитил свой сад,
Собрал колючки для оград —
И слышу: — Встань, покинь свой сад!..

В моем саду цветет гранат,
Лоз виноградных полон сад;
Льнет к зреющим плодам мой взгляд.
И слышу: — Встань, покинь свой сад!..

В точиле мнется виноград,
Вином меня утешит сад;
Хочу я пить в тиши прохлад.
И слышу: — Встань, покинь своей сад!..

Увы! В цветы вселился яд,
Не дышит розами мой сад,
Распались камни колоннад...
Да! Мне пора покинуть сад! ¹

Если б это было лишь мудрым стихотворением, «божественным глаголом»! Но, увы, стихи эти все еще актуальны потому, что и сегодня рассеянные по всему свету армяне вынуждены покидать свои построенные с большим трудом дома и сады, кочевать из страны в страну, строить снова и снова, пока не посчастливится им вернуться на свою родину, построить свой единственный прочный дом, возделать свой сад на родной земле.

Приходили новые века и с ними новые поэты, но то же бедственное положение страны, те же страдания бездомного изгнанника звучат и в поэзии XVII—XVIII ве-

¹ Перевод В. Брюсова.

ков, в чудесных айренах и антуни, в многочисленных песнях.

Вот одна из песен антуни, обработанная впоследствии Комитасом, ее поют армяне до сих пор:

Сердце мое — что разваленный дом,
Груда камней над упавшим столбом,
Дикие птицы устроятся в нем.
Эх, брошусь в реку весенним я днем,
Пищей для рыб пусть я стану потом...¹

А вот великолепный, пожалуй, не имеющий себе равного айрен, где всего в двух четверостишиях передана невыносимая тоска по родине:

Деревцом я персиковым рос,
Подо мной родимый был утес.
Меня выкопали, унесли,
Посадили в сад чужой земли.
Там шербет из сахара любим,—
Мои корни поливали им.
Ах, меня верните в край родной,
Ах, полейте снеговой водой!²

Деревцу не нужен «чужой рай», оно просится обратно, в свой «родимый ад», оно может расти лишь на сухой, каменистой, но родной почве, питаемое живой водой — атмосферой родины, ее талыми снегами, печальными айренами и антуни, армянской речью...

Армянской речью... Поистине удивительна та фанатичная любовь, которой наш народ был связан со своим родным языком и духовной культурой,— по-видимому, инстинктивно понимая, что язык, письменность — самое мощное оружие в извечной борьбе за существование.

И в самом деле, со времени создания армянского алфавита, армянской письменности завоеватели делали все, чтобы эта нация ассимилировалась, смешалась с ними, забыла родной язык. Но одинокий, незащищенный народ наш с маленьким отрядом своих тридцати шести букв-воинов боролся против них, веками выигрывая это неравное сражение. И сегодня этими же древними буквами он записывает новые скрижали своей новой истории.

Любовь к родному языку... Подчас она представляется неким сверхчувственным феноменом, инстинктом, способным творить и действительно творящим чудеса.

Могли бы иначе истерзанные армянские матери най-

¹ Перевод Н. Тихонова.

² Перевод В. Брюсова.

ти в себе силы и в свой смертный час в пустыне Тер-Зор чертить пальцами на песке армянские буквы, чтобы дети запомнили их на всю жизнь...

У Ремарка есть потрясающий эпизод. Одна из его героинь, румынка, которая жила во Франции, говорила по-французски и начисто забыла свой язык, умирая, в агонии, вдруг начинает говорить на родном языке, который никто вокруг не понимает...

Подобные примеры дает и сама жизнь. Один из легендарных героев гражданской войны, армянин по национальности, Гай (Гайк Бжишкян), который жил и воспитывался в России и почти забыл родной язык, в день освобождения Симбирска, в минуту высшего вдохновения на многолюдном митинге вдруг начал взволнованно говорить по-армянски...

В конце 50-х годов я сам оказался свидетелем подобной истории в Москве. Мне позвонили из иностранной комиссии Союза писателей СССР и сообщили, что два мексиканских литератора хотят встретиться со мною. Он и она, супруги. Мужчина — настоящий краснокожий индеец, ему не хватало лишь убора из перьев и трубки, чтобы сойти за вождя племени, а женщина оказалась армянкой. В возрасте всего четырнадцати-пятнадцати лет она бежала из родного города и по стечению обстоятельств одна-одинешенька попала в самую глубь Мексики. Там она впоследствии вышла замуж за индейца, родила ему детей и, казалось, забыла свое прошлое. Муж ее сейчас литературовед, профессор университета в Мехико. Сама она искусствовед, написала множество книг о живописи, скульптуре, танцах Мексики и других стран Латинской Америки.

В одной из тихих комнат особняка Союза писателей муж показывал мне одну за другой изданные на английском, французском, испанском и других языках книги жены и с нескрываемой гордостью рассказывал о них. Сама она молчала.

Когда мы просмотрели все книги, она вдруг нервно отстранила их рукой и отрывисто, на очень беспомощном армянском языке сказала:

— Все это неважно. Прочтите, пожалуйста, вот это, — и дрожащей рукой протянула мне тетрадь в черном кожаном переплете. В ней каракулями было написано по-армянски очень примитивное стихотворение, озаглавленное «Мечта изгнанника». Я быстро пробежал глазами

страницу и приготовился уже, верный себе, высказать свое истинное мнение, как вдруг увидел ее лицо. В ее полных слез глазах было такое священное волнение, ожидание, такая непоколебимая вера в то, что именно здесь, в этой тетради, заключено все лучшее и главное в ее жизни, что я, потрясенный, не смог сказать правды.

Зная историю этой женщины, я не мог не склониться перед сверхъестественной силой, которая даже в ней, проведенной всю жизнь в чужих краях, сохранила живым, подобно огню под слоем пепла, родное слово... Живым до такой степени, что несколько беспомощных строк, написанных по-армянски, она считала более важными для себя, чем множество серьезных книг, написанных ею на других языках...

Но оставим далекую Мексику и вернемся к Армении...

У нас не редкость встретить крестьянина или ремесленника (грамотного или даже едва царапающего буквы), который, перевалив за шестьдесят, вдруг тайком от своей старухи, от чад и домочадцев, ночами напролет, в ученических тетрадях начинает писать историю Армении в стихах (обязательно в стихах!), размахнувшись этак на три — пять тысяч строк, твердо уверенный, что делает главное дело своей жизни. Я читал десятки таких «армянских одиссей» полуграмотных крестьянских Гомеров, не осмеливаясь никому сказать мое истинное мнение об их поэтическом даре, — не позволяло благоговение перед их приверженностью к родному языку, непосредственной заинтересованностью в судьбах страны.

Через всю армянскую литературу проходит красной нитью — той самой, которая исторически вплелась в красное знамя, — ее основная тема, тема национально-освободительной борьбы, неугасимой веры нашего народа в мирную жизнь и честный труд.

Эта вера сквозит в книгах историков V века, этой же верой продиктовано в 1920 году приветственное письмо ревкому Армении замечательного поэта Ованеса Туманяна, и эта же вера побудила одного из нежнейших армянских поэтов Вагана Терьяна воспеть «кроваво-красный стяг» Октября.

Можно сказать, что у нас никогда не было литературы просто как изящной словесности. С самого зарождения она была мощным оружием в борьбе народа за светлое будущее.

Огромную роль сыграл сам факт создания армянско-

го алфавита, который преследовал не только и не столько филологические, сколько политические, дипломатические и даже оборонительные цели.

Для того чтобы уберечься от захватнических, ассимиляторских притязаний своих агрессивных соседей, прикрывающихся дымовой завесой «общности интересов», «слияния», «единства целей», и без того маленькая Армения издавна была вынуждена еще более обособиться, изолироваться, подчеркивая не то, что роднит ее с другими народами, а то, что утверждает ее самобытность.

Когда ей угрожала Персия со своим огнепоклонничеством, Армения, чтобы не быть растворенной в ней, оградила защитной стеной христианства, противопоставив огню — крест.

Когда под лозунгом равенства всех христианских стран ей угрожала поглощением Византия, Армения сразу выдвинула свое толкование христианства.

А когда Армения осознала, что проповедь христианства (даже «своего», армянского) на греческом и ассирийском языках подвергает опасности существование языка армянского и способствует ассимиляции народа, она создала свой алфавит, свою письменность, чтобы проповедовать свою веру на своем языке, сохранить независимость и самоуправление.

Эту важнейшую миссию — создание алфавита, который положил начало истинно армянской письменности, осуществил сын крестьянина Вардана из села Ацик, один из крупнейших ученых и государственных деятелей IV—V веков Месроп Маштоц. Отвергнув блестящую придворную и военную карьеру, он, при содействии царя Врамшапуха и одного из образованнейших людей своего времени католикоса Саака Партева, посвятил свою жизнь трудному делу сотворения письменности, содейав этим то, что не мог свершить до него ни крест Григория Просветителя, ни меч Тиграна Великого.

Месроп Маштоц, получивший разностороннее образование, путешествовавший по многим странам, изучавший все древние и новые языки того времени, создал совершенный алфавит, который (невероятно, но факт!) не подвергся изменениям в течение всех шестнадцати веков и при помощи которого сегодня я, его недостойный наследник, пишу эти строки...

Весь народ вышел встречать Маштоца, когда он вернулся в Вагаршапат с только что созданным алфавитом,

с теми тридцатью шестью храбрыми воинами-буквами, которые вот уже 1600 лет защищают нашу самобытность. В жестоких и кровавых битвах за самосохранение народа не погиб ни один из этих воинов — напротив, ряды их пополнились еще тремя храбрецами, буквами «ев», «о», «ф», которые «перешли на нашу сторону» в последующие века...

Весьма знаменательна первая фраза, написанная буквами новоявленного алфавита: «Познать мудрость и наставление, постичь изречение разума».

В ней выразилось ненасытное стремление армянского народа к знанию, которое распространялось не только на собственную культуру, но на все лучшее в культурах других народов и включало в себя желание поделиться и своим духовным достоянием...

Месроп Маштоц — величайшая и светлейшая личность среди всех деятелей нашей истории, и не случайно его скромная могила в селе Ошакан является святыней Армении, к которой устремляются паломники со всех концов света вот уже шестнадцать веков!

Кстати, именно Маштоц впервые перевел на армянский язык Библию (этот перевод признан в филологии лучшим и считается «матерью переводов» Библии), написал первые стихи и шараканы (церковные песни), первые учебники и научные трактаты. Он же открыл первые армянские школы, став нашим первым учителем и проповедником.

Поскольку для христианской историографии самым важным из всех деяний Маштоца является перевод Библии, то сразу же после его осуществления был учрежден особый праздник переводчика, который вот уже шестнадцать веков отмечается в Армении каждую осень как большой национальный праздник.

Кстати, он никогда не был праздником только для церкви или «верхушки» общества, его чтит весь народ — крестьянин и князь, ремесленник и воин, духовенство и ученые, читатели и писатели.

И если случалось, что по той или иной причине кое-кто из интеллигенции «забывал» о празднике, то ему напоминали о нем простые крестьяне и ремесленники.

Вспоминается, что рассказывал по этому поводу Стефан Зорьян, наш выдающийся писатель. Как-то глубокой осенью пришел к нему стекольщик вставлять в окон-

ные рамы стекла, да не успел закончить работу в тот же день и сказал, что придет послезавтра.

— Как же так, лишний день будем мерзнуть, пришел бы завтра,— сказал ему маститый писатель.

— Завтра не могу, хоть и весьма уважаю вас... завтра праздник переводчика, еду поклониться могиле Маштоца...

«Мне стало неловко, что сам я забыл об этом,— вспоминал писатель,— но в то же время я невольно испытал чувство великой гордости за свой народ...»

...Месроп Маштоц создал армянскую азбуку в 396 году, и всего через пятьдесят пять лет после этого армянские письмена уже вступили в битву за свободу против персидских завоевателей.

Оружейники ковали мечи и копья, историки и ученые создавали пергаментные рукописи.

«Лучше иметь слепой глаз, чем слепую мысль»; «смерть неосознанная есть смерть, смерть осознанная — бессмертие» — вот какими словами окрыляли еще в V веке бьющихся за освобождение армянских воинов наши писатели и историки. Надо ли говорить, что слова эти были сильнее луков и стрел, мечей и копий, которыми было вооружено тогда армянское войско.

Именно дух национально-освободительной борьбы и чаяние мирной жизни породили в IX веке, в страшные годы арабского нашествия, мудрый и жизнерадостный эпос «Сасунские удальцы».

Как и герои всех эпосов, Давид Сасунци также обладал чудодейственным оружием — то был его меч-молния. Как и другие герои, он мог поражать им целые полчища врагов. Но редко поднимал свой меч Давид Сасунци — лишь вынужденно, лишь тогда, когда переполнялась чаша терпения народного.

Даже когда на Армению напал Мсра-Мелик со своим неисчислимым воинством, Давид не уничтожил (подобно героям многих эпосов) его войско. Убив зачинателя войны Мсра-Мелика, он отпустил по домам арабских воинов — силой согнанных на поле боя крестьян. Он напутствовал их наказом беречь мир и никогда не поднимать меч на другие народы:

...Зачем вы взяли стрелы, лук,
У вас ведь тоже дом и плуг,
И старики, и дети есть.
Иль опостылел вам покой

И ваши сельские труды?
 Иль надоело под горой
 Вам сеять, жать, собирать плоды?
 Идите, люди, как пришли,
 В свой Мсыр родимый сей же час.
 Но если из своей земли
 Вы вновь подниметесь на нас,—
 Хоть в яму брошен будь Давид,
 Будь тяжким жерновом накрыт,—
 Как ныне, молнией-мечом
 Давид Сасунский вас сразит.
 Бог весть, при встрече боевой
 Кто пораскается в тот час:
 Мы, в грозный вышедшие бой,
 Иль вы, напавшие на нас! ¹

Если в X веке гениальный поэт Григор Нарекаци, этот подлинный вулкан человеческой мысли и чувств, взывая в молитве к богу, ставил превыше господа сотворенного по его образу и подобию человека, то спустя три века поэт Фрик уже смело вступает в спор с богом, осуждая созданный им мир, где столько несправедливости, горестей и печали:

Один всегда по горло сыт,
 Другой от голода дрожит;
 Один в порфиру облачен,
 Другой лохмотьями прикрыт;
 Кто в красную парчу одет,
 А у кого рубашки нет;
 Тому дозволено грешить,
 А этому — на все запрет... ²

В стихотворении Фрика «Жалобы» слышны отголоски того грохота, с которым падала с Татевских гор чаша со святым миром, брошенная восставшим против бога во имя честного труда и свободной любви Смбатом Зарехаванци, вождем средневековых еретиков-тондракийцев.

Фрику вторит один из крупнейших поэтов XIV—XV веков Мкртич Нагаш, который обличал алчных и воинственных поработителей:

Цари садятся на коней, цари воют меж собой,
 Гоня покорных на убой,— все из-за жадности людской.
 Чтоб увести народы в плен, проходят вихрем над страной,
 Ровняют города с землей,— все из-за жадности людской. ³

¹ Перевод С. Шервинского.

² Перевод О. Румера.

³ Перевод П. Панченко.

После Нарекаци и Фрика мрачный небосвод средневековья озарило созвездие светских поэтов, воспевавших вместо распятия — зеленое древо жизни, вместо лада — аромат весенних цветов.

Лирические стихи о природе и любви, которые кажутся сейчас безобидной забавой, тогда были дерзкой и опасной оппозицией против религиозного догматизма, канонической поэзии, культа бога.

Эта лирика ознаменовала подлинное Возрождение, первые признаки которого в армянской литературе, философии, искусстве появились за несколько веков до европейского Возрождения.

Недаром Валерий Брюсов писал: «Средневековая армянская лирика есть одна из замечательнейших побед человеческого духа, какие только знает летопись всего мира...» И еще: «Знакомство с армянской поэзией должно быть обязательно для каждого образованного человека, как обязательно для него знакомство с эллинскими трагиками, с «Комедией» Данте, драмами Шекспира...»

Уже в «Книге скорбных песнопений» гениального поэта Григора Нарекаци ощущается дыхание раннего Возрождения. А ведь он творил в X веке, за 300 лет до Данте.

И если он не стал столь же известен в свое время, да и поныне мало известен цивилизованному миру, то единственно из-за отсутствия у армян государственности — государственности, которая служит тем высоким пьедесталом, с которого духовные достояния того или иного народа хорошо видны миру.

Творческая сущность «Скорбных песнопений» Нарекаци — внутренний мир человека, его души; двойственность человека — смертного и бессмертного, ущербного и совершенного, наконец, вопрос взаимосвязей человека и бога. Все это впервые прозвучало в армянской, да и, пожалуй, во всей мировой литературе.

Созданная тысячу лет назад, книга эта, несмотря на объяснимую временем некоторую скованность и свойственный средневековой литературе густой религиозный флер, тем не менее справедливо может считаться одной из самых современных, если хотите, «модерных» книг...

Вся поэзия Нарекаци — жгучий призыв, обращенный к человеку во имя его совершенства, и вполне понятны тот интерес и восхищение, которые создаются сегодня

вокруг Нарекаци в странах, где переводится его «Книга».

Читая Нарекаци, действительно ощущаешь, что человек создал бога, а не бог — человека, хоть сам Нарекаци каждый раз после своих вулканических дерзновенных порывов испрашивает у бога прощения, страшась его суда...

Наиболее характерным для поэтического мастерства Нарекаци является умение постоянным нагнетанием противопоставлений создавать высокое душевное напряжение, выражать смятение:

Не дай мне лишь стенать, а слез не лить,
В мучениях рожать и не родить,
Быть тучею, а влагой не пролиться,
Не достигать, хоть и всегда стремиться,
За помощью к бездушным приходить,
Рыдать без утешенья, без ответа,
Не дай мне у неслышащих просить,
Не дай, господь, мне жертву приносить
И знать, что неугодна жертва эта,
И заклинать того, кто глух и нем.
Не дай во сне иль наяву однажды
Тебя на миг увидеть лишь затем,
Чтобы не утолить извечной жажды¹.

Вот как рисует он духовную борьбу человека, его двойственность и внутренние противоречия:

Со сладкою и горькою едой —
Перед собою я держу два блюда.
Держу перед собою два сосуда:
Один с отравой, с миррою другой.
Две печи есть: одна красна от жара,
Пока другая стынет без огня.
Две длани надо мною: для удара
И для того, чтоб отстранить меня.
На небесах два облака застыло:
Одно несет нам огонь, другое — град.
Тому, что будет, и тому, что было,
Две укоризны с уст моих летят.
Две жалобы летят незаглушимых —
В одной мольба, в другой укора знак.
И в сердце слабый свет надежды мнимой
И горькой скорби безнадежный мрак².

Нарекаци жил в такое время, когда, выражаясь его словами, «настоящего нет, прошлое неизвестно, будущее

¹ Перевод Н. Гребнева.

² Перевод Н. Гребнева.

смутно» и человек окружен одними кознями и ловушками:

Я вижу воина — и смерти жду,
Церковника я вижу — жду проклятья,
Идет мудрец — предчувствую беду,
Идет гонец — могу лишь горя ждать я ¹.

У кого искать спасения от всего этого — у царей, которые «умелы лишь в искусстве смерти и убийства»?..

И почитая своим личным, собственным горем боль всего мира, народа, каждого человека («я есмь все, и всеобщее заключено во мне»), Нарекаци хочет один быть принесенным в жертву, погибнуть за всех, — лишь бы спасти мир, людей.

«За мои скорбные вопли и вздохи будь милосерд к душам других», — молит он бога и, даже умоляя, требует:

Да будут разрушены
Все дьявольские ловушки,
И распознаны все приманки удилиц,
И обнажится темная западня коварства,
Да засохнут, истлеют ростки плевел,
Сгинет оружие клеветников,
Поникнут мечи сеятелей смерти,
Сокрушится рог высокомерия,
Да искрошатся
Древки лживых знамен,
Обуздается натиск притеснителей,
Обветшают корабли мошенников,
И зубы грызущих
Да будут вырваны с корнем!.. ²

И поскольку во все века армянской (да и не только армянской) истории хватало нравственной скверны, «Скорбные песнопения» Нарекаци стали бессмертны — они были всегда современны, будто были написаны именно для данного века, для данного времени...

Озлобленный, неистовствующий от несправедливости и бесправия в сотворенном господом мире, Нарекаци порой бросает гневные слова самому богу и даже дерзает подать ему совет:

Прежде выслушай меня,
Чтобы потом, уже запоздалые,
Не позабылись мои моления.

¹ Перевод Н. Гребнева.

² Подстрочный перевод.

...Вернее будет
 Признать и меня виновным,
 Чем почитать ложью твои заповеди...¹

Так укоряет он всевышнего, однако тут же, убоявшись собственной смелости, просит отпущения этого греха:

Каюсь, позабыл твои
 Благоедеяния — и каюсь вновь.
 Каюсь, растлил душу ради тела,
 Каюсь, глупец.
 Каюсь, предал жизнь твою,
 Воистину каюсь.
 Каюсь, пренебрег твоими словами,
 В муках каюсь.
 Каюсь, торопясь к смертному часу,
 Недостойнейший, каюсь².

Однако даже в минуты наивысшего раскаяния и самоуничтожения Нарекаци инстинктивно чувствует свою гордую силу и восклицает:

Да провозгласится во всеуслышание,
 Доведется до сведения всех народов,
 Запечатлится на вратах разума
 И на порогах чувств
 Оставит клеймо —
 Хотя как смертный
 Я должен буду обрести конец,
 Но в вечной жизни этой книги
 Обрету бессмертие...³

Благоговейное отношение нашего народа к бессмертной поэме, любовно прозванной «Нарек», — лучшее свидетельство его необычайной преданности родному языку. Эту внешне схожую с молитвами, а на деле богоборческую книгу народ чтит как святыню, в буквальном смысле обожествлял, приписывал ей волшебное могущество, наделяя свойством исцелять человеческую душу и тело. Вера в целительную силу книги столь укоренилась, что из века в век ее клали в изголовье больных, читали над страждущими.

Ведь и сам Нарекаци писал:

Когда, недугом мучимый жестоко,
 Почти утратит кто-то с жизнью связь,
 Пусть обретет он силу в этих строках
 И возродится вновь, тебе молясь⁴.

¹ Подстрочный перевод.

² Подстрочный перевод.

³ Подстрочный перевод.

⁴ Перевод Н. Гребнева.

Светлые и сочные стихи мирских песнопевцев, пришедших после Нарекаци и Фрика, явились победой живого человека над усохшим и бескровным клерикальным искусством, вернули поэзию природе и человеку, влили животворные соки и кровь в ее опавшие вены...

«Сильнее креста твоя благодать», — говорит о любви поэт XV века Ованес Тулкуранци и продолжает:

Я сил не найду с тобой совладать...
Я болен — и вот здоров я опять.
Любовь, не убей меня...
И стыд позабыт. Священник, монах,
И вам не спастись — настигнет впотьмах,
Нарушит ваш сон любовь. Где же страх?
Смеется, злословит народ — все прах.
Любовь, не убей меня...¹

Если вспомнить, что средневековые песнопевцы жили и творили, как правило, в монастырях, станет понятна мера дерзновения «сумасбродного Ованеса», как сам он называет себя, когда призывает на берегу весеннего ручья,

Объяття рук кольцом сомкнув,
Вкушать вина земную сладость.

К тому же он предлагает и новый «ритуал» похорон:

Мой бедный прах вином омыв,
Пускай певец над ним споет.
Как в саван, в листья положив,
В саду весеннем погребет².

Ованесу Тулкуранци повезло, что армянская церковь, по велению истории, с самого возникновения носила отчасти мирской характер и руководил ею совет, состоящий наполовину из духовенства, наполовину из светских людей. Если бы ей свойственны были нетерпимость католической церкви и ее жестокая инквизиция, гореть бы Ованесу ярким пламенем на костре, обратившем в пепел столько средневековых ученых, поэтов, философов...

Пользуясь «прецедентом», пришедший вслед автор «Айренгов» Кучак уже столь осмелел, что позволяет себе такое обращение к возлюбленной:

Грудь твоя — белоснежный храм,
А соски — как лампы в нем.

¹ Перевод С. Спасского.

² Перевод В. Брюсова.

Позволь мне молиться там
И стать твоим звонарем ¹.

Проснувшись от свежего дыхания Возрождения, тело стремилось освободиться от оков духа средневековья, чтобы свободно жить, творить, любить:

С той поры, как рожден на свет,
Мне спасенья в молитвах нет,
И пускай священник зовет —
Сворочу, не пойду вослед.
А красавица поглядит —
Славословлю и шлю привет.
У колен ее — мой алтарь,
Я грудям ее дал обет ².

Естественно, что для подобных стихов тесны были монастырские стены, и Нагаш Овнатан пишет уже не в келье, а за пиршественным столом, на зеленом лугу, подготавливая приход величайшего из армянских гусанов — Саят-Нова:

Подвинь сюда наполненный сосуд,
Барашка пусть на блюде принесут;
В котле плав, миндаль, гвоздики тут...
Мы пьем вино, мы славим миг услад,
Поможет бог, и все пойдет на лад.

Журчит ручей, и зелень тешит взгляд.
Мы пьем вино, мы сели дружно в ряд,
И розы пусть подарит брату брат.
Мы пьем вино, мы славим миг услад.
Поможет бог, и все пойдет на лад ³.

...В XVII веке Армения была окончательно разделена между Турцией и Персией. И, несмотря на длившийся веками гнет, армянский народ породил таких гениальных певцов, как волшебный автор «Айренов» Наапет Кучак и как Саят-Нова, вынесший армянскую песню из монастырской кельи, с тем чтобы она больше никогда туда не возвращалась...

Поэт, композитор, музыкант Саят-Нова писал стихи, сам сочинял к ним музыку и сам пел свои песни-стихи, сопровождая их игрой на скрипке Востока — кямани. Причем писал он на нескольких языках. Армянин по рождению, он прекрасно владел пятью языками: армянским, грузинским, турецким, персидским, арабским.

¹ Перевод А. Кушнера.

² Перевод А. Адалис.

³ Перевод С. Спасского.

И еще одним языком владел он — вечным и доступным всем людям языком песен, с которыми он был, есть и вечно пребудет на всех кавказских пирах и в сердцах влюбленных.

Сын бедного плотника, ткач Арутюн Саядян (Саят-Нова) рожден был гением. Он победил всех знаменитых гусанов своего времени и стал придворным поэтом грузинского царя Ираклия II. О чем мог еще мечтать ашуг? Но человек феноменальных способностей, тонкий и мудрый, поэт и музыкант, выразитель души и чаяний народа, Саят-Нова тяжело страдал от тупой, полной чванства и зависти атмосферы двора и часто подвергался обидам и преследованиям за свой свободный и гордый нрав, за свои «праведные песни».

Однако величайшим из его страданий была дерзкая любовь к сестре царя Ираклия княжне Анне, которой посвящены лучшие песни Саят-Нова:

Ты — как сирена, что губит плывущих,
Мне на погибель дана, дорогая.
К северу, к югу, к востоку, к закату
Так ни одна не стройна, дорогая...

Сердцем сказать мои беды я жажду,
Плачем излить мои бреды я жажду,
Вечной с тобою беседы я жажду,
Жажда навеки дана, дорогая.

Скромнен твой облик и речи приятны,
В пальцах твоих сусамбар ароматный.
Жизнь отдаю тебе в дар безвозвратный,
Будь мне навеки верна, дорогая.

Скажет Саят: «Я не ведаю страха.
Хан, ради милой отрадна и плаха,
Лишь бы на прах мой могильного праха
Бросила горстью она, дорогая»¹.

Без преувеличения можно сказать, что это одна из лучших (речь идет об оригинале) любовных песен своего времени.

Жаль, что тифлисский армянский диалект, мало-помалу становящийся непонятным для современного читателя, не дает возможности в полной мере воспринять обаяние и глубину стихов Саят-Нова.

По всей вероятности, необходимо, каким бы свято-татством по отношению к оригиналам подобных творений

¹ Перевод М. Лозинского.

это ни казалось, переложить эти поэтические шедевры на современный армянский язык...

Ты вся — огонь, наряд — огонь, какой из них
стерпеть, скажи? —

воспламеняется от чар своей возлюбленной Саят-Нова, и через двести лет мы еще ощущаем жар его опаленного сердца...

Если бы от Саят-Нова остались лишь любовные песни, этого было бы достаточно, чтобы почитать его одним из лучших лириков мира.

Однако он оставил еще и такие бесподобные стихи о сладости и горечи сей преходящей жизни, как «Наш мир — окно», которых было бы достаточно, чтобы почитать его одним из мудрейших поэтов мира:

Наш мир — окно, но улиц вид меня гнетет, мне
стал не мил.

Кто взглянет, ранен. Язвы жар, что душу жжет,
мне стал не мил.

Сегодня хуже, чем вчера; зари приход мне стал
не мил.

Нельзя резвиться каждый день. Забав черед мне
стал не мил.

Что достоянья редкий клад, когда от нас он
утечет?

Тот человек хорош, кого сопровождал всегда
почет.

Мир не останется для нас, как слово мудрых нам
речет.

Хочу бюльбюлем улететь, мой сад — и тот мне
стал не мил.

...Саят-Нова сказал: дни бед меня гнетут превыше
мер.

Былой уж сладкой славы нет, и горек труд
превыше мер.

Над розой плачу, как бюльбюль,— шипы растут
превыше мер.

Раскрыться розам не дают,— их сбор и тот мне
стал не мил¹.

Коварным прихлебателям двора вскоре удалось раскрыть тайну высокой и несчастной любви поэта, и Саят-Нова, этого пылкого, жизнерадостного поэта, обрядили в черную рясу и сослали в Ахпатский монастырь.

Нет хода истине моей,—
В народе расплодилось ложь! ² —

¹ Перевод С. Шервинского.

² Перевод М. Лозинского.

с болью бросил Саят-Нова в лицо своему веку, оставшись, однако, великодушным и незлобивым:

И пусть подносят желчь тебе —
ты сахар дай, Саят-Нова! ¹

«Слуга народа», как он сам называл себя в одной из песен, Саят-Нова в этих строках выражает главное свойство армянского народа, который от бесчисленных бедствий не озлобился, не очерствел, остался добрым и отзывчивым, готовым жертвовать собой ради других.

Он остался верен идущей из веков молитве армянских матерей, впоследствии переложенной на стихи Аветиком Исаакяном:

Пусть прежде всех поможет господь
Всем дальним странникам, всем больным,
Пусть после всех поможет господь
Тебе, мой бедный изгнанник, мой сын ².

У всех народов есть множество пословиц, выражающих гостеприимство и радушие, однако армянская пословица «дом мой принадлежит не мне, а тому, кто открывает его дверь», приобретает особый смысл и значение, если вспомнить, что произносит ее армянин, чей дом неслучайно много раз был ограблен, разрушен, сожжен незванными гостями, открывшими его дверь...

Саят-Нова обратился к миру с знаменитой песнью-посланием, в которой прозвучал главный девиз нашего многострадального народа: «Возлюби письма, перо возлюби, книгу возлюби».

И по сей день слова эти золотыми буквами сияют на стенах наших школ, библиотек, книжных магазинов. Они — будто прямое продолжение фразы, впервые написанной буквами армянского алфавита: «Познать мудрость и наставление, постичь изречения разума».

Не этим ли вошедшим в плоть и кровь стремлением объясняется необычайно высокий образовательный ценз в Армении, обилие с древнейших времен школ, библиотек, университетов, академий, богатство дошедших до нас древних рукописей и старопечатных книг...

Родоначальником новой армянской литературы, создателем нового, понятного простому народу литератур-

¹ Перевод В. Брюсова.

² Перевод А. Блока.

ного языка «ашхарабар» является великий поэт, прозаик и педагог начала XIX века Хачатур Абовян.

Сын крестьянина из села Канакер близ Еревана, Абовян с детства видел произвол персидских ханов и фарашей, их грабежи, набеги, похищения женщин, избиения.

Впоследствии Абовян со страстной силой отразил все это в романе «Раны Армении», где он связывает надежды на освобождение нашей страны с Россией.

В армянских рукописях впервые упоминается о России в «Истории» Мовсеса Каганкатвацци (IX век). Он пишет: «В это же время с северной стороны появилась незнакомая нация, которую называют рузиками. Более трех раз они, подобно буре, дошли до берегов Каспия, до столицы албанцев Партава».

Далее, не считая множества хроник, о России и русском народе пишут историки Асохик, Орбелян, Киракос Гандзакечи и другие.

С самого возникновения России, русского государства армяне с оружием в руках помогали ему в борьбе против врагов (особенно во времена Киевской Руси), обращаясь в свою очередь к его помощи. Еще в XII веке настоятель Санайнского монастыря Григор Тутеворди, описывая бедственное положение Армении, советует: «Обратитесь с протестом к кесарю, сообщите всей нации франков, ассирийцам и чтимой христианством прославленной русской церкви, просите у них должной помощи».

В это же время, в XII—XIII веках, было переведено на армянский язык одно из лучших произведений средневековой русской литературы — «Сказание о Борисе и Глебе».

Рукописи более поздних времен полны многочисленных упоминаний о России и переводов русских книг. Особенно много становится их в XVII—XIX веках, когда армянский народ именно в России увидел надежду на освобождение от иноземного ига.

Среди переводной литературы этих лет — книги «Начало государства Российского», «О роде Рюриковичей», «Путешествие в Польшу», «Регламент Петра I», «Война 1807 года между Несвидаевым и Махмуд-Пашой», «Наиважнейшие указы русских царей (1795—1825 гг.)» и др.

Кстати об указах.

Великий Петр, преобразуя Россию, притягивал к себе прогрессивные, талантливые, созидательные силы. Преследуемый персами и турками, трудолюбивый народ не мог

не привлечь его внимания, и он сделал все, чтобы как можно больше армян — строителей, ремесленников, грамотеев и умельцев переселилось в Россию. «Армян как возможно приласкать и облегчить в чем пристойно, дабы тем подать охоту для большего их приезда», — писал он в указе от 2 марта 1711 года.

В другом указе, обращаясь к генералу Кропотову, Петр Великий пишет: «Учини им редкое вспоможение... понеже мы оный армянский народ в особливу нашу императорскую милость и протекцию приняли...»

Он дал армянам всяческие льготы, и не случайно при нем и после него в Россию переселилось свыше полумиллиона армян, осевших сначала в Астрахани, Петербурге, Москве, а потом и в основанных в России армянских городах Новой Нахичевани, Григориуполисе, Армавире и других.

Тяга преследуемых магометанскими государствами армян к христианской России и вера в нее проходят через всю историю нашего народа от XII века до наших дней. Выразительную картину этой приверженности и веры, которые не были поколеблены даже в самые трагические моменты нашей истории, вопреки тяжелым разочарованиям, дал один из претерпевших ужасы 1915 года армянский писатель Ваге Айк в своем рассказе «Родственник должен приехать».

Сейчас-то уж всем известно, что родственники бывают разные, и рядом с декабристом, освобождавшим Армению, был и Паскевич, рядом с другом Налбандяна Чернышевским — тот, кто судил их обоих... Ведь еще вчера, в годы первой мировой войны, в трагические для армян дни, когда наиболее светлые умы России от Ленина и Кирова до Горького и Брюсова протягивали нам руку помощи, реакционный царский генерал, впоследствии враг революции Юденич втайне вынашивал план создания на исконных землях гибнущих армян «Евфратского казачества».

Бескорыстные, идущие из глубины веков симпатии к русским порой воплощались в военном или государственном договоре о союзе и помощи, как это было, например, при Давид-Беке и как бывало в дальнейшем, вплоть до освобождения Восточной Армении от персидского ига.

Хачатур Абовян был одним из первых, придавших ве-

ковой тяге армянского народа к России форму сознательной политической ориентации, которой с тех пор неизменно придерживался наш народ. Вскоре после освобождения Еревана от персидского ига, свидетелем и участником которого был Абовян, он впервые услышал от ссыльных офицеров-декабристов стихи Пушкина, а в древней ереванской крепости увидел первую постановку грибоедовского «Горе от ума». Затем он уехал в Эчмиадзин, в резиденцию католикоса, в качестве секретаря-писаря. Там, в монастыре, он познакомился с профессором Дерптского университета Фридрихом Парротом, с которым вскоре совершил восхождение на вершину Арарата.

Трудным был подъем на Арарат в условиях того времени, но еще страшнее было возвращение. Молодой священник подвергся преследованиям и проклятиям за то, что дерзнул подняться на священную библейскую гору, к остаткам «Ноева ковчега». Он стал бы жертвой слепого фанатизма, если бы ему не удалось уехать вскоре в Дерптский университет. После окончания университета, отказавшись от ожидавшей его блестящей карьеры, Абовян поклялся служить своему народу и, полный светлых надежд и планов, вернулся на родину.

Здесь он с самого начала столкнулся с мракобесием клерикалов. «Ты хочешь мне приказывать, вероотступник? Ты можешь лишь смутить души невинных, и учить их не твое дело», — так ответил на желание Абовяна открыть школу для армянских детей один из самых реакционных католикосов Ованес Карбеци.

Впоследствии к преследованиям местных мракобесов прибавились гонения царских чиновников-ассимиляторов, жертвой которых стал Абовян на сорок четвертом году жизни.

Ранним утром 2 апреля 1848 года он вышел из своей ереванской квартиры при школе — и больше никто никогда не видел его...

Взошел ли он на Арарат, чтобы найти вечный покой в его чистых снегах, утопили его в реке Раздан или, как рассказывает легенда, в черной карете увезли в Сибирь... кто знает?

Думаю, что последнее наиболее вероятно, и когда-нибудь следы его обнаружатся во глубине сибирских просторов...

Факт остается фактом — Абовян исчез, не оставив даже могилы, и камнеобильная Армения в который уж

раз не смогла поставить надгробье одному из любимейших своих сыновей...

Если точно известно, что он родился, то никто не может точно сказать, как и когда он умер. Завидная судьба бессмертных, чья жизнь не вмещается между датами рождения и смерти, между колыбелью и могилой...

Хотя Абовян видел и воспевал Россию, он инстинктивно понимал, что есть в ней и Пушкин, которого он обожал и переводил на армянский, и Фаддей Булгарин, которого он назвал мракобесом во время одной ссоры в Дерпте...

Младший соратник Абовяна Микаэл Налбандян оказался более счастливым, если вообще уместно применять это слово в отношении армянского писателя прошлого, особенно писателя талантливого и принципиального. Он рано понял, и не инстинктивно, а вполне сознательно, что есть две России — Россия Чернышевского и Герцена и Россия царских сатрапов.

Своими страстными и пламенными книгами, выходящим в Москве журналом «Юсисапайл» («Северное сияние») и революционной деятельностью бок о бок с Герценом, Чернышевским и Огаревым в России, а потом в Лондоне Налбандян боролся против самодержавия за свободу и равноправие народов.

Вместе с Чернышевским томился он в Петропавловской крепости (их камеры были рядом) и умер в ссылке в городе Камышине тридцати семи лет от роду.

Налбандян — первый революционный деятель в нашей новой литературе, первый истинный поэт-трибун:

Молчи же, лира, больше не звени,
Возьми ее обратно, Аполлон,
Отдай тому, кто может жить слепым,
Любовью милой навсегда пленен.
А я пойду на площадь, на простор,
Без лиры, без нарядных, пышных слов,
Мне должно бушевать, негодовать,
К сраженью с тьмой я должен быть готов.
Не лира нежная теперь нужна,—
В руке бойца неотвратимый меч.
Огонь и кровь на голову врага! —
Вот жизни смысл, вот боевая речь...¹

Даже в те времена, когда большая часть Армении стонала под игом турецких султанов, в постоянном стра-

¹ Перевод В. Звягинцевой.

хе грабежей и погромов, и литература наша, естественно, должна была иметь подчеркнуто национальную окрашенность, Налбандян, верный своим высоким общечеловеческим идеалам, писал: «До сих пор человек не дошел до того, чтобы, без вторичного или официального имени, выступать лишь под естественным именем человека. До сих пор нет на свете человека, есть лишь нации...» И далее: «Когда человек, появляясь среди того или иного народа, не называет себя именем человек, когда он называет себя англичанином, немцем и пр., и пр., и пр., нам остается лишь принять это явление как реальность».

Эти строки написаны в девятнадцатом веке, однако кажется, будто звучат они не из прошлого, а из-за светлых горизонтов будущего...

Несмотря на полную тяжких мучений короткую жизнь, мы называем Налбандяна счастливым — и имеем на то основания. Не высшее ли счастье для человека честного и принципиального страдать и погибнуть во имя своих убеждений...

А Налбандян сознательно был готов и к страданию, и к смерти, готов давно, с тех самых пор, как в знаменитых «Двух строках» поведал миру свое кредо: «Мы добровольно посвятили себя защите прав простого народа... Защищать нещадно попираемые права... вот подлинный смысл и цель нашей жизни. И чтобы достигнуть этой цели, мы не остановимся ни перед тюрьмой, ни перед ссылкой и будем служить ей не только словом и пером, но и оружием и кровью, если когда-нибудь удостоимся взять в руки оружие и освятить своей кровью проповедуемую нами доселе свободу...»

Величайшим армянским поэтом нового времени несомненно является Ованес Туманян. Туманян — поэт-классик в истинном смысле этого слова, понятный взрослому и ребенку, крестьянину и интеллигенту, лирику и физику.

Понятие «гениальный писатель», означающее высшую степень таланта, по всей вероятности, может быть отнесено и просто к факту гениального осмысления и отражения какого-либо определенного материала. Суть понятия «великий» — безгранично шире.

О Туманяне мало сказать — гениальный, он велик, велик и необходим, как хлеб насущный.

Его стихи и поэмы, рассказы и статьи, басни и мудрые обработки фольклора сопровождают армян с ран-

него детства до глубокой старости. Читательская жизнь их начинается с детского стихотворения «Пес и кот», завершаясь «Четверостишиями», «Прощанием Сириуса» и «Панихидой»...

Туманян пишет так, словно пишет не он сам, а ущелья и горы Армении, ее прошлое и настоящее, армянское горе и светлая вера в будущее.

Вот характерное для Туманяна стихотворение «В армянских горах», в котором выражены вся суть и смысл армянской истории:

Нелегко был путь, полночный наш путь...
Но выжили мы
Средь горя и тьмы:
Веками идем, чтоб в выси взглянуть
В армянских горах,
В суровых горах.

Сокровище дум издревле несем,—
Что море, оно
Душой рождено,
Народной душой в пути вековом,
В армянских горах,
В высоких горах.

Из светлых пустынь кидались на нас
Орда за ордой:
Разили бедой,
Весь наш караван терзая не раз
В армянских горах,
В кровавых горах.

Ограблен, разбит был наш караван...
Разрознен средь скал,
Дорогу искал,
Считая рубцы бесчисленных ран,
В армянских горах,
В печальных горах.

И наши глаза взирают с тоской
На сумрак земли,
На звезды вдали:
Ну, скоро ли утро вспыхнет зарей
В армянских горах,
В зеленых горах! ¹

Соратник и ровесник Туманяна, Аветик Исаакян — сложная поэтическая натура. Его творчество как бы вместило в себя не только «армянское горе», но печаль и гнев всего страждущего человечества, которые поэт страстно выразил в своей знаменитой, переведенной почти на все языки поэме «Абул Ала Маари».

¹ Перевод Н. Сидоренко.

Сын армянского крестьянина, Исаакян исколесил весь мир, учился в России, Германии, Швейцарии, долго жил во Франции и Италии...

Исаакян был знаком со всеми религиями и учениями народов — от Будды и Конфуция до Христа, от Лао-цзе, Ницше и Шопенгауэра до марксизма, и выражал в своих безыскусных, почти народных песнях весь этот сложный сплав человеческих мыслей и чувств. Родившись при свете лучины, он сомкнул свои усталые веки уже в космический век.

Поэзией Исаакяна, особенно его «Песнями изгнанника», стихами о любви и природе, восхищались многие выдающиеся поэты XX века, а Александр Блок, еще в 1915 году переводивший его на русский язык, назвал Исаакяна одним из крупнейших поэтов Европы начала века.

Стихи Исаакяна так укоренились в народе, что почти все они поются, причем мелодии большинства этих песен созданы неизвестными авторами — крестьянами и ремесленниками...

Вот одна из «Песен изгнанника», в переводе Блока знакомая многим русским читателям:

Караван мой бренчит и плетется
Средь чужих и безлюдных песков.
Погоди, караван! Мне сдается,
Что из родины слышу я зов...
Нет, тиха и безмолвна пустыня,
Солнцем выжжена дикая степь.
Далеко моя родина ныне...

.
Уводи, караван, за собою,
В неродную, безлюдную мглу.
Где устану,— склоняюсь главою
На шипы, на утес, на скалу...

Исаакян — мастер мудрых лирических миниатюр, они близки народу и всегда у него на устах:

Где он лежит,
Тот камень простой,
Что станет моей
Могильной плитой?
Быть может, не раз
На пути моем
Я в скорбном раздумье
Сидел на нем...¹

¹ Перевод К. Арсеновой.

А маленькое, написанное в Равенне стихотворение Исаакяна об Арарате, наверно, лучшее из стихов об этой священной горе:

На глухой вершине Арарата
 На мгновенье век остановился —
 И ушел...
 Острый меч сверкающей зарницы
 Об алмазы яркие разбился —
 И ушел...
 Взор гонимых смертью поколений
 Соскользнул по гребню исполина —
 И ушел...
 Наступил черед твой на мгновенье,
 Чтоб и ты взглянул на ту вершину,—
 И ушел...¹

...«Уйдем» и мы — к Даниэлу Варужану и Сиаманто. Выдающиеся поэты Западной Армении начала века, оба они были зверски убиты турецкими погромщиками в 1915 году.

Удивительный поэт Варужан, один из крупнейших наших поэтов, пожалуй — поэт из поэтов. О чем только не писал он — начиная от юношеского «Трепета» до трагического «Сердца народа», от мужественных «Рабочих песен» до великолепных «Языческих песен», шедевра армянской поэзии, который мог бы потягаться с лучшими творениями поэзии мировой, от поэмы «Наложница» до прекрасной крестьянской «Песни хлеба»...

О чем бы ни писал истинный поэт — даже если это сугубо личные ощущения или явления неприметные и несущественные, — это всегда интересно, потому что его «я» настолько глубоко, что вмещает в себя весь мир.

Об этом очень метко сказал русский поэт Батюшков: «Почему мы Кантемира читаем с удовольствием? Потому что он пишет о себе. Почему мы Шаликова читаем с неудовольствием? Потому что он пишет о себе».

Нам интересно самовыражение лишь истинного поэта, который не может не быть настоящим человеком и гражданином. Душа его подобна известному в химии «перенасыщенному раствору», любой погруженный в нее предмет покрывается великолепными кристаллами, превращаясь в чудо искусства. Тогда как даже золото самой добротной темы в мелководье пустой и пошлой душонки остается безжизненным и прозаичным, не превращаясь в поэзию...

¹ Перевод М. Павловой.

Что может быть ничтожнее попавшей в глаз мошки? Однако по такому пустячному поводу Варужан создал одно из самых своих интересных стихотворений:

Опьяненная весенними ароматами, ты попала
Мне в глаз, что стал для тебя безбрежным морем.
Надеясь достичь берега, напрасно
Ты билась крыльями в этих мрачных волнах...
...Потом облаком опустилось на тебя мое веко,
И зрачок мой, омытый светом души,
Стал твоей могилой.
Та же слеза
Убила тебя и оплакала...
Грех любопытства ты искупила смертью,
А я свой грех — невольной слезой...¹

В основе духовной жизни нашего народа с самого начала его истории было преклонение перед светом — культ света, мудрости, благородства, добра...

«Радостный свет», «Светлое утро» — пели мы из века в век... «С добрым светом» (здравствуй), «Свет глазам твоим» (поздравляю), — говорим мы друг другу каждый день. «Отправляюсь к роднику света»... — продолжает эту проторенную народом вечную тропу Даниэл Варужан...

Однако дух тьмы вновь с неистовой яростью набросился на наш идущий к истокам света народ:

Там жизнь убивают в поле,
И мысль убивают в мозгу...

И Варужан, который был рожден для светлого и прекрасного, воспел свой «преданный веками, но избранный вечностью» народ, его раны и мужество, осудил новых палачей света и стал их жертвой тридцати лет от роду... Наделенный ярким воображением, он не мог представить себе лишь одного — что его, как и его собрата по перу Сиаманто, воспевавшего в стихах человека-бога, может убить в пустынном ущелье варвар с налитыми кровью глазами...

Тело Варужана, будь оно найдено, могло быть оплакано словами его стихов:

В эту праздничную ночь
Подлей, сноха, масла в лампаду.
Сын мой возвращается с победой —
Подправь, сноха, фитиль.

¹ Подстрочный перевод.

Перед дверью, у колодца, стала арба —
 Засвети, сноха, огонь.
 Войдет мой сын, увенчан лаврами,—
 Вынеси, сноха, свет к порогу.
 Но на арбе — лишь кровь да печаль...
 Сноха, придвинь сюда свет...
 Там мой храбрый сын с пробитым сердцем —
 Ох, сноха, погаси огонь!.. ¹

Сиаманто, старший собрат Варужана по перу, с детства видел лишь погромы, грабежи и притеснения и поневоле стал певцом ужасов и смерти.

Ему было шестнадцать лет, когда в 1895—1896 гг. началась армянская резня в Константинополе и провинциях.

Для юноши его возраста естественно было бы видеть в жизни лишь щедрые краски природы, весну, любовь, мечту... Однако Сиаманто вместо этого видел погромы и пожары и из всех существующих на свете цветов — лишь цвет крови...

Он, пришедший в мир для нежной сельской свирели, стал летописцем страдания и ужаса или, как он сам сказал о себе, «бледным юношей, отданным в зарок все-сожжению»...

Если в течение веков армянские поэты в изгнании тосковали о доме, то для Сиаманто дома этого уже не существовало, он был разрушен, и пределом мечты поэта было — удостоиться в смертный час хоть горсти пепла с родного пепелища:

Увы! Ты, как дворец, велик был и богат,
 И с плоской высоты твоих беленых крыш
 Звездоточивой лишь настанет ночи тишь,
 Внимал я, как внизу, шумя, бежит Евфрат...

Я плакал, плакал я, узнав, что ныне ты —
 Развалина, лежат обломки лишь одни...
 То был день ужаса, и крови, и резни...
 А около тебя цвели в саду цветы.

...О дом мой, верь! Едва засну я вечным сном,
 Душа свободная к развалинам родным,
 Как голубь, прилетит, чтоб волю дать своим
 И песням, и слезам. О, верь, родимый дом!

Но кто, когда умру, кто принесет с собой
 Святого пепла горсть от пепелищ твоих

¹ Подстрочный перевод.

И бросит на парчу покровов гробовых
И с ним смешает прах певца земли родной?

Горсть пепла, отчий дом! О, с прахом горсть твоим,
Горсть пепла из немой развалины твоей,
Из прошлых дней твоих, от горя и скорбей
Горсть пепла, чтоб мое осыпать сердце им!..¹

Сиаманто погиб с горьким сознанием того, что «заря справедливости еще безнадежно далека», и гневно бросил в лицо равнодушному миру:

О, праведность людская,
Дай заклеить плевком твой лоб!

Однако чутким слухом поэта он уже уловил доносящиеся до его родины и народа «красные вести», глашатаями которых стали Ваган Терьян и Егише Чаренц...

Но прежде чем говорить о Терьяне и Чаренце, отправимся по следам нашей азбуки к тем новым временам, которые открыли золотую эру нашей письменности, литературы, науки.

Кто мог бы перечислить неисчерпаемые сокровища нашей многовековой культуры! И можно ли забыть, что народ, создавший такие сокровища, не всегда имел доступ к накопленному веками духовному богатству...

В течение всех долгих веков, и даже всего несколько десятков лет назад, простые сыны этого народа, если надо было ставить подпись под какой-либо официальной бумагой, прикладывали к ней палец или рисовали крестик — тот крест обездоленности и темноты, на котором был распят наш народ...

Многие писатели даже в начале XX века лишь грезили о том времени, когда армянский крестьянин возьмет в руки их творения.

Всего век назад Хачатур Абовян мечтал, едва веря в возможность этого — иметь хотя бы сто учеников-армян.

Мог ли он представить себе, что в Армении когда-либо будет тысяча шестьсот школ, училищ, институтов, где будет обучаться более трети населения!

Мог ли он вообразить, что в библиотеках будет хра-

¹ Перевод С. Шервинского.

ниться двадцать шесть миллионов книг, и если в один прекрасный день туда явится все население Армении, включая младенцев и стариков, то на долю каждого придется больше десяти книг!

Мог ли великий радетель за армянскую печатную книгу Акоп Мегапарт помыслить о том, что в Советской Армении за несколько десятков лет будет издано больше армянских книг, чем было их издано во всем мире со дня напечатания первой армянской книги в 1512 году...

Что почувствует смотревший некогда свысока на замученную Армению и расточавший обманчивые заверения об «армянском вопросе» какой-либо французский или английский дипломат прошлого, если сказать ему, что сегодняшняя Армения по количеству студентов, обучающихся в высших учебных заведениях (в отношении к общей численности населения), давно опередила и Францию, и Англию!

В этих средних и высших учебных заведениях обучаются не только подростки и юноши, проживающие в Армении, но и армянские и иноязычные юноши из Ленинграда и Москвы, Ростова и Алма-Аты, Карабаха и Ахалкалака, Бейрута и Халеба, Парижа и Нью-Йорка, Тегерана и Сан-Пауло, из Польши, Вьетнама, из многих других далеких и близких стран мира.

Согласно статистике, в 1828 году в Ереване было 11 863 жителя. Однако статистические данные почти ничего не рассказывают об основном населении, о бедных и честных армянских тружениках, ремесленниках и садоводах, которые создавали блага этой страны.

Зато доподлинно известно, что в то время в Ереване проживали «четыре хана, пятьдесят беков, девятнадцать мирз, пятьдесят мулл, тридцать девять сеидов, три дервиша»... Не знаю, много ли среди этих «видных» людей было грамотеев, однако просто смешно читать об этом в сегодняшнем Ереване, где уже затруднительно становится найти человека, имеющего лишь восьмилетнее образование...

Высшее образование давно уже перестало быть монополией города. Ныне в самых глухих селах Армении насчитывается по меньшей мере 20—30 учителей, агрономов, врачей и других специалистов с высшим образованием.

Школы и училища, библиотеки, университет... Давно ли армяне для получения высшего образования ездили

в Лейпциг и Женеву, в Париж и Лондон... Теперь с той же целью юноши из многих стран мира приезжают в Ереван.

А Академия наук?.. Сколько веков мечтали о ней талантливые ученые нашего прошлого, математики, врачи, астрономы, филологи!

В средневековой Армении в разное время существовало много университетов, академий — таких, как академия Ована Воротнеци, Гладзорский университет, школа философа Григора Татеваци, академия Григора Магистроса в Кечарисе и многие другие. Но никогда не было и не могло быть государственной академии наук для всей страны, не говоря уже о том, что все названные школы и академии были большей частью с филологическим и богословским уклоном.

Вот что пишет в 1386 году об университете Ована Воротнеци уже знакомый нам переписчик Акоп: «И мы под покровительством святого и известного в целом свете осененного благодатью... отца настоятеля Ована Воротнеци учились в его университете, который блистал как солнце в это стесненное и смутное время. Потому что он собирал дальних и ближних, сирот и бездомных, и обучал и доводил до славной степени, сделав одних учителями и священниками, других — музыкантами и философами, а иных — живописцами и секретарями».

О Тома Мецопеци (XIV—XV вв.), получившем образование в Татевском университете, сказано: «Своей ученостью он постиг двенадцать отраслей философской науки: Естествознание; Педагогику; Богословие; Мораль; Экономику; Политику; Математику; Музыку; Геометрию; Астрономию; семь сочинений по разным вопросам философской риторики («Грамматика» Дионисия Фракийского, «Книга об определениях» Давида Анахта, «Введение» Порфирия, толкование «Категорий» Аристотеля, труды Псевдо-Аристотеля и др.); Библию, Евангелие и труды 50 историков».

Удивительно высокий по тому времени уровень образования, завидная осведомленность в разнообразных науках и философских учениях... Это во многом объясняет серьезность и глубину взглядов армянских средневековых историков, философов, ученых, а также необычайное обилие переводов на армянский античных научных трудов.

Говоря о староармянских научных центрах, нельзя

не упомянуть о знаменитой конгрегации мхитаристов в Венеции.

Убедившись после многих тщетных попыток, что в Армении, стонущей под иноземным игом, нельзя восстановить научные центры средневековья или организовать новые, армянские историки и ученые во главе с Мхитаром Себасти в 1717 году основали на острове святого Лазаря близ Венеции большой научно-исследовательский центр — академию. Вместе со своим известным филиалом в Вене академия эта функционирует до сих пор — издает научные труды, выпускает свои журналы и т. п.

Мхитаристы стали нашими энциклопедистами — именно они впервые взялись за научное издание текстов древних армянских рукописей, тщательно изучили все архитектурные памятники Армении. Научная добросовестность мхитаристов была безгранична. Многие из них, никогда не видевшие Армении, как, например, поэт и лингвист Гевонд Алишан, только на основании книг историков, географов, этнографов так подробно описали ее города и села, родники и могилы, каждый камень и куст, что перед их титаническим трудом и фанатичной любовью к изучаемому предмету невольно склоняешь голову.

Что касается их фантастического трудолюбия, то каждый из них в одиночку выполнил работу, которая под силу разве что целому научно-исследовательскому институту как по содержанию, так и по объему...

Посланные с острова святого Лазаря в Армению журналы, книги, словари, учебники, а затем и прибывшие оттуда учителя оживили заглохшую под иноземным игом культурную жизнь Армении, воскресили традиции прошлых времен.

Именно на острове святого Лазаря появились заинтересовавшиеся армянской историей, языком, культурой первые иностранные ученые-арменоведы. Благородные традиции их впоследствии продолжили Мейе и Маклер, Хюбшман и Маркварт, Дюлорье и Броссе, а в наши дни — Фредерик Фейди и Чарльз Доусет, Томсон и Влад Бенциану, Триарский и Смушкевич, Яромир Едличка, Жерар Гарид и Болонези, Шульц и Писович, Бенвенист, Роберт Годель, Ланг, Людмила Моталова и многие другие.

Именно на острове святого Лазаря Джордж Байрон,

влюбленный в Армению и армянскую культуру, месяцами изучал армянскую историю и язык и даже написал предисловие к изданному мхитаристами англо-армянскому словарю.

До сих пор на острове приезжим показывают рабочую комнату Байрона, посаженный им дуб и скамью, отдыхая на которой, он сочинял стихи...

...Да, были в средневековой Армении университеты и академии, однако из-за отсутствия государственности не было и не могло быть единого научного центра, где была бы сосредоточена передовая научная мысль.

То, что веками оставалось неосуществленным, наш народ сделал в самое тяжелое для страны время, в годы Великой Отечественной войны... Под грохот рвущихся в Кавказских горах снарядов в Ереване было основано Армянское отделение Академии наук СССР, тогда же мы избрали нашего первого президента — большого ученого, мудрого и обаятельного человека Иосифа Орбели, чей почтенный облик напоминал средневековую миниатюру.

Исполины армянской филологии Грачья Ачарян, Манук Абебян, Григор Капанцян, Акоп Манандян, Степанос Малхасян и другие удостоились счастья стать основателями нашей Академии и первыми академиками.

Ныне в научно-исследовательских институтах Академии наук Армении работают 12 тысяч сотрудников, свыше 4 тысяч ученых, среди них всемирно известный астрофизик Виктор Амбарцумян, физик Артем Алиханян, математики Сергей Мергелян и Мхитар Джрбашян, историки Абгар Ованесян и Сурен Еремян и другие.

Работе нашей Академии постоянно помогали выдающиеся ученые Левон Орбели, Эзрас Асратян, Хачатур Коштоянц, Норайр Сисакян, Исаак Алиханян, Борис Пиотровский, Николай Токарский и многие другие.

Гора Арагац, по которой раньше лишь струились родники и бродили пастухи, стала ныне твердыней науки и от вершины до подножья предоставлена в распоряжение ученых.

Ученым-физикам, специалистам по космическому излучению и астрофизикам многих стран, даже не знакомым с Арменией, хорошо известны названия армянских деревушек Бюракан и Амберд, связанных со многими открытиями и смелыми гипотезами в этих областях.

Здесь созываются научные симпозиумы и конгрессы мирового значения.

Это там, на склонах Арагаца, братья Алиханян поймали «синюю птицу» космического излучения, это там сын нашего народа доказал, что планеты и звезды не были созданы раз и навсегда, а создаются постоянно.

...Если многое в нашей жизни зародилось лишь в последние десятки лет или из тоненького ручейка, берущего начало в прошлом, лишь теперь превратилось в реку, то письменность и литература дошли до нас полноводной рекой, сокровищницей непревзойденных богатств.

Нет более трудного и почетного дела, нежели быть армянским писателем, представителем литературы, имеющей столь богатые традиции. Трудно, потому что надо не только состязаться с тем лучшим, что пришло из веков, не только быть достойным его, но и к имеющимся сокровищам добавить хоть одно новое слово, одну собственную строку.

Наша современная литература создала такие образцы советской классики, которые заняли прочное место рядом с сокровищами прошлого.

Среди сказавших это новое слово был поэт Ваган Терьян — один из самых тонких армянских поэтов XX века. Его поэзия, путь его жизни были похожи на усыпанную печальными осенними листьями аллею, которая привела его однако в Смольный, к Ленину, к прославлению знамени Октября...

Восточноармянская поэзия до Вагана Терьяна восходит своими истоками в основном к деревне. Терьян одним из первых воспел город, его тротуары и ночные фонари, студента и бродягу, мысли и чувства городского интеллигента, его любовь и смятение новыми поэтическими средствами.

В отличие от многих его предшественников, Терьян не столько проповедовал, сколько исповедовался, не столь описывал и рассказывал, сколь доверительно раскрывал сердце, создавал не столь поражающие воображение образы и строки, сколь определенное душевное состояние и настроение, не столь обязывал читателя прислушиваться, сколь мягко овладевал им, отдаваясь его власти...

Мало написал Терьян, но так, что почти нет необходимости отбирать избранные его произведения — все они

избранны, начиная от «Грез сумерек» до трагически-оптимистического цикла «Страна Наири».

На протяжении нашей многострадальной истории при каждой новой войне, каждой новой беде поэты наши тревожно вопрошали: неужели это конец? Этот роковой, неизбежный для армянских писателей прошлого вопрос задал и Ваган Терьян:

Ужель поэт последний я,
Певец последний в нашем мире?
Сон или смерть — та скорбь твоя,
О светлая страна Наири?
Во мгле, бездомный, я поник,
Томясь мечтой об осиянной,
И лишь твой царственный язык
Звучит молитвой неустанной...
И стонет, в страхе, мысль моя,
О, воссияй, мечта, Наири!
Ужель поэт последний я,
Певец последний в этом мире? ¹

Через два года после того, как Терьян задал этот вопрос, произошла трагедия 1915 года... Однако Терьян, твердо веруя в чудо возрождения армянского народа, сам ответил на свой вопрос в другом стихотворении:

Как снега не однажды наш гордый видал Арарат,
Так не новы для нас испытанья и горечь утрат.
Был в далеких веках нашим лютым врагом Вавилон,
Он исчез без следа, — как туман, улетучился он.
Нам грозила Ассирия, шли, точно буря, войска,
В прах смело ее время, засыпали груды песка...
...Пирамиды Египта падут, превратятся во прах,
Но, как солнце, страна моя, ты воссияешь в веках!
...Много варваров темных придет и уйдет без следа, —
Наше слово бессмертно, не смолкнет оно никогда ².

«Отчего не умер молодым я?» — писал Терьян за год до смерти, в 1919 году, когда ему было всего 34 года...

Уж в чем другом, а в этом отношении судьба была «щедра» к армянским поэтам: Терьян умер в 35, Мисак Мецаренц — в 22 года, а гениальный Петрос Дурьян прожил всего 20 лет...

Обладая волшебным мастерством и обаянием, основав целую литературную школу, Ваган Терьян в последние годы своей жизни уже не довольствовался достигнутым и, стремясь выразить принесенное революцией новое дыхание, сменил созданный им благозвучный и гармо-

¹ Перевод М. Талова.

² Перевод Д. Бродского.

ичный стих на имеющие вольный размер и разговорную интонацию строки, для него совершенно новые:

Знамя свободы,
Пою я тебя!
Снова воскресла
Душа-сирота,
Как буревестник,
Ликует, любя,
И торжествует...¹

Это уже было то новое, что после него должен был совершить Егише Чаренц, и не случайно именно из рук Терьяна принял Чаренц вечно пылающий факел нашей поэзии.

Егише Чаренц...

Это золотой мост, соединяющий нашу классическую поэзию с поэзией возрожденной Армении, поэт, вобравший в себя все лучшее из армянской многовековой поэзии, создавший в то же время лучшее в нашей новой поэзии.

Чаренц не был просто поэтом, его поэзия была главной магистралью нашей поэзии, и книги его, по названию одной из них, — ее Книгой пути... Подобно новому Буало, он оставил нам свою «*Arg Poetica*», открыв путь для идущих вслед за ним поэтов, дав им в руки золотой ключ ко многим и многим темам будущего...

Творчество Чаренца — это биография нашей страны, начиная от порожденной геноцидом и войной «Дантовой легенды», буреподобных «Неистовых толп» и «Сома», до гениального романа-поэмы «Страна Наири», от «Всепоэмы», от знаменующего начало советской классической поэзии «Эпического рассвета» до его последней «Книги пути», в которой выкристаллизовалась вся суть истории нашего народа.

Чаренц был великим прозорливцем... Кто бы еще мог в 1918 году, воспевая борющиеся за революцию нагие и разутые «неистовые толпы», как бы провозвестить радиосигналы сегодняшних ракет и космических кораблей:

В их мышцах мощь сырой земли, она дала им столько сил,
Им стоит только пожелать — изменятся пути светил,
Им стоит только пожелать — и столько совершат чудес:
Взметнут планеты в небеса иль солнце уберут с небес!²

¹ Перевод Н. Чуковского.

² Перевод М. Павловой.

Боец и гражданин, Чаренц не только восторженно воспевал все лучшее, но и яростно боролся с дурным, вероломным, подлым, фальшивым — будь то «красный филистер» или политический демагог...

Честной и безжалостной была его борьба во имя ядра — против шелухи, во имя идеи — против шаблона, во имя смысла — против стершихся слов, во имя написанных собственной кровью строк — против дешевых чернил...

Чаренц, великий поэт революции, оставил нам священный завет честности и принципиальности поэта и гражданина не только своим творчеством, но и деятельностью, не только словом, но и делом, не только жизнью, но и своей смертью...

Всего сорок лет было Чаренцу, великому поэту народа и революции, когда враги народа и революции ускорили наступление его бессмертия — превратили его в бронзу и мрамор...

«Ушел, сравнился с тысячелетними мертвецами», — со скорбью говорят о покойном его родные и близкие.

«Ушел, сравнился с тысячелетними бессмертными», — можно с гордостью сказать о Чаренце, который встал теперь рядом с Нарекаци и Кучаком, Туманяном и Терьяном...

Сравнился? Нет. Как здесь, так и там, среди бессмертных, он занял свое собственное, только ему принадлежащее место.

Возрожденная Армения не могла не сказать миру свое новое слово, не создать несущих это слово миру трубадуров — Терьяна и Чаренца.

Это новое слово сказал и Аветик Исаакян — откликнувшись на зов своей возрожденной земли, он в 1936 году вернулся на родину и к прежним, замечательным творениям прибавил такие вещи, как «Мгер из Сасуна», «Бранный клич» и «Бингёл».

Таким новым словом талантливейшего Дереника Демирчяна явился его исторический роман «Вардананк». Увы, смерть помешала замечательному мастеру осуществить свой замысел — воссоздать через шестнадцать веков образ Месропа Маштоца.

Свое новое слово сказал и Стефан Зорьян, впервые изобразив армянскую девушку-революционерку, показав «Белый город» возрожденной Армении, создав исторические романы «Царь Пап» и «Армянская крепость».

Это новое слово сказал Аксел Бакунц, силой своего волшебного дарования ожививший затерянное в горах «Темное ущелье». Ему не привелось закончить свой роман «Хачатур Абовян», один из лучших в советской армянской литературе.

Такое новое слово сказал и Наири Зарьян своим страстным «Голосом родины» и бессмертным «Ара Прекрасным»; певец природы и материнской любви Ованес Шираз выразил это своим «Библейским»; мой безвременно скончавшийся друг и собрат Паруйр Севак — своей «Несмолкаемой колокольной» и самобытными стихами. Наконец, это новое слово говорят сейчас все истинные поэты, чей голос, голос новой Армении, давно уже вышел за ее пределы...

Многие из их стихов, слившись воедино с мелодией, превращаются в песни и разносятся по всему миру.

Послушаем одну из этих песен, которая рассказывает о самой песне.



ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

В старой песне поется: «Боже, храни народ армянский...» Не царя, не князя, а народ — тружеников, всех людей...

● —————

Найдется ли армянин, не певший или не слышавший «Крунк» — «Журавля»? Это песня изгнанника, песня тоски по родине:

Крунк! Куда летишь? Крик твой — слов сильней!
Крунк! Из стран родных нет ли хоть вестей?
Стой! Домчишься вмиг до семьи своей.
Крунк! Из стран родных нет ли хоть вестей?

Свой покинул сад я в родной стране,
Чуть вздохну, душа вся горит в огне.
Крунк! Постой! Твой крик нежит сердце мне.
Крунк! Из стран родных нет ли хоть вестей?

.....

Медленна годов в мире череда.
Да услышит бог, растворит врата!
Жизнь хариба¹ — грусть, взор в слезах всегда.
Крунк! Из стран родных нет ли хоть вестей?

.....

Праздников мне нет, будни — день за днем!
Вертелом пронзен, я сожжен огнем.
Но не пламя жжет: память о былом!
Крунк! Из стран родных нет ли хоть вестей?

.....

Не ответив, ты улетел в наш край...
Крунк! Из этих мест скройся, улетай!²

В этой песне как бы сгустилась и выкристаллизовалась историческая судьба армянского народа. Из века в век так часто пели ее в Армении, что она стала как бы неофициальным гимном страны, гимном тоски и печали. Терзаемый войнами и неизбывными бедствиями, народ

¹ Х а р и б — живущий на чужбине, изгнанник.

² Перевод В. Брюсова.

покидал родные края и, как журавль, устремлялся к чужим берегам. Подобно журавлю, перелетали к чужим берегам, скитались по миру и его песня, его искусство.

Огню и мечу были преданы эта песня и это искусство на родной земле, невзгоды и лишения претерпели на дорогах изгнания, но выстояли, сохранились и дошли до наших дней.

Дошли ли? Да, конечно, хотя то, что дошло до нас, — лишь горстка былых несметных сокровищ искусства, лишь несколько украшенных резьбой камней разрушенного храма, несколько оброненных перьев бессмертной сказочной жар-птицы в уцелевших древних миниатюрах, несколько безгласных нот-хазов отзвучавших некогда волшебных песнопений, несколько песен, которые, передавая из уст в уста, донесли до нас простой люд и гусаны.

Кто знает, сколько в Армении языческих храмов, подобных Гарни, были преданы огню и мечу, разрушены до основания в пору введения христианства!

Кто знает, сколько творений, подобных «Рождению Ваагна» и языческим легендам об Ара Прекрасном, Тигране, Арташесе и Артавазде, испепелены на кострах христианского отлучения, чтобы дотянуться до нас лишь дымом от пышного празднества Навасарда¹!

И кто сегодня вернет нам дымящийся очаг древности, первое утро Навасарда, медленную воловью поступь, стремительный бег лани, медный звук трубы и звон бубна, оглашавшие языческие времена?!

Как поется в старинном гимне «Воспоминание царя Арташеса»:

Ах, кто возвратит мне дым очага
И утро твое, Навасард,
Серны бег и оленя полет...
Снова бить в барабан и в трубы трубить,
Как прилично царям!²

Кому ведомо, сколько казнено «многогрешных гусанов», сколько разбито лир и лютен, сколько «лицедеев» пронзено мечом, сколько песен задушено в горле, сколько заточено «греховодных» танцовщиц — таких, как известная армянская танцовщица II века до нашей эры Назеник, о которой до нас дошло лишь то, что «была она очень красива, и руки ее пели».

¹ Н а в а с а р д — первый месяц древнего армянского календаря.

² Перевод В. Брюсова.

Где ныне возженные по горам и долам армянским жертвенники, разрушенные руками первых христианских фанатиков; где украшавшие храмы и города статуи языческих богов — из них осталась лишь одна, богиня Анаит, да и то в Британском музее... Где гимны, легенды, пьесы, где фрески на стенах языческих храмов, а потом и христианских церквей, уничтоженные, стертые, сведенные на нет рукою иконоборцев и поборников «истинной» веры...

А песни, мелодии? Даже если жили они подспудно, распространялись тайно — легко ли песне, передаваемой из уст в уста, пробиться сквозь добрых две-три тысячи лет и не затеряться, не исчезнуть или избежать искажения... Если даже сохранились записанные впоследствии слова, то как было дойти до нас мелодии, напеву...

И как доныне никто не может отомкнуть уста одной превратившейся в камень от времени и невзгод рукописи Матенадарана, так и, увы, не смог никто — даже гениальный композитор Комитас, отверзший все «девственные истоки» нашей мелодики, — расшифровать «хазы», армянские ноты, те безгласные знаки и черточки, которые проставлены в рукописях над строками древних народных песен и церковных песнопений.

Они подобны докатившимся до нас волнам безбрежного моря музыки, но волны эти недвижны и немые, и мы, увы, возможно, никогда не услышим их плеска...

Мыслимо ли представить, каково было сущее, если часть дошедших до нас сокровищ являет собой такое богатство?

До нас ведь дошло все же многое...

Дошли достоверные следы высокой цивилизации, существовавшей в Мохраблуре и Мецаморе, остатки крепости Эребуни и города-крепости Кармир Блур (Красный холм).

Развалины храма Гарни (ныне восстановленного) дошли до нас и там же единственная цветная мозаика; чудом уцелевшие бронзовая голова богини Анаит и барельефы храма Ахтамар; найденная в Гарни свирель из слоновой кости более чем двухтысячелетней давности и каменная театральная маска из Арташата.

Дошли мистерии — эти подлинно театральные «действия», прикрытые флером религиозного содержания; дошли изображения актеров, танцовщиц и даже образцы музыкальных инструментов древности.

До нас дошла — это поистине прекрасно! — великолепная армянская миниатюра. Еще до итальянского Возрождения и Джотто ей свойственны были глубина и перспектива.

И чем гуще был мрак средневековья, тем щедрее и роскошнее были краски нашей миниатюры. Бродя по горам и долам армянским, такие мастера, как искусный Саргис Пицак, талантливейший Церун Цахког, гениальный Торос Рослин или какой-нибудь безвестный волшебный живописец из Новой Джуги собирали по крупицам, впитывали в себя синеву армянского неба и зелень полей, разлитые вокруг кошениль¹ и чистое золото и придавали им своей кистью бессмертное дыхание жизни так, что даже сегодня при взгляде на эти миниатюры кажется, будто краски положены лишь вчера — до того они яркие, свежи и будто даже влажны.

Если многие армянские народные напевы и церковные песнопения безвозвратно «онемели», то до нас все же дошли мелодии некоторых песен из эпоса «Сасунские удалцы», дошло творение армянского католикоса VII века — песня «Преданные любви Христовой», чудесная песня средневекового поэта Багдасара Дпира «Проснись, моя нежная», облеченные в форму обедни, подлинно светские средневековые песни, гениальные литургии, дошли песни Нагаша Овнатана и многие мелодии Саят-Нова.

И, наконец, до нас дошло (и не могло не дойти) наше самое бесценное сокровище — весеннее половодье армянских народных песен.

Гениальный Комитас очистил его от наносного ила и мути, превратил в бессмертный чистый источник, из которого ныне щедро черпают армянские и многие другие композиторы.

О чем они, армянские песни?

Это колыбельные и трудовые песни, песни любви и песни изгнания, элегии и песни-шутки.

Песен изгнанника, естественно, очень много, но преобладают песни о мире. Народ, измученный бесконечными войнами, мечтал о мире и свободе, выражая в песнях свои сокровенные думы.

«Дай миру мир, а народу — свободу», — поется в одной из древнейших песен. Ее поют и до сих пор, и слуша-

¹ Кошениль — ярко-красная краска органического происхождения.

телю может показаться, что это не песня V века, а сегодняшнее произведение на тему борьбы за мир.

Преобладают песни о мире, но сущность и основное содержание многих наших песен одно — мольба о сохранении жизни народа.

«Боже, храни народ армянский», — поется в одной из старых песен. Не царя, не князя и даже не героя, а народ — тружеников, всех людей.

В армянских горах бил живой ключ песни, сверкали красками миниатюры в армянских рукописях, а сами служители искусств, испив от этого источника и вобрав в себя эти краски, сирые и гонимые, подобно своему народу, блистали талантом на чужих театральных подмостках и художественных выставках, создавали чужие книги и украшали статуями чужие города.

Великий трагик, гениальный исполнитель шекспировских ролей Петрос Адамян со своим неповторимым даром подвизался на чужих берегах, воплощая в своем творчестве нашу двухтысячелетнюю театральную культуру.

Композитор Тигран Чухаджян на константинопольской сцене поставил свою оперу «Карине», заложив основы турецкого музыкального театра.

Ваграм Папазян — Отелло, — грезя об армянской Дездемоне, в ярости душил... Дездемон иноземных.

Сирануйш играла по-армянски Гамлета перед изумленными взорами арабов-феллахов и умерла в одной из египетских больниц, а скульптор Тер-Марукян в Париже лепил статую пропавшего без вести канакерца Хачатур Абовяна.

Судьба же тех деятелей культуры, которые не покинули родину, была горька и порой трагична.

В течение одной лишь ночи — 24 апреля 1915 года — были арестованы и умерщвлены почти все крупные общественные деятели, ученые, писатели, художники, музыканты и актеры Западной Армении, а гениальный композитор Комитас сошел с ума от ужасов резни в пути, во время изгнания...

Длиннее дум был унылый путь,
Длиннее пути — унылые думы.
Траурный шаг.
Где отдохнуть?
Отдых у них угрюмый.
Брела по дороге толпа армян,
Мертвой казалась природа.

Монах, предсмертной тоской обуян,
 Пел о скорби народа.
 Пел он и думал:
 «Века грабежей,
 Столетия резни, нашествий, скитаний...
 Но не доходит до божьих ушей
 Стон причитаний.
 Если ты с неба глядишь, господь,
 Сочти: миллионы убиты!
 Не так страдает от жажды плоть,
 Как страждет дух от обиды».
 Пел он и думал:
 «Камень — и тот,
 Совестью будь,
 почернел бы в позоре.
 Мутной слезою Аракс течет,
 Масис поседел от горя.
 А бог не зрит: перед ним стена.
 Но что же бывает яснее? —
 Древняя умирает страна,
 Остатки народа рыдают над нею».
 Пел он...
 Но горе его не клобук —
 Его не швырнешь на ветер.
 Может ли вынести столько мук
 Самый холодный разум на свете?
 Вокруг так дико,
 так варварски дико,
 Такая средневековая тьма,
 Что мозгу стало больно до крика:
 «Мир сошел с ума!»
 ...В турецкой долине пепел и прах,
 Аскер доложил с усмешкою слабой:
 «Группа расстреляна. Какой-то монах
 Сошел с ума, не дойдя до этапа». ¹

Казалось, умолкла навсегда многовековая песня Армении, и не осталось вокруг никаких звуков, кроме сухого треска пожаров, свиста ветра, воплей ужаса и глухого напева псалмов лишившегося рассудка Комитаса...

Но мыслимо ли, чтобы чудовище одержало победу над человеком, а прошлое — над будущим? «Народ, который не хочет умирать, никогда не умрет! Та малая толика крови, что осталась у Армении, бесценна — из нее завтра возродится новое героическое поколение», — сразу же после армянской резни писал Анатолий Франс, пророчествуя о сегодняшней возрожденной Армении.

Об этой возрожденной Армении спустя годы написал один из выдающихся художников нашего времени Рокуэлл Кент: «Невольно поражаешься, видя в этом малень-

¹ Стихотворение автора. Перевод И. Сельвинского.

ком уголке земного шара такие памятники и таких людей, которые могут быть гордостью и украшением всего мира».

Многим театроведам мира известно, что еще две тысячи лет тому назад в армянской столице Арташате существовал театр, что там ставились пьесы греческих и армянских авторов и что во время одного из представлений на сцену была вынесена по ходу действия отрубленная голова римского полководца Марка Красса.

Однако пусть им будет известно и то, что 2000 лет тому назад театр у нас был, а вот в 1920 году...

Но вернемся пока в Арташат, в те стародавние времена, когда еще не родился даже герой представляемой уже двадцать веков на сцене мира трагедии христианства Иисус Христос...

Итак, в Арташатском театре две тысячи лет тому назад вынесли на сцену отрубленную голову прославленного римского полководца Марка Красса. Да, да, именно того самого Красса, надменного римского претора, а потом и триумвира, который подавил восстание Спартака и распял сотни отважных гладиаторов по обеим сторонам Аппиевой дороги. По свидетельству современников, он распял бы и больше, если бы хватило крестов...

В то время, о котором идет речь, римские легионы сражались в Месопотамии с объединенными войсками парфян и армян. Армянский царь Артавазд II, драматург и большой поклонник эллинистической культуры и театра, устроил в столице Армении Арташате торжество в честь парфянского царя Вородеса I и его сына. Желая укрепить союз с парфянами, он отдавал свою сестру Тигрануи за сына Вородеса — Бакура.

В этот день на сцене арташатского театра шла драма Эврипида «Вакханки», где главную роль исполнял знаменитый греческий трагик Ясон. По роли Ясон должен был выйти на сцену с отрубленной головой растерзанного вакханками Пентеоса на щите и произнести свой монолог: «Возвращаясь домой, мы несем с гор счастливую добычу — убитого оленя...»

Только Ясон собирался выйти на сцену, как в театр ворвался гонец от полководца Сурена. Он привез с поля боя близ города Карры весть о победе и отрубленную голову Красса... Ловкий Ясон выхватил у вестника голову Красса, положил на щит и выбежал на сцену. Под восторженные возгласы народа и двух царей произнес он

свой монолог — стирая грани между действительностью и пьесой, придавая ей новый смысл.

Впрочем, имея в виду значение одержанной Востоком победы над Римом под Каррами, можно предположить, что царь Артавазд, будучи драматургом, в этот день выступил и в роли режиссера: зная о победе, он умышленно выбрал для представления драму Эврипида и заранее обыграл с Ясоном мизансцену с головой Красса...

Как бы то ни было, надменный Красс, посылавший гладиатора Спартака в цирк на растерзание, пожал то, что посеял, — заменил собой театральную бутафорию на арташатской сцене.

Представление в Арташате, прозванном римлянами «Карфагеном Армении», — первый зафиксированный историей спектакль в Армении. По свидетельству Плутарха, он состоялся 7 или 8 мая 53 года до нашей эры.

Однако театр в Армении существовал и до этого, при царе Тигране Великом, который, как сообщает тот же Плутарх, пригласил в свою столицу Тигранакерт многих греческих актеров для открытия нового театра. Именно этих актеров впоследствии использовал Лукулл в торжествах по случаю захвата Тигранакерта.

Эллинистический театр в Армении существовал около пяти веков, до III—IV века нашей эры. Впоследствии, с конца III века, воинствующее христианство искоренило языческое искусство и особенно театр, который в средневековой Армении сохранил существование лишь в виде мистерий.

О средневековом театре Армении до нас дошло очень мало сведений. Но известно о проклятиях и анафемах театру со стороны церкви, считавшей его «язычеством», «скверной», «порождением антихриста».

В этих условиях историки, естественно, не могли писать о крестьянском, гусанском театре, который существовал в форме опер-сказок, народных кукольных представлений и т. п.

До последнего времени (я сам видел это в Ереване юношей) бродячие ашуги и гусаны, в одиночку или группами, ставили такие оперы-сказки на площадях и базарах наших городов и сел.

После долгого перерыва наша история вновь заговорила о театре начиная с XVII—XVIII веков — о театре профессиональном, об армянских театральных представлениях в индийской армянской колонии, во Львове, Ере-

ване, Венеции, а потом и в Тбилиси, Баку, Исфагане, Новой Нахичевани, Астрахани и других городах.

Французский путешественник Шарден рассказывает в своих путевых заметках, что в 1664 году в Ереване он присутствовал на театральном представлении.

Следующий известный нам спектакль — поставленная учениками армянской школы во Львове в 1668 году пьеса «Мученичество святой девы Рипсиме». Впоследствии сообщений о театральных постановках становится все больше и больше.

В XVIII—XIX веках уже существовали выдающиеся актеры и известные армянские театральные труппы, которые со своим отлично подобранным национальным и классическим репертуаром выступали в Армении и других городах — в Москве, Петербурге, Одессе, Ростове, Тифлисе, Баку, в Венеции, Львове, Калькутте, Исфагане, Париже, Женеве...

Гастроли таких выдающихся артистов, как Мпакян, Петрос Адамян, Сирануйш, Ваграм Папазян, Ованес Абелян, имели шумный успех не только в Армении, но и в России, во Франции, Италии, Америке, в Турции и Персии.

Интересно отметить, что благодаря гастролирующим актерам и труппам Шекспир так давно и прочно вошел в нашу культуру и народ так сроднился с ним, что многие крестьяне наивно считали «Гамлет» и «Отелло» армянскими пьесами (несомненно, этому весьма способствовали и блестящие переводы Ованеса Масеяна, прекрасно звучащие по-армянски)... До сих пор еще в самых глухих уголках Армении можно встретить огромное количество маленьких, черноглазых и сопливых Гамлетов и Лаэртов, не говоря уже о бесчисленных ревуших Офелиях и Дездемонах...

Не знаю, во многих ли странах существуют особые Шекспировские центры и библиотеки, но само собой разумеется, что возможно это лишь там, где ощущается глубокое родство с Шекспиром, где он почитается — своим...

Весьма характерен для нашего народа-шекспиролов следующий эпизод. В 1944 году в Ереване был организован Шекспировский фестиваль и конгресс. Участники его решили съездить также в Эчмиадзин и Ошакан, а в годы войны для этого требовался пропуск... В пути машины остановили:

— Кто такие? Предъявите пропуск,— обратился к ним молодой пограничник-армянин.

— Мы участники и гости Шекспировского фестиваля,— отвечает кто-то, кажется, театровед Юзовский.

— Вот как... Проезжайте,— разрешает пограничник, принимая уже одно имя Шекспира как пропуск...

...Образ Гамлета, созданный Петросом Адамяном, до сих пор занимает умы многих армянских и русских театроведов. Армянский артист Мнакян по праву считается основоположником театра в Турции, а трагик Ваграм Папазян, одновременно блестящий беллетрист, был и остается одним из лучших актеров «театра Шекспира», тонким шекспироведом.

Центры армянской духовной культуры, театра, местожительства интеллигенции, как известно, в прошлом находились преимущественно за пределами Армении — в Константинополе и Тбилиси, Баку и Новой Нахичевани, Венеции и Каире. Именно там большей частью работали и оттуда направлялись на гастроли армянские театральные труппы. В Тбилиси, Баку, Константинополе жили и творили крупнейшие армянские драматурги — Габриэл Сундукян, Акоп Паронян, Ширванзаде, Левон Шант.

На нынешней территории Армении театр новых времен начал функционировать более или менее регулярно в Ереване — с 1828 года, когда, сразу после освобождения, во дворце Сардара была осуществлена первая постановка пьесы Грибоедова «Горе от ума».

Вторым старейшим театром в Армении стал театр в Александрополе (Ленинакан), который в 1965 году торжественно отметил столетие.

Однако какими бы старыми и богатыми ни были история и традиции армянского театра, театроведы будущего, несомненно, будут считать золотой вехой 1922 год, когда в Ереване был основан первый государственный театр — театр, который начал свою жизнь с постановки пьесы «Пепо» Сундукяна и который по праву и с гордостью носит его имя.

Вскоре рядом с ним появился передвижной театр Амо Харазяна, затем рабочий театр, опера, театр юного зрителя, русский театр, кукольный театр, молодежный драматический театр и более десятка районных и народных театров, которые действуют здесь, на своей земле, для своего народа.

В этих театрах расцвело творчество таких замечатель-

ных артистов и режиссеров, как Левон Калантар и Аршак Бурджальян, Ованес Абелян и Ваграм Папазян, Грачья Нерсисян и Арус Восканян, Микаэл Манвелян и Авет Аветисян, Вагарш Вагаршян и Армен Гулакян, Асмик и Гурген Джанибекян, Ольга Гулазян и Вавик Варданян, Вардан Аджемьян и Амбарцум Хачанян, Армен Арменян и Цолак Америкян, выдающихся певцов Шара Тальяна, Айкануш Даниелян, Гоар Гаспарян, Татевик Сазандарян, Павла Лисициана, великолепного мастера художественного слова Сурена Кочаряна.

Впервые в полную мощь прозвучали с армянской сцены, раскрыли все свое очарование оперы и балеты — «Ануш» и «Давид-Бек» Армена Тиграняна, «Алмаст» и «Хандут» Александра Спендиаряна, «Аршак Второй» Тиграна Чухаджяна, «Гаянэ» и «Спартак» Арама Хачатуряна.

Симфонические оркестры филармонии, оперного театра, радио, многочисленные музыкальные ансамбли и солисты дали возможность армянским любителям музыки хорошо узнать Комитаса и Кара-Мурзу, Макара Екмаляна и Никогайоса Тиграняна, Романоса Меликяна, Аро Степаняна, всех тех талантливых композиторов среднего и младшего поколения, благодаря которым «школа армянской музыки» завоевала известность далеко за пределами республики.

Многие полотна армянских художников, разбросанные до 1920 года по разным городам или осевшие в частных коллекциях, впервые собраны воедино на родной земле.

Народ наш получил возможность увидеть сокровища армянской живописи и скульптуры — начиная от средневековых фресок, хачкаров, миниатюр до талантливых и самобытных работ современных художников и скульпторов.

Армения, даже в союзном масштабе, богата картинными галереями. Рядом с известной и богатой фондами Государственной картинной галереей выросли галерея современного искусства и Детская картинная галерея, действует выставочный зал Союза художников, дома-музеи Мартироса Сарьяна, Акопа Коджояна, Ара Саркисяна, Арутюна Галенца, несколько передвижных и районных выставок.

В Армении можно увидеть многие яркие работы русских художников и классиков мирового искусства, а так-

же работы современных зарубежных армянских художников

В Ереванской государственной картинной галерее хранятся оригиналы Тинторетто, Басано, Донателло, Рубенса, Ван-Дейка, Иорданса, Курбе, Фрагонара, Греза.

Из русских художников XIX века там представлены оригиналами Брюллов, Верещагин, Маковский, Крамской, Суриков, Серов, Репин, Коровин, из художников XX века — Петров-Водкин, Нестеров, Кончаловский, Фальк, Машковский, Сомов, Кандинский, Шагал и многие другие.

Наиболее богато, естественно, собрание армянской живописи, по нему можно изучить всю историю армянской живописи, а также зарубежное армянское искусство от работ Эдгара Шайна, Акопа Гюрджяна, Гарзу, Оракяна до полотен сегодняшних художников.

Сюрпризы могут ждать посетителя даже в районных выставочных залах. Кто бы мог подумать, что посмотреть полотна современного американского художника Рокуэлла Кента можно в Дилижане, а известного итальянского живописца армянского происхождения Григора Шилдяна — в Эчмиадзине...

Есть имена и личности, которые, каждый в стиле своего времени, выражают лучшее и наиболее характерное в духовной культуре своего народа, то, что можно с гордостью представить всему миру.

В армянской живописи это — Торос Рослин, Акоп Овнатанян и Мартирос Сарьян.

Творения гениального художника XIII века Рослина — вершина нашей средневековой миниатюры, ее наиболее яркое выражение. Он был не только великий искусник затейливой росписи, но также и великолепный портретист, который многими особенностями своего творчества проторил путь европейскому Возрождению.

Родословное древо Акопа Овнатаняна в искусстве начинается с видного поэта и живописца Нагаша Овнатана, который вместе со своими сыновьями сначала «перенес» миниатюры из рукописей на стены Эчмиадзинского собора, а затем и создал первые армянские портреты — лики святых.

Самым блестящим представителем этого рода был, несомненно, Акоп Овнатанян, который явился как бы золотым мостом между нашей средневековой миниатюрой и искусством нового времени, заложил основы армянской

раз армянского общества XIX века, обессмертив не только внутренний мир и быт представителей различных его слоев, но и себя — в таких несравненных полотнах, как портреты Теумяна, Надирына и католикоса Нерсеса Аш-таракеци...

Что до Мартироса Сарьяна, то он был первым художником нового времени, который прозвучал на весь мир, твердо и прочно вписав Армению во всемирную карту искусства...

Солнце Сарьяна, которое почти век сияло в искусстве Армении, светило и грело нас, но... не ослепляло, и в его ярких лучах мы яснее увидели и оценили другие, в том числе принципиально иные традиции нашей богатой и многообразной живописи — гениальную и многоопытную наивность Овнатаняна, пропитанные духом армянской истории картины Вардгеса Суреняна, марины Айвазовского и пейзажи Башинджагяна, портреты Степана Агаджаняна и красочные грезы Егише Тадевосяна, миниатюры и иллюстрации Акопа Коджояна, ставшие новой вершиной национального искусства, мастерские полотна Седрака Аракеляна и Бажбеука-Меликяна.

Не вчера ли великолепный скульптор Ерванд Кочар сказочной волшебной палочкой своего таланта вызвал к жизни Давида Сасунци: оседлав своего верного коня, одним прыжком перескочил Давид с высоких Сасунских гор IX века в наши дни и опустился на постамент у врат Еревана. От имени нашего народа он первым встречает гостей.

А Акоп Коджоян, замечательный мастер живописи и графики, унаследовавший все лучшее из нашей средневековой миниатюры и придавший ему новый смысл и дыхание...

Набат возрождения Армении вернул на отчизну из дальних далей не только деятелей искусств, но и многие из созданных ими сокровищ.

В 1936 году на родину был возвращен прах композитора Комитаса. Обезумев от ужасов армянской резни, Комитас целых двадцать лет промучился в психиатрических больницах сначала Константинополя, а затем Парижа. Лишь после смерти он удостоился свидания со своей возрожденной родиной. Прах его был предан армянской земле — как семя, проросшее но ныне зеленым лесом армянской музыки.

Вместе с изгнанниками (и подобная им) вернулась на

родину партитура оперы «Аршак Второй» Тиграна Чухаджяна — более ста лет скиталась она по пыльным архивам в мечтах об армянской оперной сцене. Вернулись на родину вечно живые, тончайшие рисунки Эдгара Шаина и оригинальные скульптуры Акопа Гюрджяна, обретшие наконец твердый пьедестал — родную землю.

Вернулись на родину и возвращаются все время рукописи и миниатюры, старопечатные книги и архивы, полотна художников и скульптуры...

Среди других картин вернулись и индийские фрески жившего на чужбине армянского живописца Саргиса Хачатряна.

Художник этот, сын народа, потерявшего после геноцида родную землю, в не столь уж молодом возрасте нашел в себе силы совершить долгое и утомительное путешествие в Индию, чтобы спасти шедевры искусства другого народа от гибели, сделать их достоянием мира...

С великими трудностями, карабкаясь по скалам, он проникал в пещерные храмы Индии и долгие месяцы, довольствуясь самой скудной пищей, срисовывал уничтожаемые сыростью и выветриванием фрески с их стен.

Иногда ему приходилось нанимать маленьких индусов, которые при помощи системы зеркал ловили солнечные лучи, направляя их в глубь холодных и темных каменных мешков, чтобы можно было различить поблекшие краски на стенах...

По сей день некоторые из этих храмов труднодоступны не только для туристов, но и для самих индусов, и многие из них знакомятся со своим искусством по копиям Саргиса Хачатряна...

Согласно последней воле художника, картины эти перевезены в Ереван, и теперь для изучения фресок некоторых древних индийских храмов необходимо побывать в столице Армении.

Удивительный народ... Удивительная судьба...

Их так много, вернувшихся на родину картин и скульптур, книг и нот, архивов и документов, что сейчас почти в каждом музее и картинной галерее есть специальные залы для этих «репатриантов».

По зову родины возвращаются с чужих берегов многие отличные специалисты, врачи, ученые, актеры, писатели, певцы, художники.

Невозможно перечислить их всех, однако некоторых

нельзя не упомянуть: это подлинная жемчужина в венце нашей песни Гоар Гаспарян¹, один из оригинальнейших и современнейших писателей нашего века Костан Зарьян, выковавший своим дирижерским «молотком» нашу капеллу Ованес Чекиджян², чувствующий себя в космосе по-хозяйски ученый Григор Гюрзаян, оригинальные художники Арутюн Галенц и Акоп Акопян, певцы Ованес Бадалян и Мигран Еркат, актриса Вардуи Вардересян, архитектор Армен Зарьян, известный кардиолог Завен Долабчян и другие.

А сколько еще одаренных писателей и художников, ученых и крупных специалистов разных отраслей живут вдали от родины, мечтая о ней и украшая своими талантами чужую землю.

Несколько лет назад в Ереване давала концерты приехавшая из Парижа талантливая эстрадная певица Роза Армен. Эта молодая красивая армянка, с трудом подбирая армянские слова, обратилась перед концертом к залу:

— Отец мой — русский армянин, мать — турецкая армянка, сама я — армянка французская...

Три разновидности армян в одной семье, под одной (да и то неродной) кровлей, под чужим небом... Вот отголоски трагедии 1915 года, которые ощутимы до сих пор.

Не по этой ли причине не на своей земле жили или живут и творят такие писатели, как Уильям Сароян, Майкл Арлен, Анри Труайя и Артур Адамов, Ваге Кача и Левон Сурмелян, один из оригинальнейших композиторов современности Алан Ованес, всемирно известный кинорежиссер, постановщик первых звуковых и цветных фильмов в Голливуде Рубен Мамулян, примадонны оперного театра «Метрополитен» Лили Чукасян и Лусин Амара, поэт, композитор и певец, «новый Саят-Нова» — Шарль Азнавур, эстрадные певицы Сильви Вардан и певец Марк Арян, известный художник, «летописец XX века» Гарзу, карикатурист Сарухан, фотограф Овсеп Карш, поэты Рубен Мелик, Ваге Годель и Алисия Киракосян...

Я уже не говорю о таких крупных писателях, творивших в условиях чужбины на родном, армянском языке, как Амастех и Шаан Шахнур, которые сделали бы честь любой большой литературе.

Чтобы представить себе всю тяжесть положения зарубежных армянских писателей, достаточно вспомнить о

¹ Го ар — букв.: жемчужина.

² Чекидж — букв.: молоток (диалектн.).

недавнем объявлении писателя М. в одной из зарубежных армянских газет. Не продав в течение долгих лет даже небольшой доли тиража своей хорошей книги, издание которой было связано с большими трудностями и расходами, писатель оповещает о том, что готов бесплатно выслать свои книги по первому же требованию, лишь бы они не портились от сырости в подвале и дошли, наконец, до читателя...

Характерно, что в какой бы стране и на каком бы языке ни творили армяне, произведения их, близкие и понятные другим народам, выражают историческую судьбу нашего народа, его надежду и веру.

«Хоть пишу я на английском и по рождению американец, я считаю себя армянским писателем. Слова, которые я употребляю,— английские; среда, которую я описываю,— Америка, но тот дух, который заставляет меня писать,— армянский. Следовательно, я армянский писатель»,— заявляет в предисловии к своей книге один из крупнейших писателей современности Уильям Сароян.

Более того, искренне сожалея, что он оторван от родного языка и литературы, Сароян не упускает случая выразить одобрение тем, кто своим творчеством способствует их сохранению. На титульном листе одной из книг Сарояна напечатано посвящение: «Егише Чаренцу, Вагану Тотовенцу и Гургену Маари — поэтам, прозаикам и драматургам Армении, их детям и внукам»... Во время нашей встречи во Фрезно он от руки приписал на подаренном мне экземпляре книги: «И приехавшему из Аштарак во Фрезно поэту Геворгу Эмину — с восхищением к писателю, который вместе со своими собратьями по перу сохраняет армянский язык живым, молодым, энергичным, гордым, красивым и правдивым.

Искренне — Уильям Сароян.

Фрезно, пятница, 24 декабря 1971 г.»

У всех творящих на чужбине армян ощущается это кровное, «армянское»: в пронизанных мягкой грустью, но светлых и добрых рассказах Сарояна; в знаменитых картинах из цикла «Апокалипсис» художника Гарзу, несущих неизгладимую печать геноцида 1915 года; в тревожно-печальных «сиротских» песнях Шарля Азнавура; в созвучиях «Священной горы» Алана Ованеса и во многом другом...

Вобрав в себя все лучшее из духовной культуры мно-

гих народов и стран, начиная от Урарту, Персии и Эллады до культуры человечества XX века, наш малочисленный, но богатый талантами народ в свою очередь щедро отдает миру свое — от римских философов армянского происхождения до византийских кесарей и полководцев, от благородного «армянского яблока», абрикоса, до знаменитой кошенили, от чуда купола Айя-Софии до зачатков готики, от непокорного духа тондракийцев до голландских роз, от мудрых, добрых книг Сарояна до сочной музыки Арама Хачатуряна.

«Советской Италией» назвал Армению Ромен Роллан, восхищенный музыкальной одаренностью нашего народа, подлинной любовью к музыке и истинным пониманием ее.

Но эта «Италия», из недр которой веками выходили талантливые музыканты, гусаны и певцы, до последнего времени не имела представления о художественном образовании, не имела ни одной художественной или музыкальной школы, студии, училища. Может, кому-то это покажется не столь существенным. Действительно, куда как легко не придавать этому большого значения сегодня, когда в Армении есть около сорока музыкальных, хореографических и художественных школ и училищ, прекрасная консерватория и Театрально-художественный институт, где обучаются более восьми тысяч одаренных подростков и юношей.

Но невольно приходит мысль о том, что произошло бы, если б и сегодня в Армении, как века и годы назад, не было б этих школ и училищ. Кем стал бы, к примеру, мой друг и ровесник талантливый композитор Арно Бабаджанян, родился он лет сто назад в глухом армянском селе или полудеревне Ереване — пусть с той же мерой таланта...

Какое множество талантливых людей становилось в лучшем случае искусными ашугами и сазандарами¹, с подлинным вдохновением игравшими на свадьбах и поминках на таре или кямани, получая большой или меньший куш.

О многих ли мы знаем, много ли имен дошло до нас...

Подобная судьба могла постичь в прошлом и Хачатуряна — того Арама Хачатуряна, который превратил медлительную телегу армянской мелодии в реактивный са-

¹ С а з а н д а р — музыкант, играющий на свадьбах, похоронах, народных праздниках.

молет XX века, придал тихому потоку народной песни ураганный натиск и мощь океана симфонии, волны которого захлестнули ныне весь мир.

И если бы даже сам он сумел получить образование и добиться признания в какой-либо европейской стране — как бы армянский народ познакомился с его симфониями, с блестящими концертами для скрипки, виолончели, фортепиано, не будь в Армении своих симфонических оркестров, отвечающего самому утонченному вкусу камерного ансамбля, великолепного квартета имени Комитаса, множества других музыкальных ансамблей и солистов, о которых с восхищением отзываются многие выдающиеся музыканты и дирижеры современности...

Кто бы вернул народу позаимствованные у него же, но обогащенные высокой профессиональной культурой песни и танцы, не будь сегодня замечательных ансамблей танца, песни и пляски, народных музыкальных инструментов и множества других коллективов и отдельных исполнителей, гастролей которых с таким нетерпением ожидают армяне во всех уголках мира...

Если можно назвать существующие сегодня в Армении многочисленные профессиональные ансамбли, то совершенно невозможно перечислить самодеятельные коллективы, которые действуют в городах и селах, при учреждениях и учебных заведениях.

А сколько еще предстоит «вулканических извержений» талантов из народных недр, о которых мы пока не знаем!

Чего стоит хотя бы ансамбль танца сасунцев села Ашнак, детище Ваграма Аристакесяна...

Это те самые сасунцы, о танце которых Максим Горький в свое время говорил как о явлении исключительном по самобытности и красоте. Горький писал, что никогда не мог себе представить картины такого единения, спяного ритмом танца. Он предполагал, что этот идущий из очень давних времен танец, несомненно, или обрядовый танец жрецов, или победный танец воинов...

Этот танец смотрели и гости Московского фестиваля молодежи.

Те из них, кто не имел представления об исторических судьбах армян, лишь восхищались огнем воинственной пляски. Те же, кто хоть немного был знаком с историей нашего народа, поражались: «Как, неужели есть еще на свете сасунцы, неужели кто-то выжил после той ужасной резни?»

И лишь глядя на пляшущих сасунцев, все понимали и без слов:

Что то не танец,
А история народа,
В которой даже поражение
Окрашено гордостью...
И ничто не ломит
Этот древний народ,
Который умеет плясать
С такой энергией,
С такой волей...
Поняли
И возгласили на весь мир:
— Добро тебе, Сасун.
Пляши!
Пляши!
Еще должна сбыться твоя мечта,
Еще история должна воздать тебе должное,
Пляши,
Страна еще тоскует по твоим рукам,
Земля Сасуна тоскует по пахоте,
Пляши,
Пока не соберешь всех своих братьев
И этот танец
Спляшешь на склоне Арарата...¹

Арарата, одна сторона которого освещена огнями Еревана, а другая, издревле родная нам, лишена этого света, лишена песен этого берега, его искусства, его культуры, ныне она неведома и темна для нас, как обратная сторона Луны...

Разлившееся половодьем обилие талантов народных каждый день нам подсказывает новое имя — со страниц книг, из концертных залов, с вернисажей, состроек и вновь распаханых земель. Веками заглушаемая созидательная сила народа, изливаясь наружу и находя благодатную почву, воплощается в творчестве. Сколько новых талантов идет по стопам уже пришедших, сколько их еще только формируется... Сколько детей впервые положили тоненькие пальцы на клавиши, взяли в руки смычок, перо или цветные карандаши... Разрисовав синим гору Арарат, они непременно изображают выглядывающее из-за нее улыбающееся красное солнышко...

Все они, дети и юноши, стар и млад, местные и приезжие, знаменитые и безвестные, вплетают свой голос в набирающую с каждым днем мощь песню Армении, ко-

¹ Стихотворение автора. Подстрочный перевод.

торая звучит по всему миру, рассказывая ему о нашей стране и нашем народе.

Пусть звучит наша песня в мире, и пусть звучат на армянской земле песни всех народов, ибо нет на свете ничего возвышеннее и прекраснее братания народа с народом и песни — с песней...

...В последние годы музыкальные ансамбли Армении, актеры, певцы и чтецы много выступали перед живущими на чужбине армянами. По их просьбе наши артисты часто пели также «Журавля».

Но это уже не старый «Журавль» — печальный гимн изгнанников. Не те уже и слушающие «Журавля» армяне. Они уже не молят, как прежде, о весточке с покинутой родины, где царит грабеж и насилие... Теперь Журавль рассказывает им о возрожденной отчизне, зовет обратно, в родное гнездовье.

Изменилась судьба народа, изменились и его песни... И когда, после победного завершения войны, потянулись на родину первые караваны армянских изгнанников, жизнь продиктовала мне новую «Песню о журавле», которая, вместе со старым «Журавлем», звучит на армянских сценах:

Ты, улетаю, на крыльях нес
Пепел Армении,
Были полны глаза твои слез
В годы гонения.

Тихо курлыкал ты: «Не вернусь
В доли зеленые,
Там только смерть, стенанья да грусть,
Кровли спаленные...»

Где ж от армянской кручины, где
Спрятаться, странствуя?
Видел на суше ты, на воде
Долю армянскую.

Слышал ты кинувших край родной
Сирых изгнанников,
Слышал призывы: «Домой! Домой!» —
Жалобы странников.

Всюду гнездо твоё, бедный друг,
Было разрушено.
Не обласкало нигде твой слух
Слово радужное!

Вот и решил ты, серый журавль:
«Смерть неминуема,
Лучше умру среди родимых трав,
Ветром волнующих».

А возвратившись, увидел ты
Чудо нежданное:
Камень сухой покрыли цветы,
Розы багряные.

Из-за Аракса сам Арарат
С царственной завистью
Хочет шагнуть в наш цветущий сад
С новою завязью.

...Друг, ты на крыльях сюда принес
Пепел отчаянья,
Влагу скитальческих дальних слез,
Давние чаянья...

О, отнеси ты с армянских нив
Золото колоса!
О, перебрось им родной призыв
Братского голоса!

Ты у Аракса воды спроси,
В небе — сияния,
Горстку родной земли отнеси
В земли скитания.

Друг! Улетай и вновь возвратись
С нашими братьями.
Встретит вас горная наша высь
Лаской, объятьями.

Больше не станут звать журавля
Бедным изгнанником,
Примет, любя, родная земля
Жаждающих странников¹.

И возвращаются странники на свою родную землю, в свой отчий дом.

Возвращаются поодиночке и семьями, из сел и городов, возвращаются на машинах, поездах, самолетах, а больше всего — на кораблях.

Корабли эти проходят через Босфор — тот Босфор, от берегов которого в 1915 году отчалили черные корабли, везущие армян в изгнание, — он уже не в силах остановить их шествие.

Когда-то армяне, лишенные крова,
Здесь по морю плыли. Над их головой
Тяжелые тучи клубились багрово,
Сирены сливались в неслыханный вой...

А ныне:

Без страха подходят армяне к Босфору,
Клыками не щелкнет разъятая пасть,

¹ Перевод В. Звягинцевой.

К родным берегам по морскому простору
Армян возвращает Советская власть...

К любимой отчизне, свободе и счастьем
Корабль «Россия» нам путь проторил...
С раскрытой от злобы и ужаса пастью
Глядит на плывущих Босфорский пролив...¹

Уже около двухсот тысяч армян-изгнанников вернулись на свою древнюю землю, четыреста тысяч новых рук взялись за строительство новой жизни.

А те, чья очередь вернуться еще не настала, приезжают в качестве туристов, гостей, гастролеров — лишь бы увидеть родину. Ежегодно почти из всех стран мира к нам приезжает много армянских туристских групп, делегаций, приглашенных в гости писателей, художников, композиторов, певцов.

В последние годы стал хорошей традицией и приезд больших групп специалистов — врачей, инженеров, учителей. Учителя зарубежных армянских школ каждый год проводят свои каникулы в Армении. Они слушают доклады и лекции, встречаются с учеными и писателями, деятелями искусств Армении, путешествуют по республике.

В это же время их ученики отдыхают в пионерских лагерях Цахкадзора, Анкавана и Севана.

Однажды летом я был свидетелем незабываемой сцены в одном из пионерских лагерей Цахкадзора. Был последний день пребывания в лагере зарубежных армянских детей, и вечером на линейке пионервожатый обратился к отряду «зарубежников» с прощальным словом: «Дорогие ребята, сегодня мы в последний раз пели и танцевали вместе. Утром вы уедете...» И вдруг дрогнули стройные ряды, друзья из разных отрядов подбежали друг к другу, обнялись, слышались сперва робкие, а там и громкие возгласы: «Нет, нет, не говорите, мы не хотим уезжать, мы не уедем, не надо...»

Наверно, впервые нарушился режим пионерского лагеря. До поздней ночи в спальном корпусе мальчики что-то возбужденно выкрикивали, а девочки плакали, обняв своих местных подруг или спрятав голову в подушки.

Самым тяжелым было состояние взрослых — настоящее безвыходное положение. Что сказать им, как объяснить, когда все слова бессильны и беспомощны перед этой всепобеждающей вспышкой чувств. Как и почему

¹ Стихотворение автора. Перевод В. Баласана.

должно было этим детям уехать, когда вместо фантастической сказки им дали наяву целую сказочную страну — родину...

...Возвращаются изгнанники, возвращаются домой люди, книги, картины, песни. Соединились разрозненные части многих рукописей и книг, фрагменты картин и скульптур — соединяются две половины народа, разъятые огнем и мечом.

Но сколько еще разъединенных, отлученных, рассеянных по свету, ищущих друг друга с 1915 года... да нет, с VII века, с нашествий арабов... Ведь в течение тысячи трехсот лет народ вынужден был бежать с этой земли и только сейчас возвращается домой.

Сколько веков — сколько десятилетий — сколько лет нужно, чтобы собрать всех под одним кровом?

Да, много еще ищущих друг друга родных и близких, братьев и сестер, отцов, матерей и детей. Еще все армянские газеты во всех странах мира полны объявлений под вечной рубрикой «Ищу»... «Ищу мать, отца, брата, сестру, ищу дядю... Потерял в Эрзеруме, разлучили в Харберде, похитили в Арабкире, пропал в Тер-Зоре, ушел из халебского приюта... На правой щеке была родинка... У сестры были длинные косы... мужа звали Арташес... Ищу... Ищу... Ищу...»

Многие армяне еще лишены простых, естественных для других человеческих прав. У человека обычно совпадают место рождения, родина и местожительство. Для тысяч, десятков, сотен тысяч — двух миллионов армян это еще совершенно разные вещи: местом рождения может быть Западная Армения, родина — Армения Советская, а живут они где-нибудь в Нью-Йорке или Бейруте...

Варварским ударом кровавого ятагана народ был отделен от земли, и земля еще тоскует по своему народу, а народ — по родной земле... Громкий голос этих самых главных истцов еще разносится по всему миру...

Еще каждый день в Ереване перед гостиницей «Армения» приехавших на родину изгнанников-туристов окружают целые толпы, спрашивая о своих далеких родных и пропавших близких.

Еще (может ли быть злее ирония судьбы) армянин приезжает в Армению в качестве туриста, входит в свой родной дом как гость. И возвращается из него «домой» — в Дамаск, Ниццу, Фрезно...

Еще... Но жизнь продолжается, продолжается исто-

рия, и едут на родину изгнанники-армяне, возвращаются поодиночке и семьями, едут на машинах, поездах, самолетах, а больше всего — на кораблях.

И если бы еще одна песня сплелась с этими песнями об Армении, то она называлась бы песней об осуществленном сне, который грезился не одному человеку и не одну ночь, а целому народу в течение веков.

Песня эта только еще начата, она будет звучать еще долго.

Ведь возрождение народов, дыханием которого овеяна вся наша многонациональная страна, подразумевает и исправление жестоких ошибок, исторической несправедливости, осуществление их заветных чаяний. К кому это может относиться, как не к нашему народу, который назван многострадальным...

Вернутся изгнанники, чтобы стать полноправными хозяевами своей родной земли, своей новой жизни, и тогда, как писал на заре века великий Туманян:

...Поэты, которые не осквернили свои уста проклятьем,
Будут славить твою новую жизнь новыми песнями,
Моя новая родина,
Моя могучая родина!¹

Да, поэты восславят новую жизнь своей новой страны.

Страны, что веками страдала от войн и нашествий и лишь теперь вкусила сладость мирной жизни и труда.

Той страны, что, сбросив с себя камень векового страдания, раздробила его для строительства своего нового счастливого дома.

Той страны, чьи горные реки веками разъярялись и мутнели от праздности и лишь теперь рождают свет и зелень...

Той страны, чья земля веками орошалась лишь горьким потом и кровью и лишь теперь отдает человеку накопленную сладость.

Той рожденной из огня страны, которую в течение веков пожирало злое пламя и лишь теперь согревают добрые огни заводов и домен.

Страны мудрых пергаментных рукописей и фолиантов, которая своими древними буквами запечатлевает заветы новой жизни и светлого грядущего.

Той страны, чьи затерянные в горах песни ныне журавлями парят над чужими берегами и доходят до всех народов и стран...

¹ Подстрочный перевод.

ПАМЯТНАЯ ЗАПИСЬ АВТОРА

Вот отзвучала последняя, седьмая песня об Армении...

Все в жизни имеет начало и конец, но может ли иметь конец бесконечное — народ и его песня...

Я, Геворг, по прозвищу Эмин, сын виноградаря Григора из села Аштарак, пряхи Арусяк из провинции Гохтан и всего армянского народа, рассказал вам лишь о том, что прочел в древних рукописях и новых книгах, слышал от моих предков, увидел своими глазами, сотворил своими руками и завещаю грядущим поэтам Армении продолжить с оставленной мною строки эти песни, которые вечны, как сама жизнь.

А жизнь продолжается... Вчера в родильных домах Еревана появились на свет семьдесят восемь мальчиков и восемьдесят шесть девочек и вплели свои звонкие голоса в древнюю песню Армении.

Они еще не обрели даже имени. Но как бы ни нарекли их родители — Ваган или Григор, Артуйт или Алик, для нас они имеют только одно имя — «Галі́к», грядущее...

Пусть они вырастут, пусть унаследуют эту пришедшую из далеких веков и идущую в далекие века страну — многострадальную, но счастливую, маленькую, но великую своими мечтами страну, на государственном гербе которой сияют:

Гора Арарат — свидетель нашей многовековой истории,

Лоза Винограда и Пшеничный Колос, растущие на этой земле со времен праотца Ноя,

Серп и Молот — вечные символы мирного труда сынов земли,

И Солнце, Красное Солнце, под лучами которого жил, живет и вечно будет жить наш народ.

● СОДЕРЖАНИЕ

ИМАНТ ЗИЕДОНИС. КУРЗЕМИТЕ. Книга вторая	5
ЯНКА СИПАКОВ. ЭТА ЗЕМЛЯ, ЭТОТ ХЛЕБ...	239
БРОНИСЛАВ ХОЛОПОВ. СЕЛО ВЕЛИКОЕ — СЕЛО УПРЯМОЕ	373
ГЕВОРГ ЭМИН. СЕМЬ ПЕСЕН ОБ АРМЕНИИ	435

НЕ СЧИТАЙ ШАГИ, ПУТНИК!

ВЫПУСК ВТОРОЙ

Приложение к журналу «Дружба народов»

М., «Известия», 1977, 608 стр. с илл.

Редактор приложений Е. Мовчан

Оформление «Библиотеки» А. Гаранина

Художник И. Бронников

Редактор М. Серебрянникова

Художественный редактор И. Смирнов

Технический редактор В. Новикова

Корректор Л. Сухоставская



**A07153. Сдано в набор 30/VI-77 г. Подписано в печать 2/XI-77 г.
Формат 84 × 108¹/₃₂. Бумага печ. № 1. Печ. л. 19,00. Усл. печ. л. 31,92.
Уч.-изд. л. 33,16. Зак. 1900. Тираж 200 000 экз.
Цена 1 руб. 36 коп.**



**Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.**

**Ордена Ленина типография «Красный пролетарий».
Москва, Краснопролетарская, 16.**

**В 1977 году
издается 15 книг
библиотеки**

«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

Т. Ахтанов — Буран. Роман. Повесть. Драматическая поэма. Перевод с казахского.

Г. Березко — Необыкновенные москвичи. Роман. Повести.

Э. Бээкман. Трилогия о Мирьям. Перевод с эстонского.

В. Богомолов — В августе сорок четвертого... Роман.

Е. Воробьев — Незабудка. Повести. Рассказы.

М. Галшоян — В Каменной долине. Роман. Повесть. Перевод с армянского.

Р. Гамзатов — Мой Дагестан. Повесть. Перевод с аварского.

Н. Думбадзе — Солнечная ночь. Романы. Перевод с грузинского.

В. Земляк — Лебединая стая. Роман. Перевод с украинского.

Избранное «Дружбы народов». Сборник.

И. Науменко — Сорок третий. Роман. Перевод с белорусского.

Не считай шаги, путник! Сборник. Выпуск второй.

Б. Полевой — На диком берегу. Роман.

В. Распутин — Живи и помни. Повести.

В. Санги — Женитьба Кевонгов. Романы. Повести. Рассказы.

Scan Kreyder - 10.06.2016
STERLITAMAK

